Джон Краули

МАЛЕНЬКИЙ, БОЛЬШОЙ

Выбери дверь,
сделай шаг

Маленький, большой
Джон Краули

Аннотация
Джон Краули. Маленький, большой, или Парламент фейри
Предисловие автора
Книга первая. Эджвуд
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
Книга вторая. Секрет Братца Северного Ветра
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
Книга третья. Ветхозаветная ферма
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
Книга четвертая. Дикий Лес
  Глава первая

Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Книга пятая. Искусство Памяти
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Книга шестая. Парламент фейри
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Комментарии
I. Фейри и Повесть
II. Шекспир и другие
III. Имена

Аннотация

От автора тетралогии «Эгипет» — эпический бестселлер о любви и волшебстве, о свободе воли и предопределении, о роли личности в истории, плетущейся невидимым, но могущественным рассказчиком.

Городской клерк Смоки Барнабл женится на Дейли Элис Дринкуотер, дочери детского писателя, и отправляется жить с ней в неотмеченную на картах усадьбу Эджвуд — загадочное сооружение, которое чем глубже в него заходишь, тем больше становится и, кажется, вмещает в себя окружающие леса и поля, а то и весь мир. Герои «Маленького, большого», поколение за поколением, видят себя персонажами некой Повести, ощущают неочевидное соприсутствие сверхъестественных сил и неосознанно разыгрывают романтическую оперу по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь», либретто которой мог бы написать Льюис Кэрролл.

Джон Краули. Маленький, большой, или Парламент фейри

Линде, которая первой узнала обо всем этом, с любовью от автора.
Позднее, когда они вспомнили о земном происхождении человека[1]: «прах ты и в прах возвратишься»[2], им понравилось воображать себя пузырями земли.
В одиночестве, среди полей, подальше от посторонних глаз, они куролесили, скакали и подпрыгивали, едва касаясь земли, с выкриками: «Мы — пузыри земли[3]! Пузыри земли! Пузыри земли!»

Флора Томпсон. Взлет жаворонка

---

[1] Примечания: 1

Марианн Мур (1887–1972) — американская поэтесса. Автор цитирует ее стихотворение «Поэзия» (1935).

[2] Примечания: 2

«Парламент птиц» — см. комментарии, раздел II.

[3] Примечания: 3

Позднее, когда они вспомнили о земном происхождении человека... — Эпиграф взят из романа «Взлет жаворонка» (1939) английской писательницы Флоры Томпсон (1876–1947), первой части автобиографической трилогии, в которой изображена жизнь Оксфордшира конца XIX века.

Предисловие автора

Подобно тому как родители не любят признавать, что кого-то из своих детей они любят больше других, считают умнее или симпатичнее, — так же и писатели редко сознаются, что у них, среди всего ими написанного, есть любимая книга и та, которую они считают лучшей: а ведь такая книга неизбежно существует, и не обязательно это последняя или будущая. «Маленький, большой» открыл мне самому, насколько далеко простираются мои писательские возможности; большинство читателей полагают этот роман лучшей моей книгой на сегодняшний день — или, по крайней мере, питают к нему наибольшее расположение. Я должен буду дойти до тех же пределов (по моей оценке), чтобы создать что-то равноценное.

Я начал обдумывать эту книгу (или, вернее, книгу, которая станет этой) летом или осенью 1969 года, а закончил в 1978-м. Первоначально мне представлялось что-то вроде долгой семейной хроники, которая не будет начинаться в прошлом и подбираться к современности, а

начнется примерно в наши дни и уйдет в далекое будущее. Кое-что от этого первоначального импульса осталось в книге, но он заслонен другими темами, которые возникли гораздо позже, в процессе работы — к примеру, идеей религии, связанной с фейри. Марианн Мур определяла стихи как «воображаемые сады с настоящими жабами»[4]; я подумал, что стоит создать воображаемый сад, в глубине которого скрываются настоящие фейри.

Однажды я наткнулся на персидскую притчу под названием «Парламент птиц»[5], которая предоставила в мое распоряжение сюжет, замечательно — и поразительно — подходящий к тому, что я уже придумал.

Наконец, я играл с идеей рассказа или серии рассказов о могущественном маге, который, как частный детектив, расследует преступления и разгадывает космические, невообразимые загад-

---

[4] Примечания: 4

...*«прах ты и в прах возвратишься»*... — слова Бога Адаму (Быт. 3:19).

[5] Примечания: 5

Пузыри земли — выражение восходит к «Макбету» (д. I, сц. 3):

> *Земля пускает также пузыри,*
> *Как и вода. Явились на поверхность*
> *И растеклись.*
>
> ***(Перевод Б. Пастернака)***

ки — например, дело о пробуждении спящего императора; что-то в этом роде.

И вот — не вполне по моей воле — все эти импульсы сталкивались и смешивались; я пытался связать их веревками и лентами литературных приемов, которые испробовал впервые; и наконец увидел, что все темы моей книги стройно и трогательно сходятся воедино. Осталось только записать ее. Когда я начал создавать свою вымышленную семью, среди первых образов был и такой: человек собирает свою семейную жизнь в саквояж и отправляется в последнее путешествие; лет восемь спустя я записал эту сцену, близкую (наконец-то!) к финалу книги — той книги, которую вы держите в руках.

11 апреля 1990 г.

Книга первая. Эджвуд

Глава первая

Люди суть люди, но Человек — это женщина.

***Честертон*[6]**

Однажды июньским днем 19... года[7] молодой человек неспешным шагом шел из огромного Города на север по направлению к небольшому местечку под названием Эджвуд, слышать о котором он слышал, а бывать там — не бывал. Юношу звали Смоки Барнабл, в Эджвуде ему предстояло жениться; то, что он шел пешком, а не ехал, было одним из условий его прибытия в Эджвуд.

---

[6] Примечания: 6

Честертон, Гилберт Кит (1874–1936) — английский писатель, эссеист, христианский публицист. Эпиграф («Люди суть люди, но Человек — это женщина») взят из его романа «Наполеон Ноттингхилльский» (кн. 1, гл. 1).

[7] Примечания: 7

Однажды июньским днем 19... года... — Краули расставил в романе достаточно меток, чтобы восстановить хронологию событий. По нашим подсчетам, действие открывается в начале 1960-х годов и заканчивается сорок лет спустя (2003 год?); с другой стороны, сам Краули говорил в интервью, что события «Маленького, большого» начинают происходить в конце 1960-х годов.

Откуда-то Куда-то Еще

Хотя молодой человек покинул свою комнату в Городе ранним утром, уже близился полдень, когда он, перейдя через громадный мост по пешеходной дорожке, обычно пустой, оказался на северном берегу реки среди городков с индейскими названиями, границ между собой не имевших. Он пробирался по ним чуть ли не до вечера: транспортный поток был таким плотным, что двигаться по прямой не удавалось; чаще всего приходилось лавировать, выбирая маршрут. Минуя округ за округом, Смоки заглядывал в узкие переулки, бегло осматривал витрины магазинов. Прохожих было немного, даже из числа местных жителей, разве что подростки на велосипедах. Молодой человек не переставал дивиться, как можно жить на таком унылом отшибе, а дети между тем веселились вовсю.

Чередование жилых кварталов с торговыми авеню постепенно теряло упорядоченность; дома редели, будто деревья на окраине большого леса; подобием полян стали появляться пустыри, заросшие сорняками; там и сям из-под земли тянулись чахлые, запыленные побеги; попадались замусоренные лужайки — словом, вся местность

вполне годилась для устройства промышленной зоны. Эта мысль упорно вертелась в голове у Смоки; окружавший его пейзаж больше всего походил не то на пустыню, не то на заброшенное озимое поле — чем не площадка для возведения фабрик?

Смоки подошел к скамейке на остановке автобуса, который курсировал Откуда-то Куда-то Еще. Присев на краешек, он сбросил с плеч дорожную сумку, достал из нее сэндвич, изготовленный им собственноручно (это тоже было одним из условий), а также разноцветную, будто конфетти, карту с указанием бензозаправок. Смоки не был уверен, что не нарушит условий, воспользовавшись картой, но поскольку путь до Эджвуда ему описали довольно бестолково, он, отбросив сомнения, развернул ее.

Так. Голубая линия, очевидно, обозначала знакомую ему избитую щебеночную дорогу, вдоль которой стояли пустующие кирпичные заводики. Смоки расположил карту параллельно скамейке, на которой сидел: разбираться в картах он был не мастак, но определил, что конечная цель его путешествия находится по левую руку от него, причем на довольно приличном расстоянии. Название Эджвуд на карте отсутствовало, но

само местечко ютилось где-то здесь, среди пяти небольших городков, отмеченных самыми мелкими точками. Ага. Жирная двойная красная линия обозначала пролегавшую поблизости магистраль со многими боковыми въездами и выездами; пешком здесь не пройдешь. Еще ближе находилась четкая голубая линия (нарисовав в уме систему сосудистого кровообращения, Смоки представил, как весь транспорт вливается в город с юга по голубым линиям, а из города течет по красным), от которой ответвлялись отростки к городкам и населенным пунктам. Гораздо более тонкая склеротическая голубая линия, возле которой он сидел, являлась притоком — по всей видимости, торговым путем: Тул-таун, Фуд-сити, Ферничер-уорлд, Карпет-виллидж[8]. Так-так... Но на карте имелась еще почти что неразличимая узенькая черная линия: вот она вполне подходила. Сначала Смоки показалось, что она никуда не ведет, будто картограф забыл дочертить ее до конца, однако неровная линия, выпутавшись из узловатых переплетений, уверенно и наглядно устремлялась на простор севера и едва ли не

[8] Примечания: 8

...*Тул-таун, Фуд-сити, Ферничер-уорлд, Карпет-виллидж*. — Tool Town — Город Инструментов, Food City — Город Еды, Furniture World — Мир Мебели, *Carpet Village* — Ковровый поселок.

задевала собой городок, который, как Смоки было известно, почти соседствовал с Эджвудом.

Вот, значит, она самая и есть. Похожа скорее на пешеходную тропу.

Измерив на карте большим и указательным пальцами расстояние, которое было пройдено, и то, которое ему еще предстояло пройти (гораздо большее), Смоки закинул за спину дорожную сумку, надвинул шляпу на глаза для защиты от солнца и зашагал дальше.

Лонг-дринк «Уотер»

В пути она не очень занимала его мысли, хотя, конечно же, за неполные два года, что Смоки любил ее, она не выходила у него из головы; воображение часто уносило его в ту комнату, где они встретились впервые, и порой сердце его трепетало по-прежнему; но сейчас Смоки испытывал скорее благодарную признательность, опять мысленно заглядывая туда, в ту комнату, где Джордж Маус издали приветствовал его стаканом и трубкой; с ним были его долговязые кузины: младшая пугливо пряталась за спиной у старшей.

Происходило это в городском доме Маусов — последнем обитаемом доме в квартале. Окна с частым переплетом в библиотеке на втором эта-

же были залатаны картоном, по темному ковру протоптаны светлые дорожки от двери к окнам и бару. Да, именно там они и встретились.

Она была высоченной.

Ее рост достигал шести футов: Смоки был на несколько дюймов ниже; ее сестренка, которой только-только исполнилось четырнадцать, была с ним вровень. Короткие вечерние платья девушек переливались блестками — красное у нее и белое у сестры; блестели и их длинные-длинные чулки. Отличались сестры не только высоким ростом, но и застенчивостью, особенно младшая, которая робко улыбнулась, но не пожала протянутой руки Смоки, а еще дальше спряталась за спину сестры.

Изящные великанши. Старшая бросила быстрый взгляд на Джорджа, когда Смоки галантно представился, и вежливо улыбнулась в ответ. Ее вьющиеся волосы отливали золотом. Джордж сказал, что ее зовут Дейли Элис.

Смоки, вскинув глаза, взял ее за руку. «А мне лонг-дринк “Уотер”», — сказал он, и она залилась смехом. Ее сестра тоже засмеялась, а Джордж Маус, согнувшись пополам от хохота, хлопал себя по коленке. Смоки, не понимая, почему их

так развеселила эта избитая шутка[9], стоял с блаженно-ангельской улыбкой, переводя взгляд с Джорджа на Элис, руку которой все еще держал в своей.

Это был самый счастливый момент в его жизни.

Безличность

До знакомства с Дейли Элис Дринкуотер в библиотеке городского дома Мауса жизнь Смоки складывалась не очень-то счастливо; но вышло так, что его образ жизни наилучшим образом расположил его к ухаживанию, которое он как раз затеял. Смоки был единственным ребенком, рожденным во втором браке отца, когда тот приближался уже к шестидесяти. Когда его мать уяснила, что изрядное состояние Барнабла испарилось благодаря неумелому хозяйствованию супруга и что ей не имело ни малейшего смысла выходить за него замуж и уж тем более рожать

---

[9] Примечания: 9

«А мне лонг-дринк “Уотер”»... почему их так развеселила эта избитая шутка... — «A long drink of water» (букв, «долгий глоток воды») — идиома, означающая высокого худого человека, причем чаще — красивую стройную женщину. Также подразумевается игра слов, основанная на значении long drink — «большой стакан», то есть слабоалкогольный или безалкогольный напиток; long drink of water — это «длинный Дринкуотер» или лонг-дринк (коктейль) «Вода».

ребенка, она в приступе горького разочарования покинула дом. Смоки тяжело это переживал: из всех родственников мать казалась ему наименее безличной; в сущности, из числа тех, с кем его связывали кровные узы, она была единственной, чей образ мгновенно вспоминался ему и в старости, хотя расстались они, когда он был еще совсем мальчиком. Сам Смоки в основном унаследовал безличность Барнаблов: от матери ему досталась лишь частичка определенности. Знавшим его эта частичка представлялась неоспоримой: проблеск наличного присутствия посреди смутно мерцающей пустоты.

Семья была большая. От первой жены у отца родилось пятеро сыновей и дочерей. Все они жили в каких-то безличных пригородах в штатах, названия которых начинались с буквы «I»[10]: друзья Смоки по Городу вечно их путали, порой и сам Смоки не мог толком в них разобраться. Знакомые полагали, что у его отца денег чертова уйма, и, понятия не имея, как он ими распорядится, всегда охотно приглашали его к себе. После ухода жены отец решил продать дом, в котором

[10] Примечания: 10

...в штатах, названия которых начинались с буквы «I»... — Айова, Айдахо и Иллинойс. Ср. в «Лолите» (1955) В. Набокова: «...мы пересекли Огайо, три штата, начинающихся на «И», и Небраску...» (ч. 2, гл. 16).

Смоки родился, и предпочел кочевать с места на место в сопровождении маленького сына, череды безличных собак и семи изготовленных по специальному заказу сундуков, в которых содержалась его библиотека. Барнабл был образованным человеком, хотя его познания носили столь отвлеченный и закостеневший характер, что собеседника он себе не находил и потому ничем не нарушал свойственную ему от природы безличность. Его старшие сыновья и дочери относились к сундукам с книгами как к большому неудобству: как если бы чужие носки мешались в стирке с их собственными.

(Позднее Смоки завел привычку сортировать своих сводных братьев и сестер, связывая их с определенными городами и штатами, пока сидел в уборной. Может, потому, что в их уборных он острее всего ощущал свою безличность — вплоть до невидимости; во всяком случае, время проходило за перетасовыванием братьев, сестер и их отпрысков, словно это была колода карт; Смоки прилаживал лица к входным дверям и к газонам, пока с годами в конце концов не наловчился раскладывать всю колоду. Это доставляло ему то же безрадостное удовлетворение, что и от решения кроссвордов, вместе со сходной неуверенностью:

а что, если правильно вписанные им слова не совпадают с задуманными составителем? Номер газеты, в котором спустя неделю публиковались ответы, так ни разу и не принесли.)

Уход жены не лишил Барнабла бодрости: личность его еще более стерлась; старшим детям казалось, что отец как бы съежился, а потом, все более умаляясь, окончательно улетучился из их жизни. Только Смоки он сумел передать дар, позволявший осязать его личность, — свои знания. Из-за частых переездов Смоки не имел возможности регулярно посещать школу, а к тому времени, когда они обосновались в одном из штатов, название которого начиналось с буквы «I», выяснилось, чтó содеял над сыном отец: Смоки оказался слишком взрослым для того, чтобы можно было принудить его ходить в школу. К шестнадцати годам Смоки изучил классическую и средневековую латынь, древнегреческий, основы старомодной математики; немного умел играть на скрипке. Другие книги, помимо томов отцовских классиков, переплетенных в кожу, он почти и не раскрывал; мог более или менее правильно продекламировать сотню-другую строк из Вергилия, а также писал наклонным каллиграфическим почерком.

Отец Смоки в тот год умер ссохшимся старичком, словно всю свою невеликую телесную плотность передал сыну. Смоки продолжал скитания еще несколько лет. За отсутствием диплома поиски работы давались ему нелегко. Наконец ему удалось обучиться машинописи в какой-то захудалой школе бизнеса (должно быть, в Саут-Бенде[11], как он потом вычислил) и сделаться клерком. Он долго жил в трех разных пригородах, которые именовались одинаково, и в каждом родственники называли его по-разному — то его собственным именем, то именем отца, то просто Смоки; он выбрал себе последнее: оно как нельзя точнее передавало его склонность исчезать неуловимо, подобно дыму. Смоки даже не подозревал о бережливости отца и, неожиданно получив в двадцать один год запоздалый скромный капитал, сел в автобус, идущий в сторону Города, и, как только за окошком промелькнул последний дом пригорода, забыл все те места, где жили его родственники, а заодно и самих родственников — впоследствии он с трудом восстанавливал в памяти их лица по ассоциации с видом газонов; очутившись же в Городе, он бла-

[11] Примечания: 11

Саут-Бенд — город в штате Индиана; его название (South Bend) означает «южный поворот».

годарно и без следа растворился в нем, подобно дождевой капле, канувшей в море.

Имя и номер

Смоки занимал комнату в доме, который когда-то принадлежал приходскому священнику старинной церкви. Эта церковь, чтимая, но заброшенная и полуразрушенная, стояла и теперь позади дома. Из окна открывался вид на кладбище, обитатели которого, носившие голландские имена, мирно ворочались с боку на бок в своих вековых постелях. По утрам Смоки, поднятый на ноги не звоном будильника, а внезапным шумом уличного движения (он так и не научился спать под гул городского транспорта, тогда как долгий грохот поездов, шедших на Средний Запад, совершенно его не тревожил), отправлялся на службу.

Он работал в просторной светлой комнате, где малейшие звуки взмывали к потолку и возвращались эхом, странным образом переменившись. Если кто-нибудь кашлял, то казалось, будто кашляет сам потолок, стеснительно прикрыв рот. Весь день Смоки водил лупой по бесчисленным столбцам, разбирая мелкий шрифт и тщательно изучая каждое имя, сопутствующий адрес и номер телефона, а затем отмечал крас-

ным карандашом имена, адреса и телефоны, не совпадавшие с распечатанными данными на карточках, которые ежедневно вырастали перед ним стопка за стопкой.

Поначалу имена не значили для него ничего и обладали не большим смыслом, нежели совершенно безличные телефонные номера. Единственной отличительной чертой того или иного имени служило занимаемое им случайное, но вместе с тем неизбежное место, продиктованное алфавитом. Бывало, компьютер допускал идиотские ошибки — вот за их выявление Смоки и получал жалованье. (Смоки удивлялся не столько редким сбоям компьютера, сколько его непроходимой тупости: например, тот не в состоянии был определить, когда аббревиатура «St.» обозначает «улицу», а когда «святого», поэтому иногда адрес выглядел так: гриль-бар «Седьмой святой» или Церковь Всех Улиц.) Неделя текла за неделей, и Смоки, чтобы хоть чем-то заполнить вечера, бесцельно прогуливался по Городу (не зная о том, что большинство жителей с наступлением темноты обычно сидят дома), знакомясь с окрестными улицами и переулками, с особенностями различных районов, с барами и открытыми верандами. Постепенно имена, которые мель-

кали перед ним сквозь увеличительное стекло, начали обретать реальность; люди, которые попадались ему в автобусах, поездах и кондитерских, перекрикивались через улицу из тесно поставленных многоквартирных домов, глазели на дорожные происшествия, спорили с официантами и продавщицами, а также сами официанты и продавщицы — все они стали проступать перед ним на тонких страницах регистрационной книги; да и сама Книга представлялась ему теперь величественной эпической сагой о городской жизни с ее встречами и расставаниями, преисполненной трагедии и фарса, изменчивой и насыщенной драматическими перипетиями. Он узнавал о вдовах с древними голландскими фамилиями, которые жили, как он знал, на главных улицах в домах с высокими окнами и управляли супругами — вернее, недвижимостью супругов, а их сыновья — обычно Стилы или Эрики, худ.-дек-ры интер-ов, селились в кварталах богемы; о многочисленном семействе с невообразимыми именами на греческий лад, занимавшем несколько строений в зловонном квартале, мимо которого Смоки однажды проходил: семейство непрерывно росло, хотя всякий раз при просмотре алфавитного списка кто-то из него выбывал

(цыгане, решил наконец про себя Смоки); о мужьях, чьи жены и несовершеннолетние дочки по частным телефонам ворковали со своими любовниками, пока сами мужья без конца названивали финансовым фирмам, носившим их имена; подозрение у Смоки вызывали субъекты, которые сокращали до инициала первое, а не второе имя[12]: как правило, ими оказывались или сборщики налогов, или адвокаты, открывавшие конторы по месту жительства; иногда это могли быть полицейские чиновники, которые попутно занимались продажей подержанной мебели; Смоки установил, что почти каждый житель по фамилии Синглтон и все до единого Синглтери обитали в северной негритянской части города, где мужчины носили имена бывших президентов, а женщин называли по драгоценным камням — Перл, Руби, Берилл — с горделивой приставкой «миссис», и Смоки представлял, как они — дородные, смуглые, сияющие — возятся в тесных каморках с кучей чисто вымытых детишек. Начиная с самодовольного специалиста по ремонту

[12] Примечания: 12

...подозрение... вызывали субъекты, которые сокращали до инициала первое, а не второе имя... — Т. е. подписывались по типу «Дж. Майкл Стражински», «М. Джон Гаррисон». Довольно распространенное явление, которое тем не менее считается признаком снобизма.

замков, украсившего название своей крохотной мастерской множеством заглавных «А», и кончая ученым — Архимедом Яяззандотти[13] (старым холостяком, читающим в запущенной квартирке греческие газеты), Смоки знал теперь всех до единого. Под его скользящей лупой набранные мелким шрифтом имя и номер казались всплывшими на поверхность и выброшенными волнами на берег обломками кораблекрушения, способными поведать целую историю. Смоки вслушивался в нее, сличал карточку со списком и, убедившись в отсутствии разночтений, переворачивал ее, даже если увеличительное стекло помогало всплыть новой истории. Сидевший с ним рядом клерк тяжко вздохнул. Потолок кашлянул, потом громко рассмеялся. Все сидевшие в комнате подняли головы.

Смеялся молодой человек, которого приняли на работу совсем недавно:

— Я только что обнаружил в регистрационном списке «Клуб охотников и рыболовов с Шумного моста». — Он едва сумел выговорить фразу до конца из-за душившего его смеха. Смоки поразился,

---

[13] Примечания: 13

Архимед Яяззандотти — Краули точен даже тогда, когда его меньше всего можно в этом заподозрить: мистер Zzzyandottie действительно много лет был последним из обитателей адресной книги Нью-Йорка.

что даже полное безмолвие соседей-корректоров ничуть его не обескуражило. — Ты что, не врубаешься? — обратился молодой человек к Смоки. — Шум на этом мосту уж точно поднимут изрядный. — Неожиданно для себя Смоки тоже рассмеялся: его смех взлетел под потолок и обменялся там рукопожатием со смехом соседа.

Молодого человека звали Джордж Маус; он носил широкие брюки с широкими подтяжками; по окончании рабочего дня он завернулся в необъятный шерстяной плащ с воротником, зацепившим его длинные черные волосы, и Джорджу пришлось рывком их высвободить, как это делают девушки. Шляпа у него была как у Свенгали[14]: из-под ее полей весело и притягательно блестели такие же темные глаза. Не прошло и недели, как Джорджа, к великому облегчению всех сидевших в комнате обладателей бифокальных очков, выставили за дверь, но к тому времени он и Смоки, которому казалось, что он единственный в целом свете может утверждать это со всей неоспоримостью, уже стали закадычными друзьями.

---

[14] Примечания: 14

Свенгали — персонаж популярного романа английского карикатуриста и писателя Джорджа Дюморье (1834–1896) «Трилби» (1894) — зловещий еврей-гипнотизер, внушающий натурщице Трилби, что она великая певица.

Городской Маус[15]

Подружившись с Джорджем, Смоки начал приобщаться к умеренному распутству: немного пьянства, немного наркотиков; под влиянием Джорджа он стал иначе одеваться (мода Города предписывала наряд из ткани в цветную клетку) и выражаться цветистее; Джордж представил его и девочкам. Довольно скоро безличность Смоки скрылась под внешними покровами, как Человек-невидимка под своими бинтами; прохожие перестали толкать его на улице, а пассажиры автобуса — плюхаться ему на колени без извинения: все это Смоки объяснял тем, что его присутствие в мире сделалось смутно ощутимым для многих.

У Маусов, во всяком случае, он присутствовал часто: семейство занимало единственный обитаемый дом в опустевшем квартале, который возвел первый из городских представителей Маусов, и квартал все еще им по большей части принадлежал. Смоки был благодарен Джорджу не столько за шляпу нового фасона и за новый жаргон, который он у него перенял, сколько за

---

[15] Примечания: 15

Городской Маус — намек на басню Эзопа о городской и полевой (сельской) мыши, которая упоминается далее.

знакомство с этими людьми — крайне своеобразными и бурно выражавшими свои симпатии. Смоки мог часами незаметно просиживать где-нибудь в уголке, находясь в то же время в самом средоточии семейной жизни — с ее спорами, шутками, вечеринками, шарканьем домашних тапочек, попытками самоубийства и шумными примирениями; невзначай его замечали дядюшка Рэй, или Франц, или Ма и с изумлением восклицали: «Гляньте-ка, а Смоки, оказывается, здесь!» — и тогда он расплывался в улыбке.

— У тебя нет родственников за городом? — как-то спросил Смоки у Джорджа, когда они пережидали метель в излюбленном Джорджем кафе-баре, расположенном в старинном городском отеле.

Выяснилось, что родственники за городом действительно есть.

С первого взгляда

— Они очень набожны, — подмигнув, сообщил Джордж, когда уводил Смоки от смешливых девушек, чтобы представить его их родителям — доктору и миссис Дринкуотер.

— Я не практикующий доктор, — пояснил мистер Дринкуотер — морщинистый, с волосами,

похожими на шерсть, неулыбчивой оживленностью походивший на маленького зверька.

Его супруга была выше ростом; наброшенная на ее плечи шелковая шаль с густой бахромой заколыхалась, когда она пожала Смоки руку и попросила называть ее Софи; в свою очередь, ростом Софи уступала дочерям.

— Все Дейлы были высокими, — заметила она, устремив рассеянный взгляд к потолку, словно все они находились где-то там, над ней. Она дала поэтому свою фамилию двум рослым дочерям — Элис Дейл и Софи Дейл Дринкуотер; но была единственной, кто называл их так. В детстве, правда, среди ровесников старшая звалась Дейли Элис, и это имя прочно к ней прилипло, зато младшая осталась просто Софи, и тут уж ничего нельзя было поделать. Однако всякий при одном взгляде на сестер мог с уверенностью сказать, что они из породы Дейлов, и редко кто не оборачивался им вслед.

Какую бы религию сестры ни исповедовали, это не мешало им затягиваться дымом из трубки поочередно с Францем Маусом, когда они усаживались рядышком на тесном диване, а Франц пристраивался на полу возле их ног; не отказывались они и от глоточка ромового пунша,

предложенного им Ма; прикрыв рты ладошками, они покатывались со смеху больше не над шуточками глупыша Франца, а над тем, что шептали друг дружке на ухо; скрестив ноги, они не смущались и тем, как плотно облегают их бедра усыпанные блестками платья.

Смоки неотрывно смотрел на девушек. Хотя Джордж Маус и учил его держаться настоящим мужчиной Города и не робеть перед женщинами, жизненную привычку было не так-то легко преодолеть, и Смоки не мог отвести глаз от сестер. Только после почти до неприличия затянувшейся паузы, во время которой он от неуверенности чувствовал себя словно бы парализованным, Смоки наконец решился: заставил себя ступить на ковер и подойти к девушкам. Джордж вечно твердил ему: «Ради бога, не будь размазней». Стараясь изо всех сил не быть размазней, Смоки опустился рядом на пол с застывшей на лице улыбкой, в позе, которая со стороны внушала боязнь, что он вот-вот рассыплется на части (именно так он себя и ощущал и, встретившись глазами с Дейли Элис, более всего был поражен тем, что она ясно это видит). У Смоки была привычка крутить бокал, зажатый между большим и указательным пальцами, чтобы кусочек льда, болтаясь, быстрее

охлаждал напиток. Он поступил так и сейчас, и кубик льда звякал о стенки бокала, будто призывный колокольчик.

— Вы часто бываете здесь? — нарушил Смоки молчание.

— Нет, — спокойно ответила Дейли Элис. — В Городе не бываю. А здесь иногда, когда у папы есть дела, или... ну и всякое такое.

— Он ведь доктор.

— Не совсем. Во всяком случае, он больше не практикует. Теперь он писатель. — Она улыбалась, а Софи опять хихикала у нее за спиной. Дейли Элис продолжила разговор с таким видом, словно ее целью было проверить, сколь долго она сможет сохранять невозмутимость. — Он пишет рассказы о животных, для детей.

— Вот как?

— По одному в день.

Смоки заглянул в ее ясные смеющиеся глаза цвета темного бутылочного стекла и как-то необычайно странно себя почувствовал.

— Они, должно быть, не очень длинные, — проговорил он, с трудом сделав глоток.

Смоки не мог понять, что́ с ним происходит. Конечно же, он влюбился — и влюбился с первого взгляда, но раньше он тоже влюблялся — и

всегда тоже с первого взгляда, однако ни разу не испытывал того, что испытывал сейчас: внутри него словно росло что-то — и росло неумолимо.

— Он пишет под именем Сондерс[16], — продолжала Дейли Элис.

Смоки притворился, будто напрягает память в попытках вспомнить это имя, но на самом деле силился доискаться до причины, почему у него сделалось на душе так чудно́. Это занятное ощущение перетекло к нему в руки, лежавшие на сдвинутых коленях; он пристально в них всмотрелся: они казались тяжелыми, как чугун. Смоки переплел непослушные пальцы и произнес:

— Замечательно!

Девушки расхохотались, и Смоки расхохотался вместе с ними. В приливе нового чувства его так и подмывало смеяться. Дымок от травки тут был ни при чем — тогда бы Смоки, как обычно, сделался невесомым и прозрачным. Случилось обратное.

---

[16] Примечания: 16

Он пишет рассказы о животных, для детей. <...> По одному в день. <... > Он пишет под именем Сондерс... — «Под именем Сандерс», как известно, жил Винни-Пух. Прототипом доктора Дринкуотера стал американский сказочник Торнтон У. Бёрджесс (1874–1965). С 1912 по 1960 год он ежедневно публиковал в газете очередную «Сказку перед сном» — историю о Денни Луговом Мышонке, Редди Лисе, Джимме Скунсе, Дедушке Жабе и других зверюшках. Рассказчиками зачастую выступали Малыши Бризы, которые приносили вести Матушке Западный Ветер. Всего Бёрджесс опубликовал более 15000 газетных колонок и 171 книгу. Далее Краули близко следует манере сказочника.

Чем дольше Смоки смотрел на Элис, тем сильнее становилось испытываемое им чувство; чем дольше Элис смотрела на Смоки, тем острее он ощущал... что именно? В ходе беседы они просто взглянули друг на друга — и в душе Смоки как будто гром грянул: его вдруг осенило понимание того, что́ произошло: не только он сам влюбился в Элис, причем с первого взгляда, но и Элис — тоже с первого взгляда — влюбилась в него, и два эти обстоятельства совместным усилием избавили его от безличности. Не загнали недуг внутрь, как это старался сделать Джордж Маус, но устранили его напрочь. Вот в чем была суть нового чувства. Как будто Элис размешала Смоки с кукурузным крахмалом, и он начал загустевать.

Юный Санта-Клаус

Смоки спустился по узкой черной лестнице в единственный сортир в доме, который еще действовал, и остановился в этом облицованном камнем заведении перед широким зеркалом в оправе, покрытым черными крапинками.

Так-так. Ну кто бы мог подумать? Из зеркала на него смотрело лицо в общем-то знакомое, но казалось, будто Смоки видит его впервые. Круглое открытое лицо, чем-то напоминавшее лицо юно-

го Санта Клауса, каким мы могли бы видеть его на ранних фотографиях: в меру серьезное, с темными усами, со вздернутым носом и морщинками, которые лучиками разбегались у глаз, хотя ему еще не исполнилось и двадцати трех. Во взгляде, да и во всем облике, выдававшем веселый нрав, было что-то отсутствующее, неопределившееся; Смоки казалось, что в его внешности чего-то недостает и он никогда не сможет восполнить этот пробел. Довольно. По сути, свершилось чудо. Смоки с улыбкой кивнул своему новому знакомому и, уходя, еще раз оглянулся на него через плечо.

Когда он поднимался вверх по лестнице, на одном из поворотов ему неожиданно встретилась Дейли Элис, которая спускалась вниз. По лицу Смоки не бродила теперь бессмысленная ухмылка, да и Элис больше не хихикала. Заметив друг друга, они замедлили шаг; протиснувшись мимо, Элис, однако, не двинулась дальше, а повернула голову назад. Смоки стоял ступенькой выше, и головы их оказались в позиции, обязательной для киношных поцелуев. Сердце Смоки отчаянно забухало от страха и ликования, вся кровь бросилась в голову и застучала в ней от неистовой уверенности в неизбежном. Он поцеловал ее. Губы девушки шевельнулись в ответ, словно и

она прониклась сознанием неминуемости происходившего; длинные руки обняли его за плечи, и, зарывшись лицом в ее волосы, Смоки почувствовал себя так, будто в скромный кладезь его мудрости добавилось сокровище, не имеющее цены[17].

Сверху послышался шум, и они отпрянули друг от друга. Это была Софи, которая стояла, широко раскрыв глаза и кусая губы.

— Мне нужно пи-пи, — скороговоркой произнесла она и, пританцовывая, побежала по ступенькам вниз.

— Ты скоро уезжаешь? — сказал Смоки.

— Да, сегодня вечером.

— Когда вернешься?

— Не знаю.

Смоки снова обнял девушку: это второе объятие было спокойным и уверенным.

— Я испугалась, — сказала Элис.

— Я знаю, — торжествующе ответил Смоки.

Господи, до чего же она высоченная. Как бы он обнимал ее, если бы не лестница?!

---

[17] Примечания: 17

...*сокровище, не имеющее цены*. — Крылатое выражение, восходящее к Евангелию: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее» (Мф. 13:45–46).

Островок в море

Как и следовало ожидать от человека, выросшего безличным, Смоки всегда считал, что женщины выбирают или отвергают мужчин согласно критериям, ему неведомым: по прихоти, как монархи; или руководствуясь вкусом, как критики. Поэтому он не сомневался, что если женщина остановится на нем или на любом другом мужчине, то выбор этот будет предрешенным, неотвратимым и мгновенным. И он, словно придворный, пребывал в ожидании того момента, когда его заметят. «Оказывается, — думал он, стоя тем поздним вечером на крыльце дома Маусов, — женщина — Элис, во всяком случае — воодушевлена теми же пылкими чувствами и сомнениями, что и я; как и меня, ее обуревает желание, побеждая стеснительность, и сердце ее перед объятием билось так же бешено, как и мое. Я знаю, что это было именно так».

Смоки долго стоял на ступеньках, осмысляя приобретенное им сокровище и вдыхая ветер, который, как нередко бывает в Городе, переменил направление и дул теперь со стороны океана. Он приносил с собой запах прилива, побережья, ракушек; был одновременно кислым,

соленым и горьковато-сладким. Смоки осознал, что огромный Город в конце концов — всего лишь крохотный островок среди морского простора.

Островок в море. Но те, кто жил в Городе из года в год, об этом — главном — как-то забывали. Поразительно, но это была правда. Смоки спустился с крыльца и пошел по улице, налитый металлом, словно статуя, и шаги его гулко звенели по мостовой.

Переписка

Джордж назвал ее адрес: «Эджвуд — и все»; телефона у них не было, и Смоки не оставалось ничего другого, как засесть за письма, чтобы выражать любовь при помощи почты с усердием, ныне исчезнувшим почти повсеместно. Пухлый конверт отправлялся в Эджвуд, и Смоки начинал дожидаться ответа, а когда ожидание становилось невыносимым, он писал новое письмо, и потому их письма пересекались где-то на полпути, как и подобает настоящим любовным посланиям. Элис сохранила его письма, перевязав их ленточкой цвета лаванды; спустя много лет ее внуки обнаружили эту связку и прочитали историю невероятной страсти своих предков.

«Я нашел парк, — выводил Смоки черными

чернилами своим причудливо остроконечным почерком. — На колонне у самого входа мемориальная дощечка с надписью Маус Дринкуотер Стоун, обозначен и год — 1900. Это вы все? Там есть маленькая беседка «Времена года» и статуи, а дорожки такие извилистые, что напрямик к центру не доберешься. Бродишь-бродишь — и оказываешься у выхода[18]. Лето кончается (но в городе это заметно разве что в парках), ветки ощетинились и пропылились, да и парк-то крохотный, однако все здесь напоминает мне тебя», — словно не напоминало все остальное. «Я нашла стопку старых газет, — говорилось в письме Элис, которое пересеклось в дороге с письмом Смоки (два водителя, встретившись туманным утром у шлагбаума, помахали друг другу из высоких голубых кабин грузовиков). — Разглядывала комиксы о мальчике, который мечтает. Все комиксы изоб-

[18] Примечания: 18

Я нашел парк... дорожки такие извилистые, что напрямик к центру не доберешься. Бродишь-бродишь — и оказываешься у выхода. — Так же ведут себя дорожки в «саду, где цветы говорили» («Алиса в Зазеркалье», гл. II).

ражают его Страну Грез[19]. Эта страна прекрасна: дворцы и процессии вечно уменьшаются и пропадают или, наоборот, вдруг становятся огромными, а если вглядеться пристальней, превращаются во что-то другое; то есть, знаешь, все происходит как в настоящих снах, только там все всегда очень красиво. Двоюродная бабушка Клауд говорит, что сберегла комиксы ради человека, который их нарисовал: его звали Стоун; когда-то он был архитектором Города — вместе с прадедушкой Джорджа и моим! Они были приверженцами «Beaux Arts»[20]. Страна Грез — и есть самое что ни на есть Изящное Искусство. Стоун был пьяницей (Клауд употребила именно это слово). Мальчик, когда мечтает, выглядит сонным и удивленным одновременно. Он напоминает мне тебя».

После довольно робкого начала их письма постепенно становились настолько личными,

---

[19] Примечания: 19

Разглядывала комиксы о мальчике, который мечтает. Все комиксы изображают его Страну Грез. — Комикс Винзора Маккея (1867–1934) «Маленький Немо в Стране Грез» (1905–1927). В цикле Краули «Эгипет» «Немо» появляется снова, на этот раз под гностическим названием «Малютка Енос: Затерянный между мирами».

[20] Примечания: 20

«*Beaux Arts*» — Изящные Искусства (фр.), направление в американской архитектуре (1885–1920), называемое академическим классицизмом, классическим возрождением или классицизмом «изящных искусств» (по названию французской «Школы изящных искусств»); поздняя форма неоклассицизма с явственной примесью эклектики.

что когда Смоки и Дейли Элис наконец снова встретились в баре старинного отеля, за освинцованными окнами которого падал снег, оба недоумевали, не произошла ли какая-то ошибка: может быть, как-то все их письма посылались совсем по другому адресу и их получал некий, не попадающий в фокус, расплывчатый незнакомец. Это ощущение очень скоро прошло, но сначала каждый из них дожидался очереди, чтобы рассказывать подробно: иначе они уже не умели. Снег перешел в метель, кофе остыл; а они все говорили, подхватывая фразы друг друга, в восторге, словно сами такое выдумали.

— Ты не скучала там все это время — и всегда в одиночестве? — спросил Смоки, когда они немного попривыкли к подобному диалогу.

— Скучала? — Элис, казалось, была удивлена. Нет, такая мысль ей и в голову не приходила. — Что ты! К тому же мы вовсе не одиноки.

— Ну... я не то имел в виду... А что они за люди?

— Какие люди?

— Люди, с которыми ты не чувствуешь себя одинокой.

— Ах, эти? Ну, обычно это фермеры. Сначала были эмигранты из Шотландии: Макдональд, Макгрегор, Браун. Но теперь там не так много

фермерских хозяйств. Правда, некоторые остались. Кое-кто с нами породнился. Знаешь, как это бывает?

Смоки толком не знал. Наступившую паузу они прервали оба одновременно — и опять замолчали.

— Дом большой? — спросил Смоки.

— Огромный, — улыбнулась Элис. Ее карие глаза, казалось, таяли в свете ламп. — Тебе он понравится. Наш дом всем нравится, даже Джорджу, хотя он и говорит, что нет.

— Но почему?

— Еще ни разу не было, чтобы он у нас не заблудился.

Смоки улыбнулся при мысли о том, что Джордж — проводник, наизусть изучивший все ходы и выходы в злачных кварталах ночного Города, не мог сориентироваться в самом обыкновенном доме. Он попытался вспомнить, шутил ли в письмах о Маусах: мышах городских и мышах деревенских.

— Можно тебе что-то сказать? — спросила Элис.

— Конечно! — Сердце у Смоки беспричинно забилось.

— Я знала тебя еще до того, как мы встретились.

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что я тебя узнала. — Элис опустила пушистые медно-золотые ресницы, потом бросила быстрый взгляд на Смоки и украдкой окинула взором полусонный бар, словно проверяя, не подслушивает ли ее кто-нибудь. — Мне о тебе рассказывали.

— Наверное, Джордж?

— Нет-нет. Это было давным-давно. В детстве.

— Обо мне?

— Ну, не именно о тебе. Вернее, о тебе, но я этого не знала, пока тебя не встретила. — Подхватив локти руками, она оперлась о стол, покрытый скатертью в крупную клетку, и подалась вперед: — Мне было девять или десять лет. Помню, шли затяжные дожди. Как-то утром я отправилась прогулять Спарка в Парке.

— Кого?

— Спарком звали нашу собаку. Ну а Парк — ты знаешь, это участок вокруг дома. Дул ветер, и дождь, казалось, никогда не кончится. Мы промокли до нитки. Я посмотрела на запад и увидела там радугу. И вспомнила, как мама говорила: «Утром на западе радуга небесная — значит, погода будет расчудесная».

Смоки ясно представил себе девочку в желтом

непромокаемом плаще и высоких сапожках с широкими раструбами; ее волосы — еще красивее и кудрявее, чем сейчас; он подивился про себя, как только она определила, в какой стороне запад: ему самому приходилось порой ломать над этим голову.

— Это была настоящая радуга, и такая яркая, что казалось, будто она упирается в землю прямо передо мной; трава сверкала и переливалась всеми оттенками. Небо сразу сделалось огромным — знаешь, каким оно становится после затяжных дождей, когда наконец разведрится: мне чудилось, до всего можно дотронуться рукой; радуга была совсем рядом, и больше всего на свете мне хотелось подбежать, вступить в нее, взглянуть вверх — и тоже переливаться всеми цветами.

Смоки рассмеялся:

— Это не так-то просто.

Элис тоже засмеялась, наклонив голову и прикрыв рот тыльной стороной ладони: жест показался Смоки знакомым до боли в сердце.

— Конечно, на это уходила целая *вечность*...

— То есть?

— Всякий раз, когда ты вроде бы у цели, она опять оказывается далеко от тебя и совсем в другой стороне; а подойдешь к ней снова — вы-

ясняется, что она там, где ты только что был; я бежала-бежала, пока окончательно не выдохлась, а радуга ничуть не стала ближе. Но знаешь, что нужно сделать?

— Пойти в другую сторону[21], — сказал Смоки, сам удивляясь своим словам, но Как-то уверенный, что попал в точку.

— Ага. Правда, сказать легче, чем сделать, но...

— Сомневаюсь. — Он перестал смеяться.

— Но если ты сделаешь все правильно...

— Постой!.. — перебил Смоки.

— Нет, послушай!..

— Радуги не упираются в землю, — настаивал Смоки. — Такого не бывает.

— Не упираются *здес*ь, — заявила Элис. — Вот послушай. Я шла за Спарком. Дала ему полную волю: ему-то было все равно — не то что мне. Сделала шажок-другой, повернулась и — угадай что.

— Не знаю. Ты оказалась внутри радуги?

— Нет. Не совсем так. Если ты снаружи, то видишь цвета внутри, а когда попадаешь внутрь...

---

[21] Примечания: 21

Всякий раз, когда ты вроде бы у цели, она опять оказывается далеко от тебя и совсем в другой стороне... я бежала-бежала, пока окончательно не выдохлась, а радуга ничуть не стала ближе. Но знаешь, что нужно сделать? — Пойти в другую сторону... — Дейли Элис и Смоки усваивают правила поведения в Зазеркалье, которые Черная Королева преподала Алисе («Зазеркалье», гл. II).

— Тогда видишь цвета снаружи.

— Да. Весь мир становится цветным, словно леденец, — нет, как если бы он был сделан из радуги. Нежный и легкий мир красок вокруг тебя, насколько хватает глаз. Хочется бежать, окунуться в него, рассмотреть как следует. Но не осмеливаешься и шевельнуться: малейшее движение может оказаться неверным — и тебе остается только смотреть и смотреть. И ты думаешь: наконец-то я здесь. — Элис умолкла в задумчивости, потом тихо повторила: — Наконец-то.

— А при чем?.. — Смоки закашлялся, потом докончил вопрос: — При чем тут я? Ты говорила, что тебе кто-то рассказал...

— Спарк, — ответила Элис — Или кто-то вроде него...

Она взглянула на Смоки пристальней, и он постарался придать лицу выражение благодушной заинтересованности.

— Но ведь Спарк — собака.

— Собака. — Смоки показалось, что у Элис пропало желание продолжать разговор. Она взяла ложечку и принялась изучать свое крошечное перевернутое отражение в ее вогнутой части, а потом медленно положила ее на стол. — Или кто-то вроде него... — повторила она. — А впрочем,

это неважно.

— Нет, погоди!

— Это продолжалось всего минуту. Пока мы стояли там, я *подумала*, — сдержанно проговорила Элис, не глядя на Смоки, — я подумала, будто Спарк сказал... — Она посмотрела на Смоки. — В это трудно поверить, не правда ли?

— В общем-то, да. Трудно. Как-то с трудом верится.

— Я не ожидала, что так. Во всяком случае, от тебя.

— Почему от меня?

— Потому что, — сказала Элис, пригорюнившись. Ее лицо сделалось печальным, даже разочарованным, отчего Смоки растерял все слова. — Потому что Спарк говорил именно о тебе.

Понарошку

Возможно, этот нелегкий вопрос или, скорее, щекотливое предложение, которое весь день не выходило из головы Смоки, вырвалось у него только потому, что ему нечего было сказать в тот самый — вернее, в следующий — момент.

— Хорошо, — ответила Элис, не отнимая ладони от щеки, с какой-то новой улыбкой, озарившей ее лицо, как озаряет запад утренняя радуга. И когда

поддельный рассвет городских фонарей показал, что наружный подоконник их окна завалило ровным глубоким слоем похрустывавшего снега, Смоки и Элис продолжали беседу, натянув похрустывавший от крахмала пододеяльник до самых подбородков (отопление в отеле отказало ввиду внезапного похолодания). До сих пор они еще не смыкали глаз.

— О чем ты? — спросил он.

Она засмеялась и переплела ноги с его ногами. Смоки испытывал странное, непривычное головокружение, какое испытывал разве что тогда, когда не был еще и подростком. Это удивляло его, но ничего нельзя было поделать: он чувствовал себя настолько переполненным от самой макушки до кончиков пальцев, что они прямо-таки звенели — и, не исключено, даже светились, если взглянуть со стороны. Теперь все было возможно.

— Это ведь все понарошку? — спросил он, а Элис с улыбкой перевернулась и прильнула к нему так, что их тела образовали двойное «S».

Понарошку. В детстве, если ему вместе с другими мальчишками случалось находить в земле какие-нибудь предметы — горлышко бутылки темно-коричневого цвета, потускневшую ложку

или даже камень с проверченным посредине невесть когда отверстием, — они убеждали себя, что нашли древнюю реликвию. Она существовала еще при жизни Джорджа Вашингтона. Даже раньше. Вещь была освящена веками и обладала огромной ценностью. Приятели Смоки сообща внушали друг дружке это убеждение, потому что хотели в это верить и в то же время скрывали истину сами от себя, будто молча уславливались: все это понарошку, хотя и не совсем.

— Но ты же видишь? — возразила Элис. — Все это должно было произойти. И я знала об этом наперед.

— Но почему? — задал он вопрос с восторгом и сладкой мукой. — Почему ты так уверена?

— Потому что это Повесть, где все происходит по писаному.

— Но я не знаю, повесть ли это.

— Люди в повестях об этом никогда не знают. Но все-таки они в повести.

Однажды зимней ночью, когда Смоки был еще мальчишкой и учился в пансионе со своим сводным братом, религиозным, хотя и без особого пыла, он впервые заметил вокруг луны сияющий ореол. Он замер, уставившись на гигантскую ледяную сферу, занимавшую чуть ли не полнеба,

и уже не сомневался больше, что это явление может означать только одно — Конец Света. Смоки с содроганием ожидал во дворе пригорода того момента, когда безмолвная ночь вдруг взорвется апокалипсисом, — тем не менее, осознавая в душе, что ничего подобного не стрясется: ничто не предвещало этого в мире, который не припас таких сюрпризов. Той ночью Смоки привиделись Небеса: темный парк с аттракционами, крохотный и безотрадный; железное чертово колесо вращается в вечности, мрачная галерея игровых автоматов предназначена для развлечения праведников. Смоки очнулся с облегчением — и с тех пор перестал доверять словам молитв, хотя продолжал молиться за брата, безо всякой горечи. Смоки с радостью помолился бы и за Элис, если бы она его об этом попросила, но она не произнесла ни одной молитвы, которую бы он знал; вместо того Элис предложила ему нечто столь диковинное, столь невмещавшееся в мир, который его до сих пор окружал, что он, изумленный, рассмеялся:

— Не просто повесть, а волшебная сказка.

— Пожалуй, — проговорила Элис задумчиво и, нащупав у себя за спиной ладонь Смоки, притянула ее поближе. — Пожалуй так, если тебе

нравится.

Смоки знал, что ему придется поверить Элис, чтобы оказаться там, где она была; знал, что если он поверит, то пойдет за ней куда угодно, даже если ничего похожего не существует, даже если все это понарошку. Смоки провел рукой по ее длинному телу, и она с легким стоном прижалась к нему. Он искал в себе эту детскую готовность, уже полузабытую. Если Элис когда-нибудь туда отправится, он не захочет отстать, никогда в жизни не захочет быть дальше от нее, чем теперь.

Жизнь коротка или длинна

Майским днем в Эджвуде Дейли Элис сидела в лесной чаще на гладком валуне, выступавшем над поверхностью довольно глубокого пруда. Пруд был образован водопадом, струившимся из расселины между высокими отвесными скалами. Поток, беспрерывно вливаясь в пруд, вел однообразный монолог — без конца повторявшийся, однако увлекательный неизменно. Дейли Элис вслушивалась в журчание струй, хотя и слышала его множество раз. Она походила на девушку, нарисованную на этикетке бутылки с содовой водой, хотя и не была такой хрупкой, да и крылья отсутствовали.

— Дедушка Форель! — позвала Дейли Элис, обращаясь к пруду, потом повторила: — Дедушка Форель!

Дейли Элис подождала еще немного: ничего не произошло; тогда она взяла два камешка и, опустив их в воду (холодную и шелковистую, какой кажется только вода, низвергнутая с гор в каменистый пруд), постучала одним о другой. Удары разнеслись под водой подобно отдаленным пушечным выстрелам и звучали дольше, чем на открытом воздухе. Откуда-то из заросшего бородатыми водорослями прибрежного укрытия выплыла огромная белая форель-альбинос, без единого пятнышка и без единой полоски, с розовыми глазами — торжественно-серьезными и широко раскрытыми. Непрерывная рябь на поверхности пруда, вызванная падением воды, казалось, заставляла форель вздрагивать, а ее огромные глаза не то мигали, не то наливались слезами (Элис уже не впервые задавала себе вопрос: могут ли рыбы плакать?).

Когда Элис решила, что рыба ее внимательно слушает, она начала рассказывать о том, как осенью приехала в Город и встретила этого человека в доме Джорджа Мауса; как она сразу поняла (или, во всяком случае, вмиг решила), что это именно

тот, кого она, как было обещано, «отыщет или выдумает», — так, давным-давно, выразился Спарк.

— Пока ты всю зиму спал, — застенчиво рассказывала Элис, с улыбкой водя пальцем по кварцевому мускулу валуна, на котором сидела, и не поднимая глаз (ведь речь шла о ее возлюбленном), — мы... ну, мы встретились снова и дали друг другу обещание... ну, ты понимаешь...

Элис увидела, как рыба резко шевельнула своим призрачным хвостом: тема разговора была мучительной. Вытянувшись на прохладном камне во весь свой немалый рост и стиснув щеки ладонями, Элис с загоревшимися глазами, путано и восторженно, поведала о Смоки. Ее рассказ не вызвал у рыбы особого энтузиазма, но Дейли Элис этого не замечала. Именно Смоки, повторяла Элис, был ей предназначен, он — и никто другой.

— Ты думаешь иначе? Ты не согласен? — спрашивала Элис. — Они будут довольны? — осторожно добавила она.

— Как знать! — мрачно произнес Дедушка Форель. — Кто скажет, что у них на уме?

— Но ты говорил...

— Я только приношу вести от них, дочка. Не ожидай от меня большего.

— Но я не могу ждать вечно, — расстроенно

отозвалась Элис. — Я люблю его. Жизнь коротка.

— Жизнь длинна, — глухим, будто в горле у него стоял комок, голосом возразил Дедушка Форель. — Слишком длинна.

Дедушка Форель неспешно шевельнул плавниками и, плеснув хвостом, скользнул обратно, к своему убежищу.

— Передай им, что я все же приходила, — крикнула Элис ему вослед, едва перекрывая шум водопада. — Скажи им, что я свою обязанность выполнила.

Но Дедушка Форель уже исчез.

Элис написала Смоки: «Я выхожу замуж», — и сердце его похолодело, когда он стоял у почтового ящика, читая эти строки. Не сразу до него дошло, что речь идет о нем. «Двоюродная бабушка Клауд прилежно гадала по картам[22], на каждого из нас. Это нужно приурочить к Иванову дню, и вот что ты должен сделать. Пожалуйста, *пожалуйста*, — *очень* тебя прошу — *тщательно* выполни все указания; иначе я не знаю, что может случиться».

---

[22] Примечания: 22

Двоюродная бабушка Клауд прилежно гадала по картам... — Судя по дальнейшему описанию карт, это поздний вариант Младшего Аркана Таро (52 карты). Старший Аркан («Младшие Козыри») содержит набор карт, отличный от классического; их 21, а не 22, и пронумерованы они от нуля, а не от единицы.

Вот почему Смоки не ехал в Эджвуд, а шел пешком, со свадебным костюмом в старой дорожной сумке и с едой, не купленной, а приготовленной им самим. Вот почему он стал озираться по сторонам в поисках ночлега: Смоки мог его найти или попроситься к кому-нибудь переночевать, но ни в коем случае не платить за ночлег.

Карты в Эджвуде легли удачно

Смоки не заметил, как пустырь, годный для промышленной застройки, внезапно кончился — и потянулась сельская местность. День угасал, когда он повернул к западу; обочины сделались неровными; дорога, местами ремонтированная, с пятнами гудрона, стала походить на старый чиненый ботинок. По обе стороны расстилались поля; фермы были ограждены рядами деревьев, бросавших на Смоки бесчисленные перепутанные тени, когда он проходил мимо. Густые заросли пыльных, неопрятных сорняков — завсегдатаев придорожных канав — дружественно кивали из-под заборов прохожим и машинам. Последние появлялись все реже и реже: прерывистый гул автомобиля, одолевавшего подъем, постепенно нарастал, делаясь все громче; вдруг с оглушительным ревом мощного мотора, чих-

нувшего напоследок, машина пролетала мимо, заставив придорожные сорняки качнуться; столь же мгновенно рев стихал, вновь превратившись в далекое гудение, пока не смолкал совершенно, и слышались только звон мошкары да шаги самого Смоки.

Долгое время путь Смоки лежал вверх по холму, но наконец он добрался до вершины, и перед ним — насколько хватало глаз — раскинулся сельский простор, каким он бывает в середине лета. Дорога вела туда, вниз, мимо лугов и пастбищ, огибала поросшие молодым леском холмы и терялась в долине близ городка, шпиль колокольни которого выглянул над буйной зеленью, а потом показалась снова, извиваясь тонкой серой лентой и пропадая в расщелинах голубоватых гор, где в окружении пухлых облаков садилось солнце.

Как раз в эту минуту на веранде в далеком Эджвуде женщина открыла козырную карту под названием «Путешествие». Путнику с дорожной сумкой за плечами и толстой палкой в руке предстояло одолеть длинную извилистую дорогу. Светило Солнце, однако при восходе или на закате — женщина не смогла определить. Рядом с разложенной колодой на блюдце тлела коричневая сигарета. Женщина отодвинула блюдце и

положила карту «Путешествие» на отведенное ей место, затем открыла следующую карту. Это был «Хозяин».

Когда Смоки достиг подножия первого из холмов, соединенных дорогой, он вступил в тень: солнце уже село.

Джуниперы

Вообще-то Смоки, вместо того чтобы проситься в дом к чужим людям, предпочел бы найти место для ночлега сам; на этот случай он захватил с собой два одеяла. Он даже подумывал, не пристроиться ли где-нибудь на сеновале, как обычно делали путешественники в книгах (тех книгах, которые он читал), но попадавшиеся ему сараи считались частной собственностью, а кроме того, использовались по прямому назначению — в качестве коровников или конюшен. По мере того как сумерки сгущались, а очертания полей размывались, Смоки начал ощущать свою заброшенность; завидев у подножия холма одноэтажный домик с верандой, он нерешительно приблизился к забору из штакетника, не зная, как обратиться к хозяевам со столь странной просьбой.

Это был белый домик, уютно спрятавшийся

среди вечнозеленых кустарников. Вьющиеся розы взбирались по шпалерам у входа. К зеленой голландской двери вела дорожка, выложенная побеленными камушками; с темневшей лужайки на чужака смотрел, застыв от удивления, молодой олень; карлики сидели на поганках, скрестив ноги, или старались улизнуть с сокровищами под мышкой. На воротах была прибита необструганная доска с выжженной на ней надписью: «Джуниперы». Смоки отодвинул щеколду и отворил калитку: тотчас среди тишины звякнул колокольчик. Через открывшуюся верхнюю половину голландской двери просочился желтый свет лампы. Женский голос спросил: «Друг или недруг?» — и вслед за вопросом раздался смех.

— Друг, — ответил Смоки, шагнув к двери.

Вблизи он явственно ощутил разлитый в воздухе запах джина. На нижнюю половину двери опиралась женщина далеко не первой молодости: определить ее годы точнее Смоки бы не взялся. Ее жидкие волосы с проседью можно было назвать и пепельными; очки делали ее глаза похожими на кошачьи; улыбаясь, она выставляла напоказ искусственные зубы; уютно опиравшиеся о дверь руки были покрыты веснушками.

— Я вас не знаю, — заявила женщина.

— Я засомневался, правильной ли дорогой иду к Эджвуду, — объяснил Смоки.

— Трудно сказать... Джефф! Не объяснишь ли молодому человеку, как найти Эджвуд? — Дождавшись ответа изнутри, который Смоки не разобрал, женщина распахнула дверь. — Входите, — прибавила она. — Посмотрим вместе.

Крошечный опрятный домик был забит всяческим барахлом. Престарелая собачонка с косматой пропыленной шерстью обнюхала у Смоки ноги и шумно задышала, будто захлебываясь от смеха. Смоки ударился о бамбуковый телефонный столик, задел плечом полочку с безделушками, споткнулся о расстеленный коврик и сквозь узкий дверной проем почти влетел в гостиную. В комнате пахло розами, лавровишневой водой и прошлогодними угольками в очаге. Джефф отложил газету и спустил с мягкой скамеечки обутые в домашние тапочки ноги.

— Эджвуд? — переспросил он, покручивая в руках трубку.

— Да, Эджвуд. Мне указали именно это направление.

— Вы добираетесь на попутных? — Узкий рот Джеффа, выпустивший клуб дыма, открылся, словно у рыбы. Джефф оглядел Смоки с сомне-

нием.

— Нет, пешком.

Над камином висела обтянутая плотной тканью дощечка с вышитой надписью:

> Я буду жить в Домике у Дороги и стану Другом для Путников. Маргарет Джунипер, 1927.

— Я иду в Эджвуд, чтобы там жениться.

«А-а-а», — казалось, мысленно протянули хозяева.

— Хорошо. — Джефф поднялся с места. — Мардж, достань-ка карту.

Карта местности была гораздо подробнее, чем та, которая имелась у Смоки: он сразу нашел четко обозначенное созвездие известных ему городков, но Эджвуда среди них не обнаружилось.

— Это должно быть где-то здесь. — Джефф огрызком карандаша, похмыкивая и приговаривая «так-так-так», соединил точки пяти городов ломаной линией, в результате чего образовалась пятиконечная звезда. Постукивая по карте карандашом, он вскинул песочного цвета брови и воззрился на Смоки. Привычный трюк опытного распознавателя карт, сообразил Смоки. Он различил смутную линию дороги, пересекавшей

пятиугольник: она сливалась с дорогой, по которой он шел, и бесповоротно обрывалась здесь, в Медоубруке.

— М-да! — пробормотал Смоки.

— Вряд ли смогу сказать вам больше, — проговорил Джефф, сворачивая карту.

— Вы что, собираетесь идти всю ночь? — спросила Мардж.

— Постельные принадлежности у меня с собой.

Мардж, поджав губы, взглянула на невзрачные одеяла, привязанные к дорожной сумке за спиной Смоки.

— У вас, поди, ни крошки с утра во рту не было.

— Нет-нет, что вы, я захватил сэндвичи, яблоко и...

Стены кухни были оклеены обоями с изображением корзин, доверху наполненных невероятно соблазнительными фруктами: черный виноград соседствовал с красновато-коричневыми яблоками, и среди всего этого изобилия выглядывали пухлые ягодицы персиков. Мардж переставляла с плиты на клеенку одно дымящееся блюдо за другим; когда с ужином было покончено, Джефф разлил по тонким, рубинового цвета бо-

кальчикам банановый ликер. Это решило дело: гостеприимство хозяев одержало верх над вежливыми протестами Смоки; Мардж «разложила диван», и гостя препроводили в постель, укутав темным индейским одеялом.

Некоторое время, после ухода Джуниперов, Смоки лежал без сна, разглядывая комнату. Она освещалась единственно ночником, который был вставлен в розетку и представлял собой крошечную модель увитого розами коттеджа. В полумраке Смоки различил кресло Джеффа — кленовое, знакомой конструкции: подлокотники в виде оранжевых лопаток всегда напоминали ему блестящие твердые леденцы. Кружевные шторы слегка покачивались при дуновении ветерка, напоенного ароматом роз. Он слышал, как вздыхает во сне лохматая собака. На стене обнаружилась еще одна вышивка. Хотя уверенности в этом не было, но, кажется, она гласила:

> То, что Делает нас Счастливыми,
> Делает нас Мудрыми.

Смоки заснул.

Глава вторая

Вы, вероятно, заметили, что я обозначаю это понятие не тремя словами, а двумя. Я пишу «загородный дом», а не «дом за городом». И делаю это умышленно.

***В. Сэквилл-Уэст*[23]**

Дейли Элис проснулась, как всегда, с первыми лучами солнца, проникавшими сквозь стекла восточных окон подобно музыке. Она пинком сбросила узорчатое покрывало и некоторое время лежала нагая в длинных полосах света, ощупывая себя наяву: глаза, колени, груди, золотистые с рыжинкой волосы были на месте — там, где она их оставила. Потом Дейли Элис вскочила с постели, потянулась, стряхивая с лица остатки сна, опустилась на колени у кровати посреди солнечных квадратов и прочитала молитву, которую произносила каждое утро с тех пор, как

---

[23] Примечания: 23

Сэквилл-Уэст, Вита (1892–1962) — английская писательница, поэт. Наряду с Вирджинией Вулф была одной из центральных фигур «блумсберийского кружка», объединявшего лондонских интеллектуалов. Автор множества произведений самых разнообразных жанров, в том числе — серии книг об английских парках.

научилась говорить:

О Мир — прекрасный, просторный, открытый,
Потоками дивными чисто омытый;
Чудесно травы твои шелестят —
О Мир, восхитителен твой наряд![24]

Ванная в готическом стиле

Покончив с молитвой, Дейли Элис повернула высокое зеркало, принадлежавшее еще ее прабабушке, так, чтобы видеть себя в полный рост, задала привычный вопрос и получила нужный ответ, хотя порой он бывал уклончивым. Она запахнулась в длинный коричневый халат, крутанулась на носочках так, что обремкавшиеся полы разлетелись в стороны, и осторожно выскользнула в холодный безмолвный холл. Миновала кабинет отца, на секунду прислушавшись к трескотне старого ремингтона, повествовавшего о приключениях мышей и кроликов, затем открыла дверь в комнату своей сестры Софи. Софи спала, запутавшись в простынях, со сложенными

[24] Примечания: 24
О Мир — прекрасный, просторный, открытый... — Первая строфа из детского стихотворения Уильяма Брайти Рэндса (1823–1882), опубликованного в 1868 г. под псевдонимом Мэтью Браун.

как у ребенка руками; длинная золотая прядь волос мягко лежала на ее приоткрытых губах. Утреннее солнце заглянуло и в эту комнату, и Софи обиженно шевельнулась. Большинство людей во сне выглядят необычно, непохожими на себя. Спящая Софи была точь-в-точь Софи; она любила поспать и могла заснуть где угодно и как угодно, даже стоя. Дейли Элис немного понаблюдала за Софи, гадая, какие приключения с ней сейчас происходят. Ну ничего, позже она услышит обо всем в мельчайших подробностях.

В дальнем конце холла, на самом изгибе, находилась ванная в готическом стиле. Там имелась единственная в доме ванна достаточного для Дейли Элис размера. В ванной, расположенной на изгибе дома, солнечные лучи еще не успели зажечь витражные стекла, и плитки пола были такими холодными, что Элис пришлось переступать на цыпочках. Водопроводный кран в форме горгульи надрывно кашлянул, а все трубы в недрах дома провели совещание, прежде чем из крана потекла тонкая струйка горячей воды. Ее вид возымел действие: подобрав полы коричневого халата, Дейли Элис уселась на подобие полого епископального трона и, подперев руками подбородок, стала следить, как из ванного сар-

кофага поднимаются клубы пара. Ее вдруг снова начало клонить в сон.

Элис Дейл дернула за цепочку и, дождавшись, когда иссякнут шумно схлестнувшиеся потоки, развязала пояс и выскользнула из халата. Зябко поведя плечами и поеживаясь, она осторожно забралась в ванну. Все пространство заволокло паром. Ванная в готическом стиле напоминала не столько собор, сколько лесную глушь. Своды образовывали над головой Дейли Элис арку и переплетались, подобно ветвям деревьев; всюду побеги плюща, листья, усики и виноградные лозы, вырезанные из дерева, вились в смятенном, беспорядочном движении. Поверхность узких витражных стекол усеяли капельки росы: растекаясь, они образовывали яркие, будто в комиксах, картинки: причудливо изогнутые стволы, смутные очертания полей, расплывчатые фигурки охотников, обрамленные деревьями. Когда солнце, лениво свершая свой путь, воспламенило все двенадцать окон, пар, поднимавшийся из ванны, заискрился, будто внезапно его украсили драгоценными камнями, и Элис оказалась лежащей в пруду посреди средневекового леса. Эту ванную спроектировал еще ее прадед, а окна застеклили по планам другого человека. Его второе имя было

Комфорт: именно это и ощущала Дейли Элис. Она даже стала напевать.

По сторонам

В то время пока Дейли Элис, напевая, терла себя щеткой в ванне, ее жених, со сбитыми ногами, продолжал свой путь, дивясь свирепости, с какой мстили ему мышцы после вчерашней прогулки. Пока Дейли Элис завтракала в длинной угловой кухне и строила планы на день со своей хлопотливой матерью, Смоки взобрался по жужжащей насекомыми, залитой солнцем горе и начал спускаться в долину. Пока Дейли Элис и Софи окликали друг друга через смежные залы, а доктор смотрел из окна в поисках вдохновения, Смоки стоял на перекрестке дорог у четырех вязов, походивших на степенно беседующих стариков. Указатель с надписью «ЭДЖВУД» направлял палец в сторону грунтовой дороги, которая, петляя, уходила в тенистый туннель, образованный густо растущими деревьями. Когда Смоки ступил на эту дорогу, озираясь по сторонам и гадая, что́ встретит дальше, сестры сидели в комнате Дейли Элис, готовя платье, которое ей предстояло надеть следующим утром, и Софи рассказывала Элис свой сон.

Сон Софи

— Мне приснилось, будто я научилась экономить время, которое не хочется тратить, и использовать его только тогда, когда мне это нужно[25]. Ну, например, время, проведенное у кабинета врача, или потраченное на возвращение оттуда, куда не хотелось идти, или на ожидание автобуса. Нужно было собрать эти бесполезные минуты и сложить их, как помятые коробки, чтобы они занимали меньше места. Это было совсем нетрудно, если только знать, как взяться. Никто ни капельки и не удивился, когда я сказала, что знаю, как это делается; мама только закивала головой и улыбнулась с таким видом, точно каждый, достигнув определенного возраста, непременно овладевает подобными штуками. Надо просто-напросто сплющить минуты по швам как можно тщательней, не пропустив ни одного, а потом разгладить. Папа вручил

---

[25] Примечания: 25

...я научилась экономить время, которое не хочется тратить, и использовать его только тогда, когда мне это нужно. — Идея, предложенная Льюисом Кэрроллом в романе «Сильвия и Бруно. Окончание» (гл. VII): «...с помощью краткого и несложного процесса, суть которого я не могу вам передать... запасают бесполезные часы и, когда в том возникает необходимость... могут расходовать время как им заблагорассудится» (перевод А. Голова).

мне огромный конверт из мраморной бумаги, и, взяв его в руки, я вспомнила, что видела такие конверты повсюду и недоумевала, для чего они предназначены. Забавно, как во сне изобретаешь, словно бы припоминая, разные объяснения.

Пока Софи рассказывала, ее проворные пальцы подрубали подол платья, а изо рта торчали булавки, поэтому Элис не всегда могла разобрать, что именно она говорит. За развитием событий во сне Софи уследить было трудно, и Элис, как если бы этот сон снился ей самой, почти тотчас забывала услышанное. Она достала и поставила перед собой пару атласных туфель и вышла в крошечный эркер.

— А потом я испугалась, — продолжала Софи. — Я забила этот большой скучный конверт неудачным временем до отказа, однако понятия не имела, как извлечь из него нужное, когда оно понадобится, и при этом не выпустить на волю все остальные часы, унылые и неприятные. Похоже было на то, что напрасно я за эту затею взялась. Хотя...

Элис посмотрела вниз на подъездную аллею с тонкой полоской травы посередине, на которой сквозь листву трепетала игра светотени. Она перевела взгляд в конец аллеи, где изогнутые

приворотные столбы были увенчаны шарами в оспинах, похожими на серые каменные апельсины. Пока она смотрела, Путник нерешительно ступил в ворота.

Сердце у нее замерло. Весь день Дейли Элис испытывала такое умиротворенное спокойствие, что решила: сегодня он не придет; внутреннее чувство Как-то подсказывало ей, что сегодня он не появится и потому сердцу вовсе незачем дрожать и колотиться от ожидания. Но теперь оно было захвачено врасплох.

— Потом все смешалось. Мне почудилось, что нет такого времени, которое не было бы схлопнуто и прибережено; что я над ним больше не хозяйка; что оно течет само по себе и что у меня осталось только жуткое время — время бродить по залам, время просыпаться средь ночи, время бездельничать...

Сердце Дейли Элис учащенно билось, ответить ей было нечего. А там, внизу, Смоки приближался медленно, словно в благоговении — перед чем, неизвестно; поняв, что он ее увидел, она развязала поясок коричневого халата и стряхнула его с плеч. Распахнувшийся халат соскользнул к запястьям, и у Дейли Элис появилось такое ощущение, будто ее кожи касаются попеременно руками то

прохладными, то жаркими: тени, набегавшие от листвы, чередовались с солнцем.

Сбили с дороги

Жаркая волна поднималась от пяток Смоки к голеням, словно долгое путешествие пешком раскалило его ноги докрасна. Голова гудела от полуденного зноя, а правое бедро прошивала насквозь, как иглой, острая боль. Однако он попал в Эджвуд — сомнений быть не могло. Приближаясь к громадному дому с множеством выступов и углов, Смоки и не собирался задавать какие-либо вопросы сидевшей на веранде старой женщине: он и без того знал, что достиг цели. А едва он подошел к дому, перед ним предстала Дейли Элис. Смоки остановился как вкопанный, вперив в нее взгляд; дорожная сумка, вся в пятнах пота, свисала у него с руки. Он не смел подать ей ответный знак (из-за пожилой женщины на веранде), но и не в силах был отвести глаз от Дейли Элис.

— Прелесть, не правда ли? — произнесла, наконец, женщина.

Лицо Смоки вспыхнуло. Женщина сидела, держась очень прямо, в кресле павлиньей расцветки и улыбалась ему; перед ней был маленький столик, на стеклянной поверхности которого она

раскладывала пасьянс.

— Просто прелесть, не так ли? — повторила женщина немного громче.

— Да!

— Да... а сколько изящества! Я рада, что, ступив на аллею, вы увидели это в первую очередь. Оконные переплеты, правда, новые, но эркер и вся каменная кладка подлинные. Не подниметесь ли на веранду? Так трудно разговаривать.

Смоки бросил быстрый взгляд на эркер, но Элис уже исчезла, и перед ним была только причудливая кровля, залитая солнцем. Он поднялся на веранду, украшенную колоннками.

— Меня зовут Смоки Барнабл.

— Так. А я — Нора Клауд. Садитесь, пожалуйста.

Умелыми движениями она сгребла разложенные карты и убрала их в бархатную сумочку, которую спрятала в коробочку для рукоделия.

— Значит, это вы, — начал Смоки, опустившись в поскрипывающее плетеное кресло, — поставили мне условия относительно сватовства: что я должен прийти пешком и все такое?

— О нет, — ответила женщина. — Я всего лишь их раскопала.

— Нечто вроде испытания?

— Возможно. Не знаю.

Подобное предположение Нору Клауд, казалось, удивило. Из нагрудного кармана, к которому был аккуратно приколот никчемный носовой платок, она извлекла коричневую сигарету и закурила, чиркнув по подошве кухонной спичкой. На Норе было легкое платье из набивного ситца, вполне годившееся для немолодых дам; Смоки, однако, подумал, что ему никогда раньше не приходилось видеть на ткани столь яркого бирюзового цвета и невероятно причудливого переплетения листьев, крохотных цветов и вьющихся стеблей: оно словно было выкроено из окружавшего его дня.

— Думаю, что в целом для профилактики это было небесполезно.

— Как?

— Ради вашей же безопасности.

— А, понятно.

Повисла пауза: двоюродная бабушка Клауд молчала, невозмутимо улыбаясь; Смоки застыл в ожидании, недоумевая, почему его не приглашают войти в дом, с тем чтобы представить; он стеснялся горячего воздуха, исходившего из-под раскрытого ворота его рубашки. Он вспомнил, что день был воскресным, и, прочистив горло, спросил:

— Доктор и миссис Дринкуотер, наверное, в церкви?

— В определенном смысле, да. — Собеседница Смоки как-то странно реагировала на любые его слова, будто он преподносил ей некие откровения. — А вы религиозны?

Этого вопроса Смоки боялся.

— Видите ли... — начал он.

— Женщины более склонны к религии, вы так не считаете?

— Возможно. Когда я рос, окружающих это както не очень заботило.

— Моя мать и я ощущали ее гораздо сильнее, чем отец и братья, хотя, наверное, они натерпелись от этого больше нас.

Смоки не знал, что на это ответить, и не мог понять, почему его так пристально разглядывают — в ожидании ответа или же просто по причине близорукости.

— Вот мой племянник, доктор Дринкуотер, тоже... впрочем, у него животные, которым он уделяет очень много внимания[26]. Он поглощен

---

[26] Примечания: 26

...доктор Дринкуотер... впрочем, у него животные, которым он уделяет очень много внимания. — «Не практикующий доктор» Дринкуотер явно ведет литературную родословную от доктора Дулитла, героя сказок Хью Лофтинга (1886–1947), выходивших начиная с 1920 года. Переложением двух первых сказок цикла является «Айболит» К. Чуковского (1929).

ими целиком. До всего остального ему и дела нет.

— Он склонен к пантеизму?

— О нет. Не настолько же он глуп. Он просто не обращает ни на что внимания, — Нора Клауд помахала сигаретой в воздухе. — Ну-ка, ну-ка, кто это там?

К воротам на велосипеде подъехала женщина в широкой разрисованной шляпе. На ней были просторные джинсы и блуза из набивной ткани, как и платье бабушки Клауд, только более открытая. Она неловко слезла с велосипеда и сняла с багажника плетеную корзинку. Когда женщина стянула с головы шляпу и забросила ее за спину, Смоки узнал в ней миссис Дринкуотер. Она подошла и тяжело опустилась на ступеньки.

— Клауд, — проговорила она, — насчет сбора ягод я советовалась с тобой в самый что ни на есть распоследний раз.

— Мы с мистером Барнаблом, — бодро откликнулась Клауд, — беседовали о религии.

— Клауд, — мрачно продолжала миссис Дринкуотер, почесывая лодыжку ноги, обутой в кеды без шнурков с вылезшим наружу большим пальцем. — Клауд, меня сбили с дороги.

— Но корзинка у тебя полным-полнешенька.

— Меня сбили с дороги. А корзинку, черт ее подери, я набрала за первые же десять минут.

— Ну вот видишь.

— Однако ты не сказала, что меня собьют с дороги.

— А я об этом и не спрашивала.

Обе замолчали. Клауд курила, миссис Дринкуотер задумчиво чесала лодыжку. Смоки ничуть не задело, что миссис Дринкуотер с ним не поздоровалась: он этого даже не заметил, как следствие своей безличности; времени у него оказалось достаточно для того, чтобы поразмыслить не без удивления, почему Клауд ответила: «А я об этом и не спрашивала».

— Что до религии, — заметила миссис Дринкуотер, — то лучше узнать у Оберона.

— Посмотрим. Он неверующий. — Обращаясь к Смоки, Клауд добавила: — Это мой старший брат.

— Он только об этом и думает, — сказала миссис Дринкуотер.

— Да, — задумчиво повторила Клауд, — да. В этом-то и вся штука.

— А вы религиозны? — спросила у Смоки миссис Дринкуотер.

— Нет, — ответила за него Клауд. — Вот Август, конечно, был.

— В детстве я не получил религиозного воспитания, — сказал Смоки с усмешкой. — Был политеистом, вроде того.

— Как-как? — переспросила миссис Дринкуотер.

— Пантеон. Храм всех богов. Я ведь получил классическое образование.

— Вам придется с чего-то начать, — отозвалась миссис Дринкуотер, выбирая из корзинки с ягодами листики и мелких жучков. — Это будет *почти что* последнее неприятное задание. Завтра, слава те господи, Иванов день.

— Мой брат Август, дедушка Элис, — заметила Клауд, — вероятно, был набожным. Но он отбыл. В неведомые края.

— Миссионером? — поинтересовался Смоки.

— Что ж, может быть, и так, — протянула Клауд. Вновь создалось впечатление, что эта мысль поразила ее новизной. — Да-да, очень возможно.

Наверное, они уже оделись, — сказала миссис Дринкуотер. — Давайте-ка пойдем в дом.

Воображаемая спальня

Входная дверь-ширма была большой и старой. Когда Смоки потянул за фарфоровую ручку, ржавая пружина заскрипела. Сверху дверь местами

была проедена насквозь и походила на стены летней беседки, а нижняя ее часть за годы сделалась выпуклой от бессчетных пинков детей, которым не терпелось выскочить наружу. Смоки перешагнул через порог и оказался в доме.

Просторный, сиявший чистотой вестибюль хранил прохладный запах ночного воздуха, зимнего огня в камине, пакетиков с сушеной лавандой в платяных шкафах с медными ручками — и чего еще? Запахи пчелиного воска, солнечного света, чередования времен года, июньского дня ворвались внутрь, когда дверь, простонав, с шумом задвинулась за спиной Смоки. Полукруглая винтовая лестница с крутым изгибом вела наверх. На площадке, в луче солнца, проникавшего в дом через стрельчатое окно, стояла босиком его невеста, в джинсах с множеством заплаток. Из-за ее плеча выглядывала Софи: она стала на год старше, но все еще не сравнялась ростом с сестрой. Софи надела тонкое белое платье, пальцы украсила кольцами.

— Привет, — сказала Дейли Элис.

— Привет, — отозвался Смоки.

— Проводи Смоки наверх, — сказала миссис Дринкуотер. — Ему отведена воображаемая спальня. И я уверена, что он не прочь умыться.

Миссис Дринкуотер похлопала Смоки по плечу, и он поставил ногу на первую ступеньку. Спустя годы он — порой праздно, порой мучительно — будет пытаться припомнить, действительно ли он, однажды войдя в этот дом, хотя бы раз по-настоящему его покидал. Но в то время он поднимался по лестнице навстречу Дейли Элис с чувством исступленного счастья: наконец-то, после невероятно странного путешествия, он добрался до цели, и Дейли Элис встречает его многообещающими взглядами карих глаз; вероятно, именно в этом и заключался единственный смысл пройденного им пути — в чувстве счастья, которое он испытывал, а раз так, то смысл этот замечателен и все у него хорошо. Взяв Смоки за руку и отобрав у него дорожную сумку, Дейли Элис повела его в прохладные верхние покои дома.

— Я бы хотел умыться, — сказал он прерывисто, словно запыхавшись. Дейли Элис, пригнувшись к самому его уху, проговорила:

— Я вылижу тебя дочиста, как кошка.

Софи у них за спиной хихикнула.

— Холл! — провозгласила Элис, проведя рукой по стене, обшитой темными панелями. Минуя дверь за дверью, Элис оглаживала каждую из

стеклянных дверных ручек со словами: — Это спальня Ма и Па, а это — тише! — папин кабинет. А вот моя комната — видишь? — Смоки заглянул внутрь и увидел главным образом себя — отраженным в большом зеркале. — Воображаемый кабинет. Старая модель планетарной системы — там, выше по этой лестнице. Свернуть налево, потом опять налево. — Коридор походил на дугу, и Смоки не переставал удивляться, как все эти комнаты смогли здесь так разветвиться. — Пришли, — объявила Дейли Элис.

Комната имела неопределенную форму: из-за резко скошенного потолка концы комнаты разнились по высоте; окна тоже различались величиной. Смоки никак не мог решить, то ли комната выглядела больше, чем была, то ли была меньше, чем казалась. Элис кинула его дорожную сумку на узкую, покрытую пятнистым миткалем кровать, которую раскладывали здесь, видимо, только летом.

— Ванная дальше по коридору, — пояснила Дейли Элис. — Софи, сбегай-ка, принеси немного воды.

— Там есть душ? — спросил Смоки, предвкушая холодные тугие струи.

— Не-а, — отозвалась Софи. — Мы собирались

переделать водопровод, но уже не можем его найти...

— Софи!

Софи шмыгнула за дверь.

Сначала Дейли Элис захотелось слизнуть пот, выступивший на шее Смоки и его хрупкой ключице; потом он принялся распутывать концы ее рубашки, которые она связала узлом ниже груди; а потом — потом, охваченные нетерпением, они забыли об очередности действий и безмолвно и страстно препирались, попеременно одерживая верх, словно пираты, делящие сокровище, которое они так долго искали, так долго о нем мечтали и которое так долго от них таилось.

В саду, обнесенном стеной

В полдень они вдвоем ели сэндвичи с яблоками и арахисовым маслом в саду, обнесенном стеной, позади заднего фасада дома.

— Задний фасад?

Усыпанные плодами ветви деревьев перегибались через серую стену, облокотившись на нее, будто невозмутимые наблюдатели. Каменная столешница, за которой в углу сада под раскидистым буком сидели Смоки и Дейли Элис, была испещрена извитыми следами от раздавленных

прошлым летом гусениц. Яркие бумажные тарелочки выглядели на тяжелом камне слишком легкими и эфемерными. Смоки обычно не ел арахисового масла и теперь силился очистить нёбо языком.

— Сначала здесь был парадный вход, — пояснила Дейли Элис. — Потом тут разбили сад, обнесли его стеной, и фасадом стала задняя часть дома. Она, собственно, и была фасадом. А теперь здесь задний фасад.

Дейли Элис оседлала скамейку, подобрала с земли сучок, одновременно отбросив мизинцем попавшую в рот золотистую прядь, и быстро начертила на земле пятиконечную звезду. Смоки следил за рисунком, а потом перевел взгляд на туго облегавшие ее фигуру джинсы.

— Не совсем так, — произнесла Дейли Элис, по-птичьи глянув на свой набросок, — но похоже. В этом доме каждая сторона является парадной, видишь? Его построили как образец. Мой прадедушка? О котором я тебе писала? Он построил этот дом как образец, чтобы люди могли прийти, осмотреть его с любой стороны и выбрать, какой именно дом им нужен. Вот почему внутри все расположено как попало. Внутри дома — как бы множество домов: один словно вставлен в другой,

а иные друг с другом пересекаются, и у каждого впереди торчит свой собственный фасад.

— Что? — переспросил Смоки. Он, не отрываясь, смотрел на нее, пока она говорила, но все сказанное пропустил мимо ушей. Дейли Элис поняла это по его лицу и рассмеялась:

— Посмотри. Видишь?

Смоки посмотрел туда, куда она указывала. Это был строгий фасад в классическом стиле, увитый плющом; пятна на сером камне походили на капли темных слез; высокие сводчатые окна; симметрично расположенные детали, свойственные классическим ордерам; отделка рустами, колонны, цоколь. Из высокого окна кто-то выглядывал с задумчивым видом.

— Теперь пошли. — Дейли Элис крупными зубами откусила изрядную долю сэндвича с арахисовым маслом и за руку повела Смоки вдоль фасада; и пока они шли, тот начал раздвигаться, подобно декорации: казавшееся плоским выдвигалось вперед; то, что выпирало, сворачивалось; колонны превращались в пилястры и исчезали. Как лицо на волнистой картинке — забаве детишек: стоит ее наклонить, то злобно ухмыляется, то озаряется приветливой улыбкой, — так менялся и задний фасад, а когда они достиг-

ли противоположной стены и оглянулись, дом выглядел весело, в псевдотюдоровском стиле, с изогнутыми скатами крыши и сгрудившимися трубами дымоходов, похожих на шляпы клоунов. Из распахнувшегося на втором этаже широкого окна (меж стеклянных панелей в свинцовом переплете сверкнули одна или две цветных) выглянула Софи и замахала рукой.

— Смоки! — закричала она. — Когда закончишь завтракать, приходи в библиотеку поговорить с папочкой. — Она облокотилась о подоконник с довольным видом, как будто была очень рада сообщить эту новость.

— Хорошо, — небрежно отозвался Смоки. Он вернулся к каменному столику, а дом за его спиной вновь обрел романский облик. Дейли Элис доедала его сэндвич. — Что мне ему сказать? — Дейли Элис, с набитым ртом, пожала плечами. — Что, если он спросит меня прямо: а какие у вас виды на будущее, молодой человек? — Дейли Элис засмеялась, прикрыв рот ладошкой — точь-в-точь так же, как она это делала в библиотеке Джорджа Мауса. — Не могу же я признаться, что корректирую телефонные справочники.

На плечи Смоки тяжело, словно большие птицы, опустились и необъятность предприятия, за

которое он готовился взяться, и недвусмысленное намерение доктора Дринкуотера возложить на него эту ответственность. Раздираемый сомнениями, Смоки внезапно заколебался. Он посмотрел на свою долговязую возлюбленную. А все же, какие у него перспективы? Мог ли он признаться доктору в том, что Дейли Элис исцелила его от безличности одним махом — вернее, одним-единственным быстрым взглядом — и что этого более чем достаточно? Что по окончании брачной церемонии (и после взятия на себя тех религиозных обязательств, которые от него ожидались) он намеревался просто жить счастливо, как все люди?

Дейли Элис взяла небольшой складной нож и принялась длинной тонкой лентой очищать кожуру с зеленого яблока. Это был еще один из ее талантов. А от Смоки-то какой ей прок?

— Ты любишь детей? — спросила она, не отрывая глаз от яблока.

Дома и истории

В библиотеке было сумрачно: по давнему канону, ради сохранения в доме прохлады окна и двери в жаркий летний день закрывались. Было действительно прохладно. Доктора Дринкуотера в библиотеке не оказалось. Сквозь шторы на

сводчатых окнах Смоки мог видеть Софи и Элис, беседующих в саду за каменным столиком; он чувствовал себя мальчишкой, которого держат взаперти — по болезни или за непослушание. Смоки нервно зевнул и пробежал взглядом по корешкам ближайших к нему книг: похоже было, что к этим загроможденным полкам давным-давно никто не прикасался. Здесь стояли собрания религиозных проповедей, сочинения Джорджа Макдональда[27], Эндрю Джексона Дэвиса[28], Сведенборга[29]. Пару ярдов занимали повести доктора Дринкуотера для детей — приятно изданные, в дешевых переплетах, с однообразными названиями. Несколько отлично переплетенных томов классиков опирались на неизвестно чей гипсовый бюст в лавровом венке. Вместе со

[27] Примечания: 27

Джордж Макдональд — см. комментарии, раздел II.

[28] Примечания: 28

Эндрю Джексон Дэвис (1826–1910) — американский спиритуалист, ясновидец, испытавший влияние Э. Сведенборга (с призраком которого, по собственному утверждению, беседовал), активный сторонник социальных реформ. Автор книг «Принципы природы» (1847) и «Гармоничный человек» (1853).

[29] Примечания: 29

Сведенборг, Эмануэль (1688–1772) — шведский философ-мистик, геолог, инженер. Описал свои видения Небес и Преисподней в трактатах «Тайное небо» (1749–1756), «О Небе, аде и мире духов» (1758), «Истинная христианская религия» (1771) и др.

Светонием[30] Смоки вытащил нечаянно вклинившуюся между томами брошюру. Брошюра была старой, с загнутыми уголками страниц, покрытых желтыми пятнами, иллюстрированная фотогравюрами с перламутровым отливом и озаглавленная «Загородные дома и их истории». Смоки бережно перелистывал страницы, стараясь не повредить клееный переплет и разглядывая темные сады с черными цветами; замок без кровли, построенный на острове посреди реки магнатом, который сколотил себе состояние торговлей нитками; дом, построенный из пивных бочек.

Переворачивая лист, Смоки поднял глаза. Дейли Элис и Софи уже ушли из сада; картонная тарелочка соскользнула со столика и, проделав балетный пируэт, легла на землю.

На фотографии в книге двое пили за каменным столиком чай. Мужчина с пышной светлой шевелюрой, в светлом летнем костюме и галстуке в

[30] Примечания: 30

Светоний — Гай Светоний Транквилл (ок. 69 — после 122) — древнеримский историк и писатель, автор знаменитого сборника биографий «О жизни двенадцати цезарей».

крапинку, походил на поэта Йейтса[31]: глаз его не было видно из-за очков, блестевших на солнце. На смуглое лицо женщины падала тень от белой широкополой шляпы, а черты его были чуточку смазаны — возможно, от нечаянного движения во время съемки. Позади виднелась часть того дома, в котором сейчас находился Смоки, а рядом с ними, протянув к женщине тоненькую ручку (та вроде бы протягивала в ответ свою, а может быть, и нет: сказать было трудно), стояло некое существо, фигурка, малютка — ростом не выше фута, в шляпе конусом и остроносых туфельках. Расплывчатые черты лица тоже были смазаны от внезапного движения и не походили на человеческие; за спиной у существа мерещилась пара прозрачных крыльев, как у насекомого. Сопроводительная надпись гласила: «Джон Дринкуотер и миссис Дринкуотер (урожденная Вайолет Брамбл); эльф. Эджвуд, 1912». Еще ниже автор счел

[31] Примечания: 31

Йейтс, Уильям Батлер (1865–1939) — ирландский поэт, собиратель фольклора («Волшебные и народные истории ирландских крестьян», 1888), лауреат Нобелевской премии. Увлекался теософией и верил в фейри. В предисловии к «Волшебным и народным историям...» он писал: «“Видели вы когда-нибудь фею или что-нибудь вроде?” — спросил я у старика из графства Слайго. “Ну не докука ли мне от них”, — был ответ» (перевод Н. Бавиной). На книжной полке Эджвуда, вероятно, стоит одна из книг, объединенных после смерти Йетса под общим названием «Мифологии», — например, «Кельтские сумерки» (1893), сборник историй о встречах людей и фейри.

нужным добавить следующее:

«Наиболее эксцентричным из всех причудливых домов, построенных на рубеже веков, может считаться дом Джона Дринкуотера «Эджвуд», хотя первоначально он таковым и не задумывался. Начало его истории следует отнести к 1880 году, когда Дринкуотер впервые опубликовал свою книгу «Архитектура загородных домов». Эта превосходная, получившая всеобщее признание работа представляет собой сжатый обзор характерных особенностей домостроительства в викторианскую эпоху. Книга принесла молодому автору известность, и впоследствии он стал партнером прославленного архитектурно-ландшафтного содружества Маус-Стоун. В 1894 году Дринкуотер спроектировал Эджвуд в качестве единой составной иллюстрации, вобравшей в себя все отдельные изображения из своей знаменитой книги: несколько разных домов несходных размеров и стилей он сплавил в одно сооружение, что решительно не поддается буквальному описанию. То, что здание некоторым образом все же соотносится с понятием логической упорядоченности, делает честь творческим — уже убывающим — способностям Дринкуотера. В 1897 году Дринкуотер женился на Вайолет Брамбл,

молодой англичанке, дочери проповедника-мистика Теодора Берна Брамбла, и по заключении брака полностью подпал под влияние супруги, увлекавшейся магнетическим спиритизмом. Ее мировоззрение явно сказалось на позднейших изданиях «Архитектуры загородных домов», в которых все большее и большее место отводилось теософским выкладкам или рассуждениям в духе идеалистической философии, при том что первоначальный текст сохранялся в неприкосновенности. Шестое, и последнее, издание (1910) было отпечатано в частной типографии, поскольку коммерческие издательства уклонились от публикации, однако в книгу вошли все иллюстрации из первого издания (1880).

В те годы Дринкуотеры собрали вокруг себя общество единомышленников, среди которых были художники, эстеты и утомленные жизнью ранимые натуры. С самого начала исповедуемая ими вера приняла англофильский оттенок, и в число заинтересованных корреспондентов вошли поэт Йейтс, Дж. М. Барри[32], ряд широко

[32] Примечания: 32

Дж. М. Барри — Джеймс Мэтью Барри (1860–1937) — британский писатель. В обеих книгах о Питере Пэне («Белая птичка», 1902, сокр. — «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», 1906; «Питер Пэн», 1904 — пьеса, 1911 — повесть) немалую роль играют фейри (феи).

известных художников-иллюстраторов, а также особы, служившие живым воплощением того типа «поэтической личности», который пользовался наивысшей популярностью в блаженных сумерках предвоенной поры и бесследно растаял при безжалостном современном освещении.

Любопытная подробность: все эти люди сумели извлечь выгоду из всеобщего запустения тамошних фермерских хозяйств в те времена. Из пятиугольника, образованного пятью городками вокруг Эджвуда, разорившиеся мелкие фермеры уезжали в Город и на Запад, а их дома, спасаясь от экономических затруднений, занимали поэты с кроткими лицами. Вряд ли странно, что представители того узкого кружка (а до наших дней дожили немногие) в годину величайшего для страны бедствия сознательно отказывались от военной службы; неудивительно и отсутствие всяких зримых напоминаний о свершавшихся ими гротескных и тщетных мистериях.

В летнем доме Дринкуотера и поныне обитают его наследники. Продолжая служить образцом архитектурной причудливости, он располагается на довольно обширном участке, однако доступ для посетителей не предусмотрен».

Эльф?

Совет доктора Дринкуотера

— Нам вроде бы надо потолковать, — начал разговор доктор Дринкуотер. — Где вам удобней присесть?

Смоки опустился в глубокое кресло с кожаной обивкой. Доктор Дринкуотер, расположившись на большом мягком диване «честерфилд»[33], провел рукой по густой шевелюре, цикнул зубом и в качестве предисловия хорошенько прокашлялся. (Смоки замер в ожидании первого вопроса.

— Вы любите животных? — спросил доктор.

— Как сказать, — замялся Смоки, — я почти не имел с ними дела. Но мой отец любил собак. — Доктор Дринкуотер разочарованно покачал головой. — Я всегда жил в городах или в пригородах. Мне нравилось слушать пение птиц по утрам. — Смоки помолчал. — И я читал ваши рассказы. Думаю... думаю, они очень правдивы. — Он улыбнулся (как тотчас же осознал, с омерзительным подобострастием), но доктор Дринкуотер, казалось, ничего не заметил, а только глубоко вздохнул.

---

[33] Примечания: 33

Диван «честерфилд» — мебель из красного дерева с кожаной обивкой, «простегнутой» гвоздями.

— Полагаю, — заговорил он снова, — вам ясно, во что вы ввязываетесь.

Теперь уже Смоки пришлось откашляться, прежде чем ответить:

— Да, сэр, конечно, я понимаю, что не могу предложить Элис... э-э... того великолепия, к какому она привыкла. По крайней мере, пока не могу. Но я... я буду стараться. У меня неплохое образование — правда, не совсем официальное, но я веду поиски, как использовать свои знания. Я могу преподавать.

— Преподавать?

— Классические языки.

Доктор, вскинув глаза, разглядывал высокие полки, отягощенные томами в темных переплетах.

— Хм. В этой комнате у меня всегда начинается нервная дрожь. Иди, поговори с мальчиком в библиотеке, велела Ма. А я всячески избегаю сюда заглядывать. Так что именно вы преподаете? Я как-то прослушал.

— Видите ли, пока что еще не преподаю. Только пытаюсь — ну, как бы втянуться, что ли.

— А писать вы умеете? Я имею в виду ваш почерк. Для учителя это очень важно.

— О да. Почерк у меня хороший. — Пауза. — И у

меня есть немного денег, я получил наследство...

— А, деньги... Об этом заботиться нечего. Мы достаточно богаты. — Усмехнувшись, доктор Дринкуотер откинулся на спинку дивана «честерфилд», обхватив согнутое под фланелевыми брюками колено до странности маленькими руками. — Богаты, как Крез. Главным образом, благодаря моему дедушке. Он был архитектором. А кроме того, мне платят за публикации. И еще нам дали хороший совет. — Он как-то непонятно, почти с сожалением, посмотрел на Смоки. — Так что на хороший совет вы можете всегда рассчитывать. — Затем доктор Дринкуотер, словно уже сообщив этот совет Смоки, разогнул ноги, хлопнул себя по коленями поднялся с дивана. — Ну, мне пора. Увидимся за обедом. Всего доброго. Не слишком перенапрягайтесь. Завтра вам предстоит долгий день. — Последнюю фразу доктор Дринкуотер произнес уже за дверью, куда вылетел чуть ли не пулей.

«Архитектура загородных домов»

Смоки заметил их за стеклянными дверцами над головой доктора Дринкуотера, сидевшего на диване. Оставшись один, Смоки залез с коленями на диван, повернул витой ключ в замке и

распахнул дверцы. Там они и стояли, все шесть томов, в соответствии с путеводителем, аккуратно расположенные по толщине. Рядом с ними стояли вплотную или лежали стопками другие тома — вероятно, переиздания. Смоки вынул самый тонкий том — толщиной эдак с дюйм. «Архитектура загородных домов». Переплет украшала гравированная на металле надпись косыми буквами в викторианском «сельском» стиле, с ответвляющимися побегами и листьями. Оливковый цвет мертвой листвы. Смоки пролистал плотные страницы. Перпендикулярная готика[34] в чистом виде или ее варианты. Итальянская вилла, пригодная для проживания на открытой местности. Дома в тюдоровском стиле и подновленном неоклассическом — целомудренно помещены на отдельных листах. Коттедж. Особняк. На каждой гравированной иллюстрации дома окружены тополями или соснами, здесь — фонтан, там — гора; кое-где чернеют фигурки немногих посетителей — или же гордых владельцев, явившихся вступить в

[34] Примечания: 34

Перпендикулярная готика — заключительная фаза английской готической архитектуры (с XV в.). Характеризуется преобладанием вертикальных линий в рисунке декоративных элементов и сложным плетением нервюр сводов (арок, укрепляющих ребра свода).

права собственности? Смоки подумал, что если бы эти иллюстрации отгравировать на стекле и все до единой разом поместить в населенную мошками полосу солнечного света, бившую из окна, то из них бы составился Эджвуд, такой, каков он есть[35]. Смоки пробежал глазами кусочек пояснительного текста, в котором указывались тщательно выверенные размеры, перечислялись дополнительные вариации по прихоти заказчика, полностью приводился занятный перечень расценок (каменщики, работавшие за десять долларов в неделю, давно переселились на тот свет и унесли с собой в могилу секреты своего мастерства); как ни странно, в книге содержались и рекомендации, какой именно тип дома лучше всего отвечал характеру и роду занятий того или иного человека. Смоки вернул том на место.

Следующий, который он вытащил, оказался чуть ли не в два раза толще. Четвертое издание: «Литтл и Браун»; Бостон, 1898. На фронтисписе — портрет печального Дринкуотера, выполненный

---

[35] Примечания: 35

...если бы эти иллюстрации отгравировать на стекле и все до единой разом поместить в населенную мошками полосу солнечного света, бившую из окна, то из них бы составился Эджвуд, такой, каков он есть. — Один из лейтмотивов всего творчества Краули: схожий образ возникает и в предыдущем его романе («Машинное лето», 1979), и в следующем («Эгипет», 1987).

мягким карандашом. Смоки с трудом разобрал написанное через дефис двойное имя художника. На густо заселенном титульном листе стоял эпиграф: «Восстаю я и вновь разрушаю». Шелли[36]. Иллюстрации были те же самые, хотя и дополненные вариантами с поэтажными планами зданий и размеченные непостижимым для Смоки образом.

Шестое, и последнее, издание представляло собой большой тяжелый том в превосходном переплете модернового розовато-лилового цвета[37]. Литеры заглавия вытягивали изломанные суставы и пускали завитки книзу, словно пытаясь укорениться: казалось, будто перед глазами отражение на подернутой рябью поверхности вечернего пруда, где плавают водяные лилии

---

[36] Примечания: 36

«Восстаю я и вновь разрушаю». Шелли. — Последняя строка стихотворения «Облако» (1820). Видимо, для Джона Дринкуотера важны идеи вечной изменчивости и цикличности, выраженные Перси Биши Шелли (1792–1822).

[37] Примечания: 37

...в превосходном переплете модернового розовато-лилового цвета. — Первое десятилетие XX века, период расцвета ар-нуво, было названо в Англии «мальвовым десятилетием» в честь феноменально популярного анилинового красителя, синтезированного Уильямом Генри Перкином (1838–1907) еще в 1856 году; это был исторически первый искусственный краситель. К полувековому юбилею своего открытия (случайного: на деле Перкин пытался синтезировать хинин) ученый был удостоен рыцарского титула.

в цвету. Фронтиспис изображал уже не Дринкуотера, а его жену: фотография напоминала смазанный рисунок углем. Расплывчатые черты лица. Возможно, дело тут вовсе не в технических приемах. Возможно, она и была именно такой на самом деле — присутствующей не полностью, но все равно очаровательной. Дальше шли стихотворные посвящения и послания, вслед за ними — прочная броня Введений, Предисловий и Предуведомлений, набранных красным и черным шрифтом, а потом опять такие же маленькие домики, что и раньше, которые выглядели теперь старомодно и неуклюже, словно заурядный городок, уничтожаемый современными веяниями. Казалось, автор, писавший под диктовку Вайолет, отчаянно пытался последним усилием разума удержать воедино бессчетные страницы, унизанные абстракциями с прописных букв (чем толще делались тома, тем мельче становился шрифт); едва ли не повсеместно на полях имелись глоссы; всюду глаз натыкался на эпиграфы, пространные названия глав и все прочие атрибуты, которые превращают текст в объект, строго выстроенный и логически упорядоченный, но прочтению не поддающийся. В конце тома к муаровому форзацу была приложена не то таблица, не то карта,

свернутая несколько раз: по сути, пухлый пакет. Бумага была очень тонкая, и Смоки поначалу не мог сообразить, как ее развернуть. Попробовал одним способом, но старая бумага с легким треском надорвалась, и он, с испуганной гримасой, взялся с другого края. При беглом просмотре частей карты обнаружилось, что это — гигантских размеров план, но чего именно? В конце концов Смоки удалось развернуть план полностью; громадный шуршащий лист лежал у него на коленях: ему оставалось только его перевернуть лицевой стороной, однако Смоки медлил, не будучи вполне уверенным, действительно ли ему хочется установить истину. «Полагаю, — всплыли у него в голове недавние слова доктора Дринкуотера, — вам ясно, во что вы ввязываетесь». Смоки приподнял краешек старинного листа — почти невесомый и тонкий, словно крылышко мотылька; солнечный луч пронизал его насквозь: сделались видны сложные контуры, усеянные отсылками, и Смоки осторожно разгладил план, чтобы вглядеться в него пристальней.

Как раз в эту минуту

— Так она пойдет, Клауд? — спросила Ма.

— Похоже, что нет, — отрезала Клауд и молча

уселась за дальним концом кухонного стола с сигаретой, дымок от которой вился в столбе солнечного света.

Ма, испачкавшись в муке по самые локти, готовила пирог: занятие отнюдь не бездумное, хотя ей нравилось называть его именно так; на деле она находила, что за стряпней мысли у нее зачастую особенно проясняются, а суждения становятся наиболее проницательными. Работая руками, она могла делать то, что в другое время ей не удавалось: выстроить проблемы стройными рядами и во главе каждого поставить командовать надежду. Кухарничая, она вспоминала забытые, казалось, стихи или начинала говорить на иных языках[38]: за мужа, за детей, за покойного отца или за еще не рожденных, но отчетливо представлявшихся ей внуков — трех девушек-выпускниц и худощавого грустного подростка. Перед переменой погоды у нее ломило локти, и, ставя старинные прозрачные противни в пышущую жаром духовку, она объявила о приближении грозы. Клауд курила молча и, вздохнув, промокнула выступившие на морщинистой шее росинки

[38] Примечания: 38

...начинала говорить на иных языках... — Библеизм: в экстазе человек начинает говорить на языке, которого не знает («И начаша глаголати иными языки», Деян. 2:4).

носовым платочком, который тут же аккуратно спрятала в складки рукава. Со словами «Позже все будет намного яснее» она медленно вышла из кухни и прошла через залы к себе в комнату, думая, что в ожидании обеда сможет чуточку вздремнуть. Прежде чем лечь на широкую перину, которую она несколько коротких лет делила с Генри Клаудом, Нора взглянула на холмы; верно: в небе над горизонтом начали собираться белые кучевые облака; они громоздились друг на друга и надвигались с победной неотвратимостью. Похоже, Софи не ошиблась. Нора Клауд лежала и думала: во всяком случае, он явился как штык и ни в чем не отклонился. Дальнейшее рисовалось ей смутно.

Как раз в эту минуту там, где Старый Каменный Забор отделяет Зеленый Луг от каменистого Старого Пастбища, заселенного прыгучими насекомыми, которое тянется вплоть до Пруда Лилий, доктор Дринкуотер, в мягкой широкополой шляпе из гладкого фетра, остановился, запыхавшись от подъема по склону. Постепенно шум крови у него в ушах затих, и он смог вслушаться в разыгрывавшийся перед ним спектакль — единственный ему доступный: несмолкаемое щебетание птиц, стрекот цикад, шуршанье и

глухую возню бессчетных живых существ, являвшихся на сцену и ее покидавших. Этой земли касалась рука человека, хотя следы ее вмешательства к тому времени почти исчезли. Дальше, за Прудом, виднелась дремотная крыша амбара Брауна: там простиралось заброшенное им пастбище, а вот эта стена служила стародавней разграничительной метой. Пейзаж разнообразили остатки хозяйственной предприимчивости: пространство, расчищенное для постройки домов разной величины; широкая каменная стена; залитое солнцем пастбище; тот же пруд. Все это, собственно, и составляло значение слова «экология», которое, неточно используемое, время от времени попадалось доктору на глаза в тесно набранных колонках, обрамлявших его собственную местную хронику в главной газете Города. Пока он, с предельной сосредоточенностью внимая всему его окружавшему, сидел на теплом, покрытом лишайником валуне, Малыш Бриз[39] принес ему весть о том, что к вечеру от нагромождения грозовых туч здесь останутся одни клочья.

Как раз в эту минуту в комнате Софи, на широкой перине, долгие годы служившей Джону

---

[39] Примечания: 39

Малыш Бриз — персонаж сказок Т. Бёрджесса.

Дринкуотеру и Вайолет Брамбл, лежали теперь две их правнучки. Длинное неяркое платье, которое Дейли Элис должна была надеть на следующий день и предположительно уже никогда в жизни с ним не расставаться, аккуратно висело на дверце платяного шкафа; его точное подобие отражалось в зеркале, а вокруг были разложены прочие детали наряда невесты. Из-за полуденной жары обе сестры лежали обнаженными. Софи провела рукой по влажному от пота бедру Дейли Элис, которая откликнулась: «Ох, ну и жарища!» и тут же почувствовала, как еще более жаркие слезы сестры закапали ей на плечо.

— Когда-нибудь, очень скоро, настанет твой черед, ты сделаешь свой выбор, а может, выберут тебя, и ты будешь такой же июньской невестой, — проговорила Дейли Элис, но Софи всхлипнула:

— Нет, я никогда, никогда не буду. — И больше Элис ничего не могла разобрать, потому что Софи уткнулась лицом ей в шею и вот что продолжала бормотать еле слышно, как бормотал полдень: — Он никогда ничего не поймет и не заметит; ему никогда не дадут того, что дали нам; он ступит не туда и посмотрит, когда надо бы отвернуться; не разглядит дверей и пропустит повороты; погодите — и увидите, только погодите — и сами

увидите.

И как раз в эту минуту двоюродная бабушка Клауд размышляла над тем же: что они увидят, если подождут; и Ма испытывала те же переживания, но не столько любопытствовала, сколько пыталась удачно сманеврировать в окружении целого полчища Вероятностей; и как раз в эту минуту и Смоки, оставленный в одиночестве на время повальной (так ему казалось) воскресной сиесты в темной и пыльной библиотеке наедине со всеобъемлющим планом, вздрогнул от того же самого чувства, бессонный и ровный, будто пламя.

Глава третья

Жила старушка под горой —
Жила не год, не два:
Коль не почила вечным сном —
И посейчас жива[40].

Однажды в сумерках, благодатным летом в конце прошлого века, Джон Дринкуотер, совершая пешее путешествие по Англии под предлогом осмотра домов, приблизился к воротам сложенного из красного кирпича дома чеширского священника. Он сбился с пути, по неосторожности выронив путеводитель в бурный поток воды у мельницы, где он пристроился, чтобы перекусить. Сейчас он был голоден и, несмотря на умиротворенный покой английской сельской местности, испытывал некоторую тревогу.

Странная внутренняя планировка

В заросшем буйной растительностью саду викария среди тесно посаженных розовых ку-

---

[40] Примечания: 40

Жила старушка под горой... — четверостишие из «Песен Матушки Гусыни».

стов порхали разноцветные мотыльки; птицы с шуршаньем перелетали с ветки на ветку искривленной яблони, стоявшей посередине. В развилке яблони кто-то зажег свечу. Свечу? Молоденькая девушка в белом прикрывала руками язычок пламени, который то вспыхивал, то угасал, а потом разгорался вновь. Обращаясь не к нему, девушка спросила:

— Что такое?

Свеча погасла, и тогда Джон обратился к девушке:

— Простите, пожалуйста.

Девушка принялась быстро и ловко спускаться с дерева, а Джон чуть отступил от ворот, чтобы не показаться назойливым, и замер, ожидая, когда она подойдет и заговорит с ним. Но она не подошла. Где-то — или всюду — начал свою звонкую песню соловей, замолчал и защелкал вновь.

Не столь давно Джон Дринкуотер оказался на перепутье (не в буквальном смысле этого слова, хотя за месяц путешествия ему не раз приходилось выбирать, плыть ли вниз по течению или одолевать высоту; впрочем, приобретенный им опыт для жизни годился мало). Целый ненавистный год он потратил на проектирование огромного Небоскреба: здание, насколько поз-

волили бы его величина и назначение, должно было выглядеть кафедральным собором тринадцатого столетия. Когда он впервые представил эскизы на рассмотрение своему клиенту, затея лежала в плоскости шутки, каприза, походила даже скорее на розыгрыш, который, как ожидалось, будет немедленно отвергнут, но заказчик юмора не уловил и пожелал, чтобы его Небоскреб воздвигли именно таким, каким он был изображен на эскизах, — Собором Коммерции. Ни о чем подобном Джон Дринкуотер и помыслить не мог: ни о латунном почтовом ящике в виде крестильной купели; ни о гротескных барельефах в клюнийском стиле[41] с карликами, которые болтали по телефону или читали каменную телеграфную ленту; ни о горгульях, помещенных на недосягаемой для зрения высоте, — точной копии физиономии клиента (тот, впрочем, отказался признать даже малейшее сходство) с горящими глазами и пористым носом. Заказчика ничто не смутило, и теперь проект предстояло реализовать, в точности следуя первоначальному наброску.

---

[41] Примечания: 41

...о гротескных барельефах в клюнийском стиле... — Имеются в виду барельефы на капителях церкви Сен-Пьер в Клюни (нач. XII в.). Искусствоведы определяют их как грубоватые, но выразительные.

Пока тянулась разработка проекта, с Джоном чуть было не произошла перемена. Чуть было, потому что он сопротивлялся ей как чему-то внешнему, но точного названия этой перемене найти не мог, хотя оно и вертелось на языке. Сначала в плотный, однако расписанный по минутам дневной график мечтаний начали вторгаться посторонние шепотки: отвлеченные понятия облекались в слова, которые у него в голове как будто произносил чей-то голос. Например, *множественность*. В другой раз (когда он сидел, глядя через высокие окна Университетского клуба на струи дождя, перемешанного с сажей) появилось еще одно слово: *комбинаторная*. Произнесенное однажды вслух, это понятие неким образом полностью завладело его сознанием, а потом распространило власть и на его рабочее место, и на всю контору в целом. Это продолжалось до тех пор, пока он не ощутил себя совершенно парализованным и неспособным предпринять следующий, давно подготовленный и тщательно продуманный шаг в своей карьере, которую окружающие называли не иначе, как «головокружительной».

Джон чувствовал себя так, будто впадает в затяжной сон или, возможно, только от него про-

буждается. Ему не хотелось ни того, ни другого. В качестве особо действенного, как он думал, лекарственного средства он начал проявлять интерес к теологии. Прочитал Сведенборга и Августина; наибольшее утешение принесло ему чтение Фомы Аквинского: он прямо-таки ощущал, как Ангельский Доктор[42] возводит камень за камнем грандиозный кафедральный собор своей «Суммы»[43]. Узнал он также и то, что в конце жизни Аквинат называл все им написанное «охапкой соломы».

Охапка соломы. Дринкуотер сидел за своим широким рабочим столом в длинном, с застекленной крышей офисе фирмы «Маус, Дринкуотер, Стоун» и разглядывал тонированные под сепию фотографии башен, парков, вилл, которые он построил, и думал: охапка соломы. Чем не первый и самый непрочный домик из сказки «Три поросенка»? Нужен укрепленный приют, где он мог бы укрыться от преследующего его хищни-

---

[42] Примечания: 42

Ангельский Доктор (вар.: Ангелический доктор) — титул, посмертно присвоенный св. Фоме Аквинскому (1225/1226–1274) за верность Церкви (и, согласно другому объяснению, за мягкий, незлобивый характер).

[43] Примечания: 43

«Сумма» — имеется в виду составленный Фомой Аквинским компендиум «Сумма теологии» (1261). Менее вероятна принадлежащая его же перу «Сумма против язычников» (1258).

ка, кем бы тот ни оказался. Джону исполнилось тридцать девять.

Вскоре его партнер Маус обнаружил, что Джон Дринкуотер, просидев несколько месяцев за чертежной доской, не продвинулся ни на шаг в дальнейшей разработке плана Собора Коммерции, а вместо того час за часом рисовал крошечные домики со странной внутренней планировкой. Джона на время отправили за границу для отдыха.

Странная внутренняя планировка... У дорожки, которая вела от ворот к входной двери с окошечком наверху, он увидел не то какой-то механизм, не то садовое украшение — белый шар, окруженный ржавыми железными обручами. Выломанные обручи валялись на дорожке, едва приметные в траве. Джон толкнул калитку, и она отворилась, коротко пропев несмазанными петлями. Внутри дома мелькнул свет, и когда он, пройдя по заросшей травой дорожке, приблизился к дому, его окликнули изнутри.

Это был именно он

— Тебя сюда не звали, — заявил доктор Брамбл (это был именно он). — Чтобы духу твоего здесь больше не было. Это ты, Фред? Если люди

не умеют себя вести, мне придется повесить на калитку замок.

— Я не Фред.

Выговор Джона заставил доктора Брамбла задуматься. Он поднял лампу повыше.

— Тогда кто же вы?

— Просто путешественник. Боюсь, что заблудился. Телефона у вас, думаю, нет.

— Разумеется, нет.

— Я не собирался вторгаться в ваш дом.

— Осторожнее, там стоит старая модель планетарной системы, но она рухнула и превратилась в ужасный капкан. Вы американец?

— Да.

— Так-так! Ну что ж, входите.

Девушки не было видно.

Тенистые причудливые тропы

Два года спустя Джон Дринкуотер с сонным видом сидел в жарко натопленном и озаренном духовностью помещении Городского теософского общества (он сроду не подумал бы, что развилки жизненного пути приведут его сюда, но случилось именно так). Была объявлена подписка на курс лекций, которые должны были читаться просвещенными специалистами в различных областях

знания, и среди медиумов и гимнософистов[44], ожидавших решения Общества, Дринкуотер обнаружил имя доктора Теодора Берна Брамбла, который собирался поведать о существовании Малых миров внутри Большого. Едва только Джон прочитал это имя, как в памяти у него тотчас же невольно возникла девушка на яблоне, прикрывавшая руками слабый огонек свечи. *Что такое?* Джон снова увидел, как она входит в сумрачную столовую: викарий так и не счел нужным ее представить, будучи не в силах прервать пространную рацею ради того, чтобы назвать имя девушки; он только кивнул и отодвинул в сторону груду книг в заплесневелых переплетах и стопку бумаг, перевязанных голубой лентой, освобождая на столе место для потускневшего чайного сервиза и треснутой тарелки с копченой рыбой. Все это девушка принесла и поставила на стол, не поднимая глаз на гостя. Она могла быть дочерью, или служанкой, или пленницей, или экономкой, или даже санитаркой, поскольку идеи доктор Брамбл высказывал — хотя и в достаточно мягкой форме — весьма странные и

[44] Примечания: 44

Гимнософисты («нагие мудрецы») — так древние греки называли индийских брахманов-аскетов; в более позднем употреблении — крайние аскеты.

явно навязчивые.

— Видите ли, по мнению Парацельса... — Тут доктор умолк, раскуривая трубку.

Воспользовавшись паузой, Дринкуотер ухитрился задать вопрос:

— Молодая леди ваша дочь?

Брамбл оглянулся с таким видом, словно Дринкуотер обнаружил кого-то из членов семейства, о котором он не подозревал; затем кивнул в знак согласия и продолжил:

— Парацельс, видите ли...

Девушка по собственной инициативе внесла красный и белый портвейн; когда вино было выпито, доктор Брамбл, разгорячившись, принялся рассказывать о своих неприятностях: как его изгнали с кафедры за то, что он возвещал истину, по мере того, как она ему открывалась; как теперь к нему подбираются, лишь бы вдоволь поиздеваться, и привязывают жестянки к хвосту его собаки — бедного безъязыкого существа! Девушка принесла еще виски и бренди, и Джон, отбросив, наконец-то, церемонии, спросил, как ее зовут.

— Вайолет, — ответила девушка, опустив глаза.

Когда доктор Брамбл все-таки повел его к посте-

ли, главным образом потому, что не желал терять слушателя, Дринкуотер из его слов уже почти ни единого не разбирал.

— Дома построены из домов, расположенных внутри домов, построенных из времени.

Проснувшись незадолго перед рассветом, Дринкуотер с удивлением обнаружил, что произнес эту фразу вслух. Ему только что снилось доброе лицо доктора Брамбла, а горло горело огнем. Когда Джон опрокинул стоявший в изголовье кувшин, из-под него выполз потревоженный паук. По-прежнему мучимый жаждой, Дринкуотер подошел к окну, прижимая к щеке прохладный фарфор. Между подстриженными кружевными деревьями лежали образованные ветерком островки тумана и гасли последние светлячки. Он увидел, как Вайолет возвращается из амбара — босая, в светлом платье, с ведрами молока. Ступала она очень осторожно, однако при каждом ее шаге на землю падали белые молочные капли. И в это мгновение Джон Дринкуотер с пронзительной ясностью представил себе, как возьмется за постройку дома, который спустя год и несколько месяцев станет Эджвудом.

И вот теперь здесь, в Нью-Йорке, перед ним лежало имя той, кого, как он думал, никогда

больше не увидит. Джон Дринкуотер включил себя в список.

Едва прочитав имя доктора Брамбла, он сразу понял, что Вайолет будет сопровождать отца. Он уже Как-то знал, что она стала еще очаровательнее, а ее волосы, которых не касались ножницы, сделались на два года длиннее. Он не знал только, что она беременна третий месяц не то от Фреда Рейнара, не то от Оливера Хокскилла или еще от кого-нибудь из тех, кого не жаловали в доме викария (имя он так и не спросил). Джону даже не приходило в голову, что Вайолет — так же как и он сам — стала на два года старше и тоже оказалась на жизненном перепутье и что перед ней открылись тенистые причудливые тропы.

Назовем их дверьми

— Парацельс придерживается мнения, — внушал доктор Брамбл теософам, — что Вселенная наполнена энергией и духами, которые не являются вполне бесплотными, как бы этот термин ни трактовать; возможно, они созданы из некоего более тонкого и менее осязаемого вещества, нежели окружающий нас привычный мир. Они заполняют воздух, находятся в воде и прочее; они окружают нас со всех сторон, так что при каждом

нашем движении, — при этих словах доктор плавно откинул руку с длинными пальцами, взволновав висевшие в воздухе клубы табачного дыма из своей трубки, — мы перемещаем их целыми тысячами[45].

Вайолет сидела у самой двери, куда не падал свет лампы под красным козырьком: она явно скучала или нервничала, а может быть, и то и другое вместе. Она приложила ладонь к щеке, и темный пушок на ее руке слегка золотился в отсвете лампы. Глаза ее смотрели мрачно и сосредоточенно; густые невыщипанные брови образовывали над переносицей одну широкую линию. Вайолет не взглядывала на Джона, а если и взглядывала, то словно бы не видела.

— Парацельс подразделяет духов на нереид,

[45] Примечания: 45

...они окружают нас со всех сторон, так что при каждом нашем движении... мы перемещаем их целыми тысячами. — Доктор Брамбл осведомлен в новейшей на тот момент литературе: он цитирует статью Уильяма Батлера Йейтса «Бродячие фейри» (1896). Ср.: «Нельзя двинуть рукой без того, чтобы не оказать действия на несметное их число или не обратить действия на себя» (перевод Н. Бавиной).

дриад, сильфид и саламандр[46], — продолжал доктор Брамбл. — Иными словами, это так называемые русалки, эльфы, феи и гоблины (или домовые). Каждая категория духов соответствует одной из четырех мировых стихий: русалки — воде, эльфы — земле, феи — воздуху, домовые — огню. Вот почему мы дали всем этим существам общее наименование — «элементали». Очень точно и лаконично. У Парацельса все превосходно разложено по полочкам. Тем не менее, выдвинутая им классификация неверна, поскольку основана на распространенной ошибке — на давнем и глубочайшем заблуждении, которое сопровождает всю историю развития нашей науки. А именно: считается, что мир состоит якобы только из этих четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня. Теперь, разумеется, нам известно о существовании примерно девяноста стихий, в число которых названная мною старинная четверка не входит.

Среди наиболее радикальной части аудитории

---

[46] Примечания: 46

Парацельс подразделяет духов на нереид, дриад, сильфид и саламандр... — Учение это изложено в трудах немецкого врача, натурфилософа и алхимика Парацельса (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493–1541): «Потаенная философия» (опубл. 1553) и «Книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах, гигантах и прочих духах» (опубл. 1566).

(склонной к розенкрейцерству[47] и по сей день отводившей четырем мировым стихиям важнейшее место) возникло волнение, и доктор Брамбл, который отчаянно нуждался в успехе своего нынешнего доклада, отпил из бокала глоток воды, прокашлялся и решил перейти к припасенным им более сенсационным откровениям.

— Вопрос, собственно, заключается в следующем, — снова заговорил доктор. — Если «элементали» не являются несколькими видами живых существ, а принадлежат, как я полагаю, к одному и тому же роду, то почему они проявляют себя в таком множестве разнообразных форм? *А то, что они заявляют о себе, леди и джентльмены, отныне не подлежит более ни малейшему сомнению.* — Доктор многозначительно посмотрел на свою дочь, глаза почти всех присутствующих обратились в ту же сторону. В конце концов, именно ее опыт и придавал какую-то весомость всем выкладкам доктора Брамбла. Вайолет смущенно улыбнулась и словно бы съежилась под пристально изучавшими ее взглядами. — И вот,

---

[47] Примечания: 47

Розенкрейцерство — мистическое движение, якобы восходящее к некоему Христиану Розенкрейцу (1378–1484). Первый манифест розенкрейцерства опубликован в 1614 году Иоганном Валентином Андреэ (1586–1654), «реальные» розенкрейцерские общества возникли в начале XVIII века.

— развивал свою мысль доктор, — сопоставив между собой всевозможные свидетельства, содержащиеся как в мифах и преданиях, так и в более недавних источниках, которые могут быть подтверждены современными научными исследованиями, мы приходим к выводу, что названные элементали, разделенные по *складу личности* на два основных типа, обладают различными размерами и неодинаковой, так сказать, степенью плотности.

Два совершенно особых и несходных по складу личности типа характеризуются следующими свойствами: с одной стороны — эфемерность, красота, возвышенность; с другой — злокозненность, приземленность, бесовщина: по существу, этот контраст фактически является половым различием. Особенности полов у этих существ выражены гораздо более отчетливо, нежели у людей.

Различия в величине — это другой вопрос. В чем эти различия заключаются? Сильфы и феи близки по размерам крупным насекомым или колибри; по слухам, они населяют леса и ассоциируются с цветами. Бытуют курьезные россказни о том, как они, вооруженные копьями — шипами рожкового дерева, раскатывают в колесницах из

ореховой скорлупы[48], влекомых стрекозами, и так далее. В других случаях они предстают точь-в-точь мужчинами и женщинами ростом от одного фута до трех, лишенными крыльев, и почти что со всеми человеческими повадками. Есть и девушки-фейри, по виду мало чем отличающиеся от обыкновенных, способные покорить сердца смертных и, очевидно, даже вступить с ними в связь. Есть и сказочные воины, верхом на огромных скакунах; банши[49], пуки[50] и великаны — по сравнению с людьми настоящие исполины.

Каким образом все это объяснить?

Разгадка состоит в том, что мир, населенный этими существами, совсем не тот мир, в котором живем мы. Это совершенно иной мир, заключенный внутрь нашего: в определенном смысле, этот

---

[48] Примечания: 48

...они... раскатывают в колесницах из ореховой скорлупы... — См., например, монолог Меркуцио об эльфийской королеве Маб: «Ее возок — пустой лесной орешек» («Ромео и Джульетта», д. I, сц. 4; перевод Б. Пастернака).

[49] Примечания: 49

Банши — в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии особая разновидность фейри. Банши опекают старинные человеческие роды, их появление, т. е. характерный пронзительный вопль, предвещает смерть.

[50] Примечания: 50

Пука — фейри из валлийского и ирландского фольклора (ср. англ. «Пак», «Пэк»). Принимает обличья козла, орла, блуждающего огонька, чаще лошади. В последнем облике похищает людей, чтобы потом

их сбросить.

мир — всеохватное удаляющееся зеркальное отражение нашего, географическую суть которого я могу обозначить только термином *infundibular*[51]. — Для усиления эффекта доктор сделал небольшую паузу. — Я подразумеваю под этим, что тот, другой, мир образован рядом концентрических окружностей, которые по мере проникновения внутрь неуклонно расширяются. Чем дальше продвигаешься — тем больше они становятся[52]. Периметр каждой из окружностей заключает в себе все больший мир, и наконец в центральной точке находится мир, который бесконечен. Или, по крайней мере, очень и очень велик.

Доктор Брамбл снова выпил воды. Как обычно, стоило только ему пуститься в рассуждения, мысли разбегались в разные стороны; предельную

---

[51] Примечания: 51

Воронкообразный (лат.).

[52] Примечания: 52

Чем дальше продвигаешься — тем больше они становятся. — Слегка измененная цитата из сказки К. С. Льюиса (1898–1963) «Последняя битва» (1956), завершающей цикл «Хроники Нарнии»: «Чем выше и дальше вы заходите, тем больше всё становится» (гл. 16). География потустороннего мира у Льюиса практически совпадает с теорией Брамбла, за тем исключением, что последовательность миров в «Хрониках Нарнии» не бесконечна. Внутри «мира теней» (нашей реальности) лежит значительно большая Страна Аслана (подлинная, платоновская, христианская реальность). Поскольку Краули отрицает, что читал «Хроники Нарнии», остается предположить или неосознанное заимствование, или влияние некоего общего источника (Льюис ссылается на диалог Платона «Федон», космология Краули восходит к

неоплатонической).

ясность и бесспорность легко схватываемого разумом парадокса, который временами победным колоколом звенел у него в голове, становилось невероятно трудно — о господи, пожалуй, и невозможно! — выразить словами. Каменные лица слушателей перед ним застыли в ожидании.

Мы, люди, как видите, населяем, в сущности, самый обширный внешний круг перевернутой воронки, которая является другим миром. Парацельс прав: каждое наше движение сопровождается названными существами, но мы не замечаем их не потому, что они неосязаемы, а потому, что здесь они слишком малы для глаза!

Вокруг внутреннего периметра той окружности, которая является нашим обыденным миром, имеется много, очень много путей — назовем их дверьми, через которые мы можем проникнуть в следующий, меньший, а на самом деле больший круг их мира. Жители этого другого мира являются в образе призрачных птиц или трепещущего пламени свечи. Таков наиболее частый опыт встреч с ними: пока что нам если и удавалось куда-то проникнуть, то только через первый периметр. Следующие окружности меньше, и дверей туда намного меньше; оттого намного ниже и вероятность того, что кто-ни-

будь случайно туда попадет. Тамошние жители предстают в обличье волшебных отпрысков или Маленького Народца — и, соответственно, их не так часто удается увидеть. И так далее: обширные внутренние круги, где жители обретают свой подлинный рост, настолько мизерны, что мы, сами того не подозревая, постоянно, в сутолоке будней, *переступаем* через них, и никогда туда не попадаем, хотя в прежние героические века, случалось, оказаться там бывало куда проще: отсюда берут начало и многочисленные повести о свершенных там деяниях. И наконец, безмернейшая окружность — центральная точка, средоточие бесконечности — Волшебное Царство, леди и джентльмены, где герои одолевают в седле бескрайние пространства и переплывают безбрежные морские просторы, где нет предела возможностям, — увы, эта окружность настолько мала, что вообще не имеет дверей.

Доктор обессиленно опустился на стул, зажав в зубах погасшую трубку.

— Прежде чем я перейду к конкретным примерам и иллюстрациям математического и топографического свойства, — он легонько похлопал по беспорядочной кипе бумаг и стопке книг с пометками, — вам необходимо уяснить,

что есть отдельные индивиды, которым дарована способность по собственной воле, или не совсем, проникать в те самые малые миры, о которых я только что говорил. Если вам требуется непосредственное, *из первых рук*, доказательство изложенных мной постулатов, то моя дочь — мисс Вайолет Брамбл...

Слушатели, разом забормотав (разве не для этого они сюда пришли?), повернулись в ту сторону, где только что сидела Вайолет, освещенная лампой под красным козырьком.

Девушка исчезла.

Нет предела возможностям

Вайолет нашел Дринкуотер: она сидела, сгорбившись, на площадке лестницы, которая вела из помещения Общества в юридическую контору, располагавшуюся этажом выше. При виде Джона она даже не шелохнулась, а только окинула его испытующим взором. Когда он потянулся, чтобы зажечь газ у нее над головой, она тронула его за голень:

— Не надо.

— Вы больны?

— Нет.

— Чем-то напуганы?

Вайолет не ответила. Он сел рядом с ней и взял ее за руку.

— Слушай, деточка, — начал он отеческим тоном, но тут же ощутил сильное волнение, как будто от ее руки по нему прошел электрический разряд. — Тебя не хотят обидеть, тебе не будут досаждать...

— Я не подопытный экземпляр, — медленно проговорила она.

— Конечно нет.

Сколько же ей лет, сколько ей приходится жить вот так — пятнадцать, шестнадцать? Придвинувшись к ней ближе, Джон заметил, что она тихо плачет: крупные слезы катились из ее огромных, бездонных глаз, дрожали на длинных ресницах и горячими каплями падали на щеки.

— Мне его так жаль. Он ненавидит себя за то, что так со мной поступает, но выхода нет. Это оттого, что мы в отчаянном положении. — Вайолет сказала это так просто, как если бы подразумевала: «оттого что мы англичане». Она не выпустила руку Джона, возможно даже не замечая этого.

— Позволь мне тебе помочь.

Эти слова вырвались у Джона нечаянно. Выбор лежал за пределами его воли: два года тщетной борьбы, которые разделяли тот вечер, когда он

впервые увидел ее на яблоне, и вечер нынешний, казалось, превратились в пылинку, унесенную прочь. Он должен защитить ее — забрать отсюда туда, где она будет в безопасности, туда, где... Вайолет не сказала больше ни слова, и Джон тоже ничего не в силах был вымолвить: он знал, что его прочно возведенная и хорошо оборудованная на протяжении сорока лет жизнь не выдержала натиска внутренней неудовлетворенности; он чувствовал, как оседает и рассыпается фундамент, как по стенам идут гигантские трещины; он почти слышал шум, с которым рушилось все здание. Он осушил горячие соленые слезы на щеках Вайолет поцелуями.

Прогулка вокруг дома

— Может, прогуляемся вокруг дома, — предложил Джон Дринкуотер Вайолет, когда груду коробок и чемоданов у входа принялись разбирать слуги, а доктора Брамбла усадили в удобное кресло на просторной мраморной веранде.

Побеги глицинии взбирались по конусообразным колоннам, и, хотя лето только начиналось, ее изумрудно-прозрачные листья уже занавешивали вид с веранды, который Джон широким жестом представил гостям: обширную лужайку

с молодыми посадками, летнюю беседку, поверхность озерца вдали, через которое был перекинут выгнутый изящной аркой мост в классическом стиле.

Доктор Брамбл, отказавшись от предложения, извлек из кармана небольшой томик. Вайолет, еле слышно пробормотав «да» (с какой скромностью ей надлежит вести себя здесь, среди этого великолепия: ведь она ожидала увидеть бревенчатые хижины и краснокожих индейцев: до чего же несведущей она была!), оперлась на предложенную Джоном руку — сильную руку строителя, подумалось ей, — и они пересекли свежую лужайку по усыпанной гравием дорожке между каменными сфинксами, которые для охраны путников были помещены на равном расстоянии друг от друга. (Сфинксы были высечены итальянскими каменотесами — приятелями Джона: именно они как раз в это время вырезали гроздья винограда и причудливые физиономии на фасадах городских домов, принадлежавших его партнеру Маусу; работа выполнялась второпях, и материалом служил мягкий камень, который годы не пощадят, однако до этого было еще далеко.)

— Оставайтесь столько, сколько захотите, —

сказал Дринкуотер. Впервые он произнес эти слова еще в ресторане «У Шерри», куда пригласил доктора Брамбла с дочерью после того, как лекция завершилась полной неопределенностью. К себе он позвал их смущенно, но довольно настойчиво. Он повторил эту фразу и в вестибюле захудалого, зловонного отеля, откуда пришел их забрать, и на вокзале Гранд-Сентрал под огромным мерцавшим зодиаком, который (доктор Брамбл не преминул отметить) двигался по полночно-голубоватому небу потолка в неверном направлении. И еще раз — в поезде, когда полусонная Вайолет клевала носом под бутоном розы из шелка, стоявшей в вазе на вагонном столике, а он кивал ей в такт. Но как надолго захочется ей остаться?

— Вы очень добры, — ответила Вайолет.

«Ты будешь жить во многих домах, — предсказала ей когда-то миссис Андерхилл. — Будешь скитаться и жить во многих домах». При этих словах Вайолет заплакала — и плакала позже, когда вспоминала их в поездах, на пароходах и в залах ожидания, не имея представления, сколько домов входит в понятие «много» и как долго придется ей жить в каждом. Наверняка на это уйдет целая вечность: ведь с той поры, как они покинули дом викария в Чешире шесть месяцев

назад, они жили только в отелях и меблированных комнатах, и конца этому не предвиделось. Но сколько еще это будет длиться?

Словно на строевом учении, Джон и Вайолет прошествовали по аккуратно выложенной камнем дорожке, повернули направо и тем же церемонным шагом двинулись по другой. Дринкуотер слегка кашлянул, предупреждая тем самым, что намерен нарушить затянувшееся молчание.

— Меня очень интересуют эти ваши, так сказать, наблюдения. Я вовсе не собираюсь, — в знак полной доверительности он поднял открытую ладонь, — совать нос куда не просят или расстраивать вас, если разговор на эту тему вам неприятен. Поверьте, я просто-напросто очень заинтересован.

Вайолет ничего не ответила. Сказать она могла только одно: в любом случае, с этим все кончено. Сердце ее вдруг неимоверно расширилось, и его заполнила пустота. Джон, казалось, это почувствовал и легонько сжал ее руку.

— Другие миры, — будто во сне, проговорил он. — Миры внутри миров.

Джон увлек девушку к одной из скамеечек возле дугообразной, подстриженной живой изго-

роди. Сложно составленный, цвета буйволовой кожи, фасад дома свободно открывался глазам в ярком послеполуденном солнце: он казался Вайолет и суровым, и улыбающимся, как лицо Эразма на фронтисписе книги, в которую она заглянула через отцовское плечо[53].

— Видите ли, — начала Вайолет, — всякие идеи о мирах внутри миров и все такое прочее — это папины идеи. Сама я ничего не знаю.

— Но вы были там.

— Папа говорит, что да. — Она скрестила ноги и сплетенными пальцами прикрыла на митталевом платье старое, не отстирывающееся коричневое пятно. — Знаете, я ничего подобного и не ожидала. Я только... только рассказала ему обо всем, что со мной случилось: надеялась поднять ему настроение. Хотела внушить ему, что все обойдется, что все неприятности — всего лишь часть Повести.

— Повести?

Вайолет насторожилась.

---

[53] Примечания: 53

...он казался Вайолет и суровым, и улыбающимся, как лицо Эразма на фронтисписе книги, в которую она заглянула через отцовское плечо. — Имеется в виду один из портретов голландского гуманиста Эразма Роттердамского (1467–1536): рисунок углем Альбрехта Дюрера (1520) или полотно Ганса Гольбейна-младшего (1523, хранится в нью-йоркском музее Метрополитен; не путать с более строгим портретом Эразма, хранящимся в Лувре).

— Я хотела сказать, что ничего подобного не ожидала. Покинуть дом. Покинуть... — «Их», чуть было не сорвалось у нее с языка, но с того вечера в Теософском обществе — последняя капля! — она приняла решение никогда больше о них не заговаривать. Довольно с нее и того, что она их потеряла.

— Мисс Брамбл, — произнес Дринкуотер, — прошу вас! Я, конечно же, не стану вам навязываться, не стану доискиваться до... до сути вашей повести. — Это была неправда. Джон готов был нырнуть в нее с головой. Он должен узнать все: узнать сердце Вайолет. — Вам не будут здесь досаждать. Вы сможете отдохнуть. — Он показал на ливанские кедры, которые посадил на ухоженной лужайке. Шум ветра в их кронах походил на детское бормотание, отдаленно предвещавшее могучий басовый гул, который в будущем станет их истинным голосом. — Бояться тут нечего. Ради этого я и затеял стройку.

Хотя Вайолет приходилось держаться чинно и скованно, ее вдруг охватило ощущение некоей безмятежности. Если она допустила чудовищный промах, рассказав о них отцу; если этот рассказ — вместо того чтобы успокоить — только воспламенил его мозг и заставил пуститься вдвоем

с дочерью в скитания по свету, подобно парочке странствующих проповедников или — еще точнее — цыгану с пляшущим медведем на поводке; побудил зарабатывать на хлеб, развлекая безумцев и одержимых в мрачных лекционных аудиториях и залах для собраний (а потом — боже милостивый! — подсчитывать выручку!); что ж, тогда лучшего выхода, чем покой и возможность забыть о прошлом, просто не придумать. Ничего лучшего нельзя было и ожидать. Вот только...

Вайолет встревоженно поднялась с места, с разладом в душе, и направилась по радиальной тропинке к напоминавшей театральные кулисы галерее арок, которая выступала из-за угла дома.

— В каком-то смысле я построил это для вас, — донеслись до нее слова Джона Дринкуотера. — Это правда, я не шучу.

Пройдя через галерею арок, поддерживаемых простыми колоннами, Вайолет обогнула дом, и внезапно перед ней, словно выпав из непритязательного конверта, раскрылся вид, напоминавший разукрашенное цветочными узорами любовное послание ко Дню святого Валентина. Все вокруг выглядело совершенно американским: сверкало побелкой, пестрело клумбами, поражало тончайшей кружевной

резьбой по дереву. Казалось, будто строгий Эразм под рукой владельца вдруг затрясся от хохота. Вайолет тоже засмеялась — в первый раз с той минуты, как навсегда прикрыла за собой калитку своего сада в Англии.

Джон чуть ли не опрометью бросился к ней, радуясь ее удивлению. Он сдвинул соломенную шляпу на затылок и оживленно принялся рассказывать о доме и о себе самом; различные эмоции быстро сменяли друг друга на его широком лице.

— Не *обычный* дом, нет, — заулыбался он, — здесь нет ничего обычного. Вот здесь, например, сначала предполагался огород. Всякий посадил бы на огороде овощи, но я заполнил его цветами. Повар не станет садовничать, а садовник — великий мастер по разведению цветов — говорит, что не умеет ухаживать за помидорами... — Концом бамбуковой трости Джон указал на небольшую, аккуратную насосную станцию. — Точно такая была в саду у моих родителей, преполезная штука. — Дальше он перевел конец трости на ажурные, килевидные арки веранды, оплетаемые виноградными лозами. — А здесь растет штокроза, — добавил Джон, подводя Вайолет полюбоваться кустарником, над которым трудились шмели. — Некоторые считают што-

крозу сорняком. Я — нет.

— Эй, там, поберегитесь! — раздался где-то у них над головами резкий, с ирландским акцентом, голос. Горничная на верхнем этаже, распахнув окно, вытрясала пыльную швабру.

— Девушка что надо, — заметил Дринкуотер, указывая наверх большим пальцем. — Просто замечательная... — Он снова задумчиво посмотрел на Вайолет с высоты своего роста, а она вскинула подбородок; летевшие сверху пылинки блестели на солнце золотым дождем Данаи. — Мне кажется, — вдумчиво проговорил Джон, раскачивая за спиной бамбуковую трость, будто маятник, — мне кажется, что вы смотрите на меня как на старика.

— Хотите сказать, что, по-вашему, так оно и есть?

— Нет, не так. Я вовсе не *старик*.

— Но, по-вашему, вы считаете, будто...

— Я хотел сказать: полагаю, что...

— Вы хотели сказать «уверен, что...», — перебила Вайолет и, притопнув ногой, спугнула с гвоздики бабочку. — Американцы всегда говорят: «уверен, что...», не правда ли? — Дурачась, она заговорила баском, подлаживаясь под неотесанного деревенского парня: — Уверен, что пора

выгонять коров на пастбище. Уверен, что правила налогообложения не переменят ни с того ни с сего. Ну да вы сами знаете... — Вайолет наклонилась, чтобы понюхать цветы, и Джон наклонился вместе с ней. Солнце жгло ее обнаженные руки и, словно бы ради пущего терзания для обоих, наполняло сад немолчным жужжанием и гудением насекомых.

— Ну, что ж, — начал Джон, и Вайолет почувствовала в его голосе внезапную отвагу. — Тогда я действительно уверен. Уверен, что люблю вас, Вайолет. Уверен, что всегда хочу видеть вас здесь. Уверен, что...

Вайолет побежала от него по вымощенной плитками садовой дорожке, не сомневаясь, что еще минута — и он бы ее обнял. Она обогнула другой угол дома. Джон ее не догонял. *Догони же меня, догони!* — звенело у нее в голове.

Но что произошло? Очутившись вдруг в темной лощине, Вайолет замедлила шаги. Она вступила в тень, отбрасываемую домом. Лужайка спускалась к бесшумному потоку, по ту сторону которого воздвигся поросший соснами холм, будто колчан, полный остроконечных стрел. Вайолет остановилась среди тисовой рощи, не понимая, куда идти дальше. Дом позади нее выглядел таким

же серым, как кора тиса, и таким же угрюмым. Объемистые каменные колонны, угнетавшие своей мощью, поддерживали кремневые пояски, укромное расположение которых мало чем оправдывалось. Что же ей теперь делать?

Вайолет заметила Дринкуотера, чей белый костюм, подобно бледному пятну, медленно перемещался в каменной галерее; его башмаки гулко ступали по плитам. Под порывом налетевшего ветерка к нему склонились ветви тисов, но она даже не посмотрела в ту сторону, и Джон, растерянный, не вымолвил ни слова, однако подошел поближе.

— Вы не должны говорить так, — начала Вайолет, стоя спиной к Джону и обращаясь к темному Холму. — Вы совсем, совсем меня не знаете...

— Это неважно, — перебил ее Джон.

— О... — только и смогла произнести она. — О...

Вайолет задрожала, словно от холода, но эта дрожь была вызвана теплом, которое он вложил в свои слова. Джон подошел сзади, обнял Вайолет, и она прислонилась к нему, ощущая могучую защиту. Они медленно пошли вдоль хлопотливого ручья туда, где он, шумно пенясь, исчезал в отверстии пещеры у подножия холма. Здесь чувствовались влажная сырость пещеры

и дыхание камня. Джон обнял ее еще крепче, пытаясь защитить от сырости, которая, как он думал, заставляла ее вздрагивать. И в его крепких объятиях Вайолет, без слез, поведала ему о своих тайнах.

— Выходит, вы его любите? — спросил Дринкуотер, когда она закончила. — Любите того, кто так поступил с вами? — Теперь уже его глаза блестели от слез.

— Нет, и никогда не любила.

До сих пор все это ровным счетом ничего не значило. Теперь Вайолет гадала, какой ответ ранит его больше: если она скажет, что любила того, кто так поступил с ней, или же не любила. (В душе она была не совсем уверена, кто именно так поступил с ней, но Джон никогда, никогда не узнает об этом.) Грех угнетал ее. А Джон давал ей опору, нес прощение.

— Бедное дитя... — проговорил Джон. — Заблудшее. Но теперь с этим покончено. Послушайте меня. Если... — Джон взял Вайолет за плечи, слегка отстранив от себя, и заглянул ей в глаза: сросшиеся брови и длинные густые ресницы почти скрывали их. — Если бы вы приняли мое предложение... Ничто не заставит меня думать о вас плохо: я всегда буду недостоин вас. Если вы

согласитесь, клянусь, что вашего ребенка я воспитаю наравне со своими. — Строгое, решительное выражение на его лице смягчилось, он заулыбался. — С нашими детьми, Вайолет. С целой кучей наших детей.

Теперь и на ее глаза навернулись слезы — слезы умиления добротой Джона. Раньше она не думала, что попала в большую беду, а теперь он предлагал ей спасение. Какое великодушие! Отец едва ли что-то заметил.

Заблудшая — да, она это знала. Но обретет ли она себя здесь? Вайолет вновь высвободилась из объятий Джона и пошла вокруг дома дальше под нависшими аркадами, мимо затейливо зубчатых стен. Белые ленты шляпы, которую она держала теперь в руке, волочились по влажной изумрудной траве. Затылком она ощущала, что Джон следует за ней на почтительном расстоянии.

— Занятно! — воскликнула она, обогнув угол дома. — Очень, очень занятно.

Мрачновато-серая каменная кладка сменилась веселой кирпичной, с завлекательными для глаза оттенками красного и коричневого. Повсюду виднелись декоративные эмалевые диски; двери и оконные рамы сверкали белой краской. Готическая тяжеловесность, удлинен-

ная, вытянутая, заостренная, сходила на нет; ее сменял смелый изгиб высоких крыш, потешные дымоходы, массивные никчемные башни, растянутые кривые поверхности, выполненные из кирпича. Казалось, будто — и в этот миг на небе опять засияло солнце, залив светом кирпичную кладку и подмигнув Вайолет, — казалось, будто темная веранда, бесшумный поток и дремлющие тисовые деревья были всего-навсего шуткой.

— Что это? — спросила Вайолет, когда Джон подошел к ней с заложенными за спину руками. — Вот это и есть много домов, правда?

— Да, много домов, — подтвердил он, улыбаясь. — И каждый для вас.

Сквозь нелепые арки дворика Вайолет увидела плечо отца. Он все так же сидел, удобно устроившись в плетеном кресле, все так же смотрел сквозь заросли глицинии и, вероятно, созерцал дорожку со сфинксами, по обеим сторонам которой стояли ливанские кедры. Отсюда, издали, он походил на лысого монаха, задремавшего в монастырском саду. Вайолет рассмеялась. *Ты будешь скитаться и жить во многих домах*. «Во многих домах!» Она взяла Джона Дринкуотера за руку и чуть ее не поцеловала. Продолжая смеяться, она заглянула ему в лицо, которое выражало

радостное удивление.

— Замечательная шутка! — воскликнула она. — И не одна! А внутри так же много домов?

— В каком-то смысле да...

— О, покажите мне! — Вайолет потащила Джона к белой двери в виде арки, медные петли которой формой напоминали изящные готические буквы «*е*». В неожиданной полутьме небольшого, расписанного красками вестибюля она в порыве благодарности поднесла большую руку Джона к своим губам.

За вестибюлем открывалась длинная анфилада залов с дверными проемами, арочными и прямоугольными, испещренная полосками света, который проникал сквозь невидимые окна.

— Как вы здесь не заблудитесь? — стоя на пороге, спросила Вайолет.

— Случается, — сознался Джон. — Я доказал, что в каждой комнате должно быть более двух дверей, но так и не смог доказать, что достаточно только трех. — Он ждал у входа, не желая ее торопить.

— Возможно, — заметила Вайолет, — когда-нибудь вы над этим задумаетесь и вообще не найдете выхода.

Шаря руками по стенке, медленно, словно

слепая (а на самом деле дивясь и восхищаясь), Вайолет Брамбл ступила в коридор: он показался ей тыквой, которую Джон Дринкуотер ради нее превратил в золотой экипаж.

Расскажи мне Повесть

Вайолет проснулась в большой незнакомой спальне оттого, что на нее давил холодный свет и кто-то звал ее по имени. Затаив дыхание, она долго ждала на высокой кровати, что ее снова тихонько окликнут, но не дождалась. Тогда она выскользнула из-под легкого покрывала и, спустившись с кровати, пробежала босиком к окну. Когда она открывала створки, ей вновь почудилось, будто ее кто-то зовет.

Вайолет?

Сквозь распахнутое окно в комнату ворвались летние запахи и множество шелестов и шуршаний: они мешали ей различить голос — если это был голос, который ее окликнул — если окликнул. Вайолет вытащила из пароходного кофра свой просторный плащ и проворно, на цыпочках, выбежала из комнаты. Полы ее длинного белого плаща из набивного ситца взметнулись в струях застоявшегося воздуха, который ринулся вверх по лестнице к открытому окну.

— Вайолет?

Это был всего лишь отец: наверное, он пробормотал ее имя во сне, когда она проходила мимо его двери, и Вайолет не отозвалась.

Осторожно прокрадываясь босиком вниз по лестнице, она не сразу нашла дорогу к выходу: полы и ступени здесь не были застланы ковровыми дорожками, и ноги у нее окоченели. Когда же наконец Вайолет обнаружила дверь с окнами по обеим сторонам, через которые просачивалась ночь, она вдруг осознала, что понятия не имеет, где окажется дальше. Но какое это имело значение?

Вокруг простирался величественный, безмолвный сад. Сфинксы наблюдали за ней, когда она проходила мимо: их одинаковые лица в текучем свете луны казались живыми. С берега пруда для разведения рыбы подала голос лягушка: на имя «Вайолет» это не походило. Вайолет продолжила свой путь по призрачному мостику через рощицу тополей с шапками листвы, похожей на вставшие дыбом волосы. Дальше расстилалось поле, пересеченное подобием живой изгороди из кустарника, молодых шелестевших деревьев и груды камней для начатой каменной стены. Вайолет шла и шла, сама не зная куда и чувствуя

(то же самое, спустя годы, почувствует и Смоки Барнабл), что, возможно, она вовсе и не покинула Эджвуд, а просто попала в какой-то новый, ведущий наружу иллюзорный коридор.

Путь показался ей долгим. Обитатели живой изгороди — кролики, горностаи, ежи (а водятся ли здесь эти существа?)[54] — молчали: то ли не обладали голосом, то ли притихли нарочно, Вайолет не знала. От росы ее босые ноги сначала застыли, потом онемели. Она натянула плащ на голову, хотя погода стояла мягкая, но от света луны ее как будто знобило.

Вайолет не знала, какой ступила ногой и когда, однако местность вокруг стала казаться ей знакомой. Она посмотрела на луну и по ее улыбке поняла, что находится где-то, где никогда прежде не была, но знала, что это где-то — где-то еще. Заросший осокой и усеянный цветами, словно звездами, луг переходил в холмик, на котором высился дуб, в тесном неразлучном объятии с

[54] Примечания: 54

...ежи (а водятся ли здесь эти существа?)... — Не водятся, и многие американцы видят ежей только в зоопарках.

терновником[55]. Сердце у Вайолет забилось, а ноги сами понесли ее вперед: она знала, что тропинка, огибавшая холм, приведет ее к домику, пристроенному по ту сторону.

— Вайолет?

Из круглого окошка сочился свет лампы, а над круглой дверью была прибита медная голова, в зубах которой торчал дверной молоток. Но стучать было незачем: дверь распахнулась, как только она подошла.

— Миссис Андерхилл, — сказала Вайолет, дрожа от муки и радости вместе, — почему вы не сказали мне, что оно будет вот так?

— Входи, дитя, и ни о чем не спрашивай; если бы я знала больше, я бы тебе сказала.

— Я думала, — начала Вайолет и умолкла: на мгновение у нее перехватило дыхание. Она не могла сказать, что думала раньше; думала, что никогда не увидит ее снова, никогда не увидит никого из них — ни единой фигурки в полумраке сада, ни одного личика, тайком прильнувшего к цветку жимолости. Корни дуба и терновника,

---

[55] Примечания: 55

...дуб, в тесном неразлучном объятии с терновником. — Согласно поверью, фейри можно увидеть там, где растут дуб, терновник и ясень. Как утверждал заглавный герой книги Редьярда Киплинга (1865–1936) «Пак с Волшебных холмов» (1906), он уйдет из Англии не раньше, чем исчезнет эта священная триада.

которые и были домом миссис Андерхилл, освещались ее крошечной лампой; и когда Вайолет подняла к ним глаза и сделала длинный прерывистый вдох, чтобы удержаться от слез, она ощутила темный запах земли, от них исходивший. — Но как же... — едва выговорила она.

Маленькая, согбенная миссис Андерхилл, укутанная с ног до головы шалью и в огромных шлепанцах, предостерегающе подняла палец, почти такой же длинный, как и спицы, которыми она вязала.

— Не спрашивай как, — сказала она. — Разве ты не видишь, что оно есть?

Вайолет пристроилась возле ее ног: нашлись ответы на все вопросы, которые, пожалуй, уже мало что значили. Вот только...

— Ты могла бы мне все же сказать, — и тут глаза ее наполнились счастливыми слезами, — что все дома, в которых мне предстоит жить, заключены в одном.

— *Именно*. — Миссис Андерхилл продолжала вязать, раскачиваясь в качалке. Разноцветный шарф под ее спицами быстро удлинялся. — Время прошло, время придет, — приговаривала она уютным голосом. — Повесть тоже как-то рассказывается.

— Расскажи мне Повесть, — попросила Вайолет.

— Если бы могла, рассказала бы.

— Что, она такая длинная?

— Длиннее других. Ты, девочка, твои дети и твои внуки — все успеете належаться под землей, прежде чем всей этой Повести в самом деле настанет конец. — Миссис Андерхилл покачала головой. — Это известно всем.

— Но конец у нее счастливый? — спросила Вайолет. Она спрашивала об этом и раньше: ее разговор с миссис Андерхилл походил не на обмен вопросами и ответами, а скорее на поочередное вручение друг другу некоего подарка, который каждая принимала восхищенно и с благодарностью.

— Как сказать, — отозвалась миссис Андерхилл. Ряд за рядом шарф, который она вязала, становился все длиннее. — Это ведь Повесть, одна из многих. Повести бывают длинные и короткие. Твоя — самая длинная из тех, что известны *мне*.

— Кто-то, но только не кошка, принялся разматывать большой клубок пряжи миссис Андерхилл.

— Прекрати, наглец! — воскликнула она и, вытащив из-за уха вязальную спицу, легонько кого-то стукнула. Потом, глядя на Вайолет, покачала

головой: — Хоть триста лет, хоть четыреста — и ни минуты покоя!

Вайолет, поднявшись, приставила руку к уху миссис Андерхилл. Та, посмеиваясь, придвинулась к ней, готовая узнать ее секреты.

— Они слушают? — шепотом спросила Вайолет.

Миссис Андерхилл приложила палец к губам:

— Думаю, что нет.

— Тогда скажи правду, — попросила Вайолет. — Откуда ты здесь взялась?

Миссис Андерхилл отшатнулась в изумлении:

— Я? Что ты имеешь в виду, деточка? Я была здесь все время. Это *тебе* не сидится на одном месте. — Она снова взялась за стрекочущие спицы. — Раскинь-ка хорошенько мозгами. — Она откинулась вместе с креслом-качалкой и, услышав, как под ним что-то пронзительно взвизгнуло, злорадно усмехнулась. — Ну, ни минуты покоя, — повторила она. — Хоть триста лет, хоть четыреста!

Ответы на все вопросы

После женитьбы Джон Дринкуотер стал все более и более отдаляться от активной архитектурной деятельности. Здания, которые он

предполагал построить, однажды показались ему тяжеловесными, бестолковыми, безжизненными и в то же время недолговечными. Он не ушел из фирмы, оставаясь постоянным консультантом: его идеи и утонченные эскизы (правда, низведенные до заурядности партнерами по фирме и бригадами инженеров-конструкторов) продолжали менять облик городов в восточных штатах, но эта работа перестала быть смыслом его жизни.

Джона увлекли иные задачи. С удивительной изобретательностью он сконструировал складную кровать, которая, по сути, представляла собой целую спальню. В сложенном виде кровать могла храниться в гардеробе или любом платяном шкафу, однако всего лишь одним быстрым движением, приводившим в действие систему медных стяжных болтов, рычагов и тяжелых противовесов, сооружение легко было превратить в кровать, которая и делала спальную комнату спальней. Джон восхищался этой идеей спальни внутри спальни и даже запатентовал свое изобретение, но единственным покупателем, которого он смог найти, стал его партнер Маус, который (в основном из дружеской благосклонности) установил в своих городских апартаментах

несколько таких кроватей. Затем настал черед Космооптикона. Джон провел счастливейший год жизни, работая над этим проектом вместе со своим другом — изобретателем Генри Клаудом, единственным известным Джону человеком, который действительно *ощущал* вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Космооптикон представлял собой громадное, чудовищно дорогое сооружение из кованого железа и цветного стекла: оно изображало знаки зодиака и движение планет по нему. Движение происходило на самом деле: владелец этой махины, сидя внутри на роскошном кресле зеленого бархата, мог наблюдать, как силой тяжелых противовесов, под тиканье часового механизма, многоцветный купол наверху повторяет видимое вращение небес. Убежденность Дринкуотера в том, что среди богачей найдется немало желающих забавляться этой диковинной игрушкой, наглядно свидетельствовала о его полном непонимании реальных обстоятельств.

Но как ни странно, несмотря на отчуждение от мира и безудержную растрату творческих сил на подобные проекты, Джон преуспевал все более заметно. Его капиталовложения окупались многократно, состояние неуклонно росло.

Защищены, говорила Вайолет. Отхлебывая чай за каменным столиком, который он установил так, чтобы открывался вид на Парк, Джон Дринкуотер взглянул на небо. Он пытался обрести покой внутри той защищенности, в которой была столь уверена Вайолет, и посмеяться над непогодой, грозившей извне, но в глубине души он чувствовал себя бесприютным странником, без крова над головой.

С возрастом Джон проявлял все больший интерес к погоде. Он собирал всяческие альманахи — научные и не очень — и внимательно изучал ежедневный прогноз погоды в газете, хотя это откровение исходило от жрецов, на которых он полагался не до конца: он только надеялся, без особых на то оснований, что предсказания верны, если обещают ясную погоду, и ошибочны в том случае, когда сулят ненастье. Летом он следил за небом особенно пристально: даже самая далекая тучка, которая могла затмить солнце или привести за собой товарок, давила ему на затылок. При появлении пушистых кучевых облаков, напоминавших стадо белых овечек, он испытывал некоторое облегчение, но оставался настороже. Они вполне могли неожиданно выстроиться грозовым фронтом и загнать его в дом — слушать

безрадостный плеск дождя по крыше.

(Похоже, сейчас именно такие облака клубились на западе, и Джон был бессилен им противостоять. Он поминутно на них взглядывал, и всякий раз они громоздились все выше и выше. Воздух сгущался, делался почти осязаемым. Надежды на то, что гроза с ливнем пройдет мимо, не оставалось. Джон не желал с этим мириться.)

Зимой Джон часто плакал; весной его охватывало жгучее нетерпение: он приходил в ярость, если кое-где по уголкам апреля еще залеживались островки зимы. Говоря о весне, Вайолет подразумевала время, когда цветут цветы, а у животных рождаются детеныши. Понятию Вайолет о весне, как догадывался Джон, соответствовал редкий в апреле солнечный день — скорее, даже в мае. Джон заключил, что месяцы представляются им по-разному: для Вайолет снег должен таять уже в феврале — как в Англии, а в апреле — распускаться цветы. В здешнем, более суровом, краю изгнания иначе: май тут наступал только в июне. С другим распорядком Вайолет не соглашалась и, казалось иногда Джону, даже никак его не воспринимала.

Возможно, сговор туч на горизонте был явлением постоянным, чем-то вроде обыкновенной

декорации, наподобие пухлых груд облаков на деревенском небе в детских книжках с картинками. Однако воздух вокруг Джона — насыщенный электричеством, предвещавший перемену — свидетельствовал о другом.

Вайолет думала (действительно ли она так думает? — Джон часами ломал голову над ее загадочными репликами, опираясь на дотошные истолкования мистера Брамбла и по-прежнему пребывая тем не менее в неуверенности), Вайолет думала, что Там — всегда весна. Но весна — это не более чем перемена. Все времена года, связанные в цепочку быстротекущих дней, подобны переменам настроения. Это ли она имела в виду? Или подразумевала некую обобщенно взятую весну — с молодой травкой и свежей зеленью листвы — неизменную со дня весеннего равноденствия? Тогда весны просто не существует. Наверное, это шутка. Прецеденты тому имелись. Джон порой чувствовал, что от всех его настойчивых расспросов Вайолет отделывается шуткой. Весна не является временем года, потому что включает в себя все четыре. *Там* на дворе всегда весна. Этого *Там* нет нигде. Джона с головой накрывала гнетущая волна отчаяния: предгрозовое состояние, он знал это, — и все же...

С приближением старости любовь Джона к Вайолет не уменьшалась (старел он, а она всего лишь взрослела): он только потерял первоначальную безоглядную уверенность в том, что она *поведет его куда-то* — непременно должна повести — туда, где сама, вне всякого сомнения, побывала. Но пойти за ней вслед, как выяснилось, он не мог. Промучившись год, он это понял. Дальше жизнь потекла ровнее. Он мог быть только Пёрчесом для ее странствий[56]: рассказывать о ее путешествиях по свету, передавать небывалые истории о чудесах, которые сам никогда не увидит. Вайолет вскользь обронила (так он решил), что без построенного им дома всю Повесть нельзя было бы рассказать до конца; этот дом — начало и, возможно, развязка: что-то вроде того дома, который построил Джек, первое звено в цепи. Джон мало что понял, но успокоился.

И всякий, всякий раз (даже спустя годы, после рождения троих детей; после того как невесть сколько воды утекло неведомо куда) сердце его отчаянно билось, когда Вайолет вдруг подходила

---

[56] Примечания: 56

Он мог быть только Пёрчесом для ее странствий... — Сэмюэл Пёрчес (1577–1626) — английский священник, издатель книги «Пёрчес: Его паломничество» (Лондон, 1613), содержащей описания путешествий (в основном морских плаваний) в различные уголки земли.

к нему, клала маленькие руки ему на плечи и шептала на ухо: «Пойдем в постель, мой старенький Козлик». Козликом она называла Джона из-за его бесстыдной неотвязности, и он, поднявшись по лестнице, ждал ее наверху.

Заключим в рамку и взглянем на то, чем Джон Дринкуотер обладал сейчас, на фоне клубившихся головокружительно высоко облаков.

Его дочери Тимотейя Вильгельмина и Нора Анджелика только что вернулись с купания. Его сын (ее сын, его) Оберон гордо шествовал через лужайку, держа перед собой фотографический аппарат с таким видом, будто искал случая что-нибудь щелкнуть. И его малыш Август в матросском костюмчике, хотя морского воздуха еще не вдыхал. Джон назвал его Августом в честь августа месяца, когда безоблачные дни чередой сменяют друг друга и когда на время он переставал следить за небом. Теперь он снова взглянул на горизонт. Края белоснежных облаков обволокла серая кайма: они потускнели, словно печальные стариковские глаза. Однако на земле перед ним, среди теней от листвы, все еще различалась его собственная тень. Джон встряхнул газету и закинул ногу на ногу. Радуйся, радуйся.

Среди множества странностей тесть Джона

придерживался, в частности, убеждения, что при виде собственной тени человек лишается способности ясно мыслить и чувствовать. (Мистер Брамбл полагал также, что взгляд на себя в зеркало непосредственно перед укладыванием в постель вызывает дурные или, во всяком случае, тревожные сны.) Он всегда сидел, как и сейчас, в тени или лицом к солнцу возле «Сиринги»[57] в кресле для двоих, с прочными ножками из кованого железа, зажав трость между колен и удобно опершись на нее руками; солнечные блики играли на золотой цепочке, висевшей у него на животе. Август расположился у ног деда, слушая его или из вежливости делая вид, что внимательно слушает. Голос тестя доносился до слуха Джона Дринкуотера невнятным бормотанием, которое сливалось с множеством других звуков, наполнявших сад: со стрекотом цикад, с треском газонокосилки (круги, описываемые на ней Оттоло, делались все шире и шире), с фортепианными пассажами из музыкальной комнаты, где упражнялась Нора; потоки нот лились и ли-

[57] Примечания: 57

«Сиринга» — далее поясняется, что это название статуи. Сиринга — древесная нимфа, которую преследовал бог Пан; она обратилась с мольбою к своим сестрам-наядам и была превращена в тростник, на ветру издававший жалобный звук. Пан сделал из тростника свирель, которая так и называется — сиринга.

лись непрерывно, как льются по щекам слезы.

Все! — сказала она

Больше всего ей нравилось ощущать клавиши кончиками пальцев; нравилось думать, что они изготовлены из настоящей слоновой кости и эбенового дерева. «Из чего они сделаны?» — «Из чистой слоновой кости». Она брала гармонические аккорды по шесть-восемь нот одновременно, уже не ради практики, а только вслушиваясь в гул, возникавший при прикосновении пальцев к гладкой поверхности клавиш. Ее мать даже не заметила, что это уже не походило на Делиуса[58], этюд которого Нора исполняла или пыталась исполнить. Вайолет, как она сама признавалась, медведь на ухо наступил, хотя Нора собственными глазами видела изящную ушную раковину матери, сидевшей за круглым столиком, раскладывая карты или просто подолгу в них вглядываясь. Какое-то мгновение ее длинные серьги висели спокойно, потом она вскидывала голову, чтобы взять из колоды очередную карту, и

[58] Примечания: 58

Делиус, Фредерик (1862–1934) — английский композитор-романтик немецкого происхождения, с 1890 года жил преимущественно во Франции.

все приходило в движение: серьги покачивались, ожерелье начинало болтаться. Нора соскользнула с круглого полированного табурета и подошла посмотреть, чем занята мать.

— Тебе стоит прогуляться, — заметила Вайолет, не отрывая глаз от карт. — Сходи на озеро с Тимми Вилли. Сегодня очень жарко.

Нора промолчала, не желая уточнять, что только-только вернулась с озера и уже успела об этом доложить; если до матери это сообщение не дошло, то и повторять его было незачем. Нора лишь следила, как ложатся карты под руками матери.

— А ты сумеешь построить карточный домик? — спросила она.

— Сумею, — ответила Вайолет, изучая получившийся расклад. Вайолет обычно улавливала не прямой, самый непосредственный смысл услышанных слов, но какой-то иной, подспудный: до нее словно доносилось эхо с оборотной стороны сказанного, чем она озадачивала и даже ставила в тупик мужа, который усматривал в ее сивиллиных откликах на заурядней шие вопросы некую истину, которой Вайолет, по его убеждению, обладала, но не могла толком выразить. С помощью тестя Джон исписал целые тома своими изысканиями. Дети Вайолет, впрочем, вряд

ли замечали в ее ответах что-то особенное. Нора переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда мать приступит к обещанной постройке, но, так и не дождавшись, забыла о своей просьбе. Прозвенели каминные часы.

— Ого, — подняла голову Вайолет. — Они, должно быть, уже попили чай. — Она потерла щеки, словно внезапно пробудившись. — Почему ты не напомнила? Пойдем посмотрим, что там еще осталось.

Она взяла Нору за руку, и они направились к двустворчатой застекленной двери, ведущей в сад. Вайолет взяла со столика широкую шляпу, но, надев ее, вдруг застыла на месте, вглядываясь в легкую атмосферную дымку.

— Что это там в воздухе?

— Электричество, — ответила Нора, уже пересекая внутренний дворик. — Так говорит Оберон. — Она прищурилась. — Я его вижу — красные и голубые волнистые черточки. Будет гроза.

Вайолет кивнула и медленно пошла наискосок через лужайку, словно вступив в неведомую ей стихию, к каменному столику, откуда муж махал ей рукой. Оберон только что закончил фотографировать дедушку и малыша и теперь устанавливал все свои приспособления возле столика, жестами

приглашая мать войти в кадр. Процесс съемки он сопровождал такой торжественностью, будто считал его долгом, а не развлечением. Вайолет вдруг ощутила жалость к сыну. Этот воздух!

Вайолет опустилась на скамью, и Джон налил ей чаю. Оберон поставил перед ними свой фотоаппарат. Обширная туча поглотила солнце, и Джон взглянул на нее с неудовольствием.

— Вот! Вот! — воскликнула Нора.

— Вот! — подхватила Вайолет.

Оберон открыл и снова закрыл объектив.

— Всё! — сказала Нора.

— Всё! — повторила Вайолет.

Передний край невидимого холодного фронта налетел на лужайку, завернув лацканы и листья, показавшие свою бледную изнанку; сквозь фигурный фасад ворвался в дом, взметнув со столика игральную карту и взворошив листы с упражнениями для пяти пальцев на нотной подставке рояля. Он всколыхнул кисточки диванных накидок и потрепал края драпировок. Острие холодного дуновения пронизало комнаты второго и третьего этажа и взмыло высоко вверх, откуда чеканщик весомых дождевых капель принялся щедро оделять ими собравшихся.

— Всё! — крикнул Август.

Глава четвертая

Цветами пойман, падаю в траву.

Марвелл[59]

Все это летнее утро Смоки одевался для венчания. Он натянул на себя белый, слегка с желтизной, костюм — не то льняной, не то из альпаки[60], который, как всегда повторял его отец, когда-то принадлежал Гарри Трумэну. На внутреннем кармане, действительно, имелись инициалы Г. С. Т.; но, только назначив этот, совсем старый, костюм на роль свадебного, Смоки сообразил, что инициалы, в конце концов, могли принадлежать кому угодно и что отец его пронес эту шутку через всю жизнь, а в итоге увековечил, неизменно сохраняя полнейшую серьезность. Это ощущение Смоки в какой-то мере разделял. Он не раз задавался вопросом, не являлось ли и

---

[59] Примечания: 59

Марвелл, Эндрю (1621–1678) — английский поэт, политический и государственный деятель. В эпиграф вынесена строка из стихотворения «Сад» (опубл. 1681).

[60] Примечания: 60

Альпака — тонкая плотная шелковая ткань с гладким матовым фоном и блестящим рисунком в виде цветов или геометрических фигур.

его образование чем-то вроде посмертной шутки (в пику вероломной матери?); и хотя Смоки вполне мог оценить этот розыгрыш, но сейчас, перед зеркалом в ванной комнате, ему было не до шуток: борясь с манжетами, он испытывал серьезное замешательство и охотно выслушал бы отца, который мог бы дать ему, как мужчина мужчине, кое-какие советы относительно бракосочетания и супружества. Барнабл ненавидел свадьбы, похороны, крещения в церкви и, едва только подобное событие надвигалось со всей неотвратимостью, немедленно хватал носки, книги, собаку, сына и исчезал. Смоки довелось присутствовать на свадьбе Франца Мауса и танцевать с мечтательного вида невестой, которая делала ему поразительные намеки; но, как-никак, женихом был не он, а Маус, да и брак вскоре распался. Смоки знал, что где-то при нем должно быть Обручальное Кольцо, и похлопал по карману, чтобы убедиться в его наличии. Ему казалось необходимым присутствие Шафера, однако когда он написал об этом Дейли Элис, она ответила, что они придерживаются другого мнения. Он заикнулся было о Репетиции свадебной церемонии, но Дейли Элис парировала: «Ты не хочешь, чтобы это было сюрпризом?» И еще Смоки был уверен

в том, что не должен видеть свою невесту, пока ее отец не проведет ее по проходу (какому проходу?) к алтарю. Поэтому, идя в уборную, Смоки даже не смотрел в ту сторону, где, как он думал (и ошибался), находилась ее комната. Его дорожные туфли грубо и непразднично выглядывали из-под манжет светлого костюма.

Костюм Трумэна

Смоки было сказано, что бракосочетание состоится «на участке» и двоюродная бабушка Клауд, как старшая в семействе, проводит его до места. «В часовню?» — предположил Смоки, и бабушка Клауд с удивленным видом кивнула: по ее мнению, дело обстояло именно так. Она и поджидала Смоки на верхней площадке лестницы, когда он робко выбрался наконец из ванной. До чего же утешительным оказалось ее общество: держалась бабушка Клауд с полным спокойствием; крупную фигуру облегало летнее платье с букетиком поздних фиалок на груди; в руке она держала тросточку. Неудовольствие на ее лице было вызвано такими же неудобными, как и у Смоки, башмаками. «Очень, очень хорошо», — заявила тетушка Клауд, словно сбылись лучшие ее надежды: слегка отстранив Смоки от себя, она

мельком оглядела его через очки с синими стеклами, а затем предложила ему взять ее под руку.

Летний Домик

— Я частенько думаю о том, каким терпением должны обладать садовники, — проговорила бабушка Клауд, когда они шли через Парк (так она его называла) по колено в траве. — Эти — огромные деревья — ну, не все — мой отец привез еще саженцами. Он представлял, какими большими они вырастут, хотя и знал, что ему до этого не дожить. Вот этот бук, например: я могла обхватить его почти целиком, когда была девочкой. В ландшафтном садоводстве есть своя мода, но сохраняется она невероятно долго: в два счета парк не разобьешь. Вот рододендроны: в детстве я называла их «рамдедамдамы», помогая садовникам из Италии их сажать. Сейчас мода на них прошла. А подстригать их не так-то просто. Итальянцы больше у нас не служат, и кусты превратились в настоящие джунгли. Ой-ой, поберегите глаза!.. Как видите, план сохраняется. Оттуда, где сейчас находится обнесенный стеной сад, открывались разнообразные Виды — деревья подбирались особенные, поживописнее, они напоминали иностранных важных персон, бесе-

дующих между собой на приеме в посольстве. А между ними лужайки — всегда подстриженные, и клумбы, и фонтаны. Казалось, будто вот-вот появится компания охотников — знатные лорды и леди, держащие на руках соколов. Взгляните! Сорок лет назад за Парком ухаживали должным образом. Общий замысел — как это все должно было выглядеть — виден и сейчас, но как будто читаешь письмо, написанное невесть как давно: его оставили под дождем, и все слова слились до неразличимости. Интересно, огорчен этим Джон или нет. Он любил порядок. Видите? Вот эта статуя называется «Сиринга». Как скоро плети растений опрокинут ее наземь или подроют кроты? Что ж, он бы понял. Всему есть причины. Не хочется беспокоить тех, кому нравится, чтобы шло именно так.

— Всяких там кротов?

— Статуя мраморная.

— Может, стоило бы — ай! — уничтожить все эти колючие заросли?

Бабушка Клауд посмотрела на Смоки так, будто он неожиданно ее ударил. Она откашлялась, поглаживая себя по ключице.

— Это дорожка Оберона. Она ведет к Летнему Домику. Это не самый прямой путь, но Оберон

должен вас увидеть.

— Да?

Летний Домик представлял собой две круглые башни из красного кирпича, короткие и толстые, как большие пальцы ног, соединенные перемычкой с навесной бойницей. Была ли это искусственная руина или настоящая? На несуразно больших сводчатых окнах висели веселенькие занавески.

— Когда-то этот уголок был виден из окон дома, — сказала Клауд. — Считалось, что лунными ночами здесь очень романтично... Оберон — сын моей матери, отец был другой; значит, Оберон мой сводный брат. Несколькими годами старше меня. Он долгое время нас учил и воспитывал; правда, сейчас он не совсем здоров и не покидает Летний Домик уже почти год. Жаль, конечно... Оберон!

Подойдя ближе, Смоки увидел вокруг приметы жилья: сортир, аккуратный огородик, сарай с готовой выкатиться из него газонокосилкой. Парадным входом служила зубчатая дверь-ширма, приобретшая со временем ромбовидную форму; ступеньки крыльца покосились; на солнце, рядом с ванночкой для птиц, стояло складное кресло, обтянутое полосатой парусиной. Маленький

старичок, заслышав свое имя, вскочил с места в некотором волнении (подтяжки, казалось, заставили его согнуться в поклоне) и бросился было к дому, но Клауд оказалась проворнее и успела его остановить.

— Вот Смоки Барнабл, который сегодня женится на Дейли Элис. Подойди и хотя бы поздоровайся. — Она покрутила головой, давая понять, что ее терпение на исходе, и, взяв Смоки под локоть, вывела его во дворик.

Деваться Оберону было некуда — и, развернувшись на пороге, он с гостеприимной улыбкой протянул руку.

— Пожалуйте-пожалуйте, хм-хм, — захихикал он тем рассеянным старческим смешком, когда человек в годах прислушивается к себе, озабоченный изношенностью внутренних органов. Он едва коснулся протянутой навстречу руки Смоки и тут же с облегчением снова уселся в складное кресло, указав Смоки на скамеечку. С чего бы это здесь, на отшибе, солнечный свет внезапно вызвал у Смоки какое-то беспокойство? Клауд села на стул рядом с братом, и Оберон накрыл ее руку своей, поросшей седыми волосками.

— Ну-ну, что такое стряслось? — снисходительно поинтересовалась она.

— Стоит ли говорить, — заметил Оберон вполголоса. — При...

— Член семьи, — сказала Клауд. — С сего дня.

Оберон, по-прежнему беззвучно похихикивая, посмотрел на Смоки. Незащищен! — вот что почувствовал Смоки. Войдя в этот дворик, они потеряли что-то из того, что окружало их среди деревьев, ступили за какой-то предел.

— Это нетрудно проверить, — сказал Оберон и, ударив себя по костлявому колену, поднялся с места. Потирая руки, он ретировался в дом.

— *Трудно*, — отозвалась Клауд, не обращаясь ни к кому в частности и глядя в безоблачное небо. Она уже не чувствовала себя так непринужденно. Снова откашлявшись, она устремила взгляд на серую ванночку для птиц, опиравшуюся на резные фигурки эльфов и бородатых гномов с терпеливыми лицами, которые, казалось, спешили утащить ее прочь. Клауд вздохнула и посмотрела на прикрепленные к груди крошечные золотые часики с витыми крылышками с обеих сторон. Время летит. Она посмотрела на Смоки с извиняющейся улыбкой.

— Ага-ага, вот, — приговаривал Оберон, выходя из дома с большой камерой на высоком треножнике, покрытой куском черной ткани.

— Ох, Оберон, Оберон, — сказала Клауд не то чтобы раздраженно, но явно не считая съемку необходимой и уж совсем никак не разделяя его энтузиазма. Однако Оберон уже втыкал ножки штатива в землю около Смоки так, чтобы аппарат из красного дерева стоял ровно, а его физиономия была направлена на Смоки.

Долгие годы эта последняя фотография Оберона лежала рядом с его лупой на столе в Летнем Домике: на ней различался Смоки в костюме Трумэна, который блестел на солнце; волосы Смоки пылали рыжиной, а половину лица заливал солнечный блик. Виднелись локоть с ямочкой и ухо с сережкой бабушки Клауд. Ванночка для птиц. Ванночка для птиц: могло ли быть так, что на снимке оказалось лишнее вытянутое лицо из мыльного камня, а среди рук, поддерживавших чашу, — лишняя пара? Оберон не довел исследование до конца, не пришел к определенному решению; и когда спустя годы сын Смоки сдул пыль со старого снимка и взял в руки работу Оберона, это был всего-навсего клочок посеребренной бумаги, неубедительный и ничего не доказывающий, засвеченный давно ушедшим июньским солнцем.

Вудзы и Лейки

За Летним Домиком они спустились по утопленной тропинке, которую быстро поглотил лес — дремучий и сонный, влажный после дождя. Казалось, это именно тот лес, что приютил спящую красавицу до истечения ее столетнего срока. Не успели они сделать несколько шагов, как позади раздался не то шорох, не то шепот, и с внезапностью, заставившей Смоки вздрогнуть, на тропинке перед ними выросла человеческая фигура.

— Доброе утро, Руди, — сказала Клауд. — Это жених. Смоки, это Руди Флад.

Шляпа Руди была такой мятой, как будто он ею дрался. Загнутые вверх поля открывали его широкое бородатое лицо. Из-под распахнутого зеленого плаща выпирал большой живот, туго обтянутый белой рубашкой.

— А где Рори? — спросила Клауд.

— Дальше по тропинке. — Он ухмыльнулся, глядя на Смоки с таким видом, как будто оба они участвовали в каком-то розыгрыше. Тотчас же на тропинке появилась Рори Флад, его худенькая жена, и молодая девушка в мешковатых джинсах. Ребенок у нее на руках колотил кулачками

по воздуху.

— Бетси Берд и Робин, — сказала Клауд. — А вон там Фил Фокс и два моих двоюродных брата — Ирвин и Уолтер Стоуны, по материнской линии — Клауды.

Справа и слева на тропинку выступали все новые и новые гости, приглашенные на свадьбу. Тропинка была узкой: гости подходили поочередно парами, чтобы потрогать Смоки и благословить его, а потом отступали в сторону.

— Чарльз Уэйн, — продолжала Клауд, — Ханна Нун. А где же Лейки? Где Вудзы?

Тропинка вывела на широкую покатую поляну, примыкавшую к темному озеру с недвижной поверхностью, которое, будто рвом, окружало островок со старыми деревьями. Озеро ковром покрывали листья, а из лужиц под ногами выскакивали лягушки.

— Имение, в самом деле, обширное, — заметил Смоки, вспомнив путеводитель.

— Чем дальше продвигаешься, тем больше оно становится, — отозвалась Ханна Нун. — Вам не встретился мой сынишка Санни?

Рассекая зеркальную гладь воды, по озеру плыла лодка. Ее резной нос напоминал лебедя, только серого и теперь безглазого, подобно черному

лебедю на черном озере из северной легенды[61]. С глухим перестуком уключин лодка коснулась берега, и Смоки подтолкнули вперед, чтобы он взошел на борт вместе с Клауд, которая продолжала знакомить его со смеющимися гостями.

— Ханна приходится нам дальней родственницей, — говорила она. — Ее дедушка был из семейства Бушей, а дедушкина сестра вышла замуж за одного из дядюшек миссис Дринкуотер, Дейла...

Смоки машинально кивал головой, но Клауд заметила, что он ее не слушает. Она улыбнулась и накрыла его руку своей. Остров посреди озера, затененный ветвями деревьев, казалось, был сделан из переливчатого зеленого стекла; на его пологих склонах росли мирты. В центре острова находился круглый бельведер с тонкими, стройными колоннами, напоминавшими руки, с округлым куполом, увитым зеленью. Там, в окружении подруг, стояла высокая девушка в белом

---

[61] Примечания: 61

Рассекая зеркальную гладь воды, по озеру плыла лодка. Ее резной нос напоминал лебедя, только серого и теперь безглазого, подобно черному лебедю на черном озере из северной легенды. — Аллюзия в первую очередь на оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» (1848), но также на балет Чайковского «Лебединое озеро» (1876), либретто которого опиралось на многочисленные фольклорные источники, немецкие, русские и др., в т. ч. переосмысленные Иоганном Карлом Августом Музеусом («Похищенная вуаль») и Гансом Христианом Андерсеном («Дикие лебеди»).

платье, держа перевязанный лентами букет.

Прибывших шумно приветствовали, и множество рук высадило их на берег с протекавшего лебедя. По всему острову расположились люди, открывая корзинки с едой, унимая капризных детей; казалось, лишь немногие обратили внимание на появление Смоки.

— Клауд, посмотри-ка, кто у нас здесь, — сказал худощавый мужчина почти без подбородка, чем-то напомнивший Смоки поэтов, которые упоминались в путеводителе с крайним пренебрежением. — Здесь доктор Уорд. Кстати, где он сейчас? Доктор! Еще немного шампанского?

Плохо выбритое лицо доктора Уорда, затянутого в тесный черный костюм, выражало безоглядный ужас; бокал с золотой каемкой задрожал у него в руке, вверх побежали пузырьки.

— Рада вас видеть, доктор, — обратилась к нему Клауд. — Чудес, думаю, вы можете не опасаться. Да усаживайтесь вы, дружище, усаживайтесь! — Доктор Уорд попытался что-то сказать, поперхнулся и забормотал невнятное. — Эй, кто-нибудь, похлопайте его по спине! Он не наш священник, — доверительно сообщила Клауд Смоки. — Они приходят со стороны и обычно очень нервничают. Чудо, если нас женят или хоронят. А, вот

и Сара Пинк с малышами. Здравствуйте. Все готово?

Клауд взяла Смоки за руку, и, когда они направились по выстланной плитками дорожке к бельведеру, заиграла фисгармония — тоненьким плачущим голосом; эта музыка была Смоки незнакома, но его охватило вдруг неясное томление. Под звуки фисгармонии, тихо переговариваясь, собрались приглашенные на церемонию; едва Смоки достиг низких истертых ступенек бельведера, как тут же, пугливо озираясь и выуживая из кармана книжку, показался доктор Уорд. Смоки увидел Ма, доктора Дринкуотера и Софи за спиной у Дейли Элис: обе держали в руках цветы. Элис смотрела на него без улыбки и очень спокойно, словно на незнакомца. Смоки поставили позади невесты. Он хотел было засунуть руки в карманы, замер и сложил их за спиной, потом сцепил перед собой. Доктор Уорд полистал книгу и быстро заговорил: его слова прорывались сквозь хлопки пробок, волнение толпы и нескончаемую мелодию, которую выводила фисгармония. Слышалось примерно следующее: «Гласен ли ты Барбл зять эту Дейли Элис упругой смачной жизни на ложе негоже в море и гадости для крадства и вредности или всюду в целости

пучия пока смерть не заключит вас?»

— Согласен, — ответил Смоки.

— Я тоже согласна, — проговорила Дейли Элис.

— Майтесь кольцами, — провозгласил доктор Уорд. — А теперь я побиваю вас мужем и женой.

— *А-а-а-а!* — разом выдохнули гости и, переговариваясь вполголоса, стали потихоньку расходиться.

Касание носами

Была игра, в которую Дейли Элис играла с Софи в длинных коридорах Эджвуда, — когда они расходились в разные стороны возможно дальше, но так, чтобы друг друга видеть. Потом они начинали медленно сближаться, медленно и неспешно, не сводя глаз друг с друга. Так они шли и шли ровным шагом, стараясь не прыснуть со смеху, пока их носы не соприкасались. Нечто подобное произошло и со Смоки, хотя он и начал двигаться издалека, вне пределов видимости, прямо из Города — или даже невесть откуда, где она сроду не бывала, — и все это время он шел к ней навстречу. Когда Смоки поднялся на лодку в форме лебедя, Дейли Элис с легкостью могла бы накрыть его подушечкой большого пальца, если бы только захотела; затем лодка, веслами кото-

рой орудовал Фил Флауэрз, подплыла ближе, и Дейли Элис различила его лицо и убедилась, что это был действительно Смоки. У береговой кромки он на мгновение исчез из виду; подруги вокруг нее шушукались в нетерпеливом ожидании, и вот он наконец появился вновь в сопровождении Клауд. Теперь он был намного больше, его брюки на коленях еще заметнее морщились; видны были и его сильные жилистые руки, которые она так любила. Да, теперь он больше. В петлице у Смоки был букетик фиалок. Дейли Элис заметила, как судорожно дернулся у него кадык, и в этот момент возникла Музыка. Когда он приблизился вплотную к лесенке, ведущей в павильон, ей пришлось оторвать взгляд от его ног, чтобы решительно взглянуть ему в лицо: она так и сделала, и на мгновение все то, что окружало его лицо, поплыло и потемнело, а само оно, описав орбиту, придвинулось к ней бледной улыбающейся луной. Смоки поднялся по ступенькам. Встал рядом с ней. Носами друг друга они не коснулись. Это еще будет. Дейли Элис думала, что на это понадобятся годы, а может, это никогда и не произойдет: в конце концов, их брак — это брак по расчету, хотя она никогда не говорила, не говорит и никогда не скажет ему об этом, потому что, как посулили

карты, она теперь точно знала, что из всех других выбрала бы именно Смоки, даже если бы карты легли иначе, или же те, кто обещал ей кого-то похожего на него, вдруг передумали бы или сочли этот выбор неверным. Она бы бросила им вызов. Ведь именно они нашли уместным послать ее на поиски! И теперь Дейли Элис всем своим существом хотела продолжить поиск, обнять Смоки и пристально его изучить, но тупоумный священник как раз принялся бормотать, и Дейли Элис рассердилась на своих родителей, которые почли его присутствие необходимым, и, по их словам, прежде всего ради Смоки, но она-то знала теперь Смоки лучше всех. Она попыталась вслушаться в речь священника, но задумалась о том, насколько лучше было бы жениться, касаясь носами: разом двинуться навстречу друг другу издалека, как это происходило раньше в старых залах, когда картины на стенах, улавливаемые боковым зрением, меняясь, скользили мимо, но лицо Софи впереди росло, непрерывно увеличивалось в размерах, глаза ее расширялись, веснушки растягивались, лицо из далекой планеты превращалось в луну, потом в солнце, потом все исчезало, кроме непонятной карты, и огромные глаза начинали косить в последний момент перед тем, как два

носа сближались стремительно и неудержимо, чтобы наконец беззвучно столкнуться.

Счастливые острова

— Да правда ли все это? — пробормотал Смоки.

На его костюме Трумэна трава оставила пятна, и Ма, упаковывая корзинки после пикника, оглядела их с беспокойством.

— Эти пятна уже не вывести, — заметила она.

После шампанского даже самое невероятное казалось Смоки приемлемым, нормальным и даже необходимым; он сидел, словно окутанный полуденной дымкой, умиротворенный и счастливый. Ма увязала корзинку, а потом увидела в траве тарелку; когда же корзинка была распакована и увязана заново, Смоки с чувством *déjà vu*[62] указал пальцем на вилку, ускользнувшую от ее внимания. Дейли Элис прислонилась к его руке. Они несколько раз обошли остров, с энтузиазмом встречаемые друзьями и родственниками. «Спасибо», — говорили некоторые, когда она представляла Смоки, и вручали ей подарки. После третьего бокала шампанского Смоки задался вопросом, следует ли считать такие не соответ-

---

[62] Примечания: 62
Уже пережитое (фр.)

ствующие ситуации реплики (Клауд прибегала к ним неизменно) частным случаем или же проявлением некоего общего... общего... Дейли Элис склонила голову на его подбитое ватой плечо, и так они, поддерживая друг друга, слушали, как их приветствуют со всех сторон.

— Чудесно, — словно про себя, сказал Смоки. — Как это называется, когда что-то происходит под открытым небом?

— *Al fresco*[63]*?*

— Точно?

— Думаю, да.

— Ты счастлива?

— Думаю, да.

— А я счастлив.

Когда женился Франц Маус, он со своей невестой (как ее звали?) пошел в фотостудию, расположенную в цокольном этаже. Там к официальным изображениям супружеской пары фотограф добавил несколько дурашливых снимков с собственной бутафорией: привязал к ноге Франца изготовленный из папье-маше шар на цепи, а невесту уговорил замахнуться на жениха скалкой. Смоки подумал, что о супружеской жизни

---

[63] Примечания: 63
На свежем воздухе (ит.).

ему известно не более этого, и громко рассмеялся.

— Чего это ты? — поинтересовалась Элис.

— У тебя есть скалка?

— Ты имеешь в виду — для раскатывания теста? У Ма, наверное, есть.

— Ну, тогда все в порядке.

Смоки тихонько хихикал: его буквально распирало от смеха, который поднимался откуда-то из диафрагмы, как в бокале шампанского из невидимой точки бегут к поверхности крошечные пузырьки. Дейли Элис тоже заразилась от него хохотом. Ма стояла над ними, уперев руки в бока, и укоризненно качала головой. Фисгармония — или что там был за инструмент — зазвучала вновь и мгновенно их утихомирила, будто кто-то положил на разгоряченный лоб прохладную ладонь или чей-то голос внезапно заговорил о давно минувших печалях; Смоки никогда не слышал подобной музыки, она захватила его, или, скорее, он сам ухватился за нее, словно скользившая по шелку рука зацепилась за нежную ткань ногтями. Это был «отпуск», или Рецессионал (последнее песнопение перед концом службы: Смоки не мог понять, откуда он взял это слово), но обращен он был не к нему и не к его невесте,

а явно ко всем остальным. Ма, глубоко вздохнув, тотчас же умолкла; затих и весь остров; она подняла корзинку для пикника, жестом остановила Смоки, который с великой неохотой привстал, чтобы ей помочь, расцеловала их обоих и, улыбаясь, ушла. Люди со всего острова спускались к реке; слышались смех и отдаленные выкрики. На берегу Смоки увидел хорошенькую Сару Пинк, которой помогали взойти на лодку в форме лебедя; остальные ожидали своей очереди, стоя в сторонке: кое-кто все еще с бокалом, а у одного через плечо висела гитара; Руди Флад размахивал зеленой бутылью. Музыка и надвигавшийся вечер вносили в оживленное отбытие гостей смутную печаль, словно те, кто покидал сейчас Счастливые Острова ради мест куда менее счастливых, до последнего момента не в состоянии были осознать постигшую их утрату.

Смоки косо поставил в траву свой наполовину опустевший бокал и, чувствуя себя сотворенным из музыки с головы до пят, уткнулся головой в колени Элис. Краем глаза он случайно увидел, как двоюродная бабушка Клауд беседует у озера с двумя людьми, которые показались ему знакомыми, но в первый момент он никак не мог вспомнить, где их видел, хотя и был крайне удивлен их при-

сутствием здесь. Мужчина, раскуривая трубку, округлил большой, как у рыбы, рот и помог своей жене забраться в гребную шлюпку.

Мардж и Джефф Джуниперы.

Смоки заглянул в безмятежно-умиротворенное лицо Дейли Элис, недоумевая, почему все сегодняшние тайны, которые становились все запутанней, вызывают в нем все меньшее желание их расследовать.

— То, что делает нас счастливыми, — сказал он, — делает нас мудрыми.

Дейли Элис улыбнулась и кивнула, да и кто мог с этим поспорить: старые истины и несут в себе настоящую правду.

Уединенная жизнь

Софи отстала от своих родителей, когда они шли рука об руку по тропинке через затихающий лес, спокойно беседуя о событиях минувшего дня, как обычно делают родители, если их старшая дочь только что вышла замуж. Она свернула на едва приметную тропинку, которая вела в прямо противоположную сторону. Пока Софи шла, начали сгущаться сумерки, хотя казалось, что темнота не опускается, а, наоборот, поднимается снизу, от земли, заливая чернотой бархатистую оборот-

ную сторону листьев густых папоротников. День ускользал прямо из рук Софи: постепенно они становились почти неразличимыми; тьма отняла жизнь, а потом и свет у букетика цветов, который она, сама не зная зачем, все еще несла с собой. Но она чувствовала, что голова ее как бы плывет над поднимавшейся темнотой, пока тропинка, по которой она шла, не слилась с темнотой и Софи, вдохнув вечернюю прохладу, не окунулась во мглу по самую макушку. Далее вечер добрался до невидимых птиц, приглушив поодиночке участников неистовой перепалки, и в воздухе повисло полное шепотков безмолвие. Хотя небо еще голубело почти как днем, но тропинка исчезла из-под ног Софи, и она начала спотыкаться. Появился первый светлячок, словно заступил на пост. Сделав шаг вперед, Софи согнула ногу в колене и за каблук стянула правую туфлю, перескочила на босую ногу, стянула левую и, не особенно раздумывая, поставила их на камень в надежде, что роса не испортит атласную ткань.

Софи старалась не спешить, но сердце, против ее воли, рвалось у нее из груди. Ежевичные кусты умоляли ее кружевное платье остаться с ними, и она тоже хотела его снять, но не решилась. Тропинка, по которой она шла, рассекала лес

неясно-темным туннелем, где мелькали светлячки, а впереди виднелась, точно выгравированная, голубовато-зеленая линия горизонта с бледным мазком облака. Совершенно неожиданно (как это всегда бывает) показалась верхушка далекого дома, который, по мере приближения к нему, все более отодвигался из-за наползавшего тумана. Софи пошла по лесному туннелю навстречу вечеру еще медленнее, чувствуя, как смешок щекочет ей горло.

Когда Софи приблизилась к острову, то ощутила, что ее Как-то сопровождают: совершенной новостью для нее это не являлось, однако острое осознание чьего-то присутствия заставило Софи встрепенуться, словно она была покрыта меховой шкурой, которая затрещала после того, как по ней провели щеткой.

Остров, собственно, не был островом — вернее, был не совсем островом. Вытянутый в форме оброненной слезы, длинной оконечностью он вдавался в поток, питавший озеро. Подойдя к тому месту, где поток, обогнув оконечность слезинки, узкой журчавшей струей вливался в озеро, Софи без труда перебралась через него, перепрыгивая с камня на камень; их омывала бежавшая вода, образовывая как бы водяные

подушки, к которым ей хотелось приложиться пылавшей щекой.

Софи ступила на остров, где в отдалении стоял бельведер, повернутый к ней другой стороной.

Да, теперь они окружали Софи толпами, и цель их — не могла не думать Софи — была той же, что и у нее: узнать, увидеть, убедиться. Но причины у них наверняка были другими. Собственные причины она не смогла бы назвать; вероятно, их причины тоже нельзя было обозначить словами, но ей казалось — хотя только тихо журчал поток, и кровь шумела у нее в ушах — будто она слышит множество голосов, которые не говорили ничего. Осторожно, крадучись, Софи обошла вокруг бельведера, прислушиваясь к внятному человеческому голосу: это был голос Элис, но Софи слышала не то, что говорила сестра. Донесся смех, и Софи подумалось: она знает, что должен выразить этот смех. Зачем же она пришла? В груди у Софи росла и давила на нее темная, слепая, страшная сила, будто там воздвигалась чудовищной тяжести стена, но она продолжала идти, пока не подошла к холодной каменной скамье на возвышении, огражденном глянцевитым кустарником; возле нее она беззвучно опустилась на колени.

Погас последний зеленоватый отсвет заката. Павильон, казалось, только и дожидался того, когда почти полная луна всплывет над деревьями и прольет на подернутую рябью поверхность озера свет, который просочился меж колоннами и упал на супружескую пару.

Дейли Элис повесила свое белое платье на ветку, и легкий ветерок, подувший после заката, время от времени шевелил рукава и подол; видя это краем глаза, Смоки думал, будто около павильона, где они расположились, прячется еще кто-то. Темнота была неполной: небо потемнело еще не до конца, мелькали светлячки; бутоны цветов, казалось, не отражали свет, а сами испускали нежное диковинное свечение. Ее протяженная география рядом с ним на подушках при этом скорее чувствовалась, чем виднелась.

— Я и в самом деле крайне неискушен, — проговорил Смоки. — И очень во многом.

— Неискушен? — с притворным удивлением воскликнула Дейли Элис (притворным потому, что благодаря именно этой неискушенности он сейчас оказался здесь с ней, а она рядом с ним). — *Действуешь* ты вполне искушенно. — Дейли Элис рассмеялась, вслед за ней рассмеялся и Смоки: вот этот смех и услышала Софи. — Бесстыдник.

— Да, и стыда во мне мало. По той же причине, я думаю. Никто никогда не говорил мне, чего следует стыдиться. Чего надо бояться — так этому учить не приходится. Но я с этим справился. — Благодаря тебе, мог бы он добавить. — Я вел уединенную жизнь.

— Я тоже.

Если Дейли Элис, по ее словам, вела уединенную жизнь, то, подумал Смоки, его собственная жизнь таковой вовсе не являлась. Если она жила замкнуто, то у него, наоборот, было все на виду.

— У меня никогда не было детства... такого, как у тебя. Ребенком, в сущности, я и не был. То есть маленьким-то я был, но ребенком... нет, никогда.

— Что ж, располагай моим детством как своим. Если, конечно, ты не против.

— Спасибо. — Ну конечно же, он был ничуть не против: ему хотелось владеть ее детством целиком, не упустить ни единой минуточки. — Спасибо тебе.

Луна поднялась выше, и в ее неожиданно ярком свете Смоки видел, как Дейли Элис тоже встала, потянулась, будто после тяжелой работы, и прислонилась к колонне, рассеянно себя поглаживая и всматриваясь в темные древесные кущи на противоположном берегу озера. Ее длинное

мускулистое тело серебрилось в полумраке и казалось почти бесплотным, хотя нет, в действительности это было далеко не так: Смоки все еще слегка вздрагивал от ощущения его тяжести. Дейли Элис, вытянув руку, прижала ее к груди и обхватила себя за плечо. Упираясь одной ногой в пол и согнув другую, резко откинулась назад; при этом симметричные округлости ее ягодиц утвердились прочно и неоспоримо, подобно доказанной теореме. Смоки воспринимал ее движения с напряженной отчетливостью: он словно бы не вбирал их всеми своими чувствами, но они сами вливались в него беспрерывной чередой.

— Самое первое мое воспоминание, — проговорила Дейли Элис, будто передавая в рассрочку предложенный ею дар или же думая о чем-то совершенно постороннем (но Смоки благодарно принимал и это), — самое первое мое воспоминание — лицо в окне. Стояла ночь, летняя. Окно было распахнуто настежь. Лицо — круглое, желтое, как луна, — сверкало. Оно широко улыбалось, а глаза *проникали внутрь* меня с *величайшим интересом*. В его взгляде был огромный интерес. Помню, я засмеялась, хотя в лице и было что-то зловещее, но улыбка меня рассмешила. Затем на подоконнике появились руки, и этот лунный

лик — вернее, его владелец — попытался влезть в окно. Я даже не успела испугаться: мне слышался смех, и я смеялась в ответ. Как раз в это время в комнату вошел папа; я на мгновение отвернулась, а когда взглянула снова, лицо уже исчезло. Позднее я напомнила папе об этом случае, но он сказал, что в окне я видела не лицо, а луну, а вместо рук, цеплявшихся за подоконник, — занавески, которые шевелил ветерок, а потом, когда я снова взглянула на окно, на луну набежало облако.

— Возможно.

— Но это увидел *он*, а не я.

— Я и говорю, возможно...

— А чье детство, — спросила Дейли Элис, повернувшись к Смоки, — тебе бы хотелось иметь? — Ее волосы пылали под лунным светом, а голубовато-матовое лицо казалось пугающе чужим.

— Твое. И сейчас.

— Сейчас?

— Иди сюда.

Дейли Элис засмеялась и коленями опустилась на подушки рядом со Смоки. Ее тело казалось прохладным от лунного света, но это было ее тело, и только ее.

Так же тихо, как и пришла

Софи видела, как они слились воедино. Она с необычайной отчетливостью чувствовала состояния сестры, которые нарастали и исчезали в ней от близости Смоки, хотя ничего подобного, как знала Софи, Дейли Элис раньше не испытывала. Она ясно видела, что́ заставляет карие глаза ее сестры становиться бессмысленными и отрешенными или вдруг вспыхивать светом; она видела все. Дейли Элис как будто была сделана из темного стекла, сквозь которое мало что удавалось разглядеть, но теперь, поднесенная к яркому светильнику любви Смоки, стала прозрачной насквозь, и ничто в ней не могло укрыться от глаз Софи. Софи слышала, как они обмениваются обрывками немногих фраз, подсказками, ликующими вскриками: каждое слово звенело, будто хрустальный колокольчик. Дыхание у сестер было на двоих одно, и всякий раз, как оно учащалось, Элис охватывала предельная ясность. Странный способ обладания: Софи не могла разобрать, какие чувства овладевали ее отчаянно бьющимся сердцем — боль, смелость, стыд или что-то еще. Она знала, что никакая сила не заставила бы ее отвести глаза, а если бы даже

она отвернулась, то видела бы все происходящее даже отчетливей.

И все же все это время Софи спала.

Это была разновидность сна (она знала все наперечет, только не могла приискать названия ни одной)[64], во время которого веки, кажется, становятся прозрачными, и сквозь них видишь то, что видел перед тем, как закрыть глаза. То же самое, но не совсем. Еще до того, как закрыть глаза, Софи знала или просто чувствовала, что вокруг собрались и другие, чтобы тоже подглядывать за брачной ночью. Теперь, во сне, эти другие существовали реально: они заглядывали ей через плечо и поверх головы, хитроумно подкрадывались поближе к павильону, поднимали крохотных детей над ветками миртов, чтобы

---

[64] Примечания: 64

Это была разновидность сна (она знала все наперечет, только не могла приискать названия ни одной)... — Краули следует за Л. Кэрроллом, который дает классификацию подобных состояний в предисловии к роману «Сильвия и Бруно. Окончание»:

> Я предположил, что человеческое существо способно находиться в трех состояниях сознания:
> а) в обычном состоянии, когда присутствие фей не осознается;
> б) в «странном» состоянии («eerie»), когда человек осознает свое окружение и присутствие фей;
> в) в состоянии некоего транса, когда человек не осознает свое окружение, как бы спит, но его нематериальная сущность путешествует в другие места — в этом ли мире или в мире фей, — и осознает их присутствие.

Также я предположил, что феи способны приходить из своего мира в наш, принимать по желанию человеческую форму и также находиться в разных состояниях сознания.

(Перевод А. Флотского, с изм.)

те увидели это чудо. Они повисали в воздухе на трепещущих крыльях, и эти крылья трепетали от такого же восторга, за каким наблюдали их обладатели. Их возня не мешала Софи; их заинтересованность, столь же сильная, во всем остальном ничуть не походила на ее заинтересованность: пока сама она, отважно погружаясь в пучины, не была уверена, что ее не захлестнут встречные валы изумления, страсти, стыда, перехватывающей дыхание любви, те, другие вокруг нее (она знала), побуждали, весело ободряя, молодоженов к одному и только к одному — рождению Потомства.

Неуклюжий жук с треском пролетел мимо ее уха, и Софи проснулась.

Все живые существа вокруг нее были смутными подобиями тех, что она видела во сне: жужжащие комары и мерцающие светлячки, далекий козодой, летучие мыши, гоняющиеся за добычей на резиновых крыльях.

В отдалении, залитый луной, загадочно белел павильон. Софи показалось, что временами она различает что-то похожее на движения их тел. Но не доносилось ни звука, нельзя было даже угадать, что и где могло бы шевельнуться. Затишье полное.

Почему это ранило ее больнее того, чему она была свидетелем во сне?

Оставленность. Софи чувствовала себя принесенной в жертву, и сейчас, когда не могла видеть Дейли Элис и Смоки, даже острее, чем когда спала, и так же была не уверена, переживет ли это.

Ревность: пробуждающаяся ревность. Хотя нет, не то. Она никогда не ощущала себя собственницей — владелицей хотя бы булавки; и кроме того, ревнуют, если отберут что-то принадлежащее тебе. И не предательство: ведь она знала обо всем с самого начала (и теперь знала даже больше того, чем когда-либо они узнают, что она знает); ведь предать может только лицемер, лжец.

Зависть. Но к кому — к Элис, к Смоки или к ним обоим?

Софи не могла сказать. Она только чувствовала, что пылает от страдания и любви одновременно, словно вместо еды проглотила раскаленные угли.

Софи ушла так же тихо, как пришла, и мириады других вслед за ней — вероятно, еще бесшумнее.

Предположим, ты рыба

Поток, который впадал в озеро, довольно долго бежал по каменистому руслу, как по ступенькам

лестницы, вытекая из обширного бассейна, образованного высоким водопадом в глубине леса.

Копья лунного света пронзали шелковистую поверхность озера и разбивались на сотни искорок, тонувших в его глубине. Звезды отражались в нем, приподнимались и падали вместе с беспрестанно набегавшими кругами и пенистыми брызгами. Именно так представлялось бы все это тому, кто стоял бы на берегу озера. Огромной белой форели, дремавшей в воде, все представлялось иначе.

Дремавшей? Да, рыбы спят, хотя и не плачут; сильнейшее испытываемое ими чувство — паника; самое печальное — горькое сожаление. Они спят с широко открытыми глазами, и их сны отражаются на зеленовато-черной толще воды. Дедушке Форели казалось, что бегущая вода и знакомый антураж то распахиваются перед ним, то закрываются ставнями по мере того, как сон приходил и уходил от него; когда ставни закрывались, он видел картину подводного мира. В рыбьих снах обычно содержится та же самая вода, которая их окружает, когда они бодрствуют, но у Дедушки Форели все было по-другому. Снилось ему нечто совершенно непохожее на ручьи с форелями, однако водяная обитель с таким

неизменным постоянством напоминала о себе его лишенным век глазам, что само его существование на свете сделалось предположительным. Одно сонное предположение вытеснялось другим с каждым шевелением его жабр.

Предположим, ты рыба. Лучшего места для жизни не сыщешь. Льющиеся потоки непрерывно обновляют воду, так что дышать в ней — одно удовольствие. Кто дышит не водой, а, предположим, воздухом, тому так же свободно дышится на высокогорных альпийских лугах, где ветер постоянно омывает легкие свежестью. Замечательно, что о нем так позаботились, если, предположим, они действительно думают о чьем-либо счастье и комфорте. Здесь нет хищников и почти нет конкурентов, потому что (хотя откуда, предположительно, рыбам об этом знать?) выше находится усеянное камнями мелководье и никто из достигших такой же величины, что и Дедушка Форель, не может появиться в этом озере и оспорить его право на насекомых, которые падают с нависавших над водой густо переплетенных ветвей. В самом деле, все основательно продумано, если только предположить, что кто-то об этом вообще думал.

Все-таки (предположим, что плавать тут —

вовсе не твой выбор) какое это ужасное, хоть и заслуженное, наказание, какая мучительная ссылка. Что же, теперь ему, вправленному в жидкое стекло, лишенному дыхания, вечно суждено торкаться взад и вперед, занимаясь ловлей комаров? Для рыбы, предположим, вкус комара — самое приятное в ее наисчастливейшем сне. Но если предположить, что ты — не рыба, бесконечно глотать крошечные капельки горькой крови — понравятся ли тебе такие воспоминания?

Делаем следующий шаг (предположим, рыба может шагать): предположим, что все это — Повесть. Пускай он кажется рыбой, по-настоящему довольной жизнью, или же рыбой, с великой неохотой приучившей себя ею стать, но если когда-нибудь однажды в отливающие радугой глубины озера заглянет вдруг прекрасная девушка и произнесет заклинание, которое она дорогой для себя ценой с трудом выманила у коварных хранителей тайн, тогда он с плеском рванется из удушающего водного плена наверх, молотя воздух ногами, в насквозь мокрой королевской мантии, и предстанет перед ней запыхавшимся, возвращенным в прежний облик: проклятие уничтожится, злая фея разрыдается от бессильной ярости. При этой мысли глазам Дедушки Форели

внезапно предстала отраженная водой картина — цветная гравюра: рыба в нахлобученном парике, в пальто с высоко поднятым воротником, с огромным письмом под мышкой и широко разинутым ртом[65]. Глотает воздух. От этого кошмарного видения (откуда оно взялось?) жабры его раздулись, и он мгновенно очнулся; ставни прикрылись. Это всего лишь сон. Некоторое время он благодарно не строил никаких предположений, а только взирал на трезвомыслящую, пронизанную луной воду.

Конечно же (ставни снова начали сходиться), можно вообразить, что сам он — тоже один из них: хранитель тайн, он — налагающий проклятия, злокозненный манипулятор; бессмертный колдовской интеллект, воплощенный ради какой-то собственной хитроумной цели в обличье обыкновенной рыбы. Бессмертный: предположим, что это именно так; определенно он жил всегда или около того, дожил до настоящего времени (если предположить — погружаемся глубже, — что это время — настоящее); не скончался на исходе

[65] Примечания: 65

...цветная гравюра: рыба в нахлобученном парике, в пальто с высоко поднятым воротником, с огромным письмом под мышкой и широко разинутым ртом. — Дедушка Форель видит Карася из «Алисы в Стране чудес» (гл. VI) — но не классическую гравюру Джона Тенниела, а, судя по описанию, иллюстрацию Бесси Пиз Гуттман к изданию 1907 года.

рыбьего века или века, отпущенного принцу. Ему кажется, будто он протягивается назад (или все-таки вперед?) без конца (или же начала?) и теперь уже не в силах припомнить, где обретаются грандиозные сказания и повествования (которые, как он предполагает, ему известны и над которыми он размышляет испокон веку) — в грядущем или, наоборот, бездыханном бывшем. Но если предположить, что именно так хранятся тайны, именно так помнятся стародавние предания, именно так налагаются вечные проклятия...

Нет. Они знают. Они не предполагают. Дедушка Форель думает об их уверенности, спокойной, бесстрастной красоте их правдивых лиц и задающих работу рук, крепких, как рыболовный крючок, застрявший глубоко в глотке. Он так же несведущ, как малек плотвички: ничего не знает и не озаботится узнать, не подумает их расспросить, даже предполагая (внутреннее окно бесшумно распахивается), что услышит ответ: некий юноша одной августовской ночью. Стоящий на этих скалах, что вздымают голые уступы в губитель-

ный воздух. Юношу поразила метаморфоза[66], как это озерцо однажды поразила молния. По-видимому, за какое-то оскорбление, у вас есть свои основания, не причиняйте мне вреда, я тут совсем ни при чем. Предположим только, что этот юноша воображает воспоминание, воображает единственный и последний, застрявший в нем осколок памяти (остальное, все остальное — в области предположений): чудовищное удушье на смертельном безводье, внезапное оплавление рук и ног, корчи и судороги в воздухе (воздухе!) — и затем немыслимое облегчение от нырка в сладостно-прохладную воду, где он должен обретаться — и обретаться теперь во веки веков.

И предположим теперь, что он не может вспомнить, *почему* это случилось: предполагает только, во сне, что это произошло.

Что он такого сделал, чтобы так вас уязвить?

---

[66] Примечания: 66

Юношу поразила метаморфоза... — В судьбе Дедушки Форели некоторые критики усматривают вариацию на тему «Детей вод» (1863) — аллегорической истории, написанной английским писателем, священником, чартистом и христианским социалистом Чарльзом Кингсли (1819–1875). Мальчик-трубочист Том тонет, и взрослые находят его тело, однако на самом деле феи просто сбросили с него эту оболочку и превратили в «дитя вод», после чего Том проходит путь духовного совершенствования. После превращения он теряет память о земной жизни, однако, в отличие от Дедушки Форели, ничуть этим не тяготится. О форелях герои сказки (лососи) вообще отзываются крайне неприязненно.

Или же Повести потребовался некий посредник, некий *maquereau*[67], а он просто подвернулся под руку?

Почему мне не под силу припомнить, в чем мое прегрешение?

Но Дедушка Форель уже крепко спит, а если бы не спал, то ничего подобного предположить бы не мог. Перед его открытыми глазами захлопнуты все ставни; всюду, со всех сторон и далеко вокруг — вода. Дедушке Форели снится, будто он отправился на рыбалку.

---

[67] Примечания: 67
Сводник, сутенер (фр.).

Глава пятая

то что гораздо ты любишь се
неложное твое наследье
то что ты любишь гораздо у
тебя не отъять.

***Эзра Паунд*[68]**

На следующее утро Смоки и Дейли Элис упаковали сумки объемистей дорожного мешка, с которым Смоки пришел из Города, и выбрали узловатые палки из стоявшей в холле вазы, полной тростей, зонтов и всякого такого. Доктор Дринкуотер снабдил их справочниками по птицам и цветам, которые они так ни разу и не раскрыли. Взяли они с собой и свадебный подарок Джорджа Мауса: с утренней почтой доставили коробку с надписью «Открыть Где-то Еще». Как Смоки надеялся и ожидал, в посылке оказалась пригоршня измельченной коричневатой травы с пряным запахом.

---

[68] Примечания: 68

Паунд, Эзра Лумис (1885–1972) — американский поэт-модернист первой величины. Эпиграф взят из стихотворения «Canto LXXXI», входящего в сборник «Пизанские кантос» (1948).

Счастливые дети

Проводить Смоки и Дейли Элис все собрались на веранде, наперебой советуя, куда им отправиться и кого из тех, кто не смог попасть на свадьбу, им следует навестить. Софи молчала, но на прощание крепко и торжественно расцеловала их обоих, особенно Смоки, как бы желая сказать: «Пока», а потом быстро исчезла.

Когда они ушли, Клауд решила проследить за ними по картам и посмотреть, насколько удастся, какие им выпадут приключения: она считала, небольшие и многочисленные, какие лучше всего распознавались ею по картам. После завтрака она придвинула полированный столик к своему ярко-синему креслу, зажгла первую за день сигарету и попыталась собраться с мыслями.

Клауд знала, что сначала они взберутся на Холм, но знала потому, что они сами об этом говорили. Мысленно она представила себе, как по протоптанным тропам они поднялись на вершину и остановились там — осмотреть владения утра и собственное: оно простиралось в самом сердце графства зеленью лесов, полями и фермами. Потом спустятся вниз по менее хоженной стороне Холма и перейдут пределы виденной

ими страны.

Клауд выложила на столик кубки и жезлы, оруженосцев монет и королей мечей. Она представила, как Смоки едва поспевает вслед за широкой поступью Элис, когда они проходят по залитым солнцем пастбищам Плейнфилда, вспугивая с каждым шагом крошечных насекомых, а пятнистые коровы Руди Флада, глядя на них, хлопают своими длинными ресницами.

Где они сделают привал? Возможно, у быстрого ручья, который ввинчивается в пастбище, подмывая поросшие густой травой покатости и молодые ивовые рощицы по их сторонам. Клауд выложила козырную карту, именовавшуюся в раскладе Вязанкой, и подумала: «Время для завтрака».

Смоки и Дейли Элис растянулись во весь рост на берегу в тигриной чересполосице теней от молодых ив и стали вглядываться в воды ручья, кропотливо подтачивавшего берег.

— Посмотри-ка, что там, — проговорила Дейли Элис, подперев подбородок ладонями. — Видятся тебе апартаменты, дома у реки, эспланады и всякое такое? Развалины дворцов? Балы, банкеты, визиты? — Смоки вместе с Элис пристально вгляделся в причудливое переплетение водорослей

и корней с наносами ила, куда едва досягали тусклые полосы солнечного света. — Не сейчас, — продолжала она, — а ночью, при луне... Не тогда ли они выходят поразвлечься? Смотри.

Когда глаза находятся вровень с берегом, это нетрудно представить. Смоки, сдвинув брови, напряженно вгляделся. Все понарошку. Он попробует подделаться.

Элис засмеялась и вскочила на ноги. От тяжести закинутого за спину рюкзака груди ее упруго выдвинулись вперед.

— Пойдем вверх по течению, — сказала она, — я знаю хорошее место.

К полудню они медленно выбрались из долины, власть над которой журчавший поток самонадеянно перехватил когда-то у давно погибшей большой реки. Когда они приблизились к лесу, Смоки поинтересовался, не тот ли это лес, на краю которого расположен Эджвуд.

— Не знаю, — ответила Элис, — сроду не задумывалась. Вот, — выдохнула она наконец, вся взмокнув от долгого подъема. — Сюда мы обычно и приходили.

Это место чем-то напоминало пещеру, вырубленную в стене внезапно подступившего к ним леса. Гребень холма, на котором они стояли,

резко уходил вниз, и Смоки подумал, что ему еще никогда в жизни не доводилось заглядывать в столь глубокие и таинственные дебри, какие представлял собой этот Лес. Землю здесь почему-то устилал не слишком плотный из-за неровностей почвы слой мха, рос колючий кустарник и невысокие осинки. Тропа уводила вглубь, в перешептывавшуюся тьму, где время от времени поскрипывали громадные деревья.

Дейли Элис села, с облегчением вытянув уставшие ноги. Вокруг лежала плотная тень и, по мере того как день заметно шел на убыль, сгущалась еще больше. Было тихо, как в церкви, где тишина нарушается только невнятными, но благоговейными шорохами, доносящимися из нефа, из апсиды, с хоров.

— Ты когда-нибудь задумывался, — спросила Элис, — о том, что деревья такие же живые, как и мы, только жизнь их течет медленнее? Быть может, для них лето — все равно что для нас один день: проснутся, как мы, и опять заснут. Мысли у них, наверное, длятся долго-долго, а беседуют они так неторопливо, что нам их речи просто не уловить. — Элис отложила в сторону дорожный посох и одну за другой стянула с плеч лямки рюкзака, под которыми на рубашке проступили

влажные полосы. Она поджала свои блестевшие от пота крупные колени и положила на них руки. Загорелые кисти рук тоже увлажнились, среди золотистых волосков затерялись влажные пылинки. — Как ты думаешь? — Она принялась дергать прочные шнурки своих высоких ботинок. Смоки ничего не ответил, только слушал молча, не в силах говорить от переполнявшего его восхищения. Он казался себе свидетелем того, как валькирия снимает доспехи после битвы.

Когда Дейли Элис встала на коленки, чтобы стянуть с себя туго облегавшие бедра шорты, Смоки пришел ей на помощь.

К тому моменту, когда Ма неожиданно включила желтую электрическую лампочку над головой Клауд, вытеснив вечернюю голубизну ее карточной грезы режущей глаза неразберихой, Клауд уже выяснила, каким в основном будет в предстоящие дни путешествие ее молодых родичей, и произнесла:

— Счастливые дети!

— Ты здесь совсем ослепнешь, — сказала Мам. — Иди, папочка налил тебе стаканчик хереса.

— У них все будет хорошо, — отозвалась Клауд, собирая карты и не без труда поднимаясь с ярко-синего кресла.

— Они сказали, разве не так, что заглянут в Лес, к Вудзам?

— О да, еще бы, конечно! — ответила Клауд. — Конечно, заглянут.

— Слышишь, как цикады трещат? — пожаловалась Мам. — Сил моих больше нет.

Она взяла Клауд под руку, и обе вошли в дом. Весь вечер они играли в криббедж[69] на полированной складной доске, где потерянный колышек из слоновой кости заменяла спичка, прислушиваясь за игрой, как гудят и глухо бьются о сетку от насекомых большие тупоумные июньские жуки.

Окончательный порядок

Посреди ночи Оберон проснулся у себя в Летнем Домике и решил, что встанет и разберет свои фотографии: приведет их в окончательный порядок.

Много времени на сон ему не требовалось: он уже перевалил за тот возраст, когда подниматься ночью ради какого-то дела казалось чем-то неподобающим или даже смутно безнравственным. Он долго лежал, прислушиваясь к биению своего

---

[69] Примечания: 69

Криббедж — популярная карточная игра. Для подсчета очков традиционно используется специальная доска с углублениями и колышками.

сердца, а когда это ему наскучило, отыскал очки и сел на кровати. Ночь, собственно, была на исходе: часы Деда показывали три, однако прежде темные шесть оконных квадратов уже слегка поголубели. Мошкара и комары, похоже, уснули, еще немного — и загомонят птицы. Но пока что стояла полнейшая тишина.

Оберон подкачал давление в лампу: при каждом толчке поршня из груди у него вырывался хрип. Хорошая лампа: она и выглядела в точности как лампа, с гофрированным бумажным абажуром и фигурками конькобежцев из голубого фаянса у основания. Надо бы заменить калильную сетку, да где ее взять? Он зажег керосин и убавил пламя: непрерывное шипение действовало успокаивающе. На первых порах по характеру шипения казалось, будто керосин на исходе, однако на самом деле запаса должно хватить надолго: Оберон знал это по опыту.

Нельзя сказать, что фотографии были в беспорядке. Оберон проводил большую часть времени за их сортировкой. Но его не оставляло чувство, что снимки подчинены какому-то собственному порядку, не связанному ни с хронологией, ни с форматом, ни с тематическим расположением. Подчас снимки представлялись ему отдельными

кадрами, взятыми из некоего фильма или серии фильмов, с большими или малыми пробелами между ними; если бы эти пробелы удалось заполнить, то получились бы целые сцены: долгие, связанные последовательным сюжетом кинематографические эпизоды — самые разнообразные, берущие за душу. Но как определить, правильную ли он избрал очередность даже для имевшихся у него фотографий, если недоставало их так много? Оберон никак не решался нарушить выработанный им в общем-то разумный, основанный на системе перекрестных ссылок порядок ради поисков какого-то нового, которого вполне могло и не оказаться.

Оберон достал папку с надписью: «Встречи 1911–1915». Хотя в надписи это не уточнялось, здесь хранились его самые ранние снимки. Конечно, были и другие, еще более ранние, неудачные, которые он уничтожил. В те времена, как Оберон не уставал повторять, фотография была сродни религии. Хороший снимок был подобен благословению свыше, а за совершенный грех следовало немедленное наказание. Что-то наподобие кальвинистской догмы: никогда не знаешь, прав ты или нет, но беспрестанно должен опасаться сбиться с пути истинного.

Теперь перед Обероном лежал снимок Норы на беленой веранде, примыкавшей к кухне. Одета Нора в мятую белую юбку, такую же рубашку. Ее изношенные туфли с высоким верхом, казалось, были ей не по размеру велики. Белая хлопковая ткань, белые стойки веранды, смуглая от летнего загара кожа, белесые, выгоревшие на солнце волосы, глаза пугающе белые на фоне яркого, лишенного тени потока солнечного света, который в безоблачные дни заливал выбеленные известкой веранды дома. Норе было тогда (Оберон взглянул на дату с обратной стороны фотографии) двенадцать лет. Нет, одиннадцать.

Итак, Нора. Может, начать с нее (хотя наличие первых фотографий вовсе не обязательно совпадало с началом сюжета) и неуклонно следовать за ней до того момента, пока в кадре не появится новое лицо, и уже тогда, как это делается в кино, переключиться на него?

На Тимми Вилли, например. А вот и она, тем же самым летом и, возможно, в тот же самый день у Х-образных ворот на выходе из Парка. Фигура слегка смазана: вертунья она была порядочная. Наверное, и тогда болтала — говорила, куда направляется, пока он не скомандовал: «Стой смирно!» В руках у нее полотенце: собиралась

купаться. Одежду повесит на ветвь орешника. Изображение отличное, четкое; правда, из-за солнца кое-где заметны блики: трава местами ярко белеет, отсвечивает ее туфелька, огнем горят сережки, которые она уже тогда любила носить. Кокетка.

Которую из них он любил больше?

С запястья Тимми Вилли на черном ремешке свисал в кожаном футлярчике небольшой аппарат «кодак», который он одолжил им ненадолго. Обращайтесь с аппаратом аккуратнее, твердил он им. Смотрите не разбейте. Не открывайте, чтобы заглянуть внутрь. Не уроните в воду.

Ногтем указательного пальца Оберон провел черту по сросшимся бровям Тимми Вилли, которые на фотографии выглядели еще гуще, чем в жизни, и вдруг в нем проснулась отчаянная тоска по ней. Будто перетасованная неким невидимым картежником, перед мысленным взором Оберона промелькнула целая колода ее более поздних снимков. Тимми Вилли зимой стоит у замерзшего окна в музыкальной комнате. Тимми, Нора, высоченный Харви Клауд и Алекс Маус ранним утром отправляются ловить бабочек; на Алексе брюки-гольф, и он явно с похмелья. Нора с собакой Спарком. Нора — подружка невесты на

свадьбе Тимми и Алекса. Радостная Тимми стоит в двухместном открытом автомобиле Алекса и машет рукой в знак прощания, держась за наклонное ветровое стекло; на голове у нее самая обнадеживающая соломенная шляпка, украшенная лентами. Вот уже свадьба Норы и Харви Клауда, рядом опять Тимми: лицо у нее бледное, вид измученный, в чем Оберон винил Город; а потом Тимми исчезла — и навсегда; кинокамера должна переместиться и следовать за другими персонажами.

Монтаж? Но как тогда объяснить внезапное отсутствие Тимми Вилли на всех этих групповых снимках, где запечатлены разные празднества? Первые фотографии, казалось, провели Оберона прямиком через всю коллекцию, причем путь постоянно разветвлялся и разрастался; но все-таки недоставало какой-то одной-единственной фотографии, которая могла бы поведать всю историю без пространного словесного комментария.

Оберона вдруг посетила дикая мысль собрать все кадры на диапозитиве для проектора: печатать и печатать их подряд один на другом, чтобы чернота сгущалась все больше, пока не сделалась бы непроглядной и сквозь эту тьму нельзя было бы ничего различить, хотя всё было бы представ-

лено здесь вместе, во всей совокупности.

Нет. Не все.

Существовало некое отклонение — уход в сторону от наглядных и очевидных, повседневных кадров: куда-то вглубь, симметрично им, прорастал в темноту неразгаданный корень. Оберон снова взял фотографию Тимми Вилли у Х-образных ворот с «кодаком» на запястье: вот он, момент раздела — место (или же время?), откуда пошло расщепление.

Сумей найти лица

Оберон всегда считал себя разумным, здравомыслящим человеком, умеющим прибегать к доказательствам и уравновешивать претензии; он казался себе подменышем[70] в семье, где все отличались склонностью к безумным фантазиям, верили в чудеса, прорицания и тянулись ко всему загадочному. В педагогическом колледже, где Оберон ознакомился с научными методами и освоил начала логики, он обрел также новую Библию — книгу Дарвина «Происхождение человека»; собственно говоря, между страницами

---

[70] Примечания: 70

Подменыш — «Changeling»: дитя, оставленное эльфами взамен украденного. По виду неотличимо от настоящего ребенка.

именно этого образца скрупулезной викторианской науки он вкладывал скрутившиеся после просушки в трубку фотографии, сделанные Норой и Тимми, с целью их разгладить.

Когда однажды вечером Нора, задохнувшись от непонятного волнения, с каким-то новым румянцем на загорелых скулах принесла ему фотоаппарат, он взял его со снисходительным видом и спустился в свою залитую светом красного фонаря фотолабораторию, расположенную в подвальном помещении, извлек пленку, проявил ее, высушил и отпечатал.

— Но *смотреть* на эти фотографии ты не должен! — предупредила его Нора, пританцовывая на месте. — Потому что... ну, потому что... на некоторых снимках мы — Совершенно Голые!

Оберон пообещал не смотреть, но при этом подумал о мусульманах, которые, читая письма адресатам, обязаны при этом закрывать уши, чтобы не подслушивать содержание письма.

На двух-трех фотографиях Нора и Тимми снялись нагишом у озера, и это заинтересовало и разволновало Оберона до крайности: ведь это его сестры! Иначе он бы надолго отложил отпечатки в сторону и не рассматривал так внимательно. А потом Нора и Тимми Вилли потеряли интерес к

фотосъемкам: Нора нашла себе новую игрушку, занявшись старыми картами Вайолет, а Тимми тем же летом встретила Алекса Мауса. Фотографии так и остались лежать между страницами дарвиновского тома, лицом к лицу с тщательно обоснованными аргументами и гравюрами с изображением черепов. И только после того, как он проявил невероятную, необъяснимую фотографию своих родителей в день, когда надвигалась гроза, Оберон снова отыскал эти фотографии. Он пристально в них вгляделся, скрупулезно изучил с помощью лупы и увеличительного стекла — куда внимательнее, чем картинки-загадки «Сумей найти лица» в журнале «Сент-Николас»[71].

И Оберон сумел.

Впоследствии ему редко доводилось видеть столь отчетливые и недвусмысленные снимки, как фотография Джона, Вайолет и еще кого-то за каменным столиком. Этот снимок представлялся ему стимулом, побуждающим его заняться поисками образов, еще более неуловимых и ввергающих в замешательство. Оберон был исследователем, лишенным предрассудков: он не стал бы утверждать, что ему «позволено» глянуть

[71] Примечания: 71

«Сент-Николас» — известный американский иллюстрированный журнал для детей. Издавался в 1873–1939 годах.

на это одним глазком и что он «избран» для того, чтобы посвятить свою жизнь добыванию дальнейших подтверждений, поискам однозначного ответа на все самые невообразимые головоломки. Хотя случилось именно так. И когда это произошло, другой, более настоятельной задачи в жизни у него не осталось.

Должно было существовать, Оберон в этом не сомневался, какое-то объяснение. Подлинное *объяснение*, а не легковесная болтовня Деда насчет существования одних миров внутри других или темные речи, выуженные из подсознания Вайолет.

Сначала Оберон подумал (даже надеялся, с лупой в руке), что ошибается: его разыграли, обвели вокруг пальца. За исключением одного-единственного изображения возле каменного столика (если прибегнуть к научной терминологии, оно было аномалией и, следовательно, не представляло интереса), разве не могли все прочие оказаться — ну, предположим — обыкновенной плетью плюща, изогнувшейся в виде когтистой лапы; пятном света на чистотеле, смахивающим на чью-то физиономию? Уж кому-кому, а Оберону было известно, какие сюрпризы и неожиданности приносит порой светотень: не тот ли это

самый случай? Нет, совсем не тот. Случайно или намеренно, но Тимми Вилли и Нора поймали в кадр существа, которые, казалось, стояли на грани метаморфозы естественного облика в некий совершенно диковинный. Облик птичий, однако коготь, уцепившийся за ветку, был все-таки рукой — рукой, которая высовывалась из рукава. При достаточно длительном рассматривании сомнений не оставалось. Паутина была вовсе не паутиной, а волочившимся по земле шлейфом женского платья, а бледное лицо самой дамы проглядывало сквозь темную листву. Почему он не снабдил сестер фотоаппаратом с более высоким разрешением? Некоторые фотографии буквально кишели этими созданиями, отступавшими на задний план, в несфокусированное пространство. Какой они были величины? Похоже, любой, если только перспектива не была Как-то искажена. Длиннее его мизинца или нет? Крупнее жабы? Оберон изготовил слайды для проектора и часами просиживал перед экраном из натянутой простыни.

— Нора, когда вы ходили тогда в лес... — Осторожнее, нельзя заранее настраивать ее на предвзятый ответ... — Не видели ли вы, ну... *что-то особенное*, что стоило бы сфотографировать?

— Нет. *Особенного* ничего не видели. Только... да нет, особенного ничего.

— Может, нам снова пойти, с хорошим фотоаппаратом? Посмотрим, вдруг и увидим что-то.

— Ох, Оберон!

Оберон пролистал том Дарвина, и перед ним забрезжил слабый свет гипотезы: правда, еще очень отдаленный, но постепенно он становился ближе.

В первобытных лесах, в результате борьбы, длившейся целую вечность, человеческая раса отделилась от своих ближайших родственников — косматых обезьян. Выходило, что подобная попытка обособления Человека как такового предпринималась не единожды, но все они заканчивались неудачей; от этих усилий даже и следов-то не осталось, разве что кучка каких-нибудь странных, неправильных по строению костей. Полный тупик. Только люди научились говорить, разводить огонь, изготовлять орудия труда и сумели выжить как единственные разумные существа.

Единственные ли?

Предположим, что некая ветвь нашего древнего родословного дерева — ветвь, казалось, обреченная на гибель — на самом деле не погибла, а

сумела выжить благодаря тому, что ее представители овладели навыками, столь же новыми для окружающей их действительности, однако совершенно непохожими на умение изготовлять орудия и разводить огонь, какое усвоили их более грубо организованные сородичи — то есть мы. Предположим, вместо того они наловчились скрываться, маскироваться, уменьшаться в размерах, исчезать или втирать очки очевидцам.

Предположим, что они научились жить, не оставляя за собой никаких следов: ни курганов, ни кремней, ни резных фигурок, ни костей, ни зубов.

Но зато теперь хитроумная человеческая сноровка наверстала упущенное: изобретен глаз, достаточно бесстрастный для того, чтобы обнаружить их присутствие и зафиксировать данный факт документально; сетчатка из целлулоида и соли серебра менее забывчивы, менее податливы смущению; этот глаз неспособен отрицать им увиденное.

Оберон задумался о тысячелетиях — нет, о сотнях тысячелетий, которые потребовались человечеству, чтобы узнать все, что оно знает; овладеть навыками, извлеченными умом из абсолютной тьмы животного невежества: научиться

— это поразительно — лепить глиняные горшки, неуклюжие черепки которых мы находим теперь на пепелищах, остывших невесть когда, среди обглоданных мослов добытых на охоте зверей и побежденных соседей. Эта другая порода (предположим, существующая; предположим, могут найтись неопровержимые *доказательства* ее существования), несомненно, провела все эти тысячи тысяч лет за совершенствованием своих способностей. Дед как-то рассказывал о том, что первоначально Британию населял Малый Народец, ставший крошечным и вынужденный прибегать к тайным уловкам по вине захватчиков, имевших железное оружие: отсюда берут начало древний страх этого племени перед железом и стремление всяческими способами держаться от него подальше. Очень может быть, что так! Перелистывая плотные страницы дарвиновского труда, полные взвешенных выкладок, Оберон размышлял: подобно тому, как черепахи наращивали панцирь, на шкуре у зебры возникали полоски, а люди, точь-в-точь как младенцы, учились хватать предметы и гулькать, так и те, из другой породы, изучали искусство необнаруживаемости и заметания следов до тех пор, пока людская раса земледельцев, ремесленников,

строителей, охотников не перестала замечать их повседневного и вездесущего присутствия, — за вычетом (как рассказывают) добросердечных домохозяек, которые оставляли для них на подоконнике блюдечко с молоком; пьяниц или помешанных, от которых эти существа не могли или не желали прятаться.

Они не сумели (или не захотели) прятаться от Тимми Вилли и Норы Дринкуотер, которые запечатлели их портреты с помощью «кодака»[72].

Эти немногие окна

С того времени фотография стала для Оберона не просто развлечением, а неким инструментом, хирургическим скальпелем, который, срезая лишнее тонкими слоями, добирается до самой

---

[72] Примечания: 72

Они не сумели (или не захотели) прятаться от Тимми Вилли и Норы Дринкуотер, которые запечатлели их портреты с помощью «кодака». — Краули «переигрывает» историю так называемых «Коттинглийских эльфов». В 1917 году десятилетняя Фрэнсис Гриффитс и тринадцатилетняя Элси Райт, жившие в местечке Коттингли, заявили о том, что видели эльфов, а когда отец Элси дал им фотокамеру, сфотографировались с маленькими крылатыми существами. В 1920 году миссис Райт обнародовала снимки, причем часть экспертов настаивала на их подлинности, а часть — не бралась доказать обратное. Многие, в том числе Артур Конан Дойл (автор книги «Пришествие фей», 1921), не подвергали сомнению правдивость девочек и истинность снимков. Доказать, что эльфы на самом деле были вырезаны из бумаги, удалось только несколько десятилетий спустя. В 1983 году Элси призналась в подделке, но Фрэнсис до самой смерти (1986) утверждала, что самая

первая фотография была подлинной (Элси умерла в 1988-м). Шумиха вокруг «коттинглийских эльфов» легла в основу фильма Чарльза Старриджа «Волшебная сказка: истинная история» (Fairy-Tale: A True Story, 1997), один из персонажей которого, лектор-теософ, цитирует слова Теодора Брамбла об «элементалях» — естественно, не ссылаясь на первоисточник.

тайной сути, являемой его испытующему взгляду. К несчастью, Оберон обнаружил, что сам он лишен возможности быть непосредственным свидетелем всяких дальнейших доказательств присутствия бесплотных существ. На его фотографиях лес — даже те дремучие уголки, обещавшие несомненное наличие призраков, — был только лесом. Ему необходимы были медиумы, что бесконечно осложняло поставленную задачу. Оберон продолжал верить, — да и как он мог не верить? — что объектив и светочувствительная пленка сохраняют полную индифферентность, что фотокамера так же неспособна придумать или фальсифицировать образы, как замерзшее стекло неспособно само по себе создать отпечаток пальца. И все-таки если кто-нибудь находился бок о бок с ним, когда он снимал то, что казалось ему случайными образами (пускай ребенок, обладающий особой восприимчивостью), то иногда эти образы обретали лица, становились некими персонажами — правда, едва уловимыми, но пристальное изучение вскрывало их присутствие.

Но что за ребенок?

Факты. Доказательства. Во-первых, брови. Оберон был убежден, что прямая линия сросшихся бровей, которую дети (правда, не все) унаследова-

ли от Вайолет, несомненно, имела к ним какое-то отношение. У Августа из широких и темных, сросшихся над переносицей бровей торчали отдельные длинные волоски наподобие тех, какие бывают на кошачьей морде. У Норы были похожие линии бровей, у Тимми Вилли — тоже, хотя, став девушкой, она постоянно их подбривала и выщипывала. Большинство младших Маусов, походивших скорее на Деда, этой приметы были лишены, как и Джон Шторм и сам Дед.

Оберон тоже пошел в них.

Вайолет всегда говорила, что в той части Англии, откуда она родом, сросшаяся линия бровей означает, что перед вами буйная личность с криминальными задатками — возможно, даже маньяк. Она посмеивалась над этим и над предположениями Оберона: в энциклопедически исчерпывающем справочном аппарате последнего издания «Архитектуры» о бровях не упоминалось ни единым словом.

Ладно. Возможно, вся эта петрушка с бровями являлась для него всего лишь способом уяснить, почему ему отказано в доступе, почему он не в состоянии их увидеть, хотя его камера их запечатлевает; Вайолет их видела, и Нора тоже какое-то время обладала этой способностью.

Дед часами толковал о малых мирах и о тех, кто мог попасть туда, но у него не было доводов, не было ни малейших *доводов* ; он сосредоточенно разглядывал снимки, сделанные Обероном, и рассуждал о необходимости увеличить и укрупнить кадр, использовать специальные объективы. Он сам плохо понимал, о чем говорит, но Оберон проделал в этом направлении ряд экспериментов, пытаясь найти дверь для входа. Затем Дед с Джоном настояли на публикации некоторых фотографий из его коллекции в брошюрке — «религиозной книжке для детей», по определению Джона, к которой Дед присовокупил комментарии, изложив в них свои воззрения на проблемы фотографии, причем так отчаянно напортачил, что никто, а дети — в особенности, не обратил на книгу ни малейшего внимания[73]. Оберон так и не простил старшим этого провала. И без того размышлять над явлением непредвзято, с научных позиций, было довольно непросто, а

[73] Примечания: 73

...в брошюрке — «религиозной книжке для детей», по определению Джона, к которой Дед присовокупил комментарии, изложив в них свои воззрения на проблемы фотографии, причем так отчаянно напортачил, что никто, а дети — в особенности, не обратил на книгу ни малейшего внимания. — Видимо, намек на «Сильвию и Бруно» Л. Кэрролла — отнюдь не тонкую книжку, а объемистый роман в двух книгах (1889, 1893), в котором автор попытался совместить сказку о феях и христианскую проповедь.

если еще подозревать, что тебя считают либо сумасшедшим, либо безнадежно одураченным, и все только и твердят об этом... Или, по крайней мере, те, кто удосужился дать какой-то отзыв.

Оберон пришел к заключению, что таким образом — посредством детской книжки! — *они* попытались заставить его ослабить борьбу, чтобы в дальнейшем полностью вывести из игры. И Оберон позволил *им* сделать это, ввиду глубоко укоренившегося в нем чувства изъятости. Он был *аутсайдером* — во всех отношениях: не сын Джона; не совсем родной брат его младших детей; чуждый как безмятежному нраву Вайолет, так и отваге потерянного Августа; брови у него были самые обыкновенные; вера в душе отсутствовала. Он так и остался старым холостяком, без жены и потомства; фактически, почти что девственником[74]. Почти. Изъятый даже из этого сообщества, он все же никогда не обладал никем из тех, кого любил.

При этой мысли Оберон ощутил легкую боль. Он прожил всю жизнь, страстно домогаясь недо-

---

[74] Примечания: 74

Он так и остался старым холостяком, без жены и потомства; фактически, почти что девственником. — Оберон «проживает» судьбу Льюиса Кэрролла, который — помимо прочего — увлекался историями о феях, был страстным фотографом и делал снимки обнаженных девочек.

стижимого, а такая жизнь в итоге приводит к равновесию, здрав ты рассудком или нет. Жаловаться незачем. В какой-то степени все они были здесь изгнанниками: хотя бы эту участь он разделял с ними и не завидовал ничьему счастью. Он определенно не завидовал Тимми Вилли, бежавшей отсюда в Город; не осмеливался завидовать и потерянному Августу. С ним всегда были эти немногие окна — черно-серые, недвижные и неизменные: окна, распахнутые в гибельные страны[75].

Оберон закрыл папку (в нос ударил аромат старой, потрескавшейся черной кожи) и вместе с тем оставил очередную попытку классификации этих и обширных серий других фотографий, рядовых и совсем напротив, доведенных вплоть до нынешнего дня. Он мог бы отложить собранное в его настоящем виде: распределенным по отдельным главам, снабженным дотошными, но

---

[75] Примечания: 75

...окна, распахнутые в гибельные страны. — Парафраз строк из «Оды соловью» Китса («зачарованные волшебные окна, распахнутые навстречу пене / гибельных морей в забытой стране фейри»). В переводе И. Дьяконова (1973) здесь: «И та же песнь не раз / Таинственные окна растворяла / В забытый мир над кружевом валов». В переводе Е. Витковского (1975): «Та песня, что не раз / Влетала в створки тайного окна / Над морем сумрачным в стране забвенной». В переводе Г. Кружкова (1979): «Будила тишину / Волшебных окон, над скалой морской, / В забытом, очарованном краю».

— боже мой, насколько же недостаточными — перекрестными ссылками. Решение это не слишком его обескуражило. В последние годы он не раз принимался за кардинальную пересортировку, но затея неизменно кончалась одним и тем же.

Оберон терпеливо завязал тесемки папки, датированной «1911–1915», и встал, чтобы извлечь из тайника большой альбом в клеенчатом переплете. Без надписи. Здесь она ни к чему. В альбоме хранилось множество недавних фотографий, сделанных всего лишь десять-двенадцать лет тому назад, однако этот альбом составлял пару старой папке с его первыми снимками. Здесь была представлена другая сторона его деятельности как фотографа, труд всей жизни, выполненный левой рукой, хотя правая, движимая Наукой, на протяжении долгого времени знать не знала, чем занята левая. В конце концов возымело смысл только то, что произвела левая рука, а правая усохла. Он сделался (а может, и всегда им был) левшой.

Легче было определить, когда Оберон стал ученым, нежели когда он перестал им быть; в тот момент (если таковой имел место) его ущербная натура предала его и, не дав это уяснить, прекратила грандиозный поиск ради... ради чего?

Ради искусства? Можно ли бесценные снимки в клеенчатом альбоме считать произведениями искусства, а если и нельзя — то какое ему до этого дело?

Любовь. Отваживался ли он называть это любовью?

Оберон положил альбом на черную папку, из которой он произрос, словно бутон розы из терновника. Вся его жизнь лежала тут перед ним в свете шипящей лампы. Белый ночной мотылек ударился об абажур и упал на стол.

В заросшей мхом лесной пещере Дейли Элис рассказывала Смоки:

— Он обычно говорил: пойдемте-ка в лес и посмотрим, может, что и увидим. И забирал с собой свой аппарат — когда маленький, а когда большой, из меди и дерева, на треноге. А мы упаковывали завтрак. Сколько раз мы сюда приходили — и не сосчитаешь!

Посмотреть, может, что и увидит

— Мы приходили сюда только в жаркие солнечные дни, и потому — Софи и я могли снять с себя всю одежду. Мы бегали и кричали: «Вот! Вот!», а иногда: «Ой, всё!», если были не совсем уверены, что кого-то видим...

— Снять всю одежду? Сколько же вам было лет?

— Не помню. Восемь. Наверное, не больше двенадцати.

— Это было необходимо — искать?

Дейли Элис рассмеялась низким грудным смехом: она лежала, вытянувшись во всю длину, позволяя легкому ветерку ласкать ее — теперь тоже обнаженное — тело.

— *Необходимости* не было, — ответила она. — Просто мы забавлялись. А тебе разве не нравилось раздеваться, когда ты был маленьким?

Смоки припомнил, что чувствовал тогда: буйный восторг, раскрепощенность, свободу от стеснений, отброшенных в сторону вместе с одеждой. Чувство, не совсем сходное с сексуальными переживаниями взрослых, но не менее сильное.

— Нравилось, только когда поблизости не было взрослых.

— Да нет, Оберон не в счет. Он не был... не был, я думаю... ну, одним из *тех*. По сути, наверное, мы проделывали все это ради него. Он тоже становился вроде помешанного.

— Еще бы! — мрачно отозвался Смоки.

Немного помолчав, Дейли Элис продолжала:

— Он ни разу нас не обидел. И никогда, никогда

не заставлял нас делать что-либо. Это *мы* придумывали разные штуки! А он — нет. Мы втроем поклялись держать все в тайне, и это *мы* заставили его дать слово. Он был вроде духа — как Пан или что-то в этом роде. Нас волновала его взволнованность. Мы бегали по кругу, визжали, катались по траве. Или останавливались как вкопанные, когда мозги у нас начинали гудеть и нам казалось, что мы вот-вот лопнем. Это было просто волшебно.

— И ты держала язык за зубами!

— Да! Но не потому, что тут было что-то такое. Всем и так все было известно — ну конечно, кроме Ма, Папочки и Клауд — однако никто из них и словом не обмолвился. Позже, правда, я со многими об этом заговаривала, и они восклицали: «Как, и ты тоже? И тебя Оберон водил в лес посмотреть, может, что и увидит?» — Она снова засмеялась. — Сдается мне, что он этим занимался не один год. Но я не знаю никого, кто возмущался бы этим. Похоже, выбор он делал с умом.

— Психические отклонения.

— Ой, не глупи, пожалуйста!

Смоки погладил свое обнаженное тело: в лунном свете оно отливало жемчужным блеском, а ветерок слизывал с него влагу.

— А он хоть раз что-то видел? Я имею в виду, кроме...

— Нет. Ни разу.

— А вы?

— Мы думали, что да.

Сама Дейли Элис в этом, конечно, не сомневалась: дивными яркими утрами они бродили в ожидании, обратившись в слух, с трепетом надеясь, что их куда-то поведут, и чувствуя (обе сразу, вдруг, одновременно), что за нужным поворотом дорога приведет их туда, где они никогда не бывали, но где все им так удивительно знакомо: там *тебя возьмут за руку* и скажут: «*Вот мы и пришли*». А ты должен поглядеть в сторону — и тогда увидишь их.

Где-то за спиной у себя они слышали шаги Оберона и не могли откликнуться или показаться ему, хотя именно он привел их сюда; он запустил их, будто волчки — волчки, которые, кружась, ушли от него, каждый собственной дорогой.

— Софи? — выкликал он. — Элис?

Но это так

Летний Домик наполнялся внутри голубым свечением: только на столе лучилась лампа, уже менее властно. Оберон, судорожно поколачивая

кончиками пальцев о большие пальцы, бродил по комнатке, открывая коробки и заглядывая во все укромные уголки. Наконец он нашел то, что искал: объемистый конверт из мраморной бумаги, последний из множества других, в которых когда-то, давным-давно, ему присылали по почте французскую платиновую бумагу для печати.

Острая боль, сравнимая только с приступом тоски, прошила его туловище, однако тут же схлынула, причем гораздо скорее, чем отступала тоска, когда он ее испытывал. Оберон взял клеенчатый альбом и вложил его в конверт из мраморной бумаги. Потом изобретенной Уотерманом старой авторучкой[76] (он никогда не разрешал своим ученикам писать шариковыми ручками) школьным почерком (теперь буквы дрожали, как если бы находились под слоем воды) надписал конверт: «Для Дейли Элис и Софи». Ему показалось, что с сердца его упала огромная тяжесть. Он приписал: «В собственные руки». Хотел добавить еще восклицательный знак, но передумал; только плотно запечатал конверт. На черной папке никакого имени он не проставил.

---

[76] Примечания: 76

...изобретенной Уотерманом старой авторучкой... — Л. Э. Уотерман, сконструировавший первую надежную авторучку, запатентовал ее в 1883 году и основал фирму «Уотерманз».

Папка — да и все остальное — конкретно никому из живущих не предназначалась.

Оберон вышел во дворик. Птицы почему-то все еще не проснулись. Дойдя до конца лужайки, он хотел помочиться, но не смог, вернулся и сел в парусиновое кресло, увлажненное росой.

Оберон всегда полагал (разумеется, себе этого не представляя), что будет знать, когда именно наступит этот момент. Он воображал, что это произойдет об их пору — в сумерках, когда о фотографировании нечего и думать; что, спустя годы после того, как он признал полное свое поражение, впал в безнадежность, даже пре-исполнился горечи, в этом полумраке кто-то подойдет к нему, неслышно ступая по спящим цветам, головки которых даже не пригнутся к земле. По-видимому, он явится в образе ребенка, мерцая бесплотным обликом, как на старинном снимке, отпечатанном на платиновой бумаге; его серебряные волосы будут пылать огнем, словно зажженные солнцем, которое только что скрылось за горизонтом или же, наоборот, еще не взошло. Он, Оберон, не заговорит с посланцем, не сможет заговорить, уже скованный смертью, но дитя обратится к нему со словами: «Да, ты знал нас. Да, ты единственный подошел ближе всех

к нашей тайне. Без тебя никто не смог бы к нам приблизиться. Без твоей слепоты никто бы нас не увидел; без твоего одиночества никто из них не смог бы полюбить друг друга и зачать отпрысков. Без твоего неверия никому из них было бы не под силу поверить. Я знаю: тебе тяжко думать, что жизнь устроена настолько странно, но это так».

В лесу

Назавтра к полудню на небе стали собираться тучи. Они смыкались вместе неуклонно и без спешки: казалось, когда небо будет застлано ими целиком, они опустятся так низко, что до них можно будет дотронуться рукой.

Дорога между Медоубруком и Хайлендом, по которой шли Смоки и Дейли Элис, петляя то вверх по склону, то вниз, вела их через вековой лес. Огромные деревья стояли плотной стеной; вероятно, в земле их корни тесно переплелись: наверху ветви встретились и уцепились друг за друга, так что казалось, будто на дубах растут кленовые листья, а орешник покрыт листьями дуба. Деревья задыхались от массивных пелен плюща, особенно стиснувших трухлявые мертвые стволы, которым было некуда падать, и они подпирали собой давних своих соседей.

— Ну и чащоба! — заметил Смоки.

— Зато защищены, — отозвалась Дейли Элис.

— В каком смысле?

Дейли Элис вытянула руку — узнать, не начался ли дождь: на ладонь упала капля, потом другая.

— Видишь ли, этот лес никогда не рубили — лет сто, не меньше.

Дождь начался уверенно, неторопливо, подобно тому, как собирались облака: не легкий короткий дождик, а упорный, затяжной дождь.

— Черт! — ругнулась Дейли Элис, достала из рюкзака мятую желтую шляпу и нахлобучила ее на голову, однако было ясно, что им все равно предстоит вымокнуть до нитки.

— Далеко еще? — поинтересовался Смоки.

— До дома Вудзов? Не *очень*. Подожди-ка минутку. — Дейли Элис оглянулась, потом посмотрела на тропу, лежавшую перед ними. Непокрытая голова Смоки зачесалась от падавших капель. — Здесь можно срезать путь, — сказала Элис. — Есть тут одна дорожка: надо пойти по ней, если только ее найдем.

Они бродили взад-вперед по опушке непроходимого леса.

— За этой дорожкой, возможно, перестали следить, — сказала Элис, не прекращая поиска.

— Они не без странностей. Живут здесь в полном уединении. Сами по себе, одни, и почти ни с кем не видятся.

Элис остановилась у неясного просвета в подлеске и провозгласила: «Нашла!» (как показалось Смоки, без особой уверенности). Они углубились в подлесок. Дождь монотонно стучал по листьям: шум струй становился все непрерывнее, пока не слился в единый гул, на удивление громкий, заглушивший их шаги и треск веток. Небо затянуло тучами, и под деревьями сделалось темно, как ночью, и даже мерцавшие серебром дождевые струи не разгоняли лесной мрак.

— Элис?

Смоки остановился и замер на месте. Кроме дождя, ничего не было слышно. Он так увлекся, пробираясь по предполагаемой дорожке, что потерял Элис из виду. Сбился и с дорожки, если только таковая была под ногами. Он снова окликнул Элис — деловито и уверенно, все еще не находя причин для беспокойства. Ответа не последовало, однако как раз в эту минуту Смоки обнаружил между двумя деревьями настоящую, отчетливо видную тропинку, которая, свободно извиваясь, бежала вдаль. Элис, наверное, нашла ее первой и поспешила вперед, пока он проди-

рался сквозь заросли. Смоки ступил на тропинку и зашагал дальше, вымокший уже до нитки. Элис, казалось, должна была вот-вот появиться, но увы: тропинка уводила его все дальше и дальше в похрустывавший над головой лес, словно разворачиваясь сама собой у него под ногами; он не мог разобрать, куда она ведет, однако куда-то она неуклонно его вела. Долго ли ему пришлось идти под дождем, вряд ли он сумел бы сказать, но тропинка, в конце концов, привела его к широкой, заросшей травой поляне, которую кольцом обступали черные и глянцевитые от влаги лесные гиганты.

В отдалении, казавшийся призрачным в туманной пелене, стоял домик, диковиннее которого Смоки сроду не видывал[77]. Он походил на миниатюрную копию одного из бредовых коттеджей Дринкуотера, только весь был разноцветным: с ярко-красной черепичной крышей и стенами, сплошь покрытыми различными украшениями — резными фигурками, завитушками, эмблемами. И что самое странное, выглядел новехоньким, прямо с иголочки.

---

[77] Примечания: 77

...домик, диковиннее которого Смоки сроду не видывал. — Дом и его обитатели, по признанию автора, сошли с рисунков Артура Ракема (о нем см. комментарии, раздел I).

Что ж, наверное, это тот самый дом, подумал Смоки, но где же Элис? Очевидно, это не он, а она заблудилась. Смоки пустился вниз по склону, направляясь к домику через скопище грибов с красными и белыми шляпками, которые выглядывали из мокрой травы. Круглая дверца на медных петлях, с глазком и молоточком, широко распахнулась, едва он успел к ней приблизиться, и в ней показалось маленькое, острое личико. Блестящие глазки смотрели с подозрением, но рот растянулся в широкой улыбке.

— Простите, — сказал Смоки. — Это дом Вудзов?

— Разумеется, — ответил человечек и распахнул дверь. — А вы Смоки Барнабл?

— Ну да, — ответил Смоки. Откуда только он это узнал?

— Не соблаговолите ли войти?

Если в домике добавится кто-то третий, подумалось Смоки, то там повернуться будет негде. Он прошел мимо мистера Вудза (на голове у того красовалось нечто вроде полосатого ночного колпака), который широким жестом приглашал его внутрь. Смоки в жизни не видел такой длинной, с растопыренными пальцами, узловатой руки.

— Благодарю за приглашение, очень любез-

но с вашей стороны, — произнес Смоки, и рот человечка растянулся еще шире. Смоки даже и подумать не мог, что такое возможно: еще немного — и его коричневое, как орех, лицо наверняка раскололось бы надвое от уха до уха.

Внутренность домика то ли выглядела гораздо больше, чем была, то ли была меньше, чем казалась: Смоки никак не мог решить. Невесть отчего, но Смоки вдруг почувствовал, что его разбирает смех. В комнате уместились хитро подмигивающие напольные часы; бюро с оловянными кружками и подсвечниками; высокая кровать с пуховой периной, покрытая лоскутным одеялом — Смоки никогда не видел такого разнообразного смешного узора. Посредине стоял круглый, до блеска отполированный столик с переломленной ножкой и громадный платяной шкаф, занимавший бóльшую часть комнаты. В ней с удобством расположились еще трое: миловидная женщина хлопотала перед низенькой пузатой печкой; в деревянной колыбели лежал младенец, который, будто заведенная игрушка, агукал всякий раз, когда женщина толкала люльку; и дряхлая-предряхлая старушенция, проворно вязавшая длинный полосатый шарф: из угла, где она мерно раскачивалась в кресле-качалке, торчали только

ее подбородок и нос с воздетыми на него очками. Все трое, конечно, заметили появление Смоки, но сделали вид, будто не обратили на это никакого внимания.

— Присаживайтесь, — вежливо протянул мистер Вудз. — И расскажите нам вашу историю.

Где-то в глубине смутно-приятного удивления, переполнявшего Смоки, тоненький внутренний голосок попытался было запротестовать: «А с какой стати?», но тут же умолк и лопнул, как воздушный шарик, на который случайно наступили ногой.

— Э-э, — начал он, — похоже, я заблудился, — вернее, мы с Дейли Элис, но теперь я нашел вас, а что с ней — не знаю.

— Правильно, — откликнулся мистер Вудз. Он усадил Смоки за стол в кресло с высокой спинкой и достал из буфета стопку расписанных голубыми цветочками тарелок, которые раскидал по столу, будто колоду карт. — Подкрепитесь слегка.

Как по команде, женщина вытащила из духовки оловянный противень, на котором лежала одна-единственная горячая плетеная булочка. Ее-то мистер Вудз и положил на тарелку Смоки, глядя на него с выжидающим видом. Булочка была не простой плетенкой: сверху на ней полос-

ками теста была выложена пятиконечная звезда, посыпанная сахарной пудрой. Смоки немного помедлил, ожидая, пока подадут еду другим, но, не устояв перед густым ароматом еще дымившейся булочки со смородиной, быстро поднес ее ко рту и в одно мгновение проглотил. На вкус она была так же восхитительна.

— Я только что женился, — сообщил он, и мистер Вудз кивнул. — Вам, наверное, знакома Дейли Элис Дринкуотер?

— Знакома.

— Мы думаем, что будем счастливы вместе.

— И да, и нет.

— Что? — удивленно воскликнул Смоки.

— А что вы скажете, миссис Андерхилл? Счастливы вместе? — спросил мистер Вудз.

— И да, и нет, — подтвердила миссис Андерхилл.

— Но как же... — начал Смоки. Его охватила вдруг невероятная печаль.

— Все это — часть Повести, — пояснила миссис Андерхилл. — Но не спрашивай меня, какая.

— Нельзя ли поконкретнее? — с вызовом сказал Смоки.

— Хорошо-хорошо, — вмешался мистер Вудз. — Вы ведь знаете, что все обстоит не так просто.

— Его лицо вытянулось и стало задумчивым. Он поместил подбородок в огромную ладонь, сложенную лодочкой, а длинными пальцами другой руки забарабанил по столешнице. — Интересно, что она поднесла вам в дар? Расскажите.

Это было совсем нечестно. Элис отдала ему все. Всю себя. Почему она должна подносить ему еще какой-то дар? Но не успел он это выговорить, как вспомнил, что в брачную ночь Элис предложила ему настоящий подарок.

— Элис отдала мне, — гордо сказал Смоки, — ее детство. Потому что своего у меня не было. Она сказала мне, что я могу воспользоваться им, когда захочу.

— А она дала тебе мешок, куда его спрятать? — лукаво подмигнув, полюбопытствовал мистер Вудз. Его жена (если она была таковой) одобрительно кивнула при этом выпаде. Миссис Андерхилл надменно раскачивалась в кресле-качалке. Даже младенец загулькал таким тоном, будто вел счет.

— Да разве в этом дело? — воскликнул Смоки. С того времени, как он съел горячую плетеную булочку со звездой, настроение его поминутно менялось, напоминая стремительное чередование времен года. Сейчас на глазах у него выступили

осенние слезы. — Это не имеет никакого значения. Я не мог принять подарок. Видите ли, — (объяснять это было крайне трудно), — когда она была маленькая, она верила в фейри. И вся ее семья верила. А я — нет, никогда. Думаю, они и до сих пор верят. Но теперь это просто безрассудно. Мог ли я поверить во все это? Я *хотел* поверить, *действительно* хотел поверить в фейри, увидеть их, но если со мной этого так и не произошло — даже мысли такой у меня в голове не возникало, — то как же я мог принять ее подарок?

Мистер Вудз энергично затряс головой.

— Нет-нет, — возразил он. — Это совершенно изумительный подарок. — Он недоуменно пожал плечами. — Просто у вас нет мешка, чтобы туда его сложить, вот и все. Взгляните! *Мы* подарим вам подарки. Настоящие. Ничего из самого важного не утаим. — Он откинул крышку горбатого сундука, окованного темно-серым чугуном. Внутри что-то блестело. — Взгляните! — сказал он, вытягивая из сундука длинную змейку ожерелья. — Из чистого золота!

Все остальные смотрели на Смоки с улыбкой, явно одобряя преподносимый подарок и ожидая с его стороны потрясенных речей и всяческих изъявлений благодарности.

— Вы... вы очень добры, — заикаясь, проговорил Смоки, а мистер Вудз тем временем набросил ожерелье на шею Смоки и обмотал раз-другой, как будто собирался его задушить. Золото не было холодным, как положено металлу, наоборот — теплым, как его тело. Ожерелье было таким тяжелым, что заставило его согнуться.

— Что еще? — спросил мистер Вудз, оглядывая Смоки и теребя пальцем губу. Миссис Андерхилл указала спицей на круглую кожаную коробочку, лежавшую на верху буфета. — Верно! — вскричал мистер Вудз. — А как насчет этого? — Шаря рукой по верху буфета, он подтягивал коробочку к себе, пока она не упала ему на грудь. Он, как фокусник, открыл крышку. — Шляпа!

Это была красная шляпа с высокой мягкой тульей, перехваченная заплетенным косичкой ремешком, на которой плавно покачивалось перо белой совы. Мистер Вудз и миссис Андерхилл одновременно выдохнули: «А-а-а-а!», и миссис Вудз вместе с миссис Андерхилл внимательно следили за тем, как мистер Вудз водружал шляпу на голову Смоки. Шляпа была тяжелой, будто корона.

— Интересно, — растерянно проговорил Смоки, — что же случилось с Дейли Элис?

— Да, кстати, — сказал с улыбкой мистер Вудз, — последнее по счету, но не по важности и не по качеству... — Он достал откуда-то из-под кровати потрепанный, изъеденный мышами кожаный саквояж[78], осторожно положил на стол и пододвинул к Смоки. Взор его, казалось, тоже слегка затуманился печалью. Большими руками он ласково огладил поверхность саквояжа, будто перед ним была его возлюбленная. — Смоки Барнабл, — произнес он, — вот вам мой подарок. Дейли Элис не в состоянии была его преподнести, даже притом, что ей этого хотелось. Саквояж стар, но именно потому еще более вместителен. Держу пари, что в нем найдется место для... — По лицу его промелькнула тень сомнения; щелкнув застежками в виде скрещенных костей, он раскрыл саквояж, заглянул внутрь и ухмыльнулся. — О, места тут хоть отбавляй. Хватит не только для ее подарка, но найдутся кармашки и для твоего неверия, и для чего угодно. Очень удобен для переноски.

Пустой портфель оказался тяжелее всего.

---

[78] Примечания: 78

...потрепанный, изъеденный мышами кожаный саквояж... — Такой же саквояж («Gladstone bag»), вмещающий все на свете, принадлежал Мэри Поппинс (о чем Краули, по его словам, совершенно не помнил, когда сочинял этот эпизод).

— Вот и все, — сказала миссис Андерхилл, и дедовские часы мелодично пробили несколько раз.

— Пора идти, — добавила миссис Вудз, а младенец нетерпеливо зачмокал.

— Что случилось с Элис? — задумчиво проговорил мистер Вудз. Он дважды обошел комнату, выглядывая из маленьких темных окошек и не пропустив ни одного угла. Открыл дверь: за ней Смоки увидел непроглядную тьму и услышал долгое сонное перешептывание, но миссис Вудз поспешно ее захлопнула. Мистер Вудз поднял палец к потолку, словно его осенила внезапная идея, и брови его поползли вверх. Он подошел к стоявшему в углу громадному платяному шкафу на когтистых ножках, рывком распахнул дверцы, и Смоки увидел мокрый лес[79], сквозь который он шел вместе с Элис, и где-то в отдалении саму Элис, лениво плетущуюся на полдневном зное. Мистер Вудз предложил ему войти внутрь шкафа.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал Смоки, занося ногу, чтобы забраться в шкаф. —

---

[79] Примечания: 79

Он подошел к стоявшему в углу громадному платяному шкафу на когтистых ножках, рывком распахнул дверцы, и Смоки увидел мокрый лес... — Еще одна отрицаемая автором реминисценция из «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса: в открывающей цикл сказке «Лев, колдунья и платяной шкаф» (1950) через гардероб можно было попасть в волшебную страну.

Спасибо вам за все эти штуковины.

— *Забудьте,* — отозвался мистер Вудз, голос его удалился и сделался неразборчивым. Дверцы шкафа захлопнулись за Смоки с долгим низким гудением, напоминавшим гул далекого огромного колокола. Он, начиная хлюпать носом, пробрался через мокрый подлесок, наклоняясь и отводя хлеставшие его по лицу ветки.

— Куда ты подевался, черт побери! — приветствовала его Дейли Элис.

— Я был у Вудзов.

— Вижу. Посмотри на себя.

Толстые стебли ползучих растений Как-то обвились вокруг его шеи; цепкие колючки, усеяв рубашку, впились в тело.

— Проклятье! — только и смог он вымолвить.

Элис засмеялась и начала стряхивать листья с его волос.

— Ты что, упал? Как это ты умудрился набрать полную голову сухих листьев? А это что у тебя там?

— Саквояж, — ответил Смоки. — Теперь все в порядке. — Он поднял и показал ей давно опустевшее осиное гнездо, которое держал в руке: тонкие стенки тут же рассыпались на кусочки и обнажили множество внутренних ячеек. Оттуда

выползла божья коровка, похожая на капельку крови, и тотчас же улетела.

— Божья коровка, лети на небо, — сказала Дейли Элис. — Вот теперь все в порядке. Знаешь, тропинка была здесь всегда. Пойдем.

Рюкзак, пропитанный влагой, оттягивал Смоки плечи, и ему отчаянно хотелось его сбросить. Но Смоки последовал за Элис по изрытой колее, и вскоре они подошли к просторной замусоренной вырубке под осыпавшимся глинистым берегом. Посреди участка стояла потемневшая лачуга, покрытая толем, от которой к лесу тянулась набухшая от дождя веревка для сушки белья. Во дворе на бетонных блоках стоял грузовичок без колес, а возле него крадучись пробиралась черно-белая кошка, мокрая и сердитая на вид. Женщина в фартуке и галошах махала им рукой из обвязанного проволокой курятника.

— Вот и Вудзы, — объявила Дейли Элис.

— Ага.

Но даже когда перед ними уже стояли чашечки с кофе, а Эми и Крис Вудз болтали о всякой всячине и от сброшенного на линолеум рюкзака расплывалась большая лужа, Смоки все равно чувствовал на спине его тяжесть, которую не в силах был стряхнуть, и постепенно ему стало ка-

заться, что он всегда нес на себе этот груз. Смоки решил, что он ему по плечу.

Остаток дня и последние впечатления от путешествия впоследствии вспоминались Смоки очень смутно. Когда молчание затягивалось, Дейли Элис, случалось, напоминала ему те или иные подробности, как будто ей больше не о чем было вспомнить, и он заученно отвечал: «Да-да» (возможно, и вправду вспоминая то, о чем она говорила, а возможно, и нет).

В тот самый день Клауд, сидя на веранде за стеклянным столиком и думая только о том, чтобы довести до конца мысленную слежку за путешественниками, перевернула козырную карту под названием «Тайна» и только собиралась положить ее на место, как вдруг у нее перехватило дыхание и по всему телу пробежала дрожь. Глаза ее вдруг наполнились слезами, и, когда Ма пришла звать ее к завтраку, Клауд, с покрасневшими веками и все еще потрясенная тем, о чем она еще не знала и даже не подозревала, напрямик, без уверток и экивоков, выложила ей всю правду. А когда Смоки и Дейли Элис вернулись — загоревшие, слегка поцарапанные, но счастливые, — то увидели, что окна фасада закрыты шторами (Смоки не знал об этом обычае), а на крыльце с

торжественно-печальным видом стоит доктор Дринкуотер.

— Оберон умер, — сказал он.

По пути

Грачи (Смоки предполагал, что это грачи) летели домой по исполосованному облаками холодному небу к нагим деревьям, о чем-то жестикулировавшим за свежевспаханными бороздами мартовского поля (в том, что это март, Смоки не сомневался). Сломанная изгородь из щелястых досок, с отверстиями от выпавших сучков, отделяла поле от дороги, по которой шел Путник в остроконечном капюшоне, похожий слегка на Данте с гравюры Доре. У ног его тянулся ряд белых, с красными шляпками, мухоморов, а лицо Путника выражало тревогу — нет, удивление, поскольку последний в строю крохотный мухомор, приподняв свою красную шляпку, смотрел на него с хитрой улыбкой.

— Это оригинал, — сказал доктор Дринкуотер, указывая на картину бокалом, наполненным хересом. — Художник подарил ее моей бабушке Вайолет. Он был ее поклонником.

Детскими книгами Смоки были сочинения Цезаря и Овидия, и он никогда прежде не ви-

дел работ этого художника: пейзаж со стеной подстриженных деревьев в четком вечернем освещении. Смоки был потрясен, но сам бы не смог объяснить, почему. Название картины — «По пути» — звучало в его ушах легким шепотом. Он отхлебнул из бокала херес. Прозвонил дверной колокольчик: звук напоминал поворот ключа в замке, почти бесшумный; Мам поспешила к дверям гостиной, на ходу вытирая руки о фартук.

Менее других удрученный происшедшим, Смоки старался быть хоть чем-то полезным. Вместе с Руди Фладом он выкопал могилу на том месте участка, где рядом лежали все Дринкуотеры. Джон. Вайолет. Харви Клауд. Палил нещадный зной; над кленами, отягощенными гнетом листвы, висела легкая дымка, словно выдохнутая навстречу полуобморочному ветерку. Руди умело очертил границы могилы; его намокшая от пота рубашка прилипла к огромному животу; потревоженные лопатами — или светом — черви расползались по сторонам, а темные прохладные комья земли на ярком солнце быстро бледнели и высыхали.

На следующий день стали собираться родственники и знакомые: почти все те, кто присутствовал на свадьбе; на некоторых была та же самая одеж-

да: они и не предполагали, что у Дринкуотеров так скоро произойдет новое событие. Оберона похоронили без священника и без молебна, только на фисгармонии исполнили длинный реквием, который теперь прозвучал умиротворенно и даже Как-то радостно.

— Почему это, — поинтересовалась Мам, внося небесно-голубой поднос из пирекса[80], накрытый фольгой, — все думают, что после похорон ты просто умираешь от голода? Что ж, это очень мило.

Хороший совет

Двоюродная бабушка Клауд спрятала свой мокрый носовой платок в рукав черного платья.

— Я думаю о детях, — сказала она. — Все сегодня там, год за годом: Фрэнк Буш и Клод Берри были у него в самом первом классе после Решения.

Доктор Дринкуотер куснул мундштук вересковой трубки, которой на самом деле пользовался очень редко, вынул ее изо рта и пристально оглядел, словно недоумевая, что она оказалась несъедобной.

— Решения? — переспросил Смоки.

---

[80] Примечания: 80

Пирекс — вид термостойкого стекла.

— Берри *et al. vs.*[81] Отдел народного образования, — торжественно произнес доктор.

— Я думаю, теперь можно и перекусить, — вмешалась Ма. — Чем Бог послал. Несите бокалы. И бутылку тоже, Смоки: кому как, а мне точно надо выпить.

Софи сидела за обеденным столом вся в слезах. Не подумав, она поставила прибор и для Оберона, который по субботам всегда приходил обедать вместе со всеми.

— Как я могла *забыть*! — простонала она через салфетку, которой закрывала лицо. — Он так любил нас... — Не отнимая от глаз салфетки, она выбежала из столовой. Со времени своего возвращения Смоки почти не видел ее лица — только, как и сейчас, удалявшуюся спину.

— Ты и Софи были его любимицами, — дотронувшись до руки Дейли Элис, сказала Клауд.

— Наверное, мне надо пойти присмотреть за ней, — нерешительно проговорила Мам, порываясь вскочить с места.

— Сядь, Мам, сядь, — мягко остановил ее доктор. — Не те сейчас времена. — Он положил Смоки картофельного салата, три миски которого стоя-

---

[81] Примечания: 81
Сокр. от: et alii versus — и другие против (лат.).

ли среди поминальных блюд. — Так вот. Берри *et al*. Это было тридцать лет тому назад...

— Ты путаешь, — поправила его Мам. — Не тридцать лет, а скорее сорок пять.

— Возможно. Мы тут сидим на отшибе. Чтобы не надоедать властям штата с нашими малышами, мы открыли маленькую частную школу. Вовсе никакой это не каприз. Но постепенно выяснилось, что учебная программа нашей школы должна соответствовать Стандартам. Стандартам, официально выработанным педагогами штата. Наши дети научились читать и писать ничуть не хуже других, овладели арифметикой; но в программе указывалось, что они должны изучать также историю, основы гражданского права или как их там, и массу всякой другой чепухи, которая отнюдь не казалась нам необходимой. В конце концов, если вы умеете читать, Мир Книг открыт для вас, а если вы любите читать, то с книгами не расстанетесь. Если же нет, то мигом забудете все, что вас *заставили* прочитать. Обитают здесь совсем не невежды: во всяком случае, имеют понятие — вернее, множество различных понятий — о том, какие знания особенно важны, однако этим знаниям в школе почти что не учат. Ну вот, дело и повернулось так, что нашу маленькую

школу закрыли и всем детям пришлось пару лет посещать другую школу...

— Чиновники заявили, что наша программа не готовит детей к реальной жизни, — добавила Мам.

— А что в ней такого реального? — раздраженно полюбопытствовала Клауд. — Все, что я недавно наблюдала, вовсе не кажется мне реальным.

— Это было сорок лет тому назад, Нора.

— Жизнь с тех пор реальнее не сделалась.

— Одно время я посещала общеобразовательную среднюю школу, — сказала Мам. — Это было не так уж плохо. Только нужно было приходить всегда минута в минуту к строго определенному времени, причем каждый день — весной и зимой, в холод и в жару; и, кроме того, не разрешали уходить раньше строго определенного времени, причем тоже каждый день. — При воспоминании об этом на лице Мам выразилось изумление.

— А как обстояло дело с основами гражданского права и всем прочим? — спросила Дейли Элис, стиснув под столом руку Смоки, потому что заранее известный, освященный временем ответ сражал наповал.

— Ну, ты ведь знаешь как? Я решительно ничего не помню. *Ничегошеньки*.

Так Смоки впервые получил представление о системе школьного образования. Большинство детей, которых он знал, начисто забывали все, чему их учили в школе, как только покидали свои (таинственные для него) классы.

— Ого, — говаривал он, — вам бы следовало поучиться у моего отца: он не позволил бы вам ничего забыть.

С другой стороны, когда его спрашивали о таких школьных незыблемых истинах, как Клятва на верность флагу, или День древонасаждений, или о принце Генрихе Мореплавателе[82], он выказывал полнейшее невежество. Все считали его странным, если вообще обращали на него внимание.

— Итак, у отца Клода Берри начались неприятности из-за того, что он не пускал сына в обычную школу, — продолжала рассказ бабушка Клауд. — Дело дошло до Верховного суда.

— Это сильно повредило нашим банковским счетам, — заметил доктор.

— Но в итоге решение было вынесено в нашу пользу, — заключила Мам.

— Потому что, — пояснила Клауд, — вопрос

---

[82] Примечания: 82

Генрих Мореплаватель (1394–1460) — португальский принц, организатор морских экспедиций в северо-западную Африку.

прямо связан с религией. Так мы заявили. Вроде амишей[83], слышали о них? — Она лукаво усмехнулась. — Прямо связан с религией.

— Решение эпохальное, — вставила Мам.

— Впрочем, о нем никто и не узнал, — произнес доктор, вытирая губы. — Мне кажется, что суд был и сам удивлен собственным решением и предпочел его не разглашать; не стоило давать людям пищу для размышлений — смущать умы, если можно так выразиться. Но *нас* с тех пор никто не беспокоил.

— Нам дали хороший совет, — сказала Клауд, опустив глаза, и все молча с ней согласились.

Смоки, налив себе еще стаканчик хереса, заговорил, порицая невежество, о пробелах в учебных программах, известных ему не понаслышке, и о превосходном образовании, которое он тем не менее получил и никаким другим образом не мог бы его получить, как вдруг доктор Дринкуотер неожиданно ударил по столу ладонью, как аукционист своим молотком, и воззрился на Смоки

---

[83] Примечания: 83

Вроде амишей... — Амиши — протестантская секта, отколовшаяся от меннонитов в 1693 году и в начале XVIII века переселившаяся в Америку. Название получила в честь основателя — швейцарского священника Якоба Аммана. Члены секты не имеют молитвенных зданий и проводят богослужение в своих домах поочередно. Отказываются от плодов технического прогресса, развивают только земледелие.

глазами, засиявшими от внезапной идеи.

Как насчет этого

— Ну, и как насчет этого? — спросила Дейли Элис гораздо позднее, когда они уже лежали в постели.

— Насчет чего?

— Насчет того, что предложил Папочка.

Они укрывались одной только простыней: жара начала спадать лишь к полуночи, повеяло ветерком. Продолговатые белые холмы и долы, образованные контурами тела Дейли Элис, сотряслись от катаклизма, и глазам предстал новый природный ландшафт.

— Не знаю, — вяло ответил Смоки, чувствуя пустоту в мыслях и не в силах противостоять охватившей его сонливости. Он попытался сосредоточиться и ответить определеннее, но вместо этого погрузился в сон. Дейли Элис вновь нервно заворочалась, и Смоки очнулся. — Что такое?

— Я думаю про Оберона, — тихо проговорила Дейли Элис, уткнувшись лицом в подушку. Смоки приподнял ее, и она, спрятав лицо у него на плече, всхлипнула. Он погладил ее волосы, мягко погрузив в них пальцы: она, словно кошка, очень любила, когда ее так ласкают, и Смоки продолжал

ее гладить, пока она не заснула. И тогда Смоки обнаружил, что лежит, уставившись в искрящийся призрачный потолок, и слегка удивляется своей бессоннице: ведь он ничего не знал о неписаном правиле, согласно которому один супруг может обменять сон другого на собственное бодрствование; об этом правиле ни словом не упоминалось ни в одном брачном контракте.

Да, что же все-таки насчет этого?

Его приняли здесь, признали: о том, что он когда-нибудь может уйти, даже и вопроса не возникало. Поскольку до сих пор ничего не говорилось об их совместном будущем, он и сам о нем как-то не задумывался: он еще не привык к тому, что перед ним лежит будущее, так как его настоящее всегда было таким неопределенным.

Но теперь, когда он лишился безличности, необходимо было принять решение. Смоки осторожно заложил руки за голову, чтобы не потревожить еще чуткий сон Элис. Что он теперь собой представлял, если вообще представлял что-то? Безличный, он мог быть и никем, и кем угодно; теперь в нем проявятся свойства личности, черты характера, симпатии и антипатии. Пришлась ли ему по вкусу идея о том, чтобы жить в этом доме и преподавать в их школе — религи-

озной вроде бы, судя по их словам? Соответствует ли это его внутреннему складу?

Смоки посмотрел на смутно белевшую цепь снежных вершин, которые напоминало тело Дейли Элис, свернувшейся под простыней. Если он и стал личностью, то в этом ее заслуга. А если он и личность, то, по-видимому, самая незначительная, второстепенный персонаж в чьем-то повествовании — небывалой истории, в которую он угодил. У него будут свои входы и выходы, время от времени ему поручат короткие реплики в диалогах. А если персонаж окажется раздраженным школьным учителем или еще кем-то — особого значения не имело: все будет идти своим чередом, как предписано. Ну ладно.

Смоки внимательно прислушался к себе, пытаясь обнаружить, не вскипает ли в нем чувство сопротивления. Да, он испытывал ностальгию по утраченной безличности, по бесконечным возможностям, которые она сулила; но рядом с ним слышалось дыхание Элис, дыхание целого дома, и, ощутив себя в одном ритме с ними, он уснул, так ничего и не решив.

Когда тени под луной мягко переместились с одного конца Эджвуда на другой, Дейли Элис приснилось, что она стоит на лугу, усыпанном

цветами, словно звездами, а на холме высится дуб, в обнимку с терновником. Их ветки переплелись тесно, будто пальцы. А в отдаленной спальне за холлом Софи приснилось, что в ее локте со скрипом отворилась крошечная дверца, сквозь которую дул ветер, проникая глубоко-глубоко, до самого сердца. Доктору Дринкуотеру приснилось, что он сидит за своей пишущей машинкой и выстукивает следующее: «Есть на свете одно старое-престарое насекомое, которое живет в земляной норе. Июньским днем это насекомое надевает летнюю соломенную шляпу, с помощью трех из шести своих рук захватывает с собой трубку, посох и лампу и вслед за червяком, по корням, добирается до лестницы, которая ведет к дверце, открытой в простор голубого лета». Написанное показалось доктору чрезвычайно важным, но, пробудившись, он, несмотря на все старания, не смог вспомнить ни единого слова. Ма, спавшей бок о бок с ним, снилось, что супруг находится не у себя в кабинете, а с ней на кухне, а она без конца вынимает из духовки противень за противнем, на которых лежат круглые коричневые булочки. На его вопрос, что это такое, она ответила: «Годы».

Книга вторая. Секрет Братца Северного Ветра

Глава первая

Пастух у Вергилия узнал наконец Любовь и обнаружил, что она — уроженка утесов.

***Джонсон*[84]**

После смерти Джона Дринкуотера в 1920 году Вайолет, не в состоянии вынести случившееся и даже поверить в предсказанные ей картами тридцать с лишним лет жизни без него, надолго удалилась в комнату на верхнем этаже. Ее густые темные волосы покрылись преждевременной сединой, миниатюрная фигурка еще больше истончилась из-за внезапного полного отвращения ко всякой еде: все это делало ее старше не по годам, хотя она и выглядела молодой. Ее гладкая кожа оставалась такой еще много лет; темные ясные глаза так и не утратили неукротимого блеска, свойственного детям или дикарям: именно это в прошлом веке впервые увидел в них Джон Дринкуотер.

---

[84] Примечания: 84

Джонсон, Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель и лексикограф, составитель знаменитого «Словаря английского языка». В эпиграф вынесены слова из письма к лорду Честерфилду (7 февраля 1755 г.), ставшие крылатыми.

Уединение и управление

Это была приятная комната, окна которой выходили сразу на несколько сторон. В одном углу под сводчатым потолком находилась ниша, занимавшая половину купола (снаружи он выглядел полным); здесь помещался просторный шезлонг с пуговицами. Где-то Еще — кровать, за легкими прозрачными занавесками, со стеганым одеялом из гагачьего пуха и кружевными накидками цвета слоновой кости, которыми, как помнилось Вайолет, ее мать собственное унылое супружеское ложе никогда не покрывала; широкий стол красного, отливавшего бычьей кровью дерева, заваленный бумагами Джона Дринкуотера: сначала Вайолет думала привести их в порядок и, может быть, опубликовать (ему нравилось печатать свои труды), но, в конце концов, горы бумаг так и остались лежать на столе под медной лампой на длинной ножке, напоминавшей гусиную шею; горбатый потрескавшийся кожаный чемодан, из которого доставались все эти бумаги с записями и куда они, спустя годы, будут снова сложены; пара покосившихся кресел у камина — с потертым бархатом, но уютных; всякие безделушки: серебряные и черепаховые гребешки и

расчески, ярко раскрашенная музыкальная шкатулка, необычные карты: позже ее дети, внуки и посетители будут вспоминать, что все это и составляло главное украшение комнаты.

Ее дети, кроме Августа, не обижались на Вайолет за отрешенность и уединенный образ жизни. Если она и появлялась где-то, то как бы лишь частью своего существа, и нынешнее состояние казалось не более чем естественным продолжением ее повседневной замкнутости. Все, кроме Августа, любили ее горячо и без каких бы то ни было оговорок — и часто спорили между собой о том, кто принесет ей наверх скромный обед, чаще всего уносимый обратно нетронутым, кто разведет огонь у нее в камине, прочитает ей письма или первым сообщит новость.

— Август нашел новое применение своему «форду», — сказал как-то Оберон, когда они вместе просматривали некоторые его фотографии. — Снял колесо и прицепил его с помощью приводного ремня к пиле Эзры Медоуза. Мотор будет приводить в действие пилу и распиливать бревна.

— Я надеюсь, они не заедут слишком далеко, — ответила Вайолет.

— Что? О нет, — рассмеялся Оберон, догадав-

шись, что Вайолет представила себе, как «Модель Т» с пилой вместо колеса продирается по лесу, сваливая на пути все деревья. — Нет, машину поставили на колоды, так что колеса только крутятся, но никуда не едут. Теперь она служит для пилки, а не для поездок.

— О! — Тонкие руки Вайолет тронули чайник, проверяя, не остыл ли он. — Какой он умный! — добавила она с таким видом, будто подразумевала что-то другое.

Идея была отличная, хотя и не принадлежала Августу. Он прочитал об этом устройстве в иллюстрированном техническом журнале и уговорил Эзру Медоуза попробовать. На практике дело оказалось немного сложнее, чем было описано в журнале: приходилось поминутно вскакивать с водительского места, чтобы изменить скорость движения пилы, заводить заглохший мотор рукояткой всякий раз, когда пила врезалась в сучок, и, стараясь перекричать стоявший грохот, перекликаться с Эзрой: «Что? Что?» Августа, собственно, не очень-то интересовала пилка дерева. Но он обожал свой «форд» и хотел испробовать все его возможности — от езды сломя голову по железнодорожным путям, напоминавшей скачку, до фигурного катания со скольжением и вращением

на месте, подобно четырехколесному Нижинскому[85], на замерзшем озере. Недоверчивый поначалу Эзра, во всяком случае, не выказывал и тени легкомысленного презрения к шедевру Генри Форда, которое питали его домочадцы или такие люди, как Флауэрзы; к тому же стоявший во дворе Эзры тарарам постоянно отвлекал от домашних хлопот его дочь Эми. Один раз она вышла из дома понаблюдать за производственным процессом, рассеянно оттирая тряпкой луженую сковородку; потом выглянула снова — как всегда, с руками в муке и в запачканном мукой переднике. Приводной ремень лопнул и бешено затрепыхался в воздухе. Август выключил мотор.

— А ну-ка, Эзра, взгляни на эту кучу. — Свеженапиленные желтые чурбаны с коричневыми ободками, громоздясь, валялись по всему двору, издавая сладковатый запах смолы и горячей выпечки. — Вручную ты провозился бы не меньше недели. Что скажешь?

— Отлично.

— А ты что думаешь, Эми? Правда, хорошо?

Она улыбнулась и застенчиво опустила глаза, как будто хвалили ее.

---

[85] Примечания: 85

Нижинский, Вацлав (1889/1890–1950) — прославленный танцор и балетмейстер.

— Отлично, — повторил Эзра. — А ты кыш отсюда!

Эта реплика была адресована Эми, на лице которой тотчас проступило выражение уязвленного высокомерия — столь же милое для Августа, как и ее улыбка. Эми вскинула голову и медленно, нога за ногу, удалилась, чтобы не создавать впечатления, будто ее прогнали.

Эзра молча помог Августу вернуть «фордовское» колесо на место. Неблагодарное молчание показалось Августу тягостным, но он подумал, что фермер, возможно, боится раскрыть рот, дабы не возникло вопроса о вознаграждении. Но бояться ему было нечего: Август, в отличие от младших сыновей во всех старинных сказках, знал, что не может в награду за выполнение непосильного задания (напилить за день пару сотен досковых футов) потребовать руки его прекрасной дочери.

Возвращаясь домой по знакомой дороге, поднимая клубы привычной пыли, Август остро ощущал нерасторжимое соответствие (все другие усматривали здесь, наоборот, противоречие) своего автомобиля вершине лета. Без особой надобности он слегка подрегулировал дроссель, кинул соломенную шляпу на соседнее сиденье и подумал, что если вечер окажется тихим, то мож-

но будет поехать на рыбалку в одно из известных ему местечек. Он испытывал блаженство — чувство, которое теперь нередко охватывало его, а впервые оно пришло к нему, когда он приобрел свой автомобиль, поднял похожий на крыло летучей мыши капот и увидел двигатель, привод трансмиссии и прочие детали мотора, скромные и столь же необходимые, как ему — собственные внутренние органы. У него появилось ощущение, что наконец-то его знания о мире достаточны для того, чтобы жить в нем: мир и его понимание мира составляли теперь единое целое. Он назвал это чувство «ростом» и действительно чувствовал, будто растет, хотя временами, испытывая буйный восторг, он удивленно спрашивал себя, не превратится ли он в некое подобие «форда», не станет ли, чего доброго, самим Фордом: он не мог вообразить другого инструмента, а равно и другого человека, столь же невозмутимо целенаправленного и совершенного: о подобной судьбе оставалось только мечтать.

Казалось, будто все сговорились, чтобы сбить его с пути. Когда он сказал папаше (он называл своего отца «папашей» про себя и в присутствии Эми, хотя к Джону таким образом никогда не обращался), что в этой местности не помешало бы

устроить гараж, где можно было бы заправлять автомобили бензином, делать мелкий ремонт и продавать «форды», и выложил перед Джоном брошюрки и проспекты, которые получил от компании Форда, где были указаны все расходы на создание небольшого торгового агентства (он умолчал, что хотел бы сам стать агентом, понимая, что в шестнадцать лет слишком молод для этого, но был бы счастлив, очень счастлив накачивать бензин и устранять неполадки), его отец лишь улыбнулся и, даже бегло не просмотрев брошюры, сидел, кивая головой, и слушал объяснения сына только из любви к нему и еще потому, что любил ему потакать. Наконец он спросил:

— Тебе бы хотелось иметь собственный автомобиль?

Конечно, Августу хотелось, но он чувствовал, что с ним обращаются словно с мальчишкой, хотя он, как взрослый, так тщательно продумал идею с гаражом, прежде чем обратиться к отцу. А его отец, чьи заботы были на редкость ребяческими, только улыбнулся, как будто услышал о каком-то безумном детском желании, и купил сыну автомобиль единственно ради того, чтобы его успокоить.

Но проблемы это не разрешило. Папаша этого

не понимал. Перед войной все изменилось. Никто *ни о чем* не знал. Можно было гулять в лесу, выдумывать истории и видеть разные разности, если уж очень этого хотелось. Но сейчас никаких оправданий не осталось. Теперь над всем господствовало знание — реальное знание о том, как мир функционирует, и какие действия необходимо выполнять для управления им. Управления. «Водитель автомобиля «Форд — Модель Т» легко и просто включит зажигание. Управление осуществляется следующим образом...» И Август прилежно штудировал все эти инструкции — рационально взвешенные и плотно облегающие собой неразбериху его детства, как сидит в обтяжку пыльник, надетый поверх костюма и плотно застегнутый до самого подбородка.

Отличная идея

— Тебе нужен свежий воздух, — сказал Август матери в тот день. — Давай с тобой прокатимся. — Он подошел, чтобы взять ее за руки и помочь ей подняться с шезлонга, но, хотя она и протянула ему руки, оба знали, поскольку разыгрывали точно такую же сценку уже не в первый раз, что Вайолет с места не поднимется и уж наверняка никуда не поедет. Но руки его она не отпускала.

— Ты можешь потеплее укутаться, да и все равно по этим дорогам больше пятнадцати миль в час не выжать...

— Ох, Август!

— Нечего зря охать, — проговорил он, позволяя Вайолет притянуть его к себе, усаживаясь рядом, однако уклоняясь от ее поцелуя. — Ты прекрасно знаешь, что у тебя все хорошо: во всяком случае, ничего *действительно* худого нет. Ты просто слишком много думаешь.

То, что строго выговаривать матери, будто непослушной девчонке, приходилось ему, младшенькому, хотя были и дети постарше, которым и следовало бы больше заботиться о матери, вызывало у Августа досаду, но ничуть не огорчало Вайолет.

— Расскажи мне, как прошла пилка, — попросила Вайолет. — Малышка Эми тоже была там?

— Не такая уж она и малышка.

— Нет-нет. Конечно же, нет. Но она такая хорошенькая.

Август заподозрил, что покраснел, и ему показалось, что мать это заметила. Август смутился, считая не совсем приличным, если его мать подумает, будто он относится к девушкам иначе, чем со снисходительным равнодушием. По правде

сказать, лишь к немногим девушкам он в самом деле относился со снисходительным равнодушием, и все это знали. Даже сестры с понимающими улыбками снимали пушинки с отворотов его пиджака и зачесывали назад его густые, непокорные, как у матери, волосы, стоило ему как бы невзначай обронить, что вечерком он собирается заглянуть к Медоузам или Флауэрзам.

— Послушай, Ма, — начал он с повелительной ноткой в голосе, — послушай меня внимательно. Ты помнишь, что еще до смерти отца мы говорили с ним обустройстве гаража, создании агентства и прочее. Он был не в восторге от этой идеи, но с тех пор прошло четыре года, и тогда я действительно был слишком юн. Не вернуться ли нам к этому разговору сейчас? Оберон считает, что это отличная идея.

— В самом деле?

Оберон не выставил никаких возражений, однако во время разговора находился за дверью темной комнаты, в своей отшельнической келье, смутно освещенной красным фонарем.

— Конечно. Ты же знаешь, что скоро каждому захочется иметь собственный автомобиль. Каждому.

— О Господи!

— От будущего не спрятаться.

— Да нет, ты прав. — Вайолет взглянула на окна, за которыми царил сонный полдень. — Ты прав.

Она уловила смысл его слов, но не тот, какого Август желал: он вытащил часы и посмотрел на циферблат, чтобы она не отвлекалась.

— Ну так что же?

— Не знаю, — протянула Вайолет, вглядываясь ему в лицо, однако не для того, чтобы попытаться прочитать его мысли или передать свои, а просто как смотрят в зеркало — открыто и задумчиво. — Не знаю, дорогой. Я думаю, что Джон вовсе не считал эту идею отличной...

— Это было *четыре* года тому назад, Ма.

— Да-да, четыре. Четыре года тому назад... — Сделав над собой усилие, Вайолет вновь взяла его за руку. — Ты был его любимцем, Август, разве тебе это не известно? Конечно, он любил всех вас, однако... Не кажется ли тебе, он лучше знал, что делать? Он, должно быть, все продумал как следует: он ведь всегда все продумывал. О нет, дорогой, если у него была такая уверенность, я не думаю, что смогу решить лучше, чем он, правда.

Август рывком поднялся с места и сунул руки в карманы.

— Хорошо-хорошо. Только не сваливай ответ-

ственность на отца, вот и все. Тебе не нравится эта идея, ты боишься такой простой вещи, как автомобиль, и ты никогда не хотела, чтобы у меня было хоть что-то свое.

— Август, — перебила его Вайолет, но тут же зажала рот рукой.

— Ладно, — продолжал Август. — Видимо, придется тебе сказать. Думаю, мне надо уехать. — В горле у него внезапно встал комок, а он надеялся, бросив вызов, одержать победу. — Возможно, я уеду в Город. Еще не знаю.

— Что ты хочешь сказать? — произнесла Вайолет слабым голосом, как ребенок, который начинает понимать какую-то страшную и непостижимую истину. — Что ты хочешь этим сказать?

— Видишь ли... — Август решительно шагнул к матери. — Я взрослый человек. А что ты думала? Что я всю свою жизнь буду слоняться по этому дому? Не собираюсь!

При виде лица Вайолет, исказившегося от потрясения, тоски и беспомощности, — в то время как любой молодой человек в возрасте двадцати одного года мог бы повторить его слова и разделить его неудовлетворенность, — внутреннее смятение и обескураженный здравый смысл

вскипели в нем потоком лавы. Август бросился к креслу Вайолет и стал перед ней на колени.

— Ма, Ма, что с тобой? Ради бога, что с тобой?

Он впился в ее руку поцелуем, походившим на яростный укус.

— Мне страшно, и ничего больше...

— Нет-нет, ради бога, скажи, что во всем этом такого ужасного? Что плохого в желании продвинуться в жизни и быть... быть *нормальным человеком*. Что неладного в том, — лава, бушевавшая внутри него, начала извергаться, и он даже не пытался удержать ее, да и вряд ли бы это ему удалось, даже если бы он захотел, — что неладного в том, что Тимми Вилли перебралась в Город? Там живет ее муж, которого она любит. Неужели у нас такой потрясающий дом, что никто даже подумать не смеет куда-то переселиться? Даже если женится или выйдет замуж?

— Но в доме так просторно. А Город так далеко...

— Ладно, а что плохого в том, что Об хотел пойти в армию? Тогда была война. Все уходили. Тебе бы хотелось, чтобы мы всю жизнь оставались пришпиленными к твоей юбке?

Вайолет ничего не ответила, но на ресницах у нее дрожали крупные, похожие на жемчуг слезы,

как у обиженного ребенка. Внезапно она остро ощутила отсутствие Джона. Она могла излить ему все свои неясные переживания, все, что знала и чего не знала, и, хотя он не всегда ее понимал, он всегда выслушивал ее с благоговением; и она могла получить от него совет, предостережение, подсказку какого-то разумного выхода, о котором сама она никогда бы не догадалась. Она провела рукой по всклокоченным, спутанным в эльфийский колтун волосам[86] Августа, которые не поддавались никакому гребню, и сказала:

— Но ты ведь знаешь, дорогой, знаешь. Ты все помнишь, не правда ли? Ведь помнишь? — Август со стоном уткнулся в ее колени, а она продолжала перебирать и гладить его волосы. — Эти авто, Август, — что они о них подумают? Шум, треск, вонь. Нахрап. Что они должны подумать? Что, если ты их распугаешь?

— Нет, Ма, нет.

— Они очень храбрые, Август. Помнишь, когда ты был ребенком, тот случай с осой: помнишь, какую отвагу проявил тот малыш? Ты ведь сам видел. Что, если... если ты их рассердишь и они замыслят... замыслят что-нибудь ужасное. Они

---

[86] Примечания: 86

...по всклокоченным, спутанным в эльфийский колтун волосам... — Фейри шутки ради заплетают спящим людям волосы.

могут, ты знаешь, что они это могут.

— Я был тогда совсем дитя.

— Неужели ты все забыл? — спросила Вайолет, обращаясь как будто и не к нему, а разговаривая сама с собой, спрашивая себя о странном ощущении, которое возникло у нее тогда. — Ты действительно все забыл? Неужели это правда? А Тимми? А все остальные? — Вайолет приподняла голову Августа и вгляделась в его лицо, как бы изучая. — Август, ты забыл, или... Ты не должен, не должен забывать, иначе...

— А что, если им все равно? — Августа мучило его поражение. — Что, если это их вообще не волнует? Откуда у тебя такая уверенность, что им это не понравится? У них ведь есть свой мир, разве не так?

— Не знаю.

— Дед говорил...

— Август, дорогой, я не знаю...

— Ладно, — сказал Август, отстраняясь от Вайолет, — тогда я пойду и спрошу. Пойду и спрошу у них разрешения. — Он встал. — Если я спрошу у них разрешения и они ответят согласием, тогда...

— Не представляю, каким образом они смогут его дать.

— Ну а если да?

— Как ты можешь знать наверняка? Не делай этого, Август, они могут тебе солгать. Обещай мне, что не сделаешь. Куда это ты?

— На рыбалку.

— Август?!

Несколько заметок о них

С уходом Августа на глазах Вайолет вновь выступили слезы. Она торопливо смахивала горячие капли, которые катились и катились по ее щекам — от бессилия что-либо объяснить. То, что она знала, не могло быть высказано: слова для этого не годились; стоило ей попытаться, и все произнесенное вслух оказывалось ложью или глупостью. Они храбрые, сказала она Августу. Они могут солгать, добавила она. И то, и другое было неправдой. Они не были храбрыми и не могли солгать. Подобные слова истинны разве что для детей. Если вы говорите ребенку: «Дедушка уехал», в то время как дедушка умер, это звучит правдой, потому что дедушки больше нет и он никогда не появится. Но ребенок спрашивает вас: «А куда он уехал?» И вы обдумываете свой ответ, который будет уже менее правдивым, и так далее. И все-таки вы сказали ребенку правду, и он вас понял — по крайней мере, настолько, насколько

вы сумели объяснить.

Но дети Вайолет уже не были детьми.

Она столько лет старалась претворить то, что знала, в язык, доступный Джону, в язык взрослых, — в сети для ловли ветра[87], передать Джону Смысл всего этого, Суть, Итог. О, этот добрый, великий человек! Он приблизился к пониманию главного настолько, насколько могли позволить его интеллект, неутомимое усердие, дисциплинированность ума и пристальное внимание к малейшим подробностям.

Но во всем этом не было никакого Смысла, никакой Сути, никакого Итога. Думать о *них* таким образом было равносильно тому, чтобы пытаться выполнить некое задание по отражению в зеркале; попробуйте, если получится, заставить руки делать то, что противоположно приказанию,

---

[87] Примечания: 87

...*сети для ловли ветра*... — крылатое выражение из пьесы английского драматурга Джона Уэбстера (1580–1625) «Всем тяжбам тяжба» (1623) (д. V, сц. 4):

На солнце набежала мгла,
И с ним весь мир заволокла,
Все символы людской тщеты:
Дворцы, трофейные щиты,
Которым суждено истлеть...
Мы только ветер ловим в сеть!

(Перевод С. Таска)

двигать ими не туда, а сюда, назад, а не вперед, налево, а не направо. Иногда Вайолет представлялось, что думать о *них* — в точности то же самое, что глядеть на себя в зеркало. Но что это могло означать?

Вайолет не хотела, чтобы ее дети *навсегда* остались несведущими младенцами: вся страна, казалось, была переполнена теми, кто неистово стремился повзрослеть, и, хотя она никогда не ощущала себя взрослеющей, она ничего не имела против взросления других; ее страшило лишь одно: если ее дети забудут то, что знали в детстве, им грозит опасность. В этом она не сомневалась. Но какая опасность? И каким, каким образом она должна их предостеречь?

Ответов не находилось, ни единого. Все подвластное разуму и связной речи сделалось бы яснее при более точной постановке вопросов. Джон спрашивал ее: «Действительно ли существуют фейри?» Ответа не было. Джон, не ослабляя усилий, формулировал решающий вопрос более обстоятельно и в то же время еще точнее и определенней, однако и тут ответ никак не давался, только полнее и совершенней становилась форма вопроса, подверженного эволюции, подобно всему живущему (о чем ей твердил Оберон): вопрос

обретал конечности и порождал органы, систему суставов, пребывая и действуя во все более и более сложном статусе (одновременно все более и более сжатом и конкретизированном) до тех пор, пока, заданный совершенно безупречным образом, сам не осознавал, что ответить на него невозможно. А потом всему этому был положен конец. Вышло последнее издание, и Джон умер, все еще в надежде дождаться ответа.

И все же *кое-что* Вайолет знала. В кабинете Джона на письменном столе красного дерева, цвета бычьей крови, стояла большая черная пишущая машинка, щитком и костлявыми клешнями напоминавшая старого краба. Ради Августа, ради всех своих детей, она должна сказать о том, что знает. Вайолет подошла к столу, села к машинке и задумчиво положила пальцы на клавиши, как пианист на клавиатуру рояля перед исполнением нежного, печального, почти неслышного ноктюрна. Заметив, что в каретке пусто, Вайолет разыскала листок почтовой бумаги и вставила его в челюсти машинки, однако он выглядел таким маленьким и мятым, что трудно было представить, как он выдержит удары клавиш. Двумя пальцами Вайолет выстучала строчку:

вайолет заметки о них

А ниже — слово, которое часто встречалось в бессвязных дневниках деда:

tacenda[88]

Что дальше? Вайолет провернула валик и напечатала:

они не хотят нам добра

Подумала немного над этой строкой и добавила ниже:

но не хотят и вреда

Она имела в виду, что им все безразлично и что их заботы никак не связаны с нашими: дарят ли они подарки (а они дарят), подталкивают к заключению брака или подстраивают несчастный случай (а это бывало), выслеживают и ждут (замечены и в таком) — ничто из всего этого не замышлялось с целью помочь или повредить смертным. Мотивы у них были исключительно свои собственные, если таковые вообще имелись

---

[88] Примечания: 88
Невыразимое (лат.).

— Вайолет казалось иногда, что мотивов у них не больше, чем у камней или времен года.

они созданы а не рождены

Подперев щеку рукой, Вайолет перечитала написанное и сказала: «Нет». Аккуратно забив иксами слово «созданы», она надписала сверху «рождены», затем уничтожила слово «рождены» и вместо него надписала «созданы», однако тут же поняла, что исправленный вариант ничуть не правдивее прежнего. Все без толку!

Могла ли ей явиться хоть какая-то мысль о *них* без другой, противоположной, но столь же верной? Вайолет перевела строку и, вздохнув, напечатала:

нет двух одинаковых дверей к ним

Это ли она хотела сказать? Она хотела сказать: то, что служит дверью для одного человека, не может служить для другого. Она также хотела сказать: любая дверь, в которую входят, захлопывается навсегда, даже вернуться через нее уже нельзя. Она хотела сказать: нет двух дверей, которые вели бы в одно и то же место. Она хотела сказать, что вообще-то никаких дверей,

ведущих к ним, нет. И все же: на верхнем ряду клавиатуры Вайолет обнаружила звездочку (она и не подозревала, что у пишущей машинки есть знак сноски) и пометила ею последнюю строчку, которая теперь выглядела так:

нет двух одинаковых дверей к ним*

А ниже напечатала:

*но дом это дверь[89]

Строчки заполнили уже весь листок, и Вайолет вынула его из машинки, чтобы перечитать написанное. Перед ней лежал конспект отдельных глав последнего издания «Архитектуры» — лишенный волнуемых ветром драпировок пояснений и обобщений, жалкий и неприкрашенный, от которого было не больше пользы, чем всегда. Вайолет медленно скомкала листок, думая о том, что ничего не знает, кроме одного: судьба, которая ждет ее и всех остальных, ждет их именно здесь (почему у нее не выговаривалось, откуда

---

[89] Примечания: 89

...*но дом это дверь*... — Образ, как отмечено в комментариях в разделе II, восходит к роману Джорджа Макдональда «Лилит». Ср.: «Есть места, в которые вы можете войти, есть места, из которых вы можете выйти, но единственное место (если вам посчастливится его найти), откуда вы можете выйти и наоборот, — это дом» (гл. III, перевод Е. Кузнецовой).

ей это известно?), и оттого они должны держаться за Эджвуд и никуда далеко отсюда не уезжать; она сама, во всяком случае, никогда больше его не покинет. Это была дверь, важнейшая из всех дверей: волей случая или умышленно, дом Как-то стоял на самом краю или рубеже пространства Где-то Еще, и в итоге он окажется последней дверью на этом пути. Еще долго-долго дверь будет стоять распахнутой, затем в течение еще какого-то срока ее можно будет отворить или отпереть, если у вас есть ключ; но наконец наступит время, когда она захлопнется навсегда и вообще перестанет быть дверью; и Вайолет очень не хотелось, чтобы кто-то из тех, кого она любит, остался в ту пору снаружи, за порогом.

Что тебе хочется больше всего

Южный ветер, по утверждению «Удильщика»[90], загоняет наживку прямиком в рыбий рот, однако у Августа дело не ладилось: отлично насаженными на крючок приманками никто не соблазнялся. Эзра Медоуз был уверен, что рыба лучше клюет перед дождем; старый Макдональд

---

[90] Примечания: 90

«Удильщик» — имеется в виду «Совершенный Удильщик» (1653) Айзека Уолтона (1593–1683).

всю жизнь упорно это отрицал, а Август убеждался, что бывает и так, и эдак: лучше всего рыба клюет на комаров и москитов, которых нужно наживлять так, чтобы казалось, будто по воде плывут пылинки, увлекаемые в глубину перепадами давления («Переменно», свидетельствовал двуличный барометр Джона), а все «джеки скотты» и «александры»[91] Августа никуда не годились.

Впрочем, о рыбалке он думал мало. Август пытался, вроде как пытаясь и не пытаться, увидеть или подметить, вроде бы не видя и не подмечая, какой-нибудь знак или ключ к некоему посланию; стараясь вспомнить, он в то же самое время старался забыть о том, что забыл, каким образом обычно появлялись подобные знаки или ключи и как он обычно их растолковывал. Ему следовало также постараться не думать: «Это — сумасшествие» и не думать о том, что поступает так только ради своей матери. И та, и другая мысль испортят все, что может произойти. Над поверхностью воды резвился, хохоча, беззаботный зимородок: его яркое оперение переливалось на солнце всеми цветами радуги, хотя подкрадывающийся

[91] Примечания: 91

...«джеки скотты» и «александры»... — разновидности искусственной наживки.

вечер уже затемнил поток. Я не сумасшедший, повторил про себя Август.

Сходство между рыбалкой и другим его предприятием заключалось в том, что где бы на берегу ты ни стоял, казалось: вон там, чуть подальше, где поток обегал камни узкими струями, за поникшими ветвями ив, находится то самое, наиподходящее место, куда вас всегда тянуло. Это ощущение нисколько не ослабевало, даже если, поразмыслив, вы осознавали, что наиподходящим местом было как раз то, где вы стояли пару минут назад, бросая долгие страстные взгляды туда, где стоите теперь, и мечтали оказаться среди нескончаемой игры пятнистой светотени, под которой теперь находитесь, ну и что из того; и не успел Август уяснить, что желания его сосредоточены, так сказать, на отрезке между Там и Здесь, как леска сильно натянулась, и удочка, которую он в рассеянности держал кое-как, чуть не вырвалась у него из рук.

Август вздрогнул от испуга, как, должно быть, вздрогнула и рыба, неуклюже подсек добычу, не без борьбы вытащил ее из воды и ухватил руками. Тени деревьев растворялись в вечернем сумраке; пойманная рыба смотрела на него с тупым изумлением, как смотрит любая пойманная

рыба; Август извлек крючок, сунул большой палец в костистый рот рыбы и точным движением сломал ей хребет. Когда он вынул палец, тот был испачкан слизью и холодной рыбьей кровью. Не долго думая, Август сунул палец себе в рот и пососал его. Зимородок, как раз совершавший очередной беспечный пируэт, окинул Августа взглядом и, с хохотом стрелой промчавшись над водной гладью, устроился на высохшем дереве.

Положив рыбу в плетеную корзинку, Август выбрался на берег и сел в ожидании. Он был уверен: зимородок потешался именно над *ним*, а не над миром вообще: хохотал саркастически, мстительно. Хотя, возможно, думал Август, я и вправду смешон. В длину рыба не превышала и семи дюймов: едва хватит на завтрак. Итак, что дальше?

— Если бы мне пришлось питаться одной рыбой, — произнес Август, — я бы отрастил клюв.

— Следует молчать, пока к тебе не обратятся, —

сказал зимородок[92]. — Существуют же правила приличия, к твоему сведению.

— Извините.

— Сначала говорить буду я, — продолжал зимородок, — а ты — недоумевать, кто же это с тобой беседует. Потом ты поймешь, что это я; потом взглянешь на свой палец и на пойманную рыбу, сообразишь, что лизнул ее кровь, и тебе стал понятен язык живых тварей; вот *тогда* мы и поговорим.

— Я не хотел...

— Будем считать, что все было проделано как надо. — Зимородок говорил желчным, раздраженным тоном: другого Август и не ожидал при виде вздыбленных на голове перьев, толстого загривка и недовольно-свирепых глазок — ледяной тон. Вот уж поистине рожденная зимой птица! — А теперь обратись ко мне. Скажи: «О Птица!» — и изложи свою просьбу.

---

[92] Примечания: 92

— *Следует молчать, пока к тебе не обратятся, — сказал зимородок.* — Весь дальнейший диалог построен на отсылках к сказкам об Алисе. Приведенные слова зимородка и одна из следующих фраз («Будем считать, что все было проделано как надо») — слегка измененные реплики Черной Королевы («Зазеркалье», главы XI и II). Обращение «О Птица!» следует восклицанию «О Мышь!» («Алиса в Стране чудес», гл. II). Принцип «Сначала давай решим вопрос о плате, вознаграждение — потом» также подчинен логике Страны чудес («Сперва приговор, посовещаются потом» — гл. XII, перевод Б. Заходера).

— О Птица! — воскликнул Август, умоляюще сложив руки. — Ответь, можно ли поставить автозаправочную станцию в Медоубруке и продавать там «форды»?

— Конечно.

— Что?

— Конечно!

Разговаривать с птицей, сидевшей на ветке сухого дерева, было страшно неудобно: как и положено зимородку, она держалась слишком далеко. Август постарался представить себе, что птица приняла более подходящий для собеседника размер и облик и устроилась рядом — скрестив ноги, как и он сам. Это подействовало. Август даже засомневался, был ли этот зимородок и в самом деле птицей.

— Итак, — сказал зимородок, будучи все-таки птицей и потому способный смотреть на Августа поочередно то одним, то другим глазом — ярким, дерзким и безжалостным. — Итак, это все?

— Думаю... думаю, что да... Я...

— Что еще?

— Видите ли, я думал, что у вас найдутся кое-какие возражения. Мол, шум. Вонь.

— Никаких.

— О!

— С другой стороны, — проговорил зимородок (речь его, казалось, постоянно сопровождалась хриплым смехом), — раз уж мы оба здесь, ты мог бы заодно попросить меня и еще о чем-нибудь.

— Но о чем?

— О чем угодно. Попроси о том, чего тебе хочется больше всего.

Август полагал — до того момента, как высказал свою нелепую просьбу, будто именно это и просил, но тут его вдруг обдало жаром с ног до головы, дыхание сбилось и он понял, что промахнулся, однако еще не все упущено. Краска густо залила его щеки.

— Э-э, — промямлил он заикаясь, — вон там, в Медоубруке... есть... есть один фермер, а у него дочь...

— Да-да-да, — нетерпеливо проговорил зимородок, словно был прекрасно осведомлен о желании Августа и не хотел утруждать себя выслушиванием ненужных подробностей. — Но сначала давай решим вопрос о плате, вознаграждение — потом.

— О плате?

Зимородок рассерженно завертел головой, поглядывая то на Августа, то на небо, то на ручей, словно подбирал наиболее колкие замечания, дабы сполна выразить свое недовольство.

— Плата, — повторил он. — Да, плата — и еще раз плата. Тут не в тебе дело. Давай назовем это любезностью, если тебе так больше нравится. Возврат некоей собственности, которая — пойми меня правильно — непреднамеренно, в чем я не сомневаюсь, попала тебе в руки. Я имею в виду, — впервые за все время их беседы зимородок на миг выказал признаки не то нерешительности, не то беспокойства, — я имею в виду колоду карт, игральных карт. Старых игральных карт. Которыми вы владеете.

— Карты Вайолет? — переспросил Август.

— Именно.

— Я попрошу у нее.

— Нет-нет. Видишь ли, она считает, что карты принадлежат *ей*. Вот так. Поэтому она не должна ничего знать.

— Вы хотите, чтобы я их украл?

Зимородок умолк. На мгновение он бесследно исчез, хотя могло оказаться так, что внимание Августа от усилия воображать себе облик птицы всего лишь переключилось на чудовищное преступление, которое ему предписывалось совершить.

Появившись снова, зимородок выглядел уже не таким требовательным.

— Ну как, раскинул мозгами получше насчет своего вознаграждения? — Голос его звучал чуть ли не ободряюще.

Конечно же, Август раскинул. Мысль о том, что он может попросить у них Эми (даже не пытаясь представить, как осуществится этот посул), приглушила в нем страстное вожделение: его охватило смутное предчувствие того, что произойдет, если он овладеет ею — или еще кем-то. Но кого еще он мог выбрать? А что, если он попросит...

— Всех, — вымолвил он еле слышно.

— Всех?

— Любую, кого захочу. — Если бы Августа не захлестнуло внезапно бешеное желание, то чувство стыда никогда бы не позволило ему произнести эти слова. — Власть над всеми.

— Готово. — Зимородок, оглядевшись, прочистил горло и почесал бородку черным коготком, явно удовлетворенный заключением этой нечистоплотной сделки. — В лесу за озером есть водоем. Там, далеко в воду, выступает скала. Положи карты туда — в их мешочке, в их шкатулке, а взамен забери дар, который тебя там ждет. Не мешкай. Пока!

Сумерки сгущались, предвещая грозу; сумятица

закатных лучей исчезла. Вода в ручье потемнела: виднелись только переливчатые струйки, образуемые нескончаемым течением. На высохшем дереве трепетала черная тень крыльев: зимородок готовился ко сну. Прежде чем оказаться на том самом месте, откуда он двинулся, Август немного постоял на берегу; потом собрал свои рыбацкие принадлежности и отправился по вечерней тропе домой, не видя широко распахнутыми глазами красот предгрозового вечера и чувствуя легкую тошноту от странности происшедшего и предвкушений недоброго.

Нечто ужасное

Вайолет хранила свои карты в пыльном мешочке из некогда ярко-розового, а теперь выцветшего бархата. В шкатулке когда-то держали и набор серебряных кофейных ложечек из Хрустального дворца[93], но они были давным-давно проданы, еще во времена ее скитаний вместе с отцом.

[93] Примечания: 93

Хрустальный Дворец — спроектированный Джозефом Пакстоном (1801–1865) павильон для всемирной промышленной выставки 1851 года (Лондон, Гайд-парк). Здание из стекла и железа было революционным для архитектуры своего времени и производило огромное впечатление. Современники называли это сооружение «дворцом для сказочного принца» (У. Теккерей), «одним из чудес света» (королева Виктория); «в том здании было нечто волшебное» (Л. Блан).

Извлекать из удобной шкатулки с изображением старой королевы и самого дворца на крышке из различных пород дерева эти диковинные большие прямоугольники, нарисованные или отпечатанные сто лет тому назад, было всегда необычным переживанием, будто ты отодвигал гобелен, служивший занавесом в старинной пьесе, когда глазам на сцене должно было предстать нечто ужасное.

Нечто ужасное — впрочем, не совсем и не всегда, хотя временами, выкладывая Розу, Знамя или какую-то другую фигуру, Вайолет испытывала страх: она боялась, что может раскрыть тайну, о которой вовсе не хотела бы знать, — день собственной смерти или что-то еще более ужасное. Но несмотря на завораживающе-грозные черно-белые образы козырных карт, представленные со скрупулезной, барочно-германской отчетливостью деталей, как у Дюрера, те тайны, которые они раскрывали, чаще всего были совсем не такими уж страшными, а порой и вообще ничего тайного не содержали, только смутные отвлеченности, противостояния, разноречивости, развязки — банальные, как поговорки, и так же лишенные всякой конкретности. Во всяком случае, именно так учили ее истолковывать

получавшийся расклад Джон и те из числа его знакомых, кто умел гадать.

Однако эти карты определенно отличались от известных им, и, хотя Вайолет знала один-единственный способ гадания — по египетской колоде Таро (прежде чем его усвоить, она просто наобум переворачивала карту за картой и подолгу, нередко целыми часами, в них всматривалась), ее не оставляло любопытство: не существует ли более простого, более красноречивого и Как-то более результативного метода.

— А вот, — сказала она, осторожно переворачивая взятую за верхний край карту, — пятерка жезлов.

— Новые возможности, — отозвалась Нора. — Новые знакомства. Неожиданный поворот событий.

— Прекрасно.

Пятерка жезлов заняла свое место в Подкове, которую выкладывала Вайолет. Арканы были разложены перед ней шестью равными кучками; она выбрала одну из другой кучки и перевернула ее: это оказался Рыболов.

Вот и загвоздка. Как и в обычной колоде, Вайолет располагала набором из двадцати одного основного козыря, но ее козыри — люди, места,

предметы, понятия — вовсе не являлись Главными Козырями. Поэтому, если выпадали Вязанка, Путешественник, Удобство, Множественность или Рыболов, приходилось напрягать воображение, строить догадки о значении карты, с тем чтобы общий расклад приобретал какой-то смысл. За годы практики, со все возраставшей уверенностью, Вайолет приписала своим козырным картам те или иные точные значения, научилась делать выводы из обретенного ими места среди кубков, мечей и жезлов, а также распознавала (или внушила себе, что распознает) оказываемое ими влияние, зловредное или, наоборот, благотворное. Но полной уверенности у нее никогда не было. Смерть, Луна, Возмездие — все эти главные козыри обладали важным и очевидным значением, но куда было девать Рыболова?

Как и прочие человеческие фигуры на картах, он был изображен с неестественно развитой мускулатурой, в нелепо-заносчивой позе — с вывернутыми носками и костяшками пальцев, упертыми в бедра. Для предполагаемой рыбалки он был разодет слишком уж нарядно: штаны выше колен перевязаны лентами; куртка с разрезами по бокам; на полях широкой шляпы — венок

из увядших цветов; через плечо переброшена удочка. В руках он держал что-то вроде плетеной корзинки и еще какое-то непонятное Вайолет снаряжение; собака, страшно похожая на Спарка, дремала у его ног. Рыболовом эту фигуру назвал Дед; под картинкой заглавными латинскими буквами было написано: PISCATOR[94].

— Итак, — произнесла Вайолет, — новый опыт, хорошие времена или чьи-то приключения вне дома. Очень хорошо.

— Кого приключения? — спросила Нора.

— Не кого, а *чьи*.

— Ладно, чьи?

— Того, на кого мы гадаем. Мы уже это решили? Или просто практикуемся?

— Раз все выходит так хорошо, — сказала Нора, — давай кого-нибудь назовем.

— Август.

Бедный Август, для него должно быть заготовлено что-то приятное.

— Ладно. — Но прежде, чем Вайолет перевернула следующую карту, Нора ее остановила: — Погоди. С этим шутить не стоит. Ведь мы с самого начала не условились, что гадаем на Августа,

---

[94] Примечания: 94
Рыболов (лат.).

а вдруг ему выпадет что-то ужасное? Не придется ли нам терзаться, если это и вправду сбудется? — Нора окинула взглядом сложный узор из карт, впервые встревоженная их властью. — А оно всегда сбывается?

— Не знаю. — Вайолет перестала раскладывать карты. — Для нас — нет. Я думаю, они способны предсказать то, что с нами *может* случиться. Но — ведь мы защищены, не правда ли?

Нора промолчала. Она верила Вайолет и верила, что Вайолет известно о Повести такое, о чем она даже не догадывается, но защищенной она себя никогда не чувствовала.

— В жизни случаются разные катастрофы, дело обычное, — сказала Вайолет, — и если в картах они предупреждают, я им не хочу верить.

— И *ты* еще меня поправляешь! — рассмеялась Нора. Вайолет, тоже смеясь, открыла следующую карту: четверка кубков, в перевернутом виде. — Усталость. Досада. Отвращение. Горький опыт.

Внизу, у входной двери, задребезжал колокольчик. Нора вскочила на ноги.

— Странно, кто бы это мог быть? — проговорила Вайолет, собирая карты.

— Откуда мне знать? — отозвалась Нора. Она опрометью подскочила к зеркалу, взбила свои

пышные золотистые волосы и одернула блузку. — Может, это Харви Клауд, он говорил, что зайдет вернуть книгу, которую я ему давала. — Перестав суетиться, она вздохнула, как бы досадуя на то, что им помешали. — Пожалуй, пойду взгляну.

— Да, — поддакнула Вайолет. — Пойди, взгляни. Погадаем как-нибудь потом.

Но когда, неделю спустя, Нора попросила Вайолет повторить урок и Вайолет направилась к ящику комода, где хранились ее карты, их там не оказалось. Нора утверждала, что не брала их. Не оказалось их и в другом месте, куда Вайолет могла их по рассеянности сунуть. Выдвинув чуть ли не все ящики и раскидав бумаги по полу, Вайолет, озадаченная и обеспокоенная, присела на край кровати.

— Всё, пропали, — вздохнула она.

Антология любви

— Я сделаю все, что ты хочешь, Август, — сказала Эми. — Все, что ты хочешь.

Он склонил голову к ее раскинутым коленям и тихо произнес:

— Боже мой, Эми, Боже мой. Господи, прости меня.

— Не божись, Август, это нехорошо.

Ее залитое слезами лицо туманилось так же, как опустевшее октябрьское поле, на котором черные дрозды охотились за зернами кукурузы, вспархивая по невидимому сигналу и вновь опускаясь на землю где-то еще. Эми положила свои потрескавшиеся после уборки урожая ладони на руки Августа. Оба дрожали от холода и от вгонявшей в озноб близости.

— Я читала в книгах, что люди, бывает, какое-то время любят друг друга, а потом перестают. Никогда не могла взять в толк почему.

— Я тоже, Эми.

— Я всегда буду любить тебя.

Август поднял голову: его настолько переполняло уныние и болезненное чувство раскаяния, что он казался себе неотличимым от осеннего тумана. Он так страстно любил Эми до того, что случилось, но никогда еще его любовь не была такой целомудренно-чистой, как сейчас, когда он сказал ей, что больше они не увидятся.

— Мне только одно непонятно — почему, — повторила Эми.

Август не мог убеждать ее, что главная причина — его занятость, а сама она тут совершенно ни при чем, что на него давят всякие неотложные обязательства — о Господи, давят, давят, давят...

Он назначил ей свидание здесь, под коричневатым папоротником-орляком, на рассвете, когда Эми не хватятся дома, для того, чтобы порвать с ней, и единственно приемлемой и достойной причиной, какую он только сумел придумать для объяснения своего поступка, была та, что он ее разлюбил, и именно эту причину он, после долгих колебаний и множества холодных поцелуев, ей выложил. Эми встретила его слова с таким мужеством, с такой молчаливой уступчивостью; слезы на ее щеках оказались такими солеными на вкус, что Августу подумалось, будто он сказал ей все это только для того, чтобы лишний раз увидеть, какая она славная, преданная, кроткая, и оживить свои увядшие чувства толикой печали и неотвратимой утраты.

— О нет, Эми, Эми, не плачь, я совсем не хотел...

Август прижал ее к себе, и она покорно сдалась, стесняясь посягать на только что сделанное им признание в том, что она отвергнута и нежеланна; и ее стыдливость, ее огромные, жадно ищущие его взгляда глаза, полные испуга и отчаянной надежды, сразили его.

— Не надо, Август, не надо, если ты меня не любишь.

— Неправда, Эми, неправда.

Здесь, на шуршавших листьях, сам едва сдерживая слезы, как если бы и вправду расставался с ней навсегда (хотя теперь и сознавал прекрасно: должен расстаться и именно так и сделает), Август вступил вместе с ней в новые и неизведанные, сладостно-печальные области любви, где исцелились те тяжкие раны, которые он ей нанес.

В стране Любви географические открытия явно не имели конца.

— В следующее воскресенье, да, Август? — Голос робкий, но в нем звучала уверенность.

— Нет. Не в воскресенье, а... Завтра. Или даже сегодня вечером. Сможешь?

— Да. Что-нибудь придумаю. Август, радость моя!

Эми бегом пустилась по полю, утирая слезы, закалывая на бегу волосы, счастливая, опоздавшая, навстречу опасности. «Вот до чего я дошел», — думал Август в глубине души, где еще не сдавался последний оплот сопротивления: даже конец любви способен только ее пришпорить. Он пошел в другую сторону — туда, где его поджидал (как ему показалось, с укоризной) автомобиль. Стараясь ни о чем не думать, завел мотор.

Что же, черт побери, ему теперь делать?

Августу стало ясно, что пылкое острие желания, пронзившее его, когда он увидел Эми Медоуз впервые после получения дара, являлось всего лишь уверенностью в том, что страсть его будет теперь неизбежным образом удовлетворена. Тем не менее, несмотря ни на какую уверенность, он продолжал делать глупости: храбрился перед ее отцом; отчаянно и напропалую лгал, с трудом выпутываясь из собственных басен; часами ждал на холоде позади дома, пока Эми освободится. Ему обещали власть над женщинами, с горечью осознавал Август, но не власть над обстоятельствами, в которых те находились; и хотя Эми соглашалась со всеми его предложениями, прибегала на ночные свидания, поощряла его фокусы, раз за разом все более потакала его назойливым причудам, но даже отброшенная ею стеснительность ничуть не убавляла в нем ощущения того, что он вовсе не владеет ситуацией, а всецело подчинен вожделению еще более настоятельному: почти перестал быть собой и отдался во власть демону, который обуревал его как никогда раньше.

Это ощущение нарастало с каждым новым месяцем, пока он колесил на своем «форде» по пяти городкам, и превратилось в уверенность: он

управлял автомобилем, но им самим управляли, вертели и крутили помимо его воли.

Вайолет не спрашивала, почему Август отказался от намерения строить гараж в Медоубруке. Время от времени он жаловался ей, что ему приходится расходовать почти столько же бензина, чтобы добраться до ближайшей заправочной станции, сколько он там заливает в свой бак, но эти жалобы вовсе не казались намеками или доводами в пользу его идеи, да и вообще Август теперь гораздо реже вступал в спор, нежели прежде. Порой Вайолет думала, что его измученный вид отягощенного заботами человека объясняется, вероятно, тем, что он вынашивает еще какой-нибудь малопривлекательный план, но Как-то склонялась к мысли, что ошибается. Она надеялась, что виноватый изнуренный вид, с каким он молча околачивался по комнатам, не означал его приверженности какому-то тайному пороку, но что-то определенно произошло.

Карты могли бы подсказать ей, что именно, но вот они-то как раз куда-то исчезли. Возможно, думала Вайолет, все дело только в том, что Август влюбился.

Это была правда. Если бы Вайолет не предпочитала уединение в комнате наверху, ей бы

наверняка бросилась в глаза удаль, с какой ее младший сын косит направо и налево поросль молоденьких девушек из пентакля окрестных городков, постоянно собирая богатый урожай с участка вокруг Эджвуда. Родители девушек кое-что подозревали, но немногое; сами девушки перешептывались об этом между собой; даже мелькнувший мимо автомобиль Августа с бойко мотавшимся на ветру ярко-желтым беличьим хвостом, который был прикреплен к гибкому прутику у ветрового стекла, означал для них день, проведенный в полном оцепенении, бессонное метание по постели всю ночь напролет и поутру — мокрую от слез подушку; они не знали, что и подумать, но откуда же им было догадаться? Все их сердца принадлежали ему, но дни и ночи Август проводил точно так же, как и они.

Ничего подобного он не ожидал. Он слышал о Казанове, но мемуары его не читал. Он воображал себе гарем: стоило султану властно хлопнуть в ладоши, как он мгновенно получал обезличенно-покорный объект своего желания с той же легкостью, с какой за десятицентовую монету в драгсторе можно получить содовую с шоколадным вкусом. Август был потрясен, когда воспылал страстью к старшей дочери Флауэр-

зов, хотя по-прежнему испытывал сумасшедшее влечение к Эми, нимало не ослабевшее. Пожираемый любовью и похотью, он думал только о старшей дочери Флауэрзов, когда не был рядом с Эми или же мысли его не были заняты юной Маргарет Джунипер (да как это могло случиться?), которой и четырнадцати еще не исполнилось. Не сразу, но он усвоил то, что ведомо истерзанным страстью любовникам: любовь — это самое верное средство добиться любви, может быть, единственное, за исключением грубой силы; хотя только при одном условии (вот чудовищный дар, которым наделили Августа): любовник должен по-настоящему верить (а Август верил), что если его любовь достаточно сильна, то она непременно должна стать взаимной.

Когда, сгорая от стыда, дрожащими руками Август положил на скалу у водоема то, что составляло наибольшую ценность для его матери, хотя он и не желал себе в этом признаться (карты), и взял то, что лежало там для него (всего лишь беличий хвост — возможно, и не дар никакой вовсе, а только остатки завтрака лисы или совы), — безумие, чистое безумие, — лишь непомерный груз девственной надежды позволил ему, ничего не ожидая, привязать этот хвост к своему «фор-

ду». Но *они* сдержали слово (о да!): он становился теперь исчерпывающей антологией любви, со сносками (под сиденьем у него хранилась пара сношенных туфель, но чьи это туфли — он решительно не мог вспомнить); только, странствуя от драгстора к церкви, от одного фермерского дома к другому, с беличьим хвостом на радиаторе, развевавшемся на ветру, Август пришел к пониманию того, что не в этом хвосте заключена (или когда-то заключалась) его власть над женщинами: его власть над женщинами заключалась в их власти над ним.

Темно прежде, чем рассветет

Флауэрзы обычно приходили по средам, с охапками цветов для комнаты Вайолет, и хотя Вайолет всегда чувствовала себя виноватой и пристыженной среди множества обезглавленных и медленно вянущих бутонов, она старалась изобразить изумление и восторг перед садоводческим искусством миссис Флауэрз. Но на этот раз визит состоялся во вторник, и без цветов.

— Входите, входите, — проговорила Вайолет. Непривычно робкие, супруги переминались с ноги на ногу у двери ее спальни. — Чашечку чая?

— О нет, спасибо, — отозвалась миссис Флауэрз.

— Мы только на пару слов.

Однако, усевшись и поминутно переглядываясь (явно не в силах посмотреть на Вайолет), супруги словно воды в рот набрали, и неловкое молчание затянулось надолго.

Флауэрзы перебрались из Города сразу после войны на то место, где раньше жил мистер Макгрегор, — «сбежали», по выражению миссис Флауэрз. Мистер Флауэрз имел в Городе положение и деньги: правда, было не совсем ясно, каково это положение, и еще менее ясно было, каким образом оно приносило ему деньги. Не то чтобы супруги это скрывали, но казалось, что обстоятельно беседовать о будничных заботах им тягостно. Они состояли вместе с Джоном в Теософском обществе; оба горячо обожали Вайолет. Как и у Джона, их жизнь была полна скрытого драматизма; изобиловала смутными, но волнующими знамениями того, что земной путь — вовсе не избитая дорожка, какой его принято считать; они принадлежали к числу тех (Вайолет не переставала удивляться их количеству и тому, сколь многих из них притягивал Эджвуд), кто смотрит на жизнь как на громадный серый занавес, который, отвечая их ожиданиям, вот-вот взовьется перед началом какого-то небывалого и велико-

лепного спектакля; ничего похожего толком так и не происходило, однако терпения им хватало, и Флауэрзы с волнением следили за малейшим его колыханием, пока актеры занимают свои места, и напрягали слух в надежде услышать, как на сцене ставят некую трудно вообразимую декорацию.

Подобно Джону, чета Флауэрзов полагала Вайолет участницей труппы или, по меньшей мере, одной из тех, кто находился за занавесом. Сама Вайолет ни о чем таком и не помышляла, и это делало ее в глазах супругов еще более таинственной и пленительной. Их визиты по средам давали пищу для тихой беседы на целый вечер и стимул для благоговейного, неусыпно зоркого существования на всю неделю. Но этот визит пришелся не на среду.

— Речь идет о гортензии, — начала миссис Флауэрз, и Вайолет с минуту смотрела на нее в недоумении, пока до нее дошло сказанное: так звали их старшую дочь. Двух других дочерей звали Вера и Лилия. Такое же замешательство возникало, когда назывались и их имена: Вера ушла от нас на целый день; наша Лилия явилась домой вся в грязи. Сжав руки и подняв глаза, красные от слез, как смогла разглядеть Вайолет,

миссис Флауэрз выдохнула: — Гортензия беременна.

— О господи!

Мистер Флауэрз, редкой мальчишеской бородкой и высоким умным лбом напоминавший Вайолет Шекспира, заговорил так тихо и непонятно, что ей пришлось придвинуться к нему поближе. Но суть она уловила: Гортензия беременна, как она сама призналась, от ее сына Августа.

— Она проплакала всю ночь, — продолжала миссис Флауэрз, и на ее глаза тоже навернулись слезы.

Мистер Флауэрз объяснил, в чем дело, — во всяком случае попытался. Не то чтобы супруги веровали в мирские понятия о поруганной чести: их собственные брачные узы были скреплены до того, как прозвучали традиционные словесные формулы; буйное цветение жизненных сил всегда отрадно. Нет: дело в том, что Август, э-э, казалось, не понимает этого так, как они, или, не исключено, понимает даже лучше, однако, говоря откровенно, они полагают, что он разбил девушке сердце, хотя сама она говорит, будто он сказал, что ее любит. Им хотелось бы знать, что именно известно Вайолет о чувствах Августа, и

— и если да (конец фразы, пошлый и неуместный, брякнулся с глухим стуком, словно из кармана мистера Флауэрза выпала лежавшая там подкова), то как молодой человек намерен повести себя в дальнейшем.

Вайолет пошевелила губами, пытаясь ответить, но не смогла вымолвить ни слова.

— Если Август ее любит, — заговорила она, взяв себя в руки, — тогда...

— Не исключено, — перебил ее мистер Флауэрз, — но он сказал — она говорит, что сказал, — будто есть кто-то еще, э-э, у кого есть более весомые права, кто-то...

— То есть он уже дал обещание другой, — вступила в разговор миссис Флауэрз. — Которая тоже, ну, вы меня понимаете...

— Эми Медоуз? — спросила Вайолет.

— Нет-нет. Ее зовут иначе. Ты не помнишь ее имени?

Мистер Флауэрз откашлялся.

— Гортензия не могла сказать точно. Не исключено... не исключено, что девушка была не одна.

— О боже мой, боже мой! — только и могла выговорить Вайолет, всем сердцем разделяя отчаяние супругов и испытывая признательность за те мужественные усилия, какие они прилагали,

чтобы не выказать своего осуждения, однако она и понятия не имела, что тут можно сказать.

Флауэрзы смотрели на Вайолет с надеждой, ожидая, что ее слова впишут случившееся в ту грандиозную драму, которая им виделась. Но Вайолет, пересилив себя, смогла только, с натянутой улыбкой, еле слышно пробормотать:

— Что ж поделаешь, такое не впервые случается на белом свете.

— Не впервые?

— Да, такое уже бывало.

Сердца у супругов забились чаще. Так, Вайолет *знает*: ей известны прецеденты. Какие именно? Кришна с флейтой, разбрасывание семени, воплощения духа, аватары — что еще? Что-то такое, о чем они и не подозревали? Да, блистательней и необыкновенней, чем доступно их разумению.

— Не впервые, — повторил мистер Флауэрз, и его брови поползли вверх. — Да.

— Может быть, — чуть ли не прошептала миссис Флауэрз, — это часть Повести?

— Что? О да, — отозвалась Вайолет, впав в задумчивость. А что сталось с Эми? На что еще способен Август? Где он набрался дерзости разбивать девушкам сердца? Ее обуял ужас. — Но я ничего не знала об этом, мне никогда даже и

в голову не приходило... Ох, Август, Август, — с трудом проговорила Вайолет и сникла. Не *их* ли это проделки? Откуда ей было знать? Могла ли она спросить у него прямо? Догадалась ли бы по его ответу?

Видя Вайолет в таком расстройстве чувств, мистер Флауэрз подался вперед:

— Мы совсем, совсем не хотели отягощать вас. Не то чтобы мы не думали об этом — мы как раз думали, и не то чтобы не были уверены, — а мы как раз уверены, что все должно уладиться — и уладится непременно. Гортензия ничуть его не винит, дело совсем не в этом.

— Конечно, не в этом, — поддакнула миссис Флауэрз и мягко дотронулась до руки Вайолет. — Нам ничего не нужно. Дело совсем не в этом. Новая душа — это всегда радость. Она будет нашей.

— Может быть, — откликнулась Вайолет, — со временем все станет яснее.

— Не сомневаюсь, — поддержала ее миссис Флауэрз. — Это и вправду, вправду часть Повести.

Но Вайолет понимала, что и со временем ничего не прояснится. Повесть: да, все это было частью Повести, но вдруг, как человек, который,

сидя ввечеру один в комнате за чтением, отрывает глаза от книги оттого, что сделалось темно и буквы перестали различаться с наступлением вечера, она осознала, что еще долго будет темно, прежде чем рассветет.

— Прошу вас, — сказала она, — выпейте чаю. Мы зажжем свет. Побудьте еще.

Снаружи послышалось — и послышалось всем — ровное гудение автомобиля, который приближался к дому. У подъездной аллеи машина замедлила ход (гул мотора был явственный и беспрерывный, как стрекотание кузнечиков), но тут водитель, словно передумав, переключил скорость и автомобиль с пыхтением двинулся дальше.

Как долго может длиться Повесть, спросила Вайолет у миссис Андерхилл, и та ответила ей: ты и твои дети, и дети твоих детей — все сойдут в могилу, прежде чем Повесть будет рассказана до конца.

Вайолет взялась за шнур от лампы, но потянула его не сразу. Что она наделала? Может, это ее вина, раз она не поверила, что Повесть такая длинная? Наверное, так. Но она изменится. Она исправит все, что в ее силах, если только хватит времени. Должно хватить. Вайолет потянула

за шнур: в окнах теперь стояла ночь, а комната вновь стала комнатой.

Последний день Августа

Огромная луна, посмотреть на восход которой Август позвал Маргарет Джунипер, взошла, хотя они даже не заметили этого. «Урожайная луна», утверждал Август, и даже спел об этом Мардж песенку[95], пока они мчались вперед; однако взошедшее на небо громадное, щедрое, янтарного цвета светило вовсе не означало осеннего равноденствия, которое должно было наступить только через месяц: сейчас был всего лишь последний день августа.

Их заливал лунный свет. Теперь они могли смотреть на луну сколько захочется: Август, слишком разволнованный и пресыщенный, словно и не замечал Мардж, которая тихонько всхлипывала рядом с ним (может быть, даже от

---

[95] Примечания: 95

«Урожайная луна», утверждал Август, и даже спел об этом Мардж песенку... — «Сияй, урожайная луна» («Shine On, Harvest Moon», слова Джека Норворта, музыка Норы Бейс-Норворт. 1908). В песне этой повествуется о том, как молодая парочка расстается на ночь, и парень поверяет свои печали луне; правда, причина горя у него совсем не та, что у Августа: «Shine on, shine on harvest moon up in the sky. / I ain't had no lovin' since April, January, June or July» («Сияй, сияй, урожайная луна высоко в небесах. / Я никого не любил с апреля, января, июня или июля»).

счастья — кто его знает?). Говорить Август был не в состоянии. Он вообще сомневался, сумеет ли когда-нибудь открыть рот не для того, чтобы пригласить на свидание или предложить руку и сердце. Разве что прикусит язык... Но он знал, что это ему не под силу.

Маргарет подняла освещенную луной руку и, смеясь сквозь слезы, потеребила его усики, которые он начал отращивать.

— Такие чудные, — сказала она.

От прикосновения ее пальцев Август, будто кролик, подергал носом. Почему они всегда трогают его усы не так, как надо, неприятно поддевают их снизу: неужели ему придется их сбрить? Алые губы Маргарет вспухли, уголки рта покраснели от поцелуев и слез. Ее кожа, как он и представлял себе, по сравнению с его кожей была необычайно нежной, зато совсем неожиданной оказалась россыпь розоватых веснушек, хотя ее гибкие обнаженные бедра на скользком от пота сиденье и отливали безупречной белизной. Сквозь расстегнутую блузку виднелись ее крохотные, новенькие грудки, завершавшиеся крупными, изменчивыми сосками: казалось, обе они только-только выступили из мальчишеской грудной клетки. Светлые жесткие волоски были совсем

малюсенькими. О боже, навидался он тайных местечек. Август с необыкновенной силой ощутил всю странность освобожденной от покровов плоти. Следовало прятать эти уязвимые, беззащитные диковины, нежные, как тело улитки и ее чуткие рожки; обнаженность их выглядела чудовищной; Августу захотелось скрыть увиденное у Маргарет обратно в ее хорошенькое нижнее белье, гирляндой развешанное внутри машины, однако при одной мысли об этом желание восстало в нем вновь.

— О-о, — сказала Маргарет. Ей, пожалуй, немногое досталось от олуха, с жадной прожорливостью лишившего ее девственности: слишком многими другими мыслями она была занята. — Ты снова сделаешь это прямо сейчас?

Август промолчал: от него ничего не зависело. С таким же успехом можно было спрашивать форель, поддетую крючком, будет она еще трепыхаться или же нет. Сделка есть сделка. Август только недоумевал, почему после того, как узнаешь женщину, а она усвоит некоторые основы, вторая близость нередко дается труднее, с меньшим соответствием, чем первая: начинают мешать колени, локти. Впрочем, ничто из этого не мешало Августу при соединении влюбиться

в Маргарет еще более страстно, чего он вовсе не ожидал. О, какие же они разные — тела, груди, запахи! Август даже не подозревал, что они настолько несхожи и неповторимы — так же как лица и голоса. Он узнал слишком много. Застонав от избытка любви и знания, переполнявших его, Август припал к Маргарет.

Было уже поздно; луна, взобравшись высоко на небо, уменьшилась, стала белой и холодной. Твоя печальна поступь[96]. Из глаз Маргарет вновь покатились слезы, хотя они казались скорее природной секрецией, вызванной, быть может, лунным притяжением; она спешила скрыть свою наготу, но отнять ее у Августа было больше нельзя.

— Я рада, Август, — спокойно обратилась она к нему. — Рада, что это произошло между нами один раз.

— Что ты хочешь сказать? — Август не узнал своего голоса: он походил на хрип животного. — Один раз?

Маргарет смахнула с лица слезы тыльной стороной ладони: впотьмах она никак не могла застегнуть подвязку.

---

[96] Примечания: 96

Твоя печальна поступь. — Начало сонета XXXI из цикла «Астрофел и Стелла» (опубл. 1591) Филипа Сидни (1554–1586).

— Потому что я никогда его не забуду.

— Нет!

— Во всяком случае, помни об этом. — Маргарет подбросила платье и очень ловко натянула его на голову, потом, изогнувшись, немного поерзала на месте, и платье опустилось на нее, как опускается занавес по окончании спектакля. — Да, Август. — Она откинулась к дверце, сжав руки и распрямив плечи. — Ты меня не любишь, и это так. Да. Я знаю о Саре Стоун. Все знают. Все хорошо.

— О ком ты говоришь?

— Будто уж! — Маргарет посмотрела на него укоризненно: стоит ли портить все ложью, неуклюжим отпирательством? — Ты ее любишь. Это правда, и ты это прекрасно знаешь. — Ответить Августу было нечего. Это действительно была правда. В нем происходила такая грандиозная внутренняя борьба, что он мог только наблюдать за ней со стороны, а шум ее не давал прислушаться к словам Маргарет. — У меня этого больше никогда ни с кем не будет, никогда. — Храбрость у Маргарет иссякла, губы ее задрожали. — Я уеду и буду жить с Джеффом, и никогда никого больше не полюблю, всегда помни об этом. — Джефф был ее добрым братом; он работал садовником, ухаживая за розами. Маргарет отвернула лицо.

— А теперь отвези меня домой.

Молча, не проронив ни слова, Август выполнил ее просьбу.

Шум внутри тебя — все равно что пустота. Пустота... Август смотрел, как Маргарет выбралась из машины, прошла, раздробив лунные тени от листвы, сама раздробленная лунным светом, ни разу не оглянувшись, а если бы даже и оглянулась, он этого бы не увидел. Пустота... Август отъехал от перекрестка с пляшущими тенями и повернул в сторону дома. Пустота... Он не чувствовал себя человеком, принявшим решение, он чувствовал только пустоту, когда свернул с серой, посыпанной мерцавшим гравием дороги; подпрыгнув, перескочил через канаву, перевалил через насыпь и (не дрогнув, очертя голову) направил свой «форд» по серебристому простору некошеного пастбища и дальше, дальше, пока пустоту не вытеснила решимость, которая ощущалась так же, как пустота.

Двигатель заработал с перебоями: кончался бензин. Август изо всех сил жал на педаль, понукая автомобиль; мотор, задыхаясь и фыркая, протащил «форд» еще немного вперед и окончательно заглох. Если бы на расстоянии десяти миль отсюда находился этот чертов гараж, проку

от него было бы мало. Август минуту-другую посидел в остывающей машине, стараясь вообразить конечный пункт, но не думая о нем. Задал себе вопрос (последнее освещенное окошко здравой мысли, гаснущее): подумает ли Мардж, что он сделал это ради нее. Что ж, в известном смысле так оно и будет: набьет карманы камнями — тяжелыми камнями — и просто расслабится. Смоет с себя все долой. Шум опустошенной решимости напоминал холодный грохот водопада: тот, казалось, стоял у него в ушах; интересно, услышит ли он в вечности еще что-нибудь, лучше бы — ничего.

Август вылез из автомобиля, отвязал беличий хвост: его необходимо вернуть; может быть, *они* Как-то возвратят ту плату, которую он заплатил за все это; и, скользя и спотыкаясь в своих лакированных туфлях соблазнителя, побрел в лес.

Странный способ жить

— Мама? — удивленно спросила Нора, остановившись в холле с пустой чашкой и блюдцем в руках. — Что ты тут делаешь?

Вайолет безмолвно стояла на лестнице, не шелохнувшись, с отрешенным, сомнамбулическим видом. На ней было надето платье, которое Нора не видела несколько лет.

— Об Августе ничего не слышно? — спросила она тоном, заранее предполагающим отрицательный ответ.

— Нет. Ничего.

С того дня, когда сосед сообщил им, что обнаружил в поле брошенный на волю стихий «форд» Августа, прошло две недели. После долгих колебаний Оберон предложил Вайолет обратиться в полицию, но она настолько иначе думала обо всем происшедшем, что Оберон усомнился, слышала ли она его вообще: судьбу, уготованную Августу, с помощью полиции невозможно было ни изменить, ни даже хоть как-то выяснить.

— Знаешь, это я виновата во всем, — сказала Вайолет слабым голосом. — Что бы там ни случилось. Ох, Нора, Нора.

Нора бросилась к ней, так как Вайолет, покачнувшись, села на ступеньки, словно у нее вдруг подкосились ноги. Она взяла Вайолет за руку, чтобы помочь ей подняться, но Вайолет схватила предложенную ей руку и стиснула так, будто не она, а Нора нуждалась в помощи. Нора опустилась на ступеньку рядом с ней.

— Как я ошиблась, какая же я бестолковая, — проговорила Вайолет. — Дала маху, сглупила. И вот видишь, что из этого вышло.

— Не понимаю, — отозвалась Нора. — О чем ты говоришь?

— Я ничего не видела... Я думала... Послушай, Нора: я хочу поехать в город. Хочу увидеть Тимми и Алекса, побыть у них подольше, повидать их малыша. Ты поедешь со мной?

— Конечно, — кивнула Нора. — Но...

— Вот и хорошо. Да, Нора. Твой молодой человек.

— Какой молодой человек? — Нора потупилась.

— Генри. Харви. Может быть, ты думала, что я не знаю, но я знаю. Я думаю... Я думаю, что ты и он...Вы должны поступать так, как вам нравится. Если тебе когда-нибудь покажется, будто я говорила что-то против, знай, что это не так. Ты должна делать именно то, что тебе по сердцу. Выходи за него замуж, уезжай...

— Но я не хочу уезжать.

— Бедняжка Оберон, теперь-то уже, наверное, поздно: войну он прозевал и...

— Мама, — перебила ее Нора, — о чем ты говоришь?

Вайолет помолчала. Потом повторила:

— Это моя вина. Я не подумала. Это очень тяжело — мало знать или догадываться о немногом,

и не хотеть помочь или хотя бы увидеть, что все идет хорошо; трудно не бояться, не думать, что достаточно малой малости — самой малой: сделаешь ее — и все испортишь. Но ведь это не так, правда?

— Не знаю.

— Да-да, не так. Видишь ли, — Вайолет стиснула тонкие, бледные руки и закрыла глаза. — *Это* — Повесть. Только длиннее и необычнее, чем мы себе представляем. Длиннее и необычнее, чем мы *можем* себе представить. А то, что ты должна делать, — Вайолет открыла глаза, — то, что ты должна делать и что должна делать я, это — забыть.

— Забыть что?

— Забыть о том, что Повесть рассказывается. Иными словами — о, неужели тебе непонятно? — если бы мы не знали то немногое, что знаем, мы бы никогда не вмешивались, никогда не портили дело; но мы *знаем*, только вот знания нашего недостаточно; и потому угадываем мы неверно, запутываемся, и нас приходится поправлять способами — порой такими причудливыми, что... О, бедный, дорогой Август! Самый вонючий, самый шумный гараж был бы лучше, я знаю, что это было бы так...

— Но как тогда насчет особой судьбы, — Нору встревожило отчаяние матери, — насчет Защищенности и всего прочего?

— Да, — откликнулась Вайолет. — Возможно. Но это мало что значит, раз мы не можем ничего понять, не можем разгадать смысл. Поэтому мы должны забыть.

— Разве мы сумеем?

— Мы не сумеем. — Вайолет устремила вперед пристальный взгляд. — Но мы можем молчать. И умно распорядиться нашими знаниями. И еще мы можем — о, до чего же это странный, ужасно странный способ жить — мы можем хранить тайны. Ведь можем? Ты можешь?

— Наверное. Не знаю.

— Что ж, нужно научиться. Мне тоже нужно. Нужно нам всем. Никогда не рассказывать о том, что знаешь или что думаешь: этого никогда не будет достаточно и никогда не станет истиной ни для кого, кроме тебя самого, в том виде, в каком это представляется тебе; никогда не надеяться и никогда не бояться; и никогда, никогда не принимать *их* сторону против нас, и все же — я, правда, не знаю, как — но Как-то *им* доверять. Мы должны вести себя так отныне и всегда.

— И долго?

Прежде чем Вайолет успела ответить, если нашла бы ответ, дверь библиотеки, видневшаяся сквозь толстые перила, со скрипом отворилась; показалось бледное, измученное лицо и вновь исчезло.

— Кто это? — спросила Вайолет.

— Эми Медоуз, — ответила Нора и покраснела.

— Что она делает в библиотеке?

— Она пришла в поисках Августа. Она *говорит*, — теперь Нора стиснула руки и закрыла глаза, — она говорит, что ждет ребенка от Августа. И недоумевает, куда он пропал.

Семя. Вайолет вспомнила миссис Флауэрз: *Это Повесть?* Надежда, удивление, радость. Она едва не рассмеялась легкомысленным смехом.

— Ну да, я тоже недоумеваю. — Она просунулась между перилами и сказала: — Выходи, золотко. Не бойся.

Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы Эми могла выскользнуть, и, хотя девушка осторожно притворила ее за собой, дверь, защелкнувшись на замок, грохнула с протяжным гулом.

— О, — тихо вскрикнула девушка, не сразу узнав женщину на лестнице. — Миссис Дринкуотер.

— Подойди сюда, — проговорила Вайолет. Она похлопала себя по коленям, словно приглашая

запрыгнуть туда котенка. Эми поднялась по лестнице туда, где сидели Вайолет с Норой — посреди пролета. Она была в домашнем платьице, в толстых чулках и выглядела еще прелестней, чем запомнила Вайолет. — Ну, а теперь расскажи, что случилось.

Эми села ступенькой ниже, съежившись с несчастным видом, с большим мешком на коленях, словно беженка.

— Августа здесь нет, — сказала она.

— Да, это так. Мы... мы сами точно не знаем, где он. Эми, теперь все будет хорошо. Не волнуйся.

— Нет, — мягко возразила девушка. — Теперь уже никогда не будет хорошо. — Она подняла глаза на Вайолет. — Он сбежал?

— Думаю, что да. — Вайолет обняла Эми одной рукой. — Но, может быть, он вернется, возможно... — Она отвела в сторону волосы Эми, которые прямыми прядями печально занавешивали ей лицо. — Сейчас иди домой и не тревожься, все обойдется, все к лучшему, вот увидишь.

При этих словах плечи Эми вздрогнули, и она медленно и грустно вздохнула.

— Я не могу пойти домой, — сказала она, тоненьким плачущим голоском. — Отец меня выгнал. Выставил на улицу. — Медленно, слов-

но против воли, она с рыданиями уткнулась в колени Вайолет. — Я пришла не для того, чтобы надоедать Августу. Нет. Мне все равно, он был такой чудесный, такой добрый, да-да, и я бы снова сделала то же самое и не стала бы его беспокоить, только мне некуда идти. Совсем некуда.

— Ну-ну, — утешала ее Вайолет. — Все хорошо, все хорошо. — Она обменялась взглядом с Норой, глаза которой тоже наполнились слезами. — У тебя есть крыша над головой. Конечно же, есть. Ты останешься здесь, вот и все. Я уверена, твой отец передумает, старый он дуралей, ты пробудешь здесь столько, сколько понадобится. Не плачь больше, Эми, не надо. А ну-ка. — Вайолет достала из рукава платок с кружевной каймой и, заставив девушку поднять лицо и утереть слезы, посмотрела ей прямо в глаза, желая приободрить. — Ну, вот. Так-то лучше. Ты пробудешь здесь столько, сколько захочешь. Годится?

— Да. — Только это Эми смогла пропищать в ответ, но плечи ее перестали вздрагивать. Она пристыженно улыбнулась. Нора и Вайолет улыбнулись в ответ. — Ой! — воскликнула она, шмыгая носом. — Чуть не забыла. — Дрожащими пальцами она попыталась развязать свой мешок, потом снова утерла лицо и вернула промокший

платок Вайолет, от которого толку все равно было мало, и, наконец, развязала мешок. — Какой-то человек попросил меня передать это вам. Когда я шла сюда. — Она покопалась в своих вещах. — Мне он показался настоящим сумасшедшим. Он сказал: если люди не в состоянии соблюдать условия сделки, то с ними вообще не стоит связываться. — Наконец она достала и вложила в руки Вайолет шкатулку, на крышке которой, изготовленной из разных пород дерева, была изображена королева Виктория и Хрустальный дворец. — Может быть, он шутил, — продолжала Эми. — Смешной, похожий на птицу мужчина. Он мне подмигнул. Это ваше?

Вайолет взяла шкатулку и по весу определила, что внутри лежат карты или что-то в этом роде.

— Не знаю, — сказала она. — Я и вправду не знаю.

В этот момент со стороны веранды послышались шаги, и все трое замолчали. Кто-то взобрался по лестнице с хлюпаньем, как будто обувь была совсем промокшей. Эми вцепилась в руку Норы, а Нора схватила за руку Вайолет. Пружина входной двери певуче проскрипела, и на туманном овальном стекле возникла какая-то фигура.

Дверь распахнул Оберон. На нем были болот-

ные сапоги и старая шляпа Джона с прилипшими к ней насекомыми. Насвистывая песенку о том, как упрятать все беды в старый ранец[97], он вошел в холл, но остановился, когда увидел трех женщин, неизвестно почему прижавшихся друг к дружке на ступеньках лестницы.

— Так! — произнес он. — В чем дело? Известия от Августа? — Не получив ответа, он извлек из сумки и продемонстрировал им четырех крупных пятнистых форелей, нанизанных на кукан. — Это на ужин! — провозгласил Оберон, и на мгновение все застыли в немой сцене: он с рыбой в руках, они — занятые своими мыслями, а все остальные — только наблюдая и выжидая.

Не дотянуться

Вайолет обнаружила, что, побывав Где-то Еще, карты изменились, хотя как именно, с первого взгляда определить было нельзя. Их первоначальное значение, казалось, было затуманено, запорошено или покрыто пылью двусмысленно-

---

[97] Примечания: 97

Насвистывая песенку о том, как упрятать все беды в старый ранец... — Маршевая песня Феликса Пауэлла (18??–1942) на слова Джорджа Асафа (наст. имя Джордж Генри Пауэлл, 1880–1951) «Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag and Smile, Smile, Smile» («Упрячь свои беды в старый ранец и улыбайся, улыбайся, улыбайся», 1915).

сти; очевидные, даже немного забавные кадрили значений, какие выплясывали карты, когда бы она их ни разложила, — Противоположности или Влияния — теперь исчезли. Только после долгих исследований на пару с Норой Вайолет обнаружила, что карты не потеряли своей силы, а наоборот — даже увеличили ее. Они не могли теперь делать того, что раньше, но зато могли, при верном истолковании, предсказывать с большой точностью мелкие события повседневной жизни семьи Дринкуотеров: подарки, простуды, растяжения связок; местонахождение отсутствующих близких, пойдет ли дождь, если семья собирается на пикник, и всякое такое. Правда, время от времени колода преподносила и нечто озадачивающее. Однако в целом это было большим подспорьем. *Они* предоставили нам это, думала Вайолет, этот дар взамен… Вайолет предположила (гораздо позже), что колоду у нее забрали именно с целью наделить ее способностью давать ежедневные точные предсказания — или же, забрав колоду, просто не могли этого не сделать. Нет, до них было никак не дотянуться, никак.

Отпрыски Августа с течением времени обоснуются в районе пяти городов: кто-то будет жить со своими мамами и бабушками, у кого-то будут

другие семьи, они будут менять имена при переселениях, как во время игры в музыкальные стулья: когда музыка умолкала, двое из детей (процедура, столь волнующая и сопровождаемая такой запутанной смесью стыда, сожаления, любви, равнодушия и доброты, что позднее участники никак не могли прийти к согласию относительно того, как она протекала) менялись местами в двух различных опозоренных домах.

Когда Смоки Барнабл явился в Эджвуд, потомки Августа, скрытые под различными именами, исчислялись дюжинами. Среди них были Флауэрзы, Стоунзы, Уидзы, Чарльз Уэйн приходился ему внуком. И только один, выбывший из игры, не обрел себе места: это был сын Эми. Она оставалась в Эджвуде до тех пор, пока у нее в животике (так она его называла) не созрел мальчик, повторивший в своем онтогенезе черты многих живых тварей: головастика, рыбы, саламандры, мыши — всех тех, чьи жизненные повадки он позже опишет в мельчайших подробностях. Ему дали имя Джон Шторм: Джон — в честь дедушки, а Шторм — в честь отца с матерью.

Глава вторая

Проходят дни, часы, месяцы и годы; прошлое не возвращается, и нам не дано знать того, что будет; но мы должны довольствоваться тем, что нам отпущено тем временем, в котором мы живем.

Цицерон

«Веселый, круглый, румяный мистер Солнце поднял отуманенную голову над пурпурными горами и бросил длинные-предлинные лучи на Зеленый Луг. — Робин Берд писклявым голосом гордо продекламировал эту фразу: книгу он знал почти наизусть. — Недалеко от Каменного Забора, который отделяет Зеленый Луг от Старого Пастбища, в своем крошечном домике посреди травы проснулась семья Луговых Мышей: Мама, Папа и шестеро розовых, еще слепых детенышей».

Задание Робина Берда

«Глава семьи заворочался, открыл глаза, покрутил усы и выскочил за дверь, чтобы умыться росой, скопившейся в палом листке. Пока он стоял, оглядывая Зеленый Луг и любуясь утром, мимо

пролетела Старая Матушка Западный Ветер: она пощекотала ему нос и принесла новости о Диком Лесе, Смеющемся Ручье, Старом Пастбище и обо всем Огромном Мире вокруг — беспорядочные и шумные новости, намного интереснее номера «Таймс» за завтраком.

Новость уже много дней была одна и та же: мир меняется! И очень скоро все будет по-другому — не так, как сегодня! Готовься к переменам, Луговой Мышонок!

Узнав все, что удалось узнать у смирных Малышей Бризов, сопровождавших Старую Матушку Западный Ветер, Луговой Мышонок резво припустил по одной из многочисленных тропинок, проложенных им сквозь густую траву к Каменному Забору. Он знал там одно местечко, где можно было посидеть и понаблюдать, оставаясь невидимым. Добравшись до своего тайного убежища, он сел на задние лапки, сорвал травинку и принялся задумчиво ее жевать.

Что это за великая перемена в мире, о которой Старая Матушка Западный Ветер и ее Малыши Бризы толкуют все эти дни? Что бы это значило и как надо к ней готовиться?

Для Лугового Мышонка лучшего места для жизни, чем Зеленый Луг в ту пору, было попросту

не найти. Семена всех луговых растений давали ему вдоволь пищи. Многие растения, которые казались ему досадной помехой, вдруг раскрыли сухие скорлупки со сладкими орехами внутри, которые он разгрызал острыми зубками. Луговой Мышонок отъелся и был счастлив.

— И теперь все должно перемениться? — недоумевал он в замешательстве, не видя в этом никакого смысла.

Видите ли, дети, Луговой Мышонок родился Весной. Он вырос Летом, когда мистер Солнце улыбается во весь рот и не спешит покидать голубое-преголубое небо. На протяжении Лета он вырос (хотя и был малюткой), стал взрослым, женился, и у него родились мышата, которые тоже скоро подрастут.

Ну что, догадались *вы*, что за большие перемены должны произойти, о которых Луговой Мышонок просто не мог знать?»

Все младшие дети закричали и замахали руками: в отличие от старших детей, они думали, что от них и в самом деле ждут отгадки.

— Очень хорошо, — сказал Смоки. — Все это знают. Спасибо, Робин. А теперь посмотрим, сможешь ли ты, Билли, немного нам почитать?

Билли Буш встал и с меньшей уверенностью,

чем Робин, взял из рук Смоки потрепанную книгу.

Конец Света

«Итак, — начал он читать, — Луговой Мышонок решил, что будет лучше, если он спросит кого-нибудь более старшего и мудрого, чем он сам. Самым мудрым из всех, кого он знал, был Черный Ворон, который заглядывал на Зеленый Луг в поисках зерен или личинок насекомых, и у него всегда находилось что сказать любому слушателю. Луговой Мышонок всегда прислушивался к словам Черного Ворона, хотя и старался держаться подальше от его блестящего глаза и длинного острого клюва. За семейством Ворона вроде бы не водилась привычка поедать мышей, но, с другой стороны, было известно, что они глотают все, что попадается им под руку — или, вернее, в клюв.

Долго ждать Луговому Мышонку не пришлось: вскоре в голубом небе послышалось тяжелое хлопанье крыльев, раздалось хриплое карканье, и Черный Ворон опустился на Зеленый Луг совсем невдалеке от него.

— Доброе утро, мистер Ворон, — окликнул его Луговой Мышонок, чувствуя себя в безопасности в своем уютном убежище.

— Доброе? — переспросил Ворон. — Недолго тебе осталось это повторять.

— Об этом как раз я и хотел вас спросить, — быстро произнес Луговой Мышонок. — Говорят, будто в мире скоро наступят большие перемены. Вы это чувствуете? Знаете, что переменится?

— Ах, ветреная Юность! — прокаркал Ворон. — Близится настоящая перемена. Имя ей — Зима, и тебе лучше бы заняться подготовкой к ней.

— А что это такое? И как мне готовиться?

Посверкивая глазами и словно наслаждаясь волнением Лугового Мышонка. Черный Ворон поведал ему о Зиме: о том, как жестокий Братец Северный Ветер дохнет холодом на Зеленый Луг и на Старое Пастбище, превратит зеленые листья в золотисто-желтые и бурые и сорвет их с деревьев; как сникнут и погибнут травы, и тогда многие зверьки отощают без пропитания. Ворон предсказал начало затяжных холодных дождей, которые затопят норки мелких грызунов — таких, как Луговой Мышонок. Ворон описал снег, показавшийся Луговому Мышонку настоящим чудом; но потом он узнал об ужасном холоде, который будет пробирать его до самых костей, а маленькие птички ослабеют и замерзшими попадают с веток; рыбы не смогут плавать, а Смеющийся

Ручей умолкнет, когда рот его забьется льдом.

— Но ведь это же Конец Света! — в отчаянии воскликнул Луговой Мышонок.

— Это только так покажется, — ответил с усмешкой Ворон. — Кое-кому. Но не *мне*. Я продержусь. Но тебе лучше подготовиться. Луговой Мышонок, если ты намерен здравствовать!

С этими словами Черный Ворон взмахнул своими тяжелыми крыльями и взмыл в воздух, оставив Лугового Мышонка в еще большем смятении и испуге, чем раньше.

Но, сидя под лучами теплого, доброго Солнца и пожевывая травинку, он понял, как он сможет научиться выживать в ужасном холоде, который приносит с собой Братец Северный Ветер».

— Хорошо, Билли, — прервал его Смоки. — Хорошо. Только при чтении вовсе не обязательно всякий раз выговаривать: «соЛнце». Произноси как говоришь обычно: «сонце».

Билли Буш уставился на Смоки так, будто до него впервые дошло, что слово на бумаге и слово у него на языке — одно и то же.

— Сонце, — сказал он.

— Правильно. Ну, кто следующий?

Секрет Братца Северного Ветра

«Луговой Мышонок решил, что прежде всего, — читал Терри Оушн (малец, ей-богу, вышел из возраста, годного для таких книг, подумал Смоки), — ему следует обойти Огромный Мир насколько сил хватит и разузнать у каждого живого существа, как кто намерен готовиться к предстоящей Зиме. Ему так понравился собственный план, что он, набрав с собой зерен и орехов, которых — прискорбное изобилие — всюду было хоть отбавляй, попрощался с женой и детишками и тем же полуднем пустился в путь. Первой, кого он встретил, оказалась мохнатая гусеница на сучке. Хотя гусеницы умом не славятся, Луговой Мышонок все-таки задал ей свой вопрос:

— Что ты делаешь, чтобы подготовиться к предстоящей Зиме?

— Я не знаю, что такое Зима, — ответила гусеница тонюсеньким голоском. — Хотя *со мной* тоже происходят явные перемены. Я собираюсь закутаться вот в эту прекрасную белую шелковую нить: похоже, я этому обучилась совсем недавно, но не спрашивай, как я это сделаю; а когда завернусь как надо, то приклеюсь к этому удобному сучку. И останусь здесь надолго. Может быть,

навсегда. Я не знаю.

Подходящим решением Луговому Мышонку это не показалось, и, мысленно жалея глупую гусеницу, он продолжил свое путешествие.

Дальше, у Пруда Лилий, ему повстречались существа, каких раньше он никогда не видывал: это были огромные серовато-коричневые птицы с длинными изящными шеями и черными клювами. Их было множество, и они плыли через Пруд, окуная продолговатые головы в воду и заглатывая найденную там добычу.

— Птицы! — обратился к ним Луговой Мышонок. — Скоро Зима! Как вы собираетесь к ней готовиться?

— Действительно, скоро наступит Зима, — торжественно ответил старый вожак. — Братец Северный Ветер выгнал нас из наших родных мест, там он особенно лют. Он преследует и подгоняет нас. Но ему нас не настигнуть, хотя он и очень проворен. Мы полетим далеко на Юг, куда ему не позволено вторгаться, и там Зима будет нам не страшна.

— А это очень далеко? — спросил Луговой Мышонок, надеясь, что ему, быть может, тоже удастся убежать от Братца Северного Ветра.

— Много-много-много дней нам придется ле-

теть так быстро, как только мы умеем, — сказал вожак. — Но мы и так уже опаздываем. — Он шумно захлопал крыльями и поднялся с водной глади, поджав черные лапы под белым животом. Остальные последовали за ним и все вместе, перекликаясь на лету, устремились к теплому Югу.

Луговой Мышонок печально побрел дальше, понимая, что ему не улететь от Зимы на сильных широких крыльях, как эти птицы. Он так погрузился в свои мысли, что чуть не споткнулся о бурую Водяную Черепаху у самой кромки Пруда Лилий. Луговой Мышонок поинтересовался у нее, что она собирается делать, когда наступит Зима.

— Спать, — сонно ответила Водяная Черепаха, вся в темных старческих морщинах. — Я зароюсь в теплый ил на самом дне пруда, где Зиме меня не достать, и засну. По правде говоря, я уже и сейчас почти сплю.

Спать! Для Лугового Мышонка это не прозвучало подходящим ответом. Он двинулся дальше, однако от многих различных живых существ слышал то же самое.

— Спать! — прошипела Полевая Змея, заклятый враг Лугового Мышонка. — Тебе незачем меня бояться, Луговой Мышонок.

— Спать! — проворчал Бурый Медведь. — В

берлоге или в надежном шалаше из веток. Уснуть навеки.

— Спать! — пропищала, когда спустился вечер, кузина Лугового Мышонка — Летучая Мышь. — Спать вниз головой, зацепившись за что-нибудь коготками.

Итак, с наступлением Зимы полмира собиралось просто-напросто заснуть. Более странного ответа Луговой Мышонок не слышал, но были также и другие.

— Я припрятала в тайниках орехи и зернышки, — сообщила Рыжая Белочка. — Ими я и пропитаюсь.

— Я верю, что, если нечего будет есть, Люди меня подкормят, — прощебетала Синичка.

— Я займусь строительством, — сказал Бобер. — Построю ниже замерзшего потока прочный дом и поселюсь в нем с женой и детьми. Не мешай мне работать, я очень занят.

— А я буду воровать яйца из амбаров, — признался Енот с мордочкой взломщика, — и объедки из ящиков для мусора.

— А я съем *тебя*! — крикнула Рыжая Лиса. — Что, думаешь, не смогу? — Она кинулась в погоню за несчастным Луговым Мышонком и непременно бы его поймала, если бы он не успел юркнуть

в свое убежище в старом Каменном Заборе.

Пока Луговой Мышонок сидел там, стараясь отдышаться, ему бросилось в глаза, что за время его путешествия большая перемена, называемая Зимой, сделалась на Зеленом Лугу заметней. Луг уже не был таким зеленым: он побурел, пожелтел, выцвел. Многие семена созрели и упали на землю или унеслись в разные стороны на крохотных крылышках. Лицо Солнца закрыли угрюмые серые тучи. А Луговой Мышонок все еще не придумал, как защитить себя от безжалостного Братца Северного Ветра.

— Что же мне делать? — громко заплакал Луговой Мышонок. — Неужели мне придется жить с моим кузеном в сарае фермера Брауна и постоянно бояться встречи с котом Томом или собакой Фьюри? Там, того и гляди, угодишь в мышеловку или наешься крысиного яда. В сарае мне долго не протянуть. Не отправиться ли на Юг в надежде удрать от Братца Северного Ветра? Но он наверняка схватит меня, беззащитного, вдалеке от дома и заморозит своим ледяным дыханием. Может, забраться поглубже в норку с женой и детками, укрыться травой и постараться заснуть? Но очень скоро меня разбудит голод, и они тоже проснутся. Что же мне делать?

В эту самую минуту рядом с ним блеснул яркий черный глаз — и так неожиданно, что Луговой Мышонок подскочил с испуганным возгласом. Это был Черный Ворон.

— Послушай, Луговой Мышонок, — заговорил Ворон своим обычным беспечным тоном. — Что бы ты ни сделал ради собственной защиты, ты должен кое-что узнать, о чем прежде не слыхал.

— Что же это? — спросил Луговой Мышонок.

— Это — секрет Братца Северного Ветра.

— Его секрет? А что за секрет? Ты его знаешь? Расскажешь мне?

— В Зиме только одно хорошо, — продолжал Ворон. — Но Братец Северный Ветер хочет, чтобы никто из живых существ об этом секрете не подозревал. Да, мне он известен. Но нет, тебе я ничего не скажу.

Ибо Черный Ворон хранит свои секреты почти так же бережно, как найденные им блестящие кусочки металла и стекляшки.

Что же в Зиме хорошо? Какой такой секрет? Не холод же и не снег, не лед и не проливные дожди.

И не нужда прятаться, подбирать отбросы; не мертвецкий сон и не спасение бегством от врагов, с голодухи готовых на все.

Нет, не короткие дни и не длинные ночи, и не бледное, рассеянное Солнце. Обо всем этом Луговой Мышонок еще и понятия не имел.

Что же это может быть?

Той ночью, когда Луговой Мышонок скрючился у себя в домике посреди высохшей травы, тесно прижавшись к жене и детям, чтобы согреться, сам Братец Северный Ветер пронесся по Зеленому Лугу. О, какими мощными были его порывы! О, как раскачивался и сотрясался хрупкий домик Лугового Мышонка! О, какие мрачные серые тучи клочьями проносились по небу, то заслоняя, то открывая лицо испуганной Луны!

— Братец Северный Ветер! — взмолился Луговой Мышонок. — Мне холодно и страшно! Не скажешь ли, чем хороша Зима?

— Это мой секрет! — ответил Братец Северный Ветер гулким ледяным голосом. Чтобы показать свою силу, он схватил и стиснул высокий клен, все зеленые листья на котором запылали огнем, а потом дунул и разметал их по сторонам. После этого Братец Северный Ветер широкими шагами пересек Зеленый Луг и умчался прочь, предоставив Луговому Мышонку, уткнувшему в лапки замерзший носик, гадать, что же это за секрет.

А *вам* известен секрет Братца Северного Ветра?

Конечно же, известен».

— Ага, ага. — Смоки очнулся. — Извини, Терри, я не хотел, чтобы ты читал так долго. Спасибо большое. — Он с трудом подавил зевок, дети с интересом наблюдали за этим. — Хм, а теперь все достаньте ручки, тетради и чернила, пожалуйста. Продолжим урок, и нечего там стонать. Хорошенького понемножку.

Единственное развлечение

По утрам, кроме чтения, было еще и чистописание, которое отнимало больше времени, поскольку Смоки учил детей (учил, но мог ли научить?) писать наклонным почерком, как писал сам. Особенность этого почерка заключалась в том, что если написать буквы правильно, они изумительно красиво выглядят, но если хоть чуточку неверно, почерк делается неразборчивым. «Лигатура[98]!» — сурово восклицал Смоки, стуча пальцем по листу бумаги, и насупившемуся писцу приходилось начинать заново. «Лигатура! Лигатура!» — твердил он Пэтти Флауэрз, которой в течение уже целого года слышалось: «Дикая

[98] Примечания: 98

Лигатура (лат. ligatura — связь) — комбинация букв, передающих один звук; один знак, передающий буквосочетание, слог или слово.

дура! Дикая дура!» Ответить на это обвинение ей было нечего, и опровергнуть тоже нечем. Однажды в досаде она с такой силой надавила на бумагу пером, что оно пропороло страницу тетради и вонзилось в парту, будто нож.

Уроки чтения проходили по книгам, взятым из библиотеки Дринкуотера: «Секрет Братца Северного Ветра» и прочие повести Дока предназначались для младших, а для учеников постарше Смоки подбирал другие, которые считал подходящими для их возраста и вместе с тем познавательными. Временами запинающиеся детские голоса вгоняли его в отчаянную зевоту, и тогда он принимался читать сам. Читал Смоки с наслаждением: ему доставляло удовольствие объяснять детям трудные места или рассуждать вслух, почему автор сказал именно так, а не иначе. Большинство детей принимало эти отступления за составную часть текста: повзрослев, те немногие, кто самостоятельно брался за книги, прочитанные им Смоки, находили их малосодержательными, бесцветными и поверхностными, словно из текста изъяли целые куски.

Днем наступал черед математики, которая зачастую становилась продолжением чистописания, так как Смоки придавал изысканному виду

арабских цифр не меньшую важность, чем правильности самого решения. Среди его учеников двое или трое выказывали незаурядные способности к счету: Смоки принимал их чуть ли не за вундеркиндов, поскольку они гораздо успешнее справлялись с дробями и прочей заумью, чем он сам; он, как классный наставник, привлекал их себе в помощь. В соответствии с древним постулатом, гласившим, что музыка и математика — родные сестры, Смоки порой занимал кончик дня, клонивший в дремоту и бесполезный для усвоения знаний, игрой на скрипке; ее мягкое, не всегда уверенное звучание, запах печи и первые признаки приближавшейся зимы за окном — вот все, что Билли Буш впоследствии помнил об арифметике.

Как педагог, Смоки обладал одним великим достоинством: по-настоящему он не понимал детей, не умилялся их ребяческим выходкам, их буйная энергия его смущала и приводила в замешательство. Он обращался с ними, как со взрослыми, потому что обращаться иначе ни с кем просто не умел; если дети реагировали по-детски, он этого не замечал и как ни в чем не бывало продолжал свои попытки. Заботило его только одно — то, что он преподавал: черная лента смысла, вязанки

слов и коробки грамматики, ею связанные, идеи писателей и строгие закономерности численных рядов. Вот об этом Смоки и рассказывал. В часы школьных занятий это было для него единственным развлечением (даже самым смекалистым ученикам редко удавалось переключить его внимание на что-нибудь другое), а когда, в конце концов, весь класс переставал его слушать (чаще всего в чудесную погоду, если с неба завораживающе летели снежинки или над слякотью вдруг прорезалось сквозь облака солнце), Смоки попросту распускал детей по домам, не в силах изобрести другого способа их развлечь.

Затем он и сам отправлялся к себе через главные ворота Эджвуда (школа помещалась в старой сторожке — серого цвета храме в дорическом стиле, над дверьми которого невесть почему красовались большие оленьи рога), гадая, очнулась ли Софи от дремоты.

В Зиме только одно хорошо

В тот день Смоки задержался в классе за чисткой печки: если холода продержатся, завтра придется ее затопить. Закрыв за собой дверь крошечного храма на замок, он ступил на усыпанную листьями дорогу, которая вела к главным

воротам Эджвуда. Не по этой дороге он впервые явился в Эджвуд и не в эти ворота вошел. Главными воротами теперь, в сущности, никто больше не пользовался, и заросшая осокой подъездная аллея, которая на полмили тянулась сквозь Парк, теперь превратилась в узкую дорожку, по которой Смоки совершал свои ежедневные путешествия, словно это была привычная тропа, протоптанная крупным, с тяжелой поступью, диким зверем.

Кособокие входные ворота из позеленевшего сварочного железа, с узорами в виде лилий по моде девяностых годов, всегда стояли распахнутыми настежь, застряв среди сорняков и мелкого подлеска. Только ржавая цепь, протянутая поперек подъездной аллеи, позволяла предположить, что некогда здесь был вход туда, куда посетители допускались только по приглашению. По обеим сторонам дороги высились ряды конских каштанов, еще недавно мучивших сердце ослепительным золотом; разгульный ветер сорвал с них богатое убранство и расшвырял повсюду, как заправский мот. Дорогой теперь мало кто пользовался: только дети спешили по ней в школу и обратно пешком или на велосипедах, и Смоки не знал точно, куда она ведет. Но в тот день, стоя по щиколотку в груде листьев и по непонятной

причине не решаясь пройти через ворота, Смоки подумал, что одно из ответвлений этой дороги должно привести к щебеночной дороге из Медоубрука; та, в свою очередь, соединялась с асфальтовой дорогой, ведущей мимо дома Джуниперов, и вливалась в итоге в многоголосое переплетение шоссе и скоростных магистралей, по которым с ревом неслись к Городу автобусы, автомобили и трейлеры с провизией.

Что, если теперь повернуть направо (или налево?) и пойти по этой дороге обратно — пешком, с пустыми руками — так же, как он и пришел сюда, но двигаясь в обратную сторону, словно в запущенной назад киноленте (листья вспрыгивают на ветки), до тех пор, пока не вернешься в исходную точку?

М-да. Но, во-первых, руки у него пустыми не были.

И вдобавок в Смоки росла уверенность (безрассудная и даже немыслимая) в том, что, войдя давним летним полднем сквозь дверь-ширму в эджвудский дом, он никогда больше его и не покидал: множество дверей, через которые он впоследствии выходил, как ему казалось, наружу, на самом деле вели всего лишь в дальние уголки того же самого дома, искусно сконструированные

посредством архитектурного ухищрения, создающего иллюзию реальности (в способностях Джона Дринкуотера он не сомневался) таким образом, что ничем не отличались от лесов, озер, ферм и отдаленных холмов. Избранная дорога могла привести только к какому-то новому крыльцу в Эджвуде, им еще ни разу не виденному, с широкими истертыми ступеньками и гостеприимно распахнутой входной дверью.

Смоки двинулся дальше, с трудом оторвавшись от осенних раздумий. Круговорот дорог и времен года: он уже бывал здесь прежде. Октябрь — вот исходная причина.

Однако он все же задержался ненадолго на белом, в пятнах, мосту, аркой переброшенном через полоску ручья (штукатурный гипс местами осыпался, обнажив кирпичную кладку: надо бы тут поработать мастерком; зима — вот причина). Внизу, в воде, утонувшие листья кружило и уносило течение; такие же листья кружило и уносило — только гораздо медленнее — неспокойное воздушное море: тут были и ярко-оранжевые разлапистые листья кленов, и широкие, остроконечные листья вязов и орешника, и побуревшие грубоватые листья дуба. В воздухе они беспорядочно метались, но, отраженные в ручье,

танцевали с элегической медлительностью, подчинившись власти течения.

Что же, черт побери, ему делать?

Когда давным-давно Смоки увидел, что вместо утраченной безличности обретет некий характер, он предположил, что это будет похоже на костюм, купленный ребенку на вырост. Он ожидал на первых порах определенного неудобства, рассогласования, от которого он будет избавляться по мере заполнения пустот его собственным «я», принимающим форму его характера, пока оно, в конце концов, не приспособится: где нужно образует складки и в узких местах перестанет натирать. То есть он ожидал, что его «я» будет существовать в единственном числе. Но он никак не ожидал того, что ему придется терпеть в себе не одну личность, а несколько или, хуже того, обнаружить, что он сделан не так, или не вовремя, или из частей разных личностей, связанных воедино и сопротивляющихся.

Смоки бросил взгляд на загадочный ближний край Эджвуда, с зажегшимися на исходе дня окнами: что это, маска, которая скрывала за собой многие лица, или одно и то же лицо, меняющее маски? Разгадки он не знал точно так же, как не мог разгадать и самого себя.

В Зиме только одно хорошо, а что именно? Ответ на этот вопрос Смоки был известен: он уже читал книгу раньше. Пришла Зима — так далеко ли позади Весна?[99] Ой ли, подумал Смоки: бывает, что далеко — еще как далеко.

Мир очень стар

В напоминавшей многоугольник музыкальной гостиной на цокольном этаже Дейли Элис, которая была беременна во второй раз и носила большой живот, играла в шашки с двоюродной бабушкой Клауд.

— У меня такое ощущение, — проговорила Дейли Элис, — будто каждый день — это шаг, и каждый шаг отдаляет тебя — ну, как бы это сказать — от того времени, когда все имело какой-то смысл. Когда все вокруг было живым и подавало тебе знаки. Но не делать следующий шаг нельзя, как нельзя остановить жизнь с наступлением нового дня.

— Я тебя вроде бы понимаю, — отозвалась Клауд. — Но думаю, это тебе только так кажется.

---

[99] Примечания: 99

Пришла Зима — так далеко ли позади Весна? — Слегка измененная заключительная строка «Оды Западному ветру» (1820) Шелли. В переводе Б. Пастернака: «И сам раскатом трубным возвести: / Пришла Зима, зато Весна в пути!»

— Это вовсе не оттого, что я повзрослела. — Дейли Элис складывала съеденные красные шашки в ровные столбики. — Не говори мне этого.

— Детям всегда легче. А ты теперь солидная дама: у тебя собственные дети.

— А Вайолет? Что ты скажешь о Вайолет?

— О да. Конечно же. Вайолет...

— Вот о чем я задумываюсь: может быть, мир стареет. Теряет силы. Или же просто я сама становлюсь старше?

— Все задаются этим вопросом. Впрочем, не думаю, что можно заметить старение мира. Слишком долог для этого его век. — Клауд сняла с доски черную шашку Элис. — С возрастом только начинаешь понимать, что мир *действительно* стар — очень стар. Когда ты молод, тогда и мир вокруг тоже кажется молодым. Вот и все.

Убедительно, подумала Элис, но это все равно не могло объяснить, почему она испытывала ощущение утраты и сознавала, что понятные ей прежде вещи остались в прошлом, что нити, связывающие ее с ними, разорваны и рвутся ею самой день ото дня. В молодости ей постоянно казалось, будто ее подстрекают, подталкивают вперед, понукают куда-то. Вот это ощущение она и утратила. Она уверилась, что никогда боль-

ше не сумеет выследить и опознать, благодаря всплеску необычайно обострившегося восприятия, улики их присутствия, никогда не получит послания, предназначенного только для нее; никогда вновь не почувствует, задремав средь бела дня, прикосновение края их одежд у себя на щеке — одежд тех, кто наблюдал за ней, а потом, стоило ей очнуться, исчез, оставив за собой лишь качнувшуюся листву.

Сюда, скорей сюда[100], — слышалась ей в детстве их песенка. Теперь ей было не шевельнуться.

— Твой ход, — сказала Клауд.

— А ты делаешь это сознательно? — спросила Дейли Элис, обращаясь не только к Клауд.

— Что именно? — откликнулась Клауд. — Расту? Нет. Впрочем, в каком-то смысле да. Либо ты принимаешь это как неизбежность, либо отказываешься. Приветствуешь или отрицаешь — а может, берешь в обмен на то, что все равно так или иначе потеряешь. Если же откажешься, то это у тебя вырвут насильно, и тогда забудь о плате: любая сделка станет несбыточной. — Ей вспомнился Оберон.

---

[100] Примечания: 100

Сюда, скорей сюда... — слова из песенки Амьена в комедии Шекспира «Как вам это понравится» (II, 5).

Через окна музыкальной гостиной Дейли Элис увидела, как Смоки устало бредет домой: его фигура, перемещаясь, дробно отражалась на волнистой поверхности каждого из стекол. Да, если Клауд сказала правду, то это означает, что она получила Смоки в обмен, поступившись ярким ощущением того, что именно *они*, *они* сами привели ее к нему; *они* избрали его для нее; *они* измыслили быстрый обмен взглядами, отдавший его в ее собственность; *они* даровали долгий период между обручением и свадьбой, плодоносный и уютный брак. И вот, хотя теперь Дейли Элис обладала всем обещанным, взамен этого она утратила ощущение того, что это было ей обещано. И в итоге вся ее собственность — Смоки и самое обыкновенное счастье — казалась хрупкой, недолговечной, готовой исчезнуть, принадлежащей ей только по воле случая.

Страх: да, она испытывала страх, однако может ли случиться — если сделка была заключена по всем правилам, она исполнила свою роль как полагалось (и это дорого ей обошлось), а от *них* подготовка потребовала такую уйму хлопот, — может ли случиться, что она потеряет Смоки?

Неужели они способны на такое коварство?[101] Неужели она так мало во всем разобралась? И все равно: ей было страшно.

Дейли Элис услышала, как торжественно захлопнулась входная дверь, а мгновение спустя за окном возник Док в красной клетчатой куртке, направлявшийся навстречу Смоки. В руках Док держал два короткоствольных ружья и прочее охотничье снаряжение. Смоки, судя по всему, удивился, потом возвел глаза к небу и ударил себя по лбу, словно вспомнил вдруг что-то важное. Покорившись неизбежному, он взял одно ружье у Дока, который, размахивая руками, показывал возможные маршруты вылазки; ветер выдувал из его трубки оранжевые искры. Смоки повернулся, чтобы отправиться вместе с ним в Парк, а Док и на ходу все еще продолжал что-то говорить и жестикулировать. Смоки один раз оглянулся и посмотрел на верхние окна.

— Твой ход, — повторила Клауд.

Элис уставилась на доску, где вдруг воцарился беспорядочный произвол. Через гостиную прошла Софи во фланелевом халате и накинутом на

[101] Примечания: 101

Неужели они способны на такое коварство? — Очевидно, способны: в «Оде соловью» Китса эльф назван «коварным» («обманщиком» — «deceiving elf»).

плечи шерстяном кардигане Элис, и потому игра на какое-то время приостановилась. Нет, Софи их не отвлекла: вид у нее был самый рассеянный; она, конечно, заметила присутствие Клауд и Дейли Элис, но вида не подала. Когда Софи проходила мимо игравших в шашки женщин, их обеих вдруг охватило острое чувство сопричастности со всем окружающим миром: ветер — резкий, земля — темная, это снаружи; час — поздний, скоро начнет темнеть; жизнь внутри дома — движется к вечеру. Эту внезапную общность чувства вызвало появление Софи или же Софи сама — Дейли Элис не могла понять, но что-то такое, прежде смутное, для нее теперь прояснилось.

— Куда он пошел? — спросила Софи, ни к кому не обращаясь и водя рукой по волнистому стеклу эркера, словно перед ней возникла преграда или это были прутья клетки, внутри которой она себя вдруг обнаружила.

— На охоту, — ответила Дейли Элис. Она провела шашку в дамки и сказала Клауд: — Твой ход.

Ненасытные хищники

За всю осень доктор Дринкуотер только раз или два снимал с предохранителя одно из многочисленных короткоствольных ружей, которые со

времен его деда хранились в футлярах в бильярдной комнате, чистил его, заряжал и отправлялся пострелять птиц. При всей своей любви к животному миру — а возможно, и благодаря ей, — Док чувствовал, что не менее Рыжего Лиса или Совы-Сипухи достоин принадлежать к семейству плотоядных, если это заложено в нем от природы, и непритворное удовольствие, с каким он поглощал мясо, обсасывая хрящи и косточки и охотно облизывая вымазанные жиром пальцы, убеждало его в этом. Он считал, однако, что должен, если уж претендует на звание хищника, стойко брать на себя убийство поедаемой им добычи, а не перелагать кровавую акцию на чужие плечи, довольствуясь трофеем, подаваемым на блюде в препарированном до неузнаваемости виде. Два-три выстрела за год, связка птиц с ярким оперением, безжалостно сраженных на лету и принесенных домой окровавленными, с разинутыми клювами, казалось, разрешали его сомнения: знание леса и умение неслышно подкрадываться к жертве вполне возмещали некоторую нерешительность в момент, когда фазан или тетерев с шумным хлопаньем крыльев выпархивал из куста; обычно охотничьи трофеи вполне удовлетворяли самолюбие доктора и

давали ему повод, когда он разделывал говядину или барашка, думать о себе в течение всего года как о ненасытном, жестоком хищнике.

Частенько он брал с собой на охоту и Смоки, убедив его в неопровержимой логичности своего подхода. В отличие от Смоки, Док был левшой, и это уменьшало вероятность того, что они поразят друг друга во время совместной кровожадной вылазки; Смоки же, несмотря на свойственные ему невнимательность и недостаток терпения, оказался прирожденным стрелком.

— Мы все еще на вашей земле? — спросил Смоки, когда они миновали каменный забор.

— Владения Дринкуотеров, — ответил Док. — Кстати, вот этот лишайник — ползучей разновидности, с серебристым оттенком — может насчитывать сотни лет жизни.

— Я и хотел уточнить, ваша ли это земля — то есть принадлежит ли она Дринкуотерам, — пояснил Смоки.

— Видишь ли, — снова заговорил Док, водя ружьем в воздухе в поисках мишени, — я-то, собственно, и не Дринкуотер. Это не *мое* имя. — Смоки вспомнились первые слова, услышанные им от Дока при знакомстве: «Я — доктор, но доктор не *практикующий*». — Строго говоря, я ро-

дился вне брака. — Доктор надвинул на лоб свою клетчатую кепку и без малейших признаков горечи продолжал: — Я как незаконнорожденный юридически никем усыновлен не был. Воспитывали меня, главным образом, Вайолет, а также Нора и Харви Клауд. Но заняться формальностями они так и не удосужились.

— О, вот как! — воскликнул Смоки с заинтересованным видом, хотя эта история была прекрасно ему известна.

— Скелет, — продолжал Док, — сокрытый в старом фамильном гардеробе. У моего отца была... э-э, любовная связь с Эми Медоуз, ты с ней знаком.

«Где он пахал, она сбирала жатву»[102], — процитировал Смоки чуть ли не вслух, что было бы непростительно.

— Да, я ее знаю. Теперь она Эми Вудз.

— Уже много лет замужем за Крисом Вудзом.

— М-м-м. — Что за воспоминание слабо замерцало в голове у Смоки, но в последний момент, переменив решение, ускользнуло? Что это было — не сон ли?

---

[102] Примечания: 102

«Где он пахал, она сбирала жатву». — слова о Юлии Цезаре и Клеопатре из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» (II, 2), перевод Д. Михаловского.

— Я — плод их союза. — Кадык у доктора дернулся, но от волнения ли, Смоки не был уверен. — Мне кажется, если мы продеремся через этот кустарник, то попадем на очень хорошие места.

Смоки пошел, куда было указано. Он держал двуствольное английское ружье наготове, сняв его с предохранителя. Он не слишком был склонен, в отличие от других членов семьи, к долгим бесцельным шатаниям под открытым небом, особенно в сырую погоду; но если перед ним ставилась определенная задача, как, например, сегодня, он мог идти сколько угодно, не обращая внимания на неудобства. По крайней мере, ему нравилось нажимать на спусковой крючок, даже если он и мазал. И сейчас, пока Смоки предавался рассеянным мыслям, из дремучих зарослей у него под носом взметнулись два коричневых пушечных ядра и захлопали крыльями, набирая высоту. Смоки вскрикнул от неожиданности, но вскинул ружье прежде, чем Док успел крикнуть: «Твои!» — и, словно стволы были привязаны невидимой нитью к хвостам птиц, навел мушку на одну, выстрелил, потом на другую и снова выстрелил; опустив ружье, ошеломленно проследил, как обе птицы закувыркались в воздухе и, подмяв под себя зашуршавшую траву, с тяжелым стуком

упали на землю.

— Черт возьми! — воскликнул Смоки.

— Отличный выстрел! — искренне порадовался Док, почувствовав в сердце лишь самый слабый укол жуткой вины.

Ответственность[103]

Когда охотники, поеживаясь от вечернего, почти что зимнего, холода, возвращались домой далеко в обход, с сумкой, где лежали четыре подстреленные птицы, им на глаза попалась штуковина, которая озадачивала Смоки и раньше: он уже привык видеть в здешних окрестностях остовы лишь наполовину достроенных сооружений (теплицы, храмы) — заброшенные, однако как-то еще пригодные, но кому и на что сдался старый автомобиль, проржавевший посреди поля до неузнаваемости? Автомобиль был совсем древний; должно быть, он простоял на этом месте уже лет пятьдесят; его снабженные спицами колеса наполовину ушли в землю и выглядели такими же ветхозаветными и одинокими, как сломанные колеса фургонов первых переселенцев, вросшие

---

[103] Примечания: 103

Ответственность (Responsibilities) — название сборника стихотворений (1914) Уильяма Батлера Йейтса.

в почву прерий Среднего Запада.

— «Форд-тэ», да... — произнес Док. — Когда-то это была машина моего отца.

Не сводя глаз с автомобиля, они остановились у каменной стены, для согрева передавая друг другу, по обычаю охотников, плоскую фляжку.

— Когда я подрос, — рассказывал Док, вытирая рот рукавом, — то начал спрашивать, откуда я взялся. Ну-с, понемногу вытянул у них все об Эми и Августе, но, видишь ли, Эми всегда хотелось изображать дело так, будто ничего в действительности не было, что она просто-напросто давний друг семьи, хотя всем все было известно как нельзя лучше, даже Крису Вудзу, а сама она не могла удержаться от слез, если я приходил ее навестить. Вайолет... Вайолет, казалось, забыла Августа начисто, но знать наверняка, что у нее на уме, никто не мог. Нора твердила одно: он сбежал. — Доктор передал фляжку Смоки. — Как-то я набрался смелости и спросил Эми, что это была за история, но она только смешалась — прямо как *девчонка*, иначе не скажешь, вот и все. Август был ее первой любовью. А первая любовь ведь редко забывается, правда? Я, в некотором смысле, этим даже горжусь.

— Дитя любви, считалось, это нечто особенное,

— вставил Смоки. — Либо в сторону добра, либо в сторону зла. Перл в «Алой букве». Эдмунд в...[104]

— Я был уже в том возрасте, когда хочется знать обо всем наверняка, — продолжал Док. — Выяснить точно, кто ты такой. Установить свою личность. Ну, ты знаешь, как это бывает. — (Смоки не знал.) — Я подумал: мой отец сбежал, не оставив, насколько мне известно, никакого следа. А нельзя ли и мне сделать то же самое? Может быть, это у меня тоже в крови? И возможно, если я найду его после черт знает каких приключений, я заставлю его меня признать. Я стисну его плечи, — фляжка, которую Док держал в руке, помешала придать жесту должную выразительность, — и скажу ему: *я — твой сын*. — Он откинулся на спину и задумчиво припал к фляжке.

— И вы сбежали?

— Сбежал. Вроде того.

— И что?

— Далеко уйти не удалось. К тому же из дома всегда посылали деньги. Выучился на доктора, хотя много никогда и не практиковал; посмотрел Большой Мир, пусть краешком глаза. Но я

---

[104] Примечания: 104

Перл в «Алой букве». Эдмунд в... — Перл — героиня романа Натаниэля Готорна (1804–1864) «Алая буква» (1850), Эдмунд — злодей-бастард из «Короля Лира».

вернулся. — На губах его появилась смущенная улыбка. — Думаю, они знали, что я вернусь. Софи Дейл знала. Так она теперь говорит.

— И отца своего вы не нашли, — полувопросительно сказал Смоки.

— И да, и нет. — Док смотрел на темный предмет посреди поля. Скоро он превратится в бесформенный бугорок, на котором даже трава не будет расти, потом исчезнет совсем. — Знаешь, мне кажется, правду говорят: хоть мы и отправляемся в поисках приключений за тридевять земель от дома, а находим то, что искали, прямо у себя во дворе.

Все это время, снизу и со стороны, недвижно застыв на месте у себя в убежище в каменной стене, за ними наблюдал Луговой Мышонок. О чем это они? Он принюхивался к отвратительному запаху крови, исходившему от них; смотрел, как двигались их рты, как будто они поглощали огромное количество пищи, но они ничего не ели. Луговой Мышонок, сидя на шершавой подушке из лишайника, где с незапамятных времен сиживали его далекие предки, недоумевал; недоумение заставляло его нос быстро подергиваться, а полупрозрачные ушки, будто крохотные чашечки, вбирали в себя звуки, которые издавали

два пришельца.

— Не стоит вникать в некоторые вещи слишком глубоко, — говорил Док. — В то, что нам дано. В то, что никак нельзя изменить.

— Не стоит, — не слишком убежденно поддакивал Смоки.

— Мы, — настаивал Док, и Смоки подумал, что знает, кто имеется в виду под словом «мы», а кто нет, — мы несем ответственность. Не годится ни с того ни с сего удирать на какие-то поиски и закрывать глаза на возможные желания и нужды окружающих. Мы должны думать о них.

Так и не разрешив своего недоумения, Луговой Мышонок заснул, но тут же, вздрогнув, очнулся, когда два огромных существа встали на ноги и принялись укладывать свои непостижимые принадлежности.

— Иногда нам не под силу понять все, — заключил Док с таким видом, будто эта великая мудрость далась ему не без многих потерь. — Но мы обязаны доигрывать свои роли до конца.

Смоки выпил и надел на фляжку колпачок. Неужели он действительно намерен снять с себя ответственность, отказаться от своей роли, совершить нечто ужасное, на него не похожее и совершенно безнадежное? То, что вы ищете,

находится в вашем собственном дворе: мрачная, в данном случае, шутка. Что же, ответа Смоки не знал и не знал, кого можно спросить; знал он только одно: он устал от борьбы.

Но как бы то ни было, подумал он, это случалось в мире уже не один раз. Не он первый, не он последний.

Праздник урожая

Ежегодно, после подвешивания убитой дичи, в Эджвуде устраивался званый ужин. На протяжении всей недели являлись посетители, с которыми уединялась для беседы двоюродная бабушка Клауд: они привозили арендную плату или объясняли, почему не могут заплатить. (Смоки, понятия не имевшего о недвижимости и ее возможной стоимости, не слишком изумляла ни громадная величина собственности Дринкуотеров, ни странный метод управления ею, однако эта ежегодная церемония весьма напоминала ему феодальные традиции.) Большинство визитеров приносили с собой ту или иную дань: галлон сидра, корзинку яблок с белыми разводами на кожуре, помидоры, обернутые пурпурной бумагой.

Флады, а также Ханна и Санни Нун, самые крупные (во всех отношениях) из числа арендаторов,

остались на ужин. Руди принес утку из собственного хозяйства — пополнить стол; по такому случаю из комода была извлечена кружевная скатерть, издававшая легкий запах лаванды. Клауд открыла свою полированную шкатулку, где хранила свадебное серебро (в роду Дринкуотеров она была единственной невестой, которой преподнесли такой подарок, — Клауды в подобных делах отличались большой щепетильностью); огоньки свечей заиграли на нем и на бокалах из граненого хрусталя (один из них с негромким горестным звоном разбился об пол).

На стол поставили много хмельного и темного, как морская глубь, вина, которое Уолтер Оушн изготавливал каждый год, а на следующий разливал по бутылкам: это было его подношение. С наполненными этим вином бокалами произносились тосты над лоснившейся от жира дичью и блюдами с плодами осеннего урожая. Руди поднялся с места (при этом живот его навис над краем стола) и продекламировал:

— К вам, хозяин и хозяйка,
Счастье пусть придет —
И к детишкам, что в столовой

Водят хоровод[105].

В этом году у него появился на свет внук Робин, Санни Нун вновь родил близнецов, а Смоки обзавелся дочерью — Тейси.

Мам высоко подняла свой бокал:

— Пусть дом от бурь укроет вас,
Очаг согреет в поздний час;
Еще важней, когда в метель
Придет любовь[106].

Смоки заговорил было по-латыни, но Дейли Элис и Софи простонали так выразительно, что он умолк, а потом начал снова:

— Тушеный гусь, табак, одеколон —
Трикраты окрыленный, дар небесный
Всем щедрым душам: силою чудесной
Он полнит, ублажая испокон

---

[105] Примечания: 105

К вам, хозяин и хозяйка, / Счастье пусть придет... — рождественское пожелание из «Песен Матушки Гусыни».

[106] Примечания: 106

Пусть дом от бурь укроет вас... — строфа из песни Шарля Трене (1913–2001) «Желаю вам любви» («I wish you love»), известной в исполнении Фрэнка Синатры. В оригинале она имела название «Что осталось от нашей любви» («Que reste-t'il de nos amours»); английский текст написал Альберт Бич.

Тень убывающую плоти нашей[107].

— Ублажая испокон, это хорошо, — заметил Док. — И тень убывающая плоти нашей — тоже.

— Я и не знал, что ты курильщик, — заметил Руди.

— А я не знал, Руди, — с нажимом парировал Смоки, вдыхая исходивший от него густой аромат лосьона «Олд Спайс», — что у тебя такая щедрая душа. — И потянулся за графином.

— А я прочитаю стишок, который выучила в детстве, — заявила Ханна Нун. — Потом сразу — за вилки!

Отцу и Сыну, и Духу Святому,
Проворным в еде, — по чану большому!

Захваченные Повестью

После ужина Руди раскопал груду ветхозаветных пластинок (тяжелых, как блюда), к которым давно никто не прикасался, и они, окаймленные пылью, громоздились на буфете. Он перебирал эти сокровища, встречая старых друзей радостными возгласами. Пластинки ставили на

---

[107] Примечания: 107

Тушеный гусь, табак, одеколон... — из поэмы американского поэта Харта Крейна (1899–1932) «На бракосочетание Фауста и Елены» (1923).

проигрыватель, начались танцы.

Дейли Элис, пройдя один круг, почувствовала себя не в силах продолжать и, сложив руки на своем огромном животе, напоминавшем молитвенную скамеечку, отошла в сторону — отдыхать и наблюдать за другими. Великан Руди кружил свою миниатюрную жену, как заводную куклу, и Элис подумала, что за прожитые годы супружества он, должно быть, научился обращаться с ней так, чтобы не переломать ей кости; она представила, как он налегает на нее всем своим чудовищным весом; нет, наверное, это она вскарабкивается на него, словно на высокую гору.

Макаем пончики — юбба, юбба —

Макаем пончики — юбба, юбба —

Макаем пончики — плюх! — в чашку кофе![108]

Смоки, оживленный, раскованный, с разгоревшимися глазами, излучал веселость, сияя как солнце; смехом он заразил и Дейли Элис. Жизнерадостность — это он хотел всем продемонстрировать? И где он выучил слова этих бредовых

---

[108] Примечания: 108

Макаем пончики — юбба, юбба... (Dunkin' donuts, yubba yubba) — «Dunkin' Donuts» — популярнейшая в США сеть пончиковых, под таким названием — с 1950 года.

песенок: ведь он, казалось, отродясь не знал ничего из того, что известно всем и каждому? Смоки танцевал с Софи, рост которой позволял ему обхватить ее талию должным образом: вел он ее галантно, но не слишком умело.

Луны бледный лик над холмами зелеными,

Солнце садится в лазурное море[109].

Как солнце. Дейли Элис тоже ощущала в себе солнце, только маленькое, но оно согревало ее изнутри. У нее появилось чувство, которое она испытывала и раньше: будто она глядит на Смоки, да и на всех остальных, откуда-то издалека — или с большой высоты. Было время, когда она казалась себе уютной, крохотной обитательницей просторного жилища Смоки: укрытая от всех бед, она могла перебегать из комнаты в комнату, не покидая, однако, зоны его притяжения. Теперь, чаще всего, ситуация представлялась ей иначе: с течением времени это он, Смоки, уменьшился до размеров мышки, нашедшей себе приют у нее в доме. Великанша — вот кем она, по ее ощущени-

[109] Примечания: 109

Луны бледный лик над холмами зелеными, / Солнце садится в лазурное море. — Песня «Роза Трали» («The Rose of Tralee», 1912) Чарльза У. Гловера на слова Мордаунта Спенсера.

ям, становится. Внешние ее границы безмерно расширились; ей казалось, что еще немного — и она займет чуть ли не все пространство внутри стен самого Эджвуда; будет такой же огромной, такой же столетней, уютно распластавшейся и столь же вместительной. И по мере того, как Дейли Элис вырастала все больше, — эта мысль поразила ее, как молния, — те, кого она любила, уменьшались в размере с той же неотвратимостью, как если бы удалялись от нее на огромное расстояние, а она оставалась на месте одна.

— «Нет, я не солгу, — напевал Смоки мечтательно-томным фальцетом, — всю мою любовь к тебе я сберегу»[110].

Вокруг нее, казалось, сгущались какие-то тайны. Дейли Элис тяжело поднялась со стула и со словами: «Нет-нет, ты останься», — отстранила Смоки, подошедшего было к ней, а затем с трудом взобралась по лестнице с таким видом, будто несла перед собой гигантское хрупкое яйцо, из которого вот-вот должен вылупиться птенец. Она еще подумала, что неплохо бы ей посоветоваться, пока не наступила зима, иначе потом

[110] Примечания: 110

«Нет, я не солгу... всю мою любовь к тебе я сберегу». — Один из хитов Луи Армстронга, песня «Ain't misbehavin'» (слова Энди Рэзефа, музыка Томаса Уоллера и Гарри Брукса, 1929).

будет поздно.

Но когда Дейли Элис присела на край кровати у себя в спальне, куда снизу долетали слабые отзвуки музыки — бесконечное повторение «тик-так» и «топ-хлоп», — ей сделалось ясно, какой совет она получит, если за ним отправится. Она еще раз удостоверится в том, что ей известно уже давным-давно, только это знание постоянно тускнело и затмевалось повседневной рутиной, бесполезными надеждами и столь же бесполезным отчаянием, а именно: если все это действительно Повесть, внутри которой она находится, тогда любое ее движение и любой, чей бы то ни было, жест входят в эту Повесть составной частью — приглашение к танцу, рассаживание за обеденным столом, благословения и проклятия, радость, тоска, промахи, равно и бегство от Повести или противодействие ей. Да, все это тоже служит только материалом для Повести. *Они* выбрали Смоки для нее, и лишь потом она выбрала его для себя; или же она выбрала его, а уже после этого *они* выбрали его для нее; и так, и так — все это входило в Повесть. И если теперь Смоки начнет неуловимо от нее отдаляться и она его потеряет (в этом день ото дня, благодаря еле слышным будничным сигналам, в ней крепла

уверенность), тогда и эта потеря, и огромность этой потери, малейшие из порывов, взглядов — прямых и косых, малейшие из уходов, вспышек гнева, примирений, желаний, образующих Утрату и отъединяющих Смоки от нее, как слои черного лака запечатывают нарисованную на японском подносе птицу или потоки дождя все глубже вмораживают упавший лист в покрытый льдом зимний пруд, все это — часть Повести. И если бы вдруг перед ними на той сумрачной аллее, по которой они теперь шли, открылся внезапно новый поворот, менее всего ожидаемый выход на необъятные просторы полей, усеянных цветами, будто звездами; или хотя бы они оказались всего-навсего на перекрестке с дорожными указателями, сдержанно намекающими на возможную близость таких полей, то и тогда все это не могло быть ничем иным, как только Повестью; теми, кого Дейли Элис считала наделенными мудростью; теми, кто, по ее догадкам, нескончаемо длил эту Повесть. Как-то — при том, что жизни Дринкуотеров и Барнаблов убывали день ото дня — рассказчиков нельзя было винить ни за одну подробность, потому что они, в сущности, на самом деле ничего не рассказывали, не пряли нить повествования: они только знали, как оно

будет развертываться, чего не могла знать Элис и должна была этим удовлетвориться.

— Нет, — произнесла она вслух. — Я этому не верю. У них есть власть. Просто иногда мы не понимаем, как именно они нас защитят. А если *ты* и знаешь, то не скажешь.

— Верно. — Дедушка Форель ответил, показалось ей, с мрачным видом. — Перечь старшим; считай, что тебе лучше знать.

Дейли Элис легла на кровать, поддерживая ребенка переплетенными пальцами и совсем не считая, что ей лучше знать: во всяком случае, этому совету она не собиралась следовать.

— Я буду надеяться, — сказала она сама себе. — Я буду счастлива. Есть что-то, чего я не знаю; они готовят для меня какой-то дар. Все придет, когда нужно. В последний момент. Повесть иной быть не может.

И она не станет слушать сардонического — в чем не сомневалась — ответа Дедушки Форели; и все-таки, когда Смоки открыл дверь и вошел в спальню, посвистывая и распространяя вокруг себя запах выпитого вина и духов Софи, которыми он пропитался, волна, нараставшая внутри Дейли Элис, обрушилась вниз, и из глаз у нее полились слезы.

Слезы человека, который никогда не плачет, — тихие, бесстрастные — ужасное зрелище. Казалось, сила рыданий, разрывая Дейли Элис на части, заставляет ее зажмуривать глаза и кулаками впихивать слезы себе в рот. Смоки, испуганный и трепещущий, тотчас же кинулся к ней, как кинулся бы спасать из огня ребенка, ни на секунду не задумываясь и толком не зная, что предпримет. Но когда он попытался взять ее за руку и нежно с ней заговорить, Дейли Элис задрожала еще неудержимей, красный крестик у нее на лице сделался уродливее, и Смоки обнял ее, чтобы пригасить пламя. Невзирая на сопротивление Элис, он старательно укрыл ее. Он мало подозревал о том, что нежностью может глубоко ее задеть и превосходством силы растравить ее горе, чем бы оно ни было вызвано. Смоки не был уверен, что не он сам причина ее страданий; не был уверен, прижмется ли она к нему в поисках утешения или же в негодовании оттолкнет от себя, но выбора у него не было: спаситель или жертва — все равно, лишь бы унять ее муки.

Дейли Элис уступила, поначалу сама того не желая, и вцепилась в рубашку Смоки, словно собиралась ее порвать, а он продолжал твердить: «Расскажи мне, расскажи», словно это могло

помочь делу, однако он так же неспособен был уберечь ее от горя, как неспособен был помешать ей исходить потом и громко вопить, когда ее ребенок начнет пробиваться на свет божий. А Дейли Элис не в состоянии была найти хоть какой-то способ рассказать Смоки о том, что рыдания ее вызваны вставшей в памяти картиной темного водоема в лесу, усеянного, будто звездами, золотыми листьями, непрерывно продолжавшими падать с веток, на мгновение задерживаясь в воздухе над водной поверхностью и словно придирчиво выбирая место, где утонуть; а там, в глубине, виделась огромная чертова рыбина, от холода замолчавшая и переставшая думать, — рыбина, захваченная Повестью, как и она сама.

Глава третья

Дай мне увидеть, как ты погрузишься
В мечтательные думы, — и твой взор
Спокойней станет озера, когда
Умчатся ветры.

***Вордсворт*[111]**

— Это Джордж Маус, — сказал Смоки. Лили, цепляясь за штанину отца, смотрела на главную аллею, куда он указал. Ее обрамленные длинными ресницами глаза под козырьком из ладони бесстрастно следили за тем, как Джордж, шлепая по лужам, выплыл из тумана. На нем был его всегдашний плащ, черный и длинный, и шляпа как у Свенгали, насквозь промокшая. Подходя, Джордж махнул им рукой.

— Привет. — Он прохлюпал вверх по ступенькам. — При-и-вет. — Обнял Смоки. Из-под полей шляпы сверкали белые зубы Джорджа и горящие

---

[111] Примечания: 111

Вордсворт, Уильям (1770–1850) — английский поэт-романтик. Строки эпиграфа взяты из стихотворения «Ему же» (1817), которое является продолжением «Оды Ликорису».

как угли глаза. — А это кто ж такая? Тейси?

— Лили, — проговорил Смоки. Лили спряталась за его ногами. — Тейси уже большая девочка. Ей шесть лет.

— Бог мой.

— Да.

— Время летит.

— Ну, входи. Что стряслось? Почему не написал?

— Только сегодня утром решил поехать.

— Есть причина?

Время летит

— Да так как-то, стукнуло в голову. — Джордж решил не рассказывать Смоки о принятых пятиста миллиграммах пеллюсидара[112], повлиявших на его нервную систему как холодное дуновение первого дня зимы, каковой, кстати, как раз и наступил — седьмое зимнее солнцестояние с тех пор, как Смоки женился. Большая капсула пеллюсидара пробудила в Джордже

[112] Примечания: 112

Пеллюсидар — название наркотика происходит от латинского слова «pellucid» («прозрачный, ясный, понятный»). Вряд ли имеется какая-либо связь с публиковавшимся с 1915 года циклом произведений Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) о Пеллюсидаре (вар.: Пеллуцидаре) — стране внутри полой Земли, где до сих пор живут динозавры.

тягу к странствиям; он сел в «мерседес», один из немногих осязаемых остатков былого богатства Маусов, и ехал на север до тех пор, пока по пути не перестали попадаться еще работавшие бензозаправки. Тогда он поставил машину в гараж при каком-то пустом доме и, глубоко втягивая ноздрями густой, отдающий плесенью воздух, пустился в путь пешком.

Парадная дверь закрылась за вошедшими с внушительным стуком медных деталей и дребезжанием овальной стеклянной вставки. Джордж Маус сорвал с себя шляпу широким жестом, который рассмешил Лили и заставил застыть на месте Тейси (она сломя голову неслась по холлу, чтобы узнать, кто пришел). За ней шла Дейли Элис в длинном кардигане с оттопыренными карманами, где прятались ее кулаки. Она кинулась целовать Джорджа, он же, обняв ее, ощутил неуместный пьянящий прилив сладострастия, вызванный химией, и рассмеялся.

Вся компания повернулась, чтобы отправиться в малую гостиную (там уже лили желтый свет лампы), и отразилась в большом и высоком зеркале. Джордж остановил своих спутников, придержав каждого за плечо, и стал рассматривать отражения: свое, кузины, Смоки — и Лили,

которая как раз появилась из-за юбки матери. Изменились? Что ж, Смоки вновь отпустил бороду, которую начал выращивать еще когда они с Джорджем впервые познакомились, а потом сбрил. Лицо его похудело и вытянулось; чтобы описать, каким оно сделалось, Джордж не нашел другого эпитета, кроме «одухотворенное» (благо это слово было только что занесено к нему неким назойливым проповедником). ОДУХОТВОРЕННОЕ. Ну, держись. Он овладел собой. Элис: дважды мамаша, ну и ну! Джорджу пришло в голову, что видеть ребенка, рожденного женщиной, это почти то же самое, что видеть ее обнаженной. На ее лицо уже смотришь по-иному, им уже не исчерпываются полученные впечатления. А он сам? Он замечал седину в своих усах, сутулость худого и длинного торса, однако это ничего не значило; лицо в зеркале было такое же, каким он увидел его впервые.

— Время летит, — сказал он.

Определенно рисковый

В малой гостиной все домочадцы составляли длинный список покупок.

— Арахисовое масло, — диктовала Ма, — марки, йод, содовая — побольше, мыльные подушечки,

изюм, зубной порошок; чатни[113], жевательная резинка, свечи, Джордж! — Она обняла Джорджа. Доктор Дринкуотер оторвал взгляд от списка.

— Привет, Джордж, — проговорила Клауд в своем уголке у камина. — Сигареты не забудьте.

— Бумажные пеленки, дешевые, — вставила Дейли Элис. — Спички... тампакс... растительное масло три-в-одном.

— Овсянка, — дополнила Мам. — Как там твои, Джордж?

— Овсянки не надо! — вставила Тейси.

— Хорошо, хорошо. Твоя мама, как ты знаешь, к ней неравнодушна. — Мам тряхнула головой. — Как давно я не видела Франца? Уже с год?

Джордж положил на круглый столик, рядом со списком, который составлял Док, счета.

— Бутылку джина, — проговорил он.

Док записал «джин», но отодвинул в сторону счета.

— Аспирин, — вспоминал Док. — Камфарное масло. Антигистамины.

— Кто-то заболел? — спросил Джордж.

— Софи как-то странно лихорадит, — отозвалась Дейли Элис. — То прихватит, то отпустит.

---

[113] Примечания: 113

Чатни — индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа к мясу.

— Последнее приглашение, — произнес Док, вопросительно глядя на жену. Она погладила себя по подбородку и раз-другой хмыкнула, что свидетельствовало о мучительных раздумьях. Наконец, решившись, сказала, что поедет тоже. В холле, осаждаемый запоздалыми просьбами, Док нахлобучил на голову кепку (его голова почти полностью покрылась сединой, похожей на грязноватый хлопок-сырец) и надел очки в розовой оправе, обязанность носить которые была оговорена в его водительских правах. Взял коричневый конверт с нужными бумагами и объявил, что готов. Все вышли на крыльцо проводить его и Мам.

— Надеюсь, они будут осторожны, — заметила Клауд. — Сегодня очень сыро.

Из каретного сарая донеслось нерешительное тарахтение. После напряженной паузы взревел мотор и из сарая задом выкатился на дорожку фургон, оставляя на мокрых листьях два размытых недолговечных следа. Джордж Маус только диву давался. Высыпавшая на крыльцо куча народа внимательно наблюдала всего-навсего за тем, как робко обращался с машиной старый человек. Заскрипела передача, и наступила торжественная тишина. Джорджу, конечно, было известно,

что автомобиль не каждый день выводят на свет божий, что случай этот особый и Док, конечно же, все утро смахивал паутину со старой деревянной обшивки и прогонял бурундуков, которые подумывали угнездиться под навеки неподвижным, как им казалось, сиденьем. Он облачался в старую машину, как в доспехи, чтобы бросить вызов Большому Миру. Джордж мысленно отдал должное провинциальным родственникам. Все его городские знакомые без конца жаловались на свои машины, которые все время приходилось ремонтировать, а провинциальная родня щадила и от души уважала двадцатиоднолетний деревянный драндулет. Джордж рассмеялся, вместе со всеми махнул рукой и вообразил себе Дока на дороге: вначале он волнуется, шикает на жену, осторожно переключает передачи; потом сворачивает на большое шоссе и начинает наслаждаться плавно бегущим по сторонам пейзажем и уверенной ездой, пока рядом не взревет какой-нибудь гигантский грузовик, угрожая вытеснить Дока на обочину. Док — человек определенно рисковый.

На Холм

Джордж заверил, что сидеть в доме ему нисколько не хочется: он приехал подышать воздухом и все такое, пусть даже день для этого не совсем подходящий. Поэтому Смоки надел шляпу и галоши, взял трость и вышел с ним прогуляться на Холм.

Дринкуотер укротил Холм, сделав на нем дорожку и каменные ступеньки в самых крутых местах, поставив грубые скамейки там, откуда открывался самый живописный вид, а вершину увенчав каменным столом, за которым можно было одновременно закусывать и обозревать окрестности.

— Ланча не нужно, — сказал Джордж.

Моросящий дождик прекратился — остановился, казалось, на полпути и завис в воздухе. Они двинулись вверх по тропинке, которая огибала верхушки деревьев, росших внизу, на обрыве. Джордж любовался серебряным узором капель на листьях и сучьях, а Смоки показывал ему редких птиц (он научился различать многих пернатых, в особенности редких).

— Нет, правда, — попросил Джордж, — скажи, как дела.

— Аспидный юнко, — проговорил Смоки. — Отлично-отлично. — Он вздохнул. — Зиму зимовать нелегко.

— Бог мой, конечно.

— Нет, здесь особенно трудно. Не знаю. Мне не хотелось бы, чтобы жизнь сложилась по-другому... Иногда по вечерам тоска невыносимая. — Джорджу показалось, что глаза Смоки наполнились слезами.

Джордж глубоко вздохнул, упиваясь сыростью и лесом.

— Да, плохи дела, — произнес он счастливым голосом.

— Приходится подолгу сидеть дома, — пожаловался Смоки. — Живем все вместе. Народу куча. Скоро уже смотреть друг на друга не сможем.

— В этом-то доме? Да в нем можно потеряться. Неделями никого не видеть.

Джорджу вспомнился день, похожий на нынешний, когда он ребенком приехал сюда на семейное празднование Рождества. В поисках тайника, где, как он догадывался, хранились праздничные подарки, он забрел на третий этаж и заблудился. Спустившись по странной лестнице, узкой, как мусоропровод, он оказался Где-то Еще, в странных комнатах; сквозняки вдыхали при-

зрачную жизнь в пыльные шпалеры гостиной, шаги Джорджа звучали как чья-то чужая поступь, стремившаяся ему навстречу. Потеряв лестницу, он закричал; потом обнаружил другую. Когда он окончательно перепугался, вдали послышался голос Ма Дринкуотер, которая его звала. Джордж стремглав ринулся через комнаты, распахивая одну дверь за другой, пока за последней, похожей на церковный портал, не обнаружил двух своих кузин, которые принимали ванну.

Смоки и Джордж уселись на одну из дринкуотеровских скамей из узловатого гнутого дерева. Через завесу нагих ветвей виднелась сизая даль. Можно было рассмотреть даже серый хребет автомагистрали, раскинувшей свои гладкие кольца в соседнем округе. На миг, донесенное плотным воздухом, послышалось и дыханье чудовища — отдаленный гул грузовиков. Смоки указал на то ли палец, то ли одну из голов Гидры, которая на ощупь потянулась к ним меж холмов, но на полпути остановилась. Яркие солнечные вкрапления, оживлявшие картину, были не чем иным, как спящими гусеницами, не живыми, но рукотворными — землеройными машинами и самосвалами. Они не должны были продвинуться дальше; топографы и снабженцы, подрядчики и

инженеры застряли в недоумении среди болота. Рудиментарная конечность никогда не нарастит кости и мышцы, чтобы вторгнуться в пентакль городов вокруг Эджвуда. Смоки знал это.

— Не спрашивай откуда, — сказал он.

Но Джордж Маус обдумывал план, согласно которому все, по преимуществу пустые, строения в городском квартале, который принадлежал его семье, нужно было соединить внутренними переходами и закрыть, чтобы получилась громадная неприступная стена — как пустотелые стены замка. Она окружала бы центр квартала, где располагались сад и огород. Дворовые флигели и тому подобное можно будет снести и всю площадь сада сделать сплошным пастбищем или фермой. Там он будет выращивать всякую всячину, держать коров. Нет, коз. Козы меньше и не так прихотливы в еде. Их можно доить, а лишних козлят пускать на мясо. Джордж в жизни не убил ни одного животного крупнее таракана, но ел козлятину в пуэрториканской закусочной, и при этом воспоминании у него текли слюнки. Он слышал голос Смоки, однако в слова его не вникал и потому спросил:

— А все-таки, в чем там дело? Что за история?

— Ну, тебе известно, что мы Защищены, —

туманно отвечал Смоки, раскапывая тростью черную землю. — Но за покровительство нужно чем-то расплачиваться, правда? — Эти материи были для него загадкой в начале, но и теперь у него как будто понимания не прибавилось. Он знал, что плата необходима, но не мог сказать, внесена она прежде, предстоит платеж в будущем или он отсрочен. Этой зимой у Смоки возникло смутное чувство, будто у него что-то вымогают, требуют, вытягивают, а он отдает (но что именно — он не ведал); означало ли это, что Кредиторы получили свое? А может, гоблины, которые иногда, как ему казалось, мелькали в окнах, завывали в каминных трубах, сбивались в кучи под свесом крыши и скреблись в пустых верхних комнатах, — может, эти гоблины напоминали ему и всем обитателям Эджвуда о неуплаченном долге, невзысканной дани, причем главному гоблину полагалась некая жуткая прибыль, высчитать которую Смоки никак не удавалось.

Но Джордж обдумывал план, который заключался в том, чтобы средствами фейерверка изобразить основные понятия Теории Действия (о ней он прочитал в свое время в популярном журнале, но только теперь оценил ее глубокий смысл): как с помощью начальных шагов, нарас-

тающего свиста, водопада звезд и, в заключение, трескучего разрыва цветной бомбы представить последовательные элементы Действия, согласно их описанию, данному теорией; какая комбинация фейерверков похожа на «отрегулированные» Действия, какие — на всевозможные составные Действия, какие — на великое Действие, которое есть ритм Жизни и Времени. Последнее понятие погасло в искрах. Тронув Смоки за плечо, Джордж спросил:

— Но как все-таки дела? Как ты живешь?

— Боже, Джордж, — воскликнул Смоки, вставая, — я уже рассказал тебе все, что мог[114]. Скоро я в сосульку превращусь. Держу пари, вот-вот ударит мороз. На Рождество, возможно, выпадет снег. — На самом деле Смоки в этом не сомневался: так было обещано. — Пойдем-ка лучше, выпьем какао.

Какао и булочка

Оно было коричневым и горячим, с шоколадны-

---

[114] Примечания: 114

Но Джордж обдумывал план... — Но как все-таки дела? Как ты живешь? — ...я уже рассказал тебе все, что мог. — Слегка измененные строки из песни Белого Рыцаря «Сидящий на стене» («Зазеркалье», гл. VIII). Джордж, таким образом, уподобляется кэрролловскому добродушному и рассеянному прожектеру.

ми пузырьками пены, мигающими по краям[115]. Корешок алтея, который Клауд туда бросила, крутился и пускал пузыри, словно таял от радости. Дейли Элис учила Тейси и Лили осторожно дуть на какао, брать чашку за ручку и смеяться над коричневыми усами, какие оставались после питья. Клауд следила, чтобы на какао не образовалась пенка, хотя Джордж против нее ничего не имел: его мать всегда готовила какао с пенкой, такое же наливали из чайников в цокольном этаже Церкви Всех Улиц, общей для всех вероисповеданий, куда мать водила его с Францем, причем, как ему казалось, исключительно в такие вот сырые и промозглые дни.

— Возьми еще булочку, — сказала Клауд, обращаясь к Элис. — Должна есть за двоих, — объяснила она Джорджу.

— Не может быть, — поразился он.

— Может. — Элис откусила кусок булочки. — Вынашивать детей — мой конек.

— Ну и ну. На этот раз мальчик.

---

[115] Примечания: 115

...пузырьками... мигающими по краям. — ср. из «Оды соловью» Китса:

О, мне бы кубок, льющий теплый юг,
Зардевшуюся влагу Иппокрены
С мигающею пеной у краев!

(Перевод И. Дьяконова)

— Нет, — доверительным тоном сообщила она. — Еще девочка. Так говорит Клауд.

— Не я, — мотнула головой Клауд. — Карты.

— Мы назовем ее Люси, — объявила Тейси. — Люси Энн и Эннди Энн де Бам Бам Барнабл. У Джорджа две пары усов.

— Кто отнесет это Софи? — Клауд поставила чашку какао и положила булочку на старый-престарый чернолаковый поднос с изображением усыпанного звездами эльфа с серебряными волосами, который попивал кока-колу.

— Давай мне, — вызвался Джордж. — Слушай, тетя Клауд, а мне ты погадаешь?

— Конечно, Джордж, думаю, ты включен в число.

— Ну, вспомнить бы только, которая ее комната, — хихикнул Джордж. Заметив, что руки у него дрожат, он взял поднос очень осторожно.

Когда Джордж, толкнув дверь коленом, вошел в комнату, Софи спала. Он стоял неподвижно, вдыхал поднимавшийся от какао пар и надеялся, что

Софи долго не проснется[116]. Странно было чувствовать себя как подглядывающий подросток; слабость и дрожь в коленках, сухой комок в горле объяснялись как действием одуряющей капсулы, так и видом Софи, которая небрежно раскинулась на смятой постели. Одна ее длинная нога, ничем не прикрытая, свешивалась с края кровати, пальчики словно указывали на одну из китайских домашних туфель, которые выглядывали из-под сброшенного кимоно. Нежные груди выскользнули из пижамы в оборочках и тихо вздымались и опадали. Порозовела от жара, — с нежностью подумал Джордж. Как будто почувствовав на себе его взгляд, Софи во сне натянула на себя одеяло и повернулась на бок; щека ее легла на сжатый кулачок. От изящества этого движения Джорджу захотелось рассмеяться или заплакать, но он удержался и поставил поднос на стол, где было тесно от пузырьков с пилюлями и смятых бумажных салфеток. Чтобы поместить поднос,

[116] Примечания: 116

Он стоял неподвижно... и надеялся, что Софи долго не проснется. — Краули выстраивает эпизод на основе поэмы Джона Китса «Канун святой Агнесы» (1819), строфы XXVII–XXXVI: юный Порфиро застает Маделину, свою возлюбленную, спящей и соединяется с ней. В поэме постоянно упоминаются фейри, в том числе в связи со сном Маделины (XIX); героиня обвита «феерической мечтой» («faery fancy», VIII); в финале бушует метель — «эльфийская буря из страны фейри» — «an elfin-storm from faery-land» (XXXIX) и т. д.

ему пришлось передвинуть к кровати большой альбом, и от этого движения Софи проснулась.

— Джордж, — произнесла она, невозмутимо потягиваясь. Она нисколько не удивилась, думая, наверное, что это сон. Джордж нежно тронул ее лоб своей смуглой рукой.

— Привет, красотка, — сказал он.

Софи откинулась на подушки, глаза ее закрылись, на мгновение она снова вернулась в страну сна. Потом, вскрикнув «Ой!», она попыталась привстать на постели и стряхнуть с себя остатки дремоты.

— Джордж!

— Как ты себя чувствуешь? Лучше?

— Не знаю. Я спала. Это для меня какао?

— Для тебя. Что тебе снилось?

— М-м. Отлично. Я всегда просыпаюсь голодной. А ты? — Софи вынула из коробочки розовую салфетку и стерла с губ усы от какао, но их место дерзко заняли новые. — Сны о прошлом. Наверное, из-за этого альбома. Нет, тебе нельзя. — Она остановила руку Джорджа. — Там неприличные снимки.

— Неприличные.

— Мои давние снимки. — Наклоняя голову в характерной дринкуотеровской манере, Софи

улыбнулась и взглянула на Джорджа поверх чашки. Ее веки еще не совсем расправились после сна. — А что ты здесь делаешь?

— Явился навестить тебя. — Увидев Софи, он понял, что так оно и было. Галантная фраза осталась без ответа: Софи, казалось, забыла о Джордже и отдалась совершенно другим мыслям; чашка с какао замерла на полпути к ее губам. Она медленно поставила чашку на стол; глаза ее рассматривали что-то невидимое для Джорджа, скрытое внутри. Она сбросила с себя наваждение, засмеялась мимолетным испуганным смехом и внезапно схватила Джорджа за запястье, словно желала устоять. — Сонные видения, — пробормотала она, заглядывая ему в лицо. — Лихорадка.

Нимфы-сиротки

Лучшую часть своей жизни Софи прожила в снах. Самым большим удовольствием был для нее переход в иные пределы, когда члены становятся тяжелыми и теплыми, искристая темнота за веками обретает упорядоченный вид и двери распахиваются; когда сознательная мысль обрас-

тает совиными перьями и когтями[117] и теряет связь с сознанием.

Вначале Софи просто наслаждалась, а потом приобрела опыт во всех безымянных искусствах, что связаны с погружением в сон. Прежде всего, нужно было научиться слышать слабый голос, этот осколок сознательного «я», который, нашептывая «ты спишь», как ангел-хранитель, сопровождает нашего эйдолона[118], отправляющегося в Страну Снов. Хитрость заключается в том, чтобы слышать его, но не вслушиваться, иначе проснешься. Софи научилась его слышать и узнала от него, что от полученных во сне ран, какими бы ужасными они ни казались, вреда не будет; она всегда пробуждалась в целости и сохранности — полной сохранности, благодаря теплу постели. С тех пор она не боялась плохих снов; ее внутренний Данте опирался на руку своего Вергилия и шествовал через ужасы с удовольствием и пользой.

---

[117] Примечания: 117

...*сознательная мысль обрастает совиными перьями и когтями*... — София-Мудрость превращается в Афину, богиню мудрости.

[118] Примечания: 118

...*сопровождает нашего эйдолона*... — «Эйдолонами» в Древней Греции называли «отображения в воде и зеркале, картины и статуи и все остальное в том же роде» (диалог Платона «Софист», 239d), в том числе и сны. Эйдолоном является и душа человека (его «психе»), В теософии — призрак, астральная форма.

Далее она обнаружила, что способна, проснувшись, перепрыгивать через расщелину сознания и возвращаться обратно в тот же сон. Таким образом она научилась строить многоэтажные дома снов; могла видеть во сне, что пробудилась, а в новом сне пробуждаться якобы от предыдущего. Каждый раз она вскрикивала: «Ой, это был сон!», пока не наступало последнее и самое замечательное пробуждение — настоящее; странствия завершались прибытием домой, внизу готовился завтрак.

Но вскоре путешествия Софи начали затягиваться, она уходила все дальше, а возвращалась позднее и с неохотой. Сперва она боялась, что поскольку пребывание в Стране Снов занимает у нее половину дня и всю ночь, то истощится постепенно материя, из которой творятся сны, и они сделаются реденькими, неубедительными, повторяющимися. Но произошло противоположное. Чем глубже она заходила, чем более удалялась от мира бодрствующих, тем величественней и причудливей становились нереальные пейзажи, законченней и интересней — приключения. Как такое было возможно? Разве сны происходят не из яви, с ее книгами и картинами, привязанностями и желаниями, реальными дорогами и камня-

ми, а также реальными ногами, которые мы о них ушибаем? Выходит, сны рождались в ней самой? Откуда брались эти сказочные острова, гигантские мрачные ангары, запутанные города, жестокие правители, неразрешимые сложности, комические второстепенные персонажи, такие правдоподобные? Она не знала, а со временем и перестала задумываться.

Софи было известно, что реальные люди, родные и любимые, беспокоятся о ней. Их тревога проникала в ее сны, но преображалась в изощренные преследования, которые завершались триумфальным воссоединением. Именно так она предпочитала обходиться с близкими людьми и их тревогами.

А теперь она освоила последнее искусство, которое многократно приумножило возможности ее тайной жизни и одновременно заглушило вопросы, задаваемые жизнью реальной. Софи Как-то научилась произвольно вызывать у себя жар, а с ним — зловещие, гипнотические, раскаленные сны, приносимые лихорадкой. В упоении от победы, Софи вначале проглядела опасность, связанную с двойной дозой снов. Чересчур поспешно она отбросила от себя явь (благо та в последнее время осложнилась и не сулила

никаких перспектив) и с тайным преступным ликованием удалилась в спальню на правах больной.

Лишь иногда после сна — как в этот раз, когда она задумалась во время разговора с Джорджем Маусом, — ее охватывало ужасное сознание, что она сделалась рабыней привычки, что она обречена, потеряла дорогу в этот мир, зашла слишком далеко и не может вернуться; путь наружу закрыт, остался только путь внутрь; чтобы уменьшить муки от дурной привычки, нужно ей сдаться.

Софи схватила Джорджа за руку, словно только касание реальной плоти могло по-настоящему ее разбудить.

— Сонные видения, — пояснила она. — Это лихорадка.

— Конечно, — кивнул Джордж. — Лихорадочные видения.

— У меня все болит. — Софи обняла себя за плечи. — Слишком долго спала. В одном положении. От этого, наверное.

— Тебе нужен массаж. — Не выдал ли голос его мысли?

Она повела своим длинным торсом.

— Сделаешь?

— А как же.

Софи повернулась к Джорджу спиной, показывая поверх узорчатой ночной кофточки больные места.

— Нет, нет, нет, дорогуша. — Джордж обращался к ней как к ребенку. — Слушай. Ложись. Подбородок положи на подушку — правильно. Я сяду здесь. Подвинься самую чуточку. Дай-ка я сниму ботинки. Удобно? — Он начал массаж, чувствуя через тонкую кофточку ее лихорадочный жар. — Этот альбом, — произнес он, поскольку ни на миг о нем не забывал.

— Ох. — Голос Софи звучал низко и хрипловато, так как Джордж сдавливал ей ребра. — Фотографии Оберона. — Она высвободила руку и положила на покрывало. — Когда мы были маленькими. Художественные фотографии.

— А на что они похожи? — спросил Джордж, обрабатывая ее спину в том месте, откуда росли бы крылья, если бы они имелись.

Как бы невольно она натянула покрывало и опять спустила.

— Он не знал. Понятия не имел, что они неприличные. Нет, они не такие. — Она открыла альбом. — Ниже. Ага. Еще ниже.

— Ого, — воскликнул Джордж. Он знал когда-то

этих обнаженных, жемчужно-серых детишек, обособленных и совсем бесплотных, что придавало им еще бóльшую телесность. — Давай-ка снимем эту рубашонку. Так уже лучше...

Софи переворачивала листы небрежно-медлительно, прикасаясь к отдельным снимкам, словно хотела ощутить пальцами день, прошлое, тела.

Вот они с Элис на рифленых камнях у водопада, который, вне фокуса, бешено низвергался за их спинами. На переднем плане оптика увеличила почему-то десятки пятен солнечного света на подернутых дымкой листьях, и они смотрели удивленно, как белые глаза без тел. Нагие девочки (темные ареолы на груди у Софи сморщены, как нераскрывшиеся цветы, как миниатюрные поджатые губы) смотрели вниз, на черную шелковистую поверхность омута. Что приковало к себе взгляд их опушенных густыми ресницами глаз, что заставило их улыбаться? Под фотографией аккуратным почерком было выведено: «Август». Софи проследила пальцем складки бедер Элис — по этим нежным, узеньким линиям угадывалось, что ее кожа была тогда совсем тонкой. Серебристые икры были плотно сжаты, ступни с длинными пальцами тоже, словно ноги Элис превращались в русалочий хвост.

Маленькие фотографии, вставленные в черные уголки. Софи с широко открытыми глазами и ртом, ноги расставлены, руки подняты и разведены в стороны. Вся открыта. Гностический крест, воплощенный в микрокосме женщины-ребенка. Волосы, тогда еще не остриженные, тоже разлетаются в стороны и на темном, похожем на пещеру лиственном фоне кажутся не золотистыми, а белыми. Элис раздевается, высвободила одну ногу из белых хлопчатобумажных панталон, пухлый треугольничек уже начал покрываться курчавыми светлыми волосами. Две девочки, раскрывающиеся во времени, как магические цветы из фильмов о природе. Джордж жадно смотрел на них глазами Оберона — двойное подглядывание в прошлое. Остановись здесь на минутку...

Софи держала страницу открытой, а Джордж, меняя то позу, то руку, продолжал массаж; простыня, натянутая ее ногами, заскрипела. Вот Нимфы-Сиротки, показала Софи снимок. Вытянувшись в полный рост, они лежат в обнимку на зеленой лужайке; волосы их увиты цветами. Ладонями сестры держат друг друга за щеки, глаза смотрят сосредоточенно-неотрывно, губы разомкнулись для поцелуя: чем не разыгранная живая картина двух одиноких невинных душ,

волшебство утешения, — правда, припомнилось Софи, они вовсе ее не разыгрывали. Вялая рука Софи соскользнула со страницы, взгляд рассеянно устремился в сторону; какая теперь разница.

— Знаешь, что я сейчас собираюсь сделать? — спросил Джордж, неспособный себя сдержать.

— У-гу.

— Точно?

— Да, — выдохнула она едва слышно. — Да.

Но мысли ее в этом не участвовали; она вновь перепрыгнула через расщелину Сознания, спасла себя от падения туда, благополучно приземлилась на той стороне (поскольку умела летать), где царил жемчужный день, не знавший ночи.

Младшие козыри

— Как в любой колоде, — начала Клауд, вынимая из тисненой шкатулки бархатный мешочек, а из мешочка карты, — имеются пятьдесят две карты на пятьдесят две недели в году, четыре масти на четыре времени года, двенадцать фигурных карт на двенадцать месяцев и, если сосчитаешь правильно, триста шестьдесят четыре очка — по количеству дней в году.

— В году триста шестьдесят пять дней, — напомнил Джордж.

— В старину этого не знали. Не подбросишь ли в огонь еще полено?

Пока Джордж забавлялся с очагом, Клауд начала раскладывать его будущее. Внутри него — а вернее, наверху, спящей — покоилась тайна, которая грела его сердцевину и заставляла губы расплываться в улыбке, однако конечности Джорджа совсем заледенели. Он выпустил манжеты свитера и спрятал в них кисти рук. На ощупь они напоминали конечности скелета.

— Кроме того, — продолжила Клауд, — мы имеем двадцать один козырь, от нулевого номера до двадцатого. Среди них есть Лица, Места, Предметы и Понятия. — На стол ложились большие карты с красивыми эмблемами: посохи, кубки и мечи. — Существует другой комплект козырей. Они крупнее тех, что у меня, и включают в себя солнце, луну и масштабные понятия. Мои называются (так их именовала моя мать) Младшие козыри. — Клауд улыбнулась Джорджу. — Вот Лицо. Это Кузен. — Она поместила карту в круг и ненадолго задумалась.

— Выкладывай худшее, — предложил Джордж. — Я переварю.

— Самое худшее как раз нельзя говорить, — заметила Дейли Элис из глубокого кресла, где она

сидела с книгой.

— Самое лучшее тоже, — кивнула Клауд. — Всего лишь кусочек того, что может случиться. Но когда — завтра, в следующем году, через час — тоже не скажешь. А сейчас — тс-с, не мешай мне думать. — Карты выстроились соединенными между собой кругами, похожими на цепочки мыслей, и Клауд заговорила с Джорджем о событиях, которые с ним произойдут: небольшое наследство от незнакомца, но не деньги, притом случайное. — Видишь, вот Подарок, а вот и Незнакомец.

Наблюдая за нею, Джордж довольно хихикал, радуясь процессу гадания, а также — непроизвольно — сегодняшнему приключению, которое он намеревался повторить: прокрасться тихо как мышь, когда все уснут. Он не заметил, как Клауд, добравшись до конца расклада, смолкла, как поджались ее губы и замерла рука с последней картой, которой надлежало лечь в центр. Это было Место: Перспектива.

— Ну? — спросил Джордж.

— Джордж, я не знаю.

— Чего не знаешь?

— Не знаю точно.

Клауд потянулась за пачкой сигарет, потрясла

ее и убедилась, что в ней пусто. Она изучила на своем веку так много раскладов, сознание ее запечатлело так много возможных сочетаний карт, что иногда они перекрывали друг друга; с ощущением *déjà vu* она обнаруживала, что видит не одиночную картинку, а часть ряда, словно бы на предыдущий расклад напрашивалась пометка «продолжение следует», а нынешний вдруг им и оказывался. В случае с Джорджем произошло то же самое.

— Если, — сказала она, — твоя карта Кузен...

— Нет. Не то. Какое-то обстоятельство было ей неизвестно.

Джордж знал, конечно, о чем шла речь, и ощутил странную нехватку воздуха, страх разоблачения, на первый взгляд нелепый и тем не менее сильный, как у попавшего в ловушку.

— Ну ладно, — сказал он, когда к нему вернулась речь. — Так или иначе, с меня довольно. Сомневаюсь, что мне хочется знать каждый свой будущий шаг. — Он заметил, как Клауд тронула карту Кузен, а затем Предмет под названием Семя. Господи Иисусе, подумал Джордж, но тут с подъездной аллеи донесся хриплый сигнал фургона.

— Им нужно будет помочь с разгрузкой, — про-

говорила Дейли Элис, с усилием выбираясь из кресла. Джордж вскочил.

— Нет, нет, голубушка, и не думай, в твоем-то положении. Сиди. — Как монах пряча в рукавах иззябшие руки, Джордж вышел за порог.

Элис со смехом снова взялась за книгу.

— Ты напугала его, Клауд? Что ты видела?

Клауд молча разглядывала карты.

Она задумалась, не пересмотреть ли свое мнение относительно Младших козырей; быть может, они не говорят ничего о мелких происшествиях в жизни близких — или, скорее, эти мелкие происшествия являются звеньями неких цепей, которые суть не что иное, как крупные события; по-настоящему значительные.

На легшей в центр расклада карте Перспектива были изображены сходящиеся коридоры или проходы. Вдоль каждого шел бесконечный ряд дверей, среди которых не было одинаковых: арочная, с перемычкой, с пилястрами и так далее, пока не истощилась фантазия художника и не стали сливаться мелкие детали ксилографического изображения (впрочем, очень четкого). В конце проходов виднелись другие двери, смотревшие в других направлениях. Быть может, из каждой открывалась перспектива столь же

беспредельная и разнообразная.

Перекрестье, двери, повороты, единственный миг, когда все двери видны одновременно. Это был Джордж — он был всем этим. Он, сам того не подозревая, был этой перспективой, и Клауд не знала, как ему об этом сказать. Эта перспектива была *его* : он был этой перспективой. А смотрела на все эти возможности она, Клауд. И не умела описать их словами. Она знала только — теперь уже наверняка, — что все расклады, которые у нее когда-либо встречались, были частью одного общего расклада, и Джордж совершил (или собирался совершить, или совершал в эти минуты) какое-то действие, которое являлось элементом этого расклада. В любом из ее раскладов элементы не были изолированы; они повторялись, между ними существовала связь. Что бы это могло быть?

Дом наполнился звуками: возвратившееся семейство перекликалось, что-то волочило, бегало по лестницам. Но взгляд Клауд не отрывался от зрелища бесконечных ответвлений, углов, коридоров. Она чувствовала, что, быть может, находится *внутри* этого места, позади нее расположена дверь, а впереди другая, первая из изображенных на карте; что, обернувшись, она

увидит у себя за спиной еще одну бесконечную перспективу арок и перемычек.

Вполне справедливо

Всю ночь, особенно в холодную погоду, дом привычно бормотал что-то себе под нос. Источником шумов были, вероятно, сотни сочленений, антресоли, каменные детали на деревянных опорах. Дом стонал, мычал, скрипел; на чердаке расшатывалась и падала одна деталь, в погребе, от сотрясения, — другая. В щелях скреблись белки, стены и залы обследовали мыши. Один мышак прошествовал ночью на цыпочках, с прижатым к губам пальцем, с бутылкой джина под мышкой, пытаясь вспомнить, где находится комната Софи. Он едва не споткнулся о расположенную в неожиданном месте ступень; в этом доме все ступени находились в неожиданных местах.

В его голове все еще царил полдень. Действие пеллюсидара не ослабело, но, как бывает, обернулось бедой; он так же сильно стимулировал плоть и сознание, но от шуток перешел к мучительству. Джордж не знал, воспрянет ли его испуганно сжавшаяся плоть даже при виде Софи, а ведь ее еще нужно было найти. Ага: на расписанной стене горела лампа, и в ее свете была видна ручка

двери — без сомнения, та самая. Джордж поспешил было туда, но ручка робко повернулась; он отступил в тень, дверь открылась. На пороге появился Смоки в накинутом на плечи старом халате (как заметил Джордж, из тех, что украшены по краям воротника и карманов плетеной тесьмой темного и светлого оттенка) и с большой осторожностью закрыл дверь. Чуть-чуть помедлив и вроде бы вздохнув, Смоки завернул за угол.

«Черт, а дверь все же не та, — подумал Джордж, — хорош бы я был, явившись прямо в их комнату — или это комната детей?» Окончательно запутавшись, он пошел прочь. Во время бесплодных поисков в изогнутых, как раковина, коридорах второго этажа его подмывало спуститься этажом ниже: может, он по глупости забрел на соседний этаж и забыл об этом. Затем он Как-то очутился у двери, которая, как шепнул ему Рассудок (хотя чувства это оспаривали), уж точно вела в нужную спальню. Немного боязливо Джордж толкнул дверь и шагнул внутрь.

Под наклонным потолком мансарды спали сладким сном Тейси и Лили. При свете ночника были видны призрачные игрушки, мерцали глаза медведя. Две девочки, одна из которых до сих

пор спала за решеткой детской кроватки, не пошевелились, и Джордж уже собирался затворить дверь, но тут понял, что в комнате, у постели Тейси, находится кто-то еще. Кто-то... Он выглянул из-за двери.

Кто-то как раз вынул из тонких складок своего серого, как ночь, плаща серый, как ночь, мешочек. Лица незнакомца Джордж не видел: оно было закрыто широкой испанской шляпой, серой, как ночь. Подойдя к кроватке, где лежала Лили, незнакомец пальцами, затянутыми в серую, как ночь, перчатку, вынул из мешочка щепотку какого-то порошка и распылил над лицом спящей девочки[119]. Тускло мерцавший ручеек золотого песка пролился на ее глаза. Посетитель отвернулся и стал прятать мешок, но тут ощутил на себе взгляд Джорджа, застывшего в дверном проеме. Незнакомец воззрился на Джорджа поверх высокого воротника своего плаща, и Джордж разглядел его глаза: спокойные, прикрытые тяжелыми веками, серые, как ночь. В них читалось подобие жалости. Незнакомец покачал своей

---

[119] Примечания: 119

Кто-то как раз вынул из тонких складок своего серого, как ночь, плаща серый, как ночь, мешочек. <... > Подойдя к кроватке, где лежала Лили, незнакомец пальцами, затянутыми в серую, как ночь, перчатку, вынул из мешочка щепотку какого-то порошка и распылил над лицом спящей девочки. — Песочный человек. См. комментарии, раздел I.

тяжелой головой, словно желая сказать: *нет, сынок, сегодня тебе ничего не отломится*. Что было, в конце концов, вполне справедливо. Он повернулся и, помахивая кисточкой на шляпе и хлопая плащом, направился куда-то еще, к более достойным людям.

Когда Джордж добрел наконец до своей безотрадной постели (случилось, что ему досталась воображаемая спальня), ему пришлось часами лежать без сна. Уставшие глаза были готовы выскочить из орбит. Он лелеял в объятиях бутылку джина, время от времени вытягивая из ее недр глоток освежающего дурмана. Сознание все еще горело круговым фейерверком, и в нем беспорядочно смешивались ночь и день. Он понял лишь одно: первая комната, куда он пытался войти и откуда вышел Смоки, была действительно спальня Софи — никак не иначе. Эта пугающая мысль рассосалась, не придя к логическому концу: искрение синапсов потухло, словно их один за другим выключила милосердная рука.

К рассвету Джордж увидел начало снегопада.

Глава четвертая

Небеса покойны, человек облачен,
Млечный Путь, райская птица,
Кровь души, колокол
в вышине необъятной,
Страна пряностей; что-то понятно.

***Джордж Герберт*[120]**

— Рождество, — произнес Доктор Дринкуотер, чье краснощекое лицо плавно приблизилось к Смоки, — обладает тем особым свойством, что оно не является продолжением тех дней, за которыми следует. Понимаешь? — Он умело огибал Смоки большими кругами. Смоки, который дергался то вперед, то назад, и протягивал руки, будто ощупывая воздух (в отличие от Дока, аккуратно сцепившего пальцы за спиной), утвердительно кивнул. Дейли Элис, прятавшая ладони в старой невзрачной муфте, проплыла рядом, наблюдая

[120] Примечания: 120

Джордж Герберт (1593–1633) — английский поэт. Эпиграфом к главе взята «Молитва (1)» из книги «Храм» (1633).

его беспомощность, и ради издевки изобразила на ходу, будто теряет равновесие, но Смоки этого не заметил, поскольку не видел ничего, кроме собственных ног.

В согласии с Ньютоном

— Я хочу сказать, — продолжал доктор Дринкуотер, вновь приблизившись, — что каждое Рождество как будто продолжает предыдущее; промежуточные месяцы не считаются. Рождеству предшествует не осень, а другое Рождество.

— Верно, — подтвердила Мам, которая величаво скользила неподалеку. За нею, как деревянные утята, привязанные к деревянной утке, следовали две внучки. — Едва миновало одно, как, гляди, следующее уже тут как тут.

— Мм-м, — промычал Док. — Я немного другое имел в виду. — Он, как истребитель, сделал вираж и ловко подхватил под руку Софи. — Как делишки, — донесся до Смоки его голос. Софи засмеялась, и оба с изящным наклоном укатили прочь.

— Лучше некуда, — буркнул Смоки; его против воли развернуло и вынесло навстречу Дейли Элис. Столкновение было неотвратимо, и оставалось только пожалеть, что он не привязал себе к заду подушку, как на комических почтовых

открытках. Элис, стремительно выросшая в размерах, мастерски затормозила.

— Как ты думаешь, не пора ли Тейси и Лили в дом? — спросила она.

— Тебе решать. — Мам снова прокатилась мимо, везя на салазках девочек; круглые, обрамленные мехом личики горели, как ягоды. Элис последовала за ними. Пусть дамы посовещаются, подумал Смоки. Ему нужно было освоить простое умение передвигаться на коньках, а домашние то появлялись, то исчезали, и от этого у него начиналось головокружение. — О-па, — сказал он и потерял равновесие, но Софи, внезапно возникшая за спиной, спасла его от падения, подтолкнув вперед. — Ну, что ты поделывала? — спросил он небрежно. Особое чувство: обмениваться приветствиями на общей прогулке.

— Изменяла, — отозвалась она, и от холодного слова в воздухе возникло маленькое облачко.

У Смоки подвернулась левая лодыжка, а правый конек сам собой поехал в сторону. Крутанувшись, Смоки грохнулся на лед, крепко ударившись рудиментом хвоста — при его тощем заде местом тем более чувствительным. Софи, проделывая круг за кругом, тоже едва не падала от смеха.

Сидеть и не вставать, подумал Смоки, пока

копчик не приморозит. Сидеть, как те кусты в оковах льда, пока не наступит оттепель...

Снег, выпавший на прошлой неделе, долго не пролежал. Это был снегопад на одну ночь, наутро он сменился крупным дождем. Джордж Маус с ввалившимися глазами отрешенно шлепал по лужам; все думали, что он подхватил у Софи вирус. Дождь продолжался, подобный неизбывному горю, затопляя низкую обширную лужайку, где тупо и покорно разрушались сфинксы. Потом температура упала, и утром в рождественский сочельник мир предстал серым, как сталь, блестящим ото льда, слившимся с серым, как сталь, небом, где солнце, закрытое тучами, выглядело не более чем белым мазком. Лужайка замерзла и превратилась в каток; Эджвуд сделался похож на миниатюрный домик при игрушечной железной дороге, помещенный рядом с зеркальцем, долженствующим изображать пруд.

Софи по-прежнему каталась вокруг Смоки. Он спросил:

— Ты о чем? Как это изменяла?

Софи только улыбнулась краешком губ и помогла ему подняться. Потом, повернувшись, она проделала непостижимое движение, которое Смоки разглядел, но ни за что на свете не смог бы

скопировать, и легко укатила.

Хотел бы он знать, как другие люди умудряются обойти непреложный закон, гласящий: если один конек катит вперед, то другой непременно назад. Казалось, он вечно будет дергаться и раскачиваться, не двигаясь с места, как единственный здесь, кто пребывает в согласии с Ньютоном. Он упал. Вечного движения не существует. Но в тот же миг Смоки начал как-то его обретать и на онемевшем заду проделал путь по ледяному полю к ступеням веранды, где торжественно восседала на меховой подстилке Клауд, сторожившая обувь и термос.

— И где же обещанный снег? — спросил он, а Клауд отозвалась своей собственной, фирменной улыбкой. Смоки свернул шею термосу и обезглавил его. В одну из чашек, спрятанных в крышечке термоса, он налил чай с лимоном и ромом для себя, в другую — для Клауд. Он пил, а его нос оттаивал, подогретый паром. В душе у Смоки царили уныние и безрассудная досада. Изменяла! Что это — шутка? В давние времена, при первых объятиях, Дейли Элис подарила ему драгоценную жемчужину[121], но когда он попытался повесить

---

[121] Примечания: 121

Дейли Элис подарила ему драгоценную жемчужину... — См. прим. 17.

украшение на шею Софи, жемчуг, как бывает, потемнел, обратился в ничто. Смоки никогда не знал, что Софи чувствует, однако не верил Дейли Элис, от которой слышал, что Софи тоже этого не знает, что она рассеянна, бестолкова, а вдобавок, как и он сам, спит на ходу. Он просто наблюдал, как она ходит туда-сюда, будто бы занятая делом, и задавался вопросами, строил предположения и догадки.

Софи, заложив руки за спину, пересекла лужайку, сделала поворот через ногу и подплыла к крыльцу. На самом краю замерзшего пруда она свернула; при торможении ее конек врезался в лед, выбив из него водопад кристаллов. Софи села рядом со Смоки и, тяжело дыша, забрала из его рук чашку. У нее в волосах Смоки заметил то ли крохотный цветок, то ли ювелирное украшение в виде цветка. Присмотревшись, он различил, что это снежинка, такой идеальной формы, что можно было сосчитать ее лучи и перемычки. Пока он выговаривал: «снежинка», рядом села другая, потом еще одна.

Письма к Санте

Все семьи привыкли по-разному сообщать Санте перед Рождеством о своих желаниях. Многие

загодя посылают письма, адресуя их на Северный полюс. Они не доходят до адресата; почтальоны выдумывают самые чудны́е способы обхождения с этими письмами, но доставка среди них не числится.

Дринкуотеры использовали другой способ (кому и как он пришел в голову, никто не помнил): сжигали свои послания в камине. Более всего для этого подходил камин в кабинете, с синими изразцами (катание на коньках, ветряные мельницы, охотничьи трофеи) и самой высокой трубой. Дым (дети непременно выскакивали наружу, чтобы на него посмотреть) исчезал на севере или, на худой конец, в атмосфере, откуда Санте предстояло извлечь письмо и расшифровать. Процедура сложная, но, судя по всему, эффективная, и к ней всегда прибегали в рождественский сочельник, когда желания сильнее всего.

Важно было соблюдать тайну, особенно взрослым; дети не удерживались и выбалтывали свои желания всем встречным-поперечным. Для Лили и Тейси, так или иначе, письма писали взрослые, которым часто приходилось напоминать девочкам об их просьбах, высказанных прежде: за дни, оставшиеся до Рождества, они съеживались и, как мелкая рыбешка, выскальзывали

из крупного невода детских вожделений. Тебе ведь хотелось братика для Тедди (медвежонка)? Ты еще хочешь ружье как у Дедушки? Коньки с двойными лезвиями?

Не исключено, впрочем, что взрослые сами изобретали эти просьбы.

В исполненный ожидания морозный день сочельника Дейли Элис устроилась с ногами в громадном кресле и положила себе на колени шахматную доску, а на нее — листок бумаги. «Дорогой Санта, — писала она, — пожалуйста, принеси мне новую грелку, любого цвета, кроме розового, который похож на вареное мясо, а еще нефритовое колечко на средний палец правой руки, вроде кольца двоюродной бабушки Клауд». Элис задумалась. Вгляделась в снег, который сыпался на серый мир, на исходе дня едва различимый. «Стеганое платье до пят, — писала она. — Пару пушистых домашних тапочек. Мне бы хотелось, чтобы новый ребенок достался легче, чем два других. Все остальное не так важно, а это, если можно, исполни, пожалуйста. Дождик для елки такой красивый, но сейчас его нигде не найти. Заранее тебя благодарю, Элис Барнабл (старшая сестра)». Элис с детства привыкла делать это добавление, чтобы не было путаницы.

Она помедлила над голубым листочком, почти до конца заполненным ее немногочисленными желаниями. «P. S., — написала она. — Если ты сможешь вернуть мою сестру и мужа оттуда, куда они вдвоем забрели, я буду тебе бесконечно благодарна. ЭДБ».

Элис машинально сложила записку. В странной снежной тишине было слышно, как стучит отцовская машинка. Клауд, оперев щеку о ладонь, писала у круглого столика огрызком карандаша. Глаза ее были влажны; быть может, от слез. Правда, в последнее время взор ее часто подергивался туманом — не исключено, что от старости. Элис откинула голову на мягкую грудь кресла и устремила взгляд в потолок.

Наверху Смоки, налившись чаем с ромом, пристроился писать письмо в воображаемом кабинете. Один лист он испортил, потому что шаткий стол качался под его старательным пером. Подложив под ножку книжечку картонных спичек, Смоки начал снова:

«Дорогой Санта, для начала будет правильнее всего объяснить свое прошлогоднее желание. Не стану оправдывать себя тем, что был навеселе, хотя так оно и было, я и сейчас навеселе (это становится рождественским обычаем, как и все,

что относится к Рождеству; впрочем, о рождественских обычаях ты знаешь лучше всех). Так или иначе, если я тебя шокировал или чересчур затруднил своей просьбой, мне очень жаль; я хотел всего лишь забыть о приличиях и немного выпустить пар. Я знаю (то есть предполагаю), что не в твоей власти дать одному человеку другого, и все же желание мое исполнилось. Может, потому, что я хотел этого больше всего на свете, а когда хочешь чего-то так сильно, то обычно получаешь. Так что я не знаю, благодарить тебя или нет. То есть не уверен, тебе ли я обязан, и не знаю, благодарен или нет».

Смоки пожевал кончик ручки, вспоминая последнее рождественское утро, когда он чуть свет вошел в спальню Софи, чтобы ее разбудить (Тейси не желала ждать). Он раздумывал, нужно ли рассказывать эту историю. До сих пор он держал язык за зубами, однако в наисекретнейшем, обреченном огню письме можно было бы выговориться. Но нет.

Слова Дока о том, что Рождество следует не за предшествующими ему днями, а за другим Рождеством, были чистой правдой. За последнюю неделю Смоки в этом убедился. Не из-за привычного ритуала: привозится на салазках

елка, любовно распаковываются старинные украшения, на дверные перемычки вешается зелень друидов[122]. Лишь за прошлогодним Рождеством все это действо окрасилось особым, глубоким чувством, вовсе не связанным со Святками; последние, когда Смоки был маленьким, ничуть его не зачаровывали, в отличие от Хэллоуина, когда он огненной, дымной ночью гулял в маскарадном костюме (пирата, клоуна). Однако он знал, что отныне каждый раз с приближением праздника это чувство будет укутывать его, как снег. Причиной этого была она, а не Санта, которому он писал.

«Так или иначе, — снова начал Смоки, — в этот раз я не знаю точно, чего бы желал. Мне хотелось бы получить что-то вроде инструмента для заточки старинных газонокосилок. Недостающий том Гиббона[123] (второй), который, видно, кто-то

---

[122] Примечания: 122

...на дверные перемычки вешается зелень друидов. — Плиний Старший (23/24–79) в «Естественной истории» (XVI, 95) пишет, что друиды почитают омелу и дуб, на котором она растет, превыше иных растений и срезают ее золотым серпом на шестой день новой луны, принося в жертву двух белых быков. Считалось, что вечнозеленая омела исцеляет бесплодие, спасает от ядов и всякого зла. В частности, фейри не смогут похитить ребенка, если в колыбель положить побег омелы. В качестве защитного амулета омелу вешали на дверь, что в наши дни делают только на Рождество.

[123] Примечания: 123

Гиббон, Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор монументальной «Истории разрушения и упадка Римской империи» (1776–1788).

взял, чтобы, к примеру, подпереть дверь, и забыл вернуть». Смоки подумал, не упомянуть ли издательство и год издания, но его охватило и глубоко погребло под собой чувство тщеты и безмолвия. «Санта, — писал он, — я хотел бы быть одной личностью, а не целой толпой людей, половина из которых всегда готовы повернуться спиной и сбежать, как только кто-нибудь, — Смоки имел в виду Софи, Элис, Клауд, Дока, Мам, но прежде всего Элис, — бросит на меня взгляд. Я хочу быть храбрым, честным и справляться с тем, что на меня возложено. Не могу оставаться в стороне, когда кучка проныр делает вид, будто выполняет за меня мой жизненный долг». Смоки остановился, поняв, что письмо делается невразумительным. Он задумался над заключительными словами, выражение «Твой, как обычно» счел похожим на насмешку или издевательство и наконец приписал только «Ваш etc.», как всегда делал его отец. Этот вариант выглядел холодным и двусмысленным, но черт с ним. Смоки добавил подпись: Эван

С. Барнабл[124].

Внизу, в кабинете, домашние, прихватив свои письма, собрались за эгг-ногом[125]. Письмо Дока было сложено как настоящее, на обратной его стороне выделялись написанные с нажимом знаки пунктуации. Послание Мам, на обрывке коричневой оберточной бумаги, походило на список покупок. Огонь принял все письма, хотя вначале отверг письмо Лили, которая с визгом пыталась забросить свое послание прямо ему в пасть (бросить листок бумаги по-настоящему невозможно, это она узнала, когда выросла в благодати и премудрости[126]). Тейси настояла на том, чтобы пойти на улицу. Смоки взял ее за руку, посадил Лили себе на плечо, и они вышли под призрачный в свете окон снегопад, чтобы

---

[124] Примечания: 124

Эван С. Барнабл — подлинное имя Смоки созвучно со словом «evanesce» (исчезать как дым, таять, испаряться, пропадать). В главке «Безличность», из которой мы впервые узнаем, что Смоки — это прозвище, Краули дважды использует слова с этим корнем: «изрядное состояние Барнабла *испарилось*» и «*склонность исчезать неуловимо, подобно дыму*» (подгл. «Безличность»). Памятуя о знакомстве Барнабла-старшего с Гарри С. Трумэном, можно предположить, что среднее имя Смоки получил в честь этого президента. Расшифровке «С.» не подлежит, поскольку ничего не обозначает: Трумэна хотели назвать в честь одного из дедов, Андерсона Шиппа (Shipp) Трумэна или Соломона Янга, поэтому инициал стал компромиссом.

[125] Примечания: 125

Эгг-ног — напиток из взбитых яиц с сахаром, ромом или вином, разновидность гоголь-моголя.

[126] Примечания: 126

...выросла в благодати и премудрости... — Выражение восходит к Лк. 2:40: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и Благодать Божия была на нем».

посмотреть, как улетает дым, растапливая по пути снежные хлопья.

Получив корреспонденцию, Санта вынул из-за ушей дужки очков и потер большим и указательным пальцем натруженную переносицу. Чего они от него ждут? Ружье, медвежонок, снегоступы, кое-какие безделки и кое-какие полезные вещи — это ясно. Что до всего остального... Непонятно, о чем теперь люди думают. Но уже поздно; если они, или кто другой, завтра в нем разочаруются, такое случится не в первый раз. Санта снял с крючка меховую шапку, надел рукавицы. Пересекая порог, он уже чувствовал бесконечную усталость, хотя путешествие еще даже и не началось. За дверью сияла всеми цветами радуги арктическая пустыня; блеск мириадов звезд, казалось, звенел, как звенела упряжь северных оленей, когда они вскинули свои косматые головы при звуке шагов Санты, и как зазвенели вечные снега под его сапогами.

Места на всех хватит

Вскоре после Рождества Софи почувствовала себя так, словно ее внутренности разворачивают, чтобы упаковать заново в совершенно ином порядке. Вначале, когда она не знала, в чем дело,

у нее кружилась голова; заподозрив причину, она заинтересовалась, даже испугалась немного. В конце концов, (позднее, когда процесс завершился и новый обитатель устроился как дома) ощущение сделалось приятным, иногда приятным вдвойне, похожим на сладкий сон особого, ранее неизвестного рода, однако исполненный ожидания. Исполненный ожидания! Точные слова.

Когда состояние Софи перестало быть тайной для ее отца, сказать ему было практически нечего, поскольку и сам он мало чем отличался от будущего отпрыска Софи. Будучи родителем, он не мог не сделать серьезной мины, хотя о порицании речи не велось. Он также не задавал вопросов вроде: «И Что теперь с Этим делать». Его пробирала дрожь при мысли о том, что подобные сомнения могли взбрести кому-нибудь в голову, пока он сам зрел в утробе Эми Медоуз...

— Боже мой, ладно, еще на одного места хватит, — сказала Мам, осушив слезы. — Такое не впервые случается на белом свете.

Как и всем прочим, ей хотелось знать имя отца, однако Софи не говорила, а вернее, тихохонько, опустив глаза долу, отвечала, что не скажет. В конце концов домашним пришлось отступиться.

Хотя, разумеется, от Дейли Элис таиться было нельзя.

Дейли Элис узнала новость, а также и тайну, первой, или же второй.

— Смоки, — сказала Софи.

— Ох, Софи. Только не это.

— Смоки, — дерзко повторила Софи в дверном проеме, не желая входить в комнату Элис.

— Не могу поверить, что он на такое способен.

— Чем раньше ты свыкнешься с этой мыслью, тем лучше.

Что-то в лице Софи, а может, жуткая невероятность сказанного заставили Элис усомниться. Сестры молчали, разглядывая друг друга, а потом Элис спросила мягко:

— Софи, ты, никак, спишь?

— *Нет*. — Тон негодующий. Однако утро было раннее, на Софи красовалась ночная рубашка; Смоки не далее как час назад слез, скребя в голове, с высокой кровати, чтобы идти в школу. Софи разбудила Элис, и это было настолько необычно, настолько противоречило обыкновению, что у Элис зародилась надежда... Она откинулась на подушку и закрыла глаза, но тоже не спала.

— Ты подозревала когда-нибудь? — вопросила Софи. — Думала о таком?

— Да, наверное. — Элис прикрыла ладонью глаза. — Конечно да. — Тон Софи указывал на то, что она будет разочарована, узнав о неведении Элис. Внезапно разозлившись, Элис выпрямилась. — Но это! Я говорю о вас обоих! Как вы могли быть такими *недоумками*?

— Наверное, с толку сбились, — отвечала Софи ровным голосом. — Знаешь, как бывает. — Однако, встретив взгляд сестры, она опустила глаза.

Элис подтянулась на постели и села, опершись спиной об изголовье.

— Ты долго будешь стоять в дверях? Я не собираюсь бить тебя или таскать за волосы.

Софи не двигалась с места. Вид у нее был немного растерянный, но немного и вызывающий, как у Лили, когда та, облившись чем-то, боялась, что ее зовут не для того, чтобы заставить вытереть лужу, а задать нахлобучку. Элис нетерпеливо поманила Софи к себе.

Босые ноги Софи тихонько застучали по полу. Когда она вскарабкалась на кровать, на ее лице появилась робкая улыбка. Элис ощутила ее наготу под фланелевой рубашкой. Это напомнило ей о прошлом, о былой доверительной близости. Нас так мало, подумала она, так много в нас любви, а на кого еще ее расходовать? Не удивительно, что

мы постоянно запутываемся.

— Смоки знает? — спросила она хладнокровно.

— Да. Ему я сказала первому.

Элис ранило то, что Смоки промолчал; впервые с появления Софи она ощутила боль. Ей представился Смоки, обремененный этим знанием, в то время как она ни о чем не подозревала. Эта мысль была как раскаленное железо.

— И что он намерен делать? — Вопросы следовали один за другим, как в катехизисе.

— Он не... Не...

— Вы уж лучше решайте что-нибудь, ладно? Вы двое.

У Софи задрожали губы. Первоначальный запас храбрости был на исходе.

— Не надо так, Элис, — взмолилась она. — Я не думала, что ты так себя поведешь. — Она схватила ладонь Элис, но та смотрела в сторону, зажимая себе рот пальцами другой руки. — То есть я знаю, что мы поступали мерзко. — Софи заглядывала Элис в лицо, пытаясь понять, о чем она думает. — *Мерзко*. Но, Элис...

— Я на тебя не сержусь, Соф. — Словно бы против воли Элис сплела свои пальцы с пальцами Софи, но по-прежнему не глядела ей в глаза. — Не сомневайся. — Софи видела, что Элис борется с

собой. Она не осмеливалась открыть рот, только ждала, крепче сжав руку сестры. — Я вот о чем подумала... — Элис снова замолчала; ей пришлось откашляться, потому что у нее перехватило горло. — Вот что. Вспомни: Смоки был выбран для меня, так я всегда думала. Я думала, в нашей истории говорится именно об этом.

— Да. — Софи опустила глаза.

— Только в последнее время я как будто начала забывать. Я *их* уже не помню. Как бывало прежде. То есть *помню*, но вот... чувство. Понимаешь, о чем я? Как бывало прежде, с Обероном; в те времена.

— Элис, как ты могла забыть?

— Клауд говорит, когда взрослеешь, приходится отдавать то, что имела ребенком, взамен на то, что будешь иметь как взрослый человек. Если откажешься, детское все равно потеряешь, а взрослого не получишь. — Голос Элис звучал твердо, но глаза наполнились слезами. Эти слезы можно было принять не за часть Элис, а скорее за часть истории, которую она рассказывала. — И я подумала: значит, я обменяла *их* на Смоки. Они сами устроили эту мену. И все было в порядке. Потому что, даже если я о них больше не помнила, у меня был Смоки. — Тут только ее голос дрогнул.

— Наверное, я ошибалась.

— Нет! — Софи была поражена, словно услышала что-то кощунственное.

— Наверное, это просто... самое заурядное дело. — У Элис вырвался дрожащий вздох. — Похоже, ты была права, когда говорила после моей свадьбы: того, что было прежде, у нас уже не будет. Погодите и увидите, сказала ты...

— Нет, Элис, нет! — Софи схватила сестру за руку, словно стараясь ее удержать. — Эта история была правдива, она *была* правдива, я всегда это знала. Не вздумай, никогда не вздумай это отрицать. Я в жизни не слышала истории красивей, и все сбывалось, в точности как они предсказывали. Я завидовала, Элис, завидовала тому, как чудесно у тебя сложилась судьба...

Элис обернулась к сестре. Увидев ее лицо, Софи поразилась: в нем не было ни печали (хотя в глазах Элис стояли слезы), ни злости, вообще ничего.

— Ну ладно, — произнесла Элис, — теперь, во всяком случае, завидовать нечему. — Она поправила ночную рубашку, соскользнувшую с округлого плеча Софи. — Нам нужно подумать, что делать дальше...

— Это ложь.

— Что? — удивленно воскликнула Элис. — Что ложь, Соф?

— Ложь, ложь! — Исторгая из себя это признание, Софи почти кричала. — Это вовсе не Смоки! Я тебе наврала! — Чтобы не смотреть в отчужденное лицо Элис, Софи, рыдая, приникла головой к ее коленям. — Мне так жаль... Я завидовала, хотела участвовать в вашей истории, вот и все. Разве ты не видишь, он бы никогда на это не пошел, он так тебя любит. И я бы тоже не пошла, но я... но мне тебя не хватало, *не хватало*. Мне тоже хотелось иметь историю, хотелось... Ох, Элис.

Ошеломленная Элис только машинально успокаивала сестру, гладя ее по голове. Потом она сказала:

— Погоди, Софи, слушай. — Обеими руками Элис приподняла голову Софи. — Ты хочешь сказать, что никогда...

Сквозь слезы на лице Софи проступил румянец стыда.

— Нет, это было. Однажды или два раза. — Она предостерегающе подняла ладонь. — Но это всегда была моя вина. Он так плохо себя чувствовал. — Неистовым жестом Софи откинула прилипшие к мокрым щекам волосы. — Всегда так *плохо* себя чувствовал.

— Один или два раза?

— Три.

— Ты хочешь сказать, что вы...

— Три... с половиной. — Чуть ли не хихикая, Софи отерла простыней лицо и шмыгнула носом. — Путается в застежках, целая вечность проходит, пока распутает, — что за удовольствие?

Элис невольно засмеялась. Софи последовала ее примеру, но шмыгать носом не перестала, отчего ее смех походил на рыданье.

— Ну ладно. — Всплеснув руками, она уронила их на колени. — Ладно.

— Погоди минутку. Если это был не Смоки, то кто тогда? Софи?

Софи сказала.

— Нет.

— Да.

— Ну и ну. Но почему ты так уверена? То есть...

Софи перечислила по пальцам причины своей уверенности.

— Джордж Маус, — сказала Элис. — Ну и ну. Софи, ведь это практически кровосмешение.

— Да ну, — отмахнулась Софи, — это было всего-то один раз.

— Но тогда он...

— Нет! — Софи положила руки на плечи Элис.

— Нет. Он знать не должен. Никогда. Элис, обещай. Перекрестись. Не говори ни слова, никогда. Я бы со стыда сгорела.

— Ох, Софи! — Что за удивительный человек, думала Элис, просто поражаешься. На нее нахлынула буря чувств, когда она поняла, что долгое время ей очень не хватало Софи, что она совершенно забыла о сестре и даже о том, как без нее плохо. — Хорошо, что же мы тогда скажем Смоки? Ведь получится, что он...

— Да.

Софи колотило. Ее грудную клетку трясла дрожь. Элис подвинулась, Софи откинула одеяло и, не обращая внимания на задравшуюся ночную рубашку, зарылась в жаркую норку, которую належала Элис. Ступни ее были ледяными, пальцы ног скользили по коже Элис в поисках тепла.

— Это неправда, но что уж такого страшного, если он так будет думать? Я хочу сказать, все же отец как-то нужен, — говорила Софи. — Но ни в коем случае не Джордж, боже упаси. — Она приникла лицом к груди Элис и после паузы добавила чуть слышно: — Я хотела, чтобы это был Смоки. — И после новой паузы: — Так должно было произойти. — Еще более долгое молчание. — Подумай только. Ребенок.

И Элис ощутила улыбку Софи. Возможно ли ощутить улыбку человека, прижавшего лицо к твоей груди?

— Думаю, может, и так. — Она притянула Софи ближе. — Ничего другого мне просто в голову не приходит. — Элис думала о том, какую странную жизнь они ведут; доживи хоть до ста лет, все равно не поймешь. Она, недоумевая, улыбнулась про себя и покачала головой в знак того, что сдается. Каково заключение! Но Элис уже очень давно не видела свою сестру счастливой, и если в этом ее счастье, — а похоже, так оно и есть, — то можно только порадоваться с нею вместе. Для Софи, которая цвела только по ночам, наступил дневной расцвет.

— Он действительно тебя любит, — звучал приглушенный голос Софи. — Он будет любить тебя вечно. — Вздрагивая, она зевнула во весь рот. — Все это правда. Все правда.

Может, так оно и было. В Элис постепенно зрела догадка, обвивая ее душу, как свивались с ее ногами длинные, издавна привычные ноги Софи: может, она ошибалась насчет сделки; может, они потому перестали дразнить ее и заманивать, что давно уже заманили туда, куда им хотелось. Она их не потеряла, но следовать за ними уже не

требовалось, нужное место — вот оно, здесь.

Ахнув, она внезапно прижала Софи к себе.

Но если она на нужном месте, то где именно она находится? И где находится Смоки?

Они готовят дар

Когда пришла очередь Смоки, Элис встретила его так же, как встретила Софи, — сидя в постели, но только откинулась на подушки, подобно восточной царице, и закурила коричневую сигаретку, позаимствованную у Клауд (что делала обычно в хорошем настроении).

— Что ж, — произнесла она важно. — Случился конфуз.

Онемевший от неловкости (и от удивления, поскольку никогда не забывал об осторожности, — говорят, правда, что опасность всегда остается, но как, почему?), Смоки бродил по комнате, брал в руки то одну безделушку, то другую и, поизучав, ставил на место.

— Не ожидал такого, — произнес он наконец.

— Конечно. Я хочу сказать, этого никогда не ждешь. — Элис наблюдала, как Смоки то и дело подходил к окну и выглядывал наружу, словно лелеял коварные замыслы, а луна и снег были его сообщниками. — Желаешь рассказать, что

произошло?

Согнувшись под грузом вины, Смоки отвернулся от окна. Он так давно боялся этого разоблачения, ждал, что толпа неудачно наряженных персонажей, которых он воплощал, будет поймана и выставлена к позорному столбу.

— Прежде всего, это была моя вина. Не сердись на Софи.

— Вот как?

— Я... собственно, я не оставил ей выхода. То есть применил хитрость. Я... я вроде как... вроде как... Ну ладно.

Элис хмыкнула.

Давайте, ряженые, кривляйтесь, кривляйтесь, думал Смоки, с вами все ясно. Со мной. Он прокашлялся, подергал себя за бородку и высказал все или почти все.

Элис слушала, поигрывая сигаретой. Вместе с дымом она старалась выдохнуть сладкий ком великодушия, сгустившийся у нее в горле. Она знала, что нельзя улыбаться, пока Смоки рассказывает, но ощущала в себе такой прилив доброты, так хотела обнять его, коснуться поцелуем храброй и честной души, столь ясно выразившейся в его лице, в глазах. Под конец она сказала:

— Не надо мотаться из угла в угол. Поди сюда

и сядь.

Смоки сел, стараясь занять как можно меньше места на осквернённом им супружеском ложе.

— В конце концов, — сказал он, — это было всего-то раз или два. Я не собирался...

— Три раза. С половиной.

Смоки залился краской до корней волос. Элис надеялась, что вскоре он придет в себя, поднимет глаза и увидит ее улыбку.

— Ладно, ты ведь знаешь, такое не впервые случается на белом свете, — проговорила она.

По-прежнему пряча взгляд, Смоки не исключал, что впервые. Сидевшее у него на коленях, как болванчик чревовещателя, второе «я» смотрело пристыжено. Смоки выговорил наконец:

— Я обещал, что позабочусь о ребенке и все такое. И буду отвечать. Я обязан.

— Конечно. Это совершенно правильно.

— И с прошлым покончено. Клянусь, Элис.

— Не зарекайся. Заранее не скажешь.

— Нет!

— Одним больше, одним меньше.

— Не надо.

— Прости.

— Заслужил.

Робко, не желая затрагивать его вину и раска-

яние, Элис просунула руку под локоть мужа и переплела свои пальцы с его. После мучительной паузы Смоки взглянул на жену. Она улыбалась.

— Болванчик, — сказала она. В ее карих, как бутылочное стекло, глазах он увидел свое отражение. Одно из «я». Что происходило? Под ее взглядом совершалось нечто совсем неожиданное: слияние, сплетение частей, которые не могли выстоять поодиночке, но вместе составляли его существо. — Ты болванчик, — сказала она, и еще одно его эмбриональное, беспомощное «я» отступило обратно внутри него.

— Элис, послушай, — начал Смоки, но Элис прикрыла ладонью его рот, будто преграждая путь наружу существу, которое только что прогнала.

— Хватит, — произнесла она.

Это было удивительно. Она повторила то, что сделала с ним в давние времена в библиотеке Джорджа Мауса, — изобрела его, но на сей раз не из ничего, а из вранья и вымысла. Смоки обожгло ужасом: а если он по глупости зашел так далеко, что потерял ее? А если? И что, черт возьми, он сделал? Мгновенно (иначе бы Элис, качнув головой, остановила его) он предложил ей исправитель-

ную розгу[127], предложил безоглядно; но если она ждала этого, то только для того, чтобы (как она и поступила) тут же вернуть неиспользованной.

— Смоки, — проговорила она. — Смоки, не надо. Послушай. Об этом ребенке.

— Да.

— Кого бы тебе хотелось, мальчика или девочку?

— Элис!..

Она всегда надеялась и почти всегда верила, что они готовят дар и со временем — в свое время — его вручат. Элис думала даже, что, получив его, поймет это. Так и вышло.

Птица из Старого Света

Подобно центрифуге, которая раскручивается с бесконечно малым ускорением, наступавшая весна заставляла их вращаться по все более широким окружностям. Непонятно для них самих она распутывала клубок их жизней и выкладывала кольцами вокруг Эджвуда, как витки золотого ожерелья, которое с наступлением теплых дней

---

[127] Примечания: 127

...он предложил ей исправительную розгу... — См. Притчи Соломоновы. 22:15: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него».

золотилось все больше. Однажды, когда таяли снега, Док совершил долгую прогулку и потом описывал домашним, как выбирались из своих зимних убежищ бобры — он видел пару, четверку, шестерку; как они не один месяц провели в ловушке подо льдом, в пространстве, — вообразите только! — где едва можно повернуться. Мам и остальные кивали и охали, словно ощущение было им хорошо знакомо.

В один из дней Дейли Элис и Софи упоенно копались в грязи у заднего фасада (не столько в целях усовершенствования грядок, сколько ради того, чтобы ощутить под ногтями прохладную возрожденную землю), и им на глаза попалась большая белая птица, лениво спускавшаяся с неба. Она походила на унесенную ветром газету или беглый белый зонтик. Держа в длинном красном клюве палочку, птица уселась на колесо со спицами — составную часть механизма (заржавевшего и навеки остановившегося) старой модели планетарной системы. Обошла его на своих длинных красных ногах. Положила палочку на колесо, пригляделась одним глазом и слегка ее сдвинула. Потом, осмотревшись, принялась клацать клювом и развертывать крылья, как веер.

— Кто это?

— Не знаю.
— Строит гнездо?
— Как будто.
— Знаешь, на кого она похожа?
— Угу.
— На аиста.
— Это не может быть аист, — заявил Док, выслушав их рассказ. — Аисты — птицы европейские, из Старого Света. Им никогда не пересечь большое водное пространство. — Вместе с дочерьми он поспешил на улицу, и Софи садовым совком указала туда, где находились уже две птицы с двумя палочками для гнезда. Они щелкали клювами и сплетали шеи, как новобрачные, которые не могут расцепить объятия, чтобы заняться домашней работой.

Доктор Дринкуотер долгое время не верил собственным глазам, глядел в бинокль, уточнял по справочникам, что это не какой-нибудь вид цапли, а действительно европейский аист, *Ciconia alba*, а потом вернулся, возбужденный, в свой кабинет, чтобы напечатать на машинке в трех экземплярах отчет об этом поразительном, беспрецедентном явлении для отсылки в орнитологические общества, к которым более или менее принадлежал. Разыскивая марки для конвертов,

он все время потихоньку бормотал «поразительно», однако вдруг остановился и задумался. Посмотрел на заметки у себя на столе. Прекратил поиски и медленно сел, глядя в потолок, словно мог разглядеть птиц наверху, на крыше.

Люси, потом Лайлак

Аистиха в самом деле прибыла издалека и из другой страны, но обширного водного пространства, насколько ей помнилось, не пересекала. Место здесь очень подходящее, думала она; с этой высокой крыши ее глаза с красной каймой, глядевшие туда, куда указывал клюв, видели очень далеко. Ей верилось даже, что в ясные жаркие дни, когда бриз ерошит нагретые солнцем перья, можно будет различить и долгожданное освобождение от птичьего тела, в котором она обитала с незапамятных времен. Несомненно, однажды она разглядела даже пробуждение Короля, который еще спал в своей горе и просыпаться пока не собирался. Вокруг лежала погруженная в сон свита; рыжая борода успела так отрасти, что ее концы, как усики плюща, обвились вокруг ножек пиршественного стола, на который Король уронил голову. Аистиха видела, как он засопел и дернулся, словно встревоженный сном, который

может его пробудить, и ее сердце дрогнуло, ибо — несомненно — после его пробуждения и ей недолго останется дожидаться свободы.

Но в отличие от некоторых, кого она могла бы назвать, аистиха не теряла терпения. Она еще раз выведет из похожих на камешки яиц взъерошенных малышей. Будет важно бродить среди водорослей Пруда с Лилиями и истреблять ради их пропитания несчетное множество лягушек. Будет любить своего временного супруга, настоящего душку, терпеливого и заботливого, замечательного помощника в уходе за детьми. Она не станет тосковать: тоска губительна.

И когда они все отправились по длинной и пыльной дороге очередного лета, Элис разрешилась от бремени. Свою третью дочь она назвала Люси, хотя Смоки считал, что это имя чересчур схоже с двумя другими именами — Тейси и Лили, — и не сомневался, что два или три десятка лет будет их путать.

— Ничего-ничего, — утешила его Элис. — По крайней мере, это последний ребенок. — Но она ошибалась. Ей предстояло еще выносить мальчика, хотя даже Клауд об этом пока не знала.

Так или иначе, если целью их стремлений было породить потомство, что осознала однажды Софи,

когда устроилась подремать в павильоне у озера, то год выдался на редкость удачным: после равноденствия (когда грянули заморозки, оставившие лес пыльным и серым, но зато призрачное лето длилось затем без конца, так что из земли тут и там повылезали крокусы, а из могил — неупокоенные души индейцев[128]) Софи родила ребенка, отцом которого стали считать Смоки. Для пущей неразберихи она дала дочери имя Лайлак, потому что видела однажды во сне, как в комнату вошла ее мать с большой охапкой лиловой сирени[129], а когда проснулась, мать появилась наяву, с новорожденной на руках. Тейси и Лили пришли тоже. Тейси бережно несла трехмесячную Люси, чтобы та тоже посмотрела на младенца.

— Смотри, Люси! Видишь ребеночка? Совсем как ты.

Лили встала на цыпочки, чтобы заглянуть в

---

[128] Примечания: 128

...призрачное лето длилось затем без конца, так что из земли тут и там повылезали крокусы, а из могил — неупокоенные души индейцев... — Намек на «индейское лето», которое мы называем «бабьим». Ср. название предыдущего романа Краули «Engine Summer» («Машинное лето», 1979) — еще один пример игры с идиомой «Indian summer»; по-русски из «бабьего лета» можно сделать разве что «жабье» — но, увы, нужны именно машины.

[129] Примечания: 129

...она дала дочери имя Лайлак, потому что видела однажды во сне, как в комнату вошла ее мать с большой охапкой лиловой сирени... — Считается, что запах сирени приманивает фейри в сад.

лицо Лайлак, которая мирно спала под воркование Софи.

— Она не останется надолго, — произнесла девочка, после того как хорошенько изучила младенца.

— Лили! — встрепенулась Мам. — Что за ужасные вещи ты говоришь!

— Не останется. — Лили бросила взгляд на Тейси. — А ты как думаешь?

— Нет. — Тейси поудобнее перехватила Люси. — Но это ничего. Она вернется. — Видя, как поражена бабушка, она добавила: — Не волнуйся, она не умрет и не заболеет. Просто она не останется.

— Но она вернется, — вмешалась Лили. — Позже.

— Откуда вы все это взяли? — спросила Софи, не совсем уверенная, что вернулась на свет и слышит эти слова в действительности.

Девочки одновременно пожали плечами; так, быстро дернув плечами и бровями, они показывали обычно, что знают, и все тут. Они следили за тем, как Ма, покачивая головой, помогла Софи пристроить бело-розовую Лайлак к груди (восхитительное ощущение сладкой муки). Вялая от усталости и изумления, Софи снова заснула, а за нею — и, наверное, с теми же чувствами

— Лайлак; хотя пуповина, их соединявшая, была перерезана, они, быть может, видели один и тот же сон.

На следующее утро аистиха покинула крышу Эджвуда и свое разоренное гнездо. Дети уже улетели, не простившись и не попросив прощения (чего она от них и не ждала), муж — тоже, в надежде встретиться следующей весной. Сама она ожидала только прибытия Лайлак, чтобы принести эту новость (она не нарушала свои обещания). Теперь аистиха пустилась в направлении, противоположном тому, которое избрало ее семейство; она следовала за своим клювом, веерообразные крылья зачерпывали свет осеннего утра, ноги волоклись за телом, как флажки.

Маленькая, большая

Подобно Луговому Мышонку не желая верить в Зиму, Смоки упивался летним небом и до поздних ночных часов имел обыкновение лежать на земле и глазеть вверх, хотя наступил уже месяц с буквой «р» в названии и Клауд утверждала, что это плохо для нервов, костей и тканей. Странно, что в качестве напоминания о лете он избрал именно звездный небосвод, переменчивый и зависимый от времен года; правда, вращение небес

происходило так медленно и казалось таким невозможным, что вид их успокаивал и ободрял Смоки. И все же достаточно было взглянуть на наручные часы, чтобы убедиться: созвездия, как и гуси, удаляются на юг.

В ночь, когда взошел Орион и сел Скорпион, ночь теплую, ибо такая выпала погода, но все же последнюю ночь лета, ибо на это указывали созвездия, Смоки, Софи и Дейли Элис лежали навзничь на общипанном овцами лугу, сблизив головы наподобие трех яиц в гнезде, едва различимом в ночном свете. Когда кто-нибудь из них тянул руку к звезде, остальные могли направить взгляд приблизительно туда же, иначе они повторяли бы всю ночь; «Вот она, там, куда я показываю», неспособные сделать параллактическую поправку на миллиарды миль[130]. У Смоки на коленях лежала открытая книга по астрономии, в которую он заглядывал при свете ручного фонарика, обернутого, чтобы не слепил глаза, в красный целлофан от голландского сыра.

— Камелопард, — проговорил он, указывая на манящее ожерелье на севере, слегка размытое,

[130] Примечания: 130

...параллактическую поправку на миллиарды миль. — Параллакс (греч. parallaxis — отклонение) — видимое угловое изменение положения небесного светила вследствие перемещения наблюдателя.

потому что горизонт еще слабо светился. — Это он, Камелопард.

— А что такое камелопард? — снисходительно спросила Элис.

— Собственно, жираф, — пояснил Смоки. — Камел-леопард. Камел, то есть верблюд, с леопардовыми пятнами.

— А что жираф делает на небе? — спросила Софи. — И как он туда попал?

— Бьюсь об заклад, ты не первая, кто задает этот вопрос, — со смехом отозвался Смоки. — Представляешь, как были поражены те, кто впервые его обнаружил, как они спрашивали: «Бог мой, что там делает жираф?»

Небесное зверье, которое, будто сбежав из зоопарка, устремлялось через жизни мужчин и женщин, богов и героев; пояс зодиака (той ночью все их знаки зодиака были скрыты, поскольку несли солнце по южному кругу); невероятная пыль Млечного Пути, изогнувшегося над ними подобием радуги; Орион, который, следуя за своей собакой Сириусом, готовился перенести ногу через горизонт. Они обнаружили восходящий знак того мгновения. На западе рождался немигающий Юпитер. Весь огромный пляжный зонт, в блестках, с каймой из тропиков, вращался на изо-

гнутой ручке вокруг Полярной звезды, слишком медленно, чтобы это движение улавливал глаз, однако непрерывно.

Смоки, набравшийся школьной премудрости, пересказывал взаимосвязанные истории созвездий. Картины были настолько бесформенны и неполны, а истории — по крайней мере, некоторые — настолько тривиальны, что Смоки был склонен в них верить. Геркулес был так на себя не похож, что найти его можно было только одним способом: получить от кого-нибудь известие, что он появился на небе, а также указание, где его искать. Как лишь одно из деревьев ведет свое происхождение от Дафны, другие же принадлежат к простому роду, как лишь один из цветков, растущий в горах, может похвалиться божественным предком, так и Кассиопея словно бы по случайности выделена из людского сообщества и помещена среди звезд (вернее, помещено ее кресло). Той же чести удостоились чья-то корона, чья-то лира; чердак богов.

Софи, которая не умела выделять из пестрой картины небес отдельные рисунки, а просто лежала, загипнотизированная их близостью, больше всего удивлялась тому, что одни персонажи были помещены на небосвод в качестве

награды, а другие — в наказание; прочие же, по-видимому, пребывали там всего лишь как статисты в чужой драме. Это ей казалось неправильным, но она не могла решить, в чем именно состоит несправедливость: в том, что они безвинно обречены на вечное заточение, или в том, что они, не имея никаких заслуг, спасены, возведены на престол, получили в дар бессмертие. Она подумала об их собственной повести, в которой участвовали они трое, повести неизменной, как созвездия, повести странной настолько, чтобы помниться вечно.

Земля на этой неделе проходила через хвост давно уже скрывшейся кометы; каждую ночь на атмосферу обрушивался дождь обломков, сгоравших в ней белым пламенем.

— Иные не больше гальки или булавочной головки, — рассказывал Смоки. — Это от них сейчас осветился воздух.

Но на сей раз Софи ясно видела падающие звезды. Она подумала, что, быть может, удастся выделить одну из них и проследить ее падение: мгновенную яркую вспышку, от которой ахаешь, а сердце наполняется ощущением бесконечности. Не достойна ли зависти такая участь? Ее рука нашла в траве ладонь Смоки; другую руку уже

держала сестра, сжимавшая ее всякий раз, как сияние канет с высот[131].

Дейли Элис не могла сказать, чувствует она себя огромной или маленькой. Гадала, то ли ее голова настолько большая, что туда вмещается вселенная звезд, или вселенная настолько мала, что ей достаточно объема человеческой головы? Она колебалась между двумя ощущениями: то ли роста, то ли сжатия[132]. Звезды сновали туда-сюда через обширный портал ее глаз, под гигантским полым куполом ее лба. Потом Смоки взял ее за руку, и она сжалась до крупинки, но внутри нее, как в миниатюрной шкатулке для драгоценностей, все еще сохранялись звезды.

Они лежали долго, ленясь разговаривать. Каждый погрузился в странное, физическое ощущение эфемерной бесконечности — парадоксальное, но несомненное. И если звезды были так близки, как казалось, и полны лиц, то они тоже видели внизу созвездие из трех звездочек, колесико на темном кружащемся небе луга.

---

[131] Примечания: 131

...сияние канет с высот. — «Brightness falls from the air» — крылатое выражение из стихотворной драмы Томаса Нэша (1567–1601) «Последняя воля и завещание Лета» (1600).

[132] Примечания: 132

Она колебалась между двумя ощущениями: то ли роста, то ли сжатия. — Ср. постоянные колебания роста Алисы в Стране чудес.

Ночь солнцестояния

Входа в комнату не было, кроме крохотной дырочки в углу окна, куда задувал в полночь ветер, накапливая на подоконнике продолговатую кучку пыли. Но им хватило места, и они вошли.

Трое встали в спальне Софи тесной группой, сблизили головы в коричневых колпачках. Бледные лица походили на маленькие луны.

— Смотрите, спит без задних ног.

— Да, и на руках у нее спящий ребенок.

— Ого, крепко держит.

— Не так уж крепко.

Как единое целое, они придвинулись к высокой кровати. Лайлак, закутанная от холода в конверт с капюшоном, дышала Софи в щеку, пар сгущался на ней каплями влаги.

— Тогда бери ее.

— Бери сам, если ты такой прыткий.

— Попробуем вместе.

К Лайлак потянулось шесть длинных белых рук.

— Подожди, — сказал один. — А у кого другая?

— Ты должен был ее принести.

— Не я.

— Вот она, вот.

На свертке размотали веревки.

— Ого. Не больно похожа.

— Что же делать?

— Подыши на нее.

Сгрудившись вокруг свертка, они стали по очереди на него дышать. Один время от времени поглядывал на спящую Лайлак. Дышали до тех пор, пока существо не сделалось ее точной копией.

— Так сойдет.

— Прямо две капли воды.

— Теперь бери...

— Стоп. — Один, чуть-чуть оттянув одеяло, внимательно присмотрелся к Лайлак. — Глядите. Она запуталась ручонками в волосах матери.

— Держится.

— Если взять ребенка, мать проснется.

— Тогда вот так. — Один вынул большие ножницы, сверкнувшие в свете ночника, и со сдавленным хихиканьем раскрыл. — Теперь все пойдет как надо.

Один из них держал фальшивую Лайлак (она не спала, но и не двигалась и смотрела пустыми глазами; ночь в объятиях матери должна была это исправить), другой тянулся, чтобы сразу забрать у Софи настоящую Лайлак, третий орудовал

ножницами. Дело было сделано в мгновение ока, ни мать, ни ребенок не проснулись. Принесенное существо пристроили на грудь Софи.

— Теперь прочь.

— Легко сказать. Выйти нужно не там, где вошли.

— Вниз по лестнице и через их выход.

— Придется.

Передвигаясь согласованно и бесшумно (старый дом испускал время от времени вздохи и стоны, однако он и без посторонних никогда не молчал), они добрались до парадной двери. Один, встав на цыпочки, открыл ее, и все, с попутным ветром, быстро пошагали прочь. Лайлак молча спала (обрезки золотистых волос в ее кулачках постепенно сдуло ветром), Софи тоже не пробуждалась и ничего не почувствовала, только в сюжете ее длинного сна произошел крутой поворот, он сделался печальным и давящим — прежде она подобных снов не видела.

Во всех направлениях

Смоки был вырван из сна каким-то внутренним движением; едва успев открыть глаза, он тут же забыл, что его пробудило. Тем не менее он бодрствовал, словно бы на дворе стоял полдень, и

задавал себе вопрос, не вызвано ли это неприятное состояние какой-нибудь едой. Час был совсем неподходящий: четыре утра. Не веря, что сон покинул его окончательно, Смоки решительно закрыл глаза. Но вскоре убедился, что заснуть не удастся: чем дольше он наблюдал, как, меняя очертания, сновали по экрану век цветные пятна, тем менее это зрелище усыпляло, становясь бессмысленным и неинтересным.

Он очень осторожно выскользнул из-под горы одеял и начал нашаривать в темноте свою одежду. От этого состояния ему было известно только одно средство: встать и бодрствовать, пока сон не смилуется и не вернется. Смоки осторожно коснулся ногой пола, стараясь не наступить на обувь или еще какое-нибудь препятствие, чтобы не навлечь такую же неприятность на Дейли Элис. Добрался он до двери удовлетворенный тем, что не потревожил ни жену, ни вообще ночное спокойствие. Он пройдется по холлам, спустится по лестнице, включит в одной-двух комнатах свет — а там, глядишь, можно будет вернуться в постель. Смоки со всей осмотрительностью закрыл за собой дверь, и тут проснулась Дейли Элис — не от стука, а от того, что в ее мирный сон вторглось неслышно его отсутствие.

Явившись с черной лестницы, Смоки обнаружил, что свет в кухне уже горит. Двоюродная бабушка Клауд вздрогнула и тихонько вскрикнула при виде открывающейся двери, а когда в щелку просунулся всего лишь Смоки, успокоенно вздохнула. Перед Клауд стоял стакан теплого молока; ее длинные, много лет не стриженные волосы свисали обильными блестящими прядями, седые, как у Гекаты[133].

— Ты меня напугал, — сказала она.

Они тихо потолковали о бессоннице, хотя, кроме мышей, тревожить здесь было некого. Видя, что Клауд, как и он, надеется вернуть себе сон при помощи хлопот по хозяйству, Смоки позволил ей подогреть для него молока. В свою кружку он плеснул немалую толику бренди.

— Прислушайся, как воет ветер, — проговорила Клауд.

Сверху донеслось продолжительное бульканье и журчание: кто-то спустил воду в туалете.

— Кого там носит? — спросила Клауд. — Бессонная ночь, и безлунная к тому же. — Она поежилась. — Словно случится несчастье или придет важная новость — весь дом на ногах.

---

[133] Примечания: 133

Геката — в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства. В волосах ее вьются змеи.

Ладно. Может, обойдется. — В ее голосе прозвучало инстинктивное сомнение — так произносят обычно «Господи, спаси».

Согревшийся Смоки встал и с ноткой покорности сказал «ну ладно». Клауд начала листать поваренную книгу. Он надеялся, что ей — а также и ему — не придется досидеть до самого рассвета.

С верхней площадки лестницы он не направился в собственную кровать, где, как он чувствовал, мирный сон его пока не ожидал. Смоки свернул к комнате Софи, затем только, чтобы немного на нее поглядеть. Ее спокойствие бывало временами заразительным; глядя на нее, он и сам успокаивался. Открыв дверь, Смоки обнаружил при тусклом, как луна, свете ночника, что на краешке постели кто-то сидит.

— Привет, — произнес Смоки.

— Привет, — отозвалась Дейли Элис.

В воздухе был разлит странноватый запах: так могли пахнуть прелые листья, или кружева времен королевы Анны[134], или, скажем, земля под перевернутым камнем.

— Что стряслось? — мягко спросил Смоки, са-

---

[134] Примечания: 134

...*времен королевы Анны*... — т. е. начала XVIII века (годы правления 1702–1714).

дясь на противоположный край постели.

— Не знаю. Ничего. Я проснулась, когда ты вышел. У меня было чувство, будто что-то случилось с Софи, и я пришла проверить.

Можно было не бояться, что их тихая беседа потревожит Софи: когда поблизости кто-нибудь разговаривал, ее сон становился еще слаще, дыхание — глубже и размеренней.

— Как бы то ни было, все в порядке.

— Да.

Ветер пытался свернуть дом с места, атакуя его бешеными порывами; окна дребезжали. Смоки обратил взор к Софи и Лайлак. Последняя выглядела совершенно неживой, однако Смоки, произведшему на свет троих детей, было известно, что причин для тревоги нет: в темноте может почудиться и не такое.

Супруги сидели молча по обе стороны от Софи. Внезапно ветер выдохнул через глотку камина одно-единственное слово. Смоки взглянул на Элис, она тронула его за руку и бегло улыбнулась.

Чья улыбка вспомнилась ему при этом?

— Все нормально, — кивнула Элис.

Смоки вспомнил, как улыбнулась ему двоюродная бабушка Клауд в день его свадьбы, когда он сидел, встревоженный, на лужайке перед летним

домиком Оберона. Эта улыбка должна была его ободрить, но не ободрила. Улыбка сближения, которая еще больше разъединяет. Сигнал дружбы, посланный из непоправимо чуждых сфер; взмах руки по ту сторону границы.

— Ты не чувствуешь какой-то странный запах? — спросил Смоки.

— Да. То есть нет. Чувствовала. А теперь он исчез.

Так оно и было. Комнату наполнял только ночной воздух. Волны ветра снаружи порождали в нем мелкие течения, которые то и дело овевали лицо Смоки. Однако его воображению представился не проносящийся мимо Братец Северный Ветер, а иной образ: сам их многоугольный дом плывет под парусом через ночь, стремится в будущее, упорно рассекая волны во всех направлениях.

Книга третья. Ветхозаветная ферма

Глава первая

Допущенные входили во внутренние покои через зеркальную дверь, которая сообщалась с галереей и была заперта на замок. Чтобы тебе отворили, нужно было поскрестись, а когда войдешь, дверь за тобой немедленно запрут снова.

***Сен-Симон*[135]**

Миновало четверть века.

Однажды вечером, поздней осенью, Джордж Маус шагнул в окно комнаты на четвертом этаже его городского дома, служившей библиотекой, и пересек крытый мостик, который вел к окну соседнего многоквартирного дома, в комнату, служившую прежде кухней. В экс-кухне было темно и холодно; в свете фонаря, который Джордж Маус взял с собой, был виден пар от его дыхания. Шаги и свет распугивали крыс и мышей; Джордж слышал, как они скреблись, но ни одной не видел.

---

[135] Примечания: 135

Сен-Симон. — В эпиграфе (точный источник не найден) Краули, вероятно, цитирует не Клода Анри де Рувруа Сен-Симона (1760–1825), французского мыслителя-утописта, а Луи де Рувруа Сен-Симона (1675–1755), автора мемуаров о дворе Людовика XIV, в 21 т. (опубл. частично в 1788–1789, полностью — в 1829–1831).

Не открывая двери (таковая здесь отсутствовала уже не один год), Джордж вышел в коридор и стал осторожно спускаться по лестнице. Осторожно, потому что ступеньки — там, где они наличествовали, — были гнилые и едва держались.

Защита от посторонних

Этажом ниже горели огни и звучал смех; по дороге Джорджа приветствовали люди, сновавшие туда-сюда с обеденными принадлежностями. По общим помещениям бегали дети. Но на первом этаже его снова встретила темнота: здесь не было ничего, кроме кладовых. Высоко подняв фонарь, Джордж взглянул на противоположную стену темного холла, где помещалась дверь на улицу, и убедился, что она надежно заперта на мощные засовы, цепочки и замки. Вынимая на ходу огромную связку ключей, он обогнул лестницу и приблизился к подвальной двери. На ней висел замок Сигала[136], который отпирался почерневшим, как старый пенни, ключом со специальной отметкой.

Каждый раз, открывая подвальную дверь,

---

[136] Примечания: 136

Замок Сигала — один из замко́в, изобретенных Сэмюелем Сигалом в начале XX века.

Джордж тревожил себя вопросом, не пора ли повесить на нее хороший новый замок: старый был уже едва жив и походил скорее на игрушку, его легко взломал бы любой желающий. И каждый раз приходил к решению, что новый замок только привлечет внимание к двери, на которую, между прочим, достаточно было нажать плечом, чтобы удовлетворить свое любопытство, будь на ней новый замок или старый.

Да, все они очень поднаторели в деле защиты от посторонних.

Вниз по лестнице, с еще большей оглядкой, ведь одному богу было известно, кто завелся среди этих ржавых труб, старых котлов и жутких обломков. Однажды он наступил на нечто большое, мягкое и мертвое и едва не сломал себе шею. У подножия лестницы он повесил фонарь, направился в угол и подтащил старый сундук, чтобы, встав на него, дотянуться до высоко подвешенной полки, недоступной крысам.

Джордж получил однажды подарок, предсказанный давным-давно двоюродной бабушкой Клауд (от незнакомца и не денежный); произошло это давно, и Джордж не знал тогда, что с этим подарком делать. Даже не научившись еще им пользоваться, Джордж, на свой Маусов лад,

таился от окружающих, потому что рос на улице, младшим в шумном семействе. Всех приводил в восторг сильнодействующий мускусный гашиш, в котором Джордж, судя по всему, никогда не испытывал недостатка, и все стремились его заполучить, но Джордж не хотел (и не мог) связать их со своим дилером (который давно умер). Джордж щедро угощал знакомых и у себя дома всегда держал для них набитую трубку. Иногда, выкурив трубочку-другую, он оглядывал свою одурманенную компанию и чувствовал себя виноватым, оттого что предается радостям втайне; огромный, вдохновляющий, поразительный секрет вертелся у него на языке, но всякий раз он удерживался и молчал.

Однажды Смоки, ни о чем не подозревая, открыл Джорджу источник его благополучия.

— Я читал где-то, — проговорил он (любимое его начало разговора), — что пять или шесть десятков лет назад в этом районе жили выходцы с Ближнего Востока. Целая куча ливанцев. В кондитерских лавчонках и тому подобных местах в открытую продавали гашиш. Наравне с ирисками и халвой. За пять центов можно было отовариться под завязку. Большие куски. Как плитки шоколада.

В самом деле, они очень походили на плитки

шоколада... Это Открытие обрушилось на Джорджа, как большой деревянный молоток на голову мультипликационного мышонка Мауса.

Впоследствии, отправляясь вниз за своими тайными запасами, Джордж неизменно воображал себя левантинцем с козлиной бородкой и крючковатым носом, в феске, тайным педерастом, который раздает пахлаву оливково-смуглым уличным мальчишкам. Он суетливо пристраивал старый сундук, вскарабкивался на него (придерживая обтрепанные полы воображаемого халата) и поднимал крышку деревянного ящика с узорчатой надписью витыми буквами.

Осталось немного. Скоро придется сделать повторный заказ.

Под толстым слоем серебряной фольги лежали слои гашиша. Они были отделены один от другого желтой промасленной бумагой. Сами плитки тоже были плотно завернуты в промасленную бумагу, но другого сорта. Джордж взял две плитки, чуть поразмыслил и нехотя положил одну обратно. Много лет назад, обнаружив, чем владеет, он в изумлении воскликнул, что этого запаса хватит навечно, однако теперь понял обратное. Он вернул на место слой промасленной бумаги, потом слой фольги, потянул к себе тяжелую

крышку и насадил ее на старинные бесформенные гвоздики. Потом подул на ящичек, чтобы на нем равномерно осела пыль. Спустившись с сундука, Джордж при свете фонаря изучил плитку — так же, как в первый раз, под электрической лампочкой. Он осторожно развернул бумагу. Плитка была темная, как шоколад, размером походила на игральную карту, а толщиной не превышала одной восьмой дюйма. На ней был виден изогнутый отпечаток. Торговая марка? Фискальное клеймо? Мистический знак? За все годы Джордж так этого и не определил.

Он толкнул обратно в угол сундук, который использовал как подножку, поднял фонарь и стал подниматься по лестнице. В кармане его шерстяного джемпера лежал кусок гашиша давности, наверное, лет в сто, нисколько не потерявший за это время своих качеств (как давно понял Джордж). Возможно, он, как выдержанный портвейн, с годами сделался еще лучше.

Новости из дома

Пока Джордж запирал подвал, в уличную дверь постучали, причем так неожиданно, что он вскрикнул. Он немного выждал, надеясь, что это чудит какой-то полоумный и стук не повторится.

Но тот повторился. Джордж подошел к двери, молча прислушался и уловил раздраженное ругательство. Потом кто-то с ворчанием схватился за решетку и начал ее трясти.

— Бесполезная затея, — выкрикнул Джордж. Решетку перестали трясти.

— Откройте дверь.

— Что-что? — Джордж привык, затрудняясь с ответом, прикидываться, будто не расслышал собеседника.

— Откройте дверь!

— Ну, я просто так дверь не открываю, приятель. Вы ведь соображаете.

— Послушайте. Не скажете ли, где тут двести двадцать второй дом?

— А кто спрашивает?

— Почему все в этом городе отвечают вопросом на вопрос?

— А?

— Почему, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, вы не откроете дверь и не поговорите со мной как человек с человеком?!

Тишина. Тронутый прозвучавшей в этом выкрике отчаянной безысходностью, Джордж ждал под дверью продолжения. Чувствуя себя в безопасности под защитой двери, он возбужденно

дрожал.

— Будьте добры, — начал незнакомец, и Джордж слышал в его голосе ярость, прикрытую вежливостью, — не скажете ли, если вам известно, где я могу найти дом Мауса или самого Джорджа Мауса?

— Скажу. Это я. — Рискованное признание, но время было слишком позднее для кредиторов или судебных курьеров, даже для самых настойчивых. — Кто вы?

— Меня зовут Оберон Барнабл. Мой отец... — Но его голос уже заглушили лязганье замков и скрип засовов. Джордж высунулся во тьму, схватил стоявшего на пороге посетителя и втянул его в холл. Ловко, в одно мгновение, захлопнул дверь и задвинул засовы, а потом поднял лампу, чтобы оглядеть своего родственника.

— Так ты — тот самый ребенок. — Видя, насколько неуместны эти слова по отношению к высокому юноше, Джордж испытал от них извращенное удовольствие. В подвижном свете фонаря выражение лица гостя все время менялось, хотя на самом деле лицо не было переменчивым. Оно было узким и непроницаемым. Собственно, весь облик Оберона, стройного и аккуратного, как карандаш, в отлично сидевшей узкой черной

одежде, говорил о некоторой суровости и отчужденности. Только что был зол как черт, подумал Джордж. Он засмеялся и похлопал гостя по руке. — Привет, как там твои? Как Элси, Лейси и Тилли или как их там?[137] Что тебя сюда привело?

— Отец все написал. — Оберон как будто не хотел тратить время на пространные объяснения.

— Правда? Ну, как работает почта, ты знаешь. Так-так. Пойдем. Нечего торчать в холле. Здесь собачий холод. Кофе и все прочее?

Сын Смоки дернул плечом.

— Осторожней на лестнице, — предупредил Джордж, и нить света от лампы вывела обоих через многоквартирный дом и мостик на потертый ковер, бывший свидетелем первой встречи родителей Оберона.

Где-то по дороге Джордж прихватил с собой старый кухонный стул о трех с половиной ногах.

— Ты что, удрал из дома? Садись. — Джордж подтолкнул Оберона к потертому креслу.

— Я ушел с ведома отца и матери, если вы об этом, — отозвался Оберон с оттенком высокомерия, который Джордж счел вполне понятным.

---

[137] Примечания: 137

Как Элси, Лейси и Тилли или как их там? — «Элси, Лэси и Тилли» (Краули не совсем точно называет имена) — барышни, живущие, согласно рассказу Сони, в кисельном колодце («Алиса в Стране чудес», гл. VII).

Потом Оберон испуганно вжался в спинку кресла: Джордж хрюкнул, со зверским видом поднял ломаный стул над головой, и, скривив лицо от усилия, грохнул его о каменный камин. Стул разлетелся в куски.

— Они одобрили? — спросил Джордж, бросая обломки в огонь.

— Конечно. — Оберон скрестил ноги и поддернул на коленях брюки. — Отец написал. Я говорил уже. Он велел навестить вас.

— А, понятно. Ты пришел пешком?

— Нет. — Отрезал несколько презрительно.

— И ты отправился в Город...

— Искать счастья.

— Ага. — Джордж подвесил над огнем котелок и снял с книжной полки драгоценную жестянку с контрабандным кофе. — И как оно, по-твоему, должно выглядеть? Имеешь представление?

— Нет, ничего определенного. Только... — Джордж, готовя кофе и расставляя разномастные чашки, нечленораздельно бормотал что-то одобряющее. — Я хотел, то есть я хочу писать или стать писателем. — Джордж поднял брови. Оберон заерзал в кресле с крыловидной спинкой, словно эти признания вырвались у него против воли и он пытался их удержать. — Я подумывал

про телевидение.

— Не тот берег.

— Что?

— Все телевидение делается на Солнечном, на Золотом, на Западном побережье. — Оберон, зажав правую ступню под левой икрой, замкнулся в молчании. Джордж начал что-то искать на книжных полках, в ящиках, охлопывать свои многочисленные карманы, раздумывая, как это архаичное желание проложило себе дорогу в Эджвуд. Удивительно, с какими надеждами молодые берутся за это умирающее ремесло. Во времена его молодости, когда последние поэты сочиняли нечленораздельные строки, как светляки, погасшие в росистых лощинах[138], за поэзию взялись юноши едва за двадцать... Наконец он обнаружил то, что искал: подарочный нож для бумаги в форме кинжала, отделанный эмалью. Несколько лет назад он нашел его в одной из заброшенных комнат и хорошенько наточил. — Для телевидения требуется пропасть честолюбия и энергии. А провалы случаются на каждом шагу.

---

[138] Примечания: 138

...последние поэты сочиняли нечленораздельные строки, как светляки, погасшие в росистых лощинах... — Парафраз строк из стихотворения Шелли «Жаворонок» (1819). Ср. перевод В. Левика: «Как светляк зеленый, / Вспыхнувший в тени / Рощи полусонной...»

— Джордж налил воду в кофейник.

— Откуда вы знаете? — тут же спросил Оберон, хотя ему и раньше неоднократно приходилось выслушивать эту взрослую мудрость.

— Потому, — сказал Джордж, — что у меня этих качеств нет и я не провалился на этом поприще, поскольку у меня их нет, что и требовалось доказать. Кофе выбегает. — Мальчик не соизволил улыбнуться. Джордж водрузил кофейник на подставку, украшенную шутливой надписью на пенсильванско-голландском арго, и вскрыл жестянку с печеньем, по большей части ломаным. В дополнение он вынул из кармана джемпера гашиш. — Любишь? — Не выказав, как он думал, ни малейшей жадности, Джордж продемонстрировал плитку Оберону. — Лучший ливанский. Наверное.

— Я не употребляю наркотики.

— Ага.

Точно наметив порцию, Джордж отрезал своим флорентийским инструментом уголок плитки, раскрошил его кончиком ножа и кинул в свою чашку. Помешивая содержимое чашки ножом, он глядел на родственника, который старательно и деловито дул на свой кофе. До чего же хорошо быть старым и седым и уметь брать от жизни все

в пределах разумного.

— Итак, — произнес Джордж. Он вынул нож из кофе и увидел, что гашиш уже почти весь растворился. — Расскажи нам свою историю.

Оберон молчал.

— Ну давай, выкладывай. — Джордж с жадностью глотнул ароматное варево. — Новости из дома.

Сперва пришлось клещами тянуть из Оберона слова, но к ночи он начал говорить связными фразами и даже снизошел до целых историй. Джордж был удовлетворен; его приправленный кофе кончился, а из пересказанных Обероном обрывков составилась целая жизнь, полная занимательных подробностей и странных совпадений, сильных чувств и даже волшебства — да, волшебства. Заглядывая в потаенные глубины сердца своего родственника, Джордж чувствовал себя так, будто созерцает в распиленной пополам раковине моллюска, который уютно там свернулся.

Что услышал Джордж Маус

Оберон покинул Эджвуд рано, пробудившись, как и собирался, перед рассветом — способность просыпаться, когда сам решит, он унаследовал от

матери. Он зажег лампу. Оставался еще час или два до того времени, когда прошаркает в подвал Смоки, чтобы запустить генератор. В низу груди, в диафрагме, чувствовалась напряженность и дрожь, словно что-то стремилось выбраться оттуда наружу. Ему было знакомо выражение «бабочки в животе», но он принадлежал к тем людям, кому оно ничего не говорит. Да, ему случалось ощущать в животе бабочек, как случалось до дрожи волноваться, трястись от испуга; не однажды он не владел собой. Но ему всегда казалось, будто это его личные, незнакомые другим людям ощущения, и он не подозревал, что они встречаются на каждом шагу и даже имеют названия. Неведение позволяло ему сочинять стихи о своих таинственных ощущениях. Надев свой аккуратный черный костюм, он бережно сунул пачку машинописных страничек в зеленый холщовый рюкзак, сложил туда запас одежды, зубную щетку, что еще? Допотопный «жиллетт», четыре кусочка мыла, экземпляр «Секрета Братца Северного Ветра» и бумаги для юристов, касающиеся завещания.

Торжественно, воображая, что делает это в последний раз, он прошелся по спящему дому на пути к своим неизвестным судьбам. Дом,

собственно, совсем не казался спокойным, а словно метался и ворочался в тревожном полусне, испуганно открывал глаза, заслышав его шаги. Коридор был залит замороженным зимним светом; воображаемые комнаты и залы были реальными в темноте.

— У тебя небритый вид, — неуверенно заметил Смоки, когда Оберон вошел в кухню. — Хочешь овсянки?

— Я не пускал воду и вообще не шумел, чтобы всех не перебудить. Мне, наверное, кусок не полезет в горло.

Смоки продолжал возиться со старой дровяной плитой. Ребенком Оберон всегда поражался, когда видел, как отец ночью отправляется в постель здесь, дома, а на следующее утро возникает в школе у его парты, словно перенесшись по воздуху или раздвоившись. Когда он в первый раз поднялся так рано, что застиг отца на пути от сна к школе, с нечесаными волосами и в клетчатом халате, ощущение было такое, словно он застал врасплох фокусника. Но на самом деле Смоки всегда сам готовил себе завтрак и продолжал это делать даже в последние годы, когда глянцевая электрическая плита стояла в углу кухни холодная и бесполезная, как гордая старая до-

моправительница, которую отстранили от дел, — продолжал, хотя обращался с огнем так же неловко, как с множеством других вещей. Ему просто приходилось теперь раньше вставать с постели.

Оберон, раздраженный медлительностью отца, склонился над плитой и моментально разжег ее. Смоки торчал рядом, засунув руки в карманы халата, и восхищался. Потом они сели напротив друг друга, положив себе овсянки и налив кофе, который был получен в подарок от Джорджа Мауса, из Города.

Они посидели минутку, сложив руки на коленях. Смотрели они не в глаза друг другу, а в карие бразильские глаза двух кофейных чашек. Затем Смоки, смущенно кашлянув, достал с высокой полки бутылку бренди.

— Дорога дальняя, — сказал он и плеснул бренди в кофе.

Смоки?

Да, Джордж понимал, что в последние годы он испытывал временами некоторое стеснение чувств, устраняемое с помощью глотка спиртного. Ничего страшного, всего лишь глоточек, а потом Смоки начал спрашивать Оберона, уверен ли он, что ему хватит денег, захватил ли адреса

дедушкиных агентов и Джорджа Мауса и юридические бумаги, и так далее, о делах наследства и прочих. И Оберон отвечал: да.

Даже после смерти Дока его истории продолжали печататься в городских вечерних газетах — Джордж прочитывал их даже раньше, чем страничку комиксов. Кроме этих посмертных сочинений, подобных беличьим зимним запасам, Док оставил кучу дел, большую и запутанную, как заросли шиповника; юристы и агенты ее распутывали, и работы им могло хватить на годы. Оберона эти колючие заросли интересовали особенно, так как Док выделил ему долю наследства, благодаря которой он должен был прожить год-другой без забот, занимаясь литературой. Собственно, Док надеялся, — хотя стеснялся в этом признаться, — что его внук (и он же — лучший его друг в последние годы) пустится в маленькие приключения, хотя Оберон в этом смысле находился в невыгодной ситуации, потому что ему пришлось бы их устраивать, в отличие от Дока, который долгие годы получал их из первых рук.

Джордж без труда мог себе представить, как теряешься, когда впервые поймешь, что умеешь разговаривать с животными. Никто не знал, как долго нарастала в Доке эта уверенность, хотя

некоторые из взрослых вспоминали, как он в первый раз ею поделился, робко, как бы прощупывая почву. Они приняли это за шутку, не то чтобы удачную, но шутки Дока никого особенно не смешили, кроме миллионов детей. Позднее это сообщение приняло форму метафоры или загадки: он пересказывал свои беседы с саламандрами и гаичками и таинственно улыбался, как бы предлагая домашним угадать, почему он так говорит. Под конец он перестал прятаться: разговоры были слишком увлекательными, чтобы держать их при себе.

Поскольку все это совершалось в то время, когда Оберон только входил в сознательный возраст, у него сохранилось единственно впечатление, что дед набирался сил и уверенности и слух его все обострялся. Однажды, когда они, по своему обыкновению, долго гуляли вместе в лесу. Док наконец перестал притворяться, будто его беседы с животными — это выдумка, и признал, что передает подлинные их слова. Оба от этого почувствовали себя лучше. Оберон никогда особенно не любил игру в притворялки, а Док терпеть не мог обманывать ребенка. По его словам, научных основ своего дара он не знал; быть может, причиной была длительная увлеченность. Так или иначе,

понимал он не всех животных, а некоторых, а именно мелких, которых лучше знал. Он не был знаком с медведями, американскими лосями, редкими и баснословными кошками, хищными птицами, одинокими и длиннокрылыми. Они то ли пренебрегали им, то ли не умели разговаривать, то ли не любили — трудно сказать.

— А насекомых и жуков? — спросил Оберон.

— Некоторых, но не всех.

— Муравьев?

— Да, да, муравьев. Конечно.

Стоя на коленях перед новым желтым холмиком и держа внука за руки, Док с готовностью перевел для него незамысловатые профессиональные беседы муравьев, находившихся внутри.

Джордж Маус продолжает подслушивать

Оберон уснул в ветхом широком кресле, свернувшись под одеялом, как и подобало человеку, поднявшемуся так рано и преодолевшему долгий путь по множеству дорог. Но Джордж Маус, подверженный невралгии и головокружительным полетам Высокой Мысли, бодрствовал у постели мальчика и продолжал подслушивать рассказ о его приключениях.

Когда, не притронувшись к овсянке, но, осушив до дна чашку с кофе, Оберон вышел через большую парадную дверь (отец покровительственно обнимал его за плечо, хотя и уступал ему ростом), ему стало ясно, что без торжественных проводов дело не обойдется. Сестры, все три, вышли с ним проститься; Лили и Люси брели под руку по аллее (Лили несла в двойной холщовой сумке через плечо своих близнецов), а Тейси как раз выворачивала туда на велосипеде.

Оберон мог бы об этом догадаться, но он не желал этих проводов, не желал ни в коем случае, так как присутствие сестер на всех церемониях, которые они посещали, будь то отбытие, прибытие, заключение того или иного союза, неизменно придавало данной процедуре формальный и законченный характер. Какой черт им шепнул, что он отправляется именно сегодня утром? Оберон поведал об этом Смоки только вчера, поздно вечером, и под большим секретом. В нем нарастал знакомый уже гнев, хотя Оберон не называл это чувство гневом.

— Привет, привет, — сказал он.

— Мы пришли попрощаться, — заявила Лили.

Люси слегка переместила переднего из близнецов и добавила:

— И кое-что тебе дать.

— Вот как? Ладно. — Тейси аккуратно остановила велосипед перед лесенкой веранды и сошла на землю. — Привет, привет, — повторил Оберон. — Вы, никак, созвали сюда все население округа? — Но, конечно, с ними не было никого постороннего: ничье присутствие больше не требовалось.

То ли имена сестер были так похожи, то ли появлялись они в обществе, как правило, вместе — по той или иной причине народ вокруг Эджвуда часто путал Тейси, Лили и Люси. На самом же деле они были непохожи друг на друга. Тейси и Лили были потомками своей матери и матери своей матери: высокие, ширококостные, шумно-веселые. Хотя Лили унаследовала неизвестно от кого прекрасные светлые волосы, прямые и похожие на солому, из какой принцесса в сказке пряла золотую пряжу; а у Тейси на голове красовались золотисто-рыжие кудри, как у Элис. Люси же была дочка Смоки; ниже сестер, с темными, как у Смоки, кудрявыми волосами и его же веселым и смущенным лицом. В ее круглых глазах читалась даже частичка его врожденной безличности. Однако в другом смысле Люси и Лили составляли пару: бывают такие сестры, которые заканчивают друг за друга фразы и когда одной

больно, вторая даже на большом расстоянии это чувствует. Годами они продолжали играть в ту же шуточную игру: одна серьезным тоном задавала глупый вопрос, другая, тоже серьезно, давала еще более глупый ответ, а затем они (без тени улыбки) присваивали этой шутке очередной номер. Номера эти давно перевалили за сотню. Тейси — возможно потому, что была старше — держалась в стороне от их игр; она была от природы особой царственно-высокомерной и замкнутой и предавалась нескольким страстным увлечениям: блок-флейте, выращиванию кроликов, скоростным велосипедам. С другой стороны, когда речь шла о взрослых делах: планах, церемониях и прочем, именно Тейси брала на себя роль главной жрицы, а две младшие сестры были при ней прислужницами.

(Но кое в чем все три сестры были едины, а именно имели не две брови, а одну, сплошной чертой проходившую от края левого глаза до края правого. Из детей Смоки и Элис один лишь Оберон не обладал этой особенностью.)

Воспоминания о сестрах у Оберона всегда были связаны с их играми в тайны, рождение, брак, любовь и смерть. В раннем детстве он был их Малюткой, живой куклой, которую вечно тас-

кали из воображаемой ванной в воображаемую больницу. Позднее ему пришлось изображать Жениха и наконец Покойника (когда он повзрослел настолько, что ему понравилось лежать пластом, пока вокруг него хлопочут). И это было не только игрой: с каждым годом во всех троих развивалось как будто инстинктивное понимание сцен повседневной жизни; воспринимая судьбы окружающих как театральное действо, они знали, когда перед очередным актом поднимается занавес, а когда падает. Им не от кого было узнать о бракосочетании в Плейнфилде младшей дочери Бердов и Джима Джея (одной из сестер было тогда четыре года, другой шесть и третьей восемь), но все три, одетые в джинсы, явились к церкви с охапками диких цветов и набожно склонили колени на ступеньках, пока внутри шло венчание. (Фотограф, обслуживавший свадьбу, ждал новобрачных снаружи и не упустил случая щелкнуть трех милых крошек. Позднее этот снимок завоевал приз на конкурсе фотографий. Сценка выглядела как постановочная. В известном смысле она такой и была.)

Все три с детства овладели иглой и постоянно совершенствовали свое мастерство, обучаясь все более тонкому, недоступному профанам

рукоделью: плетению кружев, шитью шелком, вышивке шерстью по ткани. Тейси осваивала все первой, беря уроки у двоюродной бабушки Клауд и у своей собственной бабушки, и обучала потом Лили, а та — Люси. Когда они, собравшись вместе, шили и пороли (это происходило часто в многоугольной музыкальной комнате, в окна которой в любое время года светило солнце), их разговоры представлялись подобием календаря, где были отмечены будущие события в жизни окружающих (как ожидаемые, так и необъявленные): похороны, помолвки, прощания, прибавления в семействе. Они вязали узлы, обрезали нити, они знали все; дошло до того, что ни одно печальное или счастливое событие не происходило без ведома сестер и лишь редкие — без их присутствия. Последние казались не вполне завершенными, не прошедшими утверждения. Но отъезд единственного брата на встречу с судьбой и юристами они не пропустили.

— Вот, — сказала Тейси, вынимая из притороченной к велосипеду корзины пакетик в голубой, как лед, бумаге, — возьми. Открой этот пакет, когда доберешься до Города. — Она коснулась губами щеки Оберона.

— Возьми, — сказала Лили. Ее подарок был

обернут в зеленую, как мята, бумагу. — Открой этот пакет, когда о нем подумаешь.

— Возьми, — сказала Люси. Ее пакет был в белой упаковке. — Открой этот пакет, когда захочешь вернуться домой.

Ошеломленно кивая, Оберон собрал подарки и сунул их в свой багаж. Девушки больше не сказали о них ни слова, только посидели немного с Обероном и Смоки на веранде. В воздухе носилась неубранная палая листва, набиваясь под сиденья плетеных стульев (их надо бы снести в подвал, подумал Смоки; этим всегда занимался Оберон; по коже Смоки пробежал холодок предчувствия или потери, но он отнес его на счет хмурой ноябрьской погоды). Оберон, достаточно юный и одинокий, чтобы вообразить, будто ему удастся ускользнуть из дому потихоньку, не привлекая ничьего внимания, сидел в напряженной позе и наблюдал, как светлеет небо. Потом он хлопнул себя по коленям, поднялся на ноги, пожал руку отцу, поцеловал сестер, дал обещание писать и зашагал наконец к югу через шумное море листьев, направляясь к перекрестку, где можно было остановить автобус. На четверых, наблюдавших его уход, он не оглянулся.

— Ну ладно, — кивнул Смоки, которому припом-

нилось, как сам он, приблизительно в возрасте Оберона, отправился в Город, — ему предстоят приключения.

— Целая куча, — подтвердила Тейси.

— Будет забавно. Наверно. Помню...

— Вначале, — сказала Лили.

— Недолго, — подхватила Люси. — Но вначале, по крайней мере, забавно.

— Папа, — (Тейси заметила, что Смоки дрожит), — бога ради, нечего сидеть здесь едва одетым.

Он встал, кутаясь в банный халат. Днем придется унести в дом мебель с веранды, пока на летних стульях не взгромоздились — ни к селу ни к городу — сугробы.

Друг Доктора

Перемещая фокус зрения, Джордж Маус наблюдал из ниши в Старом Каменном Заборе, как Оберон шел наискосок по Старому Пастбищу, срезая путь к Медоубруку. Луговой Мышонок в той же нише, покусывая травинку и мрачно размышляя, наблюдал бредущего к нему человека, под сапогами которого трещали ветки и шуршали палые листья. До чего же у них большие и неуклюжие ножищи! Обутые ноги, шире и крепче, чем были встарь у Бурого Медведя! У них было всего

по две ноги, да и появлялись они у дома Лугового Мышонка нечасто и поодиночке, а потому он относился к ним лучше, чем к разрушительнице Корове, чудищу, которое его преследовало. Когда Оберон подошел ближе, подобравшись едва ли не вплотную к нише, где примостился Луговой Мышонок, тот очень удивился. Он узнал того самого мальчика, который приходил однажды с Доктором — другом прапрадедушки Лугового Мышонка. Тот самый мальчик, которого видел Луговой Мышонок, когда был совсем крохой. Мальчик, опершись руками в свои голые исцарапанные колени, заглядывал в их семейный дом, меж тем как Доктор записывал мемуары прапрадедушки, которые приобрели такую славу не только среди поколений Луговых Мышей, но и в Огромном Мире тоже! Родственные чувства возобладали над природной робостью, и Луговой Мышонок высунул нос из ниши в стене и попытался поздороваться. «Мой прапрадедушка был знаком с Доктором!» — выкрикнул он. Однако парнишка прошел мимо.

Доктор умел разговаривать с животными, но мальчик, судя по всему, нет.

Пастух в Бронксе

Пока Оберон стоял на перекрестке, по щиколотку утопая в ворохе золотых листьев, а Смоки задумался перед компанией своих воспитанников, которые не могли понять, почему он вдруг умолк с мелом у доски на полпути от подлежащего к сказуемому, Дейли Элис под своим стеганым лоскутным одеялом (да! Джордж Маус был изумлен широтой и длительностью своих Ментальных Связей) видела сон о том, как ее сын Оберон, живший теперь в Городе, звонит, чтобы рассказать о себе.

«Некоторое время я был пастухом в Бронксе, — говорил бестелесный и по-прежнему скрытый голос, — но с наступлением ноября продал стадо». Слушая его рассказ, она видела Бронкс: зеленые, с низкой травой, волны холмов, чистый, пронизываемый ветрами воздух в низинах, влажные облака над самой землей. Она словно бы присутствовала, пока он пас здесь стадо, шла по едва заметным следам и черным пятнам помета вдоль изъезженных дорог к пастбищу, внимала жалобному блеянию, вдыхала запах отсыревшей туманным утром шерсти. Живая картина! Элис видела, как ее сын (говоривший с ней по телефо-

ну) стоял с посохом в руках на мысу и смотрел в море, и на запад, откуда приближалась непогода, и на юг, через реку, на темный лес и поросшие этим лесом острова. Она думала и гадала...

Осенью Оберон сменил кожаные штаны и гамаши на приличный черный костюм, а вместо посоха взял в руку тросточку. Не имея перед собой ясной цели, он все же направился с собакой Спарком (с которой Оберон предпочел не расставаться, хотя хорошую пастушескую собаку у него бы купили вместе со стадом) вдоль реки Гарлем-ривер к переправе (близ 137-й стрит). У древнего-предревнего паромщика была красивая правнучка, смуглая, как кофейное зерно, и серая плоскодонка, издававшая стуки и стоны. Пока паром вдоль каната двигался к причалу, Оберон стоял на носу. Спарк выскочил на берег первым, Оберон заплатил паромщику и, не оглядываясь, ступил в Дикий Лес. Близился вечер; солнце, тускло-желтые лучи которого тут и там проницали облака, выглядело таким холодным и безжизненным, что Оберон едва не пожелал, чтобы оно закатилось совсем.

Углубившись в лес, он отказался от этого желания. Между парком Сент-Николас и Соборной

аллеей[139] он Как-то не там свернул, и ему пришлось карабкаться по каменным, изрисованным лишайником, уступам. Большие деревья, цеплявшиеся за скалы узловатыми пальцами, провожали его стонами и хихиканьем, строили в сумерках гримасы. Взобравшись с пыхтеньем на высокую горку, Оберон заметил за деревьями сероватое солнце. Он знал, что до окраин города еще далеко, но уже наступила ночь. Оберон озяб, а кроме того, помнил, как его предупреждали об опасностях, которые подстерегают в таком месте ночного путника. Он почувствовал себя маленьким. Собственно, он начал уменьшаться. Спарк заметил это, но промолчал.

Как обычно, ночью полезла из нор всякая живность. Оберон сдуру припустил вскачь, начал спотыкаться, отчего звери подобрались ближе, сверкая из полной темноты тысячью пар глаз. Оберон вскинул голову. Только не показывай, что боишься. Он крепче сжал в руке трость. Не глядя по сторонам, он с трудом одолевал путь в центр города; шел и едва продвигался. Один или

[139] Примечания: 139

Между парком Сент-Николас и Соборной аллеей... — Оберон движется на юг Манхэттена. Если использовать более знакомые отечественному читателю координаты, он покинул Гарлем и направляется к Сентрал-Парку.

два раза он ловил себя на том, что таращит глаза на громадные деревья, вершинами касавшиеся ночного неба (несомненно, он сделался совсем маленьким), но тут же опускал глаза. Оберон боялся показаться чужаком, беспомощным деревенщиной, однако не мог не оглядываться на тех, чей насмешливый, понимающий или равнодушный взгляд ловил на себе.

Куда девался Спарк, спросил он себя, выбираясь из кучи упавших веток, где утоп по самый пояс. Теперь можно было бы сесть собаке на спину и двигаться гораздо быстрее. Но Спарк проникся презрением к своему съежившемуся до крохотных размеров хозяину и пустился к Вашингтонским высотам[140], чтобы попытать счастья в одиночестве.

Одиночество. Оберон вспомнил о трех дарах, врученных ему сестрами. Вынув из рюкзака подарок Тейси, он трясущимися пальцами надорвал обертку цвета голубого льда.

Это была ручка с фонариком: одна сторона — чтобы видеть, другая — чтобы писать. Удобно. Имелась даже маленькая батарейка: Оберон нажал кнопку, и фонарь зажегся. В луче кружи-

---

[140] Примечания: 140

Вашингтонские высоты — район на севере Манхэттена.

лось несколько снежинок; лица, подобравшиеся совсем близко, исчезли. При свете Оберон разглядел, что стоит перед крохотной дверцей в лесу. Путешествие его закончилось. Он постучал раз, потом еще.

Взгляни на часы

Джорджа Мауса сотрясла крупная дрожь. Ментальная Связь потребовала много усилий, доза больше почти не действовала, поэтому вид у него сделался несколько бледный. Все это было забавно, однако, бог мой, взгляни на часы! Скоро опять придется доить коров. Сильвия[141], конечно, не встанет так рано (она смуглая, как кофейное зерно, но сейчас ее нет дома, разве что он очень ошибается). Собрав по частям свой изнуренный гашишем организм, нывший от приятной усталости (долгое путешествие[142]), он приторочил его на живую нитку к сознанию и встал. Годы уже не те. Джордж убедился, что племянник надежно укрыт одеялами, поворошил в очаге и (уже начиная забывать картины, которые разглядел за

---

[141] Примечания: 141

Сильвия — см. комментарии, раздел II.

[142] Примечания: 142

...долгое путешествие... — Trip — «приход», наркотический транс.

смуглыми красивыми веками гостя) взял в руки лампу. По дороге в свою собственную неубранную спальню он неудержимо зевал.

Встреча Клуба

В нескольких кварталах от жилища Джорджа Мауса к узенькому особняку Ариэль[143] Хокскивилл, выходившему окнами в небольшой парк, начали один за другим бесшумно подъезжать большие старомодные автомобили. Каждый выпускал наружу одного-единственного пассажира и откатывал на стоянку, где ждали своих хозяев похожие машины. Посетители, позвонив в колокольчик Хокскивилл, допускались в дом, где палец за пальцем стягивали с рук туго сидевшие перчатки, помещали их в шляпу и отдавали служанке; некоторые сдергивали с шеи белые шарфы, которые издавали при этом чуть слышный свист. Затем они собирались в комнате, которая занимала целый этаж и обычно служила библиотекой, но иногда и гостиной. Сев, все они закидывали ногу на ногу и вполголоса обменивались несколькими словами с прибывшими ранее.

---

[143] Примечания: 143
Ариэль — см. комментарии, раздел II.

Когда наконец явилась Хокскvилл, посетители приветствовали ее, поднявшись с мест (хотя она знаком попросила их не беспокоиться), затем опять сели. Каждый из гостей аккуратно поддернул на коленях брюки.

— Полагаю, — начал один из них, — нынешнее заседание «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста» можно считать открытым. Для рассмотрения новой темы.

Ариэль Хокскvилл ждала вопросов. В тот год она приблизилась к пределу своего могущества. Фигура у нее была угловатая, волосы серые как сталь, манеры резкие и решительные, как у какаду. Облик ее вселял в окружающих уважение, граничившее со страхом; все в нем, от серовато-коричневых туфель до унизанных кольцами пальцев, говорило о силе — кто-кто, а уж члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста» в наличии этой силы не сомневались.

— А новой темой... — Еще один член клуба послал Хокскvилл улыбку, — ...безусловно является Рассел Айгенблик. Лектор.

— Что вы теперь о нем думаете? — спросил Хокскvилл третий гость. — Каковы ваши впечатления?

Подобно Шерлоку Холмсу, она соединила кон-

чики пальцев.

— Он то, что кажется, и одновременно не то. — Ясный выговор и сухая интонация напоминали лист пергамента. — Умнее, чем представляется, судя по телевизору, но не такой внушительный. Энтузиазм его сторонников искренний, но — не могу отделаться от мысли — мимолетный. У него пять планет располагаются в Скорпионе, так же как у Мартина Лютера. Его любимый цвет — зеленый, цвет бильярдного сукна. Глаза у него как у коровы: большие, влажные, карие, глядят с фальшивой добротой. Голос громкий, благодаря миниатюрным усилителям, спрятанным в одежде, которая стоит дорого, но сидит неважно. Под брюками скрыты сапоги до самых колен.

Гости впитывали сведения.

— Характер? — спросил один из них.

— Низменный.

— Манеры?

— Ну...

— Устремления?

На этот вопрос Хокскуилл пока не знала ответа, хотя именно он больше всего занимал могущественных банкиров, крупных администраторов, влиятельных чиновников и отставных генералов, объединившихся под эгидой Клуба. Тайные

хранители старевшей республики, капризной и своевольной, постоянно мучимой социальными и экономическими неурядицами, они не спускали глаз с любого заметного человека — проповедника, военного, авантюриста, мыслителя, головореза. Хокскvилл было известно, что, положившись на ее проницательность, они устранили с пути не одного подобного деятеля.

— Он не стремится стать президентом, — сказала она.

Один из членов Клуба хмыкнул, что означало: если так, то его прочие амбиции нас не интересуют, если же иначе, то у него ничего не получится. Уже несколько лет на этом посту сменяли друг друга невыразительные личности, выбор которых был исключительно делом Клуба, что бы ни думали об этом как народ, так и сами президенты. Собравшиеся дружно откашлялись.

— Точно не скажешь, — продолжала Хокскvилл. — С одной стороны, его самомнение вызывает смех, а цели так высоки, что их, как намерения Господа Бога, можно вынести за скобки. Но с другой стороны... К примеру, он часто упоминает, с особым ударением, как некую важную тайну,

что он «есть в картах». Старая пустая фраза[144], и все же Как-то (почему, сама не могу в точности определить) мне кажется, его слова нужно понимать буквально, он действительно есть в картах, в неких вполне определенных картах, но каких — мне неизвестно.

Она оглядела неспешно кивавших слушателей, чувствуя себя виноватой, что задает им загадки, но она и сама ломала себе голову. Хокскивилл не одну неделю сопровождала Рассела Айгенблика в поездках, в гостиницах, в самолетах, неубедительно замаскированная под журналистку (суровые паладины из окружения Айгенблика легко распознавали маскировку, но кто под ней скрывается, определить не могли), однако была так же далека от отгадки, как в первый раз, когда услышала его имя и рассмеялась.

Сжав пальцами виски, Хокскивилл осторожно прошлась по превосходно упорядоченному новому крылу, которое пристроила за последние недели к дому своей памяти, чтобы хранить в нем все, какие добудет, сведения об Айгенблике. Она знала, за каким поворотом, на вершине какой лестницы, в заключительной точке какой

[144] Примечания: 144

...он «есть в картах». Старая пустая фраза... — «To be in cards» — быть назначенным судьбой.

перспективы должен появиться он сам. Но он не появлялся. Она могла нарисовать его средствами обычной или Естественной Памяти. Видела его на фоне пересеченных полосами дождя окон местных поездов; он говорил без умолку, рыжая борода раскачивалась из стороны в сторону, кустистые брови поднимались и опускались, как у болванчика, с какими выступают чревовещатели. Видела, как он разглагольствует перед огромной, восторженной, воркующей, как голуби, толпой; на глазах оратора выступали слезы, а слушатели заливали его потоками любви. Видела, как он после очередной нескончаемой лекции присутствовал на заседании женского клуба; на коленях его позвякивала голубая чашка с блюдцем, несгибаемые ученики, каждый со своей чашкой, блюдцем и куском торта, восседали вокруг. Вокруг Лектора: именно ученики настояли на том, чтобы его так называть. Они опережали его в поездках и приготавливали все к его прибытию. Лектор будет стоять здесь. В эту комнату никто, кроме Лектора, не должен входить. Здесь Лектора должен ждать автомобиль. У них, сидевших позади его кафедры, веки никогда не увлажнялись слезами, лица оставались столь же гладкими и невыразительными, как их

обтянутые черными носками лодыжки. Все это Хокскvилл почерпнула из Естественной Памяти и искусно встроила в палладианское крыло дома памяти[145], где эти наблюдения должны были приобрести новый тонкий смысл. Она ждала, что обогнет мраморный угол и найдет его, заключенного в раму интерьера; внезапно обнаружит, кто он такой, и убедится, что, сама того не понимая, знала это и раньше. Так должна была работать ее система памяти, и так она работала всегда. Но теперь Клуб ждал, недвижно, затаив дыхание, а между колоннами и на бельведерах дома памяти стояли аккуратно одетые ученики, каждый с индивидуальной эмблемой, присвоенной ему Хокскvилл: корешком проездного билета, клюшкой для гольфа, пурпурными отпечатанными на мимеографе листками, мертвым телом. Их фигуры виделись достаточно ясно. Но он не появлялся. И однако все крыло, несомненно, относилось к нему; там царили холод и ожидание.

---

[145] Примечания: 145

...палладианское крыло дома памяти... — Палладианский стиль, названный в честь итальянского архитектора Андреа Палладио (1508–1580), пришел в Англию в конце 1710-х гг. Здания этого периода отличают строгие, геометрически правильные и симметричные фасады с центральным портиком и фронтоном. Интерьеры, напротив, зачастую были богато украшены (позолота, мрамор, зеркала). Краули, разумеется, играет на двузначности слова: эпитет «палладианский» отсылает и к А. Палладио, и к Афине Палладе.

— А что вы скажете об этих лекциях? — прервал ее мысли один из членов Клуба.

Хокскилл взглянула на него холодно.

— Боже, у вас имеются копии их всех. Разве мне больше нечем заняться? Вы что же, не умеете читать? — Она умолкла, гадая, поняли они или нет, что презрительным тоном она маскирует свою неспособность загнать дичь. — Когда он говорит, — продолжала она более снисходительно, — они слушают. Что он говорит, вы знаете. Старая смесь, рассчитанная на то, чтобы тронуть все сердца. Надежда, безграничная надежда. Здравый смысл или то, что таковым считается. Шутки, которые приносят облегчение. Он умеет выжать слезу. Но это умеют и другие. Думаю... — Она в первый раз попыталась дать определение, но до точности ему было очень далеко. — Думаю, он либо меньше, чем человек, либо больше. Думаю, мы Как-то имеем дело не с человеком, а с географией.

— Понятно. — Член Клуба пригладил свои жемчужно-серые, в цвет галстука, усы.

— Ничего подобного, — отрезала Хокскилл. — Мне самой непонятно.

— Задавить его, — буркнул еще один гость.

— Его взгляды, — проговорил другой, вытаскивая из папки пачку бумаг, — не противоречат

нашим. Стабильность. Бдительность. Терпимость. Любовь.

— Любовь, — повторил кто-то. — Все вырождается. Ничто больше не работает, все бьет мимо цели. — Голос говорившего отчаянно дрожал. — На земле не осталось силы большей, чем любовь. — Он вдруг разразился рыданиями.

— Если не ошибаюсь, Хокскивилл, — невозмутимо произнес еще один член Клуба, — там, на пристенном столике, стоят графины?

— В хрустальном — бренди, — подхватила Хокскивилл. — В стеклянном — хлебная водка.

При помощи бренди они успокоили своего соратника и, *sine dia*[146], объявили собрание закрытым. Поручение Хокскивилл было продлено, новый вопрос остался неразрешенным. С тех самых пор, когда общество, тайными столпами которого являлись гости Хокскивилл, начало слабеть и чахнуть, они ни разу не покидали этот дом в такой растерянности.

Воспроизведенные небеса

Проводив гостей, служанка застыла в холле, мрачно рассматривая в зарешеченном стекле

---

[146] Примечания: 146
На неопределенное время (лат.).

двери бледные признаки рассвета и размышляя о своей жизни, рабском положении, редких ночных проблесках разума, без которых, наверное, было бы лучше. Комнату заливало сероватым светом, который, казалось, ложился пятнами на неподвижную служанку и вытягивал из ее глаз свечение жизни. Подняв руку, она сделала жест, означавший у египтян благословение или разрешение уйти. Уста ее были запечатаны. Когда Хокскvилл, направляясь наверх, прошла мимо нее, уже наступил день и Каменная Дева (как именовала Хокскvилл принадлежавшую ей древнюю статую) вновь превратилась в мрамор[147].

Взбираясь по лестнице высокого и узкого дома, Хокскvилл одолела четыре длинных марша (это ежедневное упражнение должно было помочь ее сильному сердцу биться до глубокой старости) и добралась до маленькой дверцы на самом верху. Конец лестницы был совсем узкий. За дверью слышался размеренный шум какого-то большого механизма: дюйм за дюймом опускался тяже-

---

[147] Примечания: 147

Каменная Дева... вновь превратилась в мрамор. — Ариэль Хокскvилл владеет знанием, о котором не раз упоминается в герметических трактатах (см. напр., «Асклепий» 24a), — умеет одушевлять каменные статуи. Такие идолы в «Разоблаченной Изиде» Е. Блаватской и в «Агни-Йоге» именуются «терафимами» (еврейское слово, обозначающее изваяния богов и одновременно — воплощения богов.)

лый груз, с глухими щелчками зацеплялись и расцеплялись зубцы. Хокскилл почувствовала, что у нее в голове уже воцарилось спокойствие. Она открыла дверь. Оттуда хлынул дневной свет, слабый и многоцветный. Яснее послышалась музыка сфер, напоминавшая тихие вздохи ветра в потрескивающих голых ветвях. Взглянув на свои старые, квадратной формы ручные часы, она пригнулась, чтобы войти в дверку.

О том, что этот городской дом входит в число тех трех, где имеется полный патентованный Космооптикон, или Театрум Мунди[148], Хокскилл знала еще до того, как его купила. Ее забавляла идея заполучить жилище, которое будет венчать такой громадный, окованный в железо талисман — символ небес ее сознания. Она не ожидала, однако, что он будет так красив, а кроме того, полезен (в этом она убедилась, когда отрегулировала его в соответствии с давно обдуманным принципом и он пришел в движение). Ей почти ничего не удалось узнать о разработчике этого Космооптикона, и потому можно было только догадываться, для каких целей он предназначал свой механизм (быть может, всего лишь для за-

[148] Примечания: 148
Theatrum Mundi (лат.) — театр мира.

бавы), но она внесла дополнения, о которых он не подумал, и теперь, просовываясь в крохотную дверь, ступала не только в пределы Космоса, изящные детали которого, из цветного стекла и кованого железа, с часовой точностью совершали круг за кругом. Открывшаяся Хокскивилл картина показывала текущий миг Мировой Эпохи.

Собственно, хотя Хокскивилл скорректировала Космооптикон в соответствии с положением реальных небесных тел, он все еще работал не вполне точно. Даже если создатель знал об этом недостатке, он не имел возможности в таком грубом механизме из зубчатых колес воспроизвести медленный и безбрежный спуск Вселенной по зодиаку, так называемое предварение равноденствий[149] — невообразимый и величавый

[149] Примечания: 149

Предварение равноденствий — или прецессия равноденствий (от позднелат. praecessio — движение впереди) — перемещение точек весеннего и осеннего равноденствий с востока на запад (навстречу видимому годичному движению Солнца) примерно на 1° в 72 года вследствие прецессии земной оси. Полный круг точки равноденствий совершают за 25729 лет (Платонов год). Приведем объяснение, которое дал один из героев романа Краули «Эгипет»: «На самом деле все очень просто. Понимаете, Земля, вращаясь вокруг своей оси... движется не совсем равномерно, там есть небольшое такое отклонение, примерно как у волчка, когда он теряет скорость вращения... Но один полный цикл занимает много времени, примерно двадцать шесть тысяч лет. Так вот, вследствие этого, во-первых, направление оси по отношению к небу, то есть истинный север, со временем медленно изменяется, звезда, на которую она направлена, — Полярная — по истечении половины цикла будет другой... Второе следствие... — то, что звездный

фон сдвигается по отношению к Солнцу... Величину этого сдвига можно измерить, ежегодно в определенный день отмечая, в каком знаке зодиака восходит солнце; это делается в день равноденствия...» (перевод В. Темнова).

кругооборот, совершаемый точкой весеннего равноденствия. Пройдет около двадцати тысяч лет, прежде чем она вновь совпадет с первыми градусами Овна, где, согласно астрологии (условность, принятая ради удобства), она находится всегда. То же положение было зафиксировано в Космооптиконе, когда он впервые попал в руки Хокскилл. Нет: единственно верной картиной времени являлись сами переменчивые небеса и их совершенное отражение в мощном уме Ариэль Хокскилл, которая знала, какое это было время. А окружавший ее механизм был, в сущности, всего лишь грубой карикатурой, хотя довольно привлекательной на вид. В самом деле, подумала она, садясь в зеленое плюшевое кресло в центре этой маленькой вселенной, очень привлекательной.

Хокскилл расслабилась в теплом потоке зимнего солнца (к полудню внутри этого стеклянного яйца будет жарко как в пекле — тут его создатель, видимо, тоже промахнулся) и подняла взгляд. Голубая Венера в тригоне с кроваво-оранжевым Юпитером[150] — узорчатые сферы из дутого стек-

[150] Примечания: 150

Голубая Венера в тригоне с кроваво-оранжевым Юпитером... — В астрологии тригон, т. е. разность долгот двух планет в 120°, считается хорошим аспектом, а Венера и Юпитер — дружественными планетами.

ла, каждая схвачена меж тропиками кольцевой опорой; зеркальная Луна, как раз заходившая за горизонт; крохотный молочно-серый Сатурн с кольцом, как раз поднимавшийся над горизонтом. Сатурн в восходящем доме, пригодный для того специфического рода медитации, которым ей сейчас надлежало заняться. Щелк: Зодиак сдвинулся на градус, дама Весы (освинцованные драпировки в стиле ар-нуво делали ее слегка похожей на Сару Бернар[151]; в чаше весов лежал предмет, который всегда казался Хокскилл сочной гроздью темно-красного винограда) поднимала свои ступни из южных вод. Настоящее Солнце вовсю жарило сквозь нее, так что черт ее было не разобрать. А они, конечно, присутствовали на однотонно-голубом дневном небе, выжженные дотла и невидимые, но они присутствовали, присутствовали за этим жарким сиянием, конечно, конечно, конечно... Хокскилл уже ощущала, что ее мысли делаются

[151] Примечания: 151

...освинцованные драпировки в стиле ар-нуво делали ее слегка похожей на Сару Бернар... — «Ар-нуво» (art nouveau — фр. «новое искусство») — иное название стиля «модерн», для которого характерны плавные, извилистые очертания с тенденцией к асимметрии. Женские фигуры со струящимися волосами — частый образ «ар-нуво», Краули же имеет в виду плакаты чешского художника Альфонса Мухи (1860–1939), создававшиеся с 1895 года для французской актрисы Сары Бернар (1844–1923) и ее театра «Ренессанс».

упорядоченными, как краски и обозначенные градусы Космооптикона вносят порядок в недифференцированное свечение небес; ощущала, как открываются двери ее внутреннего «театра мира», как помощник режиссера трижды ударяет посохом о подмостки, давая сигнал поднимать занавес. Гигантская, опиравшаяся на звезды машина ее Искусственной Памяти начала вновь выкладывать перед ней детали загадки Рассела Айгенблика. С увлечением берясь за работу, Хоксквилл чувствовала, что никогда еще ее силы не были испытаны задачей столь странной, а также столь важной для нее самой; ни одна задача не требовала пойти так далеко, погрузиться так глубоко, зреть так широко и думать так напряженно.

В картах. Ладно. Посмотрим.

Глава вторая

...la que, en volto comenzando humano
acaba en mortal fiera,
esfinge bachillera,
que hace hoy a Narciso
escos solicitar, desdenar fuentes...

***De Gongora. Soledades*[152]**

Оберона разбудило жалобное мяуканье.

«Заброшенный ребенок», — подумал он и вновь погрузился в забытье. Затем послышалось меканье коз и утренняя зоря, хрипло и сдавленно пропетая петухом. «Треклятое зверье», — произнес он вслух и начал было засыпать, но тут

---

[152] Примечания: 152

...та, что вслед за Сфинксом носит
лик женский над звериным лоном,
чей глас лукавый отвращает
Нарцисса нынешнее семя
от вод и гонит вслед за Эхо...

Де Гонгора. Одиночества (исп.)

De Gongora — Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627) — испанский поэт эпохи барокко. Эпиграф взят из «Одиночества первого», входящего в книгу «Одиночества» («Уединения», «Уединенности», ок. 1613).

вспомнил, где находится. Неужели он действительно слышал меканье и кудахтанье? Нет. Это был сон или городские шумы, преображенные сном. Но пение петуха повторилось. Закутавшись в одеяло (очаг давно погас, и в библиотеке было холодно, как в могиле), он подошел к окну с частым переплетом и выглянул во двор. Джордж Маус, в высоких резиновых сапогах, как раз возвращался после дойки, неся в руках ведро молока, от которого шел пар. На крыше сарая худой петух породы «род-айлендская рыжая» взмахнул подрезанными крыльями и исторг из своей глотки новый крик. Оберон видел внизу Ветхозаветную Ферму.

Ветхозаветная Ферма

По сравнению с другими фантастическими проектами Джорджа Мауса Ветхозаветная Ферма имела то преимущество, что была порождена необходимостью. В те нелегкие дни всем, кто желал заполучить к себе на стол свежие яйца, молоко, масло и притом не разориться, приходилось самим озаботиться производством этих продуктов. В прямоугольнике принадлежавших Маусу строений так или иначе давно уже никто не обитал; внешние окна были забиты жестью

или почерневшей фанерой, двери заделаны блоками из шлакобетона. Дома превратились в пустотелую крепостную стену, которая окружала ферму. Теперь в бывших комнатах сидели на насестах куры, в садовых строениях раздавались веселые или горестные крики коз, кормушкой которым служили ванны на когтистых лапах. Голый бурый огород, занимавший большую часть внутриквартального заднего двора, куда Оберон смотрел из окна библиотеки, покрылся в это утро изморозью; из-под остатков кукурузы и капусты выглядывали оранжевые тыквы. Какая-то смуглая невысокая женщина осторожно взбиралась и спускалась по пожарным лестницам из кованого железа, исчезала в лишенных рам окнах и вновь появлялась. Пронзительно пищали цыплята. На женщине было блестящее вечернее платье; собирая яйца в сумочку из золотой ткани, она дрожала. Вид у нее был недовольный. Она крикнула что-то Джорджу Маусу, но тот только глубже надвинул на лицо широкополую шляпу и потопал прочь. Женщина спустилась во двор, огибая на каблуках-шпильках грязь и садовый мусор. Бросила какое-то слово в спину Джорджу, взмахнула рукой, потом сердито натянула на плечи шаль с бахромой. Золотистая сумочка, ви-

севшая у нее на руке, не выдержала груза, и яйца начали одно за другим выпадать, как из курицы. Женщина заметила это не сразу, потом ойкнула и обернулась, чтобы спасти остальные яйца, подвернула каблук и разразилась хохотом. Она смеялась, пока яйца проскальзывали у нее между пальцев, скорчилась от хохота, поскользнулась на битом яйце, чуть не упала и рассмеялась еще отчаянней. Она деликатно прикрывала ладошкой рот, но Оберон слышал ее смех — низкий и хрипловатый. Он тоже рассмеялся.

Видя, как бьются яйца, Оберон подумал, что надо бы выяснить, где тут завтракают. Подергав свой смятый, завившийся спиралью костюм, он придал ему более-менее правильную форму, энергичным круговым движением костяшек пальцев протер глаза и расчесал свою великолепную шевелюру пятерней — ирландским гребнем, как говаривал Руди Флад. Теперь ему предстояло найти дверь, — или окно, — откуда он накануне явился. Оберону помнилось, что по пути в библиотеку он видел, как где-то готовилась еда, поэтому он прихватил свой мешок (чтобы его не обыскали и не стащили) и выполз на шаткий мостик, качая головой при мысли о том, как нелепо ему придется пресмыкаться. Доски стонали под его ногами,

через щели проникал желтовато-серый свет. Как невероятный коридор, привидевшийся во сне. Что, если мостик проломится и он свалится в вентиляционную шахту? И окно на противоположном конце может оказаться запертым. Бог мой, что за глупость. До чего же глупый способ добраться из одного места в другое. Оберон порвал куртку о гвоздь и с яростью пустился на карачках в обратный путь.

С ущемленным достоинством и грязными руками, он вышел в массивную старую дверь библиотеки и стал спускаться по винтовой лестнице. В нише на площадке стояла статуэтка дворецкого с исхудалым лицом, в маленькой шапочке. В руках она держала ржавую пепельницу. У подножия лестницы в стене была проделана дыра — щель между торчавшими кирпичами, которая вела в соседнее здание, — вероятно, то самое, где Оберон побывал накануне с Джорджем, или он совсем перестал ориентироваться? Строение, куда он попал через дыру, отличалось от предыдущего. Вместо поблекшей элегантности здесь царила застарелая бедность. Количество слоев краски на обшивке из штампованной жести, а также слоев линолеума на полу поражало воображение, вызывая мысли об археологии. В холле

горела единственная тусклая лампочка. Из-за двери, многочисленные запоры которой были все открыты, доносились музыка, смех и запахи стряпни. Оберон приблизился, но перешагнуть порог постеснялся. Как общаться со здешними обитателями? Ему нужно будет научиться. С детства его почти всегда окружали одни только привычные лица, а теперь он оказался среди незнакомцев, и их было видимо-невидимо.

Душа не лежала к тому, чтобы именно сейчас ступить в эту дверь.

Злой на себя, но неспособный ничего с собой сделать, Оберон побрел в другой конец холла. Через дверь, состоявшую из матовых стеклышек в оправе из мелкой проволочной сетки, проникал дневной свет. Сдвинув засов, Оберон открыл ее, выглянул и обнаружил фермерский двор, расположенный в середине квартала. В прилегавших к нему строениях имелись десятки дверей, среди которых не было и двух одинаковых. Вход преграждали также самые разные приспособления: ржавые решетки, цепи, проволока, засовы, замки. Иные двери были снабжены всеми этими средствами вместе и все же выглядели непрочными и ненадежными. Что находилось за ними? Часть дверей была распахнута, и через одну Оберон

разглядел коз. Оттуда вышел маленький-премаленький человечек, черный и кривоногий, но с необычно мощными руками, несший на спине холщовый мешок. Проворно ступая своими коротенькими ножками (ростом он был с ребенка), человечек начал пересекать двор. Оберон окликнул его:

— Простите!

Коротышка не остановился. Глухой? Оберон поспешил за ним. Неужели он совсем голый? Или одет в комбинезон телесного цвета?

— Эй! — крикнул Оберон.

На сей раз незнакомец услышал, повернул к Оберону свою большую приплюснутую голову и во весь рот ухмыльнулся. Глаза его представляли собой не более чем щелочки над широким носом. Ну и типы здесь попадаются, подумал Оберон, настоящие выходцы из средневековья; что это — результат бедности? Уверенный, что перед ним идиот, который не поймет ни слова, Оберон все же начал формулировать вопрос, но коротышка длинным черным пальцем с острым ногтем указал ему за спину.

Оберон посмотрел туда. В открывшейся двери возник Джордж Маус, который выпустил трех кошек и, прежде чем Оберон успел его окликнуть,

снова ее закрыл. Спотыкаясь о корни деревьев, Оберон кинулся к двери, но прежде повернулся, чтобы взмахом руки поблагодарить черного человечка, однако тот исчез.

За дверью, в конце зала, Оберон помедлил, почуяв запах еды, и прислушался. До него долетали как будто отголоски спора, громыхание горшков и тарелок, плач ребенка. Он толкнул дверь, и она распахнулась.

Чуток или весь котелок

У плиты стояла, в прежнем золотом платье, та самая девушка, которая роняла во дворе яйца. Рядом с ней, на полу, сидел, размазывая по грязному лицу слезы, несказанной красоты ребенок. За большим круглым столом восседал Джордж Маус; внизу громоздились его большие грязные сапоги.

— Здорово, мой мальчик, — произнес он. — Как тебе спалось? Он постучал костяшками пальцев по соседнему стулу. Младенец, которого появление Оберона отвлекло лишь на минуту-другую, приготовился снова заплакать, о чем свидетельствовали появившиеся на его ангельских губах пузырьки слюны. Он потянул девушку за платье.

— Ну-ну, *coño*[153], не волнуйся, — мягко произнесла она, словно обращалась к взрослому. Ребенок поднял голову, они встретились взглядами и как будто пришли к согласию. Ребенок передумал плакать. Девушка быстро помешала в горшке длинной деревянной ложкой. Это движение она проделала всем телом, обтянутый золотом зад ходил ходуном. Оберон не спускал с нее глаз, но тут Джордж снова заговорил:

— Это Сильвия. Сильвия, поздоровайся с Обероном Барнаблом. Он пришел в город искать счастья.

Ее улыбка была молниеносной и искренней, словно из облаков проглянуло солнце. Оберон скованно поклонился, помня о своих опухших веках и небритых щеках.

— Будешь завтракать? — спросила она.

— Конечно, будет. Присаживайся, братишка.

Девушка вновь обернулась к плите, выхватила из керамического автомобильчика две сидевшие там фигурки с надписями на цилиндрах: «Мистер Соль» и «Мистер Перец» — и энергично

---

[153] Примечания: 153

Испанское непристойное ругательство, употребленное в ласкательном значении.

потрясла над горшком[154]. Оберон опустился на стул и сложил перед собой руки. Окнами из ромбовидных панелей кухня глядела во двор фермы, где какой-то незнакомец (не тот, который встретился Оберону прежде) гонял меж зачахшей растительности коз — измерительной линейкой, как заметил Оберон.

— У вас здесь много жильцов? — спросил он дядю.

— Они не совсем жильцы.

— Он берет к себе народ, — вмешалась Сильвия, бросив на Джорджа нежный взгляд. — Тех, кому некуда приткнуться. Вроде меня. Потому что у него доброе сердце. — Помешивая ложкой в котелке, она рассмеялась. — Бесприютных чудиков.

— Я вроде бы встретил кого-то, — сказал Оберон, — вроде бы черного, во дворе... — Он заметил, что Сильвия отложила ложку и обернулась. — Очень маленького. — Оберона удивила воцарившаяся тишина.

---

[154] Примечания: 154

Ребенок передумал плакать... «Мистер Перец» — и энергично потрясла над горшком. — Ср. «кухонную» сцену из «Алисы в Стране чудес» (гл. VI). с вечно ревущим младенцем и перчением воздуха.

— Брауни[155], — проговорила Сильвия. — Это был Брауни. Ты видел Брауни?

— Наверное. Кто...

— Ну да, старик Брауни, — кивнул Джордж. — Он, можно сказать, прячется. Вроде отшельника. Делает кучу работы. — Он с любопытством оглядел Оберона. — Надеюсь, ты не...

— Думаю, он меня не понял. Он ушел.

— Ага, — мягко заметила Сильвия. — Брауни.

— Ты что, его тоже взял на жительство?

— Кого? Брауни? — хмыкнул Джордж и задумался. — Не иначе, старый Брауни жил здесь всегда, хотя кто знает. Послушай, — внезапно переменил тему Джордж, — чем ты собираешься сегодня заняться? *Negocio?*[156]

Оберон вынул из внутреннего кармана карточку. На ней стояло «Петти, Смилодон и Рут, адвокаты» и были даны адрес и номер телефона.

— Юристы моего деда. Мне нужно зайти к ним по поводу наследства. Не скажете ли, как туда добраться?

Джордж, раздумывая, стал вслух читать адрес

---

[155] Примечания: 155

Брауни — трудолюбивый домашний фейри, хобгоблин, аналог русского домового. Обитает в Англии и Нижней Шотландии.

[156] Примечания: 156

Дела? (исп.)

так медленно, словно какой-нибудь эзотерический текст. Сильвия, натянув на плечи шаль, принесла оббитый дымившийся горшок.

— Бери чуток или весь котелок, — сказала она. — Вот твоя бурда.

Джордж благодарно втянул носом пар.

— Она не ест овсянку, — подмигнул он Оберону.

Сильвия отвернулась, очень картинно изображая отвращение — не только лицом, но всем телом. Затем, в секунду переменившись, она с непринужденной грацией подхватила ребенка, который, как шпагоглотатель на шпагу, нацелился на шариковую ручку.

— *Que jodiendo!*[157] Посмотрите-ка, что это у нас такое? Ну взгляните же на эти толстенькие щечки, такие миленькие, что так бы их и съела. М-ммм. — Она жадно ухватила губами толстую коричневую щеку, так что малыш, плотно зажмурившись, стал вырываться. Потом Сильвия усадила его на шаткий детский стульчик (украшавшие его переводные картинки — медведи и кролики — почти совсем стерлись) и поставил передним еду. Она помогала ему есть, вместе с

[157] Примечания: 157

Испанское непристойное ругательство, употребленное в ласкательном значении.

ним открывала рот, облизывала воображаемую ложку, аккуратно вытирала ему лицо. Наблюдая за ней, Оберон поймал себя на том, что тоже помогает им, открывая рот. Он сжал челюсти.

— Слушай, спортивная модель, — сказал Джордж, дождавшись, пока Сильвия закончит кормить ребенка, — сама-то ты будешь есть или как?

— *Е-есть?* — изумилась она, словно услышала непристойное предложение. — Да я только что ввалилась. Меня ждет не дождется постель, я собираюсь на боковую. — Она потянулась и зевнула, щедро предлагая себя Морфею; длинными наманикюренными ногтями лениво поскребла себе живот. Сквозь золотое платье была видна затененная ямка пупка. Оберон чувствовал, что при всем своем совершенстве это смуглое тело было слишком мало, чтобы ее вместить. Из него так и сыпались искры ума и чувств, и даже нынешняя нарочитая усталость вырывалась наружу как ослепительный взрыв.

— Чуток или весь котелок? — сказал он.

«Крылатый гонец»

Путешествуя в грохочущем поезде «Б» подземки в сторону городских окраин, Оберон (не имевший

опыта, чтобы судить о подобных вещах) старался понять, какие отношения связывают Джорджа и Сильвию. Джордж годился ей в отцы, а Оберон был достаточно молод, чтобы мысль о подобном союзе весны с зимой внушала ему отвращение. Однако Сильвия готовила Джорджу завтрак. Отправляясь в постель, какую постель она имела в виду? Оберон хотел... нет, он сам не знал, чего хотел. Тут с поездом что-то случилось, и все это вылетело у него из головы. Вагон начало бешено трясти; он пронзительно, как под пыткой, визжал, грозя развалиться на части. Оберон вскочил. Громкое металлическое клацанье раздирало уши; свет дрогнул и погас. Ухватившись за холодный поручень, Оберон ждал неминуемого крушения. Потом заметил, что попутчики ведут себя так, будто ничего не произошло. С каменными лицами они читали газеты на иностранных языках, качали коляски с детьми, рылись в сумках с покупками, безмятежно жевали резинку. А спящие даже не пошевелились. Единственной странностью, обратившей на себя внимание пассажиров, был поступок Оберона, вскочившего с места, но по нему они всего лишь скользнули взглядом. Но ведь случилось несчастье! За окнами, до смешного грязными, он видел другой

поезд, несшийся навстречу по параллельному пути. Свистки, скрип железа; казалось, поезда вот-вот соприкоснутся боками; желтые окошки другого поезда (все, что можно было рассмотреть) надвигались, как вытаращенные от ужаса глаза. В наипоследнейшее мгновение поезда разошлись на какой-нибудь дюйм-другой и продолжили бешеную параллельную гонку. В соседнем поезде спокойные пассажиры, одетые в пальто, читали иностранные газеты и рылись в сумках с покупками. Оберон сел.

Когда шум стих, послышался голос черного старика в ветхой одежде, который все это время стоял в середине вагона, легонько опираясь на поручень.

— Не подумайте обо мне чего не так, не подумайте обо мне чего не так, — убеждал он пассажиров, выставив вперед свою длинную серую ладонь, а те старательно его игнорировали. — Не подумайте обо мне чего не так. Глядеть на нарядную женщину, ясное дело, одно удоволь-

ствие — ей-ей, прекрасное пленяет навсегда[158]. О женщине, одетой в меха, — вот о ком я толкую. Ну вот, не подумайте обо мне чего не так... — Он затряс головой, отвергая возможные возражения, — но, ей-ей, чей мех она на себя нацепит, от того зверя и прилипнут к ней повадки. Верно-верно. Чей мех нацепит, от того и повадки возьмет. Ей-ей. — Старик принял небрежную позу краснобая и с благосклонной доверительностью оглядел слушателей. Когда он раздвигал полы своего неописуемого пальто, чтобы упереться костяшками пальцев в бедро, Оберон заметил, что в кармане у него имеется груз, а именно бутылка. — Так вот, бывал я на днях на Шестьдесят пятой авеню и видел, как леди там приценивались к шубе из *соболиного* меха. — При этом воспоминании он затряс головой. — Ну а средь всех тварей божьих нет зверя хуже *соболя*. Зверь соболь, братцы, схарчит, не пожалеет, своих же детенышей. Слышали, что я говорю? Ей-ей. Этот зверь самый

[158] Примечания: 158

...прекрасное пленяет навсегда. — Первая строка поэмы Китса «Эндимион» (1818) в переводе Б. Пастернака. Манера речи Фреда Сэвиджа восходит к одной из любимых книг Краули — тетралогии Т. Х. Уайта (1906–1964) «Король Былого и Грядущего» (1938–1958). Персонаж первого романа («Меч в камне»), ястреб по кличке Полковник Простак, изъясняется точными или искаженными строками драматургов и поэтов XVI–XVII вв. Репертуар Фреда значительно шире, и не все источники цитат удалось установить.

грязный, скверный, ниже его не бывает; *норка* и та его лучше, люди, — *норка*, а уж что такое норка, вы сами знаете. Так вот. Эдакие славные леди, ни одна и мухи пальцем не тронет, общупывают пальто из зверя соболя, да-да, ну не потеха ли... — Устав сдерживаться, старик деликатно рассмеялся. — Да-да, того звери и повадки возьмут, вернее верного...

Взгляд его желтых глаз упал на Оберона — единственного из пассажиров, кто внимательно слушал и обдумывал его слова. В заключение речи старик промямлил что-то неразборчивое. По лицу его блуждала полуулыбка, глаза, мудрые и веселые, и одновременно похожие на змеиные, казалось, находили в Обероне что-то забавное. Поезд как раз со скрежетом повернул, и чернокожего оратора швырнуло вперед. Он ловко прошелся по вагону в гавоте — не сохранил равновесие, но и не упал. Бутылка в его кармане стукалась о поручни. Когда его несло мимо Оберона, тот услышал слова: «Все скроют меха с

веерами»[159]. Поезд остановился, старик выпрямился и затанцевал в обратном направлении. Дверь скользнула в сторону, и вагон, в последний раз накренясь, выбросил его наружу. В последнее мгновение Оберон узнал свою остановку и тоже выпрыгнул из вагона.

Крики, резкий запах, срочные объявления, заглушаемые треском громкоговорителя, а вдобавок клацаньем поездов и многократным эхо. Совсем запутавшись, Оберон последовал за толпой пассажиров вверх по лестницам, наклонным плоскостям, эскалаторам, но, судя по всему, на поверхность так и не выбрался. На повороте ему бросилось в глаза знакомое пальто; на следующем — предварявшем, как будто, новый спуск — чернокожий старик оказался рядом с ним. Он выглядел очень сосредоточенным, шел без цели и разглагольствовать больше не собирался. Актер вне сцены, вернувшийся к собственным заботам.

— Простите, — сказал Оберон, роясь в карманах. Чернокожий, ничуть не удивившись, протянул

---

[159] Примечания: 159

«Все скроют меха с веерами». — Неточная цитата из трагедии Шекспира «Король Лир» (д. IV, сц. 6). В переводе Б. Пастернака здесь: «Но бархат мантий прикрывает все». В переводе Т. Щепкиной-Куперник: «Парча и мех все спрячут под собой». В переводе А. Дружинина: «Под шубою парчовой нет порока». В переводе М. Кузмина: «Под шубой — скрыто все». В переводе О. Сороки: «А мантия и шуба скроют все».

руку, готовый принять то, что Оберон в нее положит, но с тем же спокойствием спрятал ее, когда собеседник вытащил всего лишь карточку «Петти, Смилодона и Рута». — Не поможете ли вы мне найти этот адрес? — Он прочел его вслух. Во взгляде чернокожего выразилось сомнение.

— Заковыристый, — сказал он. — На первый взгляд значит одно, но нет. Заковыристый. Так просто не найдется. — Шаркая ногами, он поспешил прочь, согнутый и спящий на ходу. Однако болтавшаяся ладонь делала мелкие взмахи — знак, чтобы Оберон шел следом. — Смертный, тебя сохраню от беды я любой, — бормотал он, — в самой тяжкой нужде буду рядом с тобой[160].

— Спасибо, — отозвался Оберон, хотя не вполне был уверен, что эти слова относятся к нему. Он усомнился в этом еще больше, когда незнакомец (шедший стремительней, чем можно было ожидать, и не предупреждавший о поворотах) повел его по темным туннелям, где пахло мочой и, как в пещере, капала с потолка вода, потом по гулким проходам и вверх, в обширную базилику (старый вокзал). Далее их путь лежал по сверкающим

[160] Примечания: 160

Смертный, тебя сохраню от беды я любой... в самой тяжкой нужде буду рядом с тобой. — Искаженные строки из анонимного английского стихотворения «Смертный» (ок. 1509–1519) — речь Знания.

лестницам в мраморные залы. Наверху, в чистых публичных помещениях, одежда спутника показалась Оберону еще обтрепанней, а исходивший от нее запах — еще забористей.

— Дай-ка еще раз взглянуть, — распорядился чернокожий, когда они подошли к ряду быстро вертевшихся дверей из стекла и стали, через которые двигался сплошной людской поток. Оберон с проводником стояли как раз на его пути. Никого не замечая, чернокожий изучал карточку, а прохожие аккуратно его обтекали. Лица у них были злые, но из-за помехи или по собственным причинам — Оберон не знал.

— Может, мне спросить кого-нибудь другого, — предположил Оберон.

— Нет, — не обижаясь, отвечал чернокожий. — Я самый тот, кто нужен. Я ведь гонец. — Он окинул Оберона неизъяснимо значительным взглядом своих змеиных глаз. — Курьер. Фред Сэвидж меня зовут, курьерская служба «Крылатый гонец». И спасся только я, чтоб возвестить тебе[161]. — С грациозным проворством он проскользнул меж стремительных лезвий двери.

---

[161] Примечания: 161

И спасся только я, чтоб возвестить тебе. — Слегка измененные слова из Книги Иова (1:15): «...и спасся только я один, чтобы возвестить тебе».

Оберон, замешкавшись, едва не потерял его из виду, кинулся в пустой сегмент, быстро вывернул оттуда под холодный дождичек (наконец-то на улицу) и припустил рысью, чтобы не отстать от Фреда Сэвиджа.

— Есть у меня приятель Дюк[162], — говорил он, — так вот, к полуночи, среди кладбищенских задворок, встречаю Дюка в переулке: несет он человечью ногу на плече. Здорово, Дюк, здорово, старина. Так он мне: я, мол, *волчара*, между мной и волком вся разница, что он в шерсти снаружи, а я — внутри, и если ты мою распорешь шкуру, увидишь сам...

Оберон лавировал в давке, среди продвигавшихся целеустремленным маршем прохожих. Теперь он вдвойне боялся потерять своего спутника, потому что Фред Сэвидж не вернул ему карточку адвокатов. И все же он то и дело отвлекался, скользя взглядом по верхушкам зданий, иные из которых были скрыты облаками. Целомудрие и благородство верхних этажей противоречило дешевому виду нижних, пестревших лавками и вывесками, кричащих, с массивными дубовыми дверьми, на которых не одно поколение выреза-

[162] Примечания: 162

Есть у меня приятель Дюк... — Монолог из трагедии английского драматурга Джона Уэбстера «Герцогиня Мальфи» (1613–1614; д. V, сц. 2).

ло сердечки и прибивало подковы. Кто-то дернул Оберона за рукав.

— Нечего глазеть, задравши голову, — ухмыльнулся Фред Сэвидж. — Как раз обчистят карманы. А кроме того... — Улыбаясь, он выставлял на вид то ли безупречный ряд зубов, то ли самый дешевый зубной протез. — А кроме того, дома не для того существуют, чтобы люди вроде вас смотрели на них *снизу*. Они для тех, кто в них живет, — чтобы смотрели *наружу*. Со временем ты это поймешь, хи-хи. — Увлекая за собой Оберона, он завернул за угол и зашагал по улице, где оспаривали друг у друга жизненное пространство грузовики, легковые автомобили и пешеходы. — Теперь, если присмотришься, то увидишь, что нужный дом должен быть на той авеню, но фигушки. Он вот на той улице, хотя они не хотели, чтобы ты их нашел.

Наверху раздались предостерегающие крики. Из окна второго этажа свешивались канаты, а на них — громадное зеркало в раме из золоченой бронзы. Внизу, на тротуаре, громоздились письменные столы, стулья, шкафы для документов — целая контора; чтобы обойти ее, прохожим приходилось ступать в омерзительную канаву. Грузовики как раз перекрыли улицу, крики «по-

берегись! поберегись!» зазвучали громче, никто не мог сдвинуться с места. Зеркало раскачивалось в воздухе. Наблюдавшее прежде лишь спокойные интерьеры, оно отражало теперь содрогания толпы, бешеную сутолоку Города. Вид у него был безмерно изумленный. Медленно поворачиваясь, оно спускалось, и по его поверхности пробегали туда-сюда строения и вывески с нечитаемыми надписями. Народ глазел, ожидая увидеть самих себя, в пальто и с зонтиками.

— Живей, — бросил Фред Сэвидж, крепко хватая Оберона за руку и утаскивая его за собой кривой дорожкой по заставленному тротуару. Тут у рабочих, спускавших зеркало, вырвались крики ужаса и злости. С ним что-то не заладилось, веревки внезапно ослабли, зеркало резко накренилось в каком-нибудь футе от тротуара. Зеваки громко втянули в себя воздух. Пока зеркало выпрямилось, миновала целая вечность. Задевая шляпой позолоченную раму, Фред полез под него. На краткий миг Оберон, видя в зеркале часть улицы, оставшуюся за спиной, вообразил, будто ему открылась другая улица, откуда исчез (или куда удалился) Фред Сэвидж. Потом он наклонился и прошел под зеркалом. На той стороне, под проклятия рабочих, а также донесшийся неведомо

откуда странный гром, Фред повел Оберона через обширный арочный проход в здание.

— Мой девиз — будь готов, — произнес он, довольный собой, — знай, что твое дело правое, и — вперед[163].

Он указал на номер дома, который и в самом деле относился к авеню, и вернул Оберону карточку. Потом ободряюще похлопал его по спине.

— О, спасибо, — проговорил Оберон. Подумав, он порылся в кармане и извлек оттуда смятый доллар.

— Услуга бесплатная, — отозвался Фред Сэвидж, но все же изящным движением зажал доллар между большим и указательным пальцем. На его ладони была начертана богатая событиями история. — Вперед. Знай, что твое дело правое, и — вперед. — Он направил Оберона к стеклянной двери, обитой медью. Входя, Оберон вновь услышал тот же гром или разрыв бомбы, только гораздо более мощный, и пригнулся. Раскат грома звучал долго и оглушительно, словно мир рассекали пополам, начиная с угла. Когда он стих, послышался вздох, многоголосый стон, с вкраплениями женского визга. Оберон едва сдержал

[163] Примечания: 163

...знай, что твое дело правое, и — вперед. — Афоризм Дейви (Дэвида) Крокетта (1786–1836), ставшего героем американского фольклора.

страх, узнав в этих звуках звон гигантского стекла — узнав с уверенностью, хотя никогда прежде не слышал, как звенит, разбиваясь, стекло такого размера.

Сколько же несчастливых лет сулит кому-то эта примета, подумал он, задавая себе вопрос, не спасся ли он сам только что от какой-то беды.

Складная Спальня

— Я поселю тебя в Складной Спальне, — сказал Джордж, когда, с электрическим фонарем в руке, вел Оберона по лабиринту преимущественно пустых зданий, которые окружали Ветхозаветную Ферму. — Там, наконец, наладили камин. Смотри под ноги. Мы поднимаемся.

Оберон, дрожа, следовал за ним со своим мешком и бутылкой рома «Донья Марипоса». По пути в центр города он попал под моросящий дождь, который, как ему казалось, пронизывал не только пальто, но и его тощую плоть и студил сердце. Оберон спрятался ненадолго в винной лавчонке с красной надписью «Спиртные напитки», которая вспыхивала и погасала в лужах на тротуаре. Владельцу явно не нравилось, что посетитель использует его помещение как дармовое убежище, поэтому Оберон начал осматривать многообраз-

ные бутылки и наконец купил ром: на этикетке была изображена девушка в крестьянской блузе с охапкой зеленого тростника в руках, которая напомнила ему Сильвию, а вернее, он подумал, что так могла бы выглядеть Сильвия, если бы она была плодом воображения.

Джордж вынул связку ключей и принялся их рассеянно перебирать. После возвращения Оберона он выглядел хмурым и рассеянным. Говорил бессвязно о своих невзгодах. Оберон хотел задать ему несколько вопросов, но чувствовал, что ответа нынче не получит, и молча шел за Джорджем.

Складная спальня была заперта на два замка, и Джордж не сразу ее открыл. Внутри, однако, обнаружился электрический свет: лампа с цилиндрическим абажуром, на котором была изображена панорама сельской местности с двигавшимся по ней поездом. Подобно Змее, кусающей свой хвост, локомотив едва не соприкасался со служебным вагоном. Прижав к губам палец, Джордж осмотрел комнату, словно в давние времена что-то здесь потерял. «Вся штука теперь в том...» — начал он, но не продолжил. Он разглядывал корешки книг в бумажных обложках, стоявших на полке. Под действием тепла от лампочки локомотив на абажуре начал медлен-

но перемещаться по пейзажу.

— Слушай, мы здесь сообща тянем одну лямку, — сказал Джордж. — Каждый делает свою долю работы. Ну, ты просекаешь. Я хочу сказать, что работа никогда не кончается и все такое. Вот. Против этого, наверное, нет возражений. Туалет — это шкаф для одежды, то есть наоборот. Плиты и припасов нет, но присоединяйся — мы питаемся в складчину. Ладно. Слушай. — Джордж снова пересчитал ключи, и Оберон мысленно сравнил его с тюремщиком, который готовится запереть камеру, но Джордж снял с кольца три ключа и отдал ему. — Только, ради бога, не посей. — Джордж изобразил слабую улыбку. — Добро пожаловать в Большой Город, дружище, и гляди в оба, чтобы тебя не обули на все четыре.

Обули на все четыре? Закрывая дверь, Оберон подумал, что речь дяди похожа на его Ферму — так же засорена древним хламом и истертыми украшениями. Себя, наверное, называет «чувак». Оглядевшись, он обнаружил в складной спальне странность, которая скорее ощущалась, чем замечалась: здесь не было кровати. Наличествовало будуарное кресло, обитое винно-красным бархатом, и еще одно, плетеное, с прикрепленными подушками, скрипучее; имелся ветхий коврик

и громадный глянцевый гардероб или шкаф: спереди зеркало со скошенными кромками, внизу ящики с медными ручками (как их открывать, Оберон не знал). Но кровати и в помине не было. В деревянном ящике из-под абрикосов («Голден Дримз») Оберон нашел дрова и бумагу и трясущимися пальцами разжег огонь, готовясь провести ночь в кресле, так как не собирался вновь проделать путь по Ветхозаветной Ферме, чтобы выразить неудовольствие.

Когда огонь разгорелся, жалость к себе постепенно прошла, а когда высохла одежда, наступил даже подъем духа. Любезный мистер Петти из «Петти, Смилодон и Рут» по непонятной причине темнил относительно его прав на наследство, однако охотно выдал аванс. Деньги лежали у Оберона в кармане. Он явился в Город и не умер, и даже не получил кирпичом по голове: он разжился деньгами и надеждами на будущие поступления. Начиналась настоящая жизнь. Эджвудские непонятности, давящее чувство от неразрешенных тайн, которым не было конца, неясных намерений и планов — все осталось позади. Отныне Оберон сам распоряжался своей судьбой. Свободный человек, он добудет миллион, удачу в любви, а домой будет возвращаться

когда вздумается, хотя бы и за полночь. Он пошел в крохотную кухню, примыкавшую к складной спальне, где стояли неработающая плита и громоздкий холодильник (очевидно, тоже неработающий), а также ванна и раковина, раздобыл белую кофейную кружку, всю в трещинах, обтер ее и вынул бутылку «Доньи Марипосы».

Когда он водрузил полную кружку на колени и, ухмыляясь, уставился на огонь, в дверь постучали.

Сильвия и судьба

Оберон мгновенно узнал в смуглой застенчивой девушке ту самую, которую видел во дворе, где она, одетая в золотое платье, роняла яйца. Теперь на ней были джинсы из выцветшей мягкой материи, похожей на домотканую. Обхватив себя за плечи, она тряслась от холода, так что фигурные серьги в ушах ходили ходуном, и выглядела куда мельче, чем прежде. То есть она и тогда была маленькой, но казалась большой благодаря скрытой энергии, рвавшейся за пределы тесной оболочки.

— Сильвия, — произнес он.

— Угу. — Она метнула взгляд в темный зал, потом опять на Оберона, словно торопилась, или

ей не стоялось на месте, или?.. — Я не знала, что тут кто-то есть. Думала, нет никого.

Его фигура в дверном проеме выглядела настолько неоспоримо, что другого ответа не требовалось.

— Ладно. — Сильвия высвободила замерзшую ладонь, которую прятала под мышкой, нажала себе на губу и прихватила ее зубами. Глядела она в сторону, словно Оберон уговаривал ее остаться, а ей не терпелось уйти.

— Ты что-то здесь забыла? — Сильвия не отвечала. — Как твой сынок? — Ладонь, прижатая к губам, целиком скрыла рот Сильвии. Она то ли плакала, то ли смеялась, то ли и то и другое вместе, а глядела по-прежнему в сторону, хотя ей явно было некуда идти, как наконец сообразил Оберон. — Входи, — с ободряющим кивком проговорил он и отступил, освобождая ей путь.

— Я иногда сюда прихожу, — объяснила Сильвия, пересекая порог, — когда, знаешь, хочу побыть одна.

Во взгляде, которым она обвела комнату, Оберону почудилось обоснованное недовольство. Он вторгся на чужую территорию. Оберон задумался, не следует ли ему уступить ей комнату и пойти спать на улицу. Но сказал только:

— Хочешь рому?

Она, казалось, не слышала.

— Послушай, — начала она и замолкла. Только значительно позже Оберон понял, что в Городе это слово принято употреблять как пустой звук, не посягая на внимание собеседника. Он стал ждать. Сильвия опустилась на маленькое бархатное кресло и наконец произнесла, словно обращаясь к себе самой: — Как здесь уютно.

Оберон промычал что-то неразборчивое.

— Такой милый очаг. А что ты пьешь?

— Ром. Хочешь?

— Конечно.

Другой чашки не нашлось, и Сильвии с Обероном пришлось поочередно прикладываться к имевшейся.

— Это не мой сын, — сказала Сильвия.

— Прошу прощения, если я...

— Это ребенок моего брата. У меня ненормальный братец. Зовут Бруно[164]. Ума как у малолетки. — Сильвия задумалась, глядя в огонь. — Малыш отличный. Ужас какой милый. Сообразительный. И вредина. — Она улыбнулась. — Точь-в-точь как его *papo*. — Она сжалась еще плотнее, подтянув

---

[164] Примечания: 164

У меня ненормальный братец. Зовут Бруно. — См. комментарии, раздел II.

колени к самой груди. Оберон понял, что внутри ее душат слезы и только напряженная поза помогает удерживать их в себе.

— Вы с ним как будто неплохо ладите. — Оберон сопроводил свои слова кивком, который ему самому показался до глупости важным. — Я думал, ты его мать.

— О, его мать, приятель, это тяжелый случай. — Вид Сильвии выражал презрение, к которому подмешивалась разве что крохотная доля жалости. — Тяжелый случай. Плачевный. — Она задумалась. — То, как они с ним обращались. Он растет таким же, как его отец.

Судя по всему, это был не самый благоприятный вариант. Оберону хотелось измыслить такой вопрос, за которым последует вся история целиком.

— Ну, сыновья и вправду вырастают похожими на отцов. — Оберон спросил себя, оправдает ли он сам когда-нибудь это утверждение. — В конце концов, они много времени проводят вместе.

Сильвия недовольно фыркнула:

— Ерунда, Бруно уже с год не видел своего ребенка. А теперь он появляется со словами «Привет, сынок», и все потому, что обрел веру.

— Хм.

— То есть не веру. А типа, на которого работает. Или за которым следует. Рассел — как его там, выпало из памяти. Как бы то ни было, теперь у него с языка не сходят любовь, семья и чертов стул. И вот он тут как тут, у порога.

— Хм.

— Они погубят ребенка. — В уголках ее глаз собрались слезы, но она их заморгала, и ни одна слеза не вытекла. — Чертов Джордж Маус. Сыграть такого идиота!

— А что он сделал?

— Говорит, он был пьян. И вооружен ножом.

— О.

Сильви злоупотребляла местоимениями, и понять, к кому они относятся, было непросто. Поэтому он так и не понял, кто напился пьяным и имел при себе нож. Только впоследствии, прослушав историю еще дважды, Оберон установил, что братец Бруно явился пьяным на Ветхозаветную Ферму и, опираясь на свою новую веру или философию, потребовал у Джорджа Мауса племянника Бруно, который, в отсутствие Сильвии и после долгих пререканий, и был ему выдан. И теперь этот племянник Бруно попал в руки его женской родни (братец Бруно, конечно, у себя его не оставит), любящей и глупой, как пробка, которая

его избалует, как в свое время старшего Бруно, брошенного отцом. Ребенок вырастет тщеславным и необузданным, вспыльчивым как порох, ласковым эгоистом, неотразимым для женщин и почти неотразимым для мужчин. И если даже дитя не попадет в приют, план Сильвии, пытавшейся его спасти, все равно провалился: Джордж отказывался пускать на Ферму ее родственниц, у него и без них хватало забот.

— И потому я не смогу с ним дальше жить. — На этот раз местоимение означало, конечно, Джорджа.

В Обероне зародилась странная надежда.

— Я хочу сказать, что не он в этом виноват. На самом деле он не виноват. Просто я не смогу. Всегда стану об этом думать. Да и в любом случае. — Сильвия нажала себе на виски, спрессовывая мысли. — Черт! Если бы мне набраться храбрости, да и послать их подальше. Всех до единого. — Ее горе и досада подходили к пределу. — Сама я не хочу их больше видеть. Никогда. Никогда-никогда. — Она почти смеялась. — И это глупее глупого, потому что, если я отсюда уйду, мне негде будет приткнуться. Совсем негде.

Она не хотела плакать. И не заплакала, удержалась. Теперь ее лицо выражало полное отчаяние;

подперев щеки ладонями, она глядела в огонь.

Оберон сцепил руки за спиной и заговорил, стараясь изобразить дружески-непринужденный тон:

— Ради бога, оставайся здесь, милости прошу. — Сообразив, что предлагает Сильвии приют, который принадлежит скорее ей, чем ему, Оберон вспыхнул. — Я хочу сказать, что ты, конечно, можешь здесь жить, если не возражаешь против такого соседа, как я.

Ее ответный взгляд показался Оберону настороженным, что было вполне понятно, если учесть некоторую постоянную ноту в его чувствах, которую он фактически пытался скрыть.

— Правда? — спросила она и улыбнулась. — Я не займу слишком много места.

— А здесь много места и нет. — Сделавшись хозяином, Оберон задумчиво осмотрел помещение. — Не знаю, как нам устроиться, но вот кресло, а вот мое пальто, почти сухое, можешь взять его вместо одеяла... — Он понял, что ему самому придется корчиться в углу и он, вероятно, в эту ночь вовсе не уснет. Сильвия следила за этими нерадостными приготовлениями с несколько вытянувшимся лицом. Оберон не мог придумать для нее ничего лучшего.

— А нельзя ли мне, — начала она, — примоститься хотя бы на краешке кровати? Я свернусь в малюсенький клубочек.

— Кровати?

— Кровати! — В голосе Сильвии послышалось растущее нетерпение.

— Какой кровати?

Внезапно сообразив, в чем дело, она громко рассмеялась.

— Ну и ну, так ты собирался лечь на полу — вот смеху-то!

Сильвия подошла к массивному гардеробу или высокому комоду, стоявшему у стены, пошарила по его задней стороне, повернула ручку или дернула рычаг и, до крайности довольная собой, стала наблюдать за движением его передней стенки, которая, под действием противовеса (ложные ящики содержали в себе груз свинца), плавно и неспешно начала опускаться. Зеркало отразило пол, а потом исчезло, медные ручки по углам удлинились (когда стенка наклонилась, они выскользнули наружу, и их закрепил в этом положении механизм, который срабатывал от силы тяжести — Оберон позже восхищался его остроумным устройством). Это была кровать. У нее имелось резное изголовье; верхушка гарде-

роба превратилась в спинку кровати. Имелись также матрас, постельное белье, две пухлых подушки.

Оберон посмеялся вместе с Сильвией. Раскрытая кровать заняла большую часть комнаты. Складная спальня.

— Правда, здорово? — спросила Сильвия.

— Здорово.

— Места хватит на двоих, да?

— Конечно. Собственно...

Оберон собирался предоставить Сильвии всю постель; это было правильно, и он бы сделал это сразу, если бы знал о спрятанной кровати. Но он видел, что она думает, будто он настолько нелюбезен, чтобы воображать, будто с нее хватит и половины; она думает, что он думает... Внезапная мысль заставила его замолкнуть.

— Ты в самом деле не возражаешь? — спросила она.

— Нет. А ты?

— Нет-нет. Я никогда не спала одна. Годами делила кровать с бабушкой, а обычно еще и с сестрой. — Сильвия взобралась на постель, такую высокую и пухлую, что пришлось для этого подпрыгнуть, опершись на руки. Ноги ее не доставали до пола. Она улыбнулась Оберону, и он

улыбнулся в ответ. — Ну вот.

Преображение комнаты завершило преображение его жизни: отъезда, автобуса, Города, юристов и дождя для этого не хватило. С этого мгновения все должно было пойти по-другому. Оберон обнаружил, что сверлит Сильвию диким взглядом, а она опустила глаза.

— Ну ладно. — Он поднял чашку. — Как насчет еще капельки?

— Хорошо. — Пока Оберон наливал ром, Сильвия спросила: — Кстати, что привело тебя в Город?

— Поиски счастья.

— Да?

— Ну, я хочу стать писателем. — Ром и доверительная атмосфера развязали ему язык. — Собираюсь зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. Каким-нибудь. Может быть, на телевидении.

— О, красота. Большие баксы.

— М-мм.

— Можешь писать что-нибудь вроде «Мира Где-то Еще»?

— А что это?

— Ты знаешь. Телепередача.

Оберон не знал. Нелепость его амбиций выяви-

лась сполна, когда они, как от стенки, отскочили от Сильвии. Прежде ничто не препятствовало им простираться в бесконечное будущее.

— Собственно, у нас никогда не было телевизора.

— В самом деле? Господи, боже мой. — Она хлебнула ром из протянутой Обероном чашки. — Не могли себе позволить? А Джордж мне рассказывал, что вы настоящие богачи. Ух ты.

— «Богачи»... Как насчет «богачей», не знаю... — Ага! Впервые в жизни Оберон поймал себя на том, что, подобно Смоки, берет произносимое слово в воображаемые кавычки, модуляцией голоса выражая сомнение. Неужели он стареет? — Мы могли бы купить телевизор, не сомневаюсь... А что она собой представляет, эта телепередача?

— «Мир Где-то Еще»[165]? Дневной сериал.

— А-а.

— Из тех, что не кончаются. Едва переживут одни трудности и неприятности, как начинаются другие. Тупые по большей части. Но затягивает. — Сильвия снова задрожала от холода. Подтянув

---

[165] Примечания: 165

«*Мир Где-то Еще*». — Мыльная опера названа шекспировским выражением из трагедии «Кориолан». В переводе Ю. Корнеева данная строка, «There is a world elsewhere», звучит как «Не замкнут мир меж этих стен».

ноги на постель, она закутала их одеялом. Оберон возился с камином. — Там есть девушка, которая похожа на меня. — Она сопроводила это признание самоуничижительным смешком. — Вот уж у нее неприятности так неприятности. По сценарию она из Италии, но играет ее пуэрториканка. И она хороша собой. — С такой интонацией можно было бы произнести: «У нее одна нога, и в этом она похожа на меня». — И у нее есть Судьба. Она это знает. Из одной передряги попадает в другую, но у нее есть Судьба. Иной раз ее покажут с эдаким затуманенным взглядом, приглушенные голоса за кадром поют «аа-аа-*ааа*», и ты понимаешь: она размышляет о своей Судьбе.

Оберон хмыкнул. Ящик для дров наполняли всякие обломки, по большей части остатки мебели, но попадались и деревяшки с буквами. Лак на фасонных деталях шипел и вздувался. Оберону сделалось весело: он был частью сообщества чужаков и сжигал без их ведома их мебель и пожитки. Точно так же они, не зная его, брали мелочь, положенную им в ящичек для сдачи, или теснились, чтобы дать ему место в автобусе.

— Ну да, Судьба.

— Угу. — Сильвия наблюдала за движением локомотива по миниатюрному пейзажу на аба-

журе. — У меня есть Судьба, — добавила она.

— Правда?

— Угу. — И тон ее голоса, и выражение лица, и жест говорили: да, это верно, причем уже давно; я ничуть не хвастаюсь, а даже немного стесняюсь — как стеснялась бы нимба. Взгляд ее был прикован к кольцу у себя на пальце.

— Откуда человек может узнать, что у него есть Судьба? — спросил Оберон.

Кровать была такая большая, что из бархатного креслица он смотрел на собеседницу снизу вверх, нелепо задирая голову, поэтому он — осторожно — уселся рядом с ней. Сильвия подвинулась. Они заняли противоположные углы кровати, опираясь на выступы изголовья.

— Мою судьбу прочла *espiritista*[166]. Уже давно.

— Кто-кто?

— *Espiritista*. Женщина, у которой есть сила. Которая читает карты, знает толк в травах; *bruja*[167] вроде бы, ну, ты ведь знаешь?

— Ах так.

— Она мне как бы тетя, но не совсем моя, а вот

---

[166] Примечания: 166
Зд.: чародейка, ворожея (исп.).

[167] Примечания: 167
Ведьма (исп.).

чья — выпало из памяти. Мы ее называли *Titi*[168], но все остальные — Негра. Я ее боялась как огня. В ее квартире, на окраине, всегда горели свечи на алтаре; занавески были задернуты, запахи — голова кругом; а на пожарной лестнице она держала двух кур, уж не знаю для каких таких надобностей, да и знать *не хочу*. Она была большая — не толстая, но руки как у гориллы и маленькая головка; и *черная*. Иссиня-черная, знаешь? Так что на самом деле она не могла быть моей родней. В детстве я была настоящий заморыш, есть не хотела ни в какую, Мами не могла меня заставить; одна кожа да кости, вот как этот палец. — Она подняла мизинец с красным маникюром. — Доктор говорил, мне нужно есть печенку. Печенку! Представляешь? Бабушка было подумала, что, не иначе, меня кто-то сглазил, понимаешь? *Brujeria*[169]. На расстоянии. — Она, как гипнотизер на эстраде, покачала пятерней перед носом Оберона. — Вроде как месть или наподобие. Мами тогда жила с чужим мужем. Почему бы жене не пойти к *espiritista* и не наслать на меня хворь, чтобы отомстить моей матери? Ну так вот... —

---

[168] Примечания: 168
Тетушка (исп. жарг.).

[169] Примечания: 169
Колдовство (исп.).

Сильвия легко коснулась руки Оберона, потому что он отвел глаза. Собственно, она делала это каждый раз, когда ему случалось отвлечься, и эта манера начала его слегка раздражать. Он думал, что это ее личная дурная привычка, но много позже наблюдал, как подобным же образом вели себя игроки в домино на улице и женщины, которые следили за детьми и сплетничали на открытой веранде. Это была не личная особенность, а национальная. — Ну так вот. Она пошла со мной к Негре, чтобы та сняла порчу или что там еще. Слушай, ну и страху я натерпелась — *за всю жизнь* такого не помню. Хвать меня и давай общупывать своими черными ручищами. То ли стонет, то ли поет, бормочет незнамо чего, белки закатились, веки дрожат — ужас. От меня — к газовой плите, кидает что-то на конфорку (порошок, как будто), запах оттуда пошел на всю кухню, а она бегом обратно и снова тянет ко мне пальцы — вроде как танец такой. Что она еще выделывала, мне и не вспомнить. А потом утихомирилась, ни дать ни взять обычный человек, дантист, к примеру, — закончил свои дела и собирает инструменты. А бабушке она сказала: нет, никто не наводил на меня порчу, просто я отощала и должна есть как следует. Бабушка от

облегчения чуть не заплакала. И вот, — (Сильвия снова тронула Оберона за запястье, потому что он на мгновение уставился в кружку), — и вот они сели пить кофе, и бабушка вынула кошелек, а Негра все смотрит на меня. *Смотрит* и больше ничего. Слушай, я была *чуть жива*. Ну что она на меня вылупилась? Прямо насквозь глазами проедает, до самого сердца. До самой его сердцевины. Потом делает вот так, — (Сильвия изобразила, как большая чернокожая *bruja* неспешным жестом подзывает ребенка к себе), — и, едва шевеля языком, начинает задавать вопросы, что я вижу во сне, и всякое другое. По всему похоже, о чем-то задумалась. Достает колоду карт, очень старую и потрепанную, кладет на них мою руку и прикрывает своей; глаза снова закатываются, вроде как впала в транс — Сильвия расцепила пальцы Оберона, который и сам впал в транс, и взяла у него чашку. — Ох! — воскликнула она. — Ничего не осталось?

— Хоть залейся. — Он встал, чтобы принести еще рома.

— Ну, так слушай, слушай. Негра раскладывает карты... спасибо... — Заведя глаза вверх, Сильвия хлебнула и на мгновение сделалась похожа на того ребенка, о котором рассказывала. — И на-

чинает по ним читать. Вот тогда она и увидела мою Судьбу.

— И какова эта судьба? — спросил Оберон, вновь подсаживаясь к Сильвии. — Великая?

— Великая из великих, — ответила Сильвия тоном телеведущего, который преподносит самые последние новости. — Величайшая. — Она рассмеялась. — Негра сама этому не верила. Заморыш в домотканом платье. И великая Судьба. Она смотрела и смотрела. В карты, потом на меня. Я вылупила глаза, собираясь, наверное, разреветься, бабушка молилась, Негра что-то бормотала, и мне захотелось на улицу...

— Но что же за Судьба? Скажи точно.

— Ну, *точно* она не знала, — Сильвия рассмеялась, отчего весь рассказ начал казаться глупостью. — В том-то и штука. Она сказала Судьба, причем великая. Но какая? Сделаться звездой кино. Или королевой. Королевой Мира. Все может быть. — Она перешла к задумчивости так же быстро, как прежде — к веселью. — Конечно, моя Судьба еще не пришла. Но я часто ее рисовала. Рисовала свое великое будущее. Картина была такая. Среди леса стоит стол. Длинный пиршественный стол. На нем белая скатерть. Он уставлен яствами. Ломится. Но в лесу. Вокруг

деревья и всякие растения. А в середине стола пустое место.

— И?

— Это все. Просто я это видела. Думала об этом. — Сильвия перевела взгляд на Оберона. — Ручаюсь, прежде ты не знал ни одного человека, которому на роду написана великая Судьба, — широко улыбнулась она.

Оберону не хотелось признаваться, что к таковым относятся почти все его знакомые. Судьба была в Эджвуде чем-то вроде постыдной тайны, которую они сообща хранили, и если кому-нибудь случалось о ней обмолвиться, то только в самых завуалированных выражениях и в случае крайней нужды. От этого Оберон бежал. И — в чем он был уверен — убежал, подобно гусям, на сильных крыльях опередившим Братца Северного Ветра; сделался недоступен для ее леденящего дыхания. Если ныне ему хотелось Судьбы, то такой, которую он выбрал бы сам. Как единственный и простой пример он мог бы привести свое желание разделить Судьбу Сильвии, сделаться ее Судьбой.

— Это интересно? — спросил он. — Иметь Судьбу?

— Не очень. — Сильвия снова обхватила себя

за плечи, хотя огонь очага уже хорошо прогрел небольшое помещение. — Когда я была маленькой, меня этим дразнили все кому не лень. Кроме бабушки. Но она не смолчала — рассказывала каждому встречному-поперечному. Негра тоже. А я была всего лишь тот же маленький непослушный заморыш; даже удивительно, как не начала задирать нос. — Она смущенно заерзала на постели и покрутила на пальце свое серебряное колечко. — Сильвию ожидает великая Судьба. От шуток проходу не было. Однажды, — Сильвия отвела взгляд, — к нам явился настоящий старый цыган. Мами не хотела его впускать, но если ему верить, он, чтобы повидать меня, пришел аж из Бруклина. Ему открыли. Он был сутулый, потный, толстый как бочка. Говорил на эдаком смешном испанском. Меня привели и показали. Я ела крылышко цыпленка. Цыган долго на меня таращился с открытым ртом. Потом — удивительное дело — опустился на колени (это заняло немало времени) и говорит: «Помяни меня, когда придешь в царство свое»[170]. И дал мне вот это. — Сильвия подняла ладонь (рисунок линий на ней был ясный и четкий) и повернула серебряное

[170] Примечания: 170

Помяни меня, когда придешь в царство свое. — Ср.: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23:42).

колечко, показывая его с той и другой стороны. — Нам всем пришлось его поднимать.

— А затем?

— Он вернулся в Бруклин. — Сильвия примолкла, вспоминая старого цыгана. — Мне он не понравился. — Она рассмеялась. — И когда он уходил, я сунула ему в карман куриное крылышко. В карман куртки. В обмен на колечко.

— Он тебя окольцевал, а ты его окрылила.

— Да. — Сильвия засмеялась, но тут же умолкла. Казалось, ею снова овладело мучительное беспокойство. Переменчива: душа ее капризней, чем у большинства людей, бурная и ясная погода чередуются в ней с быстротой молнии. — Такой обмен подарками. Ну, бог с ним. — Она проворно сделала большой глоток, быстро выдохнула и помахала рукой перед раскрытым ртом, чтобы остудить язык. Отдала чашку Оберону и глубже забралась под покрывала. — Что от этого толку. Я даже сама о себе позаботиться не умею. Самый бестолковый человек на свете.

Голос Сильвии затих; она отвернулась и словно бы попыталась исчезнуть; потом повернулась обратно и широко зевнула. Оберон разглядел внутренности ее рта: выгнутый язык и даже язычок. Их цвет был не бледно-розовый, как у

белых людей, а сочнее, с оттенком коралла. Он задумался...

— Этому ребенку, наверное, повезло, — продолжила Сильвия. — Без меня ему будет лучше.

— Вот уж не поверю. Вы так хорошо ладили.

Она молчала, всматриваясь в свои мысли.

— Мне хочется, — начала она, но не прибавила ни слова. Оберону хотелось придумать для нее какой-нибудь подарок. В придачу ко всему миру.

— Ты можешь жить здесь сколько угодно, — проговорил он. — Сколько тебе будет угодно.

Внезапно Сильвия откинула покрывала и рванулась к краю постели. У Оберона возникло дикое желание схватить ее и задержать. «Пи-пи», — пояснила она. Перебравшись через его ноги, Сильвия спустилась на пол и распахнула дверь туалета (которая упиралась в край кровати, оставляя только щель, чтобы пройти) и включила там свет.

Оберону было слышно, как она расстегнула молнию.

— Ой! Сиденье просто ледяное! — После паузы послышались глухие звуки бившей в унитаз струи. Когда они смолкли, Сильвия сказала: — Ты милый мальчик, тебе это известно? — Оберон не нашел ответа, да и любые слова потонули бы в

реве воды, низвергшейся из бачка.

Врата из рога[171]

Приготовление общей постели сопровождалось дружным смехом (Оберон предложил в шутку поместить в середине обнаженный меч, и Сильвия, никогда не слышавшая об этом обычае, очень развеселилась), но когда локомотив был остановлен и воцарилась темнота, с дальнего края кровати, отведенного для Сильвии, донеслись негромкие всхлипывания.

Оберон думал, что никто из них не сможет уснуть, но после долгих поисков, сначала на одном боку, потом на другом, когда Сильвия несколько раз тихонько поплакала, напуганная собственными мыслями, ей открылись наконец врата из рога; слезы высохли на ее черных ресницах, и она задремала. Ворочаясь, она перетянула

---

[171] Примечания: 171

Врата из рога. — См. в «Одиссее» (песнь XIX, 562–567, перевод В. Жуковского):

> *Двое разных ворот для безжизненных снов существует.*
> *Все из рога одни, другие — из кости слоновой.*
> *Те, что летят из ворот полированной кости слоновой,*
> *Истину лишь заслоняют и сердце людское морочат;*
> *Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу,*
> *Те роковыми бывают, и все в них свершается точно.*

на себя одеяла, а Оберон не осмеливался вернуть себе хотя бы часть, опасаясь ее потревожить (он не знал, что раз уж она перешла грань, то несколько часов будет спать как убитая). Вместо ночной рубашки Сильвия надела футболку — сувенир для детей туристов (на ней красовались яркие аляповатые рисунки — четыре или пять городских достопримечательностей), а в дополнение — всего лишь пару крохотных трусиков из черного шелка на эластике. Прислушиваясь к ее все более размеренному дыханию, он пролежал без сна не один час. Ненадолго он заснул и видел сон о том, что ее детская футболка, и большое горе, и защитный покров из сбитых одеял, и подчеркнуто сексуальное нижнее белье складываются в некий ребус. Он засмеялся во сне, поняв незамысловатую игру слов, заключенную в этих предметах, и общую разгадку, удивительную при всей своей очевидности, и от собственного смеха пробудился.

Его рука скользнула под одеялом и накрыла Сильвию так осторожно, как прокрадывалась в постель какая-нибудь из кошек Дейли Элис, стараясь пристроиться в тепле и не потревожить спящего. Настороженный, он долго лежал неподвижно. Снова наполовину задремал, чувствуя,

что рука, касавшаяся соседки, постепенно превращается в золото. Проснувшись, обнаружил, что рука занемела и сделалась тяжелой как камень. Он убрал ее. Под кожей закололи иголки, и Оберон принялся поглаживать руку, забыв, почему придает такую важность именно этой, а не другой. Опять заснул. Опять проснулся. Соседка по постели сделалась очень тяжелой, давила на свой край кровати как драгоценный груз. Компактность удваивала ценность этого груза, а бессознательность — утраивала.

Когда наконец Оберон заснул по-настоящему, он увидел сон не о Ветхозаветной Ферме, а о раннем детстве, Эджвуде и Лайлак.

Глава третья

Та мысль, та прелесть, та черта, то чудо,
Которые не воплотить в словах.

Марло. Тамерлан[172]

Дом, где рос Оберон, отличался от того, где выросла его мать. Когда он перешел в руки Смоки и Дейли Элис, естественных управителей хозяйства, включавшего в себя их детей и родителей Элис, вожжи оказались несколько ослаблены. В отличие от своей матери, Дейли Элис любила кошек, и, пока взрослел Оберон, их поголовье в доме росло в геометрической прогрессии[173]. Они собирались группами у каминов, их шерсть летала в воздухе и вечно покрывала мебель и

---

[172] Примечания: 172

Марло, Кристофер (1564–1593) — английский драматург. Эпиграф взят из трагедии «Тамерлан Великий» (1587, опубл. 1590), ч. 1, д. V, сц. 1.

[173] Примечания: 173

...Дейли Элис любила кошек, и, пока взрослел Оберон, их поголовье в доме росло в геометрической прогрессии. — Возможно, реминисценция из романов Мервина Пика (1911–1968) «Титус Гроан» (1946) и «Горменгаст» (1950): Гертруду, графиню Гроан, повсюду сопровождает белое море кошек.

ковры сухим подобием изморози; их невозмутимые бесовские мордочки глядели на Оберона из самых неожиданных мест. Одна была тигрового рисунка, с полосками на лбу подобие насупленных бровей, две или три — черных, одна, белая с черными пятнами как простых, так и сложных очертаний, напоминала полинявшую шахматную доску. Холодными ночами Оберон пробуждался от тесноты и, путаясь в одеялах, отодвигал в сторону двух-трех свернувшихся в плотный клубок кошек, которые блаженствовали в его постели.

Лайлак и светляки

Кроме кошек, в доме жил песик Спарк. Он был потомком длинной линии собак, которых (так утверждал Смоки) можно было принять за внебрачных отпрысков Бастера Китона[174]: благодаря светлым пятнам над глазами его длинноносая морда носила выражение легкого упрека и крайней настороженности. Будучи уже древним старцем, Спарк оплодотворил свою родственницу, которая гостила в доме, и породил

[174] Примечания: 174

Бастер Китон (1895–1966) — голливудский комик, прославившийся, среди прочего, характерно бесстрастным выражением лица.

трех безымянных собак и еще одного Спарка. Обеспечив таким образом продолжение рода, он на весь остаток жизни свернулся в любимом кресле доктора у очага.

Но не только животные (Док выражался на этот счет достаточно ясно, ни словом не упоминая о своей нелюбви к домашним питомцам) были виной тому, что Док и Мам оказались отодвинуты в сторону. Ни достоинства, ни формального положения они не лишились, однако их как бы уносили в прошлое стремительные волны игрушек, крошек от печенья, птичьих гнезд, пеленок, лейкопластырей и двухъярусных кроватей. Мам, с тех пор как ее дочь тоже стала матерью, получила прозвище Мам Дринкуотер, или Мам Ди, или Мамди, и не могла отделаться от мысли, что ее, после долгих лет безупречной работы в парадных помещениях, пинком отправили в верхний этаж. И Как-то за эти годы многие часы в доме начали звонить не вовремя, хотя Док (обычно в сопровождении одного-двух детишек, жавшихся к его ногам) систематически их регулировал и чинил.

Сам дом старел, в целом красивый и все еще здоровый в сердцевине, но там и сям прогибались балки и расшатывались ступени. Содержание его в порядке требовало много труда, и по-насто-

ящему этим никто не занимался. Отдаленные помещения пришлось закрыть. Это коснулось и такого архитектурного излишества, как башня, а также оранжереи, где среди цветочных горшков валялись прозрачные, похожие на леденцы ромбы: Джон Дринкуотер облек свое детище в белоснежную решетку кованого железа, из ячеек которой и выпадали теперь стеклянные панели. Из посадок и клумб, окружавших дом, медленнее других приходил в упадок огород. С красивой резной веранды осыпалась побелка, стрельчатые арки скрывал виноград, ступени прогнулись, а вымощенная плитами дорожка исчезла под зарослями щавеля и одуванчика, пробивавшимися через щели, но у двоюродной бабушки Клауд оставались еще силы ухаживать за клумбами, и там произрастали цветы. В конце сада выросли три дикие яблони, сделались старыми и кряжистыми. Каждой осенью они осыпали землю своими крепкими плодами, которые, сгнив, опьяняли ос. Из части урожая Мамди готовила желе. Позднее, сделавшись коллекционером слов, Оберон при упоминании, скажем, «кислой мины», вспоминал сморщенные оранжевые яблоки, которые гнили в траве, кислые и никому не нужные.

Детство Оберона прошло на огороде. Как-то, с

наступлением очередной весны, Клауд решила, что руки и ноги уже слишком плохо ее слушаются, и чем запускать сад и огород постепенно, лучше уж бросить эту работу разом. Оберон был этому рад, потому что теперь никто не запрещал ему приближаться к клумбам. Ввиду своей запущенности сад и садовые строения приобрели особое обаяние, свойственное руинам. В пахнувшем землей сарае, приспособленном для изготовления керамики, валялись по дальним углам пыльные инструменты; отверстия леек затянула паутина, придав им сходство со шлемами — частью древнего-предревнего клада. Насосный домик с его бесполезными крохотными окошками, остроконечной крышей, миниатюрными карнизами всегда навевал Оберону мысли о далеких варварских странах. Он был языческим святилищем, а железный насос — идолом, с большим хохлом на макушке и с длинным языком. Оберон вставал на цыпочки и со всей силой поднимал и опускал ручку насоса, а идол хрипел, пока у него совсем не перехватывало дыхание. В этот миг ручка наталкивалась на какое-то загадочное препятствие, и Оберону приходилось раз-другой буквально повисать на ней, чтобы она двинулась вниз. И тут, как по мановению волшебной палочки, помеха

исчезала и по широкому языку идола начинала струиться вода, которая падала на истертые камни и с тихим плеском расплывалась по ним гладким прозрачным полотном.

Тогда сад казался ему безбрежным. С обширного, слегка волнистого навеса над верандой Оберон видел подобие моря, которое доходило до диких яблонь, а затем, взмыв прибойной волной переросших цветов и неукротимых трав, разбивалось о стену и вечно закрытые ворота в Парк, в форме буквы «Х». Это было море и дебри. Оберон единственный знал, что сделалось с мощеной дорожкой, потому что мог проползти на четвереньках под аркой листвы там, где она втайне пролегала, по камням, холодным, серым и гладким, как вода.

По вечерам появлялись светляки. Они всегда заставали Оберона врасплох. То их не было видно ни одного, то, через мгновение, оторвавшись от какого-нибудь увлекательного занятия (например, строительства холмика из земли), он замечал в бархатной тьме множество огоньков. Однажды вечером Оберон решил сидеть на крыльце и наблюдать за превращением дня в ночь, сидеть, наблюдать и больше ничего, и уловить момент, когда зажжется первый светляк,

а потом второй и третий: ради завершенности, к которой он стремился и тогда, и всегда.

Тем летом ступени веранды представлялись ему высоким троном, и на нем он сидел, недвижно уперев в ступеньку ноги в тапочках. Он не настолько сосредоточил внимание, чтобы не заметить, задрав голову, аккуратное гнездо чибиса в балках веранды или серебряный штрих в небе, оставленный реактивным самолетом. Он даже напевал, без мелодии и слов, песню, созвучную гаснувшим сумеркам. Притом он ни на секунду не терял бдительности, и все же Лайлак опередила его, заметив первого светляка.

— Вот там, — произнесла она своим негромким хрипловатым голосом, и, словно повинуясь ее указующему персту, в дальних зарослях папоротника пролетел огонек. Когда зажегся следующий, она указала на него пальцем ноги.

Лайлак никогда, даже зимой, не носила обуви; одевалась в бледно-голубое платье без рукавов, с поясом, который сползал на атласные бедра. Когда Оберон заговорил об этом с матерью, она спросила, простужалась ли Лайлак хотя бы раз в жизни, и он не смог ответить. Похоже — нет. Она никогда не зябла, и можно было подумать, что в своем голубом платье она представляла собой

существо завершенное, цельное и не нуждалась ни в какой защите. В отличие от фланелевых рубашек Оберона, платье Лайлак было частью ее существа, а не служило прикрытием или маской.

В саду нарождалось целое племя светляков. Стоило Лайлак нацелить палец и произнести «там», как зажигались еще одна или несколько бледных свечек, молочно-зеленых, как фосфоресцирующий конец выключателя со шнуром у матери в туалете. Когда все они были на месте, а сад слился в одно сплошное тусклое пятно, Лайлак очертила пальцем круг в воздухе и светляки медленно, скачками, словно с неохотой, стали собираться в его середину. Они слетелись все до одного и, повинуясь пальцу Лайлак, выстроились в мерцавшее подвижное кольцо. Оберону чудилась даже торжественная мелодия паваны, которая сопровождала их танец.

— Лайлак заставила светляков танцевать, — сказал Оберон матери, вернувшись наконец из сада. Он очертил в воздухе круг, как Лайлак, и изобразил жужжание насекомых.

— Танцевать? А не пора ли тебе в постель?

— Лайлак не ложится, — заметил Оберон. Он не сравнивал себя с нею, — для нее не существовало

правил — но отмечал: хотя ему приходится идти в постель (что неправильно, ведь небосклон еще залит голубым светом и бодрствуют многие птицы), но кое-кто все еще на ногах, будет сидеть в саду далеко за полночь, пока Оберон спит, или гулять по Парку, смотреть на летучих мышей и, если вздумает, вовсе не сомкнет глаз.

— Попроси Софи, пусть наполнит для тебя ванну, — проговорила мать. — И скажи, я поднимусь через минуту.

Он постоял немного, глядя на нее снизу вверх и раздумывая, не стоит ли немного поупрямиться. Лайлак, помимо прочего, никогда не мылась, хотя часто садилась на край ванны и изучала его отчужденным взглядом, в котором отражалось сознание собственного совершенства. Отец Оберона зашуршал газетой и откашлялся, и Оберон, исправный маленький солдатик, вышел из кухни.

Смоки опустил газету. Дейли Элис замолкла у раковины с кухонным полотенцем в руках. Судя по глазам, мысли ее блуждали где-то далеко.

— Многие дети выдумывают себе друзей, — сказал Смоки. — Или братьев и сестер.

— Лайлак, — вздохнула Элис. Она взяла чашку и принялась рассматривать в ней чайные листья,

словно собиралась на них погадать.

Это секрет

Софи дала ему уточку. От нее добиться такой милости было легче, чем от других, — не потому, что ей приходилось быть добрее. Нет, просто она была не такой нервозной, как мать, а иногда и вовсе переставала обращать на что-либо внимание. Когда Оберон по шею погрузился в воду (готическая ванна была так велика, что в ней можно было чуть ли не плавать), Софи развернула тряпку с уточкой. Оберон заметил, что в ящике с отделениями осталось еще пять.

Клауд, купившая ему уточек, сказала, что они сделаны из кастильского мыла и потому не тонут. Кастильское мыло, говорила она, очень чистое и не щиплет глаза. Уточки были вырезаны чрезвычайно искусно, а их бледно-желтый, лимонного оттенка цвет казался Оберону признаком чистоты. Их гладкость внушала ему разнообразные безымянные эмоции, от почтения до глубокого чувственного удовольствия.

— Пора приступать к мытью, — проговорила Софи. Оберон спустил уточку на воду, думая о своей неосуществимой мечте: разом, без оглядки, спустить на воду всех бледно-желтых уток, всю

эту резную флотилию, сверхъестественно гладкую и чистую.

— Лайлак заставила светляков танцевать, — заявил он.

— Да? Не забудь вымыть за ушами.

Его удивляло — то есть, скорее, не очень удивляло, — что стоило ему упомянуть Лайлак, как тут же он получал распоряжение чем-нибудь заняться. Однажды мать предупредила его, что не стоит распространяться о Лайлак при Софи: эти разговоры могут ее ранить. Но, по его мнению, вполне достаточно было сделать оговорку:

— Я говорю не о твоей Лайлак.

— Да-да.

— Твоя Лайлак исчезла.

— Да.

— Еще до моего рождения.

— Верно.

Лайлак, сидя на стульчаке, похожем на епископский трон, невозмутимо переводила взгляд с Софи на Оберона и обратно, словно речь шла не о ней. В голове Оберона роилось множество вопросов о двух — или трех? — Лайлак, и каждый раз, когда он думал о Софи, к ним добавлялись новые и новые. Но он знал, что существуют тайны, которых ему не откроют. Только когда он стал

старше, ему пришло в голову обидеться на это.

— Бетси Берд собирается замуж, — проговорил он. — Опять.

— Откуда ты знаешь?

— Тейси сказала. Лили говорит, она собралась за Джерри Торна. А Люси шепнула, что у нее будет ребенок. Уже. — Он сымитировал заинтересованный, слегка осуждающий тон сестер.

— Ну ладно. В первый раз слышу. Тебе пора выходить.

Оберон неохотно расстался с уточкой. Ее четкие формы уже начали расплываться; в следующий раз исчезнут глаза, потом другие детали; широкий клюв уменьшится до размеров воробьиного и наконец сойдет на нет. Уточка лишится головы (Оберон старался не сломать ее утончавшуюся шейку — пусть тает сама) и превратится в бесформенный обмылок. Это будет уже не утка, а утиное сердце, все еще чистое, все еще не тонущее в воде.

Зевая, Софи небрежно вытерла его полотенцем. Софи часто ложилась спать еще раньше, чем он. В отличие от матери Оберона, она обычно оставляла мокрые места: внутреннюю сторону рук, лодыжки.

— Почему ты не была замужем? — спросил он.

Ему нужно было это знать, чтобы разрешить один из вопросов, касавшихся одной из Лайлак.

— Никто не делал мне предложения.

Это не было правдой.

— Руди Флад делал. Когда умерла его жена.

— Я не была в него влюблена. Кто же тебе об этом рассказал?

— Тейси. А в кого-нибудь другого ты была влюблена?

— Однажды.

— В кого?

— Это секрет.

Книги и битва[175]

Оберону шел уже восьмой год, когда исчезла его Лайлак, а упоминать о ее существовании он перестал еще значительно позднее. Став взрослым, он иногда спрашивал себя, не случается ли так, что воображаемый друг и подруга остаются с ребенком, который водит с ними компанию, дольше, чем думают окружающие. Когда ребенок больше не настаивает на том, чтобы воображаемому другу отводилось место за обеденным

---

[175] Примечания: 175

Книги и битва — аллюзия на памфлет Джонатана Свифта (1667–1745) «Битва книг» (1697).

столом и никто не садился на предназначенный ему стул, не продолжает ли он вести с ним беседы? Как бывает в большинстве случаев: образ воображаемого друга медленно бледнеет, теряет осязаемость, по мере того как все более реальной становится реальная жизнь, или он исчезает в один день и никогда не появляется вновь — как Лайлак? Все, кого он об этом спрашивал, отвечали, что ничего не помнят. Но Оберон подозревал, что они, быть может, все еще дают пристанище давним детским призракам, хотя стыдятся об этом говорить. Почему, в конце концов, он один должен так живо все помнить?

Упомянутый день пришелся на июнь, лето уже полностью вступило в свои права, и небо было прозрачным, как вода. Это был день пикника, день, когда Оберон сделался взрослым.

Утро он провел в библиотеке, на диване «честерфилд», кожаная обивка которого приятно холодила заднюю поверхность ног. Оберон читал; во всяком случае, на его груди лежала тяжелая книга, по строчкам которой он скользил взглядом. Сколько себя помнил, Оберон всегда любил книги. Страсть эта зародилась раньше, чем он по-настоящему выучился читать, когда он, поджав под себя ноги, посиживал с отцом или со своей

сестрой Тейси у огня, следил, как они переворачивали непонятные страницы какого-нибудь большого, почти совсем не украшенного картинками тома, и ощущал невыразимый покой и уют. Научившись разбирать слова, он начал с еще большим удовольствием щупать корешки и листать страницы, любил размышлять над фронтисписом, проводить большим пальцем по обрезу, чтобы на ощупь прикинуть, сколько осталось до конца. Книги! Открывать их, слыша треск иссохшего клея, выпускать наружу их запах, с громким стуком закрывать. Оберону нравились большие книги, нравились старые, лучше — многотомные, как вот тот тринадцатитомник на низенькой полке, коричневый с золотом «Рим в Средние века» Грегоровиуса[176]. Такие книги — большие и старые — самой своей природой были предназначены хранить тайны. Оберон внимательно изучал параграфы и главы (он не любил скользить по верхам), однако он был слишком молод, чтобы разгадать все их тайны и убедиться в конечном итоге (как нередко бывает с книгами)

[176] Примечания: 176

...тринадцатитомник... «Рим в Средние века» Грегоровиуса. — Фердинанд Грегоровиус (1821–1891) — немецкий историк, автор фундаментального труда «История города Рима в Средние века» (1859–1872, в 8 т.).

в их глупости и никчемности. Большая их часть сохраняла свое волшебство. А на переполненных полках всегда оставались многие и многие непрочитанные тома. Оккультная библиотека Джона Дринкуотера притягивала его праправнука не меньше, чем многотомные собрания, которые он закупал оптом, чтобы полки не стояли пустыми. Книга, которую он тогда держал в руках, была последнее издание «Архитектуры загородных домов» Джона Дринкуотера. Соскучившаяся Лайлак перебегала из угла в угол библиотеки и принимала разные позы, будто играла сама с собой в «замри».

— Привет, — произнес Смоки в проеме двойных дверей. — Что это ты засел в четырех стенах? — Так говорила обычно Клауд. — Ты на улице-то был? Что за денек! — Вместо ответа Оберон медленно перевернул страницу. От двери Смоки видел только коротко остриженный затылок сына (стрижку делал сам Смоки) с двумя выпуклыми сухожилиями, разделенными трогательной ямкой, верхнюю часть книги, скрещенные ноги в больших тапочках. Смоки не разглядывал его одежду, но знал, что на сыне фланелевая рубашка с застегнутыми у запястья рукавами: Оберон всегда так одевался и никогда не расстегивал рукава

даже, в самую жаркую погоду. Смоки почувствовал жалость с примесью раздражения. — Привет, — повторил он.

— Папа, а в этой книге написана правда?

— Что за книга?

Оберон поднял книгу и слегка ею помахал, показывая отцу обложку. На Смоки нахлынули чувства. Давным-давно в такой же день (быть может, в тот же день месяца) он сам открыл эту книгу. С тех пор он не брал ее в руки. Но ее содержание было теперь ему известно гораздо лучше.

— Ну, «правда»... «Правда». Не знаю, что именно ты понимаешь под «правдой». — Повторяя слово «правда», он каждый раз все четче обозначал голосом невидимые кавычки. — Знаешь, эту книгу написал твой прапрадедушка. — Смоки уселся на краешек софы. — Ему помогали твоя прапрабабушка и твой прапрапрадед.

Оберон хмыкнул. Эти факты не произвели на него впечатления. Он читал: «Мир Там — это мир, по определению равновеликий нашему, который не должен, — тут Оберон запнулся, — редуцироваться при любом растяжении или расширяться при любом сжатии этого мира, то есть мира Здесь; однако последние набеги на данное королевство, именуемые у нас Прогрессом, ростом Коммерции

и раздвижением пределов Разума, вынудили этот народ еще более удалиться в глубину его земель. Таким образом, (хотя пространство, куда можно отступить, согласно природе вещей, ничем не ограничено) они утратили многие владения, принадлежавшие им издревле. Злятся ли они на нас? Кто знает. Лелеют ли мстительные замыслы? Или они, подобно краснокожим индейцам или африканским дикарям, настолько ослабели, уменьшились числом и пали духом, что их ждет в конечном счете полная, — еще одно трудное слово, — ликвидация; не оттого, что им некуда бежать, а вследствие нашей жадности, отторгшей у них земли и власть, каковую потерю им невозможно перенести? Кто знает; пока не...»

— Каков пассаж, — заметил Смоки. В несколько тяжеловесной прозе слышались голоса трех мистиков одновременно.

Оберон опустил книгу, которую держал перед глазами.

— Это верно? — спросил он.

— Ну, — начал Смоки, чувствуя себя так, как свойственно родителям, которых их чадо застигло врасплох вопросом, откуда берутся дети или что такое смерть, — я не уверен. Не уверен, что вполне понимаю. Как бы то ни было, вопрос не

ко мне...

— Так это выдумка? — не унимался Оберон. Вопрос проще некуда.

— Нет. Нет, но существуют на свете вещи, которые и выдумкой не назовешь, и истиной тоже. Я имею в виду такую истину, как то, что небо наверху, а земля внизу, или что дважды два четыре... — В обращенных на него глазах сына Смоки не видел согласия с этой казуистикой. — Слушай, почему бы тебе не спросить твою мать или тетю Клауд? Им об этих предметах известно куда больше, чем мне. — Он схватил Оберона за лодыжку. — А ты не забыл, что на сегодня запланирован большой пикник?

— Что это? — спросил Оберон, обнаружив в конце книги карту на папиросной бумаге.

Он попытался ее развернуть, вначале неправильно, так что старая бумага порвалась по сгибу. На миг Смоки заглянул в сознание сына и увидел, что он — как всегда бывает при виде карты или схемы, а тем более такой многообещающей — замер, ожидая открытия. Увидел, как он стремится к ясности и знанию, а также как трепещет (и от страха, и от восторга) на пороге разоблачения странных тайн.

В конце концов Оберону пришлось сползти

с дивана и положить книгу на пол, чтобы полностью раскрыть карту. Она потрескивала, как пламя. В точках пересечения сгибов образовались со временем дыры. Смоки, впервые видевшему эту карту лет пятнадцать или шестнадцать тому назад, она показалась теперь куда более ветхой, а многие фигуры и детали сложного рисунка — незнакомыми. Но — сомневаться не приходилось — карта была та же самая. Опустившись на колени рядом с сыном (который уже погрузился в чтение карты и с загоревшимися глазами прослеживал на ней пальцем линии), он обнаружил, что понимает ее не лучше, чем прежде, хотя за прошедшие годы успел усвоить (а что-нибудь еще он усвоил? о, многое), как наилучшим образом обходиться без этого понимания.

— Кажется, я знаю, что это, — сказал Оберон.

— Да?

— Это битва.

Смоки хмыкнул.

Оберону случалось изучать карты в старых книгах по истории: продолговатые кирпичики с флажками на полосатом, как зебра, ландшафте из топографических линий; серые кирпичики против примерно симметрично расположенных черных (плохие парни). А на другой странице

тот же ландшафт несколькими часами позднее: кирпичики развернулись под углом, расступаясь перед неприятелем, широкой стрелкой проникшим в их ряды; другие направлены в противоположную сторону — другая широкая стрелка указывает путь их отступления; кирпичики с диагональной штриховкой обозначают запоздавшего союзника. Большая бледная карта на полу библиотеки отличалась куда большей сложностью; по-видимому, на ней был изображен весь ход грандиозной битвы (позиция на рассвете, позиция в 2.30 пополудни, позиция на закате); отступления были наложены на атаки, стройные ряды — на смятые. Топографические линии не вились вокруг возвышенностей и склонов поля битвы, а пересекались, образовывая правильный рисунок. В нем сплеталось множество трудно отличимых геометрических фигур, вся их совокупность отливала муаровым блеском, и взгляд то и дело попадал на ложную дорожку лабиринта. Прямая ли это линия? А эта — кривая? Что это: несколько концентрических окружностей или непрерывная спираль?

— К ней имеется легенда, — сообщил Смоки, которому надоело это занятие.

Легенда в самом деле наличествовала. Оберон

разглядел также разбросанные повсюду (потерянные союзные полки) прямоугольники с миниатюрными пояснительными надписями, знаки планет, розетку компаса, но без стран света, шкалу, но без миль. В легенде говорилось, что толстыми линиями обозначены границы «Здесь», а тонкими — «Там». Однако определить точно, какая из линий толстая, а какая тонкая, не представлялось возможным. Под легендой имелась надпись курсивом, подчеркнутая, чтобы привлечь к ней внимание: «Окружность = нигде; центральная точка = всюду».

Вконец запутавшись, а также внезапно почувствовав непонятную угрозу, Оберон поднял взгляд на отца. В лице Смоки и его опущенных глазах (именно таким Оберон чаще всего видел отца в последующие годы, когда тот являлся ему во сне) чудилась печальная покорность, некое разочарование, словно Смоки хотел сказать: «Ладно, я пытался тебе объяснить; удержать тебя, предупредить, чтобы ты не заходил слишком далеко. Но ты свободный человек, и мне нечего возразить, только знай теперь, что жребий брошен и обратной дороги нет. Отчасти это моя вина, а по большей части — твоя».

— Что, — проговорил Оберон, чувствуя в горле

комок, — что... что это... — Он невольно сглотнул, а потом обнаружил, что ему нечего сказать. Казалось, шуршание карты заглушает его мысли. Смоки взял его за плечо и поднялся на ноги.

— Послушай, — начал он. Возможно, Оберон неправильно истолковал выражение его лица: когда Смоки встал и отряхнул с колен ворсинки ковра, в его глазах — возможно, вероятно — не читалось ничего, кроме скуки. — Знаешь, мне, ей-богу, кажется, день сегодня не совсем подходящий. Я хочу сказать, пойдем. Пора на пикник. — Засунув руки в карманы, он чуть наклонился над сыном. Лицо его при этом переменилось. — Ты, верно, не горишь сейчас желанием, но, думаю, если ты немного поможешь матери с подготовкой, это будет очень кстати. Как ты предпочитаешь ехать: на машине или на велосипеде?

— На машине.

Оберон не поднимал глаз, не зная, радоваться или огорчаться тому, что они с отцом вновь друг от друга отдалились, хотя на одно краткое мгновение готовы были, казалось, пуститься вместе в неведомые края. Он выждал, пока отец отведет взгляд (Оберон почувствовал это затылком) и из-за двери донесутся его удаляющиеся шаги, и

лишь затем оторвался от карты: не сделавшись понятней, она потеряла часть прежней притягательности, как загадка, которая не имеет решения. Он сложил карту и закрыл книгу, но не вернул ее в застекленный шкаф, к предшественникам и собратьям, а припрятал под ситцевыми оборками пухлого кресла, чтобы сразу достать в следующий раз.

— Если это битва, — произнес он, — то кого с кем?

— Вот именно, что если, — заметила Лайлак, сидевшая скрестив ноги в кресле.

Старая география

Тейси первой отправилась в то место, где было решено на сей раз устроить пикник. На своем любовно ухоженном велосипеде она летела по старым дорогам и новым тропам, а за нею следовал Тони Бак, которого по ее просьбе пригласили на пикник в качестве гостя. Лили и Люси ехали не из дома, так как утром совершили один немаловажный визит (их послала Тейси). Поэтому в старый фургончик сели: Элис (за руль), двоюродная бабушка Клауд (рядом с нею) и Смоки (у дверцы); сзади поместились Док, Мамди и Софи, а на самом заднем сиденье — Оберон, скрестив-

ший ноги, и песик Спарк, который обыкновенно метался во время движения взад-вперед (быть может, ему не нравилось перемещаться без участия лап). Хватило бы места и для Лайлак, но ей оно не понадобилось.

— Танагра, — заметил Оберон, обращаясь к Доку.

— Нет, горихвостка.

— Черная, с красным...

— Нет. — Док поднял палец. — Танагра вся красная, с черным крылом. Горихвостка в основном черная, с красными пятнышками... — Он похлопал себя по нагрудным карманам.

На изрезанной колеями окольной дороге, которая вела к месту пикника, фургончик сильно затрясло; все его сочленения протестующе завизжали. Дейли Элис заметила, что если эта старая развалина еще движется, то только благодаря Спарку и его неустанным хождениям взад-вперед (Спарк тоже был в этом убежден); в последние годы ей так досталось, что какая-нибудь другая машина давно бы сошла с дистанции. Ее деревянные борта уже сделались серыми, как у корабля, а кожаные сиденья покрылись мелкими морщинками, как лицо тетушки Клауд, но сердце оставалось сильным. Дейли Элис узнала о при-

вычках машины у своего отца, который (вопреки мнению Джорджа Мауса) изучил их ничуть не хуже, чем повадки горихвосток и рыжих белок. Элис пришлось перенять его знания, так как семья все росла и потребности в продовольствии у нее были бробдингнежские[177]. О закупках на полмесяца можно было забыть. Речь шла о выводках кур, ящиках того и дюжинах другого, о дешевых оптовых закупках, о десятифунтовых упаковках моющего средства «Дрaдж», двухквартовых бутылях растительного масла и канистрах молока. Фургон снова и снова тащил на себе этот груз, терпением не уступая самой Элис.

— Как по-твоему, дорогая, — спросила Мамди, — надо ли забираться еще глубже? Сумеем ли мы выбраться?

— Думаю, еще немного мы проедем, — отвечала Элис.

В машине не было бы и нужды, если бы не артрит Мамди и не слабые ноги Клауд. В былые времена... Они переехали колею, и все, кроме Спарка, подскочили на сиденьях. Нырнув под

[177] Примечания: 177

...семья все росла и потребности в продовольствии у нее были бробдингнежские. — Бробдингнег — страна великанов во второй части «Путешествий Гулливера». У Краули неверно: «Brobignagian» вместо «Brobdingnagian». Возможно, одна из опечаток — нередких в книге.

тенистые кроны, Элис сбавила скорость. Она почти чувствовала ласкающие прикосновения теней к крыше машины. Былые дни исчезли из памяти, вытесненные блаженным приливом летней радости. Послышалась полумелодия первой цикады — или нескольких. Машина проехала еще несколько метров и остановилась. Спарк тоже замер.

— Ма, ты сможешь дальше пойти пешком? — спросила Элис.

— Конечно.

— Клауд?

Ответа не последовало. Все замолкли среди тишины и зелени.

— Что? А. Да, — отозвалась наконец Клауд. — Мне поможет Оберон. Я буду замыкать шествие. — Оберон хихикнул, Клауд тоже.

Когда все парами-тройками пустились в путь, Смоки спросил:

— Не по этой ли дороге, — (он поудобнее ухватил ручку плетеной корзины, которую нес вместе с Элис), — не по этой ли дороге мы шли как-то, когда...

— По этой. — Элис с улыбкой скосила на него глаза. — Верно. — Она стиснула ручку корзины, словно это была ладонь Смоки.

— Я так и думал. — Деревья на косогорах по краям дороги сделались ощутимо больше, в них прибавилось благородства и вековой древесной мудрости; кора их была толще, солидное одеяние из плюща — пышнее. Дорога, с давних пор непроезжая, зарастала молодыми деревцами. — Где-то здесь был короткий прямой путь к Вудзам.

— Ага. Это он и есть.

Кожаный саквояж, который Смоки нес на пару с Элис, оттягивал левое плечо, мешая двигаться.

— Полагаю, теперь по нему не пройти, — заметил Смоки.

Кожаный саквояж? То была плетеная корзина, та самая, куда Мамди в свое время упаковала завтрак для новобрачных.

— Следить-то некому. — Обернувшись к отцу, Элис перехватила его взгляд, тоже устремленный в лес. — Да и незачем. — И Эми Вудз, и ее муж Крис давно умерли — этим летом исполнилось десять лет.

— Меня поражает, — проговорил Смоки, — что большая часть этой географии выпала у меня из памяти.

Элис промямлила что-то невнятное.

— Я и понятия не имел, что здесь проходит та самая дорога.

— Ну, может, это и не она.

Опираясь одной рукой на плечо Оберона, а другой на тяжелую трость, Клауд осторожно ступала меж камней. У нее выработалась манера постоянно шевелить губами, словно бы жевать. Если бы она узнала, что все это видят, она бы огорчилась до крайности. Поделать с этой привычкой Клауд ничего не могла, поэтому вопреки очевидности убедила себя, что окружающие ничего не замечают.

— Ты молодец, что взвалил на себя свою старую тетку, — сказала она Оберону.

— Тетя Клауд, я хочу спросить о книге, которую написали твои отец и мать. Это действительно их книга?

— Какая книга, дорогой?

— Об архитектуре. Правда, по большей части о других вещах.

— Я думала, эти книги заперты на ключ.

Пропустив ее слова мимо ушей, Оберон спросил:

— Все, что там сказано, верно?

— Что именно?

Уточнить вопрос было невозможно.

— Там сзади есть схема. Это схема битвы?

— Мне такое никогда не приходило в голову.

Битвы! Ты так считаешь?

Видя ее удивление, Оберон засомневался.

— А по-твоему, что это?

— Не могу сказать.

Оберон ждал, что Клауд попытается, по крайней мере, что-то предположить, угадать, но она только жевала губами и молча двигалась вперед. Напрашивался вывод, что дело не в незнании, а в том, что ей Как-то запрещено говорить.

— Это тайна?

— Тайна! — Клауд хмыкнула. Она вновь была удивлена, словно никогда прежде об этом не думала. — Так ты считаешь, это тайна? Что же, что ж, быть может, так оно и есть... Мы, похоже, отстаем, тебе не кажется?

Оберон сдался. Ладонь старой леди тяжело покоилась на его плече. Вдали, там, где дорога устремлялась в горку, а затем ныряла вниз, виднелся серебристо-зеленый пейзаж в обрамлении мощных деревьев. Казалось, они наклоняются и простирают свои обросшие листьями руки, чтобы предложить эту картину путникам. Оберон и Клауд проводили взглядом родных, которые, одолев подъем, устремились через древесный портал на залитое солнечным светом пространство, осмотрелись и исчезли под горкой.

Хиллы и Дейлы

— Когда я была молодой, — сказала Мамди, — мы много мотались туда и назад.

Клетчатая скатерть, вокруг которой они все расположились, была расстелена вначале на солнце, но теперь на нее наползла тень большого одинокого клена, стоявшего рядом. Немалый ущерб был нанесен окороку, жареным цыплятам и шоколадному торту; две бутылки лежали на боку, другая, полуопрокинутая, тоже была почти пуста. Летучий отряд черных муравьев, достигнув окрестностей поля, отправил назад донесение: добыча ждет богатая.

— Хиллы и Дейлы, — говорила Мамди, — искони связаны с этим Городом. Фамилию Хилл, как тебе известно, носила моя мать. — Она повернулась к Смоки, и он кивнул. — В тридцатых годах было неплохим развлечением сесть на поезд, пообедать в дороге и повидать двоюродных сестер и братьев Хилл. Но Хиллы не всегда жили в Городе...

Из-под соломенной шляпы, служившей защитой от жаркого солнца, раздался голос Софи:

— Это те самые Хиллы, которые до сих пор живут в Хайленде?

— Одна из ветвей, — пояснила Мамди. — Мои Хиллы никогда не были особенно связаны с Хиллами из Хайленда. Эта история...

— Эта история очень длинная, — вмешался Док. Он поднял бокал (Док всегда настаивал, чтобы на пикник брали настоящее стекло и серебро: тогда он превращался в самый настоящий пир на открытом воздухе) и стал следить за игрой солнца в стекле. — И большая ее часть относится к Хиллам из Хайленда.

— Ничего подобного, — фыркнула Мамди. — Да и откуда ты ее знаешь?

— Птичка сказала, — довольно хихикнул Док.

Он прислонился спиной к клену, вытянул ноги и надвинул на лицо панаму (почти такую же старую, как он сам), словно собираясь задремать. В последние годы, по мере того как Мамди отказывал слух, ее рассказы о прошлом становились все более бессвязными и все чаще повторялись, однако она не обижалась на замечания. Как ни в чем не бывало, она продолжила, обращаясь ко всем присутствующим:

— Городские Хиллы были поистине блестящим семейством. Конечно, в те поры иметь одну-двух служанок ничего не значило, но они держали десятки. Милые ирландские девушки. Мэри, Бри-

джет, Кэтлин — так их обычно звали. У каждой своя история. Так вот. Городские Хиллы почти все вымерли. Некоторые переселились западнее, в Скалистые горы. Кроме одной девушки — тогда она была в возрасте Норы. Она вышла замуж за некоего мистера Таунза, и они вместе остались в Городе. Свадьбу сыграли на диво. Это было первое венчание, на котором я всплакнула. Невеста была не красавица, не первой молодости и имела дочь от первого мужа (не помню его фамилию), который оставил ее вдовой. Поэтому для нее очень многое значило огрести такую поживу, как Таунз (как бишь его звали по имени?), — ой, кажется, в наши дни не принято так выражаться. Служанки в накрахмаленных платьях выстроились в линию: «Наши проздравления, миссис, наши проздравления». Семья была рада без памяти...

— Все Хиллы от радости пустились в пляс[178], — прокомментировал Смоки.

— ...И это их — а вернее, ее — дочь Филлис встретила затем Стэнли Мауса (приблизительно в то время, когда я вышла замуж). Так вот, кружным путем, *эта* семья и породнилась с *моей*. Филлис. По материнской линии она принадлежала к Хил-

[178] Примечания: 178

Все Хиллы от радости пустились в пляс. — Парафраз библейского стиха: «Горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы» (Пс. 113:4).

лам. Она мать Джорджа и Франца.

— *Parturient montes, et nascetur ridiculus mus*[179]. — Смоки воспользовался паузой, чтобы обыграть значение фамилии Маус.

Мамди задумчиво кивнула:

— В Ирландии тогда свирепствовала, конечно, самая жестокая нужда...

— В Ирландии? — встрепенулся Док. — Каким образом нас занесло в Ирландию?

— Одна из этих девушек, как будто Бриджет, — пояснила Мамди, обращаясь к мужу, — а может, это была Мэри... Так вот, она затем вышла замуж за Джека Хилла, который к тому времени овдовел. Его жена...

Смоки потихоньку пересел в сторону. Док и двоюродная бабушка Клауд тоже по-настоящему не слушали, однако старались изобразить внимание, и потому Смоки рассчитывал, что его дезертирство не будет замечено. Оберон, скрестив ноги, сидел в сторонке. Поглощенный мыслями (на взгляд Смоки, он вечно думал о своем), он подбрасывал и ловил яблоко. Глаза его смотрели прямо на Смоки, и тому показалось, что сын це-

---

[179] Примечания: 179

Parturient montes, et nascetur ridiculus mus. — Будет рожать гора, а родится смешная на свет мышь (лат.) — строка 140 из «Науки поэзии» Горация (65–8 гг. до н. э.), перевод М. Гаспарова.

лится в него. Смоки улыбнулся и приготовился произнести какую-нибудь шутку, но, поскольку в лице Оберона не дрогнул ни один мускул, передумал, встал и вновь поменял место. (На самом деле Оберон смотрел вовсе не на него. Между ними сидела Лайлак, которая загораживала отца. Он смотрел на ее лицо, странное выражение которого, не подобрав другого слова, назвал про себя печальным. Оберон гадал, что оно означает.)

Смоки сел рядом с Дейли Элис. Она лежала, переплетя пальцы на набитом животе. Подушку ей заменял холмик. Смоки со свистом выдернул из свежего стебля трубочку осоки и прикусил зубами, чувствуя во рту едва заметную сладость.

— Можно, я задам тебе вопрос?

— Что такое? — Элис едва-едва приоткрыла сонные глаза.

— В тот день, когда мы поженились, — помнишь?

Хмыкнув, она улыбнулась.

— Когда мы путешествовали по окрестностям и встречались с людьми. Они преподносили нам подарки.

— Угу.

— И многие, даря нам разные вещи, говорили: «Спасибо». — Он видел, как колыхалась в такт

его речи зеленая трубочка осоки. — Меня тогда удивило, почему они нам говорят «спасибо», а не мы им.

— Мы тоже их благодарили.

— Но они-то почему? Я об этом хотел спросить.

— Ну... — произнесла Элис и задумалась. За все годы совместной жизни Смоки так редко ее о чем-то спрашивал, что подыскать ответ, который не поверг бы его в раздумья, бывало нелегко. Хотя он не был склонен впадать в задумчивость. Настолько не был склонен, что Элис даже удивлялась. — Потому, — объяснила она, — что этот брак был им как бы обещан.

— Вот как?

— Они тебе обрадовались. И обещание было в точности исполнено.

— Да ну?

— Поэтому все должно было пойти так, как надо. В конце концов, ты ведь не был обязан. — Она накрыла его ладонь своей. — Вовсе не был обязан.

— Это мне не пришло в голову, — сказал Смоки. Он задумался. — А что им за дело до этого обещания? Если оно дано тебе, а не им.

— Ну, знаешь... Многие из них нам вроде родственников. По-настоящему, они — часть семьи.

Хотя вслух об этом не говорится. Я имею в виду, что они папе сводные братья и сестры или их дети. Или дети детей.

— Ага...

— Август.

— Ага.

— Так что они — заинтересованная сторона.

Смоки промычал что-то неопределенное. Нельзя сказать, чтобы он ждал такого ответа, но Дейли Элис явно не рассчитывала его особенно удивить.

— Куда ни кинь, всюду кровные узы, — заметила она.

— А кровь — не водица, — подхватил Смоки, хотя прежде числил эту пословицу в ряду самых глупых. Конечно, кровь — не водица, ну и что из того? Где те узы воды, которые, как предполагается, слабее, чем узы крови?

— Все перепутано. — Ресницы Элис постепенно опускались. — Вот Лайлак. — Обилие вина и солнца, подумал Смоки, иначе бы это имя не сорвалось так легко с ее языка. — Двойная путаница. Сама себе как бы родственница. Многоюродная сестра.

— То есть как?

— Ну, ты знаешь, четвероюродная сестрица.

— Не понимаю, — удивился Смоки. — Через

брак?

— Что? — Элис раскрыла глаза. — О нет, нет, конечно, нет. Ты прав. Нет. — Ее ресницы вновь сомкнулись. — Забудь об этом.

Он рассматривал сверху ее лицо. И думал: стоит погнаться за одним зайцем, как тут же вспугнешь другого, а когда второй скроется с глаз, первого тоже ищи свищи. Забудь об этом. Это можно. Смоки простерся рядом с Элис, оперев голову на руку. Они походили на любовников: голова к голове, он смотрит вниз, она купается в его взгляде. Они рано вступили в брак и теперь были еще молоды. Только их любовь была стара. Смоки услышал мелодию и поднял глаза. На скале, в пределах слышимости, устроилась Тейси и заиграла на блок-флейте. Временами она останавливалась, чтобы вспомнить ноты или смахнуть с лица длинную прядь белокурых волос. У ее ног сидел Тони Бак, восторженным лицом напоминавший прозелита какой-то новой религии. Он не слышал голосов Лили и Люси, шептавшихся рядом, не воспринимал никого, кроме Тейси. Стоит ли таким худосочным девицам, как Тейси, да еще с такими длинными ногами, носить коротенькие шорты в обтяжку, подумал Смоки. Голые пальцы ее ног, уже покрывшиеся загаром, отбивали

ритм. Зазеленели тростники-и[180]. И все холмы пустились в пляс.

Взгляд беглеца

Док тем временем тоже удалился от своей разглагольствующей супруги, оставив ей в качестве слушателей только Софи (которая спала) и двоюродную бабушку Клауд (которая тоже спала, но Мамди об этом не знала). Док с Обероном последовал за тяжело груженным караваном муравьев, которые несли к себе на холм продовольствие: изрядным новым караваном, возникшим по этому случаю.

— Запасы, припасы, провиант, — переводил Док, со спокойной сосредоточенностью настроивший слух на миниатюрный город. — Смотри себе под ноги, наблюдай за тылом. Дороги, нормативы груза, приказ по цепочке, верхние эшелоны, слухи в руководстве; брось, забудь, мусорная корзинка, свалить ответственность, уйти и не вернуться, поручи это Джорджу; вернуться в строй, старые соляные копи, тяну лямку, внутрь

---

[180] Примечания: 180

Зазеленели тростники-и. — Начальная строка стихотворения Роберта Бёрнса (1759–1796). В переводе С. Маршака — «Песня» («Растет камыш среди реки...»).

и наружу, потерянный и найденный. Директивы, указания, сигнальная связь, график, сдать под расписку, закончим работу, больные освобождаются. Одно и то же. — Док усмехнулся. — Все одно и то же[181].

Опираясь руками о колени, Оберон наблюдал, как миниатюрные броневички (объединявшие в себе и водителя, и машину, и даже радиоантенну) въезжают в муравейник и выезжают наружу. Он вообразил себе конгресс внутри: бесконечные деловые разговоры в темноте. Тут ему что-то почудилось, словно на границе его зрения росло постепенно темное или светлое пятно, пока не выросло настолько, чтобы стать заметным. Оберон поднял глаза и огляделся.

Как выяснилось, его смутило не что-то, а наоборот — отсутствие чего-то. Исчезла Лайлак.

— Теперь вверх, или вниз, у Королевы, это совсем другое дело, — говорил Док.

— Ага, понятно, — отозвался Оберон, продолжая осматриваться.

Где? Где она? Часто он в течение долгого времени не замечал Лайлак, но всегда знал, что она

---

[181] Примечания: 181

Запасы, припасы, провиант, — переводил Док. <...> — Все одно и то же. — Ср. эпизод из книги Т. Х. Уайта «Меч в камне» (см. прим. 158), где Варт (будущий король Артур) попадает в муравейник.

здесь, чувствовал ее присутствие где-то поблизости. А теперь ее не было.

— Это очень интересно, — произнес Док.

Оберон заметил ее фигурку у подножия холма; она огибала группу деревьев у лесной опушки. Лайлак на мгновение обернулась и (уловив взгляд Оберона) поспешила скрыться.

— Да, — кивнул Оберон, бочком отходя в сторону.

— Наверху у Королевы, — продолжал Док. — Что бы это значило?[182]

— Да, — снова произнес Оберон и, дрожа от дурного предчувствия, припустил к тому месту, где исчезла Лайлак.

Под деревьями Лайлак не было видно. Оберон не имел понятия, где дальше вести поиск, и его охватила паника: наверное, взгляд, который она на него отсюда бросила, был взглядом беглеца. Он услышал оклик деда. Осторожно сделал шаг. Буковый лес вокруг, стоявший на ровной почве правильными рядами, походил на колонный

[182] Примечания: 182

— Теперь вверх, или вниз, у Королевы, это совсем другое дело... Наверху у Королевы, — продолжал Док. — Что бы это значило? — Возможная отсылка к рассказу Урсулы Ле Гуин (р. 1929) «“Автор «Записок на семенах акации»” и другие статьи из “Журнала ассоциации теролингвистов”» (1974), где схожее выражение («Вверх с королевой!») использовано муравьем-бунтовщиком в значении «Долой Королеву!» (в дословном переводе с английского — «Вниз с Королевой!»).

зал, где перспективы открывались во множестве направлений, и Лайлак могла убежать куда угодно...

Оберон увидел ее. Она выступила из-за дерева, совершенно невозмутимая и даже с букетиком диких фиалок в руках. Казалось, она продолжает искать фиалки. Лайлак не обернулась к брату, а он стоял смущенный, ясно понимая, что она убежала от него, хотя внешне это выглядело иначе. Потом она вновь скрылась: букетик был уловкой, заставившей его промедлить лишнее мгновение. Оберон кинулся к тому месту, где показалась Лайлак. Еще не добежав, он ясно понимал, что она теперь не вернется, но все же окликал ее: «Лайлак, не уходи!»

Лес, куда убежала Лайлак, был разнообразный, густой и колючий, темный, как церковь, и непроницаемый для глаз. Оберон ворвался в него вслепую, спотыкаясь и цепляясь за колючки. Очень скоро он обнаружил, что забрался в такую чащу, где раньше не бывал. Он словно ринулся в открытую дверь, не зная, что за нею начинается лестница в погреб, и проехался по ступеням вниз. «Не уходи, — кричал он, потерявшись. — Не уходи». К таким повелительным нотам он никогда прежде не прибегал, в них не было нужды, а

теперь на них нельзя было не откликнуться. Но ответа не последовало. «Не уходи, — повторил Оберон уже не таким требовательным тоном. Он оробел в темноте, а его юная душа не в силах была примириться со столь внезапной утратой. — Не уходи. Пожалуйста, Лайлак. Не уходи, ты была моей единственной тайной!»

Гигантские и холодные старики, не особенно встревоженные, но проникшиеся интересом, взирали сверху, как деревья, на малыша, который столь решительно и внезапно затесался в их ряды. Опустив руки к своим огромным коленям, они рассматривали его, насколько был доступен их зрению предмет столь миниатюрный. Один из них поднес палец к губам; молча они наблюдали, как малыш спотыкается об их ноги; кружком приложив к ушам громадные ладони, с лукавой улыбкой ловили его горестные вопли, которых не могла слышать Лайлак.

Две красивые сестрички

«Дорогие родители, — писал Оберон в Складной Спальне (ловко стуча двумя пальцами по древней пишущей машинке, которую там обнаружил). — Ну и зима выдалась здесь, в Городе! Радуюсь, что она не будет длиться вечно. Хотя сегодня тем-

пература была двадцать пять градусов, а вчера снова шел снег. Там у вас, уж точно, погода еще похуже. Ха-ха! — Аккуратно слепив это веселое восклицание из знака одиночной кавычки и точки, он помедлил. — Я уже дважды посетил мистера Петти из конторы «Петти, Смилодон и Рут», дедушкиных адвокатов, как вам известно, и они снизошли до того, чтобы выдать мне некоторый аванс под гарантию моих наследственных прав (небольшой). Когда проклятое дело будет наконец улажено, они сказать не могут. Но что все завершится как надо, я уверен. — Он не был уверен, бушевал, накричал на бездушную машину, которая служила у мистера Мелкина секретарем, готов был скомкать жалкий чек и бросить в нее, однако подобное признание было бы не к лицу персоне, которая, закусив от напряжения язык, старательно выстукивала на машинке это письмо. Все было замечательно в Эджвуде, все было замечательно и здесь. Все было замечательно. Оберон перешел к новому абзацу. — Я почти уже сносил ботинки, в которых приехал. Тверды улицы Города! Как вы знаете, цены в Городе высокие, а качество товаров неважное. Не могли бы вы послать мне пару высоких ботинок на шнуровке, что хранятся у меня в стенном шка-

фу? Они не очень презентабельные, но так или иначе, большую часть времени мне все равно придется трудиться здесь, на Ферме. В эту зиму работы невпроворот: уборка, уход за животными и прочее. Джордж в своих галошах — это такое зрелище, что можно лопнуть со смеху. Но он был ко мне очень добр, и я это ценю, пусть даже работать приходится до мозолей. Среди тех, кто здесь живет, есть и другие приятные люди. — Оберон замер, не донеся палец до буквы С, словно перед пропастью. Лента в машинке была старая, побуревшая, буквы, как пьяные, лезли то вверх, то вниз, вместо того чтобы выстраиваться в линейку. Но Оберон избегал писать от руки, чтобы Смоки не увидел его почерк, испорченный шариковой ручкой и прочими грехами. Так что насчет Сильвии? — Среди них имеются... — Оберон перебрал в уме тогдашних обитателей Ветхозаветной Фермы. И пожалел, что свернул на эту дорожку. — Две сестры-пуэрториканки, очень красивые». — На кой черт он затеял этот рассказ? Старая привычка тайного агента — запутывать следы — сидит у него в пальцах. Не говори им ничего. Оберон откинулся на спинку стула, не желая продолжать. В тот же миг в дверь Складной Спальни постучали, и Оберон вынул листок из машинки,

рассчитывая закончить письмо позднее (чего так и не сделал). Чтобы добраться до двери, ему, с его длинными ногами, хватило двух шагов. Он распахнул ее для двух красивых сестричек-пуэрториканок, которые на самом деле сводились к одной, целиком принадлежавшей ему.

Однако на пороге появился Джордж Маус. (Оберон скоро научился различать, кто пришел: Сильвия или кто-нибудь другой. Сильвия всегда не стучалась, а скребла дверь или барабанила по ней ногтями. Так просятся в помещение мелкие животные.) На локте у Джорджа висела старая шуба, на голову была нахлобучена древняя женская шляпка из черного шелка, а в руке он держал два пакета для покупок.

— Сильвия здесь? — спросил он.

— Нет, сейчас нет. — С привычной ловкостью тайного агента Оберон уже неделю избегал встреч с Джорджем на его собственной ферме, проскальзывая туда и обратно тихонько как мышь. Но теперь Джордж явился собственной персоной. Никогда прежде Оберон не бывал так растерян, не чувствовал себя преступником, которого взяли с поличным, не сознавал, что любое его замечание покажется неуместным и оскорбительным, какую манеру ни выбери: серьезную,

шутливую, небрежную. Перед ним хозяин дома! Его родственник! Который по летам годится ему в отцы! Обычно Оберон не особенно задумывался о других людях с их чувствами, но теперь словно влез в шкуру Джорджа и знал точно, что он должен испытывать. — Она вышла. Куда — не знаю.

— Да? Ладно, эти вещи — ее. — Джордж положил пакеты и сдернул с головы шляпку, обнажив свои всклокоченные седые волосы. — Там еще кое-что осталось. Она может зайти. Уф, гора с плеч. — Он сбросил шубу на бархатное кресло. — Эй, не волнуйся. Чур, не бить меня, приятель. Я тут ни при чем.

Только сейчас Оберон понял, что с неподвижным лицом жмется в углу, не находя уместных слов, чтобы ответить. Больше всего ему хотелось извиниться перед Джорджем, но он сообразил, что это прозвучало бы оскорблением. А кроме того, по-настоящему он не чувствовал за собой вины.

— Она совсем еще девчонка, — сказал Джордж, осматриваясь (на кухонный стул были брошены трусики Сильвии, на раковине стояли ее мази и зубная щетка). — Совсем девчонка. Надеюсь, вы будете очень счастливы. — Он шутливо стукнул Оберона в плечо, потом ущипнул за щеку — очень

даже больно. — Ты, сукин сын. — Джордж улыбался, но в глазах его горел безумный огонь.

— Она думает, ты потрясающий, — сказал Оберон.

— Не в бровь, а в глаз.

— Она не знает, что бы без тебя делала. Если бы ты не пустил ее сюда жить.

— Ну да. Она мне тоже говорила.

— Ты для нее вроде отца. Только лучше.

— Правда, вроде отца? — Джордж прожег Оберона своим горящим как угли взглядом и, не отводя глаз, рассмеялся. — Вроде отца. — Смех, дикий и отрывистый, зазвучал громче.

— Ты почему развеселился? — спросил Оберон, не зная, следует ли ему присоединиться, а кроме того, не над ним ли Джордж смеется.

— Почему? — Джордж зашелся в смехе. — Почему? А какого черта мне, по-твоему, делать? Плакать? — Закинув голову назад и обнажив свои белые зубы, Джордж разразился громоподобным хохотом. Оберон не мог удержаться и тоже засмеялся, но робко. Заметив это, Джордж стих. Хохот сменился кудахтаньем, как за буруном следует мелкая рябь. — Вроде отца, ну-ну. Забавно. — Он подошел к окну и посмотрел на стальное небо. В последний раз хихикнув, Джордж сцепил руки

за спиной и вздохнул. — Ладно, она не девушка, а настоящий ураган. Не самое то для такого старого хрыча, как я. — Он через плечо взглянул на Оберона. — Тебе известно, что у нее есть Судьба?

— Говорит, что есть.

— Ага. — Джордж распрямил и снова согнул пальцы. — Похоже, меня в этой Судьбе нет. Оно и лучше. Потому как там имеется братец с ножом, и бабушка, и сумасшедшая мамаша... И несколько детей. — Джордж примолк. Оберон чуть не заплакал от жалости. — Старик Джордж. Вечно тебя оставляют с детьми. Сделай что-нибудь с этим ребенком. Взорви, отдай кому-нибудь. — Джордж снова рассмеялся. — А благодарности не дождешься. Делаю ровно то, что нужно. Ты сукин сын, Джордж, затем ты взорвал моего ребенка.

О чем это он? От горя свихнулся? Значит, потерять Сильвию — это так страшно? Еще неделю назад Оберон ни о чем подобном не думал. С внезапной дрожью он вспомнил, как двоюродная бабушка Клауд в последний раз гадала ему по картам и предсказала смуглую девушку, которая полюбит его не за его достоинства и оставит не по его вине. Он отмел это предсказание, поскольку как раз учился отметать от себя все пророчества и тайны Эджвуда. Сейчас он вновь с ужасом по-

старался его забыть.

— Ладно, теперь тебе понятно, — заключил Джордж. Он вынул из кармана крохотный блокнотик на спиральке и заглянул в него. — В эту неделю твоя очередь доить. Правильно?

— Правильно.

— Правильно. — Джордж убрал блокнотик. — Послушай. Хочешь совет?

Совета Оберон хотел не больше, чем предсказания. Он стоял, ожидая, что скажет Джордж. Тот посмотрел ему в лицо, потом обвел глазами помещение.

— Наведи в комнате порядок. — Джордж подмигнул. — Она любит, чтобы было уютно. Понял? Уютно. — На Джорджа едва не напал новый приступ смеха, но заглох у него в горле. Он вынул из одного кармана пригоршню бижутерии, а из другого — мелких денег и отдал Оберону. — И следи за собой. Она думает, что мы, белые люди, так или иначе немного грязнули. — Он направился к двери. — Имеющий уши да услышит.

Усмехнувшись, Джордж вышел. Стоя с бижутерией в одной руке и кучкой мелочи в другой, Оберон услышал, как Сильвия и Джордж столкнулись в холле и приветствовали друг друга градом острот и поцелуев.

Глава четвертая

Случается, человек не может что-то вспомнить, но он способен искать желаемое и находить...
Поэтому некоторые для запоминания используют место. Причина в том, что за одним шагом быстро следует другой: например, от молока человек переходит к белому цвету, от белого к воздуху, а от воздуха к сырости; затем приходит на ум осень, а — предположим — это время года и требовалось вспомнить.

***Аристотель. De anima*[183]**

Ариэль Хокскvилл, величайший маг нынешней мировой эпохи (и ровня, как она без ложной скромности думала, великим магам так называемого прошлого, с которыми ей время от времени случалось беседовать), не имела хрустального шара; обычную астрологию она считала обманом, хотя пользовалась старой небесной картой;

---

[183] Примечания: 183

Случается, человек не может что-то вспомнить... — В эпиграфе цитируется трактат Аристотеля «О памяти и воспоминании», являющийся приложением к работе «О душе».

к заклинаниям и геомантии относилась свысока и прибегала к ним только в крайних случаях, спящих мертвецов не будила и тайн их не допытывала. Ее Великое Искусство — и в другом она не нуждалась — было высочайшим из всех; ему не требовалось расхожих инструментов: Книги, Волшебной Палочки, Слова. Практиковала она его (как в тот дождливый зимний день, когда Оберон явился на Ветхозаветную Ферму) у очага, за чаем с тостами, водрузив ноги на скамеечку. Помимо нутра ее черепа, необходимы были только сосредоточенность и приятие невозможности — святые назвали бы его изумительным, а шахматные мастера — труднодостижимым.

Искусство Памяти[184], в описании старинных авторов, является методом, при помощи которого можно чрезвычайно, до неправдоподобных размеров, увеличить Природную Память, с которой мы появляемся на свет. Мудрецы древности полагали, что лучше всего запоминаются живые картинки, расположенные в строгой последовательности. Соответственно, чтобы сконструировать чрезвычайно устойчивую

[184] Примечания: 184

Искусство Памяти. — Излагая основы мнемотехники, Краули следует классическому труду дамы Франсес Йейтс (1899–1981) «Искусство памяти» (1966).

Искусственную Память, необходимо прежде всего (Квинтилиан[185] и другие ученые согласны в этом пункте, хотя расходятся в других) выбрать Место: например, храм, или улицу с лавками и дверьми, или внутренность дома, то есть любое четко организованное пространство. Выбранное Место старательно запоминается, так что человек может мысленно путешествовать по нему в любом направлении. Следующий шаг — создать живые символы или картинки для вещей, которые требуется запомнить; чем они ярче, чем больше поражают воображение, тем лучше — говорят знатоки. Для идеи Святотатства, скажем, подойдет осквернённая монахиня, для Революции — бомбист, закутанный в плащ. Эти символы располагают затем в различных уголках Места: в дверях, нишах, двориках, окнах, чуланах и так далее. Остается мысленно обойти Место (в любом порядке) и в каждом уголке взять Вещь, обозначающую Понятие, которое нужно запомнить. Чем больше понятий хочешь запомнить, тем большим, разумеется, должно быть вместилище памяти. Обычно реальные пространства

[185] Примечания: 185

Квинтилиан, Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор, педагог. Здесь и далее автор ссылается на его трактат «Об образовании оратора» (др. переводы — «Воспитание оратора», «Наставления оратору»).

в таких случаях уже не подходят, они слишком просты и неудобны; используется выдуманное, сколь угодно обширное и разнообразное. Освоившись, человек по желанию может пристроить к нему флигели, привести архитектурные стили в соответствие тем предметам, которые хранятся внутри. Систему можно модифицировать: обозначать сложными символами не Понятия, а слова и даже буквы. К примеру, извлеченные из соответствующих ячеек ножовка, жернов и крючок тотчас помогут вспомнить слово Бог. Процесс этот невероятно сложен и утомителен, и с изобретением картотеки к нему прибегают крайне редко.

Искусство Памяти

Однако те, кто продолжал пользоваться этим старинным искусством, чем дольше жили в своих воображаемых домах, тем больше находили в них странностей, а современные его любители (вернее, любительница, поскольку в достаточной мере им овладела она одна и ни с кем своим мастерством не делилась) усовершенствовали и даже еще более усложнили индивидуальную систему смыслов.

Обнаружилось, к примеру, что символические

фигуры с выразительным обликом претерпевают, стоя в своих нишах и ожидая следующего вызова, легкие изменения. Так, осквернённая монахиня, которая символизировала Святотатство, могла при новой встрече явить в лице оттенок порочности, разорванная насильником одежда казалась как-то намеренно распахнутой, и весь образ напоминал уже не о Святотатстве, а о Лицемерии — по крайней мере, заимствовал некоторые черты последнего. Происходило превращение памяти, причем превращение поучительное. Итак: по мере роста дома памяти в нем образуются связи и возникают перспективы, не предусмотренные его строителем. Если он без необходимости возводит новый флигель, тот так или иначе должен присоседиться к первоначальному строению, и вот дверь, которая прежде вела в заросший травой сад, внезапно распахивается под напором сквозняка, и перед озадаченным владельцем предстает, так сказать, с изнанки обширная новая галерея, которую он только что густо уставил воспоминаниями. Фасад ее смотрит не в ту сторону — что также поучительно; и, кроме того, она может вести прямиком в ледник, куда владелец вынес в свое время далекую зиму и раз навсегда о ней забыл.

Да, забыл. Еще одна странность дома памяти: как в любом другом доме, строитель и жилец может терять в нем вещи. Вы были уверены, что моток бечевки хранится либо в ящике стола, с марками и скотчем, либо в холле, в чулане с молотком и проволокой, но ни там, ни там вы его не находите. Когда имеешь дело с обычной или Природной Памятью, такие вещи могут просто исчезнуть; вы не вспомните даже, что забыли о них. Преимущество дома памяти состоит в том, что вы знаете: где-то они у вас хранятся.

Так и Ариэль Хокскивилл рылась на одном из самых древних чердаков своего дома памяти в поисках каких-то оставленных там — как ей было известно — воспоминаний.

Она перечитывала *ars memorativa*[186] Джордано Бруно, именуемую *De umbris idearum*[187] — обширнейший трактат, где идет речь о символах и знаках, которые используются в высших формах этого искусства. В томе (первого издания) имелись заметки на полях, сделанные аккуратным почерком, которые иногда разъясняли, но

---

[186] Примечания: 186
Искусство памяти (лат.).

[187] Примечания: 187
De umbris idearum — О тенях идей (лат.). Трактат Джордано Бруно «О тенях идей» впервые опубликован в Париже в 1582 году.

чаще ставили в тупик. На странице, где Бруно рассуждает о классах символов, которые могут применяться для различных целей, комментатор написал: «Как в картах возвращения Р. К.[188] имеются Лица, Места, Предметы и т. д., каковые эмблемы или карты служат для памяти или предсказания судьбы, а также для нахождения малых миров». «Р. К.» здесь может означать как римско-католическую церковь, так и — почему бы и нет? — розенкрейцеров. Однако в первую очередь будили отдаленные отголоски в памяти «Лица, Места, Предметы», и звучали эти отголоски там (подумала Хоксквилл), где в незапамятные времена она поместила свое далекое детство.

Осторожно, но все более нетерпеливо она пробиралась мимо всякой всячины: ее собака Спарк, поездка в Рокауэй[189], первый поцелуй; заинтересовалась содержимым сундуков и углубилась в бесполезные коридоры воспоминаний. В каком-то уголке хранился разбитый коровий

---

[188] Примечания: 188

...возвращения Р. К. — «Брат Р. К.» — Христиан Розенкрейц, на чьей гробнице якобы имелась надпись: «Через 120 лет явлюсь». Это предсказание означало, что гробница будет найдена через 120 лет после смерти Учителя (согласно легенде, так и произошло); по другой версии, которой и следует Краули, имелось в виду второе пришествие Розенкрейца.

[189] Примечания: 189

Рокауэй — город в штате Нью-Джерси.

колокольчик, но зачем — Ариэль не имела понятия. Она на пробу позвонила. Под знакомый звон ей вдруг пришел на ум ее дед (колокольчик, разумеется, представлял именно его, поскольку он работал на ферме в Англии, пока не переселился в огромный город, где не было коров). Она ясно видела его там, куда прежде положила: в сломанном кресле под каминной полкой, где стояли пивные кружки в виде толстяка, похожего на него. Ариэль покрутила колокольчик в руках, как дед обычно крутил свою трубку.

— Не рассказывал ли ты мне как-то, — спросила она, — о картах с лицами, местами и предметами?

— Возможно.

— В какой связи?

Молчание.

— Ладно, тогда малые миры.

На чердаке, освещенном солнцем прошлого, сделалось светлее; Ариэль сидела у ног деда в старой комнате.

— Единственный раз в жизни я нашел ценную вещь, — проговорил он, — и я отдал ее за так глупой девчонке. Такие красивые, старинные карты — любой торговец выложил бы за них двадцать шиллингов, будь уверена. Я нашел их

в старом коттедже, который сквайр собирался снести. А эта девчонка говорила, будто видела фейри, и пикси[190], и всякое такое, и ее папаша тоже. Вайолет ее звали. И я попросил: «Тогда, если можешь, прочитай на этих картах мое будущее». Она вроде как разложила карты — картинки на них изображали лица, места и предметы — и со смехом сказала, что я умру на четвертом этаже, одиноким холостяком. И карты, что я нашел, она мне не захотела вернуть.

Теперь понятно. Хокскилл положила колокольчик обратно, на место, отведенное воспоминаниям детства (рядом с засаленной колодой Стародевических карт[191], относившейся к тому же году, — чтобы подчеркнуть их связь), и закрыла дверь комнаты.

Малые миры, думала она, глядя в исчерченное дождем окно гостиной. Находить малые миры. Именно в такой связи эти карты и упомина-

---

[190] Примечания: 190

Пикси — шкодливые, но не злобные английские фейри, родичи брауни, выделяются рыжими волосами и зеленой одеждой. По некоторым данным, враждуют с эльфами и вытесняют их с привычных мест обитания.

[191] Примечания: 191

Стародевические карты — традиционная игра в англоязычных странах. Колода состоит из 33 карт, непарная изображает старуху или старую деву. Смысл игры заключается в том, чтобы сбросить пары и оставить противника с последней картой.

лись. Лица и места перекликались с Искусством Памяти, где определяется место и создается в воображении живой человек, который держит предмет-эмблему. И «возвращение Р. К.»: если это значит «Брат Р. К.» розенкрейцеров, то карты можно отнести к расцвету увлечения розенкрейцерством, что — (она отодвинула поднос с чаем и тостами и вытерла пальцы) — придает известный смысл также и малым мирам. Тогдашнее тайное знание, о котором многие были наслышаны.

Атенор[192] алхимиков, например, Философское Яйцо, внутри которого совершается превращение исходного материала в золото, — разве это не микрокосм, не малый мир? Когда в черных книгах говорится, что делание следует начать под знаком Водолея и закончить под знаком Скорпиона, то речь идет о появлении этих знаков не на небе, а во вселенной Яйца, имеющей форму мира и содержащей в себе мир. Делание было не чем иным, как Творением мира; Красный Мужчина

[192] Примечания: 192

Атенор (антенор, антанор) — алхимическая печь, аналогичная современной песчаной бане. Имела вид башенки с куполообразной крышей. В середине атенора располагалось философское яйцо — реторта с вертикальным горлышком. Между стенками этих сосудов засыпался песок или пепел, который снизу нагревался пламенем.

и Белая Женщина[193], когда они, микроскопически-крохотные, появились в Яйце, представляли собой душу самого Философа, как объект его мысли, которая сама была порождена его душой и так далее, *regressus ad infinitum*[194], и к тому же в обоих направлениях. И Искусство Памяти: не внесло ли это Искусство в ограниченный круг ее, Хоксквилл, черепа громадные круги небес? А эта космическая машина внутри Хоксквилл — не упорядочила ли она ее память, ее восприятие вещей подлунных, небесных и бесконечных? Громоподобный хохот Бруно, когда он понял, что Коперник вывернул вселенную наизнанку, — чем был вызван этот хохот? Не ликовал ли Бруно от того, что подтвердилось его убеждение: Разум, находящийся в центре всего, содержит в себе все вещи, центром которых он является? Если Земля, старый центр, вращается, согласно новым правильным представлениям, где-то на полпути между центром и наружной границей, а Солнце, ранее помещаемое между центром и наружной границей, ныне сделалось центром,

[193] Примечания: 193

...*Красный Мужчина и Белая Женщина*... — алхимические образы серы и ртути.

[194] Примечания: 194

Движение назад до бесконечности (лат.).

это значит, что в пояс звезд заброшен полуоборот, подобный полуобороту ленты Мебиуса; но как же тогда обстоит дело со старой окружностью? Она становится, строго говоря, непредставимой: Вселенную разносит взрывом в бесконечность, в круг, центр которого, Разум, находится всюду, а окружность — нигде[195]. Лживое зеркало конечности разбито, смеялся Бруно, звездные чертоги превратились в драгоценный браслет, лежащий на ладони.

Да, все это старая история. Ныне в школах (тех, где училась Хокскилл) каждому учащемуся известно, как велики малые миры. Если бы эти карты попали ей в руки, она бы, конечно, в два счета определила, какие малые миры можно открыть с их помощью. Хокскилл почти не сомневалась в том, что уже успела эти миры посетить. Являлись ли эти карты теми самыми, которые нашел и потерял ее дед? И их ли имел в виду Рассел Айгенблик, когда говорил, что он

[195] Примечания: 195

...круг, центр которого, Разум, находится всюду, а окружность — нигде. — Определение Бога, восходящее к гностическим трактатам и впоследствии неоднократно повторенное европейскими мыслителями (обзор см. в эссе Х. Л. Борхеса «Сфера Паскаля»). Джордано Бруно заменил слово «Бог» на «Вселенная» («О причине, начале и едином», 1584, диалог V). Фрагмент комментируемого абзаца воспроизведен в романе «Эгипет», где он объявлен цитатой из романа вымышленного писателя Феллоуза Крафта «Путешествие Бруно».

есть в картах? Такое чудесное совпадение не казалось Хокскилл совсем уж невероятным; в ее вселенной не существовало случайностей. Но как их найти и все это выяснить? Хокскилл не видела к тому возможностей. Собственно, эта темная аллея пока представлялась тупиковой, и Хокскилл решила дальше по ней не следовать. Айгенблик не принадлежал к католикам, а также к розенкрейцерам, каковые, как всем известно, невидимы, а он — в чем бы ни заключалась его загадка — был, во всяком случае, вполне доступен зрению. «Ну и черт с ним», — произнесла она про себя, и тут же в дверь позвонили.

Хокскилл взглянула на свои наручные часы. Каменная Дева все еще спала, хотя за окном успело стемнеть. Хокскилл пошла в холл, взяла со стойки для зонтиков тяжелую трость и распахнула дверь.

Возникшая на пороге черная фигура, в пальто и широкополой шляпе, битая ветром и дождем, заставила ее вздрогнуть.

— Служба доставки «Крылатый гонец», — произнес посетитель. — Привет, леди.

— Привет, Фред. Вы меня напугали. — В первый раз она поняла, что означает несолидное слово «призрак». — Входите, входите.

С посетителя текло, поэтому он согласился пройти не дальше вестибюля. Роняя капли, он стоял и ждал, пока Хокскvилл вынесет ему стаканчик виски.

— Темные деньки, — заметил он, принимая стакан.

— Святая Люсия. Самый темный день в году[196].

Фред усмехнулся, не сомневаясь в том, что хозяйка дома поняла: он имел в виду не только погоду. Он одним глотком осушил стакан и вынул из пластиковой сумки толстый конверт, предназначенный для Хокскvилл. Обратного адреса на нем не было. Хокскvилл поставила подпись в книге.

— Не самая подходящая погода для работы, — проговорила она.

— Ни дождь, ни морось, ни снег, — сказал Фред,

[196] Примечания: 196

Святая Люсия. Самый темный день в году. — 13 декабря, самый короткий световой день (до введения грегорианского календаря).

— и сова, хоть и в перьях, продрогла[197].

— Не хотите ли задержаться на минутку? Камин растоплен.

— Если я задержусь на минутку, — Фред перенес тяжесть тела на правую ногу, — то я задержусь на час, и ничего хорошего из этого не выйдет, — заключил он, перенося тяжесть тела на левую ногу. Со шляпы его стекал ручеек. Фред выпрямился и с поклоном удалился.

Когда Фред работал, а такое с ним случалось нечасто, более добросовестного трудяги было не найти. Хокскилл затворила за ним дверь (представляя его себе в виде темного челнока, который скреплял стежками мокрый от дождя город) и вернулась в гостиную.

В толстом конверте оказалась пачка крупных новеньких банкнот и короткая записка на бумаге с эмблемой «Клуба охотников и рыболовов с

---

[197] Примечания: 197

— Ни дождь, ни морось, ни снег, — сказал Фред, — и сова, хоть и в перьях, продрогла. — «Ни дождь, ни морось, ни снег не остановят почтальона» — профессиональное присловье. Насчет совы и перьев («the owl for all his feathers was a-cold») — цитата из поэмы Джона Китса «Канун святой Агнесы» (строфа I). В переводе С. Сухарева:

Канун святой Агнесы... Холод злой!
Иззябший заяц прячется, хромая;
Взъерошил перья филин под ветлой,
И овцы сбились в кучу, засыпая.

Шумного моста»: «Условленный гонорар по делу Р. А. Вы уже пришли к заключению?» Подпись отсутствовала.

Хокскилл уронила записку на открытый том Бруно, который перед этим изучала, и по дороге к камину принялась подсчитывать свой внушительный и пока что не вполне заслуженный гонорар, но тут в ее сознании блеснула некая мысль. Хокскилл подошла к столу, включила яркий свет и тщательно изучила заметку на полях книги, о которой она раздумывала до появления записки из Клуба.

Курсив, как известно, читается легко. Однако некоторые заглавные буквы, написанные размашисто, как бы в спешке, могли ввести в заблуждение. И вправду: при близком рассмотрении слова «возвращение Р. К.» превратились в «возвращение Р. А.».

Ну куда, черт возьми, подевались эти карты, если их действительно не взял черт?

География

Старея, Нора Клауд казалась окружающим все более грузной и массивной. Ей самой тоже чудилось, что она растет, хотя вес ее не увеличивался. Когда ее возраст приблизился к трехзначному

и она медленно передвигалась по Эджвуду с помощью двух тростей, служивших опорой ее солидным годам, можно было подумать, что она горбится не от слабости, а в попытке ловчее протиснуться в узкие коридоры.

Неторопливо переставляя свои четыре опоры, Нора Клауд спустилась в многоугольную музыкальную комнату и подошла к круглому столу, где под медной лампой с зеленым стеклянным абажуром лежала, ожидая ее, шкатулка, в ней мешочек, а в нем карты. Софи, которая уже несколько лет обучалась у Клауд, ждала тоже. Под грохот упавших тростей и щелканье коленных суставов Клауд опустилась в свое кресло. Зажгла коричневую сигарету и положила поблизости, на блюдце, откуда потянулся витой лентой, похожей на мысли, дым.

— Какой у нас вопрос?

— Как вчера, — отозвалась Софи. — Просто продолжаем.

— Вопроса нет. Хорошо.

Они вместе помолчали. Мигом немой молитвы назвал однажды этот ритуал Смоки — определение, которое удивило и восхитило Клауд. Эти мгновения были посвящены мыслям о вопросе или, как сегодня, об отсутствии вопроса.

Софи, прикрывшая глаза своей длинной нежной ладонью, думала не о вопросе. Она думала о картах, непроницаемых в шкатулке и мешочке. Она не думала о них в отдельности, об отдельных кусках бумаги — не могла думать, даже если бы захотела. Не думала также о них как о понятиях, лицах, местах, предметах. Они представлялись ей в единстве, чем-то вроде истории или интерьера, состоящим из времени и пространства, длинным и огромным, но компактным; чем-то сочлененным, пространственным, вечно разворачивающимся.

— Что ж, — произнесла Клауд мягко, но решительно. Ее рука в бурых пятнах зависла над шкатулкой. — Не выложить ли мне Розу?

— Можно я? — попросила Софи.

Чтобы ей не помешать, Клауд отдернула руку, не успев коснуться шкатулки. Подражая экономным жестам Клауд, ее хладнокровной внимательности, Софи выложила Розу.

Шестерка кубков и четверка жезлов, Узел, Рыболов, туз кубков, Кузен, четверка монет и дама монет. Роза вырастала на круглом столе с железной, но органической силой. Если, как сегодня, вопроса не задавалось, речь шла о всегдашнем вопросе: ответом на какой вопрос является эта

Роза? Софи положила центральную карту.

— Снова Шут, — заметила Клауд.

— Противостоит Кузену.

— Да. Но чьему кузену? Его собственному или нашему?

Карта Шут в центре Розы несла на себе изображение бородатого мужчины в доспехах, пересекающего ручей. Подобно Белому Рыцарю, он валился с лошади: головой вниз и не сгибая ног[198]. Лицо у него было доброе, и смотрел он не вниз, в неглубокий поток, где ему предстояло оказаться, а на зрителя, как будто падал намеренно: развлекал публику или, быть может, что-то демонстрировал — тяготение? В одной руке он держал раковину гребешка, в другой — несколько связок сосисок.

Прежде чем интерпретировать падение (этому Клауд уже научила Софи), нужно было решить, как истолковывать в данную минуту сами карты. «Ты можешь считать их историей, и тогда тебе придется найти начало, середину и конец. Можешь рассматривать их как фразу — тогда сделай грамматический разбор. Или как музыкальную пьесу, в которой нужно найти основной тон и

[198] Примечания: 198

Подобно Белому Рыцарю, он валился с лошади: головой вниз и не сгибая ног. — «Зазеркалье», гл. VIII.

ключ. Они могут быть чем угодно, имеющим смысл и составные части».

— Возможно, — сказала Клауд теперь, рассматривая Розу с Шутом в середине, — что здесь мы имеем не историю и не интерьер, а Географию.

Софи спросила, что она имеет в виду, и Клауд призналась, что не уверена. Она подперла щеку ладонью. Не карта или вид, а География. Софи, тоже опершись щекой о ладонь, долго рассматривала свою Розу и недоумевала. География — думала она и спрашивала себя, возможно ли, что здесь, что это, что... Но тут она закрыла глаза и на мгновение отключила мысли: нет, сегодня без вопросов, пожалуйста, и без этого вопроса тоже.

Пробуждения

Жизнь — во всяком случае, ее жизнь, решила Софи со временем — была похожа на многоэтажное здание снов, какие она когда-то умела строить, где спящий, словно попав под холодный душ, постепенно или внезапно начинает осознавать, что спал и видел сны, что просто придумал бессмысленную задачу, мрачный отель, лестничный марш. Образы удаляются, изодранные и нереальные, и он с облегчением пробуждается в собственной постели (хотя последняя, по непонят-

ным причинам, может оказаться на оживленной улице или на водной глади), поднимается, зевая, и переживает странные приключения, но затем (словно попав под холодный душ) пробуждается и начинает осознавать, что всего-навсего заснул здесь, в этом пустынном месте (о, вспоминаю) или (о, понимаю) в этом дворцовом вестибюле и пора уже вставать и браться за дела. И так далее, и так далее. Приблизительно такого рода жизнь вела Софи.

Ей снилась Лайлак, и она была реальной и принадлежала Софи. Потом Софи пробудилась, и Лайлак оказалась вовсе не Лайлак. Софи увериласъ в этом, уверилась, что случилось страшное (причину этого она не могла понять, как ни напрягала память и воображение), что Лайлак теперь и не Лайлак и не ее дочь, а какое-то другое существо. Этот сон — из разряда ужасных снов, в которых происходят жуткие и непоправимые события и на душу ложится особый, неустранимый гнет, — продолжался почти два года. По-настоящему он не завершился даже в ту ночь (ночь, о которой Софи и теперь, двадцать лет спустя, вспоминала с содроганием и стоном), когда она, отчаявшись, потихоньку ото всех отнесла подменыша к Джорджу Маусу, а потом: камин, раскаты,

огни, дождь, звезды, сирены.

Как бы то ни было, спала она или нет, Лайлак у нее не стало совсем. Следующий сон был иного рода: Бесконечный Поиск, когда цель вечно отступает или меняется, едва к ней приблизишься, и перед тобой встают новые задачи, которые не дают тебе покоя, хотя они тоже неразрешимы. Именно тогда она обратилась за ответом к Клауд и ее картам; она хотела знать не только Почему, но и Как. На вопрос Кто, как Софи казалось, она знала ответ, но не знала Где. И главный вопрос: увидит ли она когда-нибудь, получит ли обратно свою настоящую дочь и Когда? Клауд, как ни старалась, не могла дать ясного ответа на эти вопросы, но полагала все же, что его можно извлечь из карт и их сочетаний, поэтому Софи сама взялась изучать гаданье. Она чувствовала, что сможет больше, чем Клауд, потому что желает сильнее. Но ответ не давался, и вскоре Софи оставила попытки и вернулась в постель.

Однако жизнь состоит из пробуждений — неожиданных и удивительных. Двенадцать лет назад, в ноябре, она задремала (почему был выбран этот день? и этот сон?), а потом пробудилась. От сна-с-закрытыми-глазами, сна-с-натянутым-по-самый-подбородок одеялом, сна-на-подушке

она пробудилась окончательно. Словно кто-то, пока она спала, похитил ее способность спать и, спасаясь от больших снов, находить прибежище в малых. Ошеломленной и потерянной Софи пришлось смотреть сон о том, что она бодрствует, и вокруг целый мир, и с этим нужно что-то делать. И только после этого, поскольку бессонный разум требовал себе Занятия, любого Занятия, она (не задаваясь трудными вопросами, не задаваясь вообще никакими вопросами) принялась за изучение карт. Принялась с азов, во всем слушаясь Клауд.

И все же, хотя мы вновь и вновь пробуждаемся, хотя пробуждениям со словами «о, понимаю» не видно конца (Софи знала это и была терпелива), все же в очередном нашем сне содержатся все прочие, от которых мы успели пробудиться. Первый трудный вопрос Софи к картам, строго говоря, не заглох, оставшись без ответа, а трансформировался в вопросы о вопросе. Он разветвился и укоренился, как дерево, усеянное почками вопросов, и в один прекрасный день все эти вопросы соединились в один: что это за дерево? Пока Софи училась, пока перемещала, тасовала и выкладывала геометрическими фигурами говорящие карты, засаленные, с обо-

рванными уголками, этот вопрос все больше интересовал ее и притягивал, пока не поглотил полностью. Что это за дерево? А у его основания, среди корней, под ветвями, покоился потерянный спящий ребенок, поиски которого до сих пор не дали результата и со временем становились все более безнадежными.

Обратного хода нет

Шестерка кубков и четверка жезлов, Узел, Рыболов. Перевернутая дама монет. Кузен: противостояние Шуту в середине колоды. География: не карта, не вид, а География. Софи созерцала эту головоломку, переводила взгляд с одного ее фрагмента на другой, всматривалась внимательно, но не уходила в нее с головой, настораживалась, когда в бессвязном бормотании карт слышались отголоски разборчивой речи, и вновь расслаблялась. И тут...

— О, — произнесла Софи и повторила: — О, — словно неожиданно услышала плохую новость. Клауд вопросительно подняла ресницы: лицо Софи было бледным и взволнованным, в широко раскрытых глазах читалось удивление и жалость — жалость к ней, Клауд. Клауд перевела взгляд на Географию. Да, в мгновение ока География

сжалась, наподобие графических иллюзий: ваза сложного рисунка вдруг превращается в два обращенных друг к другу лица. Клауд были знакомы подобные причуды, как и подобные послания, а Софи, очевидно, нет.

— Ага. — Голос Клауд прозвучал мягко, а улыбка, как она надеялась, выглядела ободряюще. — Прежде ты такого не видела?

— Нет. — Это было одновременно ответом на вопрос и отторжением вести, которая читалась в рисунке карт, танцующих гавот. — Нет.

— А я видела. — Клауд тронула ладонь Софи. — Думаю, остальным незачем об этом знать, да? Пока что. — По щекам Софи медленно потекли слезы, но Клауд предпочла этого не заметить. — Трудно, очень трудно иметь дело с тайнами будущего. — Она говорила об этом как о мелкой неприятности, но на самом деле единственным надежным способом доносила до Софи последний, самый важный урок чтения карт. — Иногда очень не хочется их читать. Но раз уж узнала, обратного хода нет; из головы уже не выбросишь. Ну ладно. За дело. Тебе еще очень многому нужно научиться.

— Ох, тетя Клауд.

— Не обратиться ли нам к нашей Географии?

— Клауд взяла сигарету, благодарно, с наслаждением затянулась и выдохнула дым.

Медленно копившийся осадок времен

Бочком огибая мебель, Клауд вышла из комнаты, спустилась на три марша лестницы (стук палки позволял угадать, идет она по деревянной или каменной поверхности) и пробралась через путаницу воображаемой гостиной, где жили призрачной жизнью колеблемые сквозняком шпалеры на стене. Потом лестница вверх.

Отец говорил ей, что лестниц в Эджвуде триста шестьдесят пять. Левая трость, правая нога, правая трость, левая нога. Имелись также семь труб, пятьдесят две двери, четыре этажа и двенадцать... двенадцать чего? Чего-то должно быть двенадцать, это число он обойти не мог. Правая трость, левая нога, и лестничная площадка, где через стрельчатое окно лился на темное дерево жемчужный зимний свет. Смоки видел однажды в магазине объявление о продаже внутриквартирного лифта, чтобы поднимать и спускать старых людей с этажа на этаж. Там даже накренялся пол, чтобы удобней было выкатываться на кресле. Смоки показал объявление Клауд, но она промолчала. Штука любопытная, но какой

интерес она представляет для Клауд? Вот что означало ее молчание.

Снова вверх, мелкие ступеньки (точный размер — девять дюймов), как ни опирайся на перила, кажутся все более крутыми, пусть даже она сама дама не маленькая и наклоняет затылок, чтобы не коснуться кессонированного потолка. С трудом карабкаясь по лестнице, Клауд упрекала себя, что не поделилась с Софи давно ей известным: в последнее время любое ее гадание, на кого бы то ни было, сопровождалось постоянным облигато[199] — *memento mori*[200]. Она настолько привыкла к этому напоминанию, что перестала его замечать. При ее преклонных годах не требовалось свидетельства карт, чтобы подтвердить очевидное для всякого, а прежде всего для нее самой. Это не было тайной. Она собрала вещи и была готова.

На все свои ценности, которые еще не успела раздарить, Клауд прикрепила этикетки с именем того, кому предназначался этот предмет. Это были ювелирные изделия, вещи Вайолет, имущество, которое она, так или иначе, не научилась

---

[199] Примечания: 199

Облигато — обязательная партия аккомпанирующего инструмента в музыкальном ансамбле.

[200] Примечания: 200

Помни о смерти (лат.).

считать своим. А карты, конечно, должна была унаследовать Софи — о чем думалось с облегчением. Дом, земли и аренда переходили к Смоки, хотя сам он этого не хотел. Он позаботится обо всем — хороший, добросовестный человек! Правда, дом способен и сам за собой присмотреть. Он не развалится, пока не будет рассказана Повесть... Но это не оправдывало пренебрежения законными процедурами; завещание надо писать, починки нужно делать. Единственная из всей семьи, двоюродная бабушка Клауд все еще помнила, чему учила Вайолет: забыть. Сама она настолько строго следовала этому принципу, что ее племянницы и племянники, а также внучатые и правнучатые племянницы и племянники действительно забыли или же просто не узнали того, что следовало забыть или чего не стоило знать. Возможно, они, подобно Дейли Элис, подумали, что Как-то отдалились от этого, что каждое поколение уходит от этого все дальше и дальше. Как медленно копившийся осадок времен превращается в головешки, потом в золу, потом в холодный шлак, так каждое поколение утрачивало частичку былой тесной связи, доступности, понимания с полуслова; времена, когда Оберон мог их фотографировать, а Вайолет — бродить по

их царству и возвращаться оттуда с новостями, сделались туманным, легендарным прошлым; и все же (Клауд это знала) каждое новое поколение на самом деле теснее приближалось к тайне и переставало искать ее или думать о ней только потому, что чувствовало все меньше и меньше различий между нею и собой. Со временем дорогу внутрь совсем перестанут искать. Потому что уже будут внутри.

Повесть, думала Клауд, кончится на них — на Тейси, Лили и Люси, на потерянной Лайлак, где бы она ни обреталась; на Обероне. В крайнем случае — на их детях. С возрастом уверенность Клауд не умалялась, а крепла, и Клауд видела в ней ключ к этим материям, в надежности которого она была убеждена. И как же досадно, думала она, как отчаянно досадно прожить почти целый век (за счет своих, и не только своих усилий) и все же не дождаться конца Повести.

Последняя лестница. Клауд поставила на нее трость, одну ногу, вторую трость, вторую ногу. Замерла, ожидая, пока успокоится внутренняя буря, вызванная усилиями.

Шут и Кузен; география и смерть. Она была права: каждый расклад карт связан со всеми другими. Если она гадала на Джорджа Мауса и

видела расходящиеся коридоры, или на Оберона, и видела смуглую девушку, которую он полюбит и потеряет, это было все равно, что искать пропавшую Лайлак, или прослеживать туманные линии Повести, или читать судьбу всего Огромного Мира. Она не могла объяснить, почему в каждой отгаданной загадке зашифрована новая, или все другие, почему в раскладе карт показалась вначале грандиозная География: империи, границы, заключительная битва, а потом — смерть старой женщины. Возможно, вероятно, это вообще не поддавалось объяснению. Клауд сделалось досадно, однако она утешилась своим давним решением, подкрепленным клятвой, которую она дала Вайолет: даже и зная объяснение, все равно промолчать.

Клауд посмотрела вниз, на ступеньки, — горный склон, который только что едва-едва одолела, и поплелась в свою комнату, с трудом волоча ноги — не столько из-за артрита, сколько от печального сознания, что спуститься по этой лестнице ей уже не суждено.

На следующее утро появилась Тейси с вещами и с рукодельем, чтобы себя занять. Лили с близнецами была уже там. Люси пришла вечером, нисколько не удивилась, застав сестер, и под-

села к ним с рукодельем — помогать, следить и ждать.

Принцесса

Раньше, чем кто-либо смог заметить в хмуром небе над Ветхозаветной Фермой хоть малейшие признаки рассвета, запел петух и разбудил своим криком Сильвию. Оберон, спавший рядом, зашевелился. Прижатая к его длинному бессознательному теплу, она поняла, что значит бодрствовать рядом с ним, спящим. Она начала размышлять об этом, нежно впитывая тепло и удивляясь, до чего же странно: ей известно, что она не спит и что он спит, а он ни о чем не подозревает. За мыслями она заснула снова. Но петух выкрикнул ее имя.

Стараясь не попасть на холодный край кровати, Сильвия катнулась на другой бок и высунула голову из-под одеяла. Нужно было будить Оберона. Сегодня его очередь доить — последний день. Но Сильвия не решалась. Что, если сделать работу за него, в подарок? Она вообразила его благодарность, а на другую чашу весов легли холодный рассвет, спуск по лестнице, мокрый двор фермы и работа. Чаша с благодарностью, казалось, перевешивала. Сильвия прониклась

этой благодарностью, ощутила ее почти как свою благодарность ему. «О-хо-хо», — произнесла она, благодарная за свою собственную доброту, и выскользнула из постели.

Ругаясь вполголоса на чем свет стоит, Сильвия постаралась не опускаться всей тяжестью на холодный как лед стульчак. Затем, не разгибаясь и стуча зубами, она быстро нашла и натянула одежду. Пока она застегивала пуговицы, руки ее тряслись от холода и спешки.

«Тяжкая доля, — думала Сильвия у пожарного выхода, с удовольствием втягивая в себя туманный воздух и надевая бурые садовые перчатки, — ну и тяжкая же доля у этих фермеров». Она спустилась вниз. Под дверью коридора, который вел к кухне Джорджа, лежал мешок с кухонными отходами — их нужно было смешать с кормом для коз. Сильвия взвалила мешок на плечо и через двор направилась к квартире, где уже нетерпеливо задвигались козы.

— Привет, ребята, — сказала Сильвия.

Козы — Пунчита и Нуни, Бланка и Негрита, Гвапо и Ла Грани, а также безымянные (Джордж никак их не называл, а Сильвия пока не подыскала имен для двух или трех; конечно, имена полагались всем, но имена правильные) — под-

няли глаза, застучали копытами по линолеуму и замекали. От их помещения по саду шел выразительный запах. Сильвия заподозрила, что этот запах знаком ей с детства — настолько он казался родным.

Аккуратно отмерив в ванну зерно и кухонные отходы и смешав их тщательно, как еду для ребенка, Сильвия покормила коз. Она говорила с ними, справедливо распределяя укоры и похвалы и проявляя пристрастие только к двум своим любимцам: черному козленку и самой старшей, Ла Грани, настоящей старушке, худой, с выступающими позвоночником и берцовыми костями, за что Сильвия прозвала ее «велосипедом». Со скрещенными руками Сильвия оперлась о косяк ванной комнаты и наблюдала, как козы жуют, скашивая челюсти, как то одна, то другая поднимает взгляд на нее, а потом вновь сосредоточивает внимание на своем завтраке.

В квартиру начали проникать рассветные лучи. Пробудились цветы на обоях и на линолеуме — эти запущенные грядки год от года зарастали грязью, несмотря на все усилия Брауни, который по ночам подметал пол и стирал тряпкой пыль. Сильвия широко зевнула. Почему животные так рано встают?

— Ну ладно, за дело, — сказала она. — Пора браться за этих чучел.

Готовясь к дойке, Сильвия думала: смотри-ка, что со мной делает любовь. На мгновение она замерла: в ее сердце и поясницу внезапно хлынуло тепло, потому что раньше она не называла этим словом свои чувства к Оберону. Любовь — повторила она про себя; да, чувство существовало, слово было подобно глотку рома. К Джорджу Маусу, своему другу на всю жизнь, давшему ей кров, когда она не знала, где приклонить голову, Сильвия испытывала глубокую благодарность и множество других чувств, в основном добрых, но в них не было этого жара, этого пламени с драгоценностью в середине. Драгоценность была словом: любовь. Сильвия засмеялась. Любовь[201]. Здорово быть влюбленной. Любовь нарядила ее в куртку и бурые перчатки, любовь послала ее к козам согревать под мышками свои ладони, прежде чем коснуться козьего вымени.

— Ладно, спокойно, — мягко проговорила Силь-

---

[201] Примечания: 201

Драгоценность была словом: любовь. Сильвия засмеялась. Любовь. — Контаминация образов из романов Льюиса Кэрролла: «...имя той тайне — Любовь» («Сильвия и Бруно. Окончание», песня из гл. XIX) и медальон, вырезанный из драгоценного камня, на котором написано «Все будут любить Сильвию» — с одной стороны и «Сильвия будет любить всех» — с другой. Важно выбрать правильную сторону («Сильвия и Бруно», гл. VI; «Сильвия и Бруно. Окончание», гл. XXV).

вия, обращаясь к козам и к любви, принявшей облик работы. — Спокойно. Мы начинаем.

Она погладила вымя Пунчиты:

— Привет, грудастая. *Ay mami*. Откуда у тебя такие большие титьки? Нашла под кустом?

Сильвия трудилась, воображая себе Оберона, спящего в своей кровати, и Джорджа, тоже спящего. Она одна бодрствовала, неведомо для всех. Найденная под кустом: найденыш. Избавленная от Города, взятая под этот кров и приставленная к работе. В сказках найденыш всегда оказывается важной особой, брошенной по случайности, например, потому, что его приняли за мертвого. Неизвестная принцесса. Принцесса — Джордж всегда ее так называл. Привет, принцесса. Потерявшаяся принцесса, которая не помнит, что она принцесса; козья пастушка, но если снять с нее грязные лохмотья, под ними обнаружится знак, драгоценность, родимое пятно, серебряное колечко. Все поражены, все сияют. Быстрый молочный ручей ударился в дно ведра и зашипел, сбиваясь в пену, — слева, справа, слева, справа, — отчего на душе сделалось спокойней и веселей. А после всех трудов отправиться в свое королевство; быть благодарной за скромный приют и настолько смиренной, чтобы обрести под этой крышей ис-

тинную любовь; все вы теперь свободны, ребята, и вот вам куча золотых. И рука принцессы. Сильвия склонила голову на теплый шерстяной бок Пунчиты, и мысли ее превратились в молоко, в мокрые листья, в звериных детенышей, в раковины улиток и копытца фавнов.

— Та еще принцесса, — произнесла Пунчита. — Давай жми, не отлынивай.

— Что-о такое? — воскликнула Сильвия, поднимая глаза, но Пунчита только обратила к ней свою длинную морду, все так же пережевывая бесконечную жвачку.

Домик Брауни

Теперь во двор, с кружкой молока и свежими яйцами из-под наседки, которая гнездилась на покореженной софе в гостиной квартиры, где жили козы. По неровному заросшему участку Сильвия направилась к зданию напротив, одетому в бурый виноград, с высокими окнами, печальными и слепыми, и со ступеньками, которые вели к отсутствующей двери. Сзади и под ступеньками виднелся тесный и сырой ход в подвал; дверь и окна были забиты обломками досок и серыми шиферными плитами. Имелась щель, но внутри было темно и ничего не видно.

Заслышав шаги Сильвии, из подвала с мяуканьем выскочила стая кошек — часть местного кошачьего войска. Джордж говорил иногда, что на своей Ферме выращивает преимущественно кирпичи и разводит преимущественно кошек. Местным кошачьим королем был большой одноглазый разбойник с приплюснутой головой; он не соизволил появиться. Но вышла изящная пестрая кошечка, которую Сильвия в прошлый раз видела с огромным животом. На этот раз шкура у нее обтягивала кости, живот был плоский, с большими розовыми сосками.

— Ты родила котят? — В голосе Сильвии звучал упрек. — И никому не сказала? Ах ты! — Она погладила кошку, налила всем молока и, присев на корточки, попыталась заглянуть меж плитами. — Посмотреть бы. Киски.

Кошки ходили вокруг нее, а она всматривалась во тьму, но увидела только пару больших желтых глаз — глаза старого кота? Или Брауни?

— Привет, Брауни, — сказала Сильвия, поскольку знала, что это домик Брауни, а не только кошачий, хотя никогда его здесь не видела. Оставь его в покое, всегда говорил Джордж, он живет не тужит. Но Сильвия не упускала случая с ним поздороваться. Она закрыла наполовину

полную кружку молока и положила ее, вместе с яйцом, в подвал, на выступ. — Ладно, Брауни. Я ухожу. Спасибо.

Это была уловка: Сильвия помедлила, подсматривая. Появилась еще одна кошка. Но Брауни не показывался. Сильвия встала, потянулась и направилась в Складную Спальню. На Ферму пришло утро, туманное и ласковое, и не такое уж холодное. Сильвия застыла на мгновение в середине внешнего, обнесенного высокой стеной, сада. Душа ее блаженствовала. Принцесса. Гм. Под грязными лохмотьями козьей пастушки было только вчерашнее белье. Скоро ей придется искать себе работу, строить планы, вновь творить свою историю. Но теперь, окруженная любовью и уютом, управившись с хлопотами, она не видела смысла куда-либо двигаться и делать что-нибудь еще. Ее история так или иначе пойдет своим чередом, счастливая и безоблачная.

И бесконечная. На мгновение Сильвия поняла, что ее история действительно не имеет конца, в чем превосходит любую детскую сказку или «Мир Где-то Еще», со всеми его перипетиями. Бесконечна. Как-то. Довольная собой, Сильвия шагала через Ферму, дышала сочными испарениями, растительными и животными, и улыбалась.

Из глубины своего дома ее наблюдал Брауни и тоже улыбался. Длинными руками он бесшумно снял кружку молока и яйцо с полки, куда их положила Сильвия. Забрал их в глубину дома, выпил молоко, высосал яйцо и от всего сердца благословил свою королеву.

Пир

Сильвия разделась так же быстро, как одевалась, оставив на себе одни трусики, в которых ее и увидел проснувшийся Оберон. Потом, тихонько вскрикивая, поспешно забралась к нему, в тепло, которое честно заслужила (в этом не приходилось сомневаться), которое не должна была покидать. Оберон со смехом отпрянул, когда она потянула к нему, к его нежной со сна и беззащитной плоти свои холодные руки и ноги, но вскоре сдался. Сильвия зарылась холодным носом в изгиб его шеи и заворковала, как голубка, когда он взялся за резинку ее трусиков.

В Эджвуде Софи положила карту на карту: валета жезлов на даму кубков.

Позже Сильвия сказала:

— Ты о чем-нибудь думаешь?

Оберон вопросительно хмыкнул. Накинув на голое тело пальто, он разводил огонь.

— Я о мыслях. То есть — во время. У меня их полно, целая история.

Поняв, о чем она говорит, Оберон рассмеялся:

— Ах, мысли. Во время. Конечно. Самые безумные. — Он быстро развел огонь, беспечно побросав в камин почти все деревяшки, какие были в ящике. Ему хотелось, чтобы в Складной Спальне воцарился настоящий зной, который бы выманил Сильвию из-под одеяла. Ему хотелось ее видеть.

— Как сейчас. В этот раз. Мне представлялись всякие картины.

— Мне тоже, — кивнул Оберон.

— Дети, — сказала она. — Дети или детеныши животных. Дюжины, всех размеров и цветов.

— Да. — Оберон тоже их видел. — Лайлак.

— Кто это?

Он покраснел и стал тыкать в огонь клюшкой для гольфа, которую держал поблизости специально для этой цели.

— Приятельница, — отозвался он. — Маленькая девочка. Воображаемая подруга.

Сильвия молчала, все еще погруженная в мысли. Потом повторила вопрос.

Оберон объяснил.

В Эджвуде Софи повернула лицом вниз козырную карту — Узел. Не имея такого намерения,

она все же искала, еще раз искала потерянную дочь Джорджа Мауса и ее судьбу, но не могла найти. Вместо этого Софи нашла, и находила все снова и снова, другую девочку, не потерянную; не потерянную, но ищущую. За нею маршировали рядами короли и дамы, и каждый нес послание: я — Надежда, я — Раскаяние, я — Праздность, я — Нежданная Любовь. Верхом и с оружием, торжественные и грозные, они продвигались процессией по темному лесу козырей. Отдельно от них, не замеченная ими, а замеченная только Софи, храбро ступала среди опасностей принцесса, которую никто из них не знал. Но где Лайлак? Софи перевернула следующую карту: это оказался Пир.

— Что же с ней случилось? — спросила Сильвия. Огонь пылал ярко, в комнате становилось тепло.

— То, что я уже сказал. — Оберон раздвинул полы пальто, чтобы согреть свои ягодицы. — С тех пор, после пикника, я ее больше не видел...

— Не с ней. И не с той, фальшивой. А с настоящей. С ребенком.

— А. — Со времени приезда в Город Оберон, казалось, прожил не один век: Эджвуд он вообще вспоминал с трудом, а уж экскурс в детство и вовсе походил на раскопки Трои. — Видишь ли,

на самом деле я этого не знаю. То есть не помню, чтобы мне рассказывали всю историю целиком.

— Но что же все-таки произошло? — Наслаждаясь теплом, Сильвия потягивалась в постели. — Она умерла или как?

— Нет, вряд ли, — отозвался Оберон, испуганный таким предположением. На мгновение он увидел всю историю глазами Сильвии, и она показалась ему нелепой. Как умудрилось его семейство потерять ребенка? А если девочку не потеряли и если ее отсутствию имеется простая причина (отдана приемным родителям, умерла, наконец), то почему Оберон ничего не знает? В истории семейства Сильвии значилось несколько детей, отданных в приют или на воспитание. Всех их очень хорошо помнили, всех оплакивали. Если бы Оберону в ту минуту были доступны иные чувства, кроме тех, что относились к Сильвии и к его ближайшим планам, тоже связанным с нею, он бы разозлился на родных за свое неведение. Ладно, неважно. — Неважно, — сказал он, радуясь сознанию, что это действительно неважно. — Я выбросил все это из головы.

Сильвия зевнула во весь рот, одновременно попытавшись заговорить, потом рассмеялась.

— Значит, назад ты не собираешься?

— Нет.

— Даже когда найдешь свое счастье?

Оберон не сказал «я уже нашел его», хотя это было правдой. Он уверился в этом с тех пор, как они стали любовниками. Стали любовниками. Как колдовство, как превращение лягушек в принцев.

— Ты не хочешь, чтобы я отправился обратно? — спросил он, сбрасывая пальто и забираясь в постель.

— Я последую за тобой. Непременно.

— Тепло? — Оберон начал стаскивать с Сильвии одеяло.

— Ого, — воскликнула она. — *Ay, que grande*[202].

— Тепло, — кивнул Оберон и начал поочередно захватывать губами обнаженные им шею и плечи Сильвии, жуя их и всасывая, как каннибал. Мясо. Но живое, живое.

— Я таю, — проговорила она.

Оберон охватил ее собою, словно его длинное тело могло вобрать ее в себя. Кусочек, не имеющий предела. Он склонился над ее наготой. Пир.

— Просто расплываюсь от жары, — добавила Сильвия, и это было правдой.

---

[202] Примечания: 202
Ой, какой большой (исп.).

Жар разгорался все сильнее, блаженный покой стремился к пределу благодаря пылающей драгоценности у нее внутри. На миг она впилась взглядом в Оберона, изумленная и благодарная, наблюдая, как он бесконечно вбирал ее в полость своего сердца. Потом она блуждала (и он тоже) вновь по тому же царству, общему для них обоих (позднее они будут об этом говорить, рассказывать, где побывали, и обнаружат, что это одно и то же место); царству, куда, как думал Оберон, их привела Лайлак. Соединенные в объятии, по-прежнему не зная дороги, они шли за проводником по глубоко утоптанной, с полоской травы посередине, дорожке в бескрайнюю страну; следовали всем поворотам длинной-предлинной истории с вечными «и тогда...». Их целью было место, подобное которому рассматривала в Эджвуде Софи на гравированном рисунке козыря с названием Пир: длинный стол под только что развернутой скатертью, ножки которого, в форме звериной лапы, выглядят нелепо среди цветов; узловатые деревья вокруг, ваза на высокой ножке, переполненная фруктами; симметрично стоят канделябры; много стульев, все пустые.

Книга четвертая. Дикий Лес

Глава первая

Они не работают и не плачут; их оправдание — в их форме.

***Вирджиния Вулф*[203]**

За всю ее долгую (фактически почти бесконечную) жизнь миссис Андерхилл никогда так не одолевали хлопоты, как в годы после похищения малютки Лайлак из рук спящей матери. Дело не ограничивалось обучением и присмотром, как за всяким ребенком, — один за другим следовали совещания, встречи, консультации и праздники, которые множились, по мере того как ускорялась череда событий, вызванных и тщательно подготовленных *ими*. Все это добавлялось к ее обычным обязанностям, состоявшим из множества мелких деталей, и ни одной из них нельзя было пренебречь.

---

[203] Примечания: 203

Они не работают и не плачут; их оправдание — в их форме. — Эпиграф взят из эссе Вирджинии Вулф (1882–1941) «Солнце и рыба». Слово «они» относится именно к рыбам. Ср. размышления Дейли Элис о том, плачут ли рыбы (в оригинале использованы разные глаголы: «cry» — у Краули, «weep» — у Вулф).

Но смотрите, как удачно она справилась! Однажды в ноябре, через год после того, как мальчик Оберон последовал за воображаемой Лайлак в темный лес и потерял ее, миссис Андерхилл мерила наметанным глазом изрядно вымахавшую настоящую Лайлак. Едва-едва достигнув одиннадцатилетия, Лайлак сравнялась ростом с согнутой миссис Андерхилл; ее чистые, как ключевая вода, глаза цвета цикория находились на одном уровне с глазами изучавшей ее старухи.

— Очень хорошо, — произнесла миссис Андерхилл. — Просто отлично.

Она обхватила пальцами тонкие запястья Лайлак. Подняла подбородок девочки, держа под ним лютик. Измерила пальцами расстояние между ареолами, и Лайлак рассмеялась от щекотки. Миссис Андерхилл тоже усмехнулась, довольная собой и Лайлак. В ее фарфоровой коже не замечалось зеленого оттенка, в глазах — отсутствующего выражения. Как часто миссис Андерхилл обнаруживала, что дело пошло насмарку: подменыши вырастали тупыми, тщедушными и к возрасту Лайлак делались никчемными бездельниками, изнуренными смутной тоской. Она радовалась,

что взяла на себя воспитание девочки. Что, если бы ее превратили в тряпку? Но дело было сделано, и миссис Андерхилл ожидал отдых, который продлится не одну вечность.

Отдых! Она выпрямилась. Для завершения нужны силы.

— Так, детка, — проговорила она. — Чему ты научилась от медведей?

— Спать, — отозвалась Лайлак с сомнением во взгляде.

— Верно, спать. А теперь...

— Я не хочу спать. Пожалуйста.

— Откуда ты знаешь, пока не попробовала? Медведям спалось очень уютно.

Надув губы, Лайлак перевернула темного жука, который пересекал подъем ее ноги, и снова поставила его на лапки. Она подумала о медведях в теплой норе, бесчувственных, словно снег. Миссис Андерхилл, которая, как подобает натуралисту, знала имена многих животных, представила их ей: Джо, Пэт, Марта, Джон, Кэти, Джози и Нора. Но они не отозвались, а только втянули в себя воздух, выпустили и сделали новый вдох. Лайлак, которая с той ночи, когда пробудилась в темном доме миссис Андерхилл, смыкала веки только моргая или играя в прятки,

созерцала семерых спящих со скукой и отвращением. Они лежали равнодушными колодами, напоминая семь диванов. Однако Лайлак обучилась их умению, и когда миссис Андерхилл явилась за ней весной, хорошо его освоила, и в награду миссис Андерхилл показала ей, как спят в северных водах, покачиваясь на волнах, морские львы и как на юге дремлют в полете альбатросы. Лайлак по-прежнему не спала, но, по крайней мере, знала, как это делается.

Но теперь время пришло.

— Пожалуйста, — говорила Лайлак. — Если нужно, я буду, но только...

— Попрошу без «но» и «если», — отрезала миссис Андерхилл. — Бывают времена, которые просто идут, а бывают такие, которые приходят. Это время пришло.

— Хорошо, — смирилась Лайлак. — Можно, я всех поцелую перед сном?

— На это уйдут годы.

— На ночь рассказывают сказки, — повысив голос, проговорила Лайлак. — Я тоже хочу сказку.

— Я знаю только одну — эту самую, и в ней пришло время сна.

Девочка, все еще в задумчивости, медленно скрестила руки; лицо ее потемнело; она не соби-

ралась сдаваться. Миссис Андерхилл, как всякая бабушка, столкнувшаяся с непослушанием, стала думать о том, как бы, не уронив себя, умаслить ребенка, но при этом не избаловать.

— Отлично, — сказала она. — У меня нет времени на споры. Я собиралась в путешествие, и если ты согласна быть паинькой и потом заснуть, я возьму тебя с собой. Поездка обещает быть познавательной...

— Да-да!

— А знания — это, в конце концов, было главным...

— Верно-верно!

— Ну, хорошо. — Видя волнение девочки, миссис Андерхилл впервые испытала подобие жалости: виноградная лоза сна надолго обовьет ее своими усиками, и забытье это будет глубоким, как смерть. Миссис Андерхилл поднялась с места. — А теперь послушай! Забудь, что ты уже большая, не отходи от меня ни на шаг и не трогай и не бери в рот ничего из того, что увидишь... — Лайлак подпрыгнула. Ее бледная нагота сияла в старом доме миссис Андерхилл как восковая свеча. — Держи это, — произнесла миссис Андерхилл, вынула из складок своей одежды трехлопастный листок, лизнула его розовым языком и прилепила на

лоб Лайлак, — и ты увидишь, то, что обещано. И я думаю... — Снаружи послышалось хлопанье тяжелых крыльев, и перед окном пронеслась длинная изломанная тень. — Думаю, нам пора. Тебе не надо напоминать, — добавила она, предостерегающе поднимая палец, — что ты не должна разговаривать — о чем бы то ни было — ни с кем из встречных. Ни с кем.

Лайлак торжественно кивнула.

Чудо дождливого дня

Аистиха, которую они оседлали, неслась высоко в небе, над коричнево-серым ноябрьским пейзажем, оставаясь при этом Как-то в прежних пределах: голая Лайлак, сидевшая на ее спине, не чувствовала ни жары, ни холода. Она жалась к складкам плотного платья миссис Андерхилл, крепко обхватывая коленями вздымавшуюся спину птицы и ощущая бедрами ее мягкие, скользкие перья. Миссис Андерхилл легко ударяла аистиху жезлом, направляя полет.

— Куда мы отправимся вначале? — спросила Лайлак.

— Наружу, — проговорила миссис Андерхилл.

Аистиха спикировала и заложила вираж; вдали показался и стал приближаться большой, слож-

ной формы дом.

С самого младенчества Лайлак часто видела этот дом во сне (как можно было не спать, но видеть сны — о том она никогда не задумывалась; она выросла в особых условиях, не ведая иной организации мира и личности, а потому многие вопросы просто не приходили ей в голову — так Оберон не задумывался, почему три раза в день садится за стол и вкладывает себе в рот пищу). Однако она не имела понятия о том, что, пока она бродила во сне по длинным залам, трогала оклеенные обоями стены, рассматривала картины и думала: «Что это? Что?», ее бабушка, мать, двоюродные братья и сестры видели сны — не о ней, но о ком-то ином, похожем, жившем в другом месте. Когда со спины аиста она увидела дом целиком и тотчас его узнала, у нее вырвался смех: словно при игре в жмурки у нее сняли с глаз повязку и оказалось, что таинственные черты и непонятная одежда, которые она осязала, принадлежат кому-то хорошо знакомому и тот ей улыбается.

По мере приближения дом делался все меньше. Он съеживался, будто отступал. Если это будет продолжаться, подумала Лайлак, то когда мы подлетим вплотную к окнам, я смогу заглянуть туда только одним глазом, и как же удивятся

обитатели дома, заметив нас, грозовой тучей заслонивших им свет![204]

— Ну да, — произнесла миссис Андерхилл, — если он останется таким же, но он не останется, и они увидят — а вернее, думаю, не увидят — всего лишь аиста, женщину и ребенка размером с комара, а то и меньше, и не обратят на нас ни малейшего внимания.

— Никак не могу себе это представить, — проговорила под ними аистиха.

— Я тоже, — со смехом подхватила Лайлак.

— Неважно, — отозвалась миссис Андерхилл. — Глядите, как я гляжу, и этого достаточно.

Она не успела еще замолкнуть, как перед глазами Лайлак все поплыло, но затем выправилось. Перед путешественниками воздвигся огромный дом, каким и положено быть дому по сравнению с аистом (правда, сама Лайлак, заодно с миссис Андерхилл, сделалась маленькой — еще одна странность, о которой Лайлак нельзя было спра-

---

[204] Примечания: 204

Если это будет продолжаться, подумала Лайлак, то когда мы подлетим вплотную к окнам, я смогу заглянуть туда только одним глазом, и как же удивятся обитатели дома, заметив нас, грозовой тучей заслонивших им свет! — Контаминация двух эпизодов из сказок об Алисе: подходя к миниатюрному домику Герцогини, Алиса размышляет о том, что она может до смерти перепугать его обитателей («Алиса в Стране чудес», гл. V); в «Зазеркалье» (гл. IV) тьму приносит гигантский ворон.

шивать). Они спускались на Эджвуд, его круглые и квадратные башни выскакивали, как грибы навстречу дождю, и отступали вниз в изящном поклоне; плавно менялся также перспективный вид стен, заросших травой аллей, крытых въездных ворот, флигелей с гонтовыми крышами — соответственно геометрии каждого объекта.

Повинуясь жезлу миссис Андерхилл, аистиха наклонила крылья и, как самолет-истребитель, резко спланировала вправо. Дом менял облик: стиль королевы Анны, французская готика, американский[205], но Лайлак этого не замечала; у нее перехватило дыхание. Пока аистиха маневрировала, подпорки и углы дома склонялись и выпрямлялись, взлетали свесы крыши. Девочка закрыла глаза и плотнее обхватила птицу. Когда маневр завершился, Лайлак подняла веки и увидела, что аистиха залетела в тень дома и кружит, готовясь сесть на каменный бельведер, выступающий из самого по-осеннему мрачного фасада.

— Смотрите, — сказала миссис Андерхилл, когда птица сложила крылья. Ее жезл, как узловатый палец, указывал на узкое стрельчатое окно с

[205] Примечания: 205

...стиль королевы Анны, французская готика, американский. — Лайлак облетает дом в направлении, противоположном тому, в каком шла Вайолет Брамбл.

раскрытыми створками, под углом к тому месту, где они стояли. — Софи спит.

Лайлак были видны рассыпавшиеся по подушке волосы матери, очень похожие на ее собственные, и нос, который выглядывал из-под покрывала. Спит... Воспитание Лайлак приучило ее к удовольствиям (и к целеустремленности, хотя она об этом не знала), а не к привязанностям; слезы могли выступить на ее ясных глазах по причине дождливых дней, но больше всего волновали ее юную душу чудеса, а не любовь. Поэтому за долгое время, пока Лайлак разглядывала в неясном свете свою спящую мать, ее посетили, одно за другим, чувства, которым она не знала названия. Чудо дождливого дня. Нередко, выслушивая сопровождавшийся смехом рассказ, как она во сне держалась за материнские волосы и без ножниц ее было не освободить, Лайлак отвечала тоже улыбкой. Теперь она пыталась представить себе, каково лежать рядом с этой женщиной, под одеялом, держа ее за волосы, щекой к щеке, и спать.

— Мы можем подобраться к ней поближе? — спросила она.

— Не знаю, — хмыкнула миссис Андерхилл.

— Если мы такие маленькие, как вы говорили,

— вмешалась аистиха, — то почему нет?

— Почему нет? Ну что ж, попытаемся.

Они слетели с бельведера вниз; аистиха несла свой груз, старательно работая крыльями, вытянув шею и перебирая лапами. Оконная рама перед ними росла, словно бы они к ней приближались, но приближаться они начали отнюдь не сразу. Потом миссис Андерхилл сказала «Ну вот», и они, описав головокружительную дугу, устремились через открытое окно в спальню Софи. Случайный наблюдатель (если бы таковой присутствовал в комнате) решил бы, что размером они не превышают птичку, сложенную из ладоней.

— Как это получается? — поинтересовалась Лайлак.

— Не спрашивай. Такое возможно только здесь. — Пока они огибали кроватный столбик, миссис Андерхилл добавила: — Тем и необычен этот дом, так ведь?

Разрумянившаяся щека Софи была холмом, открытый рот — пещерой, золотистые локоны топорщились надо лбом, как лес. Звук ее дыхания, медленный и низкий, был сравним с шумами, какие слышатся днем за окошком. В головах постели аистиха притормозила и пошла на сни-

жение, намереваясь сесть на лоскутное одеяло, похожее на распаханное поле.

— Что, если она проснется? — спросила Лайлак.

— Не смей! — выкрикнула миссис Андерхилл, но слишком поздно: Лайлак выпустила из рук ее плащ и под влиянием чувства вроде того, что толкает на озорство, но куда более сильного, схватила на лету золотую вьющуюся прядь, размером с канат, и дернула. От толчка путешественники едва не свалились; миссис Андерхилл замахала жезлом, аистиха с криком сбросила скорость. Путешественники снова сделали круг над головой Софи; Лайлак не выпускала волосы из рук.

— Проснись! — завопила она.

— Безобразница! Ужас! — охала миссис Андерхилл.

Аистиха вновь крикнула.

— Проснись! — Лайлак поднесла ко рту сложенную рупором ладонь.

— Прочь! — скомандовала миссис Андерхилл, аистиха, мощно забив крыльями, направилась к окну, и Лайлак, чтобы не соскользнуть с ее спины, пришлось разжать руку. Длинный, как буксирный трос, волос, оторвавшись, остался у нее в пальцах. Взвизгивая от страха и восторга,

дрожа с головы до ног, Лайлак успела заметить, как вздыбилось покрывало. За окном, подобно рывком раскрывшейся почке и с таким же шорохом, троица выросла до размера обычной птицы и быстро взмыла к верхушкам труб. Волос, похищенный Лайлак (теперь он был три дюйма длиной и так тонок, что не удержался в ее пальцах), сверкая, стал падать.

— Что такое? — произнесла Софи и села. Потом, уже медленней, снова опустилась на подушки, но не смежила веки. Неужели она оставила окно открытым? Край занавески отчаянно колыхался снаружи. Холод пробирал до мозга костей. О чем был сон? Снилась прабабка (умершая, когда Софи было четыре года). Спальня, полная красивых вещей — щеток, оправленных в серебро, черепаховых гребней, музыкальных шкатулок. Глянцевая фарфоровая статуэтка, птица с голой девочкой и старухой на спине. Большой шар из голубого стекла, тонкий, как мыльный пузырь. Не трогай, дитя, — приглушенный, как у мертвеца, голос из кроватного покрывала с кружевами цвета слоновой кости. Да осторожней же! И вся комната, все, что есть вокруг, искривленное и поголубевшее, — в шаре; странное, яркое, объединенное принадлежностью к сфере — внутри

шара. Осторожней, дитя, — хныкающий голос. И шар ускользает из ее рук и медленно, как мыльный пузырь, падает на паркет.

Софи потерла себе щеки. Недоуменно сунула ноги в шлепанцы. (Разлетается, ударившись об пол, без единого звука — только прабабкин голос произносит: «Ох, дитя, какая потеря».) Она запускает пальцы себе в волосы, невероятно спутанные — эльфийский колтун, называла их Мамди. Голубой стеклянный шар разбивается вдребезги; но что происходило прежде? Это уже исчезло из ее памяти.

— Ладно, — проговорила она, зевнула и выпрямилась.

Софи пробудилась.

Это судьба

Пока аистиха удалялась от Эджвуда, миссис Андерхилл взяла себя в руки.

— Стой, стой, — проговорила она мягко. — Мы причинили вред.

Лайлак, сидя за ней, прикусила язык.

— Мне бы не хотелось, — произнесла аистиха, прекратив яростно бить крыльями, — чтобы в этом хоть отчасти обвинили меня.

— О вине речь не идет.

— Если последуют наказания...

— Никаких наказаний. Твоему длинному красному клюву ничто не грозит.

Аистиха замолкла. Лайлак подумала, что ей следовало бы добровольно взять на себя вину, в чем бы она ни заключалась, и успокоить птицу, но промолчала. Она прижалась щекой к грубому плащу миссис Андерхилл, преисполнившись снова чуда дождливого дня.

— Все, что мне нужно, это провести еще век в этом облике, — пробормотала аистиха.

— Довольно, — оборвала ее миссис Андерхилл. — Не исключено, что все обернется к лучшему. Собственно, как может быть иначе? А теперь, — она легонько стукнула птицу жезлом, — нам еще многое нужно повидать, не будем терять время. — Аистиха сделала вираж, обратившись спиной к многообразию крыш. — Еще круг над домом и парком, — добавила миссис Андерхилл, — и прочь.

Когда они медленно взмывали над беспорядочным горным пейзажем крыш, открылось круглое оконце в барабане под маленьким куполом (особенно причудливым), оттуда выглянуло круглое личико и бросило взгляд вниз, потом вверх. Лайлак, хотя никогда раньше не видела

его настоящего лица, узнала Оберона, но тот ее не заметил.

— Оберон, — произнесла она, не для того, чтобы привлечь его внимание (она решила больше не озорничать), а просто называя его имя.

— Пол Прай, — произнесла птица, так как именно из этого окошка Док следил обычно за нею и ее птенцами[206], когда она свила здесь гнездо. Ну ладно, все это в прошлом! Круглое окно захлопнулось.

За домом миссис Андерхилл указала на длинноногую Тейси. Когда она сворачивала за угол дома, из-под изношенных шин ее велосипеда полетел гравий. Тейси направлялась к нормандскому фермерскому домику, некогда ухоженному и нарядному; на своем веку он успел побывать конюшней, затем гаражом, где дремал в темноте старый деревянный автомобиль-фургон, а теперь вмещал к тому же сундуки Бамбама, Джейн Доу и их многочисленных отпрысков[207]. Тейси урони-

---

[206] Примечания: 206

— Пол Прай, — произнесла птица, так как именно из этого окошка Док следил обычно за нею и ее птенцами... — Пол Прай — персонаж одноименной комедии (1825) английского драматурга Джона Пула (ум. 1872), отличавшийся неудержимым любопытством.

[207] Примечания: 207

...сундуки Бамбама, Джейн Доу и их многочисленных отпрысков... — Джейн Доу — имя, обозначающее любую женщину. «Сундуки Бамбама и Джейн Доу» — неизвестно чьи сундуки.

ла велосипед на землю у задних дверей (Лайлак воспринимала ее сверху как составную фигурку, внезапно распавшуюся на две части), и аистиха, хлопая крыльями, взмыла над парком. Там брели по тропинке Лили и Люси, держась за руки и напевая. Тихий отзвук достигал ушей Лайлак. Тропинка пересекалась с другой, окаймленной живой изгородью; с нее уже облетели листья, и путаница ветвей, с застрявшими там сухими листьями и птичьими гнездами, напоминала шевелюру безумца. Там слонялась с граблями в руках Дейли Элис, разглядывая изгородь, где заметила, вероятно, птичку или зверька. Когда путешественники еще немного набрали высоту, Лайлак обнаружила вдали на той же тропе Смоки: под мышкой он держал книги, взгляд упер в землю.

— Это... — начала девочка.

— Да, — кивнула миссис Андерхилл.

— Мой отец?

— Ну, во всяком случае, один из них. — Миссис Андерхилл направила аистиху туда. — Но веди себя как следует, без шалостей.

Как же чудно́ выглядят люди, если рассматривать сверху: в центре голова, похожая на яйцо, сзади торчит левая нога, спереди правая, а потом

наоборот. Смоки и Элис наконец заметили друг друга, и Элис махнула рукой. Рука тоже высунулась из головы, словно ухо. Аистиха нырнула вниз, и встретившиеся фигурки сделались больше похожи на людей.

— Как делишки? — спросила Элис, придерживая грабли под мышкой, словно дробовик, и засовывая руки в карманы джинсовой куртки.

— Отлично, — отозвался Смоки. — Гранта Стоуна опять вырвало.

— Не в помещении?

— Снаружи, слава тебе господи. Удивительно, как это отрезвляет. На минуту. Наглядный урок.

— Который говорит...

— О том, что слопать дюжину зефиров на пути в школу — это не здорово? Не знаю. Муки, наследье плоти[208]. Смертная природа человека. Я делаю мрачное лицо и говорю: «Думаю, теперь мы можем продолжить».

Элис рассмеялась и резко обернулась влево, где ей почудилось что-то движущееся: то ли птица в отдалении, то ли последняя муха вблизи. Она

---

[208] Примечания: 208

Муки, наследье плоти. — Цитата из монолога Гамлета «Быть иль не быть...» («...natural shocks / That flesh is heir to...» — Hamlet, III, 1). В переводе М. Лозинского: «...и сказать, что сном кончаешь / Тоску и тысячу природных мук, / Наследье плоти...»

ничего не увидела. И не услышала миссис Андерхилл, которая, не сводя с нее ласкового взгляда, произнесла:

— Благослови тебя Бог, дорогая, не забывай о времени.

Но по дороге домой Элис не проронила ни слова, а также пропускала мимо ушей рассказы Смоки о школе; ее поглотило ощущение, уже знакомое, что земля, при всей своей невероятной тяжести, вращается лишь потому, что она по ней ступает, как бы продвигая «бегущую дорожку». Странно. У самого дома ей попался на глаза Оберон, который улепетывал словно от погони. Он заметил родителей, но ничего не сказал и исчез за углом. Из верхнего окошка донеслось имя Элис: Софи стояла у своего створчатого окна. «Да?» — отозвалась Элис, но Софи промолчала, только бросила вниз изумленный взгляд, будто не виделась с ними несколько лет, а не какой-нибудь час-другой.

Аистиха проскользнула над Садом, Обнесенным Стеной, а потом, сложив крылья, пронеслась, едва не касаясь земли, вдоль аллеи сфинксов, которые выглядели совершенно безликими и еще более молчаливыми, чем обычно. Впереди, тем же путем, бежал Оберон. На нем были две фланелевые рубашки (одна вроде куртки), едва на

нем сходившиеся (он рос не по дням, а по часам), но все же с застегнутыми манжетами; длинная голова качалась на тощей шее, ступни слегка косолапили. Немного пробежав, он переходил на шаг, потом снова пускался бегом и все время бормотал что-то себе под нос.

— Тот еще принц, — вполголоса проговорила миссис Андерхилл, когда поравнялась с ним. — Здесь невпроворот работы. — Она покачала головой. Услышав за спиной шум крыльев взмывшего вверх аиста, Оберон пригнулся и на ходу повернул голову, но птицы не увидел. — Это судьба, — произнесла миссис Андерхилл. — Прочь!

Пока троица поднималась в небо, Лайлак наблюдала, как Оберон делается все меньше. Невзирая на строгие запреты миссис Андерхилл, Лайлак, пока росла, долгие дни и ночи проводила в одиночестве. Сама миссис Андерхилл была занята по горло, и за Лайлак следили прислужники — во время, свободное от собственных игр, непонятных и недоступных для человеческого ребенка, толстого, неповоротливого и глупого. Им, конечно, досталось на орехи, когда Лайлак забрела в залы и рощи, где ей пока было рано появляться (и брошенным камнем заставила встрепенуться своего прадеда, застав его в

меланхолическом одиночестве), но поделать миссис Андерхилл ничего не могла, пробормотала только: «Всякий опыт пойдет ей на пользу» — и отбыла в другие города и веси, где требовалось ее присутствие. Но имелся у Лайлак один товарищ по играм, который был всегда под рукой, без спору повиновался, никогда не скучал и не злился (другим случалось быть не только злыми, но и жестокими) и во всем мыслил с ней одинаково. То, что он был воображаемым («С кем это вечно разговаривает ребенок? — спрашивал мистер Вудз, скрещивая свои длинные руки. — И почему не дает мне сесть на мой собственный стул?»), не отличало его от прочих спутников странного детства Лайлак; то, что он однажды под каким-то предлогом ушел и не вернулся, не очень ее удивило; и лишь теперь, наблюдая, как мальчик вприпрыжку бежал за какой-то срочной надобностью к летнему домику в виде замка, она задалась вопросом, где был этот настоящий Оберон (не очень похожий на ее Оберона, но тот же), пока она подрастала. Открывая дверь Летнего Домика, он казался совсем маленьким. Словно подозревая, что его преследуют, он обернулся; миссис Андерхилл крикнула: «Прочь!» Летний Домик нырнул вниз, показывая заплатанную

крышу, похожую на голову с тонзурой, а троица была уже высоко и набирала скорость.

Тайный агент

В Летнем Домике Оберон, не успев еще сесть за стол, развинтил на ходу авторучку (правда, он плотно закрыл и запер на крючок дверь). Он вынул из ящика стола книжечку из искусственной кожи с замочком — дневник за пять лет, но не нынешний, а старый, открыл его миниатюрным ключиком, который извлек из кармана, быстро отыскал незаполненную страницу за давний мартовский день и написал: «А все-таки она вертится»[209].

Оберон имел в виду старую модель планетарной системы на самом верхнем этаже — он выглядывал оттуда в круглое окошко, когда мимо пролетала аистиха с Лайлак и миссис Андерхилл. Все убеждали его, что механизм древней модели проржавел и уже многие годы не работает. Оберон и сам потрогал колесики и рычаги и не смог стронуть их с места. И все же модель двигалась:

---

[209] Примечания: 209

«А все-таки она вертится». — Слова, приписываемые Галилео Галилею (1564–1643), которые он якобы произнес по отречении от своих взглядов перед судом инквизиции.

вначале ему только показалось, что планеты, солнце и луна за время его отсутствия поменяли положение, а затем эта идея выдержала строгую проверку. Модель двигалась: он в этом не сомневался. Или почти не сомневался.

Почему близкие его обманывали — в данный момент Оберона не заботило. Ему хотелось только утереть им нос: добыть доказательства, что модель движется, а также (это было значительно труднее, но истина становилась все более очевидной), что они все знали об этом, но намеренно скрывали от него.

Просмотрев запись и пожалев, что не может написать больше, Оберон повернул в замочке ключ и спрятал дневник в ящик. А теперь, какой бы задать вопрос, какое бы случайное замечание обронить за обедом, чтобы кто-нибудь невзначай признался? И кто это будет? Двоюродная бабушка? Нет, она слишком поднаторела в обмане, ей ничего не стоит изобразить изумление. А может, мать или отец — хотя по временам Оберону казалось, что отец имел к заговору не больше отношения, чем он сам. Пока передается по кругу блюдо с картофельным пюре, можно было бы заметить: «Медленно, но верно, как планеты в старой модели» — и посмотреть, какие у них

сделаются лица... Нет, это будет чересчур в лоб. Он задумался о том, что подадут к ужину.

В Летнем Домике почти ничто не изменилось с тех пор, как здесь жил и умер тезка Оберона. Никому было невдомек, что делать с коробками и папками, где хранились снимки, да никому и не хотелось нарушать столь тщательный на вид порядок. Так что все оставили пока по-прежнему, только починили текшую крышу и запечатали окна. Временами кому-нибудь — чаще Доку или Клауд — вспоминался домик и хранившееся там прошлое, но тревожить его они не стали, и когда тут устроился Оберон, все молча с этим согласились. Нынче это был штаб, где имелось все, что требовалось Оберону для исследований: увеличительное стекло (собственность старшего Оберона), складная рулетка и портновский сантиметр, последнее издание «Архитектуры загородных домов» и дневник, где были записаны его выводы. Оставались здесь и фотографии, которые Оберон-младший еще не начал просматривать; фотографии, которым, как в случае со старшим Обероном, было назначено стать последним звеном в изучении огромного множества двусмысленных свидетельств.

Но уверенности относительно модели пла-

нетарной системы у него не было до сих пор, а хитрости с веревочками и карандашными отметками допускали разное толкование. Глухая аллея, с таким же рядом молчаливых сфинксов, как другие, по которым ему случалось ходить. Оберон больше не отклонял назад старый стул и не жевал ожесточенно кончик ручки. Спускался вечер. Только в этом месяце вечера бывают такими гнетущими, хотя девятилетнему мальчику не приходило в голову связывать «гнетущие ощущения» с датой и временем суток, да и слов таких он не употреблял. Он чувствовал одно: работа тайного агента — не сахар, нелегко маскироваться под члена собственной семьи и втираться к ней в доверие, не задавать вопросов (этим он бы сразу себя выдал), а прикидываться, будто посвящен во все тайны, а потому не имеет смысла что-либо от него скрывать.

Раздалось воронье карканье и стало удаляться в сторону леса. Странно искаженный голос позвал Оберона к обеду. Слушая растянутые, меланхолические гласные своего имени, он чувствовал одновременно и печаль, и голод.

Терпение лопнуло

Лайлак наблюдала закат где-то еще.

— Великолепно! — сказала миссис Андерхилл. — И пугающе. Смотришь — и сердце вот-вот выпрыгнет из груди, правда?

— Но ведь все это сделано из облаков, — отозвалась Лайлак.

— Молчи, дорогая. Кое-кто может обидеться.

Вернее, все это было сделано из заката: тысяча полосатых палаток, вокруг вьется дым от оранжевых костров, полощутся знамена, тоже цветов заката; сверкнут оружием и отступят на задний план черные силуэты кавалеристов или пехотинцев; яркие мундиры офицеров, по приказу которых солдаты втаскивают темно-серые орудия на горящие багрянцем баррикады, — обширный военный лагерь. А может, большая флотилия вооруженных галеонов под парусами?

— Тысяча лет, — мрачно произнесла миссис Андерхилл. — Поражения, отступления, арьергардные бои. Больше этого не будет. Скоро... — С узловатым жезлом под мышкой она напоминала полководца; ее длинный подбородок был вскинут. — Видишь? Вот! Разве он не храбрец?

По корме расхаживал (или обходил брустверы)

человек, обремененный тяжелым грузом оружия и ответственности; ветер играл его седыми и длинными, почти до самых пят, бакенбардами. Главнокомандующий всем этим. В руке он держал жезл; закатная картина как раз переменилась, и кончик жезла загорелся огнем. Генералиссимус указал было вперед, туда, где зияли бы жерла орудий, если бы орудия были настоящими, но передумал. Он опустил жезл, и тот погас. А генералиссимус извлек из-за широкого пояса карту, развернул ее, потом сложил, спрятал и снова стал расхаживать туда-сюда тяжелой походкой.

— Жребий брошен, — пояснила миссис Андерхилл. — Больше ни шагу назад. Терпение лопнуло.

— Если вы не против, — еле слышный голос аистихи прерывался затрудненным дыханием, — спустимся немного: высота для меня слишком велика.

— Прости, — встрепенулась миссис Андерхилл. — Все, мы готовы.

— Аисты, — выдохнула аистиха, — пролетев приблизительно лигу, должны садиться.

— Только не здесь, — вмешалась Лайлак, — а то провалишься.

— Тогда вниз, — скомандовала миссис Андер-

хилл.

Со вздохом облегчения аистиха сложила свои короткие крылья и начала спускаться. Генералиссимус, опираясь руками о планшир судна (или это был бельведер?), устремил вперед орлиный взгляд, но не заметил миссис Андерхилл, которая по дороге одарила его бравым приветствием.

— Прекрасно, — сказала она. — Храбрец, каких мало, зрелище хоть куда.

— Ненастоящее, — отозвалась Лайлак. Пока они спускались, картина вновь преобразилась во что-то менее воинственное.

Черт побери эту девчонку, обозлилась про себя миссис Андерхилл. На вид совсем настоящее, не отличишь... Ну ладно. Возможно, им не стоило вверять все этому принцу: он слишком стар. Но так уж обстоят дела, думала она, мы все стары, слишком стары. Быть может, они слишком долго ждали, были чересчур долготерпеливы, слишком много их отступило от последнего фарлонга[210]? Ей оставалось только надеяться, что когда время наконец придет, орудия старого дурня не промахнутся, по крайней мере, ободрят друзей и хоть мимолетно напугают тех, в кого целили.

---

[210] Примечания: 210
Фарлонг — 201 м 17 см.

Стары, слишком стары. Впервые она чувствовала, что сомневается в результате всего этого — а ведь он не может, никак не может быть сомнительным. Ладно, скоро это кончится. Разве этот день, этот самый вечер не станет началом заключительного ночного бдения, заключительной стражи, за которой наконец последует объединение сил?

— Вот оно путешествие, которое я тебе обещала. — Миссис Андерхилл обернулась к Лайлак. — А теперь...

— Ну, — надула губы Лайлак.

— Без капризов...

— Ну-у-у...

— Нам пора спать.

Недовольная протяжная нота удивительным образом преобразилась в глотке Лайлак в нечто иное — подкравшееся, как призрак, и заставившее ее внезапно открыть рот. Рот распахивался все шире и шире — она не представляла себе, что он на такое способен, — глаза закрывались и слезились, легкие сами по себе втягивали воздух, делая долгие вдохи. Затем, так же внезапно, призрак пропал, позволив челюстям расслабиться, а груди — выпустить воздух.

Недоумевая, девочка моргнула и чмокнула

губами.

— Спать хочется, — пояснила миссис Андерхилл.

Ибо только что Лайлак впервые в жизни зевнула. За первым зевком быстро последовал второй. Она прижалась щекой к шершавому плащу миссис Андерхилл и, забыв Как-то о нежелании спать, закрыла глаза.

Явление сокрытых

Совсем маленьким Оберон начал собирать почтовые марки. Бывая вместе с Доком на почте в Медоубруке, он от нечего делать рассматривал вскользь содержимое корзинок для бумаг и наткнулся на сокровище: два конверта из мест настолько далеких, что это казалось фантастикой, и притом, несмотря на проделанный громадный путь, удивительно свежие и хрустящие.

Увлечение вскоре перешло в страсть — как у Лили с птичьими гнездами. Если кто-то отправлялся на почту, Оберон просился поехать с ним; он завладевал письмами, адресованными друзьям; его зачаровывали названия отдаленных штатов, начинавшиеся на «I», незнакомых городов, а еще больше — надписи на совсем уж редких заморских конвертах.

Однажды Джой Флауэрз, у которой внучка уже год жила за границей, подарила ему пухлый коричневый мешок, набитый письмами со всех концов мира. Трудно было найти на карте место, которое бы не значилось на тонкой голубой бумаге, склеенной в конверт. Встречались письма столь экзотические, что надписи на них были сделаны незнакомым алфавитом. Коллекция разом сделалась полной, удовольствие сошло на нет. Почта в Медоубруке не могла уже принести никаких открытий. Больше он никогда не рассматривал свои марки.

То же произошло и с фотографиями старого Оберона, когда юный Оберон обнаружил, что это не просто хроника долгой жизни большого семейства. Начав с последней — безбородого Смоки в белом костюме рядом с ванночкой для птиц (ее держали гномы, до сих пор стоявшие у двери Летнего Домика), он окинул наудачу беглым взглядом, потом с любопытством рассортировал и, наконец, жадно просмотрел тысячи больших и маленьких снимков. Его распирало от восторженного ужаса (вот, вот она тайна, явление на свет сокрытых; каждая фотография стоит тысячи слов), и он целую неделю едва разговаривал с домашними — из страха проболтаться о том,

что́ он узнал или, скорее, что́ ему (как он думал) вот-вот откроется.

Ибо, в конечном счете, фотографии ничего не открывали, так как сами нуждались в объяснениях.

«Обрати внимание на большой палец», — писал старый Оберон на обороте расплывчатого снимка с серым и черным кустарником. И действительно, в путанице вьюнка просматривалось явственное подобие большого пальца. Хорошо. Это свидетельство. Другой снимок (обратная сторона которого была помечена только восклицательными знаками) это свидетельство, однако, полностью зачеркивал: на нем была видна вся фигурка, призрачная крохотная мисс среди листвы, в юбке до пят из блестевшей росой паутины, хорошенькая, как картинка. На переднем плане, вне фокуса, виднелся взволнованный светловолосый ребенок — глядя в камеру, он указывал на миниатюрную незнакомку. Ну кто этому поверит? Кроме того, если снимок подлинный (а это невозможно, для подлинного он слишком примитивно-реален, хотя как он был состряпан — Оберон не догадывался), то зачем тогда сдался этот якобы-палец-в-кусте и тысячи ему подобных трудно различимых изображений? Когда

он рассортировал дюжину коробок, поместив в две-три из них явные фальшивки, а в другие — неразборчивые снимки, и обнаружил, что еще дюжины коробок и папок ждут своей очереди, он закрыл их все (испытывая одновременно облегчение и растерянность) и с тех пор о них почти не вспоминал.

После этого Оберон-младший ни разу не открывал также и старый дневник, куда заносил свои собственные соображения. Он вернул на место в библиотеку последнее издание «Архитектуры загородных домов». Его скромные открытия, или то, что он принимал за открытия, — модель планетарной системы, несколько любопытных оговорок, сделанных родной и двоюродной бабушками, — от которых у него прежде захватывало дух, поглотил обильный поток издевательских фотоснимков, а равно и еще более издевательских комментариев, добавленных его тезкой. Он забыл обо всем этом. Игра в тайного агента кончилась.

Да, он не был больше тайным агентом, но к тому времени так приучился искусно играть роль члена своей семьи, что постепенно сделался им в действительности. (С тайными агентами так происходит сплошь и рядом.) Тайна, не разоблачен-

ная фотографиями Оберона-старшего, пряталась (если она вообще существовала) в сердцах домашних; Оберон-младший так долго притворялся, будто знает все известное остальному семейству (утратив бдительность, они проговорятся — думал он), что и сам этому поверил, а затем — почти одновременно с наблюдениями — выбросил из головы и тайну. Домашние тоже, если и знали прежде нечто ему неведомое, благополучно об этом забыли (во всяком случае, скрывали, что помнят), и таким образом все оказались в равном положении и он не хуже других. Подсознательно он даже ощущал себя участником заговора, из которого был исключен только его отец. Смоки не знал. Он не знал даже, что им известно, что он не знает. Это, однако, не отдаляло их от Смоки, а, напротив, еще теснее привязывало. Словно бы они скрытничали отчасти для того, чтобы приготовить Смоки сюрприз. Таким образом, Оберону на некоторое время стало легче общаться с отцом.

Однако если Оберон перестал ломать голову над действиями и поступками других, свои собственные действия и поступки он по привычке продолжал держать в секрете. Часто он без всякой необходимости изобретал ложные предлоги. Он не желал, разумеется, напускать туман, даже

когда был тайным агентом: задача тайного агента прямо противоположная. Мотивом, если таковой вообще имелся, было желание представить себя другим в более мягком и ясном свете, в то время как сам он видел свою персону в туманных вспышках фонарей.

— Куда это ты спешишь, как на пожар? — спросила Оберона Дейли Элис, увидев, как он после школы стремительно запихивал в себя на кухне молоко и печенье. Этой осенью он единственный из Барнаблов все еще ходил в школу Смоки. Люси закончила учиться в прошлом году.

— Играть в бейсбол, — отозвался он с набитым ртом. — С Джоном Вулфом и теми парнями.

Ага. — Дейли Элис до половины наполнила протянутый стакан. Бог мой, как же вырос Оберон за последнее время. — Скажи Джону, пусть передаст своей матери, что я зайду послезавтра, принесу суп и кое-какие вещи и посмотрю, что ей еще требуется. — Оберон не сводил глаз с печенья у себя на тарелке. — Не знаешь, ей не стало лучше? — Оберон пожал плечами. — Тейси сказала... ну ладно. — Судя по виду Оберона, вряд ли он стал бы повторять Джону Вулфу слова Тейси о том, что его мать умирает. Возможно, он не передаст даже то немногое, что ему поручено. Однако рисковать

не стоило. — Кем ты играешь?

— Кетчером, — быстро проговорил он. — Обычно.

— Я тоже бывала кетчером. Обычно.

Медленно, задумчиво, Оберон опустил стакан на стол.

— Как ты думаешь, когда люди бывают счастливее: в одиночестве или с другими людьми?

Она отнесла его стакан и тарелку в мойку.

— Не знаю. Мне кажется... А сам ты как думаешь?

— Не знаю. Я просто задумался... — Задумался Оберон о том, был ли ответ на этот вопрос, каков бы он ни оказался, известен всем и каждому — во всяком случае, всем взрослым. — Мне, как будто, лучше с другими людьми.

— Правда? — Дейли Элис улыбнулась, но, поскольку она стояла к нему спиной, он этого не увидел. — Прекрасно. Ты экстраверт.

— Так мне кажется.

— Отлично, — мягко повторила Элис. — Надеюсь, ты не заползешь снова в свою раковину.

Засунув в карманы остатки печенья, Оберон уже устремился к двери. Он не остановился, но у него внутри внезапно открылось странное окошко. Раковина? Он прятался в раковине? И

— что еще более странно — все вокруг об этом знали? Он заглянул в это окошко и на мгновение увидел себя чужими глазами. Тем временем ноги понесли его за широкую кухонную дверь, которая недовольно скрипнула у него за спиной, через пропахшую изюмом кладовую для припасов, через длинную пустую столовую, навстречу воображаемой игре в бейсбол.

Элис, стоя у мойки, подняла взгляд, заметила влетевший в окно осенний лист и окликнула Оберона. Она услышала его шаги (нога у него росла еще быстрей, чем все прочее), подобрала со стула оставленную куртку и пошла за сыном.

От парадной двери Оберона было не видно: он успел уехать на велосипеде. Элис вновь позвала, спустилась с крыльца и только тут поняла, что впервые за день оказалась на улице, воздух свеж и безбрежен и цели у нее нет. Она огляделась. За углом дома виднелся кусочек обнесенного стеной сада. На каменном украшении ограды громоздилась ворона. Тоже озираясь по сторонам, она заметила Элис (та не припоминала, чтобы вороны — твари смелые, но осторожные — когда-либо подбирались так близко к дому), расправила тяжелые крылья и полетела к парку. *Cras*, *cras* : вот что, по словам Смоки, кричат по-латыни вороны.

Cras, cras : «завтра, завтра».

Элис двинулась вдоль садовой стены. Арочная дверца была гостеприимно открыта, но Элис не пошла внутрь. Она направилась к забавной тропке, обсаженной гортензией. Последней отводилась в свое время роль декоративного кустарника, высокого, аккуратного и кругляще-гося, как капуста, но с годами она все больше становилась просто гортензией, наступала на тропинку, которую должна была ограждать, и заслоняла вид, который должна была оттенить: две дорических колонны у начала дорожки, веду-щей на Холм. Все так же бесцельно Элис прошла тропу (где последние цветы обдали ее ливнем лепестков, похожих на поблекшие конфетти) и стала взбираться на Холм.

Слава

Оберон возвращался на велосипеде по дороге вдоль каменной стены, ограждавшей Эджвуд. Сойдя с велосипеда, он вскарабкался на стену (упавшее дерево на одной стороне и травяни-стый холмик на другой образовывали перелаз), перетащил велосипед под золотистую буковую крону, вывел его на дорожку, снова взобрался в седло, оглянулся и погнал к Летнему Домику.

Спрятал велосипед в сарае, построенном старым Обероном.

В Летнем Домике, нагретом солнечными лучами, которые падали через окна, было пусто и пыльно. На столе, где лежали прежде дневник и шпионское оборудование и где позже Оберон разбирал фотографии своего старшего тезки, высились ныне груды исписанной каракулями бумаги, шестой том Грегоровиуса («Истории Рима в Средние века»), еще несколько больших книг и карта Европы.

Оберон прочитал верхний лист, заполненный накануне:

> «Место действия — императорская палатка за Иконiумом[211]. Император сидит один в курульном кресле. На коленях у него лежит меч. На нем доспехи, но не все: те, которые он успел снять, неспешно полирует слуга. По временам он взглядывает на императора, но тот смотрит прямо перед собой и не замечает его. Император выглядит усталым».

---

[211] Примечания: 211

Иконiум (Конья) — город в Малой Азии, столица Румского султаната Сельджукидов (1077–1307). В Третьем крестовом походе (1190 г.) Фридрих Барбаросса разбил под Коньей турецкую армию.

Оберон подумал и мысленно вычеркнул последнее предложение. Он имел в виду не усталость. Усталым может выглядеть кто угодно. Император Фридрих Барбаросса[212] накануне последней битвы выглядел... как же? Оберон снял с ручки колпачок, но после краткого раздумья снова надел.

В пьесе или сценарии (его опус мог принять, в конечном итоге, как тот, так и другой вид или и вовсе обернуться романом) об императоре Фридрихе Барбароссе имелись сарацины и папские войска, сицилийские партизаны и могущественные паладины, а также принцессы. Куча романтических названий — географические пункты, где сходились в битвах толпы романтических персонажей. Но Оберон был пристрастен отнюдь не к романтическим деталям. В фокусе его внимания находился единственный персонаж, одинокая фигура в кресле, которую он застал в кратком промежутке отдыха между двумя отчаянными деяниями, измученная победой или поражением, в грубой одежде, покрывшейся пят-

[212] Примечания: 212

Фридрих Барбаросса (Barbarossa — букв. «краснобородый») (ок. 1125–1190) — германский король с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155-го. Самые яркие эпизоды его биографии регулярно возникают в романе.

нами на поле боя и от долгой носки. Главным был его взгляд: холодный, оценивающий, чуждый иллюзиям взгляд человека, который понял, что успех невероятен, но не действовать невозможно. К погоде он был безразличен. По словам Оберона, состояние природы было подобно ему самому: суровость, безразличие, отсутствие тепла. Вокруг было пусто, если не считать отдаленную башню (тоже похожую на императора) и, быть может, укутанного в плащ всадника на горизонте — гонца с новостями.

Оберон присвоил этой картине имя: Слава. Совпадает ли она с тем, что обычно разумеют под Славой, его не волновало[213]. Он так никогда и не понял до конца, что, собственно, не поделили Папа и Барбаросса[214]. Если бы кто-нибудь спросил

---

[213] Примечания: 213

Оберон присвоил этой картине имя: Слава. Совпадает ли она с тем, что обычно разумеют под Славой, его не волновало. — Ср. диалог из «Зазеркалья» (гл. VI):

> — ...Вот тебе и слава!
> — Я не понимаю, при чем здесь «слава»? — спросила Алиса.
> Шалтай-Болтай презрительно улыбнулся.
> — И не поймешь, пока я тебе не объясню, — ответил он. — Я хотел сказать: «Разъяснил, как по полкам разложил!»
> — Но «слава» совсем не значит: «разъяснил, как по полкам разложил»! — возразила Алиса.
> — Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, — сказал Шалтай презрительно...
>
> ***(Перевод Н. Демуровой)***

[214] Примечания: 214

...что, собственно, не поделили Папа и Барбаросса. — После своего избрания императором Барбаросса направил Папе Римскому Евгению III послание, в котором утверждал, что власть получил от Бога и посему папский престол не может вмешиваться в светские дела. Впоследствии (1160) Фридрих объявил неугодного ему Папу Александра III низложенным и выдвинул своего претендента — антипапу Виктора IV; Александр III в ответ отлучил Барбароссу от Церкви, и примирились они лишь годы спустя (1176).

Оберона (спросить, правда, было некому: проект был начат как секретный и спустя годы бумаги были так же тайно сожжены), чем его привлек именно этот император, он не сумел бы дать ответ. Резкий звон имени. Образ его — старого, в доспехах и на коне — в последнем неудавшемся Крестовом походе (с точки зрения юного Оберона, все Крестовые походы были неудавшимися). И потом, на безымянной реке в Армении[215]: боевая лошадь оступается на середине брода и императора, в вооружении, уносит поток. Слава.

«Вид у императора не то чтобы усталый, но...»

Оберон ожесточенно вычеркнул это и снова закрыл ручку колпачком. Его грандиозные планы живописания истории внезапно навалились на него невыносимой тяжестью, и от невозможности с кем-либо их разделить он чуть не заплакал.

Надеюсь, ты не заползешь снова в свою раковину.

Но он так старался, чтобы раковина выглядела как он сам. Думал всех обмануть, но они не поддались.

Солнце по-прежнему бросало в окна мощные блоки света, где плавали золотистые пылинки,

---

[215] Примечания: 215

И потом, на безымянной реке в Армении... — Барбаросса утонул в реке Селиф.

однако начало холодать. Оберон спрятал ручку. Позади, на полках, глядели ему в затылок коробки и папки старого Оберона. Неужели так будет всегда? Вечная раковина, вечные секреты? Его собственные секреты отдаляли его от остальных ничуть не меньше, чем их возможные тайны. Ему хотелось одного: быть тем Барбароссой, которого нарисовало его воображение. Без смут и иллюзий, без постыдных секретов; иногда свирепым, возможно — ожесточившимся, но насквозь цельным.

Он поежился. Куда, интересно, подевалась куртка?

Еще не время

Его мать натягивала ее себе на плечи, пока карабкалась вверх по склону холма и думала: кто играет в бейсбол по такой погоде? Молодые клены вдоль дорожки, сдавшиеся первыми, уже загорелись багрянцем рядом с еще зелеными сестрами и братьями. Такая погода подходит, наверное, для футбола или европейского футбола? Экстраверт, подумала она, улыбнулась и покачала головой: приветливость, улыбчивость. Боже мой... С тех пор как дети перестали расти не по дням, а по часам, для Дейли Элис ускорилась

смена времен года: прежде от весны к осени дети менялись неузнаваемо, столь многое успевали они, смеясь и плача, узнать и перечувствовать за бесконечно протяженное лето. Приход этой осени она едва заметила. Быть может, оттого, что ей теперь приходилось собирать в школу только одного ребенка. И еще Смоки. Почти нечего делать осенним утром: приготовить один завтрак, выгнать из ванной к столу одно сонное тело, найти одну связку книг и одну пару ботинок.

И все же, взбираясь на холм, она ощущала на себе бремя важнейших обязанностей.

Слегка запыхавшись, Элис добралась до каменного стола на вершине и села рядом на каменную скамью. Под столом она заметила полусгнивший предмет, грязный и жалкий. Это была хорошенькая соломенная шляпка, которую Люси потеряла в июне и все лето оплакивала. Заметив ее, Элис остро ощутила уязвимость детей, их беспомощность перед потерями, болью, незнанием. Она мысленно произнесла по порядку их имена: Тейси, Лили, Люси, Оберон. Они звучали, как колокольчики разного тона, одни более чисто, другие менее, но стоило дернуть — и каждый откликался. У них было все прекрасно; так она всегда отвечала на вопрос миссис Вулф или

Мардж Джунипер о том, как дела у детей: «Прекрасно». Нет, обязанности, призвавшие ее сюда (сидя под солнцем и оглядывая широкую панораму, она еще сильней ощутила озабоченность), не имели отношения к детям, и к Смоки тоже. Как-то они были связаны с оставшейся позади дорожкой, с обдуваемой ветрами вершиной, с небосклоном, где проносились клочья серо-белых облаков, — со всей этой ранней осенью, полной (как ни странно, осенью иначе не бывает) надежд и ожиданий.

Чувство было сильным, оно словно затягивало или уносило с собой. Под его властью Элис сидела неподвижно, удивленная и немного испуганная, ожидая, что оно вот-вот пройдет, как ощущение *déjà vu*. Но чувство не проходило.

— Что? — спросила она день. — Что это?

Немой день не мог ничего сказать, но он, как будто, ответил жестом, фамильярно потянув ее за руку, словно с кем-то спутав. Казалось (и казалось упорно), что день готовится обернуться на ее оклик, словно бы все это время она видела его с оборотной стороны (и не только его, а все вещи и всегда), а теперь перед ней откроется его истинный облик. Но заговорить он все же не мог.

— Ох, что это, — безотчетно произнесла Дейли

Элис.

Она чувствовала, что полностью растворяется в пейзаже, но в то же время обретает власть, дабы всеобъемлюще им повелевать; достаточно легка, чтобы летать, но одновременно так тяжела, что сиденьем ей служит не каменная скамья, а весь каменный костяк холма; она испытывает благоговейный ужас, но почему-то не удивляется, начиная понимать, что от нее требуется, к чему она призвана.

— Нет, — отозвалась она, — нет, — повторила она мягко, как будто обращалась к чужому ребенку, который по ошибке взял ее за руку или потянул за край платья и, принимая ее за свою мать, пытливо заглянул ей в лицо. — Нет.

— Отвернись, — сказала Элис дню, и он повиновался.

— Еще не время, — сказала она и снова тронула колокольчики детских имен. Тейси Лили Люси Оберон. Смоки. Слишком много, еще слишком много у нее дел. И все же наступит однажды время, когда, сколько бы ни оставалось у нее дел, как бы ни умножились или, наоборот, уменьшились ее домашние обязанности, она уже не сможет больше отказываться. Она не имела ничего против и не боялась, хотя подозревала, что

испугается, когда придет время, но отказаться все же не сможет... Просто поразительно, что расти можно бесконечно. Не один и не два года назад Элис думала, что достигла уже гигантских размеров и больше расти не будет, а ведь это она еще и не начинала. Однако: — Еще не время, не время, — твердила она, и день отворачивал лицо, — у меня еще куча дел, пожалуйста, не сейчас.

Черный Ворон (или кто-то очень на него похожий), невидимый вдалеке среди поворачивающихся деревьев, издал, направляясь восвояси, обычный клич:

Cras. Cras.

Глава вторая

Блаженство буйное, сверх правил иль искусства.

***Мильтон*[216]**

Во взрослении дочерей Смоки нравилось то, что они, хотя и отдалялись от него, не перестали (как ему казалось) его любить и не считали занудой, а просто освобождали в своей жизни место для роста. Когда они были малютками, их жизни и заботы — кролики и музыка Тейси, птичьи гнезда и ухажеры Лили, безалаберность Люси — целиком вмещались в пределы его жизни и делали ее полной. По мере их роста вверх и вширь места требовалось больше; заботы их множились, требовалось пространство для их возлюбленных, а

---

[216] Примечания: 216

Блаженство буйное, сверх правил иль искусства. — Эпиграф взят из описания райских кущей в пятой книге поэмы *Джона Мильтона* (1608–1674) «Потерянный Рай» (1667). В переводе Аркадия Штейнберга здесь:

Природа, в юной щедрости своей,
Воображенью девственному дав
Свободу, прихотливо создала
Обилье роскоши, превосходя
Великолепьем диким чудеса,
Что созданы по правилам искусства.

потом и детей; чтобы вместить всех, ему приходилось расширяться, и он делал это, и с их жизнями росла и его жизнь; он чувствовал, что они так же близки ему, как раньше, и это ему нравилось. А не нравилось ему в их взрослении то же самое: оно принуждало его расти, расширяться, иной раз перешагивая границы характера, которым за годы окружила себя его личность как оболочкой.

Ворочаешься с боку на бок

Когда Смоки обзавелся потомством, обнаружилось, каким большим преимуществом было его безличное детство. Дети могли делать из него все, что им было угодно: могли считать его добрым или строгим, уклончивым или искренним, веселым или хмурым — по потребностям собственного темперамента. Ему очень нравилось быть Универсальным отцом. Ему было известно все, он мог бы поручиться (хотя не имел доказательств), что слышал от собственных дочерей больше важных, постыдных или веселых секретов, чем слышит большинство отцов. Но даже его гибкости существовал предел. Со временем Смоки терял растяжимость, характер, в нем воплотившийся, укреплялся, и если поступки и высказывания Младших были ему непонятны

или приходились не по вкусу, он уже не мог об этом не думать.

Именно это, вероятно, происходило между ним и его младшим ребенком, его сыном Обероном. Несомненно, думая о нем, Смоки чаще всего испытывал раздраженное недоумение, а также печаль, поскольку видел пропасть, почему-то отделившую их друг от друга. Каждый раз, когда Смоки собирался с духом, чтобы выяснить умонастроение своего сына, тот уходил в глухую, искусно выстроенную оборону, с какой Смоки — по прежнему опыту — не умел, да и скучал сражаться. С другой стороны, стоило Оберону сделать шаг навстречу отцу, тот всякий раз невольно принимал позу заурядного папаши, грубовато-добродушного и ни о чем не ведающего, и сын тут же замыкался вновь. С годами положение не выправлялось, а делалось все хуже, и потому Смоки, хотя и хмурился и недовольно тряс головой, отпуская наконец сына в Город, на поиски таинственных приключений, втайне все же облегченно вздохнул.

Может, если бы они чаще играли в бейсбол... Уходили вдвоем на улицу солнечным днем и перебрасывались мячиком. Сам Смоки играл в бейсбол плохо и без удовольствия, но знал, что

Оберон любит эту игру.

Несостоятельность этой мысли заставила его рассмеяться. Как раз первое, что приходит в голову человеку с таким характером, когда он не способен понять своих детей. Правда, им могла руководить надежда, что общее занятие станет тем мостиком, который объединит их с сыном. Что касается дочерей, то между ними и им как будто не существовало большого разрыва. Так ему казалось, но эта пропасть могла ведь прятаться за какой-то странностью их повседневной жизни. Странно было, например, взрослеть сегодня вместе с отцом, который повзрослел уже вчера или позавчера.

Ни одна из его дочерей не вышла замуж, и, похоже, ни одна и не собиралась, хотя у Смоки было уже два внука, близнецы Лили, да и Тейси вроде бы носила ребенка от Тони Бака. Смоки не был большим приверженцем брачных уз, при том что не мыслил себе жизни без своей собственной семьи, каким бы странным этот брак ни оказался. Что касается верности, то об этом ему следовало помалкивать. Но Смоки огорчало, что его потомство вырастет как бы безродным. Если так пойдет дальше, о его внуках будут говорить как о скаковых лошадях: такой-то от таких-то. И он

не мог не думать, что без такого прикрытия, как брак, отношения его дочерей с их любовниками представляются уж очень непристойно-откровенными. Или, скорее, эта мысль диктовалась укрепившимся в нем характером. Сам Смоки вовсю приветствовал их храбрость и дерзость и не стыдился восхищаться их сексуальностью, не меньше чем красотой. Как ни крути, они ведь уже большие. И все же... Ну ладно, Смоки надеялся, что дочери не обижаются на отдельные взбрыки его характера, на то, к примеру, как он отказался навестить Тейси и как-бишь-его, когда они поселились в пещере. В пещере! Его дети вознамерились, казалось, повторить в собственных жизнях всю историю рода человеческого. Люси собирала лекарственные травы, Лили читала по звездам, вешала своим детям на шею кораллы, чтобы отвратить зло; Оберон отправился с рюкзаком за плечами искать счастья. Тейси у себя в пещере открыла огонь. Как раз когда электричество во всем мире вот-вот иссякнет. Тут он прислушался к часам, пробившим четверть, и подумал, не пойти ли вниз выключить генератор.

Смоки зевнул. В кружке света под единственной в библиотеке лампой ему было уютно, и уходить не хотелось. У его стула громоздилась

груда книг, из которых он отбирал нужные для школы. Старые за многие годы сделались противными на вид и на ощупь и надоели хуже горькой редьки. Еще одни часы пробили час, но Смоки им не поверил. Снаружи, в коридоре, промелькнуло со свечой в руке привычное ночное видение: Софи, которая все еще не ложилась.

Она ушла (Смоки наблюдал игру теней на стенах, вспышки света на мебели), потом вернулась.

— Ты до сих пор не спишь? — проговорила она, и он одновременно задал ей тот же вопрос.

— Ужасно. — Она подошла ближе. Длинная белая ночная рубашка делала ее еще более похожей на блуждающего духа. — Ворочаешься с боку на бок. Знаешь это чувство? Как будто мозг спит, а тело — нет. Не хочет успокаиваться и никак не найдет себе место...

— Будит тебя и будит...

— Да, и голова как бы не может погрузиться в нормальный сон. Тоже никак не успокоится, все время просыпается, повторяет один и тот же сон или обрывок сна — а дальше ничего...

— Перебирает без конца одну и ту же чушь, пока ты не махнешь рукой и не встанешь...

— Да, да! Такое чувство, будто лежишь часами,

стараешься заснуть, но не спишь совсем. Правда, ужасно?

— Ужасно. — Сам себе не признаваясь, Смоки чувствовал, что это справедливо: Софи, в прежнее время чемпион по сну, недавно начала страдать бессонницей и теперь лучше Смоки (который и в более благополучные времена засыпал с трудом) знала, что такое не находить ночью забвенья. — Какао, — сказал он. — Теплое молоко. С капелькой бренди. И прочитать на ночь молитвы. — Эти советы он повторял не впервые.

Она опустилась на колени у его стула, натянула рубашку на голые ступни и прижалась головой к его бедру.

— Знаешь, о чем я подумала, когда вроде бы немного успокоилась — ну, перестала ворочаться? Подумала: ей, должно быть, холодно.

— Ей? — спросил он. Но потом добавил: — Ну да.

— Ну не бред ли? Если она жива, ей вряд ли холодно, а если — если не жива...

— М-м.

Конечно же, была еще и Лайлак. Он с таким самодовольством думал о том, как хорошо понимает своих дочерей и как они его любят, и только сын Оберон — единственная песчинка

в раковине, но есть и еще одна дочь; его жизнь необычней, чем ему часто кажется; Лайлак вносит в нее ноту тайны и горя, о которых он иногда забывает. Но Софи не забывает никогда.

— Знаешь, что забавно? Несколько лет назад я постоянно представляла себе, как она растет. Знала, что она становится старше. Чувствовала. Знала в точности, как она выглядит и как будет выглядеть, когда еще вырастет. А потом это прекратилось. Ей исполнилось, наверное... девять или десять. Более взрослой я ее не могла себе вообразить.

Смоки промолчал, только нежно погладил Софи по голове.

— Теперь ей было бы двадцать два. Подумай об этом.

Он подумал. Двадцать два года назад он поклялся жене, что признает своим ребенка ее сестры и возьмет на себя всю ответственность. Исчезновение Лайлак ничего в этом не переменило, но обязанностей у него не осталось. Он не придумал, как искать настоящую Лайлак, когда ему сказали наконец, что она пропала. Софи скрыла от него, как от всех прочих, жуткую историю с фальшивой Лайлак. Как она закончилась, он так и не узнал: Софи на день уехала, а когда вернулась, Лайлак не

было, ни фальшивой, ни настоящей. Софи легла в постель, облако над домом рассеялось, и в него вошла печаль. Вот и все. Смоки не полагалось ни о чем спрашивать.

Легко сказать. Потребовалось большое искусство, чтобы не спрашивать. Смоки овладел им в совершенстве, как владеют своим мастерством хирург или поэт. Слушать, кивать; выполнять указания и делать вид, что понимаешь; не спорить, не давать советов, разве что самые безобидные, дабы продемонстрировать заинтересованность; решать загадки. Гладить Софи по голове и не посягать на ее печаль; думать про себя, как она справляется с такой жизнью, с таким горем на сердце, и ни о чем не спрашивать.

Однако если уж на то пошло, три остальные его дочери представляли для него не меньшую загадку, чем четвертая, но, правда, не такую грустную. Как умудрился он породить этих цариц воздуха и тьмы?[217] А также и его жена, но только он так давно (с медового месяца, со дня свадьбы) пре-

---

[217] Примечания: 217

...цариц воздуха и тьмы? — «Царица ветров и тьмы» — строка из стихотворения английского поэта Альфреда Хаусмена (1859–1936) «Ослабели чары...» (1922); баллада описывает не то фейри, не то земную женщину, власть которой сбрасывает герой. Т. Х. Уайт во втором романе тетралогии «Король Былого и Грядущего» (1958) назвал так королеву-ведьму Моргаузу, а Пол Андерсон (1926–2001) — саму королеву фейри (повесть «Царица ветров и тьмы», 1971).

кратил ее спрашивать, что теперь она являлась не большей (и не меньшей) тайной, чем облака, камни и розы. Если уж на то пошло, единственным человеком, которого он начал понимать (и критиковать, и изучать, и пытаться оказывать на него влияние), был его единственный сын.

— Чем бы ты это объяснил? — спросила Софи.

— Что именно?

— То, что я не могу вообразить ее взрослой?

— Хм. Ей-богу, не знаю.

Она вздохнула, и Смоки погладил ее по голове, перебирая локоны. Они никогда по-настоящему не поседеют: поблекшие, они все еще выглядели золотыми. Софи не принадлежала к тем старым незамужним теткам, чья невостребованная красота засыхает, как цветок меж страниц книги: прежде всего, она не была старой девой. Казалось, Софи никогда не перерастет юности и не сделается особой зрелых лет. Дейли Элис, которой почти сравнялось пятьдесят (бог мой, полсотни), выглядела как положено, словно бы сбросила, одну за другой, оболочку детства, юности и вышла целиком такой, какая есть. Софи можно было принять за шестнадцатилетнюю девочку, обремененную почему-то (можно сказать, незаслуженно) грузом ненужных лет. Смоки задался вопросом, кого

из них, за все годы, он чаще признавал про себя более красивой.

— Может, тебе требуется другое Занятие, — произнес он.

— Никакой другой Интерес мне не требуется. Что мне требуется, так это сон.

В свое время, когда Софи с неприятным удивлением обнаружила, что в сутках, если они не заполнены наполовину сном, очень много часов, Смоки указал ей на других людей, чей досуг занят какими-либо Интересами, и предложил последовать их примеру. От отчаяния она послушалась совета. В первую очередь, разумеется, она бралась за карты, в остальное время ухаживала за садом, ходила в гости, делала консервы, дюжинами читала книги, чинила все, что ломалось в доме, и не переставала возмущаться, что эти Интересы навязаны ей вместо ее потерянного (почему? ну почему же?) сладкого сна. Она беспокойно завертела головой, словно бедро Смоки было ее неудобной подушкой. Потом подняла глаза:

— Не ляжешь ли спать со мною вместе? Я имею в виду сон.

— Давай приготовим какао, — отозвался Смоки.

Софи встала.

— Это нечестно, — сказала она, уперев взгляд в потолок. — Все они там, наверху, спят сном младенцев, а я должна слоняться по дому, как привидение.

Но на самом деле, кроме Смоки, который со свечой в руках возглавил шествие в кухню, бодрствовала Мамди (пробудившись как раз из-за артрита, она раздумывала, что будет менее больно: встать и принять аспирин или махнуть рукой и терпеть); Тейси и Люси не ложились вовсе, а спокойно беседовали при свечах о любовниках, друзьях и семье, о судьбе брата и о недостатках и достоинствах отсутствовавшей сестры — Лили. Проснулись и близнецы Лили: один намочил постель, другой стало мокро. Из-за них вот-вот должна была пробудиться и Лили. Единственной спящей в доме была Дейли Элис, лежавшая на животе, утопив голову в перьевых подушках. Ей снился холм, где стояли в обнимку дуб и терновник.

Негра

Однажды зимой Сильвия отправилась навестить свой старый дом, где она не жила с тех пор, как ее мать отправилась обратно на Остров и сбыла Сильвию на руки теткам. Она росла в меб-

лированной комнате в конце улицы, с матерью, братом (сыном матери), бабушкой и случайным гостем, и тут же выросла Как-то Судьба, которая привела ее сегодня обратно на замусоренные улицы. Хотя они находились в нескольких остановках метро от Ветхозаветной Фермы, казалось, это совсем другая, далекая страна. Город был так плотен, что мог содержать в себе множество стран, расположенных бок о бок. Имелись и такие, где Сильвия никогда не была; их староголландские и причудливые деревенские названия звучали экзотично и будили воображение. Но эти кварталы были ей известны. Засунув руки в карманы старой черной шубки, в двух парах носков, она шагала по улицам, которые часто посещала в снах, и убеждалась, что здесь почти нет перемен. Все сохранилось, словно бы в памяти: бросающиеся в глаза детали, по которым она ориентировалась в детстве, большей частью уцелели. Кондитерская, евангелическая церковь, где пели гимны женщины с усиками и пудреными лицами, жалкая бакалейная лавка, торговавшая в долг, жуткая и темная *notária*[218]. Пользуясь этими ориентирами, Сильвия нашла дом, где жи-

[218] Примечания: 218
Нотариальная контора (исп.).

ла женщина, звавшаяся Негра. Он помнился ей не таким маленьким и грязным, в темных парадных сильнее пахло мочой, но это был тот самый дом, и ее сердце от страха забилось сильнее, когда она попыталась определить, где была нужная дверь. Пока Сильвия взбиралась по лестнице, в одной из квартир неожиданно разразилась семейная ссора, сопровождавшаяся музыкой *jíbaro*[219]: кричали муж, жена, свекровь, плакали дети. Муж был пьян и напивался все больше, жена бранила его, свекровь — жену, музыка пела о любви. Сильвия спросила, как найти жилище Негры. Все, кроме радио, внезапно смолкли и, разглядывая Сильвию, указали вверх. Бросив «спасибо», она пошла по лестнице; хорошо слаженный секстет у нее за спиной зазвучал вновь.

Из-за усаженной замками двери Негра подвергла Сильвию допросу, ибо, несмотря на свое могущество, не смогла определить, кто пришел. Сильвия вспомнила, что Негра знала ее только под детским уменьшительным именем, и назвалась им. После ошеломленного молчания (Сильвия почувствовала это через дверь) заскрипели запоры.

---

[219] Примечания: 219
Деревенский (исп.); здесь в знач. сущ.: пуэрториканский танец.

— Я думала, ты уехала, — произнесла черная женщина, вытаращив глаза. Углы ее рта были удивленно-боязливо опущены.

— Верно, уехала. Не один год назад.

— Я имела в виду — далеко. Далеко-далеко.

— Нет, — помотала головой Сильвия, — не так уж далеко.

Сильвия и сама была поражена видом собеседницы, которая сделалась гораздо ниже и потому уже не внушала такого трепета, как прежде. Поседевшие волосы походили на стальную проволоку. Однако квартира, куда Негра, отступив в сторону, дала наконец доступ, была все той же. Главным образом, это был запах, а вернее, смесь запахов: она возродила испытанные здесь некогда испуг и удивление, словно бы они входили в ее состав.

— *Tití*, — проговорила Сильвия, трогая за руку старую женщину (та, все так же молча, мерила ее изумленным взглядом). — *Tití*, мне нужна помощь.

— Да, — отозвалась Негра. — Все, что угодно.

Но Сильвия, оглядывая крохотную квартирку, уже не чувствовала той же уверенности, что час назад, относительно того, какая именно помощь ей требуется.

— Ну и ну, все как прежде.

В комнате имелся комод, оформленный как составной алтарь, со щербатыми статуэтками черной св. Варвары[220] и черного Мартэна де Порре[221]; перед ними стояли зажженные красные свечи, а снизу была постелена кружевная пластиковая скатерть; Пресвятая Дева на картинке изливала благословения, которые, превращаясь в розы, падали в море цвета газового пламени. На другой стене висела картинка с Ангелом-Хранителем — такая же (странное совпадение), как в кухне у Джорджа Мауса: опасный мост, двое детей, могучий ангел следит, чтобы они не упали.

— Кто это? — спросила Сильвия.

Между святыми, перед рукой-талисманом, она увидела картинку, окутанную черным шелком, — рядом с ней тоже слабо горела свеча.

— Иди, иди, садись, — зачастила Негра. — Я не наказываю ее, не думай. Ничего подобного я и в

---

[220] Примечания: 220

Черная св. Варвара — другое имя Эрзули Дантор, покровительницы изнасилованных женщин и новопосвященных жрецов и жриц культа вуду.

[221] Примечания: 221

Мартэн де Порре (1579–1639) — сын испанского дворянина и негритянки-вольноотпущенницы. Родился и всю жизнь провел в Перу, вступил в орден доминиканцев, прославился благочестивой жизнью и благотворительностью. Основал сиротский приют и детскую больницу в Лиме. Беатизирован (провозглашен блаженным) в 1873 году, канонизирован в 1963 году, став первым черным американским святым.

мыслях не держала.

Сильвия решила, что расспрашивать больше не стоит.

— А-а, я тут кое-что принесла.

Она достала мешок с фруктами, *dulces*[222] и толикой кофе, который выпросила у Джорджа (он ухитрялся раздобыть кофе, когда никто другой не мог), поскольку помнила, с каким наслаждением пила этот напиток, выбеленный и сладкий, ее тетка.

Негра рассыпалась в благодарностях и начала вести себя непринужденней. После того как она ради предосторожности взяла с комода стакан воды, предназначенный для ловли злых духов, с шумом вылила воду в туалет и поставила стакан на место, женщины сварили кофе и принялись толковать о былых днях. Сильвия от волнения тараторила как трещотка.

— Я слышала о твоей матери, — сказала Негра. — Она звонила издалека. Не мне. Но я слышала. И об отце.

— Он мне не отец, — отмахнулась Сильвия.

— А как же...

— Просто тип, за которого вышла моя мать.

---

[222] Примечания: 222
Сладости (исп.).

— Она улыбнулась тетке. — У меня нет отца.

— *Ay, bendita*[223].

— Непорочное зачатие, спроси мою мать. — Сильвия хлопнула рукой по своему рту, произнесшему богохульство, но, не удержавшись, хохотнула.

Они сели пить кофе и есть dulces, и Сильвия рассказала тетке, зачем пришла: отделаться от Судьбы, которую Негра некогда прочла в картах и на ее детской ладони; удалить эту Судьбу, как гнилой зуб.

— Послушай, я встретила этого человека, — произнесла Сильвия, внезапно устыдившись тепла, наполнявшего ее сердце. — Я его люблю и...

— Он богат?

— Не знаю. Вроде бы он из богатой семьи.

— Тогда, — произнесла тетка, — может быть, он и есть Судьба.

— Ай, *tití*, — фыркнула Сильвия. — Он не так богат...

— Что ж...

— Но я люблю его. И не хочу, чтобы какая-то там Судьба вмешалась и нас разлучила.

— Ай, нет. Куда же она денется? Если оставит

---

[223] Примечания: 223
Ах ты, господи (исп.).

тебя.

— Не знаю. Нельзя ли нам просто ее отбросить?

Негра медленно покачала головой и выпучила глаза. Внезапно Сильвия оробела и одновременно почувствовала себя дурочкой. Не проще ли было бы взять да и перестать верить, что ей предписана какая-то судьба, или же поверить, что любовь — это самая высокая судьба, какой можно желать и какую можно иметь, и любовь она как раз и имеет? Что, если чары и зелья не отвратят судьбу, а добавят в нее горечи и кислоты, а также сгубят любовь...

— Не знаю, не знаю, — повторила Сильвия. — Мне известно одно: я люблю его, и этого достаточно. Я хочу быть с ним, хочу заботиться о нем, готовить ему рис и бобы, иметь от него детей и... чтобы это длилось и длилось.

— Я сделаю, о чем ты просишь, — проговорила Негра низким, непохожим на ее обычный, голосом. — Все, что тебе угодно.

Сильвия взглянула на нее, чувствуя, как по позвоночнику поднимается *frisson*[224] ужасной магии. Старая негритянка безвольно откинулась

---

[224] Примечания: 224
Дрожь, озноб (фр.).

на спинку стула, глаза ее были устремлены на Сильвию, но как будто ее не видели.

— Ладно, — начала Сильвия, колеблясь. — Правда, похоже на то время, когда ты пришла к нам домой, загнала злых духов в кокосовый орех и выкатила его за дверь? И через коридор наружу, на свалку? — Сильвия рассказывала эту историю Оберону и хохотала до колик, но здесь она не казалась такой уж смешной. — *Titi*?

Но тетка, хотя все это время не вставала с пластикового кресла, была уже не здесь.

Нет, Судьбу нельзя было загнать в кокос, для этого она была слишком тяжеловесной; нельзя было также оттереть маслом или смыть в травяной ванне — поскольку она проникла вглубь. Чтобы выполнить требование Сильви, Негра должна была (если ее старое сердце это выдержит) вытянуть наружу ее Судьбу и проглотить. Прежде всего, где она? Негра осторожными шагами приблизилась к сердцу Сильвии. Большую часть этих дверей она знала: любовь, деньги, здоровье, дети. Но тот приоткрытый портал был ей неизвестен. «*Bueno, bueno*»[225], пробормотала она, отчаянно боясь оказаться на пути у выпу-

[225] Примечания: 225
Хорошо, хорошо (исп.).

щенной наружу Судьбы Сильвии: это грозило смертью или увечьем ничуть не лучше смерти. Ее духи-проводники, когда Негра обернулась на них посмотреть, в ужасе бежали. И все же требование Сильвии нужно было выполнить. Она коснулась двери и начала открывать ее — по ту сторону виднелся ясный день, шумел ветер, звучали голоса.

— Нет! — выкрикнула Сильвия. — Нет, нет, нет, я была не права, не делай этого!

Портал захлопнулся. С мучительным головокружением Негра свалилась обратно в кресло. Сильвия трясла ее за плечи.

— Беру ее обратно, беру обратно! — кричала Сильвия. Но Судьба не успела ее покинуть.

Немного успокоившись, Негра похлопала себя по вздымавшейся груди.

— Никогда так больше не делай, дитя. — Ее покинули силы от облегчения: хорошо еще, что Сильвия не промедлила. — Ты кого-нибудь убьешь.

— Прости, прости ради бога, но это была большая ошибка.

— Отдыхай, отдыхай. — Негра, не пошевелившись в своем кресле, наблюдала, как одевается Сильвия. — Отдохни.

Но Сильвия хотела поскорей выбраться из ком-

наты, где мощные потоки *brujeria* играли вокруг нее подобно молниям. Она горько раскаивалась в предпринятом шаге, едва осмеливаясь надеяться, что ее глупость не обернется против Судьбы, что Судьба не испортится, вообще останется нетронутой. Ну что бы не оставить ее спать с миром, никого не беспокоить? Чувствуя виноватое биение своего отягощенного сердца, Сильвия трясущимися пальцами вынула кошелек. За эту безумную выходку, предвидела она, придется еще платить и платить.

Негра отшатнулась от предложенных денег, как от змеи. Если бы Сильвия протянула ей золотые монеты, чудодейственные травы или медальон, книгу тайн, Негра бы взяла: она выдержала испытание и заслужила награду. Но это были грязные торгашеские деньги, прошедшие через тысячи рук.

Мчась по улице, Сильвия думала: со мной все в порядке, со мной все в порядке — и надеялась, что так оно и есть. Разумеется, она могла бы отделаться от своей Судьбы, как могла бы, например, отрезать себе нос. Но нет, судьба окончательно осталась при ней, висела привычным грузом и пусть сама по себе не радовала, но все же никуда не девалась, и это было отрадно. Хотя она по-

прежнему мало что знала о своей Судьбе, но, пока Негра входила в ее душу, ей открылась одна важная вещь, и поэтому Сильвия спешила теперь изо всех сил на железнодорожную станцию, чтобы поскорей отправиться в центр города. А именно ей открылось, что, какова бы ни была ее Судьба, Оберон в ней присутствовал. Иной Судьбы, без него, она бы, конечно же, не желала.

До сих пор не придя окончательно в себя, Негра тяжело поднялась с кресла. Неужели это была Сильвия? Она не могла явиться сюда во плоти, разве что все расчеты Негры оказались неверны, и, тем не менее, на столе лежали принесенные ею фрукты и остатки *dulces*.

Если это она побывала здесь только что, то кто же долгие годы помогал Негре в ее молитвах и чародействе? Если она до сих пор оставалась здесь, обитала, непреображенная, в том же Городе, что и Негра, как она могла, откликаясь на ее заклинания, исцелять, открывать истину, сводить влюбленных?

Негра подошла к комоду и совлекла кусок черного шелка с центрального образа в алтаре духов. Она не удивилась бы, увидев, что он исчез, но он остался на месте: старая, в трещинах, фотография комнаты, очень похожей на ту, где Негра сейчас

находилась. Праздновался день рождения, и перед тарелкой с тортом сидела (наверняка на толстой телефонной книге) смуглая худая девочка с бумажной короной на голове. Ее большие глаза смотрели властно и удивительно мудро.

Неужели Негра настолько состарилась, что не может отличить духа от живого человека, потустороннего гостя от обычного? А если это так, что будет с ее практикой?

Негра зажгла новую свечу и вставила в красный стеклянный подсвечник перед фотографией.

«Седьмой святой»

Много лет назад Джордж Маус демонстрировал город отцу Оберона, помогая ему сделаться городским человеком; теперь Сильвия оказывала ту же услугу Оберону. Но это был уже другой город. Те просчеты, которые рано или поздно всплывают в самых дальновидно составленных человеческих планах, необъяснимые, но Как-то неизбежные провалы многочисленных людских замыслов нигде не проявили себя так наглядно, как в Городе, с последствиями в виде боли и гнева — стойкого гнева, которого не видел Смоки, Оберон же, напротив, замечал едва ли не каждый раз, заглядывая в очередное лицо Города.

Ибо Город, еще больше, чем страна, жил Переменами: быстрыми, безжалостными, всегда к лучшему. Перемены были кровью, наполнявшей вены города, они оживляли мечты горожан, бродили в членах «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста», наполняя их силой, они были очагом, на котором булькали богатство, деловая суета и довольство. Однако тот Город, который застал Оберон, успел сбавить темп. Приливы моды сделались не столь бурными, валы инициативы опали в тихой лагуне. Постоянная депрессия, которую, несмотря на все усилия, не мог одолеть «Клуб охотников и рыболовов с Шумного моста», началась с этого истирания механизма, с непривычной неповоротливости и тугодумия самого́ большого Города, а далее сонное оцепенение, подобно медленным кругам ряби на воде, распространилось постепенно на всю республику. Серьезные обновления в Городе прекратились (мелкие продолжались столь же регулярно и бессмысленно, как раньше); Город, который знал Смоки, сделался сам на себя непохож, и перемена заключалась в том, что он перестал изменяться.

Сильвия насобирала для Оберона из громады состарившихся зданий город, резко отличный от того, который Джордж построил для Смоки.

Землевладелец (пусть странный), а к тому же — со стороны деда — член одной из тех городских фамилий, что служили мотором перемен, Джордж Маус ощущал упадок своего любимого Яблока[226] и временами грустил, а иногда и негодовал. Сильвия, однако, происходила из другого слоя, относившегося во времена Смоки к темной изнанке роскошной мечты; теперь же он (все еще переполненный унижением и отчаянием) менее прочих городских анклавов поддался депрессии. Дольше всего веселье задержалось на тех городских улицах, где жители всегда зависели от милостей менялы. Теперь, когда все другие предвидели сползание в застой, непоправимую беду, эти люди жили в точности как прежде, только чувствуя за спиной более долгую историю и опираясь на более надежные традиции; скудно, в повседневных заботах и с музыкальным аккомпанементом.

Сильвия приводила Оберона в чистые, но тесные квартирки своих родственников, где его усаживали на пластиковую заморскую мебель, подавали на блюдечке стаканчик содовой без льда (ни к чему вгонять человека в озноб — ду-

---

[226] Примечания: 226
Яблоко — «Большое Яблоко» — прозвище Нью-Йорка.

мали они) и несъедобные *dulces* и похваливали по-испански. По их мнению, он был хороший муж для Сильвии, и хотя Сильвия отвергала это почетное наименование, его, ради приличий, продолжали употреблять. Оберона сбивало с толку обилие уменьшительных форм, звучавших однообразно для его непривычного уха. Одна ветвь семьи, включавшая в себя черную «ненастоящую» тетю, Негру, которая прочла в свое время Судьбу Сильвии, именовала ее Тати — причину чего помнила Сильвия, но Оберон всегда забывал. В устах одного из детей Тати преобразовалось в Тита, каковое имя тоже прилипло и, в свою очередь, стало звучать как Титания[227] (пышное уменьшительное). Часто Оберон не понимал, что героиней анекдотов, рассказанных на шумно-веселом испано-английском, была его собственная возлюбленная.

— Ты им очень понравился, — сказала Сильвия на улице после очередного визита, глубоко засунув руку в карман его пальто (так она грелась).

— Они тоже очень милые...

— Но, *papo*, меня прямо передернуло, когда ты

---

[227] Примечания: 227
Титания — см. комментарии, раздел II.

водрузил ноги на эту... *esta*[228] штуку — кофейный столик.

— Да?

— Это никуда не годится. Все обратили внимание.

— Так какого же дьявола ты промолчала? — спросил он растерянно. — Я хочу сказать, дома у нас принято ложиться на мебель и... — Он осекся и не сказал «и это настоящая мебель», но она и без того догадалась.

— Я пыталась тебе намекнуть. Я на тебя смотрела. Не могла же я заявить вслух: эй, сними ноги. Они бы решили, что я обращаюсь с тобой как Тити Хуана с Энрико. — Энрико был подкаблучник и посмешище. — Ты не представляешь себе, чего им стоило приобрести и эту уродливую обстановку, — добавила она. — Верь не верь, но она жутко дорогая, эта *muebles*[229].

Они немного помолчали, согнутые в дугу жестоким ветром. *Muebles*, подумал он, «обстановка» — слишком официально звучит для таких людей.

— Они все психи, — проговорила она. — То есть

---

[228] Примечания: 228
Эта (исп.).

[229] Примечания: 229
Мебель (исп.).

некоторые психи из психов. Но остальные тоже психи.

Ему было известно, что Сильвия, при всей любви к членам своего разветвленного семейства, отчаянно старается освободиться от участия в той длинной, достойной времен короля Якова, трагикомедии[230], какой является их совместная жизнь, состоящая из сумасшествия, фарса, губительной любви, даже убийства, даже призраков. По ночам она часто ворочалась с боку на бок, испуганно вскрикивала, воображая ужасные несчастья, которые могли случиться в будущем или настоящем с кем-нибудь из этой невезучей компании. Оберон ее страхами пренебрегал, считая их обычными ночными кошмарами (с его семьей, насколько ему было известно, ничего «ужасного» никогда не случалось), меж тем как ее фантазия не столь отклонялась от истины. Сильвии не нравилось, что им вечно грозят опасности, не нравилось быть связанной с ними; ее

[230] Примечания: 230

...длинной, достойной времен короля Якова, трагикомедии... — Яков I (1566–1625) — шотландский король (под именем Якова VI) с 1567 года, английский король с 1603 года Его правление ознаменовано творчеством таких драматургов, как Шекспир, Бен Джонсон, Джон Уэбстер и др. Трагикомедиями прославились Франсис Бомонт (ок. 1584–1616) и Джон Флетчер (1579–1625), авторы пьес «Филастр» (1609), «Король и не король» (1611) и др. Считается, что они оказали влияние на поздние романтические драмы Шекспира.

собственная Судьба, как яркая лампа, светила среди их безнадежной неразберихи, их готовых сверзиться в канаву или погаснуть, но все же горящих огоньков.

— Мне нужно выпить кофе, — сказал он. — Чего-нибудь горячего.

— А мне нужно просто выпить, — подхватила она. — Чего-нибудь крепкого.

Как все влюбленные, Сильвия и Оберон не замедлили избрать себе те места, где попеременно (как на вращающейся сцене) разыгрывали свою драму: украинский ресторанчик с вечной испариной на окнах, с черным чаем и черным же хлебом; Складную Спальню, разумеется; обширный и мрачный кинозал, убранный в египетском стиле, где фильмы показывали дешево, меняли часто и сеансы шли до самого утра; магазин «Полуночная сова», бар и гриль «Седьмой святой».

Самым большим достоинством «Седьмого святого», помимо цен на напитки и близости к Ветхозаветной Ферме (одна остановка на поезде), было огромное переднее окно (практически от пола до потолка), где как на экране разыгрывалась жизнь улицы. «Седьмой святой», наверное, относился когда-то к роскошным заведениям: стеклянная стена была явно дорогая, роскошного

коричневого оттенка, что делало зрелище еще более нереальным и затеняло интерьер, как темные очки. Похоже на пещеру Платона[231], говорил Оберон, а Сильвия слушала его пояснения, а вернее смотрела, как двигаются губы, завороженная его странным видом и не вдумываясь в слова. Ей нравилось учиться, но ее мысли блуждали.

— Ложки? — спросил он, поднимая ложку.

— Девочки, — сказала Сильвия.

— А ножи и вилки — мальчики, — продолжил он, уловив принцип.

— Нет, вилки тоже девочки.

Перед ними стоял кофе-ройял. За окном, на леденящем холоде, спешили с работы люди в шляпах, закутанные в шарфы; они кланялись невидимому ветру, словно идолу или могущественному владыке. Сильвия в это время уволилась с одной работы и не успела устроиться на другую (обычная неприятность для человека с такой высокой Судьбой, как у нее), а Оберон жил на свой аванс. Оба были бедны, но располагали временем.

---

[231] Примечания: 231

Похоже на пещеру Платона — знаменитый образ из диалога «Государство» (кн. VII, 514a–517b): мир — пещера, люди — узники, заключенные в ней и наблюдающие не сами вещи, а их искаженные тени на стене, — не мир идей, а материальный мир.

— Стол? — спросил он. Ему ничего не приходило в голову.

— Девочка.

Не удивительно, подумал он, что она так сексуальна, если весь мир представляется ей состоящим из мальчиков и девочек. В ее родном языке всем понятиям присвоен род. В латыни (Оберон изучил или, во всяком случае, изучал ее с помощью Смоки) род существительного является абстракцией, которую он никак не мог прочувствовать. А вот Сильвия видела мир как постоянное взаимодействие мужского и женского, мальчиков и девочек. Мир, *el mundo*, мужского рода, земля, *la terra*, женского. Оберону это казалось правильным; мир дел и идей, название газеты, Огромный Мир; но мать-земля, плодородная почва, Госпожа Доброта[232].

Однако данного разделения явно недостаточно: эта волосатая метелка относится к женскому роду, но к нему же принадлежит и костлявая пишущая машинка Оберона.

Некоторое время они играли в эту игру, а потом принялись обсуждать прохожих. Поскольку стек-

---

[232] Примечания: 232

Госпожа Доброта — средневековое прозвание Матери-природы. В поэзии У. Х. Одена (1907–1973) этот образ символизирует природу как источник мистического опыта (Visions of Dame Kind).

ло было тонировано, прохожие видели в нем не внутренность пещеры, а собственное отражение; иногда они останавливались, чтобы поправить одежду или полюбоваться собой. Сильвия критиковала обычных людей резче, чем Оберон; она была неравнодушна ко всякой эксцентричности и странностям, но придерживалась строгих стандартов физической красоты и носом чуяла смешное.

— О, раро, взгляни-ка на этот экземпляр, взгляни-взгляни... То самое, что я называю яйцом всмятку, теперь видишь?

Он видел, и она заливалась милым хрипловатым смехом. Сам того не сознавая, Оберон на всю жизнь усвоил ее стандарты красоты; ему даже начали нравиться те худые, смуглые мужчины с мягким взглядом и сильными запястьями, которых отличала она. Например, официант Леон, цвета кофе с молоком, который принес им напитки. Оберон почувствовал облегчение, когда, после длительных раздумий, Сильвия решила, что у них будут красивые дети.

В «Седьмом святом» шли приготовления к обеду. Уборщики косились на их грязный столик.

— Ты готова? — спросил Оберон.

— Готова. Линяем, пока целы. — Фраза Джор-

джа, старомодная двусмысленность, скорее с претензией на юмор, чем смешная. Они спешно собрались.

— На поезде или пешком? — спросил Оберон. — На поезде.

— Да, черт возьми.

Акустический свод

Устремляясь к теплу, они по ошибке забежали в экспресс (полный похожих на овец и пахнувших овцами седоков, направлявшихся в Бронкс), который допер без остановок до самого́ старого вокзала, где его поджидала куча других поездов, готовых отправиться в разные места.

— Погоди чуток, — сказала Сильвия, когда они собирались сделать пересадку. — Хочу кое-что тебе показать. Да уж! Ты просто обязан это увидеть. Айда за мной!

Они шагали по переходам и взбирались по скатам — тем самым, где Оберона водил в первый раз Фред Сэвидж, но в том же направлении или нет — бог весть.

— Что там?

— Тебе понравится. — Она помедлила у поворота. — Только бы не заблудиться... Туда!

Она указывала на пустое место: перекрестие

сводов, где встречались четыре коридора.

— Что?

— Пошли. — Взяв за плечи, Сильвия направила его в угол, где опускалось на пол ребро свода, образуя подобие тесной щели, но это были всего лишь кирпичи, сходившиеся под углом. Она поставила его лицом к этому стыку.

— Стой здесь, — скомандовала она и пошла прочь. Покорно уткнувшись в угол, Оберон стал ждать.

И тут прямо из угла, глухой и призрачный, зазвучал голос Сильвии:

— Привет.

Оберон был поражен до глубины души.

— Что такое, — проговорил он, — где это...

Ш-ш, — произнес голос Сильвии. — Не оборачивайся. Говори тихо. Шепчи.

— Что это? — шепотом спросил он.

— Не знаю. Но если я стою здесь и шепчу, ты слышишь мой голос там. Как это получается, не спрашивай.

Загадка! Сильвия как будто обращалась к нему из пространства внутри угла, через щель неправдоподобно узкой двери. Акустический свод: что-то на эту тему имелось, помнится, в «Архитектуре»? Вполне вероятно. Эта книга говорила

почти обо всем.

— Ну вот, — произнесла Сильвия. — Скажи мне какой-нибудь секрет.

Оберон немного помедлил. Уединенность угла, бестелесный шепот — все располагало к откровенности. Он чувствовал себя раздетым, или что его могут раздеть, хотя сам он ничего не видел: эдакий вуайер наоборот. Он сказал:

— Я тебя люблю.

— О, — выдохнула она взволнованно. — Но это же не секрет.

Отчаянный прилив тепла побежал вверх по его позвоночнику и заставил волосы на голове встать дыбом: ему пришла идея.

— Ладно, — согласился он и рассказал о тайном желании, которое не осмеливался ей открыть раньше.

— Ну и ну! — откликнулась она. — Да ты сущий дьявол.

Оберон повторил свои слова, добавив несколько деталей. Он мог бы шептать их Сильвии в ухо темной ночью в кровати, но сейчас обстановка была еще уединенней, еще интимней: слова поступали прямо в мозг. Между ними кто-то прошел, Оберон различал шаги. Но прохожий не мог слышать его слов. Оберона охватила дрожь

ликования. Он добавил еще несколько фраз.

— М-м, — произнесла Сильвия, словно ожидая большого блага, и Оберон не мог не отозваться на этот краткий звук таким же. — Эй, чем ты там занят? — В ее голосе прозвучала игривая нота. — Скверный мальчишка.

— Сильвия, — шепнул Оберон. — Пойдем домой.

— Да ну?

Они отошли от своих углов (каждый казался другому очень маленьким и светлым, после темной интимности перешептывания) и встретились в центре. Они смеялись, прижимались друг к другу так тесно, как только позволяли плотные пальто, и, не переставая улыбаться и переглядываться (бог мой, подумал Оберон, ее глаза такие яркие, горящие, так много сулят — такие бывают в книгах, но никогда в жизни, и она принадлежит мне), сели в нужный поезд и покатили домой среди погруженных в себя попутчиков, которые на них не смотрели, а если все же замечали краем глаза (думал Оберон), то уж никак не догадывались о том, что известно ему.

Лицом наружу

Секс, как обнаружил Оберон, был поистине грандиозен. Грандиозная вещь. Во всяком случае, в исполнении Сильвии. В Обероне всегда существовал разрыв между глубокими желаниями, ему присущими, и холодной осмотрительностью, которая, как он считал, требуется во взрослом мире, куда он явился жить (иногда ему казалось, что по ошибке). Сильные желания представлялись ему признаком детства; последнее он (судя по своим самым ранним воспоминаниям, да и по рассказам других людей) видел охваченным мрачным пламенем, отягощенным бурными страстями. Взрослые все это оставляют позади и обращаются к привязанностям, к спокойным радостям товарищества, обретают младенческую невинность. Он осознавал фатальную старомодность этого взгляда на вещи, но так уж он чувствовал. Когда выяснилось, что желания взрослых, настоятельность и острота этих желаний держались от него в секрете, как и все остальное, он не удивился. Он не подумал даже возмутиться тем, что его так долго обманывали, ибо с Сильвией он научился иному, раскрыл шифр, вывернул предмет наизнанку, обратив его

лицом наружу, и загорелся.

Оберон не пришел к ней девственником в строгом смысле слова, но вполне мог бы им быть. Ни с кем другим не делился он этой ненасытной алчбой бедного ребенка, никто так не алкал его и не поглощал так благодушно, с таким наивным удовольствием. Этому не было ни конца, ни ограничений: если он хотел еще (он обнаружил, что в нем развивается удивительная, стойкая плотность желания), то получал. А то, чего ему хотелось, он так же жаждал дарить, а она — принимать. Все было так просто! Нельзя сказать, что правил не существовало: они, как в детских спонтанных играх, имелись, строго соблюдались, но только до поры до времени, пока не возникало желание со вкусом отдаться другой игре. Оберон помнил Черри Лейк — чернобровую властную девочку, с которой когда-то играл. Где прочие его товарищи по играм говорили: «Давай вообразим», она неизменно использовала другую формулу: «Мы должны». Мы должны быть плохими мальчишками. Я должна быть пленницей, привязанной к дереву, а ты должен меня спасать. Теперь я должна быть королевой, а ты — моим слугой. Должен! Да...

Сильвия как будто знала все это всегда, всю

жизнь. Она рассказывала Оберону о том, как испытывала в детстве незнакомые ему стыд и неловкость, потому что понимала: все эти вещи — поцелуи, раздевание вместе с мальчиками, наплыв чувств — предназначены на самом деле для взрослых; она познакомилась с ними позже, когда подросла, обзавелась грудью, высокими каблуками и косметикой. Сильвия не чувствовала того разделения, которое чувствовал Оберон. Когда ему сказали, будто мама и папа любили друг друга так сильно, что, желая завести детей, занялись этими детскими пакостями (так ему казалось), он не мог связать эти рассказы (которым не очень то и поверил) с тем мощным приливом страстей, который испытывал при виде Черри Лейк, некоторых фотографий и во время безумных игр голышом. Сильвия же все время знала истину. Какие бы жуткие — и многочисленные — трудности ни ставила перед ней жизнь, эту, по крайней мере, она считала решенной. Вернее, никогда не вставала перед ней в тупик. Любовные чувства реальны, так же реальна и плоть, и любовь и секс в ней едины, как уток и основа, неделимы, как бесшовная ткань ее душистой смуглой кожи.

Хотя, в абсолютных цифрах, Сильвия была

не более опытной, чем Оберон, из них двоих лишь его одного поражало, что это потворство желаниям, как у алчного ребенка, оказалось тем самым, что делают взрослые, более того — самой взрослостью; торжественное блаженство силы и способности, а также детское блаженство нескончаемого удовлетворения. Это была мужественность, женственность, заверенные самой живой печатью. *Papi* — звала она его в экстазе. *Ay Papi, yo vengo*[233]. Папи! Не дневной папо, а крепкий ночной папа, большой, как *platano*[234], и отец наслаждения. Эта мысль едва не заставила его подскочить (Сильвия жалась к его боку, головой как раз достигая плеча), но он не замедлил своего размеренного, широкого, взрослого шага. Справедлива ли была его догадка, что, когда он шел с Сильвией, мужчины чувствовали в нем силу и уступали ему, а женщины исподтишка бросали на него восхищенные взгляды? Почему их с Сильвией не благословляли все, кто встречался по дороге, — даже кирпичи, даже белое чистое небо?

И Оберон этого дождался: когда они сворачи-

---

[233] Примечания: 233
Ах, папи, я в улете (исп. жарг.).

[234] Примечания: 234
Банан (исп.).

вали на улицу, где был вход на Ветхозаветную Ферму. Во всяком случае, когда они чуть помедлили, что-то произошло. Вначале он подумал, что это произошло внутри него — апоплексический удар или сердечный приступ, но внезапно понял: это творится вокруг. Оно было огромным, похожим на звук, но не звуком; словно бы обрушилось строение (рассыпался в пыль целый квартал, не меньше, квартир из голого грязного кирпича или оклеенных обоями) или грянул гром, да такой, от которого небо раскололось бы надвое (но оно, как ни странно, оставалось чистым и по-зимнему белым), а может быть — произошло и то и другое одновременно. Схватившись друг за друга, Оберон и Сильвия остановились.

— Что это была за дьявольщина? — спросила Сильвия.

— Не знаю.

Они немного постояли, но от окружающих зданий не поползли клубы дыма, не завыли, возвещая о катастрофе, сирены; шли своим путем не потревоженные посетители магазинов, бездельники и прощелыги, и на их лицах не было написано ничего, кроме личных забот.

Оберон с Сильвией осторожно побрели к Ветхозаветной Ферме, держась за руки и чувствуя, что

внезапный удар должен был их разлучить (почему? как?), и это едва не произошло, а в будущем может произойти в любую минуту.

Что за неразбериха

— Завтра, — произнесла Тейси, поворачивая пяльцы, — или послезавтра, или послепослезавтра.

— Ага, — кивнула Лили. Они с Люси склонялись над пестрым лоскутным одеялом, дополняя его узор многообразной вышивкой: цветами, крестами, бантами, завитками в форме буквы «S».

— В субботу или воскресенье, — добавила Люси.

В этот миг кто-то поднес спичку к запальнику (возможно, случайно — позднее с этим разбирались), и громовой удар, который услышали и ощутили в Городе Сильвия с Обероном, прокатился над Эджвудом, сопровождаемый хлопаньем окон, звоном безделушек на этажерках и фарфоровой фигурки в старой спальне Вайолет. Сестры присели, спрятав головы в плечи.

— Что там такое? — воскликнула Тейси.

Сестры переглянулись.

— Гром, — отозвалась Лили, — гром среди зимы. Или нет.

— Реактивный самолет, — предположила Тейси, — преодолел звуковой барьер. Или нет.

— Динамит, — сказала Люси. — На границе штата. Или нет.

Ненадолго замолкнув, сестры склонились над работой.

— Интересно. — Тейси оторвала взгляд от наполовину повернутых пялец. — Ну ладно. — Она выбрала другую нитку.

— Не надо. Это курам на смех. — Люси критически осмотрела стежки, сделанные Лили.

— Это же лоскутное одеяло. Чем пестрее, тем лучше.

Люси с сомнением почесала в затылке.

— Оно должно быть пестрым, а не смешным.

— Пестрым и смешным. — Лили продолжала работать. — Это большой зигзаг.

— Черри Лейк. — Тейси подняла иголку, держа ее напротив бледно освещенного окна, которое перестало дребезжать. — Думала, у нее есть двое ухажеров. На днях...

— Это кто-то из Вулфов? — спросила Лили.

— На днях, — продолжала Тейси (не сумев с первой попытки продеть в игольное ушко нитку, зеленую как ревность), — Вулф дрался не на жизнь, а на смерть с...

— С соперником.

— С третьим парнем; Черри даже не знала. В лесу. Она...

— Соперников трое, — запела Люси, и при повторе к ней присоединилась, октавой ниже, Лили: — Трое-трое; беленьких мальчиков двое-двое, разодеты в зеленый наряд[235].

— Она нам вроде как двоюродная сестра, — говорила Тейси.

— Одна есть одна, — пели сестры.

— Она потеряет их всех.

— ...И совсем одинока, и так будет всегда.

— Нужно пользоваться ножницами, — заметила Тейси, видя, как Люси наклоняется, чтобы перекусить нитку.

— Следи за своими...

— Делами, — дополнила Лили.

— Телами, — поправила Люси.

Они запели снова:

— Четверо евангелистов.

— Убежали, — подхватила Тейси. — Прочь.

— Только и видели их.

---

[235] Примечания: 235

Соперников... Трое-трое; беленьких мальчиков двое-двое, разодеты в зеленый наряд. — Здесь и далее сестры напевают шотландскую балладу «Зазеленели тростники» (не путать с одноименным стихотворением Р. Бёрнса).

— Во всяком случае, не скоро. Все равно, что никогда.

— Оберон...

— Прадедушка Август.

— Лайлак.

— Лайлак.

Иглы, которые они протаскивали сквозь ткань, блестели на конце длинной нити, затем нитка становилась все короче, приходилось ее обрезать и втягивать другую. Голоса сестер звучали так тихо, что трудно было разобрать, кому принадлежала та или иная реплика, и даже определить, ведут ли они связную беседу или просто бормочут себе под нос.

— Вот было бы забавно увидеть их всех снова, — сказала Лили.

— Все вернулись домой.

— Разодеты в зеленый наряд.

— Попадем ли мы туда? Все мы? Где это произойдет, скоро ли, в какой части леса, в какое время года?

— Попадем.

— Почти все.

— Туда, скоро, еще при жизни, где угодно, в середине лета.

— Что за неразбериха, — воскликнула Тейси

и вынула, чтобы показать сестрам, пригоршню предметов из своей рабочей шкатулки, где похозяйничал то ли ребенок, то ли кошка: красную, как кровь, шелковую нитку, черную хлопчатобумажную штопку, моток некрашеной шерсти, одну-две булавки и, похожий на паука, блестящий лоскуток, вращавшийся на конце нитки.

Глава третья

Заслышав трель в лесу Элмондском,

Она душою повлеклась туда.

Бакан. Слуга Этин[236]

Вначале Хокскуилл не могла определить, куда забросила себя с помощью своего Искусства: в недра земли, на дно морское, в средоточие пламени или воздуха. Рассел Айгенблик позже расскажет ей, что те же затруднения переживал неоднократно и он за время своего долгого сна и что сокрыт он был, возможно, во всех четырех местах сразу — в четырех уголках земли. Старинное предание помещает его, разумеется, в гору,

---

[236] Примечания: 236

Заслышав трель в лесу Элмондском, / Она душою повлеклась туда. — Эпиграф взят из шотландской баллады «Слуга Этин», записанной фольклористом Генри Баканом (1790–1854), составителем сборников «Старинные баллады и песни северной Шотландии» (1828) и «Традиционные шотландские версии старинных баллад» (1845). Леди Маргарет, завлеченная трелью в Элмондский лес, встречает там «лесовика» (читай: эльфа), остается с ним на семь лет и рожает ему сыновей. Завершается баллада возвращением Маргарет с детьми в родной дом; вскоре к ним присоединяется и «лесовик», радостно принятый тестем.

а Годфри из Витербо[237] — в море; сицилийцы предпочитают пламень Этны, Данте же отвел ему место в Раю или его подступах, хотя вполне мог бы, из мстительных соображений, отослать его вместе с внуком в Ад[238].

Верхушка лестницы

Взявшись за это задание, Хокскивилл продвинулась далеко, но не настолько, и что бы ни узнала о Расселе Айгенблике, лишь немногое из этого могла облечь в форму, понятную для членов «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста», которые чуть ли не ежедневно домогались от нее решения по поводу Лектора. Его мощь и популярность возросли невероятно, еще немного — и от него уже нельзя будет аккуратно изба-

---

[237] Примечания: 237

Годфри из Витербо (приблизительные даты жизни — 1120–1196) — хронист, капеллан и секретарь германских императоров Конрада III, Фридриха I Барбароссы, Генриха VI. Автор ряда исторических хроник, из которых наиболее известны «Memoria Saeculorum» и ее переработка — «Pantheon», охватывающие период от сотворения мира до 1180-х годов.

[238] Примечания: 238

Данте же отвел ему место в Раю или его подступах, хотя вполне мог бы, из мстительных соображений, отослать его вместе с внуком в Ад. — Тот, кто принял имя Рассела Айгенблика, не появляется на страницах «Божественной комедии», хотя упомянут с эпитетом «добрый» (Чистилище, XVIII, 119); впрочем, о нем «в Милане скорбно говорят» (там же, 120), поскольку он разрушил этот город. Вероятно, писатель

имеет в виду, что «Айгенблик» должен пребывать в Предчистилище, в Долине земных властителей. Его внук действительно определен в шестой круг ада, к еретикам (Ад, X, 119).

виться, если это понадобится; в скором времени он вообще сделается неуязвимым. Они повысили ее гонорар и завуалированно намекали, что, не исключено, будут искать себе какого-нибудь другого советчика. Хокскилл на все это не обращала внимания. Она нисколько не симулировала деятельность, а, напротив, почти все часы бодрствования и немало часов сна посвящала мыслям о том, откуда взялся и что собой представляет человек, называющий себя Рассел Айгенблик, призраком блуждала по обителям своей памяти, прослеживала обрывки свидетельств дальше, чем приходилось когда-либо прежде, вызывала на свет силы, какие предпочла бы не тревожить, и оказывалась в местах, ранее ей, как она ошибочно считала, неизвестных.

В настоящее же время она находилась на верхушке лестницы.

Поднималась она или спускалась — бог весть; впоследствии она помнила только, что лестница была длинная. В конце располагалась комната. Широкая дверь с обивкой стояла распахнутой. Большой камень, судя по следу в пыли, еще недавно подпирал дверь, но затем его откатили. Внутри Хокскилл неясно разглядела длинный пиршественный стол, опрокинутые кубки, раз-

бросанные стулья, припорошенные застарелой пылью. Тянуло запахом, подобным тому, какой идет из только что раскрытой двери неприбранной спальни. Но в комнате никого не было.

Хокскvилл двинулась к сломанной двери, но заметила сидевшую на камне фигуру в белом — маленького роста, изящную, с золотой лентой на голове и с ножичком для маникюра в руках. Не зная, на каком языке обратиться к незнакомцу или незнакомке, Хокскvилл подняла брови и жестом указала внутрь комнаты.

— Его там нет, — ответил незнакомец, — его пробудили.

У Хокскvилл вертелся на языке вопрос, но, не успев его задать, она уже поняла, что ответа не получит, поскольку незнакомец (или незнакомка) служил воплощением только одного этого замечания: «Его там нет, его пробудили». Она отвернулась (лестница, дверь, послание и гонец тут же расплылись, как рисунок переменчивых облаков) и направилась дальше, обдумывая, где бы получить ответы на множество новых вопросов или вопросы, подходящие к множеству новых ответов, запасы которых быстро пополнялись.

Дочь Времени

«Разница между Старым и Новым представлением о мире, — давным-давно написала Хокскивилл своим почерком левши в высоком крапчатом фолианте, который стоял или лежал сейчас под лампой на длинном письменном столе далеко за ее спиной, — заключается в том, что в Старой концепции мир ограничен рамками Времени, а в Новой — Пространства.

Если смотреть на Старую концепцию через призму Новой, увидишь полный абсурд: несуществовавшие моря, миры, якобы распавшиеся на куски и созданные заново, массу Деревьев, Островов, Гор, Водоворотов, найти которые невозможно. Однако Древние не были глупцами, неспособными ориентироваться; просто взирали они отнюдь не на земной круг. Говоря о четырех уголках земли, они не имели, разумеется, в виду четыре физических места; речь шла о четырех повторенных положениях мира, эквидистантных во времени относительно друг друга: о солнцестояниях и равноденствиях. Когда они говорили о семи сферах, они не разумели семь сфер в пространстве (до глупой попытки Птолемея их описать); это были круги, описанные

движением звезд во Времени — в этой просторной семиэтажной горе, где Дантовы грешники ожидают Вечности. Когда Платон повествует об опоясывающей землю реке[239], которая (если основываться на Новой концепции) находится где-то наверху, в воздухе, а также где-то в недрах земли, он имеет в виду ту самую реку Гераклита, куда нельзя войти дважды. Как горящая лампа, если ею размахивать во тьме, описывает световую фигуру, которая не исчезает, пока движения точно повторяются, так и Вселенная сохраняет свою форму благодаря повторам: Вселенная есть тело Времени[240]. И как мы воспринимаем это тело, как воздействуем на него? Не теми средствами, с помощью которых мы воспринимаем протяженность, соотношение, цвет, форму — свойства Пространства. Измерения и исследования здесь ни при чем. Нет, мы прибегаем к средству, которое помогает воспринимать длительность, повторение и перемены, — к Памяти».

Обладая этим знанием, Хокскvилл ничуть не

---

[239] Примечания: 239

...Платон повествует об опоясывающей землю реке... — в диалоге «Федон», 112e.

[240] Примечания: 240

...Вселенная есть тело Времени. — Ср. название книги профессора Барра, героя «Эгипта», — «Тело Времени».

смущалась тем, что во время путешествий ее голова с седым пучком волос и вялые члены не меняли, вероятно, своей дислокации, оставаясь (полагала она) в плюшевом кресле в середине Космооптикона, под самой крышей ее дома, который входил в гексаграмму центра Города. Крылатая лошадь, которую она призвала, чтобы на ней умчаться прочь, была на самом деле не крылатой лошадью, а Большим Квадратом звезд[241], нарисованным вверху, а «прочь» — не значило туда, где родилась. Величайшее (и, может быть, единственное) искусство истинного мага состоит в том, чтобы воспринимать эти различия, но не делать их, чтобы безошибочно превращать время в пространство. Правы древние алхимики: все это так просто.

«Прочь!»[242] — произнес голос ее Памяти, а рука Памяти вновь схватила повод. Хокскивилл выпрямилась в седле, и они помчались прочь,

---

[241] Примечания: 241

Крылатая лошадь... была на самом деле не крылатой лошадью, а Большим Квадратом звезд... — Имеется в виду созвездие Пегаса.

[242] Примечания: 242

«Прочь!»... — Ср. «Оду соловью» Дж. Китса:

Прочь, прочь отсюда! Я умчусь с тобой —
Не колесницей Вакховой влеком —
Но на крылах Поэзии самой...

(Перевод Г. Кружкова)

огромными крылами рассекая Время. Пока Хокскуилл размышляла, позади остались океаны Времени. Потом, по команде Хокскуилл, ее скакун без колебаний бросился вниз (отчего у Памяти занялся дух), то ли в южное небо под миром, то ли в прозрачно-темные полуденные воды — во всяком случае, направляясь в место, где покоятся все прошлые века, в Огигию Прекрасную[243].

Коснувшись берега серебряным копытом, Скакун наклонил свою большую голову. Сильные крылья, вздувавшиеся подобно драпировкам, с тихим шуршанием опали, не наполненные более ветром времени. Он волочил их по вечной траве, которую щипал, дабы пополнить свои силы. Хокскуилл спешилась, потрепала коня по необъятной холке, шепнула, что вернется, и отправилась по следам, отпечатки которых (каждый — длиннее ее роста) остались на берегу с конца Золотого века. Стояло безветрие, только гигантский лес, под навес которого она вступила,

---

[243] Примечания: 243

...в место, где покоятся все прошлые века, в Огигию Прекрасную. — Согласно Гомеру, Огигия — остров нимфы Калипсо; однако Краули ссылается на иную традицию. Согласно диалогу Плутарха (ок. 45-ок. 127) «О лике, видимом на лике Луны» (гл. 26), Огигия лежит в пяти днях пути на запад от Британии, и на этом острове «Кронос спит, заточенный в глубокой пещере из златовидного камня, ибо Зевс вместо оков послал ему сон» (перевод Г. Иванова). Подробности, видимо, добавлены Краули.

дышал собственным дыханием или, быть может, Его дыханием — долгими и размеренными выдохами и вдохами древнего сна.

Хокскуилл приблизилась к входу долины, которую он наполнял, но далее не пошла. «Отец», — произнесла она, и ее голос вспугнул тишину[244]. Древние орлы взмахнули тяжелыми крыльями и, сонные, вновь опустились на утесы. «Отец», — повторила она, и долина встрепенулась. Большие седые валуны были его коленями, длинный серый плющ — волосами, толстые корни, вцепившиеся в обрыв, — пальцами. Глаза, которые он, Сатурн ее Космооптикона, распахнул ей навстречу, были молочно-серым, тускло блестевшим камнем. Он зевнул: вдох, подобно бурному ветру, вывернул листья на деревьях и спутал ей волосы, выдох же, холодный и темный, словно бы вырвался из бездонной пещеры.

— Дочь, — произнес он голосом, подобным голосу земли.

— Прости, что потревожила твой сон, Отец, но у меня есть вопрос, на который можешь ответить

---

[244] Примечания: 244

Хокскуилл приблизилась к входу долины, которую он наполнял, но далее не пошла. «Отец», — произнесла она, и ее голос вспугнул тишину. — Эпизод очевиднейшим образом ассоциируется с началом поэмы Китса «Гиперион. Фрагмент» (1819), I, 1–167: приход Тейи к погруженному в прострацию Сатурну.

только ты.

— Тогда спрашивай.

— Начинается ли уже новый мир? Не вижу тому причин, но, как будто, так и есть.

Каждому известно, что, когда его сыновья ниспровергли своего древнего Отца и бросили его сюда, кончился бесконечный Золотой век и было изобретено Время с его трудами. Не столь широко известна история о том, как молодые, непокорные Боги, испугавшись или устыдившись содеянного, вручили своему отцу управление этой новой сущностью. Тогда он спал в Огигии, и ему было все равно, и вот с тех пор прошедшие годы копятся, подобно опавшим листьям, именно на этом острове, где проистекают из общего источника пять рек. Когда Древнейший, потревоженный сном о перевороте или переменах, пошевелит своими массивными членами, чмокнет губами и почешет свои окаменевшие ляжки, явится на свет новый век, Вселенная запляшет под новый такт и Солнце родится в новом знаке.

Таким образом, склонные к пустым интригам боги ухитрились возложить вину за бедствие на своего старого Родителя. Со временем Крон, царь счастливого Нескончаемого века, сделался старым хлопотуном Хроносом с серпом и песочными

часами, отцом хроник и хронометров. Истину знали только его настоящие сыновья и дочери, а также несколько приемных — Ариэль Хокскилл в том числе.

— Начинается ли уже новый век? — вновь спросила она. — Это было бы преждевременно.

— Новый Век, — произнес Отец Время голосом, способным такой век создать. — Нет. Нет еще многие-многие годы. — Он смахнул со своих плеч несколько лет, скопившихся там поблекшей кучей.

— Тогда кто есть Рассел Айгенблик, если он не царь нового века?

— Рассел Айгенблик?

— Человек с рыжей бородой. Лектор. География.

Он опять улегся, скалистая постель под ним заскрипела.

— Он не Царь нового века. Выскочка. Захватчик.

— Захватчик?

— Он их защитник[245]. Поэтому они его пробудили. — Его молочно-серые глаза медленно закрывались. — Проспал, счастливчик, тысячу

[245] Примечания: 245

Он их защитник. — В оригинале «champion» — рыцарь, который защищает сторону истца или ответчика на судебном поединке.

лет. А теперь пробужден, для битв.

— Битвы? Защитник?

— Дочь, разве ты не знаешь, что идет война?

Война... Хоксквилл как раз все время раздумывала, каким бы одним словом объединить все разрозненные факты, все странности, связанные с Расселом Айгенбликом, какие она запомнила, все случайные возмущения, которые он, казалось, порождал в мире. Теперь у нее было это слово: оно продувало ее сознание, подобно ветру, расшатывало строения и гоняло птиц, срывало листья с деревьев и белье с веревок, но, по крайней мере, дуло теперь только в одну сторону. Война: война всеобщая, война тысячелетия, война без правил. Бог мой, подумала она, те же слова он и сам сказал недавно в Лекции, а она думала, что это всего лишь метафора. Всего лишь!

— Я не знала, Отец, до этого момента.

— Ко мне это не имеет отношения, — сквозь зевок пробормотал Древнейший. — Они обращались ко мне однажды, чтобы он заснул, и я согласился. Тому назад тысячу лет, плюс-минус век... В конце концов, они дети моих детей, породнившиеся через брак... Я иногда оказываю им милость. В том нет вреда. Все равно здесь больше нечего делать.

— Кто они, Отец?

— М-м. — Его громадные пустые глаза были закрыты.

— Кто те, кого он защищает?

Но гигантская голова откинулась на каменную подушку, огромная глотка захлебывалась храпом. Седоглавые орлы, взмывшие с криком при его пробуждении, вернулись на свои скалы. Безветренный лес шумно вздыхал. Хоксквилл нехотя пустилась в обратный путь. Конь (даже он поддался дремоте) при ее приближении поднял голову. Ладно! Делать нечего. Вся надежда на Разум, он способен решить загадку!

— Нет отдыха измученной душе, — сказала она, проворно вспрыгивая на широкую конскую спину. — Вперед! И живо! Разве ты не знаешь, что идет война?

Пока они поднимались и спускались, Хоксквилл думала: кто спал тысячу лет? Какие дети детей Времени собираются воевать с людьми, какие цели ставят и каковы их надежды на успех?

И кем (кстати) было то златовласое дитя, которое, как она заметила, почивало, свернувшись клубком, на лоне Отца-Времени?

Дитя повернулось

Дитя повернулось во сне. Девочке снилось продолжение событий, которые она увидела в последний день, перед тем как заснуть, и, наблюдая эти картины, она по ходу дела вносила в них изменения, разрывала ковер сна, его местами светлый, местами темный рисунок, и теми же нитями скрепляла его снова, как захочется. Ей грезилось, как ее мать просыпается и спрашивает: «Что такое?», как бредет по тропинке близ Эджвуда один из ее отцов, ей снился Оберон, влюбленный где-то в придуманную им же Лайлак, снились армии, сделанные из облаков, которые вел рыжебородый мужчина, так ее напугавший, что она едва не проснулась. Ворочаясь, раскрыв губы, она под медленные сердцебиения видела конец путешествия: она скользит по воздуху вниз, с головокружительной скоростью несется вдоль свинцово-серой маслянистой реки.

Отвратительное солнце, красное и круглое, садилось в тумане среди извитых дымов и выхлопных струй, которыми наполнили западный горизонт фальшивые армии. Лайлак замолкла, наблюдая отталкивающие эспланады, кварталы покрытых пятнами домов, слыша крики и шум.

Аистиха устремилась туда; в этих прямоугольных долинах миссис Андерхилл, казалось, утратила уверенность: ее жезл указал сначала на восток, потом на юг. Одно дело увидеть сверху человека или двух, и совсем другое — тысячу: тошнотворно колышется море волос и шляп, словно странный яркий шарф вьется на ветру. Двери адских дыр извергали дым, в облаках которого исчезали толпы, чтобы (как казалось Лайлак) больше не появиться, но на их место приходили все новые и новые.

— Запомни эти приметы, дитя, — обернувшись к Лайлак, заговорила миссис Андерхилл, стараясь перекричать пронзительные завывания сирены и общий шум. — Эту сгоревшую церковь. Рельсы как стрелы. Этот красивый дом. Ты пройдешь тем же путем, но уже одна.

Фигура в капюшоне отделилась от толпы и направилась в этот дом, вовсе не показавшийся Лайлак красивым. Аистиха, повинуясь миссис Андерхилл, подлетела к крыше, сложила крылья и с негромким криком облегчения ступила красными ногами на сор и обломки — последствия непогоды. Троица взглянула вниз, в глубину квартала, как раз когда фигура в капюшоне выходила из задней двери.

— Обрати на него внимание, дорогая, — проговорила миссис Андерхилл. — Как ты думаешь, кто он?

Подбоченившаяся под плащом фигура в широкополой шляпе казалась Лайлак каким-то темным комом. Человек снял шляпу и тряхнул длинными черными волосами. Кивая, повернулся по часовой стрелке и оглядел верхушки крыш. На смуглом лице белели обнаженные в улыбке зубы.

— Еще один родич, — предположила Лайлак.

— Ну да, а кто это может быть еще?

Человек задумчиво поднес к губам палец и, волоча ноги, потащился по грязи через неухоженный сад.

— Сдаюсь, — сказала Лайлак.

— Как же, это твой второй отец!

— Ох.

— Человек, тебя породивший. Которому, так же как и тому, другому, может понадобиться твоя помощь.

— О.

— Как раз планирует усовершенствования, — удовлетворенно добавила миссис Андерхилл.

Джордж мерил шагами сад. Он подошел к дощатой изгороди на границе с соседним садом, оперся

на нее подбородком и оглядел, как Килрой[246], еще более запущенные соседские владения. Произнес вслух:

— Черт возьми! Все нормально!

Расслабившись, он потер себе руки.

Пока аистиха шагала к краю крыши, чтобы взлететь, Лайлак хохотала. Как белые крылья птицы, черный плащ Джорджа тоже распустился по ветру, чтобы затем еще плотнее к нему прильнуть. Джордж тоже смеялся. Сама не зная, почему он ей так понравился, Лайлак решила, что если бы ей пришлось выбирать между двумя отцами, она бы выбрала этого. С уверенностью одинокого ребенка, который в секунду распознает, кто на его стороне, а кто нет, она выбрала Джорджа.

— Выбора, правда, не существует, — заметила миссис Андерхилл, когда они взлетали. — Только Долг.

— Подарок ему! — крикнула Лайлак, обращаясь к миссис Андерхилл. — Подарок!

Миссис Андерхилл промолчала (ребенку и так слишком многое уже было позволено), но, пока

---

[246] Примечания: 246

...оглядел, как Килрой... — «Килрой был здесь» — традиционное граффити, которое американские солдаты оставляли на завоеванной территории во Вторую мировую войну.

они следовали вдоль обшарпанной улочки, у них за спиной одно за другим стали выскакивать тоненькие, по-зимнему голые молодые деревца, расположенные ровным рядом. Так или иначе, улица наша, думала миссис Андерхилл, или почти что наша, а куда годится ферма без ряда зеленых сторожей вдоль идущей мимо дороги?

— А теперь домой! — сказала она, и холодный город позади ухнул вниз. — Тебе давно пора спать. Туда!

Она указала вперед, на покосившееся от старости здание, которое было когда-то высоким и даже не лишенным высокомерия, но это прежде. Оно было построено из камня, некогда белого, украшенного несчетным множеством резных лиц, кариатид, птиц и зверей, которые теперь почернели как угольщики и проливали грязные слезы. Центральная его часть располагалась с отступом от красной линии; флигели по обе стороны окаймляли темный сырой двор, где исчезали такси и люди. Флигели были соединены на самом верху подобием каменной арки, под которой мог бы пройти великан. Туда и устремилась троица; аистиха перестала взмахивать крыльями и только слегка рулила ими при спуске, чтобы аккуратно вписаться в темный проем.

— Берегите головы! — крикнула миссис Андерхилл. — Пригнитесь!

И Лайлак, ощутив в рассекаемом со свистом воздухе несвежую струю изнутри двора, пригнулась. Закрыла глаза. Услышала голос миссис Андерхилл:

— Мы уже у цели, старушка, у цели; дверь ты знаешь.

Тьма под опущенными веками немного рассеялась, городской шум стих, и они снова оказались где-то еще.

Таков был сон Лайлак, и таким же стало прошлое. Деревца росли, как чумазые мальчишки, заброшенные, крепкие продувные бестии. Они росли, стволы раздавались вширь, корни выгибали тротуар; не обращая внимания на застрявших в кронах сломанных воздушных змеев, конфетные обертки, лопнувшие воздушные шарики и воробьиные гнезда, они подставляли друг другу плечо, чтобы уловить редкий солнечный луч, а зимой отряхивали на прохожих грязный снег с ветвей. Они росли, в шрамах от перочинных ножей, со сломанными сучьями, загаженные собаками, неуязвимые. Однажды теплой мартовской ночью Сильвия, возвращаясь под утро на Ветхозаветную Ферму, подняла взгляд на их кро-

ны, четко обрисованные на фоне бледного неба: на кончике каждой ветки сидела тяжелая почка.

Она простилась со своим провожатым, хотя отделаться от него было нелегко, и нашла четыре ключа от Ветхозаветной Фермы и Складной Спальни. Он ни за что не поверит этой безумной истории, с улыбкой думала Сильвия; эта безумная, однако невинная, почти невинная цепь событий, до рассвета продержавшая ее на ногах, покажется ему невероятной. Он не устроит ей допроса с пристрастием, главное — чтобы она была жива и здорова. Только бы он не волновался. Просто ее временами затягивает в водоворот. Всем вокруг она нужна, и большинство как будто руководствуется благими побуждениями. Город большой, в марте при полной луне пирушки длятся допоздна, одно за другим, и... Сильвия отперла дверь Фермы и стала пробираться мимо спавших кроликов. В холле перед Складной Спальней она, пританцовывая, скинула с ног туфли на высоком каблуке и пробралась на цыпочках к двери. Замок она отперла осторожно, как взломщик, и заглянула внутрь. В тусклом свете зари Оберон кучей лежал на постели и (как она догадалась по некоторым признакам) только изображал безмятежный сон.

Воображаемый кабинет

Складная Спальня и кухонька при ней были так малы, что Оберону, которому требовались для работы покой и уединение, пришлось создать себе воображаемый кабинет.

— Что? — переспросила Сильвия.

— Воображаемый кабинет. Хорошо. Смотри. Вот стул. — Где-то в разрушенных помещениях Ветхозаветной Фермы Оберон нашел старую школьную парту, с широкой доской для письма. Под сиденьем была полочка для книг и тетрадей. — Бережно установив парту, он продолжил: — Вообразим, что мой кабинет находится в этой спальне. Вот стул. Правда, кроме него, на самом деле ничего нет, но...

— О чем ты говоришь?

— Не будешь ли ты так добра чуть-чуть послушать? — Оберон вспыхнул. — Все очень просто. В Эджвуде, где я рос, было полно воображаемых комнат.

— Конечно.

Сильвия стояла подбоченившись, с деревянной ложкой в руке; на голове, как полагается домашней хозяйке, был повязан яркий платок, в ушах, среди непокорных черных прядок, колыхались

серьги.

— Идея состоит в том, — объяснил Оберон, — что когда я говорю: детка, я пошел к себе в кабинет, а потом сажусь за эту парту, то я как будто удаляюсь в отдельную комнату. И закрываю дверь. И остаюсь там один. Ты меня не видишь и не слышишь, потому что дверь закрыта. Дошло?

— Ладно, хорошо. Но почему?..

— Потому что воображаемая дверь закрыта и...

— Нет, я говорю о том, почему тебе пришла мысль об этом воображаемом кабинете? Почему бы не сидеть просто в спальне?

— Мне нужно быть одному. Слушай, давай заключим соглашение: ты не видишь ничего, что делается в воображаемом кабинете; не упоминаешь об этом, не рассуждаешь, не...

— Ладненько. Что ты собираешься делать? — За улыбкой последовал грубый жест, изображенный при помощи ложки. — Хей.

Да, втайне ублажать себя, но иначе: в основном грезить наяву, хотя сам бы он так не выразился. Обхаживать в долгих мечтательных прогулках Психею, свою душу; складывать два и два и, быть может, записывать сумму (в подставке на парте он собирался держать наточенные карандаши и резинку). Но, предвидел Оберон, чаще всего

он будет просто сидеть, накручивать на палец прядь волос, причмокивать, чесаться, гоняться за летучими пятнышками под закрытыми веками, снова и снова бормотать одни и те же полстрочки чужих стихов и, в общем, вести себя как самый тихий из психов. Можно было также читать газеты.

— Думать, читать и писать, ха! — выразительно произнесла Сильвия.

— Да. Видишь ли, мне необходимо когда-никогда побыть одному.

Сильвия погладила Оберона по щеке:

— Чтобы думать, читать и писать. Да, малыш. Хорошо. — Она откинулась назад, с любопытством его разглядывая.

— Ну, я отправляюсь к себе в кабинет, — проговорил Оберон, чувствуя себя дурак дураком.

— Хорошо. До свиданья.

— Я закрываю дверь.

Сильвия махнула ложкой. Она собиралась еще что-то добавить, но он возвел глаза к потолку, и она вернулась в кухню.

В кабинете Оберон опер щеку о ладонь и стал рассматривать шероховатую поверхность парты. Кто-то выцарапал там непристойность, а кто-то другой стыдливо замаскировал ее словом ЖУЙ,

выписанным печатными буквами. Возможно, оба использовали острие циркуля. Циркуль и транспортир. Когда он впервые пошел в маленькую школу своего отца, дедушка дал ему свой старый пенал, кожаный, с защелкой и со странным мексиканским резным рисунком, изображавшим нагую женщину. Можно было провести пальцем по стилизованной груди и ощутить кожаную пуговку соска. Там лежали карандаши с безвкусно-розовыми колпачками, под которыми, однако, не обнаружилось резинок; резинка имелась другая — серая ромбовидная, из двух частей, одна для карандаша, а другая, твердая, для чернил, которая протирала на бумаге дыры. Лежали ручки, черные и с пробкой на конце, как у сигарет тети Клауд, и стальная коробочка с перьями. А также циркуль и транспортир. Делить угол пополам. Но никогда не на три части[247]. Он тронул пальцами воображаемый циркуль и поводил им туда-сюда по парте. Когда сточился маленький желтый карандашик, циркуль скособочился. Оберон мог бы написать книгу о долгих школьных днях,

[247] Примечания: 247

Делить угол пополам. Но никогда не на три части. — Одна из трех неразрешимых геометрических задач Античности (наряду с удвоением куба и квадратурой круга): совершить трисекцию угла при помощи циркуля и линейки без делений невозможно.

скажем, о последнем дне мая: штокроза во дворе, виноградная лоза проникает в открытое окно, запах уборной на улице. Пенал. Матушка Западный Ветер и Малыши Бризы. Вечера, тянувшиеся как резина. Историю можно назвать «Резинка». «Резинка», — сказал он вслух и бросил взгляд на Сильвию: не подслушала ли она. Поймал ее на том, что она стрельнула глазами в его сторону, а потом, как ни в чем не бывало, вновь сосредоточилась на домашних делах.

Резинка, резинка... Оберон забарабанил пальцами по дубовой доске. Чем же там занята Сильвия? Готовит кофе? Она вскипятила большой чайник и теперь небрежно вытряхнула туда несколько щедрых горстей кофе прямо из мешочка, а потом дополнила его гущей, оставшейся с утра. Сочный запах кипящего кофе наполнил комнату.

— Знаешь, что тебе нужно сделать? — спросила она, размешивая кофе в кружке. — Попытайся получить работу в «Мире Где-то Еще», писать сценарии. Сериал портится на глазах.

— Я... — начал было Оберон, но затем демонстративно отвернулся.

— Молчу, молчу, — спохватилась Сильвия, подавляя смешок.

Джордж говорил, что все телепередачи пишут-

ся на другом побережье. Но откуда бы он мог это узнать? Ознакомившись в подробных пересказах Сильвии с «Миром Где-то Еще», Оберон понял: настоящая трудность заключается в том, что ему никак не выдумать все эти бесчисленные и, на его взгляд, нелепые страсти, которыми заполнены программы. Притом, судя по всему, ужасные горести, муки, несчастные случаи и редкостные удачи, о которых там повествовалось, действительно случались в жизни — так что же он знает о жизни и о людях? Возможно, большинство людей таковы, как показывает телевидение: своенравны, одержимы жаждой власти, крови, наслаждений, денег, подвержены страстям. Как бы то ни было, знание людей и жизни не было его сильной стороной как писателя. Его сильными сторонами были...

— Тук-тук. — Перед ним стояла Сильвия.

— Да?

— Можно войти?

— Да.

— Не знаешь ли, куда делся мой белый костюм?

— А в уборной смотрела?

Сильвия открыла дверцу туалета. К дверце этого крохотного помещения они прикрутили

старую вешалку, где держали большую часть своего гардероба.

— Посмотри под моим пальто, — посоветовал Оберон.

Там он и обнаружился, белый хлопчатобумажный костюм из жакета и юбки — собственно, старая униформа сиделки, о чем свидетельствовала нашивка на плече. Сильвия остроумно его перекроила, превратив в нечто одновременно модное и оригинальное. Ее вкус был безупречен, а портняжное мастерство за ним не всегда поспевало. Оберон в очередной раз пожалел, что не может дать Сильвии несколько тысяч на наряды: было бы сплошным удовольствием на это посмотреть.

Сильвия критически изучила костюм.

— У тебя кофе выкипит, — предупредил Оберон.

— А? — Крошечными ножницами в форме птичьего клюва Сильвия стала отпарывать с плеча нашивку. — Ох, ну да! — Она поспешила выключить огонь. Потом вернулась к костюму. А Оберон вернулся в кабинет.

Его сильные стороны как писателя...

— Хотела бы я уметь писать, — проговорила Сильвия.

— А кто сказал, что ты не умеешь? Пари держу, у тебя получится. Нет, в самом деле, — добавил он, когда она скептически фыркнула, — готов поручиться. — С уверенностью, данною любовью, он знал: Сильвия умеет почти все, а если чего-то не умеет, то это и не следует уметь. — А о чем бы ты писала?

— Даю голову на отсечение, я бы придумала сюжеты получше, чем в «Мире Где-то Еще». — Она поднесла дымящийся чайник к ванне (как во всех старомодных квартирах, последняя нахально красовалась на самой середине кухни) и стала процеживать кофе через тряпку в стоявший там сосуд еще большего размера. — Им, знаешь ли, не хватает трогательности. Они не трогают душу. — Сильвия начала раздеваться.

— Ты не обидишься, — заговорил Оберон, оставив бесплодные попытки отгородиться от Сильвии воображаемой стеной и дверью, — если я спрошу, какого черта ты делаешь?

— Меняю цвет, — отозвалась она спокойно. На ней уже не было рубашки, и шары грудей при каждом движении слегка раскачивались, как маятник. Она взяла в руки обе части белого костюма, в последний раз их оглядела и бросила в котелок с кофе. Оберон понял и восторженно

рассмеялся.

— Оттенок беж. — Сильвия произнесла это слово как «бэж». Из сушилки у раковины она достала небольшой хлопчатобумажный фильтр, похожий на носок (*el colador*[248], мужского рода; им она пользовалась, когда готовила крепкий испанский кофе), и продемонстрировала его Оберону. Фильтр приобрел тот сочный рыжевато-коричневый цвет, которым Оберон часто восхищался. Сильвия начала помешивать в котелке ложкой с длинной ручкой. — На два тона светлее меня, — пояснила она, — вот чего я добиваюсь: *café-con-leche*[249].

— Красиво, — кивнул он.

Кофе оставил пятна на коричневой коже Сильвии. Она стерла их и облизала пальцы. Взявшись за ложку обеими руками, она подняла костюм и начала осматривать (груди ее напряглись). Он сделался уже темно-коричневым, темнее ее, но (эту мысль Оберон прочитал по лицу Сильвии), когда отполощется, он станет светлее. Она уронила костюм обратно, быстрыми пальчиками заправила под косынку выбившуюся прядь волос

---

[248] Примечания: 248
Ситечко (исп.).

[249] Примечания: 249
Кофе с молоком (исп.).

и снова принялась мешать. Оберон много раз пытался, но так и не смог решить, когда она нравится ему больше: когда ее внимание сосредоточено на нем или, как сейчас, когда оно направлено на какие-то будничные цели и заботы. Он не мог бы написать книгу о Сильвии: это был бы простой перечень ее действий с ежеминутными подробностями. Но ему по-настоящему не хотелось писать ни о чем другом. Он стоял теперь в дверях маленькой кухни.

— Есть идея. Для мыльных опер всегда требуются сценаристы. — Он сказал это так, будто знал в точности. — Мы могли бы работать вместе.

— Что?

— Ты могла бы придумать сюжет, вроде их нынешних, но лучше, а я бы его записал.

— В самом деле? — В ее голосе звучало сомнение, смешанное с любопытством.

— Я имею в виду, что я написал бы слова, а ты — сюжет.

Странным было то (Оберон подошел ближе), что это предложение он сделал с целью ее соблазнить. Он мысленно задавал себе вопрос: неужели любовники, пока остаются любовниками, вечно измышляют хитрости, чтобы друг друга соблазнить. Да, наверное, так и есть. Разве что уловки

мельчают, становятся все небрежнее. А может, и наоборот. Как знать?

— Ладно, — кивнула Сильвия после недолгого раздумья. — Но, — добавила она, улыбнувшись про себя, — времени у меня будет не так уж много, я ведь собираюсь пойти работать.

— Грандиозно.

— Ага. Для того и костюм — если, конечно, дело выгорит.

— Слушай, отлично. А что за работа?

— Я не хотела тебе говорить, потому что еще не уверена. Мне предстоит собеседование. Это в кино. — Сказанное показалось ей такой нелепостью, что она рассмеялась.

— На главную роль?

— Не совсем. Не сразу. Чуть погодя. — Она переложила мокрую коричневую материю на край ванны и вылила холодный кофе. — Я познакомилась с одним, он вроде бы продюсер. Или продюсер, или режиссер. Ему нужен ассистент. Не секретарь, а именно ассистент.

— Вот как?

Знакомится где-то с продюсерами и режиссерами, а ему ни слова.

— Работа со сценарием и другая помощь.

— Хм.

Конечно, Сильвия не страдает наивностью, еще и ему даст сто очков вперед. Она мигом распознает, серьезное это предложение или обман. Как бы сомнительно ни звучало известие, Оберон встретил его бодрыми междометиями.

— И вот, — она направила на свежеокрашенный костюм сильную струю холодной воды, — мне требуется хорошо выглядеть — насколько могу, во всяком случае, — когда пойду с ним на беседу.

— Ты всегда хорошо выглядишь.

— Нет, в самом деле.

— По мне так вид у тебя сейчас что надо.

Сильвия мимолетно наградила Оберона ослепительнейшей улыбкой.

— Значит, нас двоих ждет слава.

— Конечно. — Он подошел ближе. — И богатство. Ты будешь знать о кино все, и вместе мы образуем команду. — Он обошел вокруг нее. — Давай будем командой.

— Погоди. Мне нужно закончить с костюмом.

— Ладно.

— Наберись терпения.

— У меня есть терпение. Я буду наблюдать.

— Ох, *papo*. У меня голова идет кругом.

— М-м. Это мило. — Он поцеловал Сильвию в

шею, вдыхая кремовый запах ее усилий, и она не противилась, держась мокрыми руками за противоположный край ванны. — Я спущу постель, — сказал он тихо, то ли угрожая, то ли суля.

— М-м.

Сильвия наблюдала за Обероном. Руки ее машинально выполняли работу, но голова уже о ней не думала. Опущенная кровать внезапно вторглась в комнату, очень похожая на ложе, но также и на нос груженого корабля, который только что проплыл под парусами через дальнюю стену и остановился в гавани, ожидая, когда на борт взойдут мореплаватели.

И все же весна

То ли Сильвия усомнилась в подлинности продюсера, то ли весна, подавшая было надежды, бесследно удалилась, и март явился, аки лев рыкающий, заморозить ее уязвимое нутро, а может, окраска костюма прошла не вполне удачно (никакие полоскания не убрали едва заметный запах затхлого кофе) — как бы то ни было, Сильвия не пошла на собеседование к киношнику. Оберон ее ободрял, купил книгу о кинематографе, но Сильвия как будто от этого еще больше приуныла. Кинематографические грезы померкли. Она

впала в оцепенение, и это очень беспокоило Оберона. Допоздна она лежала в гигантском клубке одеял и постельного белья, накрытом сверху еще и зимним пальто, а когда наконец вставала, то бродила как лунатик по квартирке в спортивном свитере поверх ночной рубашки и в толстых носках. Нередко Сильвия открывала холодильник и сердито заглядывала в контейнер с заплесневевшим йогуртом, непонятными объедками в фольге, выдохшейся газировкой.

— *Coño*, — говорила Сильвия. — Там все время пусто.

— Да что ты? — тяжеловесно шутил Оберон из воображаемого кабинета. — Наверное, забрались грабители. — Встав, он тянулся за пальто. — Чего тебе хочется? Пойду, чего-нибудь добуду.

— Нет, *papo*...

— Мне тоже нужно чем-то питаться, ты ведь знаешь. А в холодильнике хоть шаром покати...

— Ладно. Чего-нибудь хорошего.

— Чего именно? Могу купить кукурузных хлопьев...

Сильвия поморщилась.

— Чего-нибудь хорошего. — Она воздела вверх обе руки и подбородок, по всей видимости, изображая желаемое, но этот жест отнюдь не открыл

Оберону глаза. Он вышел на свежевыпавший и продолжавший падать снег.

Как только за ним закрылась дверь, Сильвию увлек поток уныния.

Ее восхищало, что Оберон, выросший среди сестер и тетушек, отличался такой заботливостью, не сваливал на женщин домашний труд и почти никогда не ворчал. Белые люди такие странные. В кругу ее родственников и соседей домашние обязанности мужа ограничивались едой, рукоприкладством и игрой в домино. Оберон такой хороший. Понимающий. И умный: официальные бланки и бесконечные бумаги, порожденные ветхим, паралличным государством всеобщего благосостояния, совсем не наводили на него ужас. И он не ревнив. Ранее она на некоторое время позволила себе увлечься красавчиком Леоном, официантом из «Седьмого святого», а потом, лежа ночами рядом с Обероном, каменела от вины и страха, пока он не выпытал ее тайну. Тогда он сказал лишь одно: ему все равно, что ее связывало с другими, лишь бы она была счастлива, пока остается рядом с ним. Глядясь в затуманенное зеркало над раковиной, она задавалась вопросом: кто из знакомых парней повел бы себя таким образом?

Такой хороший. Добрый. А чем она ему отплатила? Посмотри на себя, взывала она. Под глазами мешки. Со дня на день тощаешь, скоро будешь вот такой — она предостерегающе подняла мизинец. *Flacca*[250]. И ни черта не приносишь в дом, никакой пользы ни себе, ни ему, *un' boba*[251].

Она будет работать. Будет работать до седьмого пота и отплатит ему за все, что он для нее сделал, за все безжалостно-унизительное сокровище его доброты. Бросить ему обратно в лицо. Вот.

— Помою чертову посуду, — сказала она вслух, отворачиваясь от раковины, где было сложено несколько тарелок. — Я исхитрюсь...

И это то, к чему вела ее Судьба? Нахмурившись, потирая покрывшиеся гусиной кожей руки, Сильвия, как пленница, шагала туда-сюда от кровати к плите. Что освободит ее, приговоренную ждать свою Судьбу среди скудной повседневности, отличной от упорной и безнадежной нищеты ее детства, но все же — в бедности. Надоело, черт возьми, надоело, надоело. От жалости к себе у нее на глазах выступили слезы. На фиг она, эта Судьба, почему нельзя обменять ее на самую

---

[250] Примечания: 250
Худышка (исп.).

[251] Примечания: 251
Глупая (исп.).

малость благополучия, свободы, веселья? Если нельзя от нее отделаться, то получить бы хоть что-нибудь взамен.

Сильвия забралась обратно в постель, преисполнившись мрачной решимости. Натянула на себя одеяла и вперила обвиняющий взгляд в пространство. Она убедилась, что от непонятной, дремлющей, но неотделимой от ее существа Судьбы невозможно избавиться. Но ей надоело ждать. Какой окажется Судьба, она не могла угадать, разве что там будет Оберон (но не в этом убогом окружении, да и Как-то Оберон не совсем тот), но сейчас Сильвии все станет известно. Сейчас.

— *Bueno,* — сказала она, — хорошо. — И, скрестив руки, вытянулась под одеялами.

Больше ждать она не будет. Либо узнает свою Судьбу и начнет ее, либо умрет. Вытащит Судьбу из будущего, где она большей частью прячется.

Тем временем Оберон тяжелой походкой приближался к продовольственному магазину «Полуночная сова» (он был удивлен, когда узнал, что сегодня воскресенье и все другие магазины закрыты: для досужих бедняков уик-энды ничего не значат). Он ступал по девственному, не тронутому пока снегу, начиная его постепенное превращение в раскисшую жижу, скорее черную,

чем белую. Он был зол. Собственно, он лопался от злобы, хотя нежно поцеловал Сильвию на прощание и собирался так же нежно поцеловать ее вновь через десять минут, когда вернется. Почему она ни единого раза не дала понять, что ценит уравновешенность его характера и жизнерадостный нрав? Думает, легко ему, подавляя справедливое негодование, вести ласковые речи — и ни разу не дать себе воли? И что он получает за все свои старания? Иногда он готов был ее ударить. Врезать разок, чтобы немного успокоить, чтобы показать, как безбожно она злоупотребляет его терпением. Бог мой, какая жуткая мысль.

Счастье, как убедился Оберон (во всяком случае, его счастье), представляло собой время года, а Сильвия была погодой. Внутри него все говорили о погоде, обсуждали ее между собой, и никто не мог ее изменить, мог только ждать, когда она переменится сама. Его счастливым временем года была весна, долгая и капризная весна, которая то манила надеждой, то отступала, как всякая весна. И все же весна. Оберон был уверен. Он лягнул мокрый снег. Уверен.

Оберон нерешительно осмотрел тот скромный набор дорогих товаров, который предлагался в «Полуночной сове» (магазине особом, открытом

в воскресенье и по ночам), выбрал покупки (для Сильвии, в возмещение за то, что хотел ее прибить, два вида тропических соков — пощекотать ее лакомое до экзотики нёбо), открыл бумажник и обнаружил там пустоту. Не хватало только, чтобы, как в стародавней шутке, оттуда вылетел мотылек. Оберон порылся в карманах, вывернул их наизнанку под взглядом приготовившегося к худшему продавца и наконец наскреб несколько пыльных монет, которых хватило на все, кроме одного из соков.

— Ну как? — произнес Оберон, когда, в засыпанной снегом шляпе и со снежными эполетами, открыл дверь Складной Спальни и увидел Сильвию в постели. — Решила чуток подремать?

— Не трогай меня. Я думаю.

— Думаешь. Ну-ну.

Оберон отнес промокший бумажный пакет в кухню и некоторое время возился с супом и крекерами, но когда предложил Сильвии поесть, она отказалась. За весь остаток дня он едва вытянул из нее одно-два слова и с испугом вспомнил о наследственной склонности к душевным болезням в ее семье. Он говорил ласковым, добрым тоном, а ее отгородившаяся душа шарахалась от его слов, как от острого ножа.

Ему оставалось только засесть в воображаемом кабинете (который переместился в кухню, поскольку в комнате стояла занятая кровать) и думать о том, как еще ублажить Сильвию и какая она неблагодарная; а она, временами засыпая, сражалась в постели со своей Судьбой. Зима вела наступление. Черные облака клубились у них над головами, перекликались молнии, дул северный ветер, лились холодные дожди.

Пусть следует за любовью

— Стойте, — проговорила миссис Андерхилл, — стойте. Где-то произошла ошибка, пропущен поворот. Разве вы не чувствуете?

— Да-да, — подтвердили собравшиеся.

— Пришла зима, и это было правильно, — продолжала миссис Андерхилл, — и тогда...

— Весна! — вскричали все.

— Слишком, слишком быстро. — Миссис Андерхилл постучала себя по виску костяшками пальцев. Пропущенную петлю можно закрепить, но для этого ее нужно найти. Распутать нити — в ее власти, но где на долгом-долгом пути сделана ошибка? Или (она окинула взглядом всю нескончаемую Повесть, которая развертывалась от грядущего со спокойной грацией изукрашенной

решительной змеи) ей еще предстояло свершиться? — Помогите мне, дети, — попросила она.

— Поможем, — зазвучало на все лады.

Проблема заключалась вот в чем: если искать нужно среди будущих событий, то поиск будет нетрудным. Что сложно — это держать в памяти прошедшие события. Так обстоит дело с существами бессмертными или близкими к бессмертию: они знают будущее, но прошлое для них тайна; за текущим годом находится дверь в седую древность, темный промежуток, озаренный торжественными огнями. Как Софи с ее картами исследовала неизвестное будущее, нажимая на тонкую мембрану, их разделявшую, нажимая тут и там, чтобы нащупать выпуклости грядущих событий, — так и миссис Андерхилл слепо тыкалась в события прошлого, разыскивая среди непонятных форм то из них, которое было неправильным.

— Был как-то единственный сын, — произнесла она.

— Единственный сын, — напрягая мысли, откликнулись слушатели.

— И он явился в Город.

— И он явился в Город.

— И там он обитает, — вставил мистер Вудз.

— Верно-верно, — кивнула миссис Андерхилл, — там он обитает.

— Не хочет двигаться с места, не хочет выполнять свой долг, желает вместо этого умереть от любви. — Длинные руки мистера Вудза сжали его костлявое колено. — Эта зима может длиться и длиться, и никогда не кончится.

— Никогда не кончится. — На глазах миссис Андерхилл выступили слезы. — Да-да, именно так все и выглядит.

— Нет-нет, — сказали все, убеждаясь. Ледяной дождь стучал со скорбным плачем в глубокие маленькие окошки; ветви бешено метались под неумолимым ветром; Луговой Мышонок бился в челюстях Рыжей Лисы. — Думайте-думайте, — сказали все.

Миссис Андерхилл снова постучала себя по виску, но все молчали. Она встала, и они отступили.

— Мне нужен будет совет, вот и все.

Черная вода в горном озерце только что растаяла, но острые льдины, как обломки камней, торчали по его краям. На одном из этих обломков стояла миссис Андерхилл, посылая сверху призыв.

Оцепеневший и отупелый, слишком равнодушный, чтобы даже разозлиться, поднялся из

темной глубины Дедушка Форель.

— Оставьте меня в покое, — проговорил он.

— Отвечай на вопрос, а то получишь по первое число, — рявкнула миссис Андерхилл.

— Что такое?

— Это дитя в Городе, твой правнук. Не хочет двигаться с места, не хочет выполнять свой долг, желает вместо этого умереть от любви.

— Любовь, — отозвался Дедушка Форель. — На земле не осталось силы большей, чем любовь.

— Он не хочет идти за остальными.

— Тогда пусть следует за любовью.

— Хм, — произнесла миссис Андерхилл и добавила: — Хм-мм. — Ее большой палец подпирал подбородок, а указательный — щеку, локоть лежал в ладони другой руки. — Так-так. Ему, наверное, нужна Супруга.

— Да, — согласился Дедушка Форель.

— Просто чтобы его теребить, поддерживать интерес к жизни.

— Да.

— Не хорошо быть человеку одному[252].

— Нет, — буркнул Дедушка Форель, но означало это согласие или, наоборот, несогласие — поди

---

[252] Примечания: 252

Не хорошо быть человеку одному. — Ср.: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному» (Бытие 2:18).

пойми, когда слово вылетело из рыбьего рта. — А теперь дай мне заснуть.

— Да! Да, конечно, Супруга! О чем я только думала? Да! — С каждым словом голос миссис Андерхилл звучал все громче. Дедушка Форель испуганно ушел под воду, и даже лед начал быстро таять и опускаться под ногами миссис Андерхилл, когда она вскричала громовым голосом: — Да!

— Любовь! — сказала она остальным. — Не в Бывшем, не в Предстоящем, а Ныне!

— Любовь! — подхватили все.

Миссис Андерхилл открыла горбатый сундук, окованный чугуном, и начала в нем рыться. Найдя то, что искала, она умело обернула этот предмет в белую бумагу, перевязала красно-белым шпагатом, смазала концы воском, чтобы шпагат не обтрепался, взяла ручку и чернила и, воспользовавшись услужливо подставленной спиной мистера Вудза, написала на бирке адрес. Управилась она со всем этим в мгновение ока.

— Пусть следует за любовью, — повторила она, когда пакет был готов. — Волей... — Она поставила последнюю точку. — Или неволей.

— А-а-а-а, — сказали все и, тихо переговариваясь, начали расходиться.

— Ты ни за что не поверишь, — сказала Сильвия Оберону, влетая в дверь Складной Спальни, — но я получила работу.

Сильвия отсутствовала с самого утра. Щеки ее горели от мартовского ветра, глаза сияли.

— Ага. — Приятно удивленный, Оберон засмеялся. — А твоя Судьба?

— Фиг с ней. — Она сорвала с крючка выкрашенный в кофе костюм и бросила в мусорную корзину. — Больше никаких отговорок. — Сильвия вынула рабочую обувь, спортивный свитер и шарф. Со стуком уронила ботинки на пол. — Нужна теплая одежда. Завтра я начинаю. Больше никаких отговорок.

— Сегодня хороший день. День дураков.

— Как раз мой. Мой счастливый день.

Оберон со смехом поднял Сильвию. Пришел апрель. В объятиях Оберона Сильвия испытала двойственное чувство, словно спаслась от какой-то опасности, но предчувствует, что она повторится. Ей было и уютно, и страшно от того, что уют этот был таким ненадежным, и глаза ее наполнились слезами.

— *Papo*, — сказала она. — Ты лучше всех. Тебе это известно? Ей-богу, ты замечательный.

— Ты, главное, расскажи, что это за работа.

Обняв его, она усмехнулась:
— Ни за что не поверишь.

Глава четвертая

Мне кажется, в религии слишком мало невероятного, чтобы дать пищу активной вере.

***Сэр Томас Браун*[253]**

Крохотная контора службы доставки «Крылатый гонец» вмещала в себя: прилавок или перегородку, за которой сидел диспетчер, вечно жевал незажженную сигару, совал в гнездо и выдергивал штекеры древнего коммутатора и мычал в головной телефон: «Крылатый слушает»; ряд складных стульев серого металла, где сидели временно не занятые курьеры (одни, как выключенные машины, оставались безжизненными и неподвижными, иные же, подобные Фреду Сэвиджу и Сильвии, развлекались болтовней); гигантский старый телевизор на подставке с цепью, до которой не дотянуться, вечно включенный (Сильвии удавалось урывками смотреть «Мир Где-то Еще»); несколько урн с песком и окурками;

---

[253] Примечания: 253

Мне кажется, в религии слишком мало невероятного, чтобы дать пищу активной вере. — Эпиграф взят из девятого раздела трактата «Religio Medici» («Вероисповедание врачевателя», 1643) английского писателя-эссеиста Томаса Брауна (1605–1681).

коричневые фарфоровые часы; боковое помещение, где сидел босс, его секретарь и иногда энергичный, но на вид отнюдь не процветающий коммивояжер; металлическую дверь с засовом. Окон не было.

Действие шло бы веселее

Сидеть в конторе Сильвии не очень нравилось. Слишком уж эти голые обшарпанные стены в свете флюоресцентных ламп напоминали ей детство: приемные общедоступных больниц и приютов, полицейские участки, места, где толкался, сменяя друг друга, бедно одетый народ. К счастью, ей не приходилось проводить там много времени: работа в «Крылатом гонце», как всегда, кипела. Чаще Сильвия, в рабочих ботинках и спортивном свитере с капюшоном (похожая, как она говорила Оберону, на подросточка-лесбиянку, но все же хорошенькая), спешила по холодным весенним улицам, красовалась в толпах и роскошных конторах, сдавала груз или брала его у самых разных секретарш: высокомерных, суровых, жеманных, неряшливых и добродушных. «Крылатый гонец! — кричала она им. — Распишитесь, пожалуйста, здесь». И уносилась прочь в лифтах, нагруженных мужчинами в красивых

костюмах: по дороге на ланч они разговаривали чуть слышно, а сытые — орали во весь голос, излучая дружелюбие. В отличие от Фреда Сэвиджа, она не знала город как свои пять пальцев, — с тайными ходами, проездами, сквозными дворами, позволяющими пешеходу сэкономить добрых полквартала, — но в целом ориентировалась неплохо и находила, где срезать путь. Она гордилась точностью, с какой выбирала проходы и повороты.

Ранним майским днем, когда с утра моросил дождик (Фред Сэвидж, сидевший рядом, вырядился в большую шляпу, обернутую пластиком), Сильвия беспокойно восседала на кончике стула, закидывала то правую ногу на левую, то наоборот, смотрела «Мир Где-то Еще» и ждала, чтобы выкрикнули ее имя.

— Вот тот парень, — объясняла она Фреду, — называл себя отцом ребенка, но настоящим отцом был другой парень; он развелся с женщиной, которая втюрилась в девушку, которая устроила автомобильную аварию и при этом был покалечен ребенок, который жил в доме, построенном этим парнем.

— М-м, — пробормотал Фред. Сильвия была целиком поглощена телевизором, Фред же смотрел

только на нее.

— Это он, — пояснила Сильвия, когда в кадре появился мужчина с прилизанными волосами, который потягивал кофе и долгое время изучал письмо, адресованное кому-то другому, решая, видимо, вскрыть конверт или воздержаться. По словам Сильвии, бороться с искушением он начал с первых чисел мая. — Если бы сценарий писала я, действие шло бы веселее.

— Не сомневаюсь, — кивнул Фред, и тут диспетчер вызвал Сильвию.

Не отрывая глаз от экрана, она вскочила. Взяла у диспетчера листок и шагнула к выходу.

— Пока, — бросила она Фреду и безответным пальто и шляпе в конце ряда стульев.

— Действие шло бы веселее, мм-м, — произнес Фред, по-прежнему смотревший только на Сильвию. — А ведь, бьюсь об заклад, так и пойдет.

Что-то отсылаем

Пакет нужно было получить в одном из номеров отеля, высокого здания из стекла и стали, холодного и даже мрачного, несмотря на наигранную веселость оформленных под тропики интерьеров и дешевого английского ресторана, а также на общую неугомонную суету. Сильвию

нес вверх под неизвестную музыку тихий лифт с ковровой отделкой. На четырнадцатом этаже дверь скользнула в сторону, и Сильвия ахнула от изумления, оказавшись перед громадным цветным фотопортретом Рассела Айгенблика: кусты бровей над прозрачными глазами, ярко-рыжая борода, которая покрывала щеки до самых глаз, строгий рот, свидетельствующий о проницательности, но также и доброте. Неизвестная музыка в лифте сменилась громким радио, игравшим танец «меренг»[254].

Сильвия заглянула в длинный шикарный коридор номера. Никого похожего на секретаря там не было. Вместо него у большой конторки палисандрового дерева пританцовывали и пили кока-колу четверо или пятеро юнцов, черные и пуэрториканцы. Одеты они были кто в своего рода военную форму, кто в свободную яркую рубашку или многоцветную куртку — отличительный знак воинства Айгенблика.

— Привет, — сказала Сильвия, успокоившись. — Служба доставки «Крылатый гонец».

— Привет. Проверь гонца.

— Вы-ыкладывай...

---

[254] Примечания: 254

«Меренг» — бальный танец, популярный на Гаити и в Доминиканской Республике.

Один из танцоров, под смех остальных, выступил ей навстречу, и Сильвия прошлась с ним в танце шаг-другой. Еще один позвонил по внутренней связи.

— Прибыл курьер. Мы что-то отсылаем?

— Послушай, — начала Сильвия, указывая большим пальцем на огромный портрет. — Этот парень, что он за фрукт?

Кто-то из юношей засмеялся, кто-то смотрел серьезно, а танцор отшатнулся, удивленный ее невежеством.

— Ну и ну, — выдохнул он. — Ну ничего себе...

Танцор вложил указательный палец правой руки в левую ладонь и готов был приступить к объяснениям (неглупый, подумала о нем Сильвия, недурно сложен и вообще ничего себе), но тут распахнулась двойная дверь у них за спиной. Краем глаза Сильвия уловила обширную комнату с отливающей блеском обстановкой. Оттуда вышел высокий белый юноша с коротко подстриженными светлыми волосами. Быстрым жестом он приказал выключить радио. Молодые люди настороженно сбились в кучу, выпятив грудь, но глядя с опаской. Блондин вскинул подбородок и, подняв брови, вгляделся в Сильвию, слишком погруженный в свои заботы, чтобы произнести

хотя бы слово.

— «Крылатый гонец».

Его долгий и пристальный взгляд граничил с оскорблением. Блондин на добрых пять дюймов превосходил ростом самого высокого из присутствующих, не говоря уже о Сильвии. Она скрестила на груди руки, вызывающе выставила вперед ботинок и ответила блондину таким же взглядом. Он вернулся в комнату, откуда вышел.

— Что с ним такое? — спросила она остальных, но они как будто стушевались перед начальством. Как бы то ни было, вскоре блондин возник снова с пакетом необычной формы, перевязанным старомодным красно-белым шпагатом, каких Сильвия не видела уже давно. Адрес был написан таким тонким старинным почерком, что его трудно было разобрать. Ничего более странного Сильвии доставлять не доводилось.

— Не медлите, — произнес незнакомец, и Сильвия уловила в его голосе легкий акцент.

— Не собираюсь. — Вот урод. — Распишитесь здесь, пожалуйста.

Блондин отшатнулся от книги, как от змеи. Сделав жест одному из юношей, он удалился и прикрыл за собой дверь.

— Ну и ну, — произнесла Сильвия, пока кра-

сивый юноша изображал в книге подпись с росчерком и точкой на конце. — Вы работаете на него?

Жесты юношей выразили возмущенное отрицание. Черный даже передразнил блондина, на что все остальные ответили беззвучным смехом.

— Хорошо. — Сильвия увидела, что обозначенный на конверте адрес находится на окраине города, на изрядном удалении от конторы. — Пока.

Танцор проводил ее к лифту, нашептав по пути несколько фраз (слушай, если у тебя есть для меня посылка, я знаю, что с ней делать; неужели нет... слушай, скажи-ка мне вот что... нет, это серьезно). Потрепались еще немного (Сильвия хотела бы остаться, но пакет под мышкой Как-то казался срочным и безотлагательным). У двери лифта, отделившей их друг от друга, танцор изобразил комическую позу отчаяния. В лифте Сильвия проделала еще несколько па, не под ту музыку, что там играла. Ей давно не выпадал случай потанцевать.

Дядя Папа

Засунув руки в передние карманы свитера и положив рядом с собой таинственный пакет,

Сильвия ехала на окраину города.

Нужно было спросить тех парней, не знают ли они Бруно. Она уже довольно долго ничего не слышала о своем брате. Знала только, что он не живет вместе с женой и тещей. Где-то шустрит... Но те парнишки — не его компания. Просто при деле. Вместо того чтобы попусту слоняться по кварталу. Она подумала о малыше Бруно: *pobricito*[255]. Прежде она дала себе клятву не реже чем раз в неделю добираться до Ямайки, чтобы его навестить. Брать с собой на денек. Так часто, как хотела вначале, у нее не получилось, а в последний хлопотный месяц она и вовсе там не была. Почувствовав груз семейной истории, губительного пренебрежения семейными связями, от которого страдала и она сама, и еще прежде ее мать, и Бруно, и племянницы с племянниками, Сильвия повторила свою клятву. Хорошенький семейный обычай: сначала избаловать человека любовью, а потом бросить в воду — либо выплывет, либо потонет. Дети. Почему она так уверена, что поступит с ними иначе? И все же, казалось ей, она сумеет. С Обероном она сможет завести детей. Иногда их духи обращались к ней

---

[255] Примечания: 255
Бедняжка (исп.).

с мольбой, чтобы она их родила. Она их почти что видела и слышала. Нельзя же сопротивляться без конца. Дети Оберона. Лучшего выбора не существует: лучший, добрейший из людей, во всех отношениях мировой парень. Но все же. Часто он обращается с ней так, словно она сама еще ребенок. И иной раз бывает прав. Но чтобы ребенок стал матерью... Когда на Оберона находил этот стих, Сильвия (да и сам он) звала его Дядя Папа. Он вытирал ей слезы. Он подтер бы ей и попу, если бы она попросила... Что за неприличная мысль.

А если они состарятся рядом? На что это будет похоже? Двое маленьких старичков, щеки как печеное яблоко, морщинистые веки, седые волосы. Переполнены годами и любовью. Мило... Ей бы хотелось увидеть его большой дом со всем, что там есть. Но его семья. Мать почти шести футов ростом, *coño*. Сильвия представила, как над нею склоняет головы ряд великанов. Спортивная модель. Джордж говорил, они чудесная компания. Он не один раз терялся в этом доме. Джордж: отец Лайлак. Хотя Оберон этого не знает, и Сильвия поклялась Джорджу молчать. Лайлак пропала. Как это случилось? Джордж что-то знает, но не говорит. А если Оберон потеряет кого-нибудь из ее детей? Белые люди. Придется не спускать с них

глаз, ползать за ними по полу, держать за подол.

Но если все это — не ее Судьба или если она в самом деле убежала от своей Судьбы, отказалась от нее, отвергла... Если это так, то, как ни странно, будущее ее казалось богаче, а не беднее. Если хватка Судьбы разжалась, свершиться может все что угодно. Не Оберон, не Эджвуд, не этот город. Видения людей и занятий, видения мест, видения самой себя теснились на границах ее убаюканного поездом сознания. Что угодно... И длинный стол в роще, накрытый белой скатертью, с угощением; и все ждут; а на свободном месте в середине...

Подбородок Сильвии упал на грудь, от этого у нее закружилась голова и она внезапно пробудилась.

Судьба, судьба. Сильвия зевнула, прикрыв рот ладонью, и тут взглянула на свою руку и на серебряное кольцо на пальце. Она носила его уже годы. Удастся ли его снять? Сильвия повернула кольцо. Потянула. Взяла палец в рот, чтобы увлажнить слюной. Потянула сильнее. Как бы не так: засело намертво. Но если потихоньку: да, если потихоньку подталкивать снизу... серебряный обруч пополз вверх, через большой сустав, и слез. Странная белизна засияла на оголенном пальце,

распространяясь на все тело. Весь мир, поезд сделались, казалось, бледными и нереальными. Сильвия медленно огляделась.

Пакет, лежавший рядом на сиденье, исчез.

В ужасе она вскочила, насаживая кольцо обратно на палец. «Эй, эй!» — произнесла она вслух, чтобы вор, если он все еще находился поблизости, выдал себя. Она поспешила в середину вагона, оглядывая попутчиков, которые поднимали глаза с видом невинным и любопытным. Посмотрела назад, на свое место.

Пакет был там, куда она его положила.

Медленно, не переставая удивляться, Сильвия села. Прижала рукой с кольцом гладкую белую обертку пакета, чтобы удостовериться в его реальности. Он был реален, хотя, казалось, необъяснимым образом подрос за время путешествия.

Определенно подрос. Оказавшись на улице, где ветерок прогнал дождь и тучи и день сделался по-настоящему весенним, первым из немногих дней весны, какие бывали в этом городе, Сильвия помчалась по адресу, указанному на пакете (тот уже едва умещался под мышкой). «Что неладно с этой штукой?» — вслух проговорила она, поспешно шагая по малознакомым улицам, застроенным большими темными домами-гостиницами и

роскошными особняками. Пробовала пристроить пакет то так, то эдак — более неудобного груза ей никогда не попадалось. Вокруг, однако, царила живительная весна: лучшего дня для доставки пакетов нельзя было желать. За спиной у Сильвии словно и в самом деле выросли крылья. Скоро придет лето, жаркое-прежаркое, — она не могла дождаться. Сперва на пробу, а потом смелее, Сильви начала расстегивать молнию на свитере, ощутила ласку ветерка на шее и груди и нашла, что это хорошо. А вот там, впереди, должно быть то самое здание.

Точно потерялась

Это было высокое белое здание, — или бывшее когда-то белым — украшенное гипсовыми фигурами, разнообразными, но унылыми. С боков выдавались два крыла, заключавшие в центре темный и сырой двор. На уровне крыши их соединяла нелепо высокая, словно вход для гиганта, кирпичная арка.

Сильвия подняла взгляд на эту чудовищную причуду и быстро отвела глаза. Высокие здания вызывали у нее дрожь, она не любила смотреть на их фасады. Вступила во двор, где недавний дождь оставил лужи, маслянистая поверхность

которых отливала всеми цветами радуги. Где искать нужную комнату под номером 001, было непонятно. Ставни старой привратницкой как будто оставались плотно закрытыми уже не один год; тем не менее, Сильвия подошла и тронула заржавевший колокольчик (если эта штука действует, то я тогда...).

Закруглить предположение ей не удалось, поскольку, едва она поднесла руку к черному боку колокольчика, ставенка в привратницкой отворилась, открывая взгляду верхушку головы — длинный нос, небольшие глазки, лысая макушка.

— Привет, не скажете ли... — начала Сильвия, но, не дав ей продолжить, обитатель привратницкой сморщил веки в улыбке или гримасе и поднял ладонь. Длинный палец указал Налево, потом Вниз, и ставня с шумом захлопнулась.

Сильвия рассмеялась. За что только ему платят? За это? Указания привели ее не к центральному входу, со ступенями и стеклянной дверью, а через сварную железную решетку к лесенке, по которой шел спуск в низкий дворик с дверью в полуподвал. В пространство, зажатое между высокими башнями, не попадали солнечные лучи.

Вниз, и вниз, и вниз[256], на гулкое, пахнувшее пещерой дно, где в стене виднелась дверца. Не просто маленькая, а очень[257], но другого пути не было. «Меня явно не туда занесло, — заключила она, поправляя невероятный пакет (который, мало что менял очертания, сделался к тому же очень тяжелым). — Точно потерялась». Тем не менее она отворила дверцу.

Перед ней оказался узкий и низенький коридор. В дальнем конце кто-то стоял перед дверью и что-то делал — красил ее? У него была кисть и банка с краской. Управляющий или помощник управляющего? Сильвия решила обратиться к нему за дальнейшими инструкциями, но едва она его окликнула, как незнакомец, испуганно оглянувшись, исчез за той самой дверью, над которой работал. Она все же двинулась туда и достигла двери раньше, чем рассчитывала: то ли коридор был короче, чем казался, то ли казался более длинным, чем был на самом деле, что, впрочем, все равно. Дверь на его конце была еще

---

[256] Примечания: 256

Вниз, и вниз, и вниз... — цитата из первой главы «Алисы в Стране чудес» — падение в кроличью нору (перевод Б. Заходера).

[257] Примечания: 257

...в стене виднелась дверца. Не просто маленькая, а очень... — Ср. крохотную дверь в чудесный сад («Алиса в Стране чудес», гл. II).

меньше прежней, уличной. «Если так пойдет дальше, — подумала Сильвия, — мне в конце концов придется встать на четвереньки...» На двери свежей белой краской были выведены цифры в старинном стиле: «001».

Немного посмеиваясь, но одновременно и побаиваясь, не вполне уверенная, что с ней не сыграли какую-то изощренную шутку, Сильвия постучала в дверцу.

— «Крылатый гонец»! — выкрикнула она.

Дверь приоткрылась. Изнутри в коридор проник странный солнечно-золотистый свет, словно бы с улицы. На дверь легла, чтобы открыть ее шире, очень длинная и очень узловатая рука, а потом показалось лицо с широкой ухмылкой.

— «Крылатый гонец»? — полувопросительно повторила Сильвия.

— Да? А что это такое? Чем мы можем вам помочь? — Это был мужчина, красивший дверь, или кто-то на него похожий, или человек, направивший ее сюда. Или кто-то, похожий на него.

— Вам пакет, — проговорила она.

— Ага, — отозвался маленький человечек. Все с той же ухмылкой он открыл дверь шире, чтобы Сильвия могла, наклонившись, войти. — Тогда пожалуйте.

— Вы уверены, что мне сюда? — Сильвия заглянула внутрь.

— О, безусловно.

— Ой! Здесь все такое маленькое.

— Верно. Входите же, будьте любезны.

Дикий Лес

Вечером на тех же майских улицах, наслаждаясь новоиспеченной весной, Оберон неспешно брел к Ферме и думал о славе, удаче и любви. Он возвращался из офиса продюсерской компании, которая выпускала «Мир Где-то Еще» и несколько других сериалов, менее успешных. Там он отдал в наманикюренные руки поразительно дружелюбного, но несколько рассеянного сотрудника (немногим старше его самого) два сочиненных им эпизода к их знаменитой мыльной опере. Его заставили выпить кофе, и молодой человек (судя по всему, не чрезмерно загруженный работой), перескакивая с темы на тему, принялся болтать о телевидении, сценариях, съемках. Упоминались огромные денежные суммы, затрагивались и тайны бизнеса. Оберон вовсю старался скрывать, как удивлен первыми, и с мудрым видом кивать при упоминании вторых, хотя мало что понимал. Потом его проводили к выходу, приглашая загля-

дывать в любое время, две секретарши (та из них, что сидела в приемной, отличалась поистине несказанной красотой).

Поразительно и изумительно. Обширные перспективы открылись перед Обероном на запруженной толпой улице. Сценарии, плод их с Сильвией сотрудничества в долгие и веселые вечера, были увлекательны, хорошо слажены, хотя, напечатанные на старой машинке Джорджа, изысканным оформлением не блистали. Не важно, не важно: в будущем его ждут дорогое офисное оборудование, долгие ланчи, самые высокопрофессиональные секретарши и трудная работа за большое вознаграждение. Он выхватит золотое сокровище прямо из пасти Дракона, который охраняет его в Диком Лесу.

Дикий Лес. Да. Оберон знал: было время, — скажем, при Фридрихе Барбароссе, императоре Запада, — когда лес начинался прямо за бревенчатыми стенами крохотных городков, по краям вспаханных земель. Лес, где обитали волки, медведи, ведьмы в избушках, способных исчезать, драконы, великаны. В городках жизнь шла организованно и обыкновенно; там были безопасность, собратья, огонь, еда и все удобства. Скучно, наверное, скорее разумно, чем увлека-

тельно, но при том безопасно. И только по ту сторону, в Диком Лесу, могло произойти всякое, в том числе любое приключение. Там твоя жизнь была в твоих руках.

Но теперь все перевернулось. Все стало иначе. В Эджвуде, за пределами большого города, ночь не таит в себе ужасов, леса там прирученные, улыбающиеся, удобные. Оберон не знал, остался ли в многочисленных дверях Эджвуда хоть один работающий замок. Во всяком случае, ему не приходилось видеть там запертую дверь. Душными ночами он часто спал на открытых верандах или даже в лесу, внимая природным звукам и тишине. Нет, только на городских улицах можно видеть волков, настоящих и воображаемых; только здесь приходится баррикадировать двери, чтобы не вторглось в дом то страшное, что бродит Снаружи, — так прежде запирались на засовы жители леса. Здесь случались приключения, выпадала удача, здесь ты мог заблудиться, пропасть без следа в пасти зверя, здесь ты учишься жить с дрожью в коленках и хватать сокровище; здесь и только здесь находится нынче Дикий Лес, и Оберон был здешним — лесным — жителем.

Да! Стремление овладеть сокровищем породило в нем бесстрашие, а бесстрашие — сделало

сильным. Вооруженным странником шагал он сквозь толпу. Это слабых пожрут звери, не его. Он подумал о Сильвии, мудрой как лисица, воспитанной в лесу, хотя и рожденной в относительно благополучном и безопасном месте, в джунглях на острове. Она знает это место и не меньше Оберона (больше, много больше) стремится овладеть сокровищем, и ее хитрость не уступает алчности. Что за команда! И подумать только: всего какой-нибудь месяц-другой назад они словно застряли в буреломе, потеряли друг друга в дебрях, еще немного — и сдались бы, расстались. Расстались. Бог мой, как вовремя ей выпал шанс! Как удачно они выпутались из беды!

Сейчас, этим вечером, Оберон мог представить себе, что они состарятся бок о бок с Сильвией. Холодный горький март на время отнял у них радость общения, но теперь она расцвела повсюду, как яркие, пышные одуванчики. В это самое утро Сильвия опоздала на работу по совершенно особой причине: был успешно доведен до конца некий сложный процесс. Бог мой, каких творческих усилий они требовали друг от друга, и какой основательный отдых требовался после этих усилий — то, а потом другое могло бы потребовать от человека всей жизни, и Оберону казалось,

будто он за это утро и прожил всю жизнь. И все же жизнь могла бы длиться бесконечно, Оберон чувствовал, что это возможно, не видел причин, почему должно быть иначе. Добредя до середины перекрестка, он остановился с механической улыбкой, ничего вокруг не замечающий. Пока он мгновение за мгновением воспроизводил в душе события этого утра, сердце чеканило удары, словно золотые монеты. Перед ним громко взревел грузовик, которому Оберон мешал проехать на зеленый свет. Оберон отпрыгнул в сторону, и водитель бросил ему неразборчивое ругательство. Пораженный и ослепленный любовью, Оберон думал (улыбаясь в безопасности на дальнем тротуаре): вот так я и умру под колесами грузовика, когда, поглощенный сладострастием и любовью, забуду, где нахожусь.

С той же улыбкой, но стараясь быть настороже, он припустил быстрым шагом. Не теряй головы. «В конце концов...» — подумал он, но продолжить эту мысль не смог: в то же мгновение то ли пронесся по улице, то ли склубился в переулке, то ли снизошел с напоенных ароматом небес, будто куча визгливого смеха, — некий звук, но нет, не звук; такая же бомба, какая свалилась однажды на них с Сильвией, только больше в два раза

или около того. Она прокатилась по Оберону, как прокатился бы миновавший его грузовик, но в то же время казалось, что вырвалась она из самого Оберона. Бомба понеслась прочь, вверх по улице, и словно вакуум в ее хвосте (или в ней самой?) засосал одежду взорванного Оберона и взъерошил его волосы. Ноги Оберона продолжали размеренно ступать, — вреда, во всяком случае физического, эта штука не причинила, — но с лица сползла улыбка.

«Ого-го, — подумал он, — на сей раз они взялись за дело всерьез». Правда, он не знал, откуда возникла эта мысль, что это за «дело»; не знал пока и кто эти «они».

Это война

В тот самый миг, далеко на западе, в штате, название которого начинается с «I», Рассел Айгенблик, Лектор, собирался встать со складного стула, чтобы обратиться к еще одной громадной толпе. В руках он держал небольшую колоду карт, отрыжка во рту отдавала красным перцем (снова цыпленок по-королевски), в левой ноге, чуть ниже ягодицы, пульсировала боль. Он сомневался, что ему сегодня стоило выступать. Тем утром, в конюшнях его богатых гостеприимцев,

он вскарабкался на лошадь и не спеша проехался по небольшой огороженной площадке. Позируя фотографам, он выглядел, как обычно, молодцевато, но опять же, как обычно в эти дни (некогда он был выше среднего роста), недомерком. Затем ему предложили пронестись галопом по полям и лугам, таким подстриженным и гладким, что лучших ему не встречалось. Не стоило. Он не объяснил, что в последний раз ездил верхом столетия назад. С недавних пор ему не хватает духу для таких рискованных замечаний. Он задумался о том, помешает ли хромота с должным изяществом взойти на подмостки.

Как долго, как же долго, думал Айгенблик. Это не потому, что он бежал от работы или страшился связанных с нею испытаний. Его паладины старались облегчить ему задачу, и он был им благодарен, но жалкое нынешнее амикошонство, похлопывание по спине и прогулки под ручку оставляли его равнодушным. Его никогда не заботили церемонии. Он был человеком практическим (или полагал себя таковым), но если его народ — который он уже считал своим — хотел от него именно этого, что ж, ладно. Человек, который без жалоб спал среди волков Тюрингии и скорпионов Палестины, уж как-нибудь не уда-

рит лицом в грязь, когда приходится ночевать в мотелях, обхаживать стареющих устроительниц приемов и спать урывками в самолетах. Иногда только (как теперь) необычность его долгого путешествия, слишком уж недоступная пониманию, вызывала скуку. Великий сон, столь ему привычный, начинал притягивать к себе, и Айгенблику хотелось снова склонить тяжелую голову на плечи товарищей и закрыть глаза.

При одной этой мысли веки его начинали смыкаться.

А затем возникла, прокатившись из стартового пункта во всех направлениях, та самая штука, которую ощутил или услышал Оберон в Городе: штука, на миг превратившая мир в переливчатый шелк или же показавшая под другим углом его переменчивый, как у тафты, рисунок. Оберон принял эту штуку за бомбу, но Рассел Айгенблик знал: это была не бомба, а бомбардировка.

Подобно действенному тонизирующему средству, она пробежала по его жилам. Усталость сняло как рукой. При завершающих словах панегирика в свою честь Рассел Айгенблик вскочил. Глаза его горели огнем, губы были сурово сжаты. Всходя на подмостки, он театральным жестом развеял по ветру листки с тезисами Лекции.

Огромная аудитория при виде этого выдохнула и разразилась приветственными криками. Обеими руками ухватившись за край кафедры, Айгенблик наклонился вперед и проревел в готовый принять его слова микрофон:

— Вы должны изменить свою жизнь!

Волна удивления, волна его собственного усиленного техникой голоса омыла толпу, приподняла ее, ударилась в заднюю стену и вернулась, чтобы разбиться над его головой. «Вы должны. Изменить. Свою жизнь!» Волна, цунами, повернула обратно к ним. Айгенблик торжествовал, увлекая толпу и словно бы заглядывая в глубину каждой пары глаз, каждого сердца. Они тоже это знали. Слова теснились в его мозгу, выстраиваясь фразами, взводами, полками, сопротивляться которым было бесполезно. Он выпускал их на поле боя.

— Приготовления закончены, голосование состоялось, жребий брошен, решающий час наступает! Все то, чего вы больше всего боялись, уже свершилось. Ваши извечные враги держат в своих руках все карты. К кому вам обратиться? Крепостные стены в трещинах, доспехи бумажные, смех — старинное ваше оружие — звучит упреком в ваших устах. Ничто — ничто не оправ-

дывает ожиданий. Вы глубоко заблуждались. Смотрели в зеркало и видели перед собой прежнюю длинную дорогу, но она зашла в тупик, туда, где нет пути. Вы должны изменить свою жизнь!

Айгенблик выпрямился. Такие ветра разбушевались во Времени, что он с трудом разбирал собственные слова. В их водовороте неслись вооруженные герои, наконец взошедшие на коней, — сильфы, одетые для битвы, сонмы сильфов среди воздушных масс. Взывая к разинувшей рты толпе, бичуя ее и обличая, Айгенблик почувствовал, что освобождается от оков и наконец предстает во всей своей цельности. Словно бы он мгновенно вырос из старого поношенного панциря и с восторгом облегчения чувствует, как тот трещит и раскалывается. Он молчал, ожидая, пока всё до единого слова дойдет до слушателей. Толпа затаила дыхание. Вновь прорезавшийся голос Айгенблика, громкий, низкий, вкрадчивый, заставил всех содрогнуться.

— Хорошо. Вы не знали. О нет. Откуда бы ва-ам знать? Вы никогда не задумывались. Забыли. Не слышали. — Наклонившись вперед, Айгенблик скользнул взглядом по их головам, как грозный родитель, готовый проклясть своих чад. — Что ж, на этот раз прощения не будет. И так слишком

многое прощено. Вы это, конечно, понимаете, вы знали это с самого начала. Если в глубине души вы предвидели, что это случится, — предвидели, не отпирайтесь — то надеялись, наверное, на повторное незаслуженное снисхождение; думали получить еще шанс, как бы плохо ни использовали предыдущие; мечтали, что в последний момент вас не заметят, вас, именно вас, пропустят, не сосчитают. Всех остальных поглотит катастрофа, а вы уцелеете. Нет! Только не в этот раз!

— Нет! Нет! — кричали они ему в испуге. Душа его взволновалась, преисполнившись глубокой любви и жалости к ним за их беспомощность, и он сделался силен и могуч.

— Нет, — проговорил Айгенблик мягко, воркующим голосом, укачивая их в объятиях бездонного гнева и жалости, — нет, нет, Артур спит на Авалоне; у вас нет защитника, нет благой надежды; выход один — сдаться, разве вы еще сомневаетесь? Сдаться — в этом единственное спасение; предъявить заржавленный меч, бесполезный, как игрушка. Предъявить себя, беспомощных, не знающих ни причин, ни следствий, состарившихся, растерянных, слабых как дети. И все же. И все же. Жалкие и бессильные, — медленны-

ми движениями он жалостливо простер к ним руки, словно желая всех обнять и приголубить, — готовые угождать, исполненные любви, проливающие младенческие слезы и молящие только о милости и снисхождении; и все же, все же. — Руки упали, большие ладони вновь обхватили края кафедры, словно это было оружие; пожар вспыхнул в груди Рассела Айгенблика, и сердце охватила ужасающая благодарность за то, что он может наконец склониться к микрофону и произнести: — Все же жалости вы не дождетесь, ибо у них ее нет, страшное оружие не остановите, ибо оно уже вынуто из ножен, и ничего не измените, ибо это война. — Он ниже склонил голову, приблизил губы сатира к ошеломленным микрофонам и оглушил зал шепотом: — Леди и джентльмены, ЭТО ВОЙНА.

Непредвиденный шов

Ариэль Хокскилл в Городе тоже ощутила перемену, похожую на мгновенную менопаузу, но происшедшую не с ней, а со всем миром. Стало быть, Перемена; Перемена не с маленькой, а с большой буквы прокатилась по пространству и времени; или же мир запнулся о толстый и непредвиденный шов в бесшовной ткани.

— Ты это почувствовал? — спросила она.

— Что почувствовал, дорогуша? — отозвался Фред Сэвидж, все еще хихикая над кровожадными заголовками во вчерашней газете.

— Ладно, бог с ним. — Голос Хоксквилл звучал мягко, задумчиво. — Теперь о картах. Что-нибудь вырисовывается? Подумай хорошенько.

— Туз пик перевернут. Пиковая дама в окне твоей спальни, свирепая как волчица. Бубновый валет снова на дороге. Червовый король, это я, детка. — Он начал негромко напевать сквозь зубы (цвета слоновой кости) и, не вставая, проворно ерзать по длинной, истертой ягодицами скамье в зале ожидания.

Хоксквилл явилась на большой Вокзал, чтобы обратиться к своему старинному оракулу. Она знала, что он обретается здесь почти каждый вечер после работы, сообщает незнакомцам странные истины, водит узловатым, похожим на корень в комьях грязи указательным пальцем по вчерашней газете, тыкая в интересные места, которые пассажиры могли пропустить, или рассуждает о том, как женщина, которая носит мех, усваивает пристрастия соответствующего животного. (Хоксквилл подумала о робких девушках из предместья, одетых в кроличьи шубки,

выкрашенные под рысь, и улыбнулась.) Иногда она приносила сэндвич, чтобы присоединиться к Фреду, если он закусывал. Уходила она обычно более мудрой, чем приходила.

— Карты, — сказала она. — Карты и Рассел Айгенблик.

— Ах, этот фрукт... — Сэвидж ненадолго задумался. Потряс свою газету, словно надеялся вытрясти оттуда тревожные сведения. Но ничего не выпало.

— Что это? — воскликнула она.

— Черт меня возьми, если сейчас не приключилась какая-то перемена. — Сэвидж взглянул вверх. — Чего-то... Что это было, как ты сказала?

— Я ничего не говорила.

— Ты назвала имя.

— Рассел Айгенблик. В картах.

— В картах. — Он аккуратно сложил газету. — Этого хватит, — сказал он. — В самый раз.

— Скажи, что ты думаешь.

Но она переборщила. Такую опасность нужно учитывать, когда имеешь дело с большим виртуозом: стоит слишком сильно нажать, и они начинают сердиться и капризничать. Фред встал (но не выпрямился: он всегда ходил согнутый, как вопросительный знак) и принялся обшаривать

свои карманы в поисках чего-то несуществующего.

— Надо бы проведать дядюшку. Не найдется ли у тебя бакс на автобус? Баксик-другой или мелочь?

С востока на запад

Ариэль возвращалась через огромный сводчатый зал Гранд-Сентрала, на сей раз нисколько не поумневшая и еще сильнее обеспокоенная. Сотни торопливых прохожих, которые запруживали пространство вокруг центральных часов, смахивавших на гробницу, и волнами наплывали на кассовые киоски, выглядели рассеянными, озабоченными, неуверенными в своей судьбе, но разве не такими же они бывали в любой другой день? Хокскилл посмотрела вверх, где по диагонали синего, как ночь, купола был нарисован золотом зодиак, потускневший от времени и взглядов; по линиям рисунка шел ряд крохотных лампочек, многие из которых перегорели. Шаги ее замедлились, челюсть отвисла. Ариэль повернулась и шире раскрыла веки, не веря своим глазам.

Зодиак располагался поперек купола в правильном порядке: с востока на запад.

Не может быть. Говоря о своем безумном Горо-

де, она любила повторять, что там перевернут даже зодиак, глядящий с потолка его центрального здания, — то ли монументалист, его писавший, не разбирался в астрономии, то ли ловко пошутил над горожанами, глухими к велениям звезд. Она гадала, не изменится ли этот неправильный порядок, если — после должной подготовки — прогуляться по Вокзалу под перевернутым космосом в обратном направлении, но пробовать не пыталась, дабы не нарушать приличия.

А теперь — смотри-ка. На месте находился овен, телец без задней части, близнецы и рак, Король Лев, и дева, и весы с двумя чашами. Далее парящий скорпион с красным Антаресом на жале, кентавр с луком, козерог в форме рыбьего хвоста, человек с кувшином[258]. И две рыбы, с хвостами, соединенными бантиком. Толпа безостановочно обтекала застывшую Хокскивилл, как обтекала бы любой неподвижный объект на своем пути. Пример, как обычно, оказался заразителен, другие тоже задирали подбородки и окидывали взглядом потолок, но, неспособные оценить то невероятное, что заметила Хокскивилл, спешили

[258] Примечания: 258

...*человек с кувшином*. — В Евангелиях (Мк. 14:13; Лк. 22:10) — тот, кто провел апостолов к месту Тайной вечери; созвездие Водолея. О символическом смысле этой фигуры подробно говорится в «Эгипте».

дальше.

Овен, телец, близнецы... Хокскvилл с трудом верила своей памяти, в которой сохранился другой порядок. Нынешний, казалось, существовал вечно: нарисованные звезды выглядели такими же старыми и неизменными, как их небесные оригиналы. Ей стало страшно. Это одна Перемена, а какие еще обнаружатся на улицах, какие затаились в будущем и выявятся потом? И вообще, что Рассел Айгенблик творит с миром и с какой стати она так уверена, будто Рассел Айгенблик как-то тут виноват? Вдруг прозвучал мягкий баритональный удар колокола, подхваченный эхом. Колокол бил негромко, но четко, спокойно, словно знал какую-то тайну: это были вокзальные часы, отбивавшие малую долю часа.

Сильвия?

Столько же пробило и на пирамидальной колокольне здания, которое построил в предместье Александр Маус, — единственной городской колокольне, отбивавшей время для удобства публики. Одна из четырех нот, составлявших мелодию, не действовала, остальные же неравномерно падали в глубокие канавы улиц, уносились ветром, заглушались транспортом. Обычно от них не бы-

ло никакого толку, но Оберон (который отпирал дверь Ветхозаветной Фермы) так или иначе не интересовался временем. Он огляделся, чтобы узнать, не увязались ли за ним воры. (Однажды его уже ограбили два молокососа, забрали, за отсутствием денег, бутылку джина, которую он нес с собой, сорвали с него шляпу и бросили на землю, а потом пробежались по ней своими длинными, обутыми в спортивные тапки ногами.) Скользнув внутрь, он задвинул дверные засовы.

Коридор, дыра в кирпичной стене, которую сделал Джордж, чтобы проникать в соседнее здание, еще один холл, лестница с перилами в слоях старой краски. Через окно холла в пожарный выход, взмах руки — приветствие счастливым фермерам, которые внизу возятся с побегами и копаются в земле, и обратно в другое здание, еще один коридор, нелепо узкий и тесный, но, при всей своей мрачности, хорошо знакомый и радующий, поскольку вел домой. Оберон посмотрелся в красивое зеркало, которое повесила Сильвия в конце холла, а под ним поставила крохотный столик и вазу с сухими цветами, *bien*[259] мило. От поворота ручки дверь не открылась. «Сильвия?»

---

[259] Примечания: 259
Очень (фр.).

Нет дома. Еще не вернулась с работы или занята на Ферме. Или просто гуляет: возрожденное солнце всколыхнуло голубую лагуну в ее крови. Оберон откопал свои ключи и со все большим нетерпением стал рассматривать их в темноте. Этот, с яйцевидным окончанием, для верхнего замка, другой, с призмой на конце, от среднего; о, черт! Один из ключей упал на пол, и Оберону пришлось встать на четвереньки и, кипя яростью, рыться в непоправимой застарелой грязи всех щелей и закоулков Города. Вот же он: с шариком на конце, для полицейского замка, который запирает дверь от полиции, ха-ха.

— Сильвия?

Складная Спальня казалась удивительно большой и Как-то, несмотря на заливавший ее через все маленькие оконца солнечный свет, безрадостной. Что такое? Пол как будто подметен, однако комната не выглядит убранной. Вычищено, но не чисто. Постепенно он понял, что в комнате многого не хватает — очень многого. Грабители? Оберон осторожно шагнул в кухню. Исчезла коллекция мазей и прочего, принадлежащая Сильвии. Ее шампуни и щетки для волос тоже исчезли. Всего этого нет. Но вот его собственная старенькая бритва «жиллетт» на месте.

Та же картина в спальне. Ее тотемы и хорошенькие безделушки отсутствуют. Ее фарфоровая сеньорита с мертвенно-белым лицом и черными завитками волос, верхушка наполовину отделена от яркой юбки (на самом деле это шкатулка для драгоценностей), — отсутствует. Нет ее шляп, висевших на дверце ванной. Нет конверта с лоскутным рисунком, где она держала важные бумаги и рассортированные по разделам фотографии.

Оберон распахнул дверь стенного шкафа. Звякнули пустые вешалки, испуганно взмахнуло рукавами собственное пальто Оберона, но из вещей Сильвии не обнаружилось ничего.

Вообще ничего.

Оберон осмотрелся один раз, потом еще. Застыл в середине пустой комнаты.

— Всё, пропала, — сказал он.

Книга пятая. Искусство Памяти

Глава первая

Полям, пещерам, норам памяти несть числа; их полнота не поддается счету, как и разнообразие вещей, их наполняющих... Прокладываю себе путь меж ними, насколько хватает сил, и нигде не вижу конца.

***Августин. Исповедь*[260]**

Глубокой ночью в крохотную дверцу Космооптикона на верхнем этаже особняка Ариэль Хокскуилл постучалась тяжелым кулаком Каменная Дева.

— К вам пришли из «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста».

— Хорошо. Пусть подождут в приемной.

Стеклянные небеса освещались только луной (позади отраженной луны Космооптикона) и тусклым отсветом городских огней; ни темного зодиака, ни созвездий нельзя было разглядеть. Как странно, подумала Хокскуилл: в противность естественному порядку Космооптикон освещен

---

[260] Примечания: 260

Полям, пещерам, норам памяти несть числа... — эпиграф из «Исповеди» (кн. X, 17, 26) Блаженного Августина (354–430).

и читаем днем и темен ночью, когда настоящие небеса предстают в полном облачении... Она встала и пошла прочь, стуча ногами по железной Земле и эмалевым рекам и горам.

Герой пробудился

Миновал уже год с тех пор, когда она заметила, что зодиак на темно-синем потолке Вокзала поменял свой прежний неправильный порядок на обычный, природный. В этот год она еще больше углубилась в разрешение загадки, кто такой и откуда взялся Рассел Айгенблик, хотя члены клуба странным образом замолчали. В последнее время перестали поступать от них по телеграфу шифрованные напоминания. Правда, Фред Сэвидж регулярно появлялся у ее дверей с очередным гонораром, но ни понуканиями, ни упреками и эти выплаты больше не сопровождались. Неужели члены клуба потеряли интерес к Расселу Айгенблику?

Если так, подумала Хоксквилл, этой ночью она может подстегнуть их любопытство.

Собственно, Ариэль разрешила загадку уже несколько месяцев назад, причем ответ явился не из оккультных, а из вполне земных, подлунных сфер: из ее старой энциклопедии (десятое изда-

ние «Британники»), шестого тома Грегоровиуса (истории средневекового Рима), а также из «Пророчеств» аббата Иоахима Флорского[261] (большой фолиант в два столбца, с застежкой). Потребовалось все ее искусство, а еще немало времени и труда. Но теперь сомнений не осталось. То есть она знала, Кто. Как и Почему — оставалось неизвестным. Об этом она знала не больше, чем о том, кто такие дети детей Времени, чьим защитником Рассел Айгенблик, по всей видимости, являлся. Она не ведала также, где находятся карты, в которых он есть и в каком смысле он в них пребывает. Однако она разведала, Кто, и призвала к себе членов «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста», чтобы они выслушали новость.

Они расположились на стульях и на софе в тускло освещенной и тесной гостиной (она же кабинет) на первом этаже.

— Джентльмены, — начала Хокскивилл, схватившись, как за аналой, за прямую спинку кожаного кресла, — более двух лет назад вы поручили мне выяснить, кто такой Рассел Айгенблик и каковы его намерения. Я заставила вас бессовестно долго

[261] Примечания: 261

Иоахим Флорский (Джоаккино да Фьоре, ок. 1132–1202) — итальянский мыслитель, монах-цистерцианец. Предсказывал наступление эпохи Святого Духа, которая принесет на землю мир и любовь.

ждать, но сегодня могу, по крайней мере, назвать личность. Что до рекомендаций, как вести себя в данной обстановке, то выработать их будет значительно трудней. Если вообще удастся. А кроме того, даже имея таковые, вы едва ли — да, даже вы — будете способны ими руководствоваться.

Последовал обмен взглядами, не столь подчеркнутый, как на сцене, но тоже выражавший удивление и озабоченность. Хокскуилл и прежде приходило в голову, что люди, к ней пришедшие, были вовсе не члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста», а актеры, которых наняли, чтобы их изображать. Она постаралась выбросить из головы эту мысль.

— Всем нам известен, — продолжала Хокскуилл, — сюжет, который встречается в мифах разных народов: герой, убитый на поле битвы или иным образом встретивший трагический конец, будто бы не умирает, а бывает перенесен в иное обиталище — на остров, в пещеру, на облако, — где он покоится во сне и откуда, в случае крайней опасности, выступит вместе со своими паладинами, дабы помочь народу и затем стать его правителем, открыв тем самым

новый Золотой век. *Rex Quondam et Futurus*[262]. Артур на Авалоне[263], Сикандер[264] где-то в Персии, Кухулин[265] в каждом втором болоте и в каждой второй лощине Ирландии; наконец Иисус Христос... При всей их трогательности, эти рассказы не имеют ничего общего с действительностью. Страдания народа не пробудили Артура; сон Кухулина длился веками, несмотря на братоубийственные раздоры в его стране; Второе Пришествие вечно предсказывается и вечно откладывается — церкви, которая так на него надеялась, уже практически пришел конец. Нет, что бы ни сулил человечеству следующий Мировой век (а его начало, в любом случае, ожидается не завтра), героя, имя которого мы хорошо знаем, он нам не вернет. Но... — Хокскилл помедлила,

---

[262] Примечания: 262

Король Былого и Грядущего (лат.).

[263] Примечания: 263

Rex Quondam et Futurus. Артур на Авалоне... — По преданию, на гробнице короля Артура было написано: «Здесь лежит Артур, король былого и грядущего» (см. «Смерть Артура» Мэлори, кн. XXI, гл. VII).

[264] Примечания: 264

Сикандер (Искандар) — искаженное Александр (Македонский), имя, под которым великий завоеватель остался в восточных легендах.

[265] Примечания: 265

Кухулин — герой ирландской мифологии. Погиб в бою, поскольку враги заставили его нарушить зароки-«гейсы» или, напротив, соблюсти их во вред себе.

охваченная внезапным сомнением. На слух эта мысль показалась еще более нелепой. Покраснев от стыда, Хокскилл продолжила: — Но — так уж получилось — одна из этих историй оказалась подлинной. Она не походила бы на правду, даже если бы принадлежала к числу тех, что у всех на устах, но ее слышишь не так уж часто и герой, о котором она повествует, почти совсем забыт. Но мы знаем, что эта история говорит правду, так как осуществилось ее пророчество: герой пробудился. Это — Рассел Айгенблик.

Против ожиданий новость не прозвучала подобием разорвавшейся бомбы. Хокскилл почувствовала, что слушатели от нее отшатнулись; она видела, а скорее догадывалась, как окаменели шеи, а подбородки уткнулись недоумевающе в дорогие рубашки. Ей оставалось только продолжать.

— Вы, как и я, задались, наверное, вопросом: что это за народ, которому пришел на помощь Рассел Айгенблик. Мы как народ еще слишком молоды, чтобы обзавестись преданиями, подобными рассказу о короле Артуре, да, вероятно, и слишком самодовольны, чтобы в таковых нуждаться. Ни одной подобной легенды не сложено о так называемых отцах нашей страны, а идея о

том, что кто-то из этих джентльменов не умер, а погрузился в сон, где-нибудь, скажем, на плато Озарк или в Скалистых горах, забавна, но не имеет сторонников. Один лишь всеми презираемый краснокожий, танцующий с духами, уходит корнями в достаточно далекое прошлое, чтобы снабдить нас таким героем. Однако индейцы проявили к Расселу Айгенблику так же мало интереса, как он к ним. О каком же народе идет речь?.. Ответ таков: это не народ. Не народ, а Империя. Империя, способная включить в себя (и некогда включавшая) любой народ или народы. В ней все менялось: жизнь, королевская власть, границы, столицы. Помните шутку Вольтера: не священная, не римская и не империя?[266] И все же она, в некотором смысле, существовала до тысяча восемьсот шестого года (как мы думали), когда отрекся от власти последний император, Франц Второй[267]. Так вот, я утверждаю, джентльмены, что Священная Римская империя не кончилась в тысяча восемьсот шестом году.

---

[266] Примечания: 266

Помните шутку Вольтера: не священная, не римская и не империя? — Из «Опыта о нравах и духе наций» (1769), гл. LXX.

[267] Примечания: 267

Франц Второй — он же Франц I (1768–1835), австрийский король с 1792 года, император Австрии с 1804 года, последний император Священной Римской империи (в 1792–1806, под именем Франца II).

Она продолжала существовать. Как амеба, она перемещалась, ползла, раздувалась и сжималась. Пока длился затяжной сон Рассела Айгенблика (по моим подсчетами — ровно восемь веков), — пока, фактически, спали мы все — она сползала и скользила, дрейфовала наподобие континентов и наконец очутилась там, где находимся мы с вами. Где проходят ее границы, не имею понятия, подозреваю только, что они совпадают с границами данной страны. Мы, во всяком случае, пребываем явно в их пределах. Не исключаю, что этот город является Столицей — а если нет, то Главным Городом.

Хокскvилл отвела взгляд от слушателей.

— А Рассел Айгенблик? — спросила она, ни к кому не обращаясь. — Он был некогда императором. Не первым, разумеется, — первым был Карл Великий (о нем некоторое время ходила схожая история: сон, пробуждение) — не последним и даже не самым выдающимся. Да, он был силен и талантлив; по характеру неустойчив; править не умел; как полководец отличался упорством, но, в общем, был неудачник. Кстати, именно он присовокупил к названию империи слово «священная». Около тысяча сто девяностого года, когда в империи воцарился относительный мир

и с Папой тоже пока не было осложнений, он решил отправиться в Крестовый поход. Язычник недолго трепетал перед его карающим мечом: выиграв битву или две, император при переправе через одну из рек Армении упал с лошади и не смог выплыть в тяжелых доспехах. Он утонул. Так утверждает Грегоровиус и другие авторитетные историки... Но германцы, претерпевшие затем множество неудач, отказались в это верить. Он не умер. Он просто спит — возможно, у Кюффхаузера в горах Гарц (это место до сих пор показывают туристам), или среди моря, на острове Домданиель[268], или где-нибудь еще. Однажды он вернется, дабы помочь своим любимым германцам, дать победу германскому оружию и привести к славе германскую империю. Последний, чудовищный век немецкой истории исчерпал эти тщеславные мечты. Но на самом деле император, несмотря на его место рождения и имя, не был германцем. Он был императором всего мира, во всяком случае христианского. Империю он получил в наследство от француза Карла Великого и римлянина

[268] Примечания: 268

Домданиель — мифическое обиталище злых духов, гномов и волшебников «под дном океана», вблизи Туниса или в другом месте. Впервые упомянуто в «Продолжении арабских ночей» (1788–1793), Жака Казота (1719–1792) и Дениса Шаве, а затем — у Роберта Саути (1774–1843) в поэме «Талаба-разрушитель» (1801), основанной на арабском предании.

Цезаря. Теперь он переместился вместе с древними границами, но поменял при этом не империю, а только имя. Джентльмены, Рассел Айгенблик — это император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, да, *die alte Barbarossa*[269], пробудившийся, чтобы взять под свое начало империю в последний, столь необычный период ее истории.

Заключительную фразу Хокскvилл почти выкрикнула, поскольку слушатели с протестующим ропотом начали вставать.

— Чепуха! — произнес один.

— Абсурд! — презрительно фыркнул кто-то еще.

— Вы имеете в виду, Хокскvилл, — рассудительно начал третий, — что Рассел Айгенблик вообразил себя воскресшим императором и что...

— Понятия не имею, кем он себя воображает. Я говорю о том, кем он является.

— Тогда ответьте на вопрос. — Член клуба поднял руку, чтобы утихомирить публику, еще более разошедшуюся из-за упорства Хокскvилл. — Почему он возвращается именно сейчас? Вы ведь сказали, что герои возвращаются, дабы спасти

---

[269] Примечания: 269
Старик Барбаросса (нем.).

народ от величайшей беды и прочее?

— Да, так гласит предание.

— Тогда почему теперь? Если этот никчемный император так долго таился и выжидал...

Хокскилл опустила взгляд.

— Я уже говорила, что не готова давать советы. Боюсь, мне доступны еще не все фрагменты головоломки.

— Каких же не хватает?

— Прежде всего, карты, о которых он говорит. Не могу сейчас вдаваться в объяснения, но я должна видеть эти карты и подержать их в руках... — Публика нетерпеливо зашевелилась. Кто-то задал вопрос «почему». — Я думала, — продолжала Хокскилл, — вам нужно будет знать его силу. Его шансы. Какие сроки он считает благоприятными. Дело в том, джентльмены, что, если вы хотите его одолеть, вам следует знать, на чьей стороне Время — его или вашей, а также не предпринимаете ли вы бессмысленный бунт против неизбежности.

— Но вы не можете этого сказать.

— Увы, не могу. Пока.

— Это неважно, — заговорил, вставая, старший из присутствовавших членов клуба. — Боюсь, Хокскилл, что, поскольку ваше расследование

так затянулось, нам пришлось самим принять решение. Мы явились сегодня прежде всего с целью освободить вас от всех дальнейших обязательств.

Хокскилл хмыкнула.

Старейшина снисходительно усмехнулся.

— И мне не кажется, — добавил он, — что открытия, которыми вы с нами поделились, существенно меняют дело. Насколько мне запомнилось из уроков истории, Священная Римская империя мало что значила для народов, которые, по-видимому, в нее входили. Или я ошибаюсь? Фактическим правителям нравилось держать в руках или контролировать имперскую власть, но в любом случае они поступали, как им вздумается.

— Так бывает нередко.

— Ну и ладно. Образ действий, который мы избрали, правильный. Если Рассел Айгенблик действительно окажется в некотором роде императором или убедит в этом достаточно народу (пока, замечу, он предпочитает темнить), тем больше от него будет пользы.

— А нельзя ли спросить, на каком вы остановились образе действий? — Хокскилл шагнула к Каменной Деве, которая тихонько дожидалась в

дверях с подносом, где стояли стаканы и графин.

Члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста» заулыбались и откинулись на спинки стульев.

— Кооптация, — отозвался один из тех, кто наиболее бурно отреагировал на заявление Хокскилл. — Иные шарлатаны располагают властью, которой не стоит пренебрегать. В чем мы убедились прошлым летом, во время маршей и беспорядков. Церковь Всех Улиц. И так далее. Разумеется, такая власть недолговечна. Не настоящая. Так, колыхание атмосферы. Быстро развеется. Они это знают не хуже нашего...

— Однако, — вмешался другой, — когда такого субъекта приближают к настоящей власти, — сулят участие в ней — потворствуют его высказываниям, льстят тщеславию...

— Тогда его можно принять в свои ряды. Ей-богу, его можно использовать.

— Видите ли, — продолжил дискуссию старейшина, отмахиваясь от подноса с напитками, — по большому счету у Рассела Айгенблика нет ни настоящей власти, ни сильных сторонников. Несколько шутов в пестрых рубашках, немногие поклонники. Его речи трогают, но кто их вспомнит на следующий день? Если бы он звал

к ненависти, растравлял старые обиды — но нет. Сплошное витание в облаках. Так вот: мы предложим ему настоящих союзников. Каких у него нет. Он согласится. Вот приманка, какой мы располагаем. Он будет наш. И, не исключено, принесет много пользы.

Хокскилл снова хмыкнула. Усвоившая чистейшее учение, воспитанная на высочайшем уровне сознания, она не привыкла обманывать и хитрить. То, что Рассел Айгенблик не имел союзников, было, во всяком случае, правдой. Ей следовало бы объяснить, что он является лишь орудием иных сил — более мощных, таинственных и коварных, чем могли себе представить члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста»; хотя назвать эти силы по имени она не могла. Но ее отстранили от дел. Едва ли они стали бы ее слушать — об этом она догадывалась по их самодовольным физиономиям. Залившись краской стыда от того, что недоговаривает, она произнесла:

— Я, пожалуй, выпью капельку. Кто хочет присоединиться?

— Гонорар, разумеется, возвращать не нужно, — заметил один из посетителей, пристально разглядывавший Хокскилл, пока она наполняла

его стакан.

Она кивнула.

— Когда точно вы исполните свои планы?

— Ровно через неделю мы встречаемся с Расселом Айгенбликом у него в отеле, — отозвался старейшина. Он встал и огляделся, готовый уйти. Те, кто принял предложение выпить, срочно заглатывали остатки. — Прошу прощения, что мы, после стольких ваших трудов, ими не воспользовались.

— Это совершенно неважно. — Хокскvилл не двинулась с места.

Члены Клуба (все они уже были на ногах) обменялись неуверенными взглядами, которые на этот раз выражали то ли задумчивое сомнение, то ли сомнительную задумчивость, и простились наклоном головы. На улице кто-то вслух выразил надежду, что Хокскvилл не обиделась. Другие, садясь в машины, обдумывали такую возможность и ее вероятные последствия.

Хокскvилл, оставшейся в одиночестве, пришли те же мысли.

Освобожденная от обязательств перед Клубом, она могла работать на кого угодно. Раз уж на земле возрождается новая-старая империя, то сама собой напрашивается мысль: вот где можно

полнее применить свои силы. Хокскvилл не была устойчива к соблазну власти — для мудрецов это характерно.

И все же в ближайшее время Нового Века ожидать не приходилось. Какие бы силы ни стояли за Расселом Айгенбликом, Клуб мог противопоставить им более мощные.

Итак, на чью сторону она встанет, если определится, чья есть чья?

Хокскvилл наблюдала, как капли бренди стекают по бокам бокала. Через неделю... Она позвонила в колокольчик, вызывая Каменную Деву, заказала кофе и приготовилась к длительной ночной работе. Слишком мало осталось ночей, чтобы тратить их на сон.

Тайная печаль

На рассвете, уставшая от бесплодной работы, Ариэль спустилась на улицу, звеневшую птичьими голосами.

Напротив ее высокого узкого дома находился небольшой парк, некогда доступный для широ-

кой публики, но ныне запертый[270]. Ключи к железным воротам имелись только у жильцов соседних домов, и члены соседних же частных клубов, взиравших на парк спокойным взглядом собственников, обладали ключами. Ключ был и у Хоксквилл. Парк, битком набитый статуями, фонтанами, купальнями для птиц и тому подобными затеями[271], редко служил ей для отдыха, поскольку она неоднократно использовала его в качестве своеобразного блокнота, бегло набрасывая вдоль его периметра, по часовой стрелке, какую-нибудь китайскую династию или герметическую мудрость, чтобы, разумеется, запомнить то и другое на всю жизнь.

Однако сегодня, в туманный день первого мая, сад был темен, расплывчат, нечеток. Он состоял в первую очередь из воздуха, непохожего на городской: сладкого и терпкого, с ароматом свежей листвы, а сумрак и расплывчатость пришлись

---

[270] Примечания: 270

Напротив ее высокого узкого дома находился небольшой парк, некогда доступный для широкой публики, но ныне запертый. — В следующем романе Краули, «Эгипет», упоминается его название — Грэмерси-парк. Ограда вокруг него появилась в 1970-х годах, когда Джек Финней описал этот сквер в романе «Меж двух времен» и туда хлынули туристы.

[271] Примечания: 271

Парк, битком набитый... тому подобными затеями... — «Fancies» — «причуды», архитектурный термин, ранее применявшийся к Эджвуду.

сейчас Хоксквилл как раз кстати.

Подойдя к воротам, Хоксквилл увидела, что перед ними кто-то стоит. Человек держался за прутья, безнадежно заглядывая внутрь, — своеобразный узник наоборот. Она заколебалась. Прохожие в этот час суток делились на два разряда: обычные трудяги, которым нужно рано поспеть на работу, и непредсказуемые потерянные личности, бродившие всю ночь. Из-под длинного пальто незнакомца выглядывала, как будто, пижама, но Хоксквилл все равно не приняла его за раннюю пташку. Решив, что в данном случае наиболее уместны будут величественные манеры, она вынула ключи и любезно попросила незнакомца посторониться, чтобы она могла открыть ворота.

— Как раз пора, — заметил он.

— Простите, ради бога. — (Незнакомец посторонился совсем чуть-чуть и принял выжидающую позу, явно намереваясь последовать за нею.) — Видите ли, это частный парк. Вам туда нельзя. Вход разрешен только жильцам соседних домов. У кого есть ключи.

Она ясно видела теперь его лицо, отчаянно обросшее. На грязной коже четко выделялись морщины, хотя незнакомец был молод. Под

сросшимися бровями сверкали яростные, но рассеянные глаза.

— Это чертовски нечестно, — буркнул он. — Мало домов, так им еще и парк?

Он устремил на Хоксквилл злой, разочарованный взгляд. Она думала, стоит ли объяснять, что окружающие дома так же недоступны ему, как и парк, — и если несправедливо одно, то не более справедливо и другое. Его взгляд как будто просил об отклике, но, с другой стороны, несправедливость, на которую он жаловался, относилась, вероятно, к разряду универсальных, к каким не подходили ни фальшивые общие слова, ни специально сочиненные объяснения. На такие любил ссылаться Фред Сэвидж.

— Ну что ж, — сказала она, как часто говорила Фреду.

— Когда эту треклятую штуку построил твой собственный прадед. — Незнакомец поднял взгляд к небу, вычисляя. — Прапрадед. — Внезапно встрепенувшись, он вынул из кармана перчатку, надел (безымянный палец высунулся из распоротого шва) и начал убирать молодые листья плюща и грязь с таблички, прикрученной к красно-каменному, рустованному столбу ворот. — Видите? Черт возьми. — Удивленная тем,

что прежде ее не замечала, Хокскви́лл прочла на табличке (с ее строгим римским стилем и шляпками гвоздей, похожими на цветочки, она вобрала в себя как будто все особенности публичных сооружений стиля *Beaux Arts* за всю его историю): «Маус Дринкуотер Стоун 1900». Незнакомец не был психом. Как все городские жители, Хокскви́лл умела в подобных обстоятельствах безошибочно проводить различие (тонкое, но реальное) между невероятными фантазиями сумасшедших и невероятными, но подлинными историями людей потерянных и проклятых.

— Кто же вы: Маус, Дринкуотер или Стоун?

— Вам, вероятно, невдомек, как трудно отыскать в этом городе хоть чуточку тишины и спокойствия. Думаете, я бомж?

— Ну что ж, — произнесла Хокскви́лл.

— Все дело в том, что в чертовом парке на любую скамейку или приступку пачками слетаются пьянчуги и горлопаны. Начнут рассказывать тебе историю своей жизни. Совать бутылку. Чокнутые. Знаете, сколько среди них голубых? Уйма. Поразительно. — Употребив это слово, незнакомец, тем не менее, явно ничуть не удивлялся, однако же испытывал злость. — Тишина и спокойствие, — повторил он, и в голосе его прозвучала подлин-

ная жажда, неподдельное влечение к росистым клумбам с тюльпанами и тенистым дорожкам маленького парка.

Хокскилл ничего не оставалось, как сказать:

— Ну что ж, полагаю, для потомка строителя можно сделать исключение.

Она повернула в замке ключ и распахнула ворота.

Незнакомец помедлил, как перед теми последними жемчужными вратами[272], и вошел.

В саду раздражение начало его отпускать, и Хокскилл, хотя не собиралась этого делать, пошла с ним по причудливо извивавшимся тропинкам, которые уводили, казалось, в глубину парка, а на самом деле хитрым путем возвращали посетителей к его периметру. Она знала секрет, который заключался в том, чтобы выбрать тропу, ведущую словно бы наружу, и тогда попадешь вглубь. Так она и поступила. Тропинка — во что трудно было поверить — привела их в центр парка, где стоял храм или павильон (а по-настоящему сарай для инструментов, как подозревала Хокскилл).

---

[272] Примечания: 272

Незнакомец помедлил, как перед теми последними жемчужными вратами... — Согласно Откровению Иоанна Богослова (21:21), врата Нового Иерусалима будут сделаны из жемчужин, «каждые ворота... из одной жемчужины».

Ветки деревьев и разросшиеся кусты скрадывали его миниатюрные размеры. С некоторых точек павильон походил на выступающую веранду или угол большого дома. Как бы ни был мал парк, он был устроен так ловко, что в центре ничто не напоминало об окружающем городе. Именно это и заметила Хокскилл для начала.

— Да, — подтвердил незнакомец. — Чем дальше продвигаешься, тем больше становится. Не хотите ли выпить? — Он извлек из кармана полную фляжку.

— Для меня рановато, — отказалась Хокскилл. Словно зачарованная, она наблюдала, как ее спутник раскупорил бутылку и влил в свое — несомненно, луженое — горло добрый глоток. Она была удивлена, когда незнакомец внезапно передернулся и его лицо исказила гримаса отвращения, какого скорее следовало ожидать при подобных обстоятельствах от самой Хокскилл. Начинающий, подумала она. Совсем сосунок, на самом деле. Она предположила, что его мучает тайная печаль, и эта мысль ее привлекла. Такие размышления были хорошим отдыхом после глобальных забот, ее одолевавших.

Вместе они сели на скамью. Молодой человек вытер рукавом горлышко бутылки и бережно ее

закупорил. Потом, не спеша, опустил в карман своего коричневого пальто. Странно, подумалось ей: такое нежное, трепетное обращение с бутылкой и прозрачной резкой жидкостью, ее наполняющей.

— Какого дьявола это должно изображать? — спросил незнакомец.

Они наблюдали квадратную каменную постройку, которая, как думала Хокскивилл, служила для хранения инструментов или для других утилитарных надобностей, но была замаскирована под павильон или увеселительный зал.

— Точно не знаю, но рельефы, кажется, изображают четыре времени года. На каждой стороне по рельефу.

На них смотрела Весна — греческая дева, которая, видимо, сажала в горшок нежный побег, держа в другой руке старинный садовый инструмент, напоминавший совок. Поблизости устроился ягненок, который, подобно ей, олицетворял надежды, ожидания, новизну. Рельеф был исполнен рукой мастера: меняя глубину резьбы, скульптор изобразил в отдалении свежевспаханные поля и птиц, которые возвращались с юга. Повседневная действительность древнего мира. Это не было похоже ни на одну весну, виденную

в Городе, и тем не менее в этом узнавалась Весна. Хокскvилл не единожды использовала ее в качестве таковой. Некоторое время она задавалась вопросом, почему домик расположен так странно — стены не параллельны окружающим улицам. Поразмыслив, она поняла, что строитель ориентировал его по странам света: Зима обращена на север, Лето на юг, Весна на восток и Осень на запад. В Городе ничего не стоило забыть о том, куда указывают стрелки компаса, хотя Хокскvилл придавала этому значение, так же как, по всей видимости, и строитель павильона. За это он ей нравился. Она даже улыбнулась своему юному соседу, его предполагаемому потомку, несмотря на то что он выглядел как типичный горожанин, неспособный отличить солнцестояние от равноденствия.

— На что он нужен? — спросил незнакомец спокойно, но не без агрессивности.

— Он удобен. Для запоминания.

— Как это?

— Ну что ж. Предположим, вы хотите запомнить какой-то год, в каком порядке произошли разные события. Для этого вам нужно заучить эти четыре панели и использовать картины, на них изображенные, как символы событий, которые

собираетесь сохранить в памяти. Если вы хотите запомнить, что такого-то или такую-то похоронили весной, для этого пригодится совок.

— Совок?

— Да, инструмент, которым копают.

Он бросил косой взгляд.

— Мрачновато как будто.

— Это просто пример.

Незнакомец стал подозрительно изучать деву, будто она в самом деле собиралась ему о чем-то напомнить, притом о неприятном.

— Росток может символизировать что-то начатое весной, — проговорил он наконец. — Работу. Какие-то надежды.

— Это идея, — кивнула Хокскvилл.

— Потом он завянет.

— Или принесет плоды.

Собеседник долго размышлял. Вынув бутылку, он повторил тот же ритуал, хотя на этот раз без такой отчаянной гримасы.

— Чего ради люди стремятся все подряд запоминать? — Голос звучал слабо из омытой джином глотки. — Жизнь есть то, что здесь и сейчас. Прошлое мертво.

Хокскvилл не отозвалась.

— Воспоминания. Системы. Все размышляют

над старыми альбомами и карточными колодами. Если не вспоминают, то предсказывают будущее. Чего ради?

В залах Хокскилл звякнул колокольчик.

— Карты?

— Перебирать в уме прошлое, — произнес собеседник, разглядывая Весну. — Разве его этим вернешь?

— Всего лишь привести его в порядок. — Хокскилл знала, что люди, живущие на улице, сколь бы разумными они ни казались, отличаются от тех, кто живет в домах. К своему образу жизни они пришли не просто так, а из-за необычного понимания вещей, оттого что, зачастую не по своей воле, потеряли интерес к обыденному миру и его событиям. Она знала, что не следует в лоб задавать вопросы, застревать на одной теме, поскольку такой разговор, как здешние тропинки, уведет в сторону. А ей очень хотелось не потерять контакт. — Память может быть искусством, — произнесла она поучающим тоном. — Как архитектура. Думаю, ваш предок меня бы понял.

Собеседник поднял брови и пожал плечами, словно говоря: «Кто знает, да и кого это волнует».

— Архитектура — это на самом деле застывшая

память[273]. Так сказал один великий человек.

Собеседник хмыкнул.

— По мнению многих великих мыслителей прошлого, — (Хокскилл не знала, откуда взялась эта преподавательская манера, но изменить ее было трудно, да и собеседник слушал внимательно), — ум — это дом, где хранятся воспоминания, и самый простой способ что-либо вспомнить — это вообразить себе архитектурное сооружение, а затем разбросать соответствующие символы в местах, определенных архитектором. — Тут он точно потеряет интерес, подумала она, но он, поразмыслив, произнес:

— Как тот похороненный и совок.

— Вот-вот.

— Глупо.

— Я могу привести пример получше.

— Хм.

Она пересказала ему яркий судебный случай из Квинтилиана, произвольно заменяя старинные символы современными и разбрасывая их в различных уголках парка. Размещая символы, она поворачивала голову туда-сюда, хотя смотреть не

---

[273] Примечания: 273

Архитектура — это на самом деле застывшая память. — «Застывшая музыка», согласно «Философии искусства» (1809) Фридриха Шеллинга (1775–1854).

было необходимости.

— В третьем месте, — говорила она, — мы оставим поломанный игрушечный автомобиль, чтобы он напоминал о просроченных водительских правах. В четвертом — на арке слева за вами — повесим человека — скажем, негра в белом, в туфлях с заостренными носами и с табличкой: *INRI*[274].

— А это почему?

— Живо. Конкретно. Судья сказал: без документальных доказательств вы проиграете процесс. Негр в белом означает: представить доказательства на бумаге.

— Черным по белому.

— Да. То, что он повешен, означает: мы завладели черно-белыми доказательствами. А табличка: это нас спасет.

— Бог мой.

— Знаю, это кажется безумно сложным. И наверное, эта система ничем не лучше простого блокнота.

— Тогда к чему вся эта галиматья? Никак не возьму в толк.

— К тому, — отвечала она осторожно, поскольку

---

[274] Примечания: 274
Иисус из Назарета, Царь Иудейский (лат.).

ку незнакомец, при всей его грубоватой манере, очевидно, улавливал ее мысли, — что, если вы прибегаете к этому искусству, может произойти интересная вещь: символы, помещенные рядом, начнут без вашего ведома взаимодействовать и, когда вы к ним в очередной раз обратитесь, скажут нечто новое, неожиданное, ранее вам не известное. Если правильно расположить известное, то может внезапно выплыть на свет неизвестное. В этом преимущество системы. Память текуча и расплывчата. Системы точны и четки. Они лучше воспринимаются разумом. Несомненно, так же обстоит дело и с картами, о которых вы упомянули.

— С картами?

Не слишком ли рано?

— Вы говорили о размышлениях над колодой карт.

— Моя тетя. То есть на самом деле не моя тетя, — проговорил собеседник, словно бы отрекаясь от родственницы. — Тетка моего деда. Это были ее карты. Она их раскладывала, размышляла. Думала о прошлом. Предсказывала будущее.

— Таро?

— Что-что?

— Это была колода Таро? Знаете, наверное:

повешенный, папесса, башня...

— Понятия не имею. Мне откуда знать? Меня никто ни о чем в известность не ставил. — Он задумался. — Таких картинок я что-то не помню.

— Откуда взялись эти карты?

— Не знаю. Наверное, из Англии. Они ведь принадлежали Вайолет.

Хокскvилл вздрогнула, но незнакомец, погруженный в размышления, этого не заметил.

— И там были карты с картинками? Кроме обычных фигурных?

— Ну да. Полным-полно. Люди, места, предметы, понятия.

Хокскvилл откинулась назад, медленно поигрывая пальцами. В местах, подобных этому парку, служивших хранилищем множества воспоминаний, бродили, случалось, вымыслы, то назидательные, а то просто причудливые; они бывали порождены простым наложением старых символов и содержали иной раз в себе истины, о которых Хокскvилл сама бы не догадалась. Если бы не кислый запах, исходивший от пальто, и не сугубая прозаичность полосатой пижамы, которая из-под него выглядывала, незнакомца можно было бы принять за одного из них. Но это было неважно. Вероятность равна нулю.

— Расскажите мне об этих картах.

— Что, если вам требуется забыть какой-нибудь год? — спросил он. — Не запомнить, а, наоборот, забыть? Тут ничто не может помочь? Никакой не существует системы?

— Ну, методы, наверное, имеются. — Она думала о его бутылке.

Незнакомец, казалось, погрузился в горькие размышления. Глаза его смотрели отсутствующе, длинная шея склонилась, как у печальной птицы, руки были сложены на коленях. Пока Хокскилл думала, какой еще задать вопрос о картах, он проговорил:

— Когда тетка в последний раз раскидывала для меня карты, она предсказала, что я встречу красивую смуглую девушку, и всякая такая сентиментальщина.

— Так оно и произошло?

— Она сказала, что я завоюю любовь этой девушки, но не благодаря своим достоинствам, и потеряю ее, но не по своей вине.

Пока он ничего к этому не добавил, и Хокскилл (хотя не была уверена, что он вообще прислушивается и воспринимает ее слова) рискнула мягко заметить:

— Так часто бывает с любовью. — Не дождав-

шись отклика, она продолжила: — У меня есть вопрос, ответ на который может дать определенная колода карт. Ваша тетя еще...

— Она умерла.

— Ох.

— Но вот моя тетка. Та была не тетя, а я имею ввиду мою тетю. Софи. — Незнакомец сделал жест, который, по всей видимости, означал: это предмет сложный и скучный, но я уверен, вы понимаете, о чем я.

— Карты по-прежнему принадлежат вашей семье, — предположила Хокскивилл.

— Да, конечно. Мы никогда ничего не выкидываем.

— А где именно...

Внезапно насторожившись, он жестом остановил ее вопрос:

— Мне не хотелось бы говорить о своих семейных делах.

Чуть выждав, Хокскивилл продолжила:

— Ведь вы же сами упомянули своего прапрадеда, который построил парк.

Почему вдруг ее посетило видение замка Спящей красавицы? Дворец. И вокруг колючая изгородь. Непроходимая.

— Джона Дринкуотера, — кивнул он.

Дринкуотер. Архитектор... Хокскилл мысленно прищелкнула пальцами. Изгородь оказалась вовсе не колючей.

— Не был ли он женат на некоей Вайолет Брамбл?

Собеседник кивнул.

— Она была мистик, что-то вроде ясновидящей?

— Один черт знает, кем она была.

Внезапно Хокскилл решилась на шаг, который, возможно, был поспешным, но диктовался нуждой. Она вынула из кармана ключ от парковой ограды и, как любили в свое время делать гипнотизеры, покрутила его перед глазами собеседника, держа за цепочку.

— Мне кажется, — произнесла она, убедившись, что тот заметил ее жест, — вы заслужили свободный доступ в парк. Это мой ключ. — Незнакомец протянул руку, но Хокскилл отдернула ключ. — Взамен я хочу, чтобы вы дали мне рекомендацию к женщине, которая вам то ли тетка, то ли нет, и подробно указали, как ее найти. Идет?

Словно бы и вправду под действием гипноза, не сводя глаз с блестящего кусочка меди, незнакомец рассказал все, что Хокскилл хотела знать. Она вложила ключ в его грязную перчатку.

— По рукам, — сказала она.

Оберон схватил ключ, единственную свою собственность на сегодняшний день (хотя Хокскивилл не могла об этом знать) и, освободившись от чар, отвел глаза. Он не был уверен, что не выдал чего-то лишнего, но чувствовать вину не хотел.

Хокскивилл встала:

— Наша беседа была очень познавательной. Наслаждайтесь парком. Как я уже говорила, из него можно извлечь немалую пользу.

Поместить туда какой-нибудь год

Сделав еще один обжигающий, но благодетельный глоток, Оберон закрыл один глаз и принялся оценивать свои новые владения. Его поразила регулярная планировка парка, в остальном безыскусного и заросшего кустарником. Оттуда, где он сидел, хорошо читалась симметрия скамей, ворот, обелисков, птичьих домиков на шестах, пересечения троп. Средоточием или центром всего этого был павильончик с временами года.

Конечно, все, чему она его учила, было безнадежной галиматьей. Ему было неловко от мысли, что он навязал своему семейству подобную психопатку. Хотя вряд ли они заметят: сами ничуть не лучше. Да и соблазн был слишком велик. Уди-

вительно: людям терпимым, вроде него, шагу не удается ступить, чтобы не наткнуться на какого-нибудь психа или полоумного.

За границей парка, в обрамлении платанов, виднелось небольшое классическое здание суда (тоже, насколько Оберону было известно, работа Дринкуотера), крышу которого украшал регулярный ряд скульптур, изображавших законодателей. Моисей. Солон[275]. И так далее. Место, где можно хранить судебные споры. Его собственную яростную борьбу с Петти, Смилодоном и Рутом. Обитые медью двери еще не открывались в этот день для посетителей. Затворенный ход к его наследству. Лепные овы и стрелки[276] — бесконечное чередование надежды и нового ожидания, надежды и ожидания.

Глупец. Он отвел взгляд. В чем заключалась суть? Как бы благосклонно это здание ни приняло его дело во всей его сложности (бросив новый косой взгляд, он уверился, что все к тому и шло), пользы от этого ждать не приходится. Как мог

---

[275] Примечания: 275

Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский архонт и реформатор законодательства, причисляемый античными преданиями к семи греческим мудрецам.

[276] Примечания: 276

Лепные овы и стрелки... — Имеется в виду «ионик» — архитектурный орнамент из овов (фигур яйцевидной формы) и стрелок.

он обо всем забыть? Подачек, которые они ему выделяли, хватало, чтобы не умереть с голоду, чтобы ставить подписи (от злости все более неразборчивые) под документами, отказами, исками и доверенностями, которые преподносились ему с таким видом, с каким эти каменноглазые бессмертные на крыше держали свои таблички, книги, рукописи. На самую последнюю куплен джин, к которому он теперь прикладывается, и содержимого бутылки далеко не хватит, чтобы забыть перенесенное унижение, несправедливость всего, что творилось. Диоклетиан[277] отсчитывал из тощей кучки помятые купюры.

Черт с ним со всем. Оберон выбросил суд из головы. Правосудием там не пахнет.

Поместить туда какой-нибудь год. По ее словам, ценность системы в том, что при правильном расположении того, что ты знаешь, она может выдать внезапно то, чего не знаешь.

Ладно, кое-чего он действительно не знает.

Если принять всерьез то, что сказала старуха, если только принять это всерьез, то почему бы тогда не взяться за работу, не нагрузить воспоминаниями каждую клумбу с тюльпанами,

---

[277] Примечания: 277

Диоклетиан (245–316) — римский император (284–305), известный своими масштабными административными реформами.

каждую заостренную стойку ограды, каждый беленый камень, каждый распускающийся лист, почему бы не распределить между ними все, что относится к потерянной Сильвии, вплоть до мельчайших деталей? А потом мерить шагами кривые тропинки, яростно принюхиваясь, как та собачонка, которая вошла только что со своим хозяином; искать, искать, обходить парк по часовой стрелке, потом против, искать, пока не возникнет простой и ясный ответ, загадочно потерянная истина, отчего он хлопнет себя по лбу и воскликнет: понимаю?

Нет, не стоит.

Он ее потерял, она ушла, ушла навсегда. Лишь это объясняло, делало понятным и даже уместным его нынешнее жалкое состояние. Он потратил год, чтобы выяснить, куда она делась, но если бы узнал об этом сейчас, избегал бы этого места как огня.

И все же. Он не стремился уже ее найти — больше не стремился, но хотел знать почему. Не то чтобы сильно, но желал все же знать ответ на вопрос, почему она навсегда его покинула, не сказав ни слова и, вероятно, ни разу не оглянувшись. И, чего уж скрывать, ему было любопытно, что с нею сталось, все ли в порядке, думает ли она

иногда о нем и поминает ли добрым словом или наоборот. Оберон перекрестил ноги и принялся покачивать носком поношенной туфли. Но нет, на самом деле, что ему до этого, да и чудовищная дурацкая система, о которой говорила старуха, совершенно бесполезна. Весна на рельефе никогда не станет той весной, когда Сильвия цвела для него, побег не станет их любовью, а совок — тем инструментом, который нанес на его гневное и несчастное сердце зарубки радости.

На первом месте

Вначале Оберон не очень беспокоился из-за исчезновения Сильвии. Ей случалось сбегать и прежде — на несколько дней или на уик-энд. Оберон не требовал объяснить, куда она удалялась и зачем: он был человек сдержанный и не привык вмешиваться в чужие дела. Тогда она брала с собой не всю одежду и вещи, но Оберон не складывал оставленное, потому что Сильвия могла вернуться вместе со своим имуществом через минуту, в любую минуту, упустив автобус, поезд или самолет или поссорившись со спутником — родственницей, подругой или любовником. Ошибка. К таким ошибкам приводил масштаб желаний, несогласие мириться с несовершенством жизни

даже в таких условиях, которые достались ей на долю. Он репетировал отеческие наставительные речи, которыми, без обид, тревоги и злости, встретит ее по возвращении.

Он стал искать записку. Складная Спальня была невелика, но там царил такой хаос, что листок бумаги вполне можно было не заметить. Записка могла завалиться за плиту, соскользнуть с подоконника во двор Фермы, могла, наконец, затеряться в постели. Нацарапанная небрежным почерком Сильвии, крупным и круглым, она должна была начинаться с «Привет!», а внизу, наверное, стояло несколько иксов, означавших поцелуи. Не исключалось, что Сильвия воспользовалась оборотной стороной какой-нибудь ненужной бумажонки, которую Оберон выбросил в ходе поисков. Он опустошил мусорную корзину, но, утопая лодыжками в ее содержимом, внезапно остановился и застыл, поскольку ему представилась совсем иного рода записка, без «Привет!» и поцелуев. Ее серьезный, возбужденный тон напоминал любовное послание, но речь в ней не шла о любви.

Он мог бы кое-кому позвонить. Когда (после нескончаемых затруднений) они с Сильвией установили у себя телефон, приведя в изумление

Джорджа Мауса, она принялась часами болтать с родственниками и квази-родственниками на стремительной и (на слух Оберона) шумно-веселой смеси испанского и английского; иногда она мешала смех с криком, иногда просто кричала. Оберон выписал часть номеров, по которым она звонила. Сильвия часто теряла обрывки бумаги и старые конверты, где записывала номера, и потом ей приходилось, глядя в потолок, вслух их вспоминать: произносить различные комбинации запомнившихся цифр, пока не наткнется на ту, которая звучит похоже.

А в телефонной книге, когда Оберон туда заглянул (наудачу — непосредственной нужды в этом не было), обнаружились удивительные колонки, — по сути, целые армии всяких Родригесов, Гарсиа и Фуэнтесов с пышными именами, вроде Монсеррат или Алехандро. Оберон ни разу не слышал, чтобы Сильвия произносила эти имена вслух. И кстати, о пышных именах — глянь-ка на этого типа, последнего в списке, — Архимед Яяззандотти, ну надо же.

Он отправился спать нелепо рано, стремясь побыстрей пережить часы до ее неизбежного возвращения. Лежал, слушая ночные стуки, гул, скрипы и вой ветра, и старался угадать в них

подобие ее шагов на лестнице или в холле. Однажды ему почудилось, будто в дверь царапаются красные ноготки Сильвии, и его сердце пустилось вскачь, прогоняя сон. Утром он проснулся рывком и не мог понять, почему Сильвии нет рядом, а потом вспомнил, что не знает.

Разумеется, на Ферме кто-то что-то слышал, но расспрашивать нужно было осторожно, чтобы Сильвия, узнав об этом впоследствии, не заподозрила в нем ревнивого собственника или суетливого шпиона. Но ответы, полученные от работников, которые сгребали навоз или высаживали помидоры, были не более содержательными, чем его вопросы.

— Не видел Сильвию?

— Сильвию?

Как эхо. Обращаться к Джорджу Маусу он счел неприличным, поскольку Сильвия могла убежать как раз к нему, и Оберон не хотел бы услышать это от самого Джорджа. Не то чтобы он видел в своем родственнике соперника или ревновал — просто чем больше он думал о подобной беседе, тем меньше она ему нравилась. В Обероне нарастали страх и предчувствия. Раз или два он замечал Джорджа у сарая с козами, куда тот вкатывал или откуда выкатывал тележку.

Оберон тайком его рассматривал, но никаких изменений не заметил.

Однажды вечером он впал в ярость, вообразив, будто Сильвия не удовольствовалась тем, чтобы просто его покинуть, но устроила к тому же заговор молчания, чтобы скрыть свои следы. «Заговор молчания» и «скрыть следы» — много раз повторял он вслух этой долгой ночью, обращаясь к домашним вещам в Складной Спальне, среди которых ни одна не принадлежала Сильвии. (Ее вещи находились где-то еще, и их как раз с восклицаниями извлекали из мешков, затянутых шнурками, трое плосколицых воров в коричневых колпачках; над каждой вещью они издавали тихий воркующий возглас, а затем клали ее в горбатый, окованный чугуном сундук, где ей надлежало дожидаться, пока не придет владелец и не заявит свои права.)

На втором месте

Бармен в «Седьмом святом» — «их» бармен — не появлялся на работе ни в тот вечер, ни в следующий, ни на третий, хотя Оберон каждый раз заходил и его спрашивал. Новый работник не знал, что с ним произошло. Может, поехал на Побережье. Во всяком случае, куда-то уехал.

Оберону сделались ненавистны Складная Спальня и Ветхозаветная Ферма, и, не зная, куда еще направиться, чтобы нести ночную стражу, он снова заказал выпивку. Недавно прошла смена публики, какие периодически случаются в баре. За вечер Оберон узнал нескольких постоянных посетителей, но теперь их словно смыла новая толпа. Внешне эти люди походили на тех, которые были знакомы им с Сильвией; собственно, это была такая же публика, но не та же. Из привычных лиц присутствовал только Леон, и после борьбы с собой и нескольких глотков джина Оберон спросил как бы случайно:

— Не видел Сильвию?

— Сильвию?

Не исключалось, конечно, что Леон прятал ее на квартире где-нибудь на окраине города. Или она могла отправиться на Побережье с барменом Виктором. Сидя вечер за вечером перед широким коричневым окном и наблюдая снующую на улице толпу, Оберон выдумывал объяснения, куда делась Сильвия, — одни приятные для себя, другие огорчительные. Для каждой версии он подыскивал корни в прошлом и развязку; решал, что будет делать и говорить она, а что он. Как изделия неудачливого булочника, эти версии

черствели и — все еще красивые, но непроданные — уступали место в витрине следующим. В пятницу после исчезновения Сильвии Оберон находился на своем посту. Бар был заполнен смеющейся публикой, более склонной к удовольствиям и более изысканной, чем дневная толпа (хотя Оберон бы не поручился, что это не были одни и те же люди). Оберон восседал на своем стуле, как на одинокой скале среди пенных волн прибоя. Сладкий запах спиртного смешивался с парфюмерными ароматами; вокруг звучал легкий морской рокот, который Оберон, сделавшийся телевизионным сценаристом, научился называть «а-ля-ля». А-ля-ля а-ля-ля а-ля-ля. Вдалеке официанты, обслуживавшие банкет, открывали пробки и раскладывали столовые приборы. Довольно пожилой мужчина с белыми висками (впрочем, не седыми, наверное, а крашеными), судя по виду, немного повернутый на своей наружности, подливал вина смуглой смеющейся женщине в широкополой шляпе.

Это была Сильвия.

Одна из версий ее исчезновения заключалась в том, что она ненавидела бедность. Не раз, перебирая яростно свои носильные вещи из секонд-хэнда и бижутерию из грошовой лавки,

заменявшие ей выходной наряд, она заявляла, что ей бы очень пригодился богатый старик, и уж она бы исхитрилась, только бы набраться решимости, — *ты только глянь на эти тряпки!* Он смотрел сейчас на ее одежду. Прежде он такой у нее не видел: шляпа, затенявшая лицо, была из бархата, платье изящного покроя. Свет от лампы, словно притянутый, падал в декольте, заставляя сверкать янтарные округлости груди. Оберон со своего места хорошо их видел. Легкие выпуклости.

Уйти? Но как он может? От смятения у него потемнело в глазах. Пара перестала смеяться и подняла стаканы, до краев наполненные огненно-красным вином. Глаза мужчины и женщины встретились в сластолюбивом приветствии. Бог мой, хватило же наглости привести его сюда. Мужчина вынул из кармана куртки продолговатый футляр и раскрыл, показывая женщине содержимое. Там, наверное, были похожие на лед драгоценности — голубые и белые. Нет, это был портсигар. Женщина вынула сигарету, мужчина поднес огонек. Оберон не успел почувствовать боль, узнав манеру Сильвии обращаться с сигаретой, такую же неповторимую, как смех или походка: ему помешали проходившие мимо по-

сетители. Когда он опять ее увидел, она, вставая, брала со стола свою сумочку, тоже новую. Туалет. Оберон пригнул голову. Ей придется пройти мимо него. Бежать? Нет, подумал он, должен же быть способ к ней обратиться, и за какие-то секунды его нужно найти. Привет. Хелло. Хелло? Хел-ло, что за встреча... Его сердце бешено колотилось. Он вычислил момент, когда она окажется рядом, и обернулся, рассчитывая, что лицо его спокойно, а сердцебиения никто не видит.

Где же она? Он принял за нее женщину в черной шляпе, как раз проскользнувшую поблизости, но ошибся. Сильвия исчезла. Пробежала бегом? Спряталась? На обратном пути ей все равно никуда не деться. Оберон будет следить. Может, она улизнет, покрытая позором, оставив прилипчивого мистера Богатея со счетом и с носом? Мимо него привычно нетвердой походкой пробралась женщина, которую он на миг принял за Сильвию (на самом деле совсем другого возраста и габаритов), осипшим голосом извинилась, разделила пополам кучку щеголей и заняла наконец место рядом с мистером Богатеем.

Как мог он хоть на миг подумать... Его сердце обратилось в золу, в застывшую лаву. Радостное «а-ля-ля» бара сменилось звуком тишины, и Обе-

рон внезапно с ужасом осознал, — словно бы в голове у него стремительно раскрутилась веревка, когда упал привязанный к ней шарик, — что означало это видение и что теперь произойдет, непременно произойдет с ним. Дрожащей рукой он махнул бармену, а другой быстро толкнул через стойку купюры.

И на третьем

Оберон поднялся с парковой скамьи. Чем больше светало, тем громче становился шум транспорта; в утренний анклав вторгался Город. Уже без робости, но со странной надеждой в сердце, Оберон обошел павильон по часовой стрелке и снова уселся перед Летом.

Вакх со своими леопардами[278]; дряблый бурдюк и пестреющий полумрак. Фавн гонится, нимфа убегает[279]. Да: так было и так будет. И под этими томными картинами фонтан, из тех, в которых струя бьет из пасти льва или дельфина,

---

[278] Примечания: 278

Вакх со своими леопардами... — Из «Оды соловью» Китса: «К тебе, к тебе! Но пусть меня умчит / Не Вакх на леопардах...» (перевод И. Дьяконова).

[279] Примечания: 279

Фавн гонится, нимфа убегает. — Парафраз строки из драматической поэмы Алджернона Чарльза Суинберна (1837–1909) «Аталанта в Калидоне» (1865): «Волк гонится, фавн убегает».

но тут морду животного заменяло человеческое лицо, отчеканенная горесть, трагическая маска с вьющимися, как змеи, волосами. И вода исторгалась не из уст печального клоуна, а из глаз, скатываясь двумя медленными непрерывными ручейками по щекам и подбородку и падая затем в пенистый бассейн.

Плеск ее был приятен.

Хокскилл тем временем спустилась в подземное логово своей машины и скользнула на дожидавшееся ее сиденье, обтянутое кожей не менее гладкой, чем кожа перчаток, которые она затем надела. Деревянный руль, вырезанный по форме ее рук и отполированный ими, аккуратно развернул стального волка; дверь гаража, брякнув, отворилась, и рев мотора лопастью рассек майский воздух.

Вайолет Брамбл. Джон Дринкуотер. Из имен возникла комната. Комната, где в тяжелых напольных вазах, пурпурных и коричневых, стояла трава из пампасов и где на стенах, украшенных орнаментом из лилий, висели рисунки Рикеттса[280] и были задернуты драпировки пе-

[280] Примечания: 280

Рикеттс, Чарльз де Сузи (1866–1931) — английский художник, книжный иллюстратор, театральный декоратор, проиллюстрировал три книги своего друга Оскара Уайльда.

ред сеансом. На книжных полках из какого-то плодового дерева стояли Гурджиев[281] и другие шарлатаны. Как могло здесь родиться или умереть что-либо подобное мировой эпохе? Чтобы миновать сгустки уличного движения, Хокскилл продвигалась к окраине города ходами шахматного коня, нетерпеливые колеса разбрызгивали грязь. Хокскилл думала: да вполне возможно. Они могли все эти годы хранить тайну, великую тайну. Не исключено, что она, Хокскилл, была близка к величайшей ошибке. Такое произошло бы не впервые... Машин вокруг стало меньше, и Хокскилл вырулила на широкое северное шоссе. Автомобиль вонзился в него, как иголка в ветхую ткань, набирая скорость. Объяснения мальчишки звучали причудливо и сбивчиво, но она их не забудет, потому что размещены они были на старой складной доске для игры в «Монополию», которую она держала в памяти как раз для подобных случаев.

---

[281] Примечания: 281

Гурджиев, Георгий Иванович (1877–1949) — психолог, философ, мистик. В 1896–1922 годах странствовал по Азии и Европе, в 1919 году в Тифлисе создал «Институт гармоничного развития человека», в 1922 году воссоздал его во Франции (просуществовал до 1933 г.). Пытался объединить христианскую, исламскую и восточную мистику. Характеристика, которую дала ему Ариэль («шарлатан»), во многом справедлива.

Глава вторая

К амвросии велит Душа,
Томясь, припасть губам,
Но Зевса сладостный нектар
За твой я не отдам.

***Бен Джонсон*[282]**

Земля вращала свой шарик, поворачивая миниатюрный парк, где сидел Оберон. Он сидел там еще день, два, три, подняв лицо к безотказно сиявшему солнцу. Теплые дни случались все чаще, и погода, не вполне поспевавшая, как обычно, за сменой времен года, сделалась устойчивей и все реже капризничала. По горло занятый Оберон оставил это без внимания. Он не снимал пальто, поскольку перестал верить в весну, и малая толика тепла его не переубеждала.

Ну давай же, давай.

---

[282] Примечания: 282

Бен Джонсон (1573–1637) — английский драматург и поэт. Эпиграф взят из стихотворения «К Селии» (1616).

Не о ней, о парке

Усилия, как всегда, были направлены на то, чтобы верно оценить происшедшее, сделать зрелые выводы с учетом всех его аспектов, быть *объективным*. Причины ее ухода могли быть самые разные, Оберон это прекрасно понимал: грехов за ним имелось, что камней на мощеной дорожке, и, как тот цветущий боярышник, они прочно укоренились и обросли колючками. В сущности, окончание любви не содержит в себе иной загадки, кроме загадки самой любви, которая, конечно, велика, но реальна, как трава, естественна и необъяснима, как цветы и ветви с их ростом.

Нет, уход Сильви представлял все же грустную головоломку; бесследное исчезновение — вот в чем была неправильность, вот что сводило с ума. Как могла она не оставить после себя вообще ничего? Что, если ее похитили, убили? Оберону приходила мысль, что Сильвия спланировала собственное исчезновение, желая озадачить его и свести с ума. Но чего ради затевать такую глупость? Конечно, он не выдержал и набросился в бешенстве на Джорджа Мауса: признавайся, *сукин сын*, где она, куда ты ее дел; и убедился в

собственном безумии, когда тот, неподдельно испуганный, бормоча «ну-ну, ну-ну», принялся шарить вокруг в поисках бейсбольной биты. Да, все, им предпринятое во время поисков, не свидетельствовало о большом уме, но, черт возьми, чего еще было от Оберона ожидать?

Чего было ожидать, как не того, что после четырех порций джина в «Седьмом святом» ему почудится Сильвия в толпе за окном?

А после пятой — за соседним столиком?

Всего одна поездка в Испанский Гарлем, где копии Сильвии встречались на каждом перекрестке: в маечке с завязками вокруг шеи, с детской коляской, жующая резинку, на крыльце среди толпы. Все эти девушки были смуглые розы, но ни одна не была ею, и Оберон оставил поиски. Если он действительно узнавал когда-то некоторые из зданий на этих неповторимо индивидуальных, но в то же время схожих улицах, куда Сильвия его в свое время водила, — то теперь забыл их совершенно. Она могла находиться в любой из этих похожих на аквариум комнат, следить за ним сквозь кружевные пластиковые занавески — в любой из этих комнат, освещенных водяным мерцанием телевизора и красными огоньками восковых свечей. Еще хуже было проверять

тюрьмы, больницы, сумасшедшие дома. Повсюду местные обитатели проявляли готовность помочь, вопросы Оберона переходили от головореза к полоумному, от полоумного к паралитику, но каждый раз цепочка обрывалась, случайно или намеренно — он так и не понял. Если Сильвия угодила в один из этих приютов отверженных... Нет. Если не верить в это было сумасшествием, он предпочитал быть сумасшедшим.

Бывало, на улице произносилось его имя. Произносилось нежно, робко; обрадованно, с облегчением. Он останавливался и начинал оглядываться, искать; застывал посреди проезжей части, не видя Сильвии, но опасаясь сойти с места, чтобы она его не потеряла. Временами оклик повторялся, причем настойчивый, но, как и прежде, никого не было видно. После долгого перерыва Оберон вновь пускался в путь, поминутно останавливаясь и оглядываясь; под конец приходилось вслух говорить себе: это не она, да и вообще тебе почудилось, *выбрось из головы*, и любопытные прохожие тайком следили за тем, как он разговаривал сам с собой.

Да, он казался чокнутым, но чья, черт возьми, была в том вина? Он просто старался рассуждать *разумно*, не поддаваться воображению — боролся

с ним, хотя в итоге потерпел неудачу. Наверняка плохая наследственность — передалась через несколько поколений, как дальтонизм...

Так или иначе, с этим было покончено. Оберона не интересовало, возможно ли при помощи парка и Искусства Памяти выяснить, где обретается Сильвия; не этим он здесь занимался. Его надежды и мечты (казавшиеся осуществимыми, судя по той легкости, с какой статуи, зеленые насаждения и тропинки приняли его историю) заключались в ином. Когда он доверит им всю свою продлившуюся целый год муку (не упустив ни единой надежды, ни единого шага и падения, ни единой потери, ни единого обмана чувств), то однажды ему вспомнится — нет, не поиск, а перекрестье тропинок, которые, устремляясь внутрь, всегда выводят наружу.

Не Испанский Гарлем, а эта проволочная корзинка снаружи у ограды, с *cerveza Schaefer*[283], косточками манго и номером «Диарио», и неизменное *«MATAN»*[284] в заголовке.

Не Ветхозаветная Ферма, а шест — и на нем этот старый птичий домик, и его шумные воин-

---

[283] Примечания: 283
Пиво «Шефер» (исп.).

[284] Примечания: 284
Убийство (исп.).

ственные жильцы, которые снуют туда-сюда, строя гнездо.

Не гриль-бар «Седьмой святой», а Вакх на барельефе или Силен, или кого еще там поддерживали козлоногие сатиры, не вяжущие лыка — почти как их бог.

Не жуткая угроза сумасшествия, наследственного — и потому неизбежного, а эта табличка на воротах, через которые он вошел: Маус Дринкуотер Стоун.

Не фальшивые Сильвии, приводившие его в отчаяние, когда он бывал пьян и беззащитен, а вот эти девчушки, которые прыгают через скакалку, играют в камешки и шепчутся, подозрительно его разглядывая; всегда те же самые, но одновременно разные — или по-разному одетые.

Времена года не те, что на улице, а те, что на рельефах павильона.

Помнить не о ней, о парке.

Ну давай же, давай.

Никогда никогда никогда[285]

Холодное сочувствие барменов, как он убедил-

---

[285] Примечания: 285

Никогда никогда никогда. — Пятикратно повторенное «никогда» — хрестоматийно известная строка из «Короля Лира» (д. V, сц. 3).

ся, походило на сострадание священников: скорее всеобъемлющее, чем личное; желание добра всем и зла — почти никому. В своей прочной позиции (улыбаясь и проделывая ритуальные и ободряющие жесты со стаканом и салфеткой) между святыми дарами и причастниками, они скорее требовали себе, чем выслуживали любовь и доверие. Всегда лучше их умилостивить. Радостное приветствие и чаевые — не сверх меры, но достаточные.

— Джин, пожалуйста, Виктор, то есть Зигфрид.

О боже, этот растворитель! Сезонное богатство летних вечеров, растворенное в нем, — так некогда в школе отец Оберона, во время одного из редких всплесков любви к науке, погрузил какое-то сине-зеленое вещество (медь?) в чистую кислоту, вслед за чем оно растворилось без остатка, не зазеленив даже, хотя бы чуть-чуть, содержимого мензурки. Что сделалось с тем веществом? А что сделалось с этим июлем?

«Седьмой святой» был прохладной пещерой — прохладной и темной, как нора. Знойная белизна за окнами резала привыкшие к темноте глаза. Перед Обероном проплывала процессия мигающих, мучительно искаженных лиц; тел, оголенных настолько, насколько позволяют

приличия и изобретательность. У негров кожа сделалась серой и сальной, у белых побагровела; одни испанцы смотрели как ни в чем не бывало, но и у тех вид иной раз становился поникший и пришибленный. Как зимой холода, так сегодня летняя жара выглядела оскорблением; здесь в городе неправильность чудилась во всех временах года, исключая лишь два-три дня весной и неделю осенью, когда расцветали надежды и воздух благоухал свежестью.

— Ну что, жарко? — спросил Зигфрид.

Это он стоял теперь за стойкой «Седьмого святого» вместо Виктора — прежнего приятеля Оберона. Общение с Зигфридом, этим толстым туповатым увальнем, не доставляло Оберону удовольствия. При всем его покровительственном тоне, в нем чувствовалась отнюдь не отеческая жесткость, едва ли не упоение чужими слабостями, тайное *Schadenfreude*[286].

— Да, — кивнул Оберон. — Да уж. — Где-то вдалеке грянули выстрелы. Чтобы избавиться от необходимости реагировать, Оберон решил принять их за фейерверк. На улицах никогда не видишь убитых — во всяком случае, не чаще,

---

[286] Примечания: 286
Злорадство (нем.).

чем мертвых кроликов или птиц в лесу. Так или иначе, кто-то их убирает. — Но тут ничего, прохладно, — добавил он с улыбкой.

Снаружи завыли на ходу сирены, направляясь куда-то еще.

— Где-то что-то случилось, — проговорил Зигфрид. — Все эта манифестация.

— Манифестация?

— Рассел Айгенблик. Большое представление[287]. А ты не знал?

Оберон помотал головой.

— Ну и ну, и где ты только прятался? И об арестах ничего не слышал?

— Нет.

— Несколько парней с ружьями, бомбами и литературой. Их нашли в подвале какой-то церкви. Это была какая-то церковная группа. Планировали убийство или что-то вроде того.

— Собирались убить Айгенблика?

— Черт их знает! Может, это были его люди. Точно не запомнил. Только он прячется, единственно сегодня вот эта большая демонстрация.

---

[287] Примечания: 287

Рассел Айгенблик. Большое представление. — Аллюзия на «Оду соловью» Китса, которую Оберон услышит в этой же главе: поэт говорит о том, что ночная птица поет равно «императору и клоуну» («The voice I hear this passing night was heard / In ancient days by emperor and clown»).

— За него или против?

— Черт их знает!

Зигфрид отошел. Если Оберону нужны подробности, пусть найдет в газете. Это ведь не допрос — так, мимолетная беседа. Бармену есть чем заняться поважнее. Оберон, смущенный, взялся за стакан. Снаружи, группами по двое-трое, спешил, оглядываясь, народ. Кто-то кричал, другие смеялись.

Оберон отвернулся от окна. Задумавшись о предстоящем вечере и ночи, он начал потихоньку считать свои финансы. Еще немного — и он скатится уровнем ниже; из этого приятного — более того, до зарезу необходимого — места придется перекочевать в места не столь приятные, голые и ярко освещенные, где за липкими пластиковыми стойками торчат восковые физиономии их завсегдатаев, уставившиеся на зеркало напротив, к которому пришлепнуто меню с абсурдно низкими ценами. Распивочные заведения, как выражаются в старинных романах. И тогда? Конечно, можно пить и в одиночку — надираться, так сказать. Но не на Ветхозаветной Ферме, не в Складной Спальне.

— Повтори, когда будет свободная минутка, — тихонько попросил он бармена.

Этим утром — далеко не в первый раз — Оберон решил покончить с поисками. Не станет он сегодня гнаться по ложным следам. Нельзя найти того, кто не хочет, чтобы его нашли. Но что, если она хочет? — выкрикнуло его сердце. Что, если она потерялась и ищет тебя так же, как ты ищешь ее, если только вчера вас отделял друг от друга какой-нибудь квартал, если сейчас она сидит где-нибудь поблизости, на скамье в парке, на высоком крыльце, Как-то неспособная найти дорогу обратно, если как раз думает: он не поверит этой сумасшедшей истории (в чем бы она ни заключалась), найти бы его только, найти бы; и слезы одиночества на ее смуглых щеках... Но это все устарело. Это была Идея Сумасшедшей Истории, хорошо известная Оберону; прежде она была сияющей надеждой, но со временем стянулась в жгучую точку — не надежды, а упрека, и даже не стимула (нет! довольно!), а потому ее можно было потушить.

Он, не церемонясь, потушил эту точку и пошел в «Седьмого святого». Выходной день.

Оставалось принять следующее решение, и это он сделает сегодня (с помощью джина и опять же джина). Сильвия вообще никогда не существовала! Он ее придумал. Вначале, разумеется, нелегко

будет убедить себя, что это самый разумный выход из трудного положения, но со временем станет проще.

— Никогда не существовала, — пробормотал Оберон. — Никогда никогда никогда.

— Что такое? — спросил Зигфрид, до слуха которого даже обычные просьбы налить еще порцию доходили с трудом.

— Гроза. — Только что раздался звук, похожий если не на пушку, то на гром.

— Хоть жара спадет, — кивнул Зигфрид. Ему-то что, прохлаждается все лето в этой берлоге, подумал Оберон.

Помимо грома различался более ритмичный стук большого басового барабана, долетавший издалека, из центра города. Народу на улицах прибавилось; люди то и дело оглядывались, то ли чуя какие-то великие события, то ли возвещая о них. Мигая синими огнями, по улицам и переулкам носились полицейские машины. Среди прохожих, которые — что подбодрило Оберона — беспечно сновали по самой середине улицы, встречались одетые в пестрые свободные рубашки, как было принято среди сторонников Айгенблика. Вместе с другими, в темных очках и узких костюмах, и, как будто, со слуховыми

аппаратами (хотя вряд ли это были слуховые аппараты), пестроблузочники, оживленно жестикулируя, обсуждали что-то с потными полисменами. В окружении смуглых и чернокожих зевак и фотографов прошествовал в северном направлении духовой оркестр с переносным барабаном, контрапунктическим далекому басовому. Его ритм поторопил переговорщиков. Полицейские, в шлемах и при оружии, однако не знавшие, судя по всему, что делать, слушали вроде бы команды людей в костюмах. Вновь, еще отчетливей, прокатился гром.

С тех пор как Оберон поселился в городе или, по крайней мере, начал подолгу наблюдать толпу, ему пришло в голову, что люди — во всяком случае, живущие в Городе, — делятся на несколько четко различимых категорий, причем не по физическим, социальным или расовым признакам, хотя и те, и другие, и третьи помогали установить принадлежность человека к той или иной категории. Оберон не мог бы назвать точное число категорий или строго их определить, и даже их не вспомнил бы, не имея перед глазами соответствующий образец, но он то и дело говорил себе: «А, этот из такого-то разряда». Безусловно, поиски Сильвии были существенно осложнены тем, что,

при всей ее непохожести и неповторимости, она принадлежала к некоему расплывчатому разряду, отчего Оберон на каждом шагу обознавался, и это страшно его мучило. Множество женщин, которых он принимал за Сильвию, не были даже на нее похожи. И тем не менее это были ее сестры, и вид их причинял Оберону большую боль, чем вид слегка подобных ей *jovens*[288] и *lindas*[289] — такие следовали сейчас за оркестром, приплясывая и опираясь на стройные мускулистые руки кавалеров и эрзац-мужей. За ними показалась более многолюдная толпа довольно респектабельного вида.

Это была прилично одетая публика, шагавшая в ногу: широкогрудые черные женщины в очках и с жемчужными ожерельями, мужчины, среди которых было много тощих и сутулых, в скромных шляпах с загнутыми полями. Оберон часто задумывался о том, как большие и толстые черные женщины умудряются к старости приобрести лица, какие обычно бывают у худых людей: обтянутые кожей, суровые и жесткие, словно высеченные из гранита. Эти люди несли на шестах

---

[288] Примечания: 288
Девицы (исп.).

[289] Примечания: 289
Красотки (исп.).

полотнище, занимавшее всю ширину улицы, в котором были прорезаны дырочки в форме полумесяца, чтобы оно не превратилось в парус и не унесло их прочь. Выделенные блестками буквы складывались в слова: ЦЕРКОВЬ ВСЕХ УЛИЦ.

— Та самая церковь, — заметил Зигфрид, устроившийся вытирать стаканы у окна, чтобы лучше видеть. — Где нашли тех парней.

— С бомбами?

— Наглости им не занимать.

Поскольку Оберон все еще не знал, за или против кого выступали бомбисты, найденные в Церкви Всех Улиц, а также совпадают ли их взгляды со взглядами организаторов шествия, ему осталось только согласиться с Зигфридом.

Группу приверженцев Церкви Всех Улиц (скромных бедняков, как понял Оберон), с жавшимися по краю одним или двумя пестроблузочниками Айгенблика и одним наблюдателем из числа носителей слуховых аппаратов, сопровождала недремлющая пресса, пешком и в фургончиках, вооруженные всадники и зеваки. Как заливает прилив лужицы на морском берегу, так просочились в двери «Седьмого святого» двое-трое человек с улицы, принесших с собой жаркое дыхание дня и запах марширующей тол-

пы. Шумно отдуваясь и постанывая (это были жалобы на жару), они заказали пива.

— Вот, возьмите. — Один из них протянул что-то Оберону на желтой ладони.

Это была тоненькая полоска бумаги, как предсказание судьбы в китайском печенье. На ней было что-то напечатано, но в потной ладони буквы расплылись, и Оберон прочел только заголовок «послание». Еще двое посетителей, смеясь и вытирая с губ пивную пену, сличали похожие полоски.

— Что это значит?

— Разгадка за вами, — весело проговорил участник шествия. Зигфрид поставил перед Обероном спиртное. — Если найдете па́рную, выиграете приз. Лотерея. А? Их распространяют по всему городу.

В самом деле, снаружи Оберон увидел колонну напудренных мимов или клоунов[290], которые выплясывали кекуок в хвосте Церкви Всех Улиц. Выделывая незамысловатые акробатические упражнения, паля из игрушечных пистолетов и приветствуя прохожих прикосновением к потертым шляпам, они раздавали теснившейся вокруг

---

[290] Примечания: 290

...Оберон увидел колонну напудренных мимов или клоунов... — См. прим. 287.

толпе такие же бумажки. Люди изучали записки, дети просили еще, все смотрели и сравнивали. Если никто не протягивал руки за запиской, клоуны пускали ее по ветру, который как раз набирал силу. Один из клоунов повернул ручку сирены, висевшей у него на шее; послышался слабый, но жуткий вой.

— Что это, бога ради, — воскликнул Оберон.

— Черт его знает, — отвечал Зигфрид.

В дело вступил оркестр, начавший с грохота медных инструментов, и улица внезапно наполнилась шелковыми звездно-полосатыми флагами, которые шумно полоскались на ветру. Толпа возликовала. Двуглавые орлы кричали со знамен, двуглавые орлы с двумя горящими сердцами в груди, иные несли в клювах розы, сжимали в когтях мирт, мечи, стрелы, зигзаги молнии. Их венчали кресты, полумесяцы или и то и другое — источавшие кровь, сияние или пламя. Их, казалось, качала и уносила волна воинственной мелодии, которую наяривали оркестранты, одетые кто в лес кто по дрова: в цилиндры, фраки, бумажные воротники в виде крыла летучей мыши. Перед оркестром качалось ярко-синее с золотой бахромой знамя, но прочитать, что на нем написано, Оберон не успел.

К окну подошли завсегдатаи бара:

— Что происходит? Что происходит?

Мимы и клоуны по краям колонны протягивали бумажки, кувыркались, ездили друг у друга на плечах, ловко избегая жадных рук. Оберон, успевший основательно накачаться, тоже пришел в возбуждение, не в последнюю очередь от того, что не понимал, куда направлена эта сумасшедшая энергия и чему служит вся затея с плясками и флагами. В двери «Седьмого святого» прорвалось еще несколько беженцев. Музыка на мгновение зазвучала во всю мощь. Оркестр был никудышный, и извергал он, на самом деле, какофонию, но большой барабан держал ритм.

— Бог мой, — произнес изможденный мужчина в помятом костюме и в соломенной шляпе с едва заметными полями. — Бог мой, что за публика.

— Наплюй, — бросил чернокожий посетитель.

Народ валил и валил — и черные, и белые, и цветные. Зигфрид глядел испуганно. Он ожидал, что день пройдет спокойно. Внезапно голоса посетителей заглушил рокочущий рев: над улицей появился и нырнул в ее долину вертолет, замер и вновь поднялся, изучая обстановку. Народ стал ловить подхваченные ветром шляпы, забегал кругами, как домашняя птица на дворе фермы,

когда в небе парит ястреб. Из вертолета раздались звуки команд — скрипучие и неразборчивые. Приказы повторялись вновь и вновь, такие же бессмысленные, но все более настойчивые. Из толпы раздались протестующие крики, и вертолет, осторожно развернувшись, улетел. Вслед изгнанному дракону понеслись радостные клики и насмешки.

— Что они кричали, что? — спрашивали друг друга завсегдатаи.

— Может быть, — предположил Оберон, ни к кому не обращаясь, — предупреждали, что будет дождь.

Дождь действительно пошел. Но митингующих это не смутило. Мимо окон прошествовали новые музыканты, едва не проглоченные толпой; все они пели под стук барабана: «Пусть падает дождь, пусть льет; пусть падает дождь, пусть льет»[291]. Там и сям завязывались потасовки, в основном из-за давки, кричали кавалеры, сопровождавшие девушек, соседи растаскивали драчунов. Манифестация перерастала, казалось, в массовые беспорядки. Но тут настойчиво завыли автомобильные

[291] Примечания: 291

«Пусть падает дождь, пусть льет; пусть падает дождь, пусть льет». — Довольно частый рефрен («Let it fall, let it rain») в спиричуэлс и духовных песнопениях.

рожки и через буйную толпу двинулись черные лимузины, на крыльях которых трепетали под ветром вымпелы. За ними спешило множество личностей в костюмах и темных очках. Лица их были мрачны и сосредоточенны, глаза глядели в никуда. Тут, как знак беды, освещение быстро померкло, спустились оранжевые резкие сумерки, похожие на кинематографическое «солнце». Должно быть, настоящее солнце скрыли облака. Усилившийся ветер взъерошил даже аккуратные прически людей в костюмах и с аппаратами. Духовой оркестр смолк, продолжились только торжественные, траурные звуки барабана. Народ толпился вокруг машин, любопытный, а может быть, и злой. Людей попросили отойти. На некоторых машинах были прикреплены венки из темных цветов. Похороны? За темными стеклами ничего нельзя было разглядеть.

Завсегдатаи «Седьмого святого» присмирели, то ли преисполнившись почтения, то ли разозлившись.

— Последняя лучшая надежда, — произнес человек в соломенной шляпе. — Последняя лучшая надежда, разрази ее гром.

— Все кончилось, — проговорил другой и сделал большой глоток. — Все кончилось, кроме криков.

Автомобили уехали, толпа за ними сомкнулась; барабан звучал как биение сердца умирающего. Вдали снова грянул оркестр, послышался оглушительный удар грома, и все в баре пригнули головы, а потом, смущенные своим испугом, обменялись улыбками. Оберон одним глотком прикончил пятую порцию джина и, почему-то довольный собой, пробормотал:

— Пусть падает дождь, пусть льет. — Более повелительным жестом, чем обычно, он придвинул пустой стакан к Зигфриду: — Еще.

Вдруг начался дождь. Большие капли шумно колотили в высокое окно и обильно стекали вниз, шипя, словно город был раскаленной сковородой. Струи дождя на тонированном стекле мешали видеть манифестацию. Похоже было, что там двигались за лимузинами, встречая некоторое сопротивление, ряды людей в капюшонах с прорезанными отверстиями для глаз или в бумажных масках наподобие маски сварщика, с клюшками или палками в руках. Являлись ли они частью шествия или еще одним выступлением противников — сказать было трудно. «Седьмой святой» быстро наполнялся шумным народом, спасавшимся от дождя. Один из мимов или клоунов (по лицу его стекали капли) с по-

клоном пересек порог, но, почуяв в приветствиях посетителей враждебность, с новым поклоном удалился.

Гром, дождь, закат — поглощенные тьмой бури. Толпа, струившаяся по улицам вместе с потоками воды в свете фонарей. Звон стекла, крики, суматоха, сирены, война. Посетители бара кинулись наружу, чтобы посмотреть или присоединиться, а их место заняли другие, насмотревшиеся. Оберон оставался на своем стуле, спокойный, счастливый, и поднимал стакан с многозначительно отставленным мизинцем. Он блаженно улыбнулся озабоченному человеку в соломенной шляпе, стоявшему рядом.

— Надрался в стельку. Буквально. Я имею в виду — настелился в драку это когда стелька надралась. Если вы понимаете, о чем я. — Сосед со вздохом отвернулся.

— Нет, нет, — крикнул Зигфрид, заслоняясь руками как ставнем: в дверь ломилась куча приверженцев Айгенблика в облипавших их тела мокрых пестрых рубашках. Они поддерживали раненого сотоварища, по лицу которого растеклась кровавая паутина. На Зигфрида они не обратили внимания; толпа, бормоча, впустила их внутрь. Сосед Оберона уставился на них с

открытым вызовом, бормоча про себя ругательства. Кто-то освободил стол, опрокинув стакан со спиртным, и раненого усадили на стул.

Оставив его приходить в себя, они рванулись к бару. Человека в соломенной шляпе куда-то оттеснили. Судя по лицу Зигфрида, он преисполнился было решимости не обслуживать их, но быстро передумал. Один из новоприбывших водрузился на стул рядом с Обероном. Это был маленький человечек, набросивший на свою трясущуюся спину чью-то пеструю рубашку. Еще один встал на цыпочки, высоко поднял стакан и провозгласил тост:

— За Откровение.

Многие тоже подняли стаканы, присоединяясь к тосту или отвергая его. Оберон наклонился к клиенту, сидевшему рядом, и спросил:

— Какое откровение?

Дрожа от возбуждения и вытирая себе лицо, соседка обернулась. Она подстригла себе волосы, совсем коротко, под мальчишку.

— Откровение, — произнесла она и протянула ему полоску бумаги.

Не желая отводить взгляд, пока она рядом (не исчезнет ли она, пока он будет смотреть в сторону?), Оберон поднес бумажку к своим по-

луослепшим глазам. Там было написано: «Не по твоей вине».

Неважно

Собственно, рядом находились две Сильвии — по одной на каждый глаз. Он прикрыл один глаз рукой и сказал:

— Долго не виделись.

— Ага. — Она с улыбкой обернулась к своим сотоварищам, все еще дрожащая, но захваченная их волнением и славой. — Так куда тебя занесло? Где ты была? Кстати. — Оберон знал, что он пьян и должен говорить осторожно, мягко, не выдать себя, чтобы Сильвии не пришлось его стыдиться.

— То здесь, то там.

— Я не думаю, — начал он и произнес бы: я не думаю, что если бы ты не была настоящей Сильвией, ты бы мне об этом объявила, но его слова потонули в новых тостах и суматохе. Он сказал только: — Я имею в виду, если бы ты мне привиделась.

— Что? — спросила Сильвия.

— Я имею в виду, как твои дела! — Он почувствовал, что голова его раскачивается из стороны в сторону, и остановил ее. — Можно я куплю тебе выпить? — Она усмехнулась: людям Айгенблика

не нужно было сегодня покупать себе выпивку. Один из спутников поймал ее и поцеловал.

— Падение Города! — выкрикнул он хрипло (наверное, драл глотку весь день). — Падение Города!

— Хе-ей! — отозвалась она, соглашаясь скорее с его энтузиазмом, чем с идеей. Потом повернулась обратно к Оберону. Глаза ее были опущены, ладонь скользнула к его руке: Сильвия была готова все ему объяснить; но нет, она только взяла стакан, глотнула (глядя на Оберона поверх края) и с гримасой отвращения отставила.

— Джин, — сказал Оберон.

— На вкус самый настоящий *alcolado*[292].

— Не то чтобы он был вообще хорош, но для тебя в самый раз. — В собственном голосе Оберон узнал знакомые шутливые ноты — тон «Оберона-и-Сильвии», от которого давно отвык. Это было как заново знакомиться со звуками забытой музыки или вкусом забытого блюда. Для тебя в самый раз... Да, поскольку в сознание, как нож в устричную раковину, вновь проникла мысль об иллюзорной природе Сильвии. Он опять взялся за джин, озаряя Сильвию улыбкой, как она оза-

---

[292] Примечания: 292
Алкогольный напиток, настойка на спирту (исп. жарг.).

ряла веселое безумие, кипевшее вокруг. — Как поживает мистер Богатей?

— Отлично, — буркнула она, глядя в сторону. Не нужно было затрагивать этот предмет. Но Оберону отчаянно хотелось узнать, чем она живет.

— Так или иначе, ты была счастлива?

Она пожала плечами.

— Занята. — Она улыбнулась кончиками губ. — Крошка-хлопотунья.

— Я имел в виду... — Оберон смолк. Последняя тусклая лампочка разума в его мозгу высветила, прежде чем погаснуть, два слова: Молчание и Осмотрительность. — Неважно. Я, знаешь ли, в последнее время так много об этом думал, ты себе не представляешь, — о нас, то есть о тебе и обо мне, и расчислил, что на самом деле все в основном хорошо, ей-богу, прекрасно. — Сильвия, опершись щекой о ладонь, слушала его увлеченно, но невнимательно, как всегда, когда он пускался в рассуждения. — Все дело в том, что ты ушла, так ведь? Я хочу сказать: обстоятельства меняются, жизнь меняется, на что же мне жаловаться? Возразить нечего. — Внезапно он с облегчением это понял. — Ты была со мной на одной стадии своего развития — скажем, куколки или личинки. Но ты переросла эту стадию. Сде-

лалась другой. Как бабочка. — Да, она прорвала прозрачную оболочку, бывшую той девушкой, которую он знал и осязал, а он эту оболочку сохранил (как делал в детстве с полыми слюдяными фигурками саранчи). Это было все, что ему от нее осталось; и еще более ценной делали эту оболочку ее ужасная хрупкость и абсолютная брошенность, в ней воплощенная. Она же тем временем вырастила крылья (он об этом не знал, а мог только догадываться) и улетела; пребывала не только где-то еще, но и вне себя самой.

Сильвия наморщила нос и удивленно приоткрыла рот.

— Какая такая стадия?

— Одна из ранних.

— Что за слово ты назвал?

— Куколка. — Прогремел гром, переместился центр циклона, снова полил дождь. Кто был перед Обероном: прежняя прозрачная оболочка? Или Сильвия во плоти? Важно было немедленно это выяснить. И как могло получиться, что он остался преимущественно с ее плотью, и была ли это плоть души или душа плоти? — Неважно, неважно. — Голос его звучал хрипло от счастья,

сердце омывал джин доброты человеческой[293]. Он прощал ей все в благодарность за ее присутствие, какое бы то ни было. — Нев-важно.

— Слушай, это в самом деле неважно. — Она подняла стакан и кивнула Оберону, прежде чем сделать новый осторожный глоток. — Унесло потоком, знаешь ли.

— Правса есть кравда, кравда — прасота, земным одно лишь это надо знать[294]...

— Мне нужно в одно место.

В памяти Оберона отчетливо сохранилось только, что она, хоть он не надеялся, вернулась из уборной; при виде ее возвращающейся сердце его подпрыгнуло, как в тот миг, когда она, сидя поблизости, обратила к нему лицо; он забыл, что трижды от нее отрекся, решил убедить себя в том, будто ее не существует, что было в любом случае нелепо: ведь она была здесь, ведь он мог целовать ее в дождевых струях снаружи (только

---

[293] Примечания: 293

...джин доброты человеческой. — Пародийный парафраз шекспировского выражения «млеко доброты человеческой» («th'milk of human kindness» — «Макбет», 1, V).

[294] Примечания: 294

Правса есть правда, кравда — прасота, земным одно лишь это надо знать... — искаженные заключительные строки «Оды греческой вазе» (1819) Джона Китса («Beauty is truth, truth beauty, — that is all / Ye know on earth, and all ye need to know»): «Краса есть правда, правда — красота, / Земным одно лишь это надо знать» (перевод В. Комаровского).

это он и запомнил); ее мокрая от дождя плоть была холодна, как у призрака, соски тверды, как незрелые фрукты, но Оберон вообразил, что она согревается.

Сильвия и Бруно. Окончание[295]

Есть чары, которые длятся и долго держат мир в своей власти, но есть чары и недолговечные, которые быстро испаряются и оставляют мир прежним. Спиртное, как известно, относится к последним.

Оберон был вырван из сна сразу как рассвело, после нескольких часов забытья, похожего на смерть. В тот же миг он осознал, что должен бы быть мертв, что смерть для него самое подходящее состояние и тем не менее он жив. Беззвучным хриплым голосом он крикнул: «Нет, боже мой, нет», — но забытье было недостижимо, и даже сон окончательно улетел. Нет, он был жив и окружен тем же жалким миром. Пристальный взгляд широко открытых глаз явил ему безумную географическую карту на потолке Складной Спальни,

---

[295] Примечания: 295

Сильвия и Бруно. Окончание. — См. комментарии, раздел II. Оба Бруно — у Кэрролла и у Краули — чудовищно искажают слова (якобы детский акцент в первом случае и сленг во втором).

сплошные Чертовы острова в штукатурке. Не нужно было осматриваться, чтобы убедиться: Сильвии рядом не было.

Но был кое-кто другой, завернутый во влажную простыню (жарило уже как в пекле, по лбу и шее Оберона тек пот). И кто-то еще говорил с ним из угла Складной Спальни тоном успокаивающим и доверительным: «О, мне бы сок лозы, что свеж и пьян / От вековой прохлады подземелья, — / В нем слышен привкус Флоры и полян...»[296]

Звуки исходили от красного пластмассового радиоприемничка, древнего-предревнего, с рельефной надписью «Силвертон». Оберон и не подозревал, что он исправен. Голос, со вкрадчивыми интонациями диск-жокея, принадлежал чернокожему — правда, культурному. Бог мой, они повсюду, подумал Оберон, охваченный странным неприятным чувством, как путешественник в чужой стране, обнаруживший вокруг сплошных иностранцев. «К тебе, к тебе! Но пусть меня умчит / Не Вакх на леопардах: на простор /

---

[296] Примечания: 296

О, мне бы сок лозы, что свеж и пьян... — Здесь и далее в тексте явно или скрыто возникают строки из многократно цитируемой в романе «Оды соловью» Джона Китса (пер. И. Дьяконова). Нетрудно заметить, что принципиально важные слова (об эльфах, фейри, императоре и клоуне — см. комментарии) Краули не приводит: их должен вспомнить читатель. Главная тема «Оды» — бегство от враждебной реальности в мир фантазий и искусства.

Поэзия на крыльях воспарит...»

Медленно, как инвалид, Оберон выбрался из кровати. Но кто же там к нему присоседился? Виднелось смуглое мускулистое плечо; простыню колыхало тихое дыхание. Храп. «Боже правый, что я натворил». Оберон собирался уже сорвать простыню, но она откинулась сама, обнажив красивую ногу, гладкокожую, но заросшую короткими темными волосами — еще один ключ к разгадке. Да, сомневаться не приходилось — это был мужчина. Оберон потихоньку открыл дверь туалета и вынул оттуда пальто. Набросил его на голые плечи, передернувшись от клейкого прикосновения подкладки. В кухне он трясущимися исхудалыми руками открыл буфет. Пыльная пустота внутри почему-то подействовала на него угнетающе. С прошлого раза там должна была остаться бутылка рома «Донья Марипоса» с дюймом-двумя янтарной жидкости. Оберона замутило, но он вынул бутылку. У двери кинул взгляд на постель, где все еще спал новый друг, и шагнул за порог.

В холле Оберон уселся у лестницы, глядя в лестничный пролет и обеими руками сжимая бутылку. Ему так отчаянно недоставало Сильвии и уюта, что от невыносимой жажды он открыл

рот и склонился вперед, словно собираясь вопить или блевать. Но глаза его отказывались плакать. Он потерял все свои живительные соки, иссох до дна. Весь мир иссох тоже. И этот человек в постели. Не без труда Оберон отвернул пробку и, обратив в другую сторону обличающую надпись на этикетке, полил огнем свою пустыню. Внимаю все смутней. Китс, елейным голосом чернокожего, проскользнул под дверью и проник ему в уши. Как царственно бы умереть сейчас. Царственно: он высосал остаток рома и встал, отдуваясь и глотая горькую слюну. Упившись вдрызг, стать перстию земной[297].

Оберон закрыл пустую бутылку и оставил ее на лестнице. Поймал в зеркале, стоявшем на хорошеньком столике в конце коридора, чей-то облик, забытый. Словно похоронный звон, то слово. Оберон отвел глаза. Вошел в Складную Спальню. Голем, высохшую глину которого на время одушевил ром. Теперь он мог говорить. Он подошел к кровати. Лежавший там сбросил простыню. Это была Сильвия, но только в муж-

[297] Примечания: 297

Упившись вдрызг, стать перстию земной. — У Китса: «Под песнь твою стать перстию земли» («To thy high requiem become a sod»). В оригинале — тонкий эффект: Краули меняет всего одну букву (sod — дерн, и sot — забулдыга).

ском воплощении и лишенная своих чар: этот похотливый мальчишка был реален. Оберон потряс его за плечи. Голова Сильвии мотнулась по подушке. Темные глаза на миг открылись, увидели Оберона и вновь закрылись.

Оберон склонился над кроватью и проговорил прямо в ухо гостю:

— Кто ты? — Он произнес это медленно, с расстановкой. Понимает ли еще наш язык? — Как тебя *зовут*?

Юноша перекатился на бок, проснулся и провел рукой по лицу ото лба к подбородку, словно пытаясь стереть сходство с Сильвией (но оно осталось), потом произнес хриплым от сна голосом:

— Приветик. Что случилось?

— Как тебя зовут?

— Здрасьте пожалуйста. Иисус Христос. — Юноша откинулся на подушки, облизывая губы. Как ребенок, потер глаза костяшками пальцев. Он без стеснения чесался и гладил себя, будто был рад, обнаружив себя под рукой. Улыбнувшись Оберону, он добавил: — Бруно.

— Ну.

— А то не помнишь?

— Ну.

— Мы из бара пришли.

— Ну. Ну.

— Ты нализался, парень.

— Ну.

— Запамятовал? Тебе слабо было даже...

— Нет, нет.

Продолжая гладить себя, Бруно бросал откровенно любострастные взгляды.

— Ты сказал, погоди. — Бруно рассмеялся. — Больше тебя ни на что не хватило, парень.

— Разве? — Оберон ничего не помнил, но горько раскаивался, почти смеясь и почти плача, что разочаровал Сильвию, когда она еще была Сильвией. — Прости.

— Да ладно, — великодушно откликнулся Бруно.

Оберон хотел уйти и знал, что должен; хотел запахнуть расстегнутое пальто. Но не мог. Поступи он так, если минет его чаша сия, а с ней последний сухой остаток очарования минувшей ночи, а ведь, возможно, лишь это и останется с ним до конца дней. Он разглядывал открытое лицо Бруно, более простое и нежное, чем лицо Сильвии, не отмеченное страстями, хотя они и были сильны, по словам Сильвии. Дружелюбный (слезы ожгли орбиты его глаз, вдвойне очищенные слезы, поскольку воды в нем почти не осталось);

дружелюбный — вот какое слово подходило, чтобы описать Бруно.

— Нет ли у тебя сестры?

— Есть.

— А не знаешь ли случаем, где она?

— Не-а. — Он непринужденно махнул рукой (похоже на жест Сильвии). — Уже с месяц ее не видел. Ошивается где-то.

— Да.

Если бы погрузить руки в волосы Бруно. На одно лишь мгновение — этого будет достаточно. И закрыть свои палимые огнем глаза. От этой мысли Оберон ослабел и прислонился к передней стенке кровати.

— Ни дать ни взять стрекозка. — Непринужденно и томно Бруно расположился на кровати, так что там оставалось место и для Оберона.

— Что-что?

— Стрекозка. Сильвия. — Со смехом он сложил пальцы, изображая крылатое созданье. Улыбаясь Оберону, заставил стрекозу немного полетать. А потом, трепеща крыльями, позвать Оберона за собой.

Как далеко ты зашел

Исчезла музыка.

Убедившись, что Бруно спит так же, как его сестра, — мертвецким сном, Оберон не стал осторожничать. Выдернув свои вещи из сундука и чулана, разбросал их по комнате. Развернул помятый зеленый рюкзак, сунул туда свои стихи, прочее содержимое кабинета, мыло и бритву и до отказа набил его одеждой. В кармашки поместил все, какие отыскались, деньги.

Пропала, всё, пропала, думал он, мертво, мертво, пусто, пусто. Но никакими заклинаниями нельзя было изгнать из этой комнаты ее дух, даже самый бледный и нереальный, и потому оставалось одно — бежать. Бежать. Он шагал из угла в угол, мельком заглядывал в ящики и на полки. Его поруганный половой признак раскачивался на ходу. Под конец Оберон натянул на себя шорты и брюки, но и укрытый тот укоризненно пылал. Затея потребовала больших усилий, чем он рассчитывал. Ну ладно, ладно. Запихивая в карман рюкзака пару носков, Оберон нащупал там какой-то забытый предмет, завернутый в бумагу. Он вынул находку.

Это был подарок, который вручила ему Лили в

тот день, когда он покидал Эджвуд, чтобы искать счастья в Городе: небольшой сверточек в белой бумаге. Открой его, когда о нем подумаешь, сказала она.

Оберон оглядел Складную Спальню. Пусто. Или не менее пусто, чем всегда. Осквернённую постель занимал Бруно; на бархатном кресле висела его пестрая куртка. По полу кухни пробежала и спряталась мышь (или дело дошло уже до галлюцинаций? Он чувствовал, что так оно и есть). Оберон вскрыл пакетик, полученный от Лили, рассматривал его, вертел в липких и все еще трясущихся пальцах, пока не понял: это шагомер. Портативный шагомер, который привязывают к поясу, чтобы знать, как далеко ты зашел.

Донышко бутылки

Крохотный парк наполнялся народом.

Почему Оберон не знал, что любовь бывает такой? Почему никто не сказал ему? Если бы знал, он никогда бы не ввязался, во всяком случае с такой готовностью.

Почему он, в конце концов, молодой человек не без царя в голове, а к тому же из хорошей семьи, не имел ни о чем ни малейшего понятия?

Покидая Ветхозаветную Ферму и отправляясь

на городские улицы, грязные от лета и упадка, он даже предположил, что не ищет Сильвию в более отдаленных местах и по остывшим следам, а, наоборот, бежит от нее. Пьяницы, как говаривала двоюродная бабушка Клауд, пьют, чтобы спрятаться от своих несчастий. Если так же обстояло дело и с ним, — а он изо всех сил старался спиться, — то чем объяснить, что там, где, по словам Клауд, пьяницы находят забвение, то есть на донышке бутылки, он, если не каждый раз, то достаточно часто, находил Сильвию?

Ладно, поторопись. Осень, конечно, символизировали жатва, снопы пшеницы, ядреные плоды. Едва видимый вдалеке, с надутыми щеками и насупленными бровями, быстро приближался Братец Северный Ветер.

Была ли девушка с серпом, жавшая полновесные колосья, той же самой, которая весной сажала ростки при помощи совочка? И кто был тот немолодой человек, что с задумчивым лицом лежал, свернувшись, на дарах земли? С думой о зиме...

В ноябре они трое — Оберон, Сильвия и Фред Сэвидж, его наставник в бродяжничестве (который в то время начал встречаться Оберону так же часто, как она, но только, в отличие от нее,

во плоти) — оседлали парковую скамью, словно плывшую по городским сумеркам, и устроились в тесноте, но не в обиде. Газеты, которые Фред Сэвидж засунул под пальто, шуршали при каждом его движении, хотя шевелился он только, чтобы поднести к губам бренди. Они кончили петь и декламировать стихи бражника:

> *Известно вам, друзья, как шумно я кутил,*
> *Когда повторно дом свой заложил*[298],
> —

и теперь молча наблюдали, как протекает тот жутковатый час, что предшествует включению городских фонарей.

— Старина Ястреб уже в городе, — заметил Фред Сэвидж.

— Что-что?

— Зима, — пояснила Сильвия, пряча ладони под мышками.

— Пора снимать с места свои старые промерзшие кости, — продолжал Фред Сэвидж, прихле-

---

[298] Примечания: 298

Известно вам, друзья, как шумно я кутил, / Когда повторно дом свой заложил. — Перефразированные строки из рубайат Омара Хайяма в знаменитом переводе на английский Эдварда Фицджеральда (1809–1883). Речь здесь идет не о повторном закладе, а о «втором браке»: Рассудок изгнан, его место заняла Дочь Лозы.

бывая из фляжки и шурша газетами. — Двину-ка я во Флориду.

— Отлично, — кивнула Сильвия, будто дождалась наконец от кого-то разумных слов.

— Со Стариной Ястребом я не вожу компанию, — проговорил Фред Сэвидж. — Мне бы только купить билет на автобус, и сделаю ему ручкой. Филли, Балтимор, Чарлстон, Атланта, Джейвилл, Санкт-Пит[299], Майами. Видел когда-нибудь пеликана?

Не видел. Сильвия с самого раннего детства привыкла приманивать этих нелепых и прекрасных птиц, фрегатов карибских вечеров.

— Как же, как же, — продолжал Фред Сэвидж. — Клюв больше остального пеликана. Выщипывает у себя перья на груди и кормит своих мальцов кровью сердца. Кровью сердца[300]. О, Флорида.

Фред унес осень и, возможно, также и остаток жизни Оберона. Он пришел на помощь Оберону, был рядом в самой тяжкой нужде, как пообещал

---

[299] Примечания: 299

Филли... Джейвилл, Санкт-Пит... — прозвища американских городов Филадельфии, Джейсонвилла, Санкт-Петербурга.

[300] Примечания: 300

Клюв больше остального пеликана. Выщипывает у себя перья на груди и кормит своих мальцов кровью сердца. Кровью сердца. — Распространенное в Средние века символическое толкование пеликана как образа Христа, искупающего кровью грехи человечества.

в тот день, когда впервые проводил его через весь город в контору Петти, Смилодона и Рута. Оберон не задавал вопросов об этих дарах Города, а равно и о других. Он просто положился на его милость и обнаружил, что, как строгая госпожа, Город благосклонен к тем, кто подчинился ему безоговорочно, до конца. Оберон постепенно этому научился. Прежде он был привередой, не ради Сильвии, а сам по себе, теперь же оброс грязью, городской грязью, которая намертво въедалась в ткань. Правда, пьяным он проходил не один квартал в поисках общественных удобств, как бы редко они ни попадались и какую бы ни представляли опасность, но в промежутках между этими приступами щепетильности он сам над собой за это посмеивался. К осени его рюкзак сделался бесполезной тряпкой, саваном; так или иначе, он не вмещал больше жизнь, проживаемую на улице, и, подобно прочим городским посвященным, Оберон стал носить с собой бумажные пакеты для покупок, для прочности вложенные один в другой, рекламируя своей жалкой персоной то одно крупное заведение, то другое.

Он продолжал так жить, не расставаясь с бутылкой джина, ночуя на улицах, иногда шумных, а иногда спокойных как некрополь, но для него

всегда пустых. От Фреда и от предшественников, наставлявших Фреда, Оберон узнал, что позади остались великие времена бродяжьего братства, когда на Нижнем Бродвее были свои короли и мудрецы, когда город был помечен их знаками, понятными только своим, когда у пьяниц, цыган, сумасшедших и философов существовали ранги, не менее твердо установленные, чем ранги дьякона, пономаря, священника и епископа. Ну, разумеется, все это относилось к прошлому. В какую бы затею ты ни влез, думал Оберон, всегда оказывается, что дни ее процветания давно минули.

Ему не приходилось попрошайничать. Мелкин, Смилодон и Руфь давали ему деньги не столько потому, что он имел на это право, сколько с целью избавиться от его зловонной особы (зная это, он являлся туда в самом непотребном виде и часто в сопровождении Фреда Сэвиджа), но много ли нужно пьянице? Немудреная жратва, кое-когда ночевка (он боялся замерзнуть до смерти под забором, как случилось не с одним его приятелем) и джин. Оберон никогда не опускался до мерзкого вина, таковы были его принципы. Он противился окончательному падению, даже если отделяло его от этого только прозрачное пламя джина, где

временами, как саламандра, являлась Сильвия.

Верхнее колено (Оберон сидел, положив ногу на ногу) начало мерзнуть. Он не знал, почему холод в первую очередь добрался именно до колена: ни пальцы на ногах, ни нос его еще не почувствовали.

— Автобус. — Оберон поменял ноги и сказал: — Я могу купить билеты. Поедешь? — спросил он Сильвию.

— Конечно, поеду, — отозвалась Сильвия.

— Конечно, поеду, — отозвался Фред.

— Я обращался не к тебе, — сказал Оберон.

Фред бережно обнял Оберона за плечо. Какие бы призраки ни мучили его друга, он неизменно проявлял такт и доброту.

— Конечно, поедет, — произнес он, приоткрывая свои желтые глаза, чтобы смерить Оберона обычным своим взглядом — хищным или, наоборот, сочувственным, тот никак не мог понять. И добавил с улыбкой: — И самое лучшее то, что ей не понадобится билет.

Дверь в никуда

Из всех потерь и провалов его притупленной пьянством памяти Оберона больше всего мучило впоследствии, что он не может вспомнить,

поехал во Флориду или нет. Искусство Памяти показывало ему несколько растрепанных пальм, два-три здания из оштукатуренного кирпича или бетонных блоков, выкрашенных в розовый или бирюзовый цвет, запах эвкалиптов. Но если эти воспоминания ничем не подкреплялись, то, несмотря на свою видимую неколебимость, они вполне могли оказаться плодом воображения или застрявшей в памяти картинкой. Не менее отчетливо вспоминался ему Старина Ястреб на широких, как ветер, проспектах. Он сидел на перчатках привратников в прилегающих к Парку домах, распушив заиндевевший воротник из перьев и навострив когти, чтобы вцепиться в чьи-нибудь внутренности. Но Как-то он не замерз до смерти, и конечно же, по идее, зима на городских улицах должна была скорее врезаться в память, чем пальмы и жалюзи. Но ладно, он не особо вдумывался. По-настоящему его интересовало лишь одно: те острова, где путешественнику подмигивали красные неоновые вывески (они всегда были красные, как он узнал), и бесконечные ряды фляжек с прозрачным, как вода, содержимым, которые, подобно коробке с сухим завтраком, иной раз таили в себе приз. Ясно вспоминалось ему только одно: как в конце зимы призов больше не

осталось. Его пьянство было пустым. В стакане сохранился только осадок — и Оберон пил его.

Почему он оказался в недрах старого Вокзала? Вернулся поездом из Солнечного штата[301]? Или забрел случайно? В предутренний час, на месте одного предмета видя три, во влажных штанинах, которые недавно обмочил, он по уклонам и катакомбам направлялся целеустремленным шагом в никуда (не столь решительная поступь непременно привела бы к падению; процесс ходьбы — штука куда более сложная, чем считают некоторые). Фальшивая монахиня в грязном плате и с настороженными глазами (Оберон давно понял, что это был мужчина) потрясла перед ним чашей для подаяния — скорее иронично, чем с надеждой. Оберон не остановился. На никогда не умолкавшем Вокзале царила относительная тишина; немногие путешественники и подзаборники обходили Оберона стороной, хотя он и приглядывался-то к ним лишь затем, чтобы собрать каждого воедино: когда люди ходят по три экземпляра каждый, это многовато. Одно из преимуществ выпивки состоит в том, что она сводит жизнь к самым простым действиям, ко-

[301] Примечания: 301
Солнечный штат — официальное прозвание Флориды.

торые поглощают все внимание: видеть, ходить, точно подносить бутылку к ротовому отверстию. Словно тебе вновь стало два года. Мысли только самые простые. И воображаемый друг и собеседник. Оберон остановился, набредя на более или менее прочную стену; он отдыхал и думал: *подзаборник*.

Простая мысль. Одна простая отдельная мысль, и остаток жизни и времени — невыразительная серая равнина, простирающаяся бесконечно во всех направлениях; сознание — огромный шар, наполненный грязным пухом, где теплится под спудом лишь один огонек этой мысли.

— Что? — спросил Оберон, отделяясь от стены, но никто к нему не обращался. Оглядевшись, он обнаружил, что находится под сводом в месте встречи четырех коридоров. Он стоял в углу. Внизу, где ребра сводов примыкали друг к другу, виднелась, как будто, щель между соседними кирпичами (на самом деле ее не было). Казалось, туда можно заглянуть...

— Эй? — шепнул Оберон во тьму. — Эй?

Ничего.

— Эй. — На этот раз громче.

— Тише, — сказала она.

— Что?

— Говори тихо, — сказала Сильвия. — Не оборачивайся пока.

— Эй. Эй.

— Привет. Правда, здорово?

— Сильвия, — шепнул он.

— Как будто ты совсем рядом.

— Да, — сказал он, — да, — свистящим шепотом. Он стал втискивать свое сознание в темноту. На мгновение оно сложилось, потом опять расправилось. — Что?

— Ладно, — проговорила она приглушенным голосом и, немного помолчав, добавила: — Думаю, мне пора.

— Нет. Нет, прошу. Прошу, не уходи. Почему?

— Видишь ли, я потеряла работу.

— Работу?

— На пароме. Старик замечательный. Очень милый. Но ску-ука. День напролет туда-сюда. — Он почувствовал, что она немного отстранилась. — Так что мне, наверное, пора. Судьба зовет. — В ее словах звучала самоирония. Сильвия старалась обратить их в шутку, чтобы его позабавить.

— Почему?

— Шепчи, — шепнула Сильвия.

— Почему ты хочешь так со мной поступить?

— Как, бэби?

— Почему бы тебе, черт возьми, не уйти? Почему ты не уйдешь и не оставишь меня в покое? Иди иди иди. — Оберон умолк и прислушался. Тишина и пустота. Глубокий ужас нахлынул на него. — Сильвия? Ты слышишь меня?

— Да.

— Куда? Куда ты идешь?

— Дальше.

— Куда дальше?

— Сюда.

Чтобы устоять, он ухватился за холодные кирпичи. Его колени ходили ходуном.

— Сюда?

Чем дальше продвигаешься, тем больше становится.

— Черт возьми. Черт возьми, Сильвия.

— Здесь очень чудно́, — сказала Сильвия. — Я ожидала совсем другого. Но я многое узнала. Наверное, я привыкну. — Она сделала паузу, и темноту наполнило молчание. — Но тебя мне не хватает.

— О боже.

— Так я пойду. — Шепот Сильвии звучал теперь слабее.

— Нет, — произнес Оберон. — Нет нет нет.

— Но ты только что сказал...

— Боже мой, Сильвия. — Ноги его не выдержали, и он тяжело опустился на колени, по-прежнему глядя в темноту. — О боже. — Сунув лицо в несуществующую полость, куда обращал речь, он принялся извиняться, униженно молить, сам уже не зная о чем.

— Нет, послушай, — растерянно прошептала она. — По мне ты замечательный, ей-богу, я всегда так считала. Не говори этой ерунды.

Тем временем Оберон, непонимающий и непонятый, расплакался.

— Так или иначе, я должна. — Голос ее звучал слабее, уже приглушенный расстоянием, и мысли отдалились тоже. — О'кей. Видел бы ты, что они мне надавали... Послушай, *papo*. *Bendicion*[302]. Веди себя хорошо. Бывай.

Позднее мимо Оберона засновали ранние пассажиры и торговцы, которые шли открывать грошовые лавчонки, а он, глухой ко всему, уткнув лицо в дверь в никуда, продолжал стоять на коленях, как наказанный озорник. Со свойственной городским жителям деликатностью или равнодушием все отводили глаза, но некоторые на ходу печально или с отвращением качали головой:

---

[302] Примечания: 302
Здесь: бог с тобой (исп.).

живой урок.

Впереди и позади

Слезы выступили на глазах у Оберона и тогда, когда он в маленьком парке подобрал эти остатки кораблекрушения — все, что сохранилось от Сильвии. Очнувшись на Вокзале в той же позе, он не знал, как и зачем здесь очутился; но теперь вспомнил. Это удалось ему с помощью Искусства Памяти, и теперь он мог распоряжаться спасенным имуществом.

Неизвестное, то, чего ты не знал, возникает вдруг, поразительным образом, если правильно расставить то, что знаешь. А скорее, то, что ты всегда знал, но не подозревал об этом. Каждый день здесь приближал его к этому; каждую ночь, лежа без сна в Миссии Заблудших Овец и слушая кашель и стоны мучимых кошмарами сотоварищей, он бродил в памяти по этим тропам и приближался к тому, чего не знал: к потерянному факту, одиночному и простому. Да, теперь он знает. Головоломка собрана до конца.

Он был проклят — все дело в этом.

Давным-давно (когда — он знал, а вот почему — нет) на него было наложено проклятие, злые

чары, печать уродства[303]: он сделался вечным искателем, обреченным на бесплодные поиски. По каким-то своим причинам (кто знает, просто ли они злобствовали или хотели покарать его за непокорность, хотя последняя при нем осталась, он не поддался) они наложили на него заклятие: тайком от него самого обратили его стопы задом наперед и послали его на поиски.

Это произошло (теперь он знал) в темной чаще, когда пропала Лайлак, а он звал ее отчаянно, надрывая сердце. С этого мига он сделался искателем, со стопами, Как-то обращенными не в ту сторону.

Он искал в чащобе Лайлак, но, конечно, не нашел. Ему было всего восемь лет, он еще только взрослел, хотя против своей воли. Чего он мог ожидать?

Чтобы проникнуть в тайны, которые от него скрывали, Оберон сделался тайным агентом, но пока он старался их раскрыть, тайны оставались тайнами.

Он искал Сильвию, но, найдя, казалось бы,

---

[303] Примечания: 303

Давным-давно... на него было наложено проклятие, злые чары, печать уродства... — Впервые в литературе Оберон появляется в рыцарском романе «Гуон Бордоский» (XV в.), где он — сын Юлия Цезаря и феи Морганы. При рождении Оберона добрые фейри одарили его, а злая проклятьем обратила в карлика.

дорожку к ее сердцу, убеждался, что она ведет в противоположном направлении. Потянись к девушке, которая улыбается тебе из зеркала, и твоя рука наткнется на холодную границу стекла.

Ладно, теперь все решено. Поиск, начавшийся в незапамятные времена, ныне подошел к концу. Маленький парк, спроектированный его прапрадедом, Оберон переделал в символ не менее полновесный, чем любой из козырей в колоде двоюродной бабки Клауд или загроможденный зал в доме памяти Ариэль Хокскилл.

Подобно старым картинам, где человеческие лица изображены в виде рога изобилия, где каждая морщинка, ресница, складка на шее оказываются фруктом, овощем, зерном[304], воссозданными настолько реалистично, что хочется сорвать их и съесть, этот парк нес в себе лицо Сильвии, ее сердце, тело. Освободив свою душу от всех фантазий, Оберон запер здесь призраков и демонов, порожденных пьянством и наследственным сумасшествием. Где-то жила, гоняясь

---

[304] Примечания: 304

Подобно старым картинам, где человеческие лица изображены в виде рога изобилия, где каждая морщинка, ресница, складка на шее оказываются фруктом, овощем, зерном... — Имеются в виду полотна итальянского художника Джузеппе Арчимбольди (Арчимбольдо) (ок. 1527–1593): серия «Времена года» (1563, 1573), «Вертумн (Портрет Рудольфа II)» (1590) и др.

за своей Судьбой, Сильвия, ушедшая по известным ей одной причинам. Оберон надеялся, что она счастлива. Благодаря своим усилиям и Искусству Памяти он освободился от заклятия и мог теперь идти куда угодно.

Оберон сел.

Какое-то дерево (деду, конечно, было известно его название, но не Оберону) как раз на этой неделе роняло свои похожие на листья цветы или семена, и весь парк был усыпан серебристо-зелеными кружками, словно кто-то разбросал здесь миллион долларов в десятицентовых монетах. Расточитель-ветер подкатывал эти богатства к недвижным стопам Оберона, сыпал на поля шляпы и на колени, хороня его под листвой, как один из здешних постоянных объектов, вроде скамьи, где он сидел, или павильона, на который был устремлен его взгляд.

Когда Оберон тяжело поднялся, все еще чувствуя себя Как-то населенным, его единственной целью было перейти от Зимы, с которой он покончил, обратно к Весне, откуда начался его путь и где он находился теперь. Годовой цикл. Зима была стариком, Отцом-Время, с серпом и песочными часами, в обтрепанном домино; на лице его было написано отвращение, бородой играл

ветер. К чахоточным ногам жалась тощая собака или волк. Зеленые монеты, пролетая, застревали в углублениях рельефа; зеленые монеты с шелестом упали с колен Оберона, когда он поднялся. Он знал, что представляет собой Весна, прятавшаяся за углом, — там он уже бывал. Внезапно ему показалось, что нет смысла делать ничего другого, только совершить этот круг. Здесь находилось все, что ему требовалось.

Секрет Братца Северного Ветра. Десяти шагов было достаточно. Пришла Зима, так далеко ли позади Весна? Оберону всегда казалось, что это сказано неверно. Не правильнее ли: пришла Зима, так далеко ли впереди Весна? Впереди: если двигаться от начала года к концу, сперва приходит зима, и тогда до весны остается не так уж много. «Правильно?» — спросил он вслух, ни к кому не обращаясь. Впереди, позади. Может, это он был не прав, смотрел на все с особой, никчемной точки зрения, какой не придерживался больше никто, ни один человек. Пришла зима... Оберон обогнул угол павильона. Так далеко ли весна впереди, позади... Кто-то еще огибал как раз другой угол, от Весны к Лету.

— Лайлак, — позвал Оберон.

Она повернула голову, успев уже наполовину

скрыться из виду, и бросила на него взгляд, так хорошо знакомый и так давно забытый, что у него подкосились колени. Во взгляде ее читалось: я как раз собиралась уйти, но ты меня перехватил, — но означал он иное; в нем, как помнил Оберон, соединялись изрядная доля кокетства и некоторая робость. Парк вокруг делался нереальным, словно его бесшумно уносило ветром. Лайлак обернулась, болтая сцепленными впереди руками и переступая босыми ногами. Она (конечно же) не сделалась старше и (конечно же) была одета в прежнее синее платье.

— Привет, — сказала она и быстро смахнула со лба прядь волос.

— Лайлак, — позвал Оберон.

Она откашлялась (поскольку давно не говорила) и произнесла:

— Оберон. Не думаешь ли ты, что тебе пора домой?

— Домой, — отозвался он.

Лайлак шагнула ему навстречу, или это он сделал шаг; он протянул ей руки, она ответила тем же.

— Лайлак, — сказал Оберон. — Как ты сюда попала?

— Сюда?

— Куда ты пошла, в тот раз, когда исчезла?

— Исчезла?

— Пожалуйста, — сказал он. — Пожалуйста.

— Я была здесь все время. — Она улыбалась. — Глупый. Это тебе не сидится на одном месте.

Это проклятие, всего лишь проклятие. Твоей вины тут нет.

— Хорошо. Хорошо. — Оберон взял Лайлак за руки и поднял в воздух, точнее попытался, но у него не получилось. Тогда он сцепил ладони наподобие стремени и склонился, а Лайлак ступила на них своей босой ножкой, оперлась о его плечи, и таким образом он ее поднял.

— Здесь полно народу, — произнесла она, входя. — Кто эти люди?

— Неважно, неважно, — отозвался он.

— Ну вот, — произнесла она, устроившись. Голос ее уже ослабел и скорее походил на его голос, как, в сущности, было всегда; в сущности, в сущности. — Куда мы отправимся?

Оберон вынул ключи, данные ему старухой. При выходе, так же как и при входе, нужно было отворить железные ворота.

— Думаю, домой. — Маленькие девочки, которые играли на тропе в камешки и собирали одуванчики, подняли глаза, чтобы посмотреть,

как он бормочет себе под нос. — Думаю, домой.

Глава третья

Из-за вас
Я город презираю и уйду:
Где-то еще есть некий новый мир.

***«Кориолан»*[305]**

Могучий «вульпес» Хокскивилл доставил ее в Город за время, близкое к рекордному, так что (согласно ее часам) она прибыла не в последнюю минуту. Теперь она владела всеми сведениями, проливающими свет на проблему Рассела Айгенблика, но добывать их пришлось дольше, чем она рассчитывала.

Как раз к сроку

По дороге на север Хокскивилл раздумывала о том, как представиться потомкам Вайолет Дринкуотер, чтобы ей показали карты: антикварием,

---

[305] Примечания: 305

Из-за вас / Я город презираю и уйду: / Где-то еще есть некий новый мир. — Эпиграф взят из трагедии Шекспира «Кориолан» (д. III, сц. 3). В переводе Ю. Корнеева эти строки звучат так: «Я презираю из-за вас мой город / И становлюсь к нему спиной отныне: / Не замкнут мир меж этих стен» (см. прим. 165).

коллекционером, последовательницей какого-либо культа. Но они никогда не пошли бы ей навстречу, если бы ее появление не было предсказано (Софи узнала ее, как только увидела). К тому же она оказалась их дальней родственницей, что тоже помогло; совпадение вызвало восторг у семейства и очень заинтересовало Хокскилл. Но даже при таком благоприятном развитии событий у нее ушло несколько дней, которые они с Софи провели, склонившись над картами. И еще не один день она изучала последнее издание «Архитектуры загородных домов», со странным содержанием которого Дринкуотеры как будто не были особенно хорошо знакомы. Пока она читала и размышляла, вся история — или та ее часть, которая уже успела осуществиться, — понемногу прояснялась под ее внимательным взглядом, однако роковая встреча членов «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста» с Расселом Айгенбликом все еще планировалась, а сама Хокскилл по-прежнему не знала, на чьей она стороне и что собирается делать дальше.

Теперь наступила ясность. Дети детей Времени — кто бы мог подумать? Шут и Кузен; Путешествие и Хозяин. Младшие Козыри! Хокскилл мрачно улыбнулась, огибая гигантский отель

«Эмпайр», где обосновался Айгенблик, и решила прибегнуть к колдовству, что случалось с ней не часто.

«Вульпес»[306] она поставила в похожий на пещеру гараж-парковку под отелем. У двери и лифтов дежурили вооруженные охранники и служители. Хокскивилл обнаружила, что ее автомобиль попал в очередь на осмотр. Она приглушила рев мотора и вынула из бардачка сафьяновый мешочек. Извлекла оттуда осколочек белой кости. Она принадлежала абсолютно черному коту, сваренному живьем в кухне у Негры — *espiritista*, которой Хокскивилл в свое время оказала большую услугу. Был ли это палец или фрагмент верхней челюсти, Негра не знала; она обнаружила его, после того как целый день экспериментировала перед зеркалом: аккуратно отделяла кости от смердящего остова и одну за другой клала в рот, разыскивая такую, от которой ее отражение исчезнет. Нашлась именно эта. Колдовские обряды Хокскивилл всегда считала вульгарными, а этот особенно отталкивал ее своей жестокостью. Сама она сильно сомнева-

---

[306] Примечания: 306

«Вульпес» — вымышленная марка машины, в переводе с латинского означает «лиса». В финале романа обыгрывается сказка о журавле (аисте) и лисице.

лась в том, что среди тысячи с лишним костей черного кота имеется такая, которая делает человека невидимым, но Негра заверила, что кость сработает независимо от того, верит она или нет. Теперь этот подарок пришелся очень кстати. Хокскивилл огляделась; убедилась, что служители еще не заметили ее автомобиль; предусмотрительно оставила ключ в замке, с гримасой отвращения сунула косточку в рот и исчезла.

Чтобы незамеченной выбраться из автомобиля, потребовалось немного постараться, но открывшиеся и закрывшиеся сами по себе двери лифта не привлекли внимания служителей и охранников (кому придет в голову, что пустой лифт способен на такие выходки?), и Хокскивилл шагнула в коридор, предусмотрительно сторонясь своих видимых попутчиков. Ничем не примечательные неулыбчивые мужчины в плащах подпирали стенки или сидели в креслах и делали вид, что читают газеты, никого этим не обманывая и не поддаваясь чужому обману (единственное исключение составляла Хокскивилл). По незримому сигналу они начали менять свое местоположение, как приборы на столе. В стремительно вращавшиеся двери входила большая группа во главе с младшими по рангу. Как

раз к сроку, — подумала Хокскуилл, потому что это были члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста». Они не стали озираться, как делают в подобных местах обычные люди, а, немного рассеявшись по сторонам (будто желали плотнее оккупировать помещение), устремили взгляды вперед, в будущее. Преходящие формы настоящего их не интересовали. Под мышками у них были сумки из мягкой, перчаточной кожи, на головах — солидные фетровые шляпы (на ком-нибудь другом такой немодный головной убор показался бы смешным).

Члены клуба распределились между двумя лифтами. В согласии с древним мужским ритуалом высокопоставленные придерживали двери для остальных. Хокскуилл скользнула в менее загруженный лифт.

— Тринадцатый?

— Тринадцатый.

Кто-то с силой ткнул указательным пальцем в кнопку. Кто-то еще бросил взгляд на скромные наручные часы. Лифт плавно пошел вверх. Членам клуба не о чем было разговаривать друг с другом: решение принято, а у стен, как все они хорошо знали, имеются уши. Хокскуилл, прижавшись к двери, рассматривала невыразительные

лица попутчиков. Дверь открылась, и Хоксквилл бочком протиснулась наружу — как раз вовремя, потому что навстречу членам клуба протянули руки встречающие.

— Лектор сию минуту подойдет.

— Не подождете ли в этой комнате.

— Не заказать ли для вас что-нибудь. Лектор распорядился подать кофе.

Проворные мужчины в костюмах повели гостей налево. У каждой двери стояли один или двое молодых людей, с нарочито небрежно сложенными руками. По крайней мере, он осторожен, — подумала Хоксквилл. Из другого лифта вышел официант в красной куртке с подносом, на котором стояла одна-единственная крохотная чашечка кофе. Он двинулся направо, и Хоксквилл последовала за ним. Стража пропустила его — а также Хоксквилл — через двойную дверь. Официант постучал в следующую, ничем не помеченную дверь, открыл ее и вошел. Хоксквилл сунула в проем невидимую ногу и тоже скользнула внутрь.

Иголка в стоге Времени

Это была гостиная с обычной обстановкой и с большими окнами, которые глядели на ощети-

нившиеся городские крыши. Официант, бормоча что-то себе под нос, прошел мимо Хокскуилл обратно к двери. Хокскуилл вынула изо рта косточку и бережно спрятала, задняя дверь распахнулась, и оттуда, зевая, показался Рассел Айгенблик в темном шелковом халате с драконами. На носу у него сидела пара узких, совсем маленьких очков, незнакомых Хокскуилл.

Айгенблик, ожидавший увидеть пустую комнату, вздрогнул.

— Вы, — сказал он.

Не очень грациозно Хокскуилл опустилась на одно колено (прежде ей, как будто, ни разу не доводилось проделывать подобные телодвижения) и с глубоким поклоном произнесла:

— Покорная слуга вашего величества.

— Встаньте. Кто пустил вас сюда?

— Черный кот. — Хокскуилл поднялась. — Неважно. Времени у нас в обрез.

— Я не даю интервью.

— Простите. Это был обман. Я не журналист.

— Так я и думал! — торжествующе воскликнул Айгенблик. Он сдернул с носа очки, словно только что о них вспомнил. Сделал шаг к телефонному столику в стиле Людовика Четырнадцатого, где стоял аппарат внутренней связи.

— Погодите. Скажите мне вот что. Неужели вам хочется, после восьми веков сна, провалить свою затею?

Он медленно обернулся, чтобы смерить ее взглядом.

— Вы помните, конечно, — продолжала Хокскивилл, — как однажды вам пришлось унизиться перед тогдашним Папой, как вы держали его стремя и бежали за его лошадью[307].

Айгенблик побагровел. Его лицо приняло ярко-алый оттенок, отличный от рыжего цвета бороды. Орлиные глаза метали в Хокскивилл гневные молнии.

— Кто вы? — спросил он.

— Как раз сейчас, — Хокскивилл махнула рукой в дальний конец номера, — вас ожидают люди, готовые унизить вас не меньше. Только более хитрым способом. Использовать втемную. Я имею в виду «Клуб охотников и рыболовов с Шумного моста». Или они представились вам под другим названием?

---

[307] Примечания: 307

...как однажды вам пришлось унизиться перед тогдашним Папой, как вы держали его стремя и бежали за его лошадью. — Ариэль искажает подлинную историю и, видимо, делает это сознательно: Фридрих I отказался придержать стремя Папы Адриана IV, чтобы тот мог спешиться, после чего понтифик лишил императора «лобзанья мира», но был вынужден короновать Барбароссу, поскольку тот ввел свои войска в Рим.

— Бред, — фыркнул Айгенблик. — Я слыхом не слыхивал об этом так называемом клубе. — Но взгляд его затуманился; быть может, где-то когда-то он получал предупреждение... — А что с этим Папой? Очаровательным джентльменом, мне совершенно незнакомым. — Не сумев встретиться глазами с Хокскивилл, он поднес ко рту и выпил чашечку кофе.

Но она добилась своего; это было ясно. Если Айгенблик не вызвал охрану, чтобы ее вывели, значит, будет слушать.

— Они пообещали вам высокое положение? — спросила она.

— Наивысшее, — глядя в окно, произнес Айгенблик после долгого молчания.

— Вам, быть может, интересно будет узнать, что эти джентльмены уже несколько лет по разным поводам пользуются моими услугами. Думаю, я их изучила. Президентский пост?

Он молчал. Что подтверждало правоту сказанного.

— Президентский пост — это нынче не должность. Это помещение. Миленькое, но всего лишь помещение. Вам нужно от него отказаться. Вежливо. И от прочих лестных предложений этого клуба. Позже я объясню вам ваши дальнейшие

шаги...

Айгенблик повернулся к Хокскуилл:

— Откуда вам все это известно? И откуда вы знаете меня?

На подобный выстрелу взгляд Хокскуилл ответствовала таким же и отозвалась, придав, как она умела, своему голосу таинственность:

— Мне многое известно.

Запищал внутренний телефон. Айгенблик подошел к аппарату, задумчиво прижимая к губам палец, обозрел ряды клавиш, а потом нажал одну. Ничего не произошло. Тогда он ткнул другую, и голос, составленный из шумов, проговорил:

— Все готово, сэр.

— *Ja*[308], — сказал Айгенблик, — одну минуту. — Он отпустил клавишу и, поняв, что его не слышали, нажал другую и повторил те же слова. Обернулся к Хокскуилл: — Как бы вы все это ни разузнали, есть много такого, до чего вы не докопались. — На его лице расцвела широкая улыбка, взгляд устремился в потолок. Он был похож на человека, уверенного в своей избранности. — Я есть в картах. Со мной не может случиться ничего, что изменило бы судьбу, определенную в

---

[308] Примечания: 308
Да (нем.).

незапамятные времена. Я Защищен. Все происходит так, как назначено.

— Ваше величество, — начала Хокскvилл, — вероятно, я высказалась недостаточно ясно...

— Да перестаньте, наконец, так ко мне обращаться! — взъярился он.

— Простите. Вероятно, я высказалась недостаточно ясно. Я прекрасно знаю, что вы есть в картах: в колоде весьма недурного рисунка, козыри которой разработаны специально (во всяком случае, такова видимая цель их создателей), чтобы предсказывать возвращение вашей старой империи и служить этому делу. Рисунок я отнесла бы к времени правления Рудольфа Второго[309], отпечатана колода в Праге. С тех пор ее использовали и в других целях. Что, конечно, никоим образом не умаляет вашего, так сказать, в ней пребывания.

— Где эти карты? — Айгенблик вдруг шагнул к Хокскvилл, алчно вытянув руки, похожие на когтистые лапы. — Дайте их мне. Они мне нужны.

---

[309] Примечания: 309

Рудольф II (1552–1612) — австрийский эрцгерцог, император Священной Римской империи в 1576–1612 годах, король Чехии и Венгрии. В 1583 году переселился в Прагу и превратил этот город в один из самых ярких культурных центров Европы, а заодно — и в центр оккультных наук. При его дворе работали такие астрологи и маги, как Тихо Браге, Иоганн Кеплер, Джон Ди, Эдвард Келли, Джованни Маджини.

— Позвольте продолжить.

— Они принадлежат мне, — сказал Айгенблик.

— Вашей империи. Принадлежали. — Взглядом заставив его умолкнуть, она проговорила: — Разрешите мне продолжить. Я знаю, что вы есть в этих картах. Знаю также, какие силы поместили вас туда, имею отчасти представление и о том, ради чего они это сделали. Мне известна ваша судьба. И если вы хотите, чтобы она исполнилась, вам нужно усвоить: в ней присутствую я.

— Вы.

— Я пришла вас предостеречь, а также вам помочь. У меня есть сила. И немалая: смогла же я все это разузнать и найти вас — иголку в стоге Времени. Я нужна вам. Теперь. И понадоблюсь в будущем.

Он глядел на нее задумчиво. Хокскvилл наблюдала, как в его большом лице сменяли друг друга недоверие, надежда, облегчение, страх, решимость.

— Почему, — спросил он, — мне никто о вас не говорил?

— Может, они обо мне не знали.

— От них ничто не скрыто.

— Скрыто, причем многое. Вам полезно это усвоить.

Айгенблик ненадолго смолк, покусывая себе щеку, но битва подошла к концу.

— Чего вы ждете для себя? — спросил он.

Вновь запищал местный телефон.

— О моем вознаграждении поговорим позднее. Будет лучше, если, прежде чем снять трубку, вы решите, что скажете своим визитерам.

— Вы будете рядом? — спросил Айгенблик, внезапно ощутивший зависимость.

— Они не должны меня видеть, но я буду рядом. — Дешевый трюк с кошачьей косточкой, и все же (думала Хокскивилл, пока собеседник жал на кнопку телефона) как нельзя лучше способный убедить императора Фридриха Барбароссу, если в нем еще живы юношеские воспоминания, что она не обманывает, заявляя о своем могуществе. Когда Айгенблик отвернулся, она исчезла. Когда же он обратил лицо к ней, или к тому месту, где ожидал ее увидеть, она произнесла: — Отправляемся на встречу с Клубом?

Перекресток

День, когда Оберон сошел с автобуса на перекрестке, был пасмурный — беспросветно пасмурный, тусклый и сырой. Убеждая водителя высадить его именно здесь, Оберон мучительно

соображал, как описать это место, а потом уговаривал водителя, что оно ему знакомо. Слушая описание, тот все время мотал головой, прятал взгляд и повторял: «не-а, не-а». Говорил он мягко и словно бы задумчиво, но Оберона это не обманывало: он знал, что парень просто не хочет ни в чем отклоняться от своих привычек. С холодной вежливостью Оберон вновь описал требуемое место, сел на переднее сиденье рядом с водителем и стал всматриваться. Предупредив водителя заранее, он вынудил его сделать остановку. На языке у Оберона вертелась фраза о том, что водитель проезжал здесь не одну сотню раз, и если все, кто сидит за рулем общественного транспорта, так ненаблюдательны и т. д., но дверь со свистом захлопнулась, и длинный серый автобус, покачиваясь и скрежеща механизмом, как зубами, скрылся.

Расположенный рядом указатель был обращен, как всегда, к эджвудской дороге; по сравнению с последним разом он (или Оберону это показалось?) обветшал и расшатался, буквы поистерлись, но это был тот же самый указатель. Оберон пустился вниз по петлявшей дороге, которая после дождя была коричневой, как молочный шоколад. Ступал он осторожно, удивляясь тому,

как громко звучат его шаги. За месяцы, проведенные в Городе, он, сам того не сознавая, был лишен очень многого. Искусство Памяти могло предложить ему схему, где все это было бы расставлено по местам, но отсутствовала бы полнота ощущений: от ароматов, влажных и живительных, словно распространялись они не в воздухе, а в прозрачной жидкости; от неопределенного низкого гула, который, с короткими всплесками птичьего пения, наполнял притупленный слух; от объемности пространства, дальних и близких планов, составленных из рядов и групп одетых свежей листвой деревьев, из холмиков и куч земли. Без этого он вполне мог жить: в конце концов, воздух и в Городе был воздухом; но, вернувшись сюда, он как будто погружался в родимую стихию, где душа его расправляла крылья, подобно бабочке, выбравшейся из кокона. Да, он простер руки, сделал глубокий вдох и прочел одну-две стихотворных строчки. Но душа осталась холодной как камень.

По дороге ему чудился некий юный спутник (не одетый, в отличие от него, в прямое и длинное коричневое пальто и не мучимый похмельем), который то и дело тянул его за рукав, напоминая, что здесь он обычно переваливал через стену

велосипед, когда возвращался тайными путями в Летний Домик к императору Фридриху Барбароссе; здесь упал однажды с дерева; там склонялся с Доком, прислушиваясь к бормотанию невидимого сурка. Все это случилось некогда с кем-то, с этим настойчивым кем-то. Но не с Обероном... В должное время и в должном месте обнаружились серые каменные столбы с серыми апельсиновыми деревцами наверху. Он потянулся, чтобы тронуть щербатую поверхность, которая бывала весной влажной и гладкой на ощупь. В конце подъездной аллеи ждали на крыльце его сестры.

Бога ради. Из его возвращения не предполагалось делать тайну — не большую, чем из отъезда. При этой мысли Оберон впервые осознал, что надеялся вернуться потихоньку, проскользнуть тайком, чтобы домашние не заметили его полуторагодового отсутствия. Что за глупость! И все же ему решительно не хотелось стать причиной суматохи. Но делать было нечего: пока он робко медлил у воротных столбов, его заметила Люси и начала подпрыгивать, махая рукой. Потянув за руку Лили, она побежала ему навстречу; Тейси, одетая в длинную юбку и старый твидовый жакет, повела себя более чинно и осталась у кресла павлиньей расцветки.

— Привет, привет, — небрежно произнес Оберон и внезапно осознал, какую являет собой картину: небритый, с налитыми кровью глазами, с магазинным пакетом, с городской грязью под ногтями и в волосах. А Люси и Лили выглядели такими чистенькими и свежими, такими радостными, что он не знал, отшатнуться ли назад или броситься на колени и молить опрощении. Они обняли его и, болтая в два голоса, забрали пакет, но он знал, что они прочли его мысли.

— Ни за что не догадаешься, кто к нам приходил, — начала Люси.

— Старая женщина, — ответил Оберон, радуясь тому, что хоть раз в жизни не совершил ошибки, — с седым пучком волос. Как мама, как отец?

— Но кто она, тебе ни за что не догадаться, — подхватила Лили.

— Это она вам сказала, что я вернусь? Я ей этого не говорил.

— Нет. Но мы знали. Угадай же.

— Она наша родственница, — поделилась Люси. — Дальняя. Это выяснила Софи. Дело было давным-давно...

— В Англии, — продолжила Лили. — Знаешь Оберона, в чью честь тебя назвали? Так вот, он был сыном Вайолет Брамбл Дринкуотер...

— Но не Джона Дринкуотера! Дитя любви...

— Как у вас только в голове умещается весь этот народ?

— Не в этом дело. Еще в Англии у Вайолет Брамбл был роман. До того, как она вышла за Джона. Поклонника звали Оливер Хокскивилл.

— Деревенский парень, — вставила Лили.

— Она забеременела и родила Оберона. А та леди...

— Хелло, Оберон, — вмешалась Тейси. — Как там в Городе?

— А, отлично. — К горлу Оберона подступил комок, на глаза навернулись слезы. — Отлично.

— Как добирался, пешком?

Нет, на автобусе. — Все ненадолго замолкли. Что делать. — Послушайте. Как мама? Как отец?

— Отлично. Она получила твою открытку.

Когда он вспомнил о немногих открытках и письмах, которые посылал из Города, — уклончивых и хвастливых, бессодержательных или чудовищно шутливых, — в нем зародился ужас. Последнюю открытку, на день рождения, он — о господи — нашел в мусорном ведре; неподписанная, она была заполнена сентиментальной патокой. Молчание его затянулось, он был пьян — так что послал открытку. Теперь он понял,

каково ей, наверное, было: словно ее пырнули ножом для масла. Он опустился на ступени крыльца, неспособный пока идти дальше.

Жуткая беда

— Ну, что ты думаешь, Мамди? — спросила Дейли Элис, заглядывая во влажную темноту старого ледника.

Мамди изучала запасы в шкафах.

— Тунец? — с сомнением спросила она.

— О боже, — проговорила Дейли Элис. — Смоки будет сверлить меня взглядом. Знаешь этот взгляд?

— Знаю.

— Ладно. — Несколько мокрых пятен на металлических полках из планок съеживались, казалось, у нее на глазах. Здесь, как в пещере, постоянно капало с потолка. Дейли Элис вспомнились старые дни и большой белый холодильник, битком набитый свежими овощами и цветными контейнерами; быть может, там лежала разукрашенная индейка или окорок с ромбовидным рисунком, а в обдающей холодом морозильной камере мирно дремали аккуратно завернутое мясо и другие блюда. И весело мигавший огонек, который освещал всю эту сцену. Ностальгия.

Коснувшись холодной бутылки молока, Дейли Элис спросила:

— Руди сегодня приходил?

— Нет.

— Он уже, в самом деле, слишком стар. Ворочать большие ледяные блоки. И он все забывает. — По-прежнему глядя в ледник, она вздохнула: теряющий силы Руди, общий упадок хозяйства, неважнецкий обед, который, вероятно, их ожидал, — все это, казалось, символизировал обитый цинком ледник.

— Ну ладно, дорогая, не держи дверцу открытой, — мягко заметила Мамди. Пока Элис закрывала ледник, распахнулась дверь буфетной.

— О боже, — воскликнула Элис. — Оберон.

Она кинулась к нему с распростертыми объятиями, словно он попал в беду и нужно было немедленно спешить на помощь. Но горестный вид Оберона объяснялся не приключившимся с ним бедствием, а походом по комнатам, который он только что предпринял. Дом немилосердно осадил его воспоминаниями, давно забытыми запахами, мебелью в глубоких царапинах, истертыми коврами и окнами с видом в сад, которые до краев наполнили его зрение, словно он отсутствовал не полтора года, а полжизни.

— Привет, — сказал Оберон.

Элис опустила руки.

— Посмотри на себя. Что это?

— О чем ты? — спросил он с вымученной улыбкой, гадая, какие признаки деградации прочла Элис в его чертах. Дейли Элис подняла палец и прочертила сплошную линию бровей, перпендикулярную носу. — Когда ты это вырастил?

— Что?

Дейли Элис коснулась точки над своим собственным носом, которая была отмечена признаком, свойственным потомкам Вайолет (едва заметным, потому что волосы у нее были светлые).

— А. — Оберон пожал плечами. Сам он ни о чем не догадывался: в последнее время не часто изучал себя в зеркале. — Не знаю. — Он рассмеялся. — Как тебе нравится? — Он тоже коснулся своей переносицы. Волоски были мягкие и тонкие, как у ребенка. Только один или два выделялись жесткостью. — Старею, должно быть.

Она видела, что он прав. За время отсутствия он пересек порог, после которого жизнь вянет скорее, чем расцветает; следы этого были заметны на его лице и тыльной стороне ладоней. Ощутив в горле ком, Элис, чтобы не пришлось говорить,

снова обняла сына. Через ее плечо Оберон обратился к бабушке:

— Привет, Мамди. Нет, послушай, не вставай, не надо.

— Что же ты, нехороший мальчишка, не написал матери, — сказала Мамди. — Не предупредил, что приезжаешь. В доме хоть шаром покати.

— Да ладно, все в порядке. — Оберон высвободился из объятий матери и шагнул, чтобы приложиться к мягкой, как пух, щеке Мамди. — Как тебе жилось?

— Все так же. — Подняв глаза, она пристально его изучала. У Оберона всегда было чувство, что бабушке известна какая-то его постыдная тайна, и если бы меж обычных тем, о которых она привыкла беседовать, открылась щель, он был бы разоблачен. — Качусь с горки. А ты вырос.

— Ну-ну, не думаю.

— Или вырос, или я забыла, какого ты большого роста.

— Ах, вот что. Ну ладно. — Каждая из женщин глядела на него глазами своего поколения и видела не то, что другая. Он чувствовал, что его изучают. Нужно было снять пальто, но он не помнил, что надето внизу, а потому уселся за дальний конец стола и повторил: — Ладно.

— Чай, — проговорила Элис. — Как насчет чая? Будешь пить и рассказывать о своих приключениях.

— Чай — это здорово.

— А как там Джордж? — спросила Мамди. — И его компания?

— О, цветут. — Оберон уже несколько месяцев не бывал на Ветхозаветной Ферме. — Как всегда, цветут. — Он весело потряс головой, вспоминая чудачества Джорджа. — Эта безумная ферма.

— Помню, в свое время там было совсем недурно. С тех пор немало воды утекло. Угловой дом, где обитало семейство Маусов...

— До сих пор обитает, — поправил ее Оберон. Он бросил взгляд на мать, которая с чайником хлопотала у большой плиты. Она потихоньку утерла глаза рукавом свитера, заметила, что Оберон смотрит, и повернулась к нему, не выпуская из рук чайник.

— ...И после смерти Филлис Таунз, — продолжала Мамди, — которая долго болела, и доктор думал, что засек болезнь в почках, но сама Филлис...

— Скажи, как все было на самом деле, — попросила Элис сына. — На самом деле.

— На самом деле ничего такого не происходило.

— Оберон опустил глаза. — Прости.

— Ну что ж, — сказала Элис.

— Я о том, что не писал и все такое. Не о чем было особенно сообщать.

— Ладно-ладно. Просто мы беспокоились.

Оберон поднял взгляд. Ему действительно не приходило в голову. Он был проглочен многолюдным страшным Городом, исчез без вести в пасти дракона. Конечно, родные о нем беспокоились. Как уже произошло однажды в этой кухне, в Обероне открылось окошко, и через него он увидел собственную реальность. Его любили, о нем беспокоились, независимо от его достоинств. Он снова пристыжено опустил глаза. Элис отвернулась к плите. Бабушка заполняла тишину воспоминаниями, подробностями болезней умерших родственников, выздоровлений, рецидивов, угасания и смерти. «М-м», — бормотал он, кивая и разглядывая выщербленную поверхность стола. Бессознательно он выбрал свое прежнее место: по правую руку от отца, рядом с Тейси.

— Чай, — объявила Элис.

Водрузив чайник на подставку, она похлопала его по круглому бочку. Поставила чашку перед сыном. И, сложив руки, стала ждать, пока он нальет себе чаю или сделает еще что-нибудь. Он

взглянул матери в глаза и собирался заговорить, ответить на ее немой вопрос, если сможет подыскать слова. Но тут дверь буфетной распахнулась и в нее вошла Лили с близнецами и Тони Баком.

— Привет, дядя Оберон, — вскричали в унисон близнецы (мальчик Бад и девочка Блоссом), словно он только что показался на горизонте, а они окликали его издали.

Оберон уставился на них: успев раза в два увеличиться в размерах, они к тому же научились говорить. Когда он уезжал, они еще не разговаривали, так ведь? Целиком умещались в холщовой сумке, в которой их носила мать? Подталкиваемая близнецами, Лили начала обшаривать буфеты в поисках чего-нибудь вкусненького. Одинокий чайник их не устраивал, по их убеждению, тут требовалось особенное меню. Тони Бак пожал Оберону руку и спросил:

— Ну, как там, в Городе?

— Отлично, — отозвался Оберон в той же дружески-деловитой манере.

Тони повернулся к Элис:

— Тейси говорит, может, нам сегодня приготовить парочку кроликов.

— Ох, Тони, это было бы просто здорово.

Тут в дверях появилась сама Тейси, звавшая

Тони.

— Идет, ма? — спросила она.

— А как же. Лучше, чем тунец.

— Заколоть откормленного теленка[310]. — Мамди была единственной, кому могла прийти в голову эта фраза. — И приготовить фрикасе.

— Смоки будет рад без памяти, — сказала Элис Оберону. — Он любит кроликов, но всегда стесняется попросить.

— Слушайте, — начал Оберон, — не нужно затевать суету из-за... — Из самоуничижения он не решился произнести «меня». — То есть, всего лишь потому...

— Дядя Оберон, — спросил Бад, — а бандюг ты видел?

— А?

— Бандюг. — Он нацелил на Оберона руку с хищно поджатыми ногтями. — Которые нападают. В Городе.

— Ну, собственно...

Но Бад, краем глаза наблюдавший за своей сестрой Блоссом, заметил, что ей дали печенье, какого ему не предложили, и, соответственно, надо срочно потребовать свою долю.

---

[310] Примечания: 310

Заколоть откормленного теленка. — Мамди вспоминает притчу о блудном сыне (Лк. 15:23).

— А теперь ступайте, ступайте! — распорядилась Лили.

— Хочешь посмотреть, как помрут кролики? — Дочь взяла Лили за руку.

— Не, не хочу. — Но Блоссом тянула ее за руку, желая наблюдать это жуткое и завораживающее зрелище вместе с матерью.

— Это всего на секундочку, — уговаривала она, ведя мать за собой. — Не трусь.

Лили, Бад и Блоссом, а с ними Тони вышли через летнюю кухню в огород. Тейси наполнила чашки для себя и Мамди и шагнула назад, к двери буфетной. Мамди последовала за ней.

Дверь сердито заскрипела им в спину.

Элис и Оберон остались в кухне одни. Нашествие кончилось так же внезапно, как началось.

— Итак, — заговорил Оберон, — все тут как будто живут припеваючи.

— Да. Припеваючи.

— Ты не будешь возражать, если я налью себе выпить? — Оберон поднялся, двигаясь медленно, как усталый старик.

— Нет, конечно. Там есть херес и, наверное, что-то еще.

Оберон достал пыльную бутылку виски.

— Льда нет, — сказала Элис. — Руди не при-

шел.

— Он все так же рубит лед?

— Да. Но в последнее время он болеет. А что касается Робина, — ты ведь его знаешь, он внук Руди — то от него толку, как от козла молока. Бедный старик.

Нелепо, но это оказалось последней соломинкой. Бедный старик Руди...

— Горе горькое, — произнес Оберон дрожащим голосом. — Горе горькое. — Он вперил взгляд в стакан виски, как в самое печальное зрелище, какое когда-либо видел. Перед глазами плыл туман и мерцали искры. Элис, встревожившись, медленно встала. — Я попал в беду, ма. В жуткую беду.

Оберон спрятал лицо в ладонях, ощущая свою ужасную беду как шершавый ком в горле и груди. Элис неуверенно положила руку ему на плечо, и Оберон, не плакавший уже много лет, не всплакнувший даже по Сильвии, знал, что сейчас разрыдается, как дитя. Ужасная беда набирала вес и силу и, пробивая себе путь наружу, жестоко сотрясала его тело, раздирала рот и исторгала из груди звуки, на какие, казалось ему, он раньше не был способен. Ну-ну, говорил он себе, ну-ну, однако беду было не остановить; вырываясь на-

ружу, она росла, приходилось изгонять из себя все новые ее объемы. Оберон уронил голову на кухонный стол и зарыдал.

— Прости, — произнес он, когда к нему вернулась речь, — прости.

— Нет-нет. — Элис обняла его сопротивлявшееся пальто. — Нет, за что? — Оберон внезапно поднял голову, сбросил руку Элис, еще раз всхлипнул и успокоился. Грудь его вздымалась. — Все дело в смуглой девушке? — мягко, осторожно спросила Элис.

— В ней тоже.

— И в этом дурацком наследстве.

— В нем тоже.

Элис вытянула из его кармана носовой платок, краешек которого выглядывал наружу.

— Вот, — сказала она, потрясенная тем, что видит перед собой не залитое слезами лицо ребенка, а черты взрослого человека, искаженные горем. Она взглянула на платок. — Красивая вещица. Похоже на...

— Да, — кивнул Оберон, забрал платок и вытер им лицо. — Это работа Люси. — Он высморкался. — Подарок. На прощанье. Сказала, откроешь, когда вернешься домой. — Он то ли издал смешок, то ли еще раз всхлипнул, а потом сглотнул. — Да,

красиво. — Он сунул платок обратно в карман, ссутулился и упер взгляд в одну точку. — О боже. Да уж, дела как сажа бела.

— Нет-нет. — Рука Элис легла на руку сына. Элис раздумывала. Оберону нужен был совет, а она не знала, что сказать. Ей было известно, где такой совет можно получить, но не откажут ли Оберону и правильно ли будет посылать его туда? — Знаешь, все в порядке, ей-богу в порядке, потому что... — Она приняла решение. — Потому что все в порядке. Все уладится.

— Конечно, — согласился Оберон, громко вздыхая. — Все уже прошло.

— Нет. — Элис крепче сжала его руку. — Пока не прошло, но... Случается только то, что должно случиться, так ведь? Я хочу сказать, просто так ничто не происходит, правда?

— Не знаю. Откуда мне знать.

Элис держала руку Оберона, но, увы, он стал слишком большим, чтобы целиком прижать его к себе, спрятать в объятиях и все ему открыть; поведать длинную-длинную повесть, такую длинную, что он заснет, не дождавшись конца; заснет, убаюканный голосом матери, ее теплом, биением ее сердца и уверенным спокойствием рассказа: и тогда, и тогда, и тогда; и еще удиви-

тельней; и не поверишь своим ушам; и вот ведь как вышло дело — повесть, которую Элис не умела рассказать Оберону, когда он был достаточно маленьким, чтобы ее выслушать, а теперь, когда она умеет, он вырос чересчур большим, чтобы нашептывать ему байки; теперь он не поверит, хотя все это сбудется, причем с ним самим. Однако видеть, как он блуждает во тьме, и молчать было не в ее силах.

— Ну ладно. — Не отпуская руки Оберона, Элис прокашляла накопившуюся в горле хрипоту (радовало ее или печалило, что все ее собственные слезы были выплаканы много лет назад?) и сказала: — Ну ладно, так или иначе, сделаешь для меня, о чем я тебя попрошу?

— Да, конечно.

— Сегодня... нет, завтра утром... Знаешь старый бельведер? Островок? Пруд выше по течению реки — с водопадом?

— А как же.

— Хорошо.

Глубоко вздохнув и повторив «ну ладно», она подробно объяснила Оберону, что делать, велела точно следовать указаниям и назвала причины, почему это нужно, но не все. И он, как в тумане, согласился: все возражения против таких пла-

нов и мыслей он изверг из себя ранее вместе со слезами.

Дверь, ведущая в огород, открылась, и на пороге появился Смоки. Но еще раньше, когда он огибал угол летней кухни, Элис похлопала Оберона по ладони, улыбнулась и прижала указательный палец сначала к своим губам, а потом к его.

— Будем есть кролика? — С этими словами Смоки вошел в кухню. — А что у нас за праздник? — Заметив Оберона, он вздрогнул, уставил на него удивленный взгляд и уронил книги, которые нес под мышкой.

— Привет, — сказал Оберон, обрадованный тем, что наконец смог кого-то застать врасплох.

Поворачиваюсь потихоньку[311]

Софи тоже знала, что Оберон возвращается, хотя ожидала его только через день, поскольку не рассчитывала на автобус. С языка у нее просилось множество советов и вопросов, но Оберон не желал слушать советы, а вопросы она задавать не стала, так как не надеялась получить ответ. При-

---

[311] Примечания: 311

Поворачиваюсь потихоньку. — Полностью: «Поворачиваюсь потихоньку... шаг за шагом... дюйм за дюймом...». Расхожая фраза, встречавшаяся в американских фильмах и водевилях 1940-х годов.

шлось пока довольствоваться теми сведениями, которыми Оберон счел нужным поделиться, хотя это был далеко не полный отчет за проведенные в Городе полтора года. За обедом Софи сказала:

— Ну что ж. Замечательно, что все теперь дома. Хотя бы на один день.

Оберон, который поглощал кушанья, как человек, не один месяц питавшийся хот-догами и черствыми бутербродами с сыром, поднял на нее взгляд, но она смотрела в сторону, не заметив, очевидно, что сказала не то. Тейси начала рассказывать о разводе Черри Лейк, не пробывшей замужем и года.

— Вкуснятина, ма. — Оберон, удивляясь, положил себе добавки.

Позднее, в библиотеке, они со Смоки обменялись впечатлениями от города. У Смоки они были многолетней давности, у Оберона — свежие.

— Самое лучшее, — говорил Смоки, — или самое волнующее — это чувство, что ты находишься в гуще событий. Даже сидя дома, ты чувствуешь, знаешь: снаружи, на улицах и в домах, кипит жизнь и ты в ней участвуешь, а обитатели прочих мест плетутся далеко позади. Понимаешь, о чем я?

— Догадываюсь. Думаю, сейчас все иначе. —

Похожий на Гамлета в черном свитере и черных брюках, которые нашел среди своих старых вещей, Оберон сидел, немного согнувшись, на высоком стуле с кожаной, прикрепленной гвоздиками, обивкой. Единственный огонек отражался в бутылке бренди, которую открыл Смоки. Элис предложила ему и Оберону наговориться вволю, но им оказалось трудно найти тему. — Мне всегда представлялось, что весь мир о нас забыл. — Оберон придвинул стакан, и Смоки плеснул туда чуть-чуть бренди.

— Да, но толпы. Суета, хорошо одетые прохожие; все куда-нибудь спешат...

Оберон хмыкнул.

— Думаю, это...

— Кажется, я догадываюсь, что ты имел в виду. То есть ты думаешь, что это...

— Я думаю, что мне тогда казалось...

— По-моему, сейчас все иначе, — заключил Оберон.

Воцарилась тишина. Оба глядели в стаканы.

— Ну ладно, — проговорил Смоки. — Расскажи, как ты ее встретил.

— Кого? — Оберон оцепенел. Некоторые темы он не собирался обсуждать со Смоки. И его удручало, что родные, со своими картами и своим

вторым зрением, умеют проникнуть в его сердце и его дела.

— Леди, которая сюда приезжала. Эту мисс Хоксквилл. Кузину Ариэль, как говорит Софи.

— А. В парке. Мы разговорились... Маленьком парке, который, знаешь, построил когда-то старик Джон со своей фирмой.

— Маленький парк, — подхватил удивленный Смоки, — с забавными кривыми тропинками, которые...

— Угу.

— Которые ведут внутрь, но на самом деле...

— Угу.

— Фонтаны, статуи, мостик...

— Угу, угу.

— Я там часто гулял. Как тебе все это нравится?

Совсем не нравится. Но Оберон промолчал.

— По некоторым причинам, — сказал Смоки, — он всегда напоминал мне об Элис. — Внезапно погрузившись в прошлое, Смоки очень отчетливо вспомнил маленький летний парк и почувствовал — можно сказать, на вкус — время, когда впервые полюбил свою жену. Он был тогда в возрасте Оберона. — Как он тебе понравился, — повторил Смоки мечтательно, смакуя напиток, вобравший в себя силу плодов лета. Он взглянул

на Оберона. Тот мрачно изучал свой стакан. Отец почувствовал, что затронул больное место или нежелательную тему. Но как же странно: тот самый парк... — Ладно. — Смоки откашлялся. — Она как будто женщина необычная.

Оберон потер лоб.

— Я имею в виду эту Хоксквилл.

— А, ну да. — Оберон тоже откашлялся и хлебнул из стакана. — Я ее принял за ненормальную.

— Да что ты? Не думаю. Не больше, чем... Очень энергичная особа. Пожелала осмотреть весь дом сверху донизу. Рассказывала кое-что интересное. Мы с ней даже сползали посмотреть нашу старую модель планетарной системы. Она сказала, в ее городском доме тоже есть такое устройство, немного другое, но сооруженное по тому же принципу и, быть может, тем же человеком. — Смоки оживился. — Знаешь что? Она думает, нашу модель можно починить. Я показал, что устройство заржавело, так как, сам знаешь, главное колесо отчего-то торчит наружу, но, по ее мнению, механизм еще работоспособен. Не знаю, откуда она это взяла, но было бы любопытно, правда? После долгих лет. Думаю, нужно попытаться. Почищу его, и посмотрим...

Оберон взглянул на отца. Засмеялся. Открытое,

милое, простое лицо. Как могло ему прийти в голову...

— А знаешь, когда я был маленький, я думал, что она движется.

— Что?

— Ей-богу. Думал, что она движется. И надеялся это доказать.

— Ты хочешь сказать, сама собой? Как?

— Не знаю как. Но я думал, что она движется, и вы все это знаете, но не хотите, чтобы я узнал.

Смоки тоже засмеялся.

— Почему? То есть почему бы нам хранить это в секрете? А кроме того, как это возможно? А источник энергии?

— Не знаю, папа. — Оберон продолжал смеяться, но смех его грозил перейти в слезы. — Сама по себе. Не знаю. — Он разогнулся и встал со стула. — Я думал... Черт, мне не вспомнить, почему я придавал этому важность, то есть почему это было важно, но я думал, что выведу вас на чистую воду...

— Что? Что? Но почему же ты не спросил? То есть не задал самый обычный вопрос...

— Папа, неужели ты думаешь, что в этом доме можно задавать обычные вопросы?

— Ну да.

— Что ж, тогда я задам тебе самый обычный вопрос, ладно?

Смоки выпрямился на стуле. Оберон больше не смеялся.

— Давай, — сказал Смоки.

— Ты веришь в фейри?

Смоки окинул взглядом своего высокорослого сына. За все время совместной жизни они не обращались друг к другу лицом, словно склеенные спинами. Они переговаривались не напрямую, а через посредников, или поворачивали головы и произносили слова краешком рта; о выражении лица и намерениях друг друга им приходилось гадать. Время от времени кто-то один резко оборачивался, надеясь застигнуть другого врасплох, но тот все равно оставался у него за спиной и смотрел в противоположную сторону, как в старинном водевиле. Попытки сообщаться, высказывать свои мысли в таком положении требовали слишком много усилий, и оба обычно сдавались. Но теперь Смоки обернулся к отцу лицом: то ли на него повлияло то, что случилось с ним в городе, то ли время ослабило оковы, которые удерживали их вместе и одновременно врозь. Поворачиваюсь потихоньку. И Смоки ничего не оставалось, как тоже повернуться и посмотреть в лицо сыну.

— «Верю»? Ну, не знаю, — сказал он. — Думаю, это слово...

— Нет уж. Только без кавычек.

Оберон стоял перед ним в ожидании, глядя вниз.

— Ну ладно, — сдался Смоки. — Я отвечаю: нет.

— Хорошо! — мрачно-торжествующе кивнул Оберон.

— И никогда не верил.

— Хорошо.

— Разумеется, — продолжал Смоки, — мне не следовало говорить об этом вслух или напрямую расспрашивать, что почем в этом доме; мне не хотелось портить дело тем, что... не присоединяюсь. Поэтому я всегда молчал. Никогда не задавал вопросов. Никогда. В особенности самых обычных. Я надеялся, ты это замечал, потому что мне было непросто.

— Знаю.

Смоки опустил глаза.

— Прости, что обманывал тебя... если я действительно тебя обманывал. Я думал, что это не так. Прости, что все время как бы шпионил за тобой, что пытался проникнуть в тайну... меж тем как все время предполагалось, будто мне она известна, так же как и тебе. — Он вздохнул. — Это

не так просто. Постоянно лгать.

— Секундочку, папа...

— Никто, как будто, не имел ничего против. Кроме тебя, наверное. Ладно. Они, судя по всему, тоже не возражали, что я в них не верю; Повесть продолжалась, ничуть не изменившись — так ведь? Но, признаюсь, я немного завидую, во всяком случае — завидовал. Тебе. Потому что ты знал.

— Погоди, папа, послушай.

— Нет, все нормально. — Смоки был готов, если уж на то пошло, посмотреть сыну в лицо. — Только... Мне всегда казалось, что ты — именно ты, а не другие — способен это объяснить. Что ты хотел объяснить, но не мог. Нет, все нормально. — Смоки поднял руку, отвергая увертки и отговорки. — Они — то есть Элис, и Софи, и Тетя Клауд, даже девчонки — говорят все, что можно сказать, но в их словах ни разу не прозвучало объяснения, нужного объяснения. Может, им кажется, что они объясняли, подробно и много раз, но мне не хватает ума понять. Возможно, мне действительно не хватает ума. Но я всегда думал, — сам не знаю почему — что сумею понять тебя и что ты вот-вот проболтаешься...

— Папа...

— И что мы с самого начала повели себя неправильно, так как тебе пришлось хранить секрет и как бы прятаться от меня...

Нет! Нет, нет, нет.

— Честно, мне очень жаль, если ты чувствовал, что я за тобой шпионил, выведывал и все такое, но...

— Папа, папа, пожалуйста, послушай хоть секунду!

— Но если уж мы решили задавать друг другу самые обычные вопросы, то я хотел бы знать, что же тебе...

— Ничего мне не было известно! — Выкрик Оберона заставил Смоки встрепенуться и поднять глаза. Сын, с бешеным огнем во взоре, готовился то ли обличать, то ли исповедоваться.

— Что?

— Ничего мне не было известно! — Внезапно Оберон опустился перед Смоки на колени. Все его детство было поставлено с ног на голову, и ему захотелось залиться смехом умалишенного. — Ничего!

— Тогда почему же ты вечно скрывал?

— Что скрывал?

— То, что тебе было известно. Тайный дневник. И все эти таинственные намеки...

— Папа. Папа. Если мне было известно что-то, о чем ты не знал, пришла бы мне мысль, что старая модель движется, но все об этом молчат? А как насчет «Архитектуры загородных домов», про которую ты мне ничего не хотел объяснять?

— Я? Это ведь *ты* считал, что в ней разбираешься...

— Ладно, а как насчет Лайлак?

— Что насчет Лайлак?

— Что с ней случилось? Я говорю о дочери Софи. Почему никто мне не сказал? — Он схватил отца за руки. — Что с ней случилось? Куда она исчезла?

— Ну да, — повторил Смоки, раздраженный сверх всякой меры. — Куда она исчезла?

Они уставили друг на друга безумные глаза, в которых светились одни вопросы и никаких ответов, и в тот же миг все поняли. Смоки хлопнул себя по лбу:

— Но как ты мог думать, что я... что я... То есть разве не было сразу видно, что я не знаю...

— Ну, я ломал себе голову. Думал, вдруг ты притворяешься. Но не был уверен. Откуда взяться уверенности? У меня не было случая.

— Тогда почему ты...

— Не произноси этого. Не произноси: почему

ты не спросил. Не надо.

— О боже, — рассмеялся Смоки. — Господи.

Оберон, тряся головой, снова опустился на пол.

— Весь этот труд, — сказал он. — Все усилия.

— Думаю, я выпью еще чуточку бренди, если ты сможешь дотянуться до бутылки. — Смоки пытался поймать свой пустой бокал, который куда-то закатился в темноте. Оберон налил ему и себе, и долгое время они сидели молча, обменивались взглядами и посмеивались, качая головой. — Нет, это что-то, — заметил Смоки. — А каково бы было, — добавил он, помолчав, — если бы никто из нас не был посвящен. Если бы мы, ты и я, отправились бы сейчас в комнату твоей матери... — Эта мысль заставила его рассмеяться. — И сказали бы: послушай...

— Не знаю, — проговорил Оберон. — Бьюсь об заклад...

— Да, — кивнул Смоки. — Да, я уверен.

Ему вспомнилось, как они с Доком много лет назад отправились на охотничью вылазку. В тот день Док, внук Вайолет, дал ему все же совет не слишком углубляться в некоторые предметы. Которые даны раз и навсегда и изменить ничего невозможно. И кто может нынче сказать, что было известно самому Доку, что за тайны он унес

в могилу. В первый день после прибытия Смоки в Эджвуд двоюродная бабушка Клауд сказала: женщины глубже это чувствуют, но мужчины, вероятно, больше от этого страдают... Всю жизнь он изображал из себя профессионального хранителя секретов и немало в этом поднаторел. Не удивительно, что он обдурил Оберона, ведь он учился у мастеров, как хранить секреты, даже когда хранить нечего. И все же, внезапно подумал он, кое-какие секреты ему известны: хотя он не может сказать Оберону, что случилось с Лайлак, но он хранит в памяти некоторые факты, касающиеся ее и семейства Барнабл, и не собирается ими делиться даже с сыном. От этого он чувствовал себя виноватым. Лицом к лицу: ладно. И не это ли подозрение заставило Оберона потереть себе лоб, вновь уставившись в стакан?

Нет, Оберон думал о Сильвии и о диковинных указаниях матери, которые он должен был выполнить завтра в лесу за островом; о том, как она при появлении отца прижала палец к губам, призывая сына молчать. Указательным пальцем он провел по новым волоскам, которые недавно выросли почему-то у него между бровей, соединив их в одну линию.

— А знаешь, — сказал Смоки, — жаль, что ты

сам вернулся.

— Да?

— Нет, я, конечно, не то хотел сказать... Я не жалею, просто у меня был план: если ты в ближайшее время не напишешь и не появишься, я отправлюсь на поиски.

— Правда?

— Угу. — Смоки рассмеялся. — Это была бы настоящая экспедиция. Я уже обдумывал, что взять в дорогу.

— Ну да. — Оберон ухмыльнулся от облегчения, что эта экспедиция не состоялась.

— Это было бы интересно. Вновь увидеть Город. — Смоки ненадолго погрузился в воспоминания. — А впрочем, я бы, наверное, заблудился.

— Вполне возможно. — Оберон улыбнулся отцу. — Но все равно спасибо, папа.

— Ну ладно. Ох, посмотри, как мы засиделись.

Обнимать самого себя

Оберон последовал за отцом по широкой передней лестнице. Ступени скрипели в привычные моменты и в привычных местах. Ночной дом был ему так же знаком, как дневной, так же полон подробностями, которые он бессознательно хранил в памяти.

Отец и сын расстались на углу коридора.

— Ну, доброго сна, — проговорил Смоки, и они немного постояли в лужице света, который лила свеча в руке Смоки. Не будь Оберон нагружен своими жалкими пакетами, а Смоки — свечой, они, возможно, обнялись бы, а может, и нет. — Найдешь свою комнату?

— А как же.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Оберон прошел привычные пятнадцать с половиной шагов, приложился боком к дурацкому комоду, о котором вечно забывал, протянул руку и нащупал стеклянную граненую ручку своей двери. Он не зажег свет, хотя знал, где лежат на ночном столике свеча и спички, как их найти и как зажечь спичку о неровную нижнюю поверхность стола. Запах (его собственный, холодный и слабый, но привычный, с примесью запаха близнецов Лили, которых временно размещали здесь) постоянно нашептывал ему о прошлом. Он замер, чуя носом кресло, где прошло много счастливых часов его детства, достаточно большое и мягкое, чтобы свернуться в нем с книгой или блокнотом, по соседству с неяркой лампой, освещавшей печенье и молоко или чай с тостами на столике.

Он чуял и гардероб, через приоткрытые дверцы которого выбирались, бывало, наружу, чтобы его пугать, привидения и злодеи (Что сталось с этими фантомами, некогда столь знакомыми? Они исчахли от одиночества, не имея зрителей), узкую кровать с толстым покрывалом и двумя подушками. Чуть ли не с младенчества он требовал себе две подушки, хотя спал всегда на одной. Подушки манили, создавали впечатление роскоши. Все оставалось на месте. Запахи повисли на его душе подобно тяжелым цепям, вновь принятому на себя старому бремени.

Оберон разделся в темноте и скользнул в холодную постель. Это было все равно, что обнимать самого себя. Когда он в юности пустился в рост и догнал Дейли Элис, матрас сделался ему мал, и его пятки прорыли в самом конце два углубления. Теперь ноги Оберона сразу нашли это место. Неровности оказались тут как тут. А вот подушка была только одна, и от нее слегка попахивало мочой. Кошка? Ребенок? Оберон предвидел бессонную ночь и не знал, жалеть ли о том, что не набрался храбрости и не поглотил побольше бренди, или радоваться, что взялся уже за мучительную задачу восполнения упущенного. Он осторожно принял позицию номер два своей

неизменной постельной хореографии и долго пролежал без сна в знакомой душной темноте.

Глава четвертая

Вы говорите точно как розенкрейцер, готовый полюбить лишь сильфиду, не верящий в существование сильфид и, однако, враждующий с белым светом за то, что в нем не сыскалось места сильфиде.

***Пикок. Аббатство Кошмаров*[312]**

— Нет, теперь я понимаю, — сказал Оберон, умиротворенный среди леса: действительно, это оказалось так просто. — Долгое время мне было не понять, но теперь я понял. Людей можно только удерживать, владеть ими невозможно. Я хочу сказать, что это естественный процесс, вполне естественный. Встреча. Любовь. Расставание. Жизнь продолжается. Не было никаких

---

[312] Примечания: 312

Вы говорите точно как розенкрейцер, готовый полюбить лишь сильфиду, не верящий в существование сильфид и, однако, враждующий с белым светом за то, что в нем не сыскалось места сильфиде. — Из романа «Аббатство кошмаров» (1818) Т. Л. Пикока. Томас Лав Пикок (1785–1866) — создатель «романа идей» и «романа-беседы» в английской литературе. В «Аббатстве кошмаров» писатель пародирует готический роман и английский романтизм. В эпиграф вынесен ответ мистера Пикника на тираду мистера Траура: «Любовь рождена не для земли. Мы чтим ее, как чтили афиняне своего неведомого Бога; но мучеников веры имена — сердец разбитых — рать неисчислима...» (перевод Е. Суриц; последние слова мистера Траура — цитата из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», IV, 121, перевод В. Левика).

оснований ожидать, что она всегда будет одной и той же — то есть «влюбленной», знаете ли. — Здесь он поставил, следуя урокам Смоки, жирные кавычки, означавшие сомнение. — Я не в обиде. Как я могу обижаться.

— Ты обижаешься, — сказал Дедушка Форель. — И не понимаешь.

Взамен

Оберон отправился в путь на рассвете, разбуженный скребущим ощущением, похожим на жажду или алчбу, которое всегда поднимало его на ноги по утрам, с тех пор как он сделался пьяницей. Уснуть снова он не мог, разглядывать свою комнату, которая в безжалостном утреннем свете выглядела чужой и незнакомой, не хотел, поэтому он встал и оделся. Облачился в пальто и шляпу, потому что на улице было туманно и холодно. И зашагал через лес, минуя озерный остров, где стоял наполовину погруженный в туман белый бельведер, по направлению к водопаду, струи которого с мелодичным плеском падали в глубокий темный пруд. Здесь он проделал то, чему его учила мать, хотя не верил в чары или старался не верить. Но как бы то ни было, Оберон принадлежал с материнской стороны к Барнаб-

лам и Дринкуотерам, и прапрадед откликнулся на его призыв. Не мог не откликнуться, даже если бы захотел.

— Правда, я хотел бы с ней объясниться, — говорил Оберон. — Сказать ей... Так или иначе, сказать. Что я не против. Что я уважаю ее решение. И я думал, если вам известно, где она находится, хотя бы приблизительно...

— Я не знаю, — ответил Дедушка Форель.

Оберон сидел на берегу пруда. Что он там делал? Если то единственное, что он хотел узнать и чего не должен был больше доискиваться, так и осталось от него сокрытым? Как он решился об этом спросить?

— Никак не возьму в толк, — добавил он под конец, — почему я все еще только об этом и думаю. Я хочу сказать, свет клином не сошелся. Она ушла, я не могу ее найти, так не пора ли выбросить из головы? Почему я на каждом шагу ее себе представляю? Эти видения, призраки...

— Ну да, — сказала рыба. — Не твоя вина. Эти призраки. Это их работа.

— Их работа?

— Не хотел, чтобы ты знал, но да, это их работа; просто чтобы ты не дремал, приманка; не бери в голову.

— Не брать в голову?

— Не обращай внимания. Это будет повторяться. Просто не обращай внимания. И не говори им, что я тебе сказал.

— Их работа, — повторил Оберон. — Но почему?

— Что ж, — осторожно проговорил Дедушка Форель. — Почему, ну что ж, почему...

— Ну ладно. Ладно, понимаете? Понимаете, о чем я? — Чувствуя себя невинной жертвой, Оберон едва не заплакал. — Пропади они пропадом. Эти плоды воображения. Мне наплевать. Это пройдет. Призраки или не призраки. Пусть творят, что хотят. Это не может длиться вечно. — Последняя мысль была самая печальная. Печальная, но верная. Оберон со всхлипом вздохнул. — Вполне естественно. Это не может длиться вечно. Не может.

— Может. И будет.

— Нет. Нет, временами думаешь: этому не будет конца. Но конец приходит. Думаешь — любовь. Это такая цельная, такая вечная штука. Большая и... отдельная от тебя. С собственным весом. Понимаете, о чем я?

— Да.

— Но это неправда. Такой же плод воображения.

Не стану набивать ей цену. Она рассасывается постепенно, сама по себе. И когда совсем исчезнет, ты и не вспомнишь, какая она была. — Это он узнал в маленьком парке. Что возможно и даже разумно выбрасывать разбитое сердце, как разбитую чашку: какой в ней прок? — Любовь — это твое личное. Я хочу сказать, моя любовь не имеет никакого отношения к ней — такой, какой она является на самом деле. Это то, что чувствую я. Кажется, любовь соединяет меня с ней. Но это неправда. Это миф, моя выдумка; миф о нас двоих. Любовь — это миф.

— Любовь — это миф, — повторил Дедушка Форель. — Как лето.

— Что?

— Когда на дворе зима, тогда лето — миф. Молва, слухи. Которым нельзя верить. Понимаешь? Любовь это миф. Лето — тоже.

Оберон поднял глаза и посмотрел на кривые деревья вокруг звонкого пруда. Из тысяч почек проклевывались листья. Оберон понял, что ему было сказано: Искусство Памяти ничем не помогло ему в маленьком парке, совсем ничем; на нем висел тот же груз, вечный. Не может быть. Неужели он действительно обречен любить ее всегда, вечно жить в ее доме, откуда нельзя выбраться?

— А когда на дворе лето, тогда мифом становится зима.

— Да, — подтвердила форель.

— Молва, слухи, которым нельзя верить.

— Да.

Он любил ее, а она его покинула, беспричинно, не попрощавшись. Если он будет любить ее вечно, если любовь не умирает, тогда она вечно будет покидать его беспричинно, не попрощавшись. Меж вечных этих валунов быть промежутком малым вечно. Такого не может быть.

— Вечно, — сказал он. — Нет.

— Вечно, — проговорил его прапрадедушка. — Да.

Так оно и было. Со слезами на глазах и с ужасом в сердце, он понял, что не прогнал от себя ничего, ни единого мига, ни единого взгляда. Нет, Искусство помогло ему только отполировать до блеска каждое мгновение, проведенное с Сильвией, но ни одно из этих мгновений теперь не вернуть. Пришло лето, и все ясные осени, все мирные, как могила, зимы сделались мифом, и против этого не было средства.

— Не твоя вина, — повторил Дедушка Форель.

— Должен сказать, беседа вышла не очень утешительная. — Оберон отер с лица рукавом слезы

и сопли.

Форель молчала. Она не ждала благодарности.

— Вы не знаете, где она находится. И почему со мной так получилось. И что мне делать. И потом говорите, что это не пройдет. — Оберон засопел. — Не моя вина. Ну и что толку.

Наступило долгое молчание. Извивающаяся белая рыба невозмутимо созерцала Оберона и его горе.

— Ладно, — наконец сказала она. — Для тебя в этом имеется дар.

— Дар. Что за дар.

— Не знаю. В точности не знаю. Но дар есть, я уверен. Всегда что-то дается взамен.

Оберон чувствовал, что рыба старается проявить доброту.

— Хорошо. Спасибо. Что бы это ни было — спасибо.

— Я тут ни при чем. — Поверхность воды напоминала волнистый шелк. Если бы у Оберона была сеть. Нырнув чуть глубже, Дедушка Форель произнес: — Ладно, слушай. — Но не сказал больше ничего, а, постепенно уйдя в глубину, исчез из виду.

Оберон встал. Утренняя дымка испарилась, солнце жарило вовсю, птицы ликующе щебе-

тали, поскольку природа оправдала их самые лучшие ожидания. В этом радостном окружении Оберон спустился по берегу реки и вышел на тропу, которая вела к выгону. Дом, за шелестящими деревьями, был окрашен утренней пастелью; казалось, он только-только продирает глаза. Темным пятном на фоне весны, Оберон шагал, спотыкаясь, по выгону; брюки его были по колени мокрыми от росы. Это может длиться вечно — и будет. Вечером можно сесть в автобус, маршрут которого пересекается с маршрутом другого автобуса, а тот по серым шоссе идет на юг, через все более плотно застроенные пригороды, к широкому мосту или туннелю с кафельной отделкой, потом ныряет в жуткие прямоугольные ходы, полные дыма и несчастий, и там стоит Ветхозаветная Ферма со Складной Спальней, в Городе, где была Сильвия или где ее не было. Оберон остановился. Он ощущал себя сухой веткой, той самой, которую, как гласит история, Папа дал рыцарю-грешнику, который любил Венеру и мог надеяться на спасение, только если ветка

зацветет[313]. В душе Оберона цветения не было.

Дедушка Форель, в чьем пруду тоже распускалась весна, украшая его излюбленные уголки нежными водорослями и утихомиривая букашек, раздумывал над тем, действительно ли мальчику назначен дар. Возможно, нет. Они не раздают дары, если к тому не вынуждены. Но мальчик был так печален. Почему бы не сказать ему? Ободрить. Дедушка Форель не отличался чувствительностью, теперь, после всех этих лет; но в конце концов наступила весна, а мальчик был, если верить тому, что говорили, плотью от его плоти. Так или иначе, он надеялся, что если мальчику полагался дар, то такой, который не принесет ему еще больших страданий.

Достаточно дальновидны

— Конечно, я знала о них всегда, — говорила Ариэль Хокскивилл императору Фридриху Барбароссе. — На практической, или экспериментальной, стадии моих исследований они всегда были помехой. Элементали. Они слетаются на

---

[313] Примечания: 313

Он ощущал себя сухой веткой, той самой, которую, как гласит история, Папа дал рыцарю-грешнику, который любил Венеру и мог надеяться на спасение, только если ветка зацветет. — Отсылка к легенде о миннезингере Тангейзере (ок. 1205–1270).

эксперимент, как невесть откуда взявшиеся плодовые мушки на разрезанный персик или как цикады на лесную тропинку. В иные времена, когда я поднималась или спускалась по лестнице в свое святилище, — где, знаете, я работаю со стеклами, зеркалами и прочим, — за мной по пятам следовали тучи элементалей. Это раздражало. Не было уверенности, что они не искажают результат.

Она отхлебнула херес, который император для нее заказал. Тот мерил шагами приемную, не особенно вслушиваясь в слова Хокскуилл. Члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста» отбыли в некотором смущении, не вынеся из встречи определенных выводов и смутно чувствуя, что их обвели вокруг пальца.

— И что мы будем делать теперь? — проговорил Барбаросса. — Вот в чем вопрос. Думается, сейчас самое время нанести удар. Меч обнажен. Вот-вот придет Откровение.

Хокскуилл хмыкнула. Трудность заключалась в том, что ей прежде не приходила мысль о наличии у них воли. Подобно ангелам, они были силой, эманацией, сгустком оккультной энергии, природными объектами, столь же чуждыми свободной воле, как камни или солнечный свет.

Конечно, их оболочка говорила о возможном присутствии воли, голоса и лица менялись, выражая как будто те или иные намерения, но Хокскилл объясняла это игрой человеческого восприятия, как в тех случаях, когда пятна на оштукатуренной стене напоминают нам лица, в пейзажах чудятся враждебность или дружелюбие, в облаках — фантастические фигуры. Наблюдая Силу, мы видим в ней лицо и характер, и с этим ничего не поделаешь. Но в «Архитектуре загородных домов» был отражен совершенно иной взгляд на вещи. Там вроде бы утверждалось, что если существуют создания, которые являются всего лишь выражением природных сил, безвольной эманацией творческой воли, посредниками при духах, действующих сознательно, то это скорее люди, а не фейри. Хокскилл вынужденно приходилось признать, что — да — они наделены не только силой, но и волей, и желаниями, наравне с обязанностями; они не слепы, а, наоборот, достаточно дальновидны. Что же из этого следовало?

Хокскилл не считала себя простым звеном цепи, выкованной иными силами; в отличие от своих родственников на севере штата, она желала иметь собственное мнение. Она не собиралась становиться подчиненной фигурой в

их армии — такая роль, как она догадывалась, была отведена императору Фридриху Барбароссе, что бы ни думал об этом он сам. Нет, она не была готова безоглядно соединить свою судьбу с той или иной стороной. Маг — это по определению личность, руководящая теми силами, которым слепо повинуется обычный люд.

Собственно, Хокскvилл ступала по тонкому льду. «Клуб охотников и рыболовов с Шумного моста», конечно, не был для нее достойным противником. И насколько она превосходила этих джентльменов, настолько выше ее находились те силы, которые манипулировали Расселом Айгенбликом. Ну что ж, по крайней мере, это будет битва, в которой не стыдно поучаствовать; теперь, когда силы Хокскvилл достигли зенита, а чувства предельно обострились, предоставляется случай, насколько это вообще возможно, испытать на деле себя и свои знания, и если она проиграет, в поражении хотя бы не будет бесчестья.

— Да? Да? — Император тяжело опустился в кресло.

— Никаких Откровений. — Хокскvилл встала. — Во всяком случае, пока.

Вздрогнув, он удивленно поднял брови.

— Я передумала. Возможно, побыть некоторое время президентом было бы совсем неплохо.

— Но вы говорили...

— Насколько мне известно, полномочия, связанные с этой должностью, законом предусмотрены, только не используются. Обретя власть, вы можете повернуть их против Клуба. Члены Клуба будут поражены. Предайте их...

— Тюремному заключению. И тайной казни.

— Нет; но, возможно, тенетам судебной системы. Как показывает недавняя практика, оттуда они выпутаются не скоро, значительно ослабевшими и обедневшими. Казнь через обдирание, как у нас говорили.

Император послал ей из кресла волчью заговорщическую улыбку, от которой она едва не расхохоталась. Скрестив на животе свои толстые короткие пальцы, он с довольным видом кивал. Хокскилл отвернулась к окну. В голове у нее повторялся вопрос: почему он? Не кто-нибудь другой, а он? И мысль: если бы мышей вдруг попросили высказать мнение о том, как устроить домашнее хозяйство, кого бы они выбрали домоправителем?

— Думается, сейчас должность президента этой страны во многом схожа с положением

самодержца вашей древней империи. — Хокскивилл улыбнулась императору через плечо, а он всмотрелся в нее из-под рыжих бровей, чтобы определить, шутит она или нет. — То есть тот же блеск. — Хокскивилл говорила мягко, глядя на поднесенный к окну стакан. — Те же радости. Огорчения... В любом случае, сколько, как вы считаете, продлится теперь ваша власть?

— Не знаю. — С довольным видом он зевнул во весь рот. — Думаю, что отныне. Далее всегда.

— Так я и думала, — кивнула Хокскивилл. — Тогда торопиться некуда, правильно?

С востока, через океан, надвигался вечер; мрачное, со множеством оттенков зарево изливалось с запада, как из разбитого сосуда. С высоты, через обширный оконный проем, удобно было наблюдать их противоборство; зрелище для богатых и могущественных властителей, вознесшихся высоко над землей. Далее всегда... Хокскивилл, наблюдавшей битву, казалось, что весь мир впадает сейчас в продолжительный сон или, наоборот, пробуждается от снов — сказать невозможно. Но когда она отвернулась от окна, чтобы поделиться увиденным, оказалось, что император Фридрих Барбаросса тихонько похрапывает в своем кресле, легкое дыхание колышет рыжие волоски

бороды, а на лице застыло мирное выражение, как у спящего ребенка. Словно никогда по-настоящему не просыпался, — подумала Хоксквилл.

Далее всегда

— Ого, — сказал Джордж Маус, когда отворил наконец дверь Ветхозаветной Фермы и обнаружил робко жавшегося на крыльце Оберона. Тот долго стучал и звал (во время странствий он потерял все свои ключи), а теперь глядел пристыженно, как блудный сын.

— Привет, — сказал он.

— Привет. Долгонько не давал о себе знать.

— Угу.

— Я за тебя беспокоился, парень. Где тебя черти носили? Это ни в какие ворота.

— Разыскивал Сильвию.

— А, ну да, ты оставил в Складной Спальне ее брата. Очень милый юноша. Нашел ее?

— Нет.

— Вот как.

Они стояли, глядя друг другу в лицо. Оберон, все еще стыдившийся своего неожиданного возвращения на эти улицы, не знал, как попросить Джорджа принять его обратно, хотя было очевидно, что только за этим он и пришел. Джордж

только улыбался и кивал, черные глаза его смотрели в никуда. «Опять под балдой», — подумал Оберон. В Эджвуде май только вступал в свои права, а в городе единственная неделя весны уже миновала, воцарилось лето, подобное разгоряченному любовнику, и разлило самые сочные свои ароматы. Оберон забыл.

— Итак, — проговорил Джордж.

— Итак.

— Значит, обратно в большой город? Где ты думаешь...

— Можно снова к тебе? Прости.

— Как же, как же. Отлично. Работы сейчас невпроворот. Складная Спальня пустует... Как долго ты думаешь?..

— Не знаю. Некоторое время. Далее всегда.

Да я же просто мячик и только, — понял вдруг Оберон: вылетел из Эджвуда, допрыгал до Города, бешено заметался в лабиринте, кидаемый от стенки к стенке, от предмета к предмету; затем, не по своему выбору, а по принципу «угол падения равен углу отражения», вернулся в Эджвуд — и вновь на эти улицы, на Ферму. Но даже самый упругий мяч рано или поздно останавливается: прыгает ниже, еще ниже, потом только катится, раздвигая траву, потом не может одолеть даже

сопротивление травы, дергается напоследок и замирает.

Три Лайлак

Тут Джордж как будто сообразил, что они стоят в открытых дверях, и, как одной зимней ночью в другом мире, высунул голову наружу, чтобы быстро посмотреть, нет ли кого в конце улицы, потом втянул Оберона в дверь и тщательно ее запер.

— Для тебя есть почта и еще кое-что, — сказал Джордж, ведя Оберона через холл и вниз по лестнице в кухню. Он добавил еще что-то, о козах и помидорах, но Оберон его уже не слышал из-за шума в ушах и засевшей в голове робкой мысли о даре. И шум, и мысли не покидали его, пока Джордж рассеянно обшаривал кухню в поисках писем, время от времени останавливаясь, чтобы задать вопрос или отпустить замечание. Лишь убедившись, что Оберон не слушает и не отвечает, Джордж сосредоточился на своей задаче и отыскал два длинных конверта, которые лежали на подставке для гренков, вместе со старыми письмами от кредиторов и сувенирными меню.

Оберону хватило одного взгляда, чтобы убедиться в отсутствии письма от Сильвии. С дрожью

в пальцах, теперь уже бессмысленной, он вскрыл конверты. Петти, Смилодон и Рут были счастливы сообщить, что дело с завещанием Дринкуотера наконец уладилось. Они прилагали расчет, из которого явствовало, что, за вычетом авансов и издержек, ему полагалось тридцать четыре доллара семнадцать центов. Если он соблаговолит прийти и подписать несколько бумаг, эта сумма будет ему полностью выплачена. Другой конверт, дорогой на вид, из толстой веленевой бумаги с логотипом, содержал в себе письмо от продюсеров «Мира Где-То Еще». Они очень основательно прошлись по его сценарию. Сюжет был живой, впечатляющий, но диалоги не совсем убедительны. Тем не менее, если он пожелает работать над этим или другим вариантом сценария, то, как они полагали, вскоре ему нашлось бы место среди младших сценаристов. Авторы письма надеялись, что он откликнется... Во всяком случае, надеялись в прошлом году. Оберон рассмеялся. По крайней мере, работа ему, кажется, обеспечена. Быть может, он продолжит бесконечные летописи Дока, посвященные Зеленому Лугу и Дикому Лесу, хотя совсем в ином духе.

— Хорошие новости? — спросил Джордж, заваривая кофе.

— Знаешь, в мире с недавних пор стали происходить странные вещи. Очень странные.

— Расскажи, — предложил Джордж, на самом деле нисколько не любопытствуя.

Тут только Оберону пришло в голову, что после долгого запоя он начал замечать новшества, к которым другие уже успели привыкнуть. С него бы сталось огорошить кого-то замечанием, что небо голубое или что старые деревья вдоль улицы оделись листвой.

— На этой улице всегда росли большие деревья? — спросил он.

— Большие — это еще полбеды. Корни подрывают мой цоколь. И пытаются прорваться к парковке. Ничего не попишешь. — Джордж поставил перед Обероном кофе. — Молоко, сахар?

— Черный.

— Страньше и страньше[314], — заметил Джордж, зачем-то размешивая свой пустой кофе крохотной сувенирной ложечкой. — Временами мне приходит мысль, не бросить ли к черту эту твердыню. И взяться опять за пиротехнику. Вот где, ручаюсь, скоро засветят хорошие деньги. Со всеми этими торжествами.

---

[314] Примечания: 314

Страньше и страньше... — Из «Алисы в Стране чудес», гл. 2.

— Да?

— Айгенблик и все такое. Парады, шоу. Он без этого не может. И фейерверки.

— А-а. — После ночи и утра, проведенных с Бруно, Оберон взял себе за правило не думать и не задавать вопросов о Расселе Айгенблике. Странное дело любовь: может окрасить собой целые эпизоды из жизни, и впоследствии они сохраняют цвет любви, будь то светлый или темный. Оберон подумал о латиноамериканской музыке, сувенирных майках, некоторых улицах и местах в городе, о соловье. — Ты занимался пиротехникой?

— Ну да. Ты не знал? Ого-го. Большой спец. Упоминался в газетах. Вот смеху-то было.

— Дома об этом ни разу не обмолвились. — У Оберона возникло привычное чувство, что его проигнорировали. — Мне, во всяком случае.

— Правда? — Джордж бросил на него странный взгляд. — Что ж, все это внезапно накрылось. Примерно в то время, когда ты родился.

— Вот как? И почему?

— Обстоятельства, дружище, обстоятельства. — С необычной для себя задумчивостью Джордж уставился в чашку с кофе. Потом, приняв, судя по всему, решение, произнес: — Ты ведь в курсе, что

у тебя была сестра, которую звали Лайлак.

— Сестра? — Это было новостью. — Сестра?

— Ну да, сестра.

— Нет, у Софи была дочка, по имени Лайлак, которая исчезла. У меня была воображаемая подруга. Не сестра. — Оберон задумался. — Но мне всегда вроде как представлялось, что их три. Не знаю почему.

— Я говорю о дочке Софи. Я всегда думал, что там была история... Ладно, бог с ним.

Но Оберона прорвало:

— Э, нет, погоди. Никаких «бог с ним». — Это было сказано в таком тоне, что Джордж удивленно и виновато поднял взгляд. — Если там была история, я хочу ее услышать.

— Она длинная.

— Тем лучше.

Джордж задумался. Встал, набросил на плечи старый кардиган и вновь сел.

— Хорошо. Сам напросился. — Он помолчал, думая, с чего начать. Десятилетиями прикладываясь к наркотикам, Джордж сделался рассказчиком увлеченным, но не всегда внятным. — Фейерверки. Три Лайлак, ты сказал?

— Одна воображаемая.

— Вздор. Меня интересует, из чего сделаны

две другие. Так или иначе, одна Лайлак была фальшивая, как фальшивый нос. Буквально. Это как раз и есть история с фейерверком... Однажды много лет назад Софи и я... Как-то зимой я был в Эджвуде, и мы с ней... О последствиях я не думал, понимаешь? Бес попутал. Я вычеркнул этот случай. Не она, а я остался одураченным. Тем временем, как я знал, у нее были шашни со Смоки. — Джордж взглянул на Оберона. — Секрет полишинеля, так ведь.

— Нет, не так.

— Ты не... Они не...

— Мне никогда ничего не говорили. Знаю только, что был ребенок, Лайлак, дочка Софи. Потом она исчезла. Все остальное для меня тайна.

— Ну, слушай. Насколько мне известно, Смоки до сих пор считает себя отцом Лайлак. Вся эта история сплошной молчок. Что с тобой?

Оберон смеялся.

— Нет, ничего. Конечно, именно молчок.

— Ну ладно. Произошло это лет... сколько? Наверное, двадцать пять тому назад. Я тогда вплотную занимался фейерверками, из-за Теории Действия. Помнишь Теорию Действия? Нет? Бог мой, в наши дни все забывается в два счета. Теория Действия, знай... Боже, помню ли я сам,

как она работает... Идея в том, как работает сама жизнь... как действует жизнь, а не мысли или вещи: действие — это одновременно и мысль и вещь, но только, видишь ли, оно имеет эту форму, а потому его можно осмыслить. Каждое действие, неважно какого рода, — поднять, к примеру, чашку или прожить жизнь, и даже вся эволюция Земли — каждое действие имеет одну и ту же форму; два действия вместе становятся одним, имеющим ту же форму; вся жизнь — это одно большое действие, состоящее из миллиона мелких, — улавливаешь?

— Честно говоря, нет.

— Неважно. Оттого-то я и занялся фейерверками, так как ракета имеет ту же форму, что и действие: запал, горение, взрыв и так далее. Врубаешься? Можешь устроить представление, имеющее ту же форму, что и жизнь. Действия, действия и еще раз действия. Ракеты: в одну ракету упакованы другие, которые выстреливают вслед за большой. Это как курица в яйце, а в ней еще курицы, а в них яйца — дурная бесконечность. Снопы: сноп имеет такую же форму, как чувство, что ты живой. Залп следует за залпом, ракеты сгорают, зажигаются новые, сгорают, зажигаются новые. Все вместе дает картину, как

мысль рисует картины в воздухе.

— Что за сноп?

— Да сноп. Китайский огонь. Знаешь, эффект такой, будто два корабля ведут перестрелку и из вспышек получается американский флаг.

— Ага.

— Да. Копья, как мы говорим. Похоже на мысли. Кое-кто это тоже понял. Некоторые критики.

Джордж замолчал, живо вспоминая речную баржу, где устраивал «Ритмическое действо» и другие шоу. Тьма, плеск воды; тянет зловонием. И вдруг небо наполняется огнем, подобным жизни, огнем, который зажигается, а потом потухает, на мгновение прочертив в воздухе фигуру — незабываемую, но, в определенном смысле, никогда не существовавшую. И сам Джордж носится как сумасшедший, орет на своих помощников, стреляет из пушки ракетами; волосы его опалены, в глотке пересохло, куртка обсыпана золой, в то время как в небе обретают форму его мысли.

— Давай о Лайлак, — напомнил Оберон.

— Что? Ну да. Я несколько недель работал над новым представлением. Были новые идеи относительно гарнитур и... этим я и жил, сутки напролет. И вот как-то ночью...

— Гарнитур?

— Гарнитура — это часть ракеты, которая взрывается в конце, похоже на цветок. Гляди, у тебя есть ракета и есть ящик со смесью, которая сгорает и выносит ракету в воздух; а наверху срабатывает капсюль и выстреливает гарнитура: сыплются звезды, звездочки, мерцающие звезды...

— Да-да. Продолжай.

— Ну вот, сижу я на третьем этаже, где устроил мастерскую, — на самом верху, чтобы в случае чего не взлетел на воздух весь дом, — час уже поздний, и вдруг звонит звонок. В те дни звонки еще работали. Так что я прячу ящик и начинку — сам понимаешь, не уходить же, оставив полную комнату пиротехники, — и иду вниз, а звонок не умолкает, и я думаю, кому же это там неймется. Это была Софи... Ночь была холодная, как помню, дождливая, и Софи кутала плечи и голову в шаль. Вид у нее был краше в гроб кладут — словно несколько суток не спала. Глаза как блюдца, полные слез, или это были дождевые капли. В руках большой сверток, тоже закутанный в шаль, и я спросил, мол, что это такое. А она: «Я принесла Лайлак», — и сдергивает с этого существа шаль.

Джорджа сотрясла дрожь, которая поднялась от бедер к голове и слетела с макушки, вздыбив на

ней волосы. Говорят, такая дрожь нападает, когда кто-нибудь пройдется по твоей будущей могиле.

— Не забывай, я об этом не имел понятия. Не подозревал, что я отец. Уже год не получал никаких известий. И вот, как в дурном сне, на ступенях возникает Софи, говорит, это, мол, твоя дочь, и показывает мне этого ребенка — или так называемого ребенка.

С ним что-то было неладно.

Он был старый на вид. Ему должно было сравняться два года, но выглядел он на все сорок пять, эдакий маленький парнишка, лысый и сморщенный, с хитрющим личиком, ни дать ни взять немолодой скорняк, обремененный заботами. — Джордж странно усмехнулся. — Помни, считалось, что это девочка. Меня аж в дрожь бросило. Стоим мы на крыльце, а этот ребеночек вытягивает руки, — вот так, ладонями вверх — ловит капли дождя и натягивает на голову шарф. Наше вам. Что я мог сказать? Достаточно было на него взглянуть. Я впустил их в дом.

Вошли мы в эту комнату. Софи усадила ребенка на высокий стул. Меня от него воротило, но и не смотреть я вроде как не мог. И Софи рассказала историю: она и я, тем днем, как это ни странно, она сделала подсчет, сюда плюс туда минус, полу-

чалось Лайлак мой ребенок. Но — заметь — не эта Лайлак. Софи знала точно, что однажды ночью на месте подлинной Лайлак появилась вот эта. А эта не настоящая. Это не только не Лайлак, но даже и не настоящий ребенок. Меня как громом поразило. Я заахал и заохал: что да как. А дитя тем временем, — вновь беспомощно рассмеялся Джордж, — сидит в такой позе, ну не передать, с такой ухмылкой на лице: мол, ну-ну, в миллионный раз слышу эти разговоры, в печенках они у меня засели. Для полноты картины не хватало только сунуть ему в зубы сигару.

Софи была как в шоке. Тряслась с головы до ног. Пыталась выложить мне все разом. Потом смолкла и не могла продолжать. Я так понял, что вначале все было нормально, и она не замечала разницы. Она даже не может сказать, которой ночью это произошло: на вид с девочкой было все путем. Красивая. Но только уж очень спокойная. Чересчур спокойная. А потом — несколько месяцев назад — пошли перемены. Вначале медленно. Потом быстрей. Ребенок словно бы увядал. Он не болел. Его осматривал Док, говорил, все нормально, аппетит хороший, улыбается... но вроде как стареет. О Боже. Укутал я Софи в шерстяной платок, поставил чай и все пригова-

риваю: спокойно. Спокойно! А она рассказывает, как скумекала, что произошло (знаешь, я сначала не поверил, думал, надо бы ребенка показать специалисту), и как стала прятать ребенка ото всех, а они спрашивали, где Лайлак, почему ее не видно. — Еще один приступ неудержимого смеха. Джордж стоял, изображая историю в лицах, прежде всего свое удивление. Внезапно он, выпучив глаза, уставился на пустой стул. — Глядим мы. А ребенка нет как нет.

Ни на стуле. Ни внизу, на полу.

Дверь настежь. Софи ахает от удивления и поворачивается ко мне. Я ведь был отец. Должен был что-то предпринять. Потому она и пришла и все такое. Боже. При одной мысли о том, что это существо бегает по моему дому, у меня затряслись коленки. Выхожу в коридор. Никого. Потом я увидел, как оно карабкалось по лестнице. Одолевало ступеньку за ступенькой. У него был такой вид, словно оно знает, куда идет. Я сказал: «Стой, чучело» (не мог обратиться к нему как к девочке) и схватил его за руку. Ощущение было странное, словно я коснулся не руки, а кожаной вещи, холодной и сухой. Оно ответило мне ненавидящим взглядом: а ты, мол, откуда на фиг взялся — и стало вырывать руку, а я не отпускал, и... — Джордж

обессиленный сел. — Она порвалась. Я прорвал в этой чертовой кукле дыру. Хрясь. У самого плеча дыра, и там, как в кукле, пусто. Я быстро выпустил эту тварь. Ей хоть бы хны, поползла себе дальше, даром что рука сломана — болтается как плеть. Одеяло сползает; вижу еще трещины и щели: на коленях, лодыжках. Ребенок разваливается на части.

Ну ладно. Что мне оставалось делать? Я вернулся сюда. Софи с вытаращенными глазами куталась в платок. «Ты права, — сказал я. — Это не Лайлак. И не моя дочь».

Софи была сама не своя. Осела в кресле. Это была последняя соломинка. Она таяла на глазах — больно было смотреть. «Ты должен мне помочь, должен». Ладно, ладно, помогу, но что мне, черт возьми, делать? Она не знала. Мне решать. «Где она?» — спросила Софи.

«Пошла наверх, — отвечаю. — Может, замерзла. Там разведен огонь». Как Софи на меня глянула — описать не могу; в глазах ужас, пуще того — усталость; видно, что ждать от нее нечего, чувствовать — и то не способна. Схватила меня за руку и просит: «Не подпускай ее близко к огню, пожалуйста, пожалуйста!»

Почему бы это? «Послушай, — говорю, — сиди

здесь, грейся, а я пойду посмотрю». Что, черт возьми, мне придется увидеть, я понятия не имел. Подхватил на всякий случай бейсбольную биту и к двери, а Софи все твердит: «Не подпускай ее к огню».

Джордж изобразил, как крадется по лестнице и входит в гостиную на втором этаже.

— Вхожу, а оно там. У огня. Сидит на заду, прямо перед камином. Я глазам не поверил: оно тянулось в самый огонь — да, в самое пекло, подхватывало горящие угли и запихивало себе в рот.

Джордж подошел вплотную к Оберону и для убедительности взял его за запястье.

— Оно их грызло. — Джордж изобразил, будто ест каштаны. — Хрумкало. И ухмылялось прямо мне в физиономию. Видно было, как угли светятся у него в голове. Как блуждающий огонек. Угли гасли, оно хватало другие. И знаешь, в нем прибавилось жизни. Слегка перекусив, эта тварь запрыгала — пустилась в пляс. Голая с ног до головы. Сломанный гипсовый херувимчик, злобненький такой. Богом клянусь, я в жизни так не пугался. Думать я не мог — только двигаться. Знаешь? Слишком испуган, чтобы бояться. Ноги сами понесли меня к огню. Хватаю совок. Отрываю в

камине целую кучу углей. Показываю этой твари: м-м-м, вкуснятина. Подь за мной, подь. Игра как раз по ней: горяченькие каштаны, с пылу с жару, ну давай же, давай; за дверь, по лестнице; тянется к совку — дай-дай, нет-нет. Приманиваю.

А теперь послушай. Не знаю, тронулся я тогда умом или нет. Я был уверен в одном: в этой твари сидело зло. Не злое зло, ведь она была ничто: кукла, марионетка или механизм, но только передвигающийся сам по себе, как задвигается во сне какая-нибудь жуткая неодушевленная вещь, вроде груды старой одежды или кома жира, вот-вот набросится. Неживая, но движется. Получила жизнь. Но она зло, жуткое зло, какого и быть не должно в природе. Избавиться от нее во что бы то ни стало: других мыслей у меня не было. Лайлак это или не Лайлак. Просто избавиться. Избавиться.

И вот топает она за мной по пятам. На третьем этаже, за библиотекой, там у меня мастерская. Ага? Представил себе? Дверь закрыта, конечно, я закрыл ее, когда отправился вниз — лучше перебдеть, чем недобдеть. Итак, вожусь я с дверью, а тварь сверлит меня глазами, которые вовсе не глаза, и, черт возьми, вот-вот разгадает мою хитрость. Сую совок ей под нос. Треклятая дверь

все не поддается, не поддается, потом распахивается и...

Широким жестом Джордж закинул воображаемые пылающие угли в мастерскую с готовой пиротехникой. Оберон затаил дыхание.

— Затем берусь за *выродка*...

Проворно и ловко лягнув фальшивую Лайлак боком стопы, Джордж и ее затолкал в мастерскую.

— И, наконец, дверь! — Глядя на Оберона такими же, как тогда, испуганными, заполошенными глазами, Джордж захлопнул дверь. — Порядок! Дело сделано! Скачу вниз по лестнице. «Софи! Софи! Беги!» Она сидит без движения в кресле — вот там. Хватаю ее, тащу чуть ли не на руках, гоню во весь опор, ведь наверху уже слышен шум, вот мы в холле — бац-бабац! — мы на улице.

Стоим под дождем, задравши головы. То есть я задравши, а она вроде как прячет голову. А из окна мастерской прет наружу все мое шоу. Звезды. Ракеты. Магний, фосфор, сера. Свету — словно ясный день, да не один, а несколько разом. А грохоту!.. Остатки падают на землю, шипят в лужах. И тут как бабахнет! Это взлетел большой запас ракет, продырявив насквозь крышу. Дым, искры — пылала вся окрестность. Но дождь

припустил еще сильнее, и вскорости фейерверк погас, немного не дождавшись полицейских и пожарных машин.

— Я, знаешь, основательно укрепил мастерскую, — стальные двери, асбест и прочее — так что здание устояло. Но, богом клянусь, от этого выродка — кто бы он там ни был — мокрого места не осталось...

— А Софи? — спросил Оберон.

— Софи. Я говорил ей: «Послушай, все в порядке. Я покончил с этой тварью».

«Что? Что?» — спрашивает.

«Я с ней покончил. Она взлетела на воздух. Ничего не осталось»[315].

И знаешь, что она мне ответила?

Оберон не знал.

— Подняла на меня глаза — страшней ее лица я ничего в ту ночь не видел — и говорит: «Ты убил ее».

Так и сказала. Ты, мол, ее убил. И больше ни-

---

[315] Примечания: 315

Я покончил с этой тварью... Она взлетела на воздух. Ничего не осталось. — Один из способов определить подменыша, оставленного эльфами взамен настоящего ребенка, — это сунуть его в печь, на раскаленные угли. «Если это действительно был подменыш, то он, вереща, ругаясь и богохульствуя, со свистом вылетал в трубу. Если же младенец не улетал, а просто-напросто сгорал... Ну что ж... Людям свойственно ошибаться», — справедливо замечает Анджей Сапковский (р. 1948) в «Бестиарии» (перевод Е. Вайсброта).

чего. Вялый и обессиленный, Джордж сел за кухонный стол.

«Убил ее». Так думала Софи: я убил ее единственное дитя. Не знаю, может, она до сих пор так считает. Что старик Джордж прикончил ее единственного ребенка, а одновременно и своего. Зафуячил в небо — звезды и полосы навсегда[316]. — Джордж опустил глаза. — Не приведи господь, чтобы еще кто-нибудь посмотрел на меня так, как она той ночью.

— Вот так история, — выдавил из себя Оберон, когда к нему вернулся дар речи.

— Послушай, что если это была Лайлак, но превратившаяся каким-то образом в чудовище...

— Но она знала. Софи знала, что это не настоящая Лайлак.

— Правда? Кто ее поймет, что она знала, а что нет. — Воцарилось угрюмое молчание. — Женщины. Поди их вычисли.

— Чего я не пойму, — сказал Оберон, — это зачем они принесли ей эту тварь. То есть если это была такая грубая подделка.

Джордж смерил его подозрительным взглядом:

— Какие такие «они»?

---

[316] Примечания: 316

...звезды и полосы навсегда. — Марш (1896) Джона Филипа Сузы (1854–1932).

Оберон смотрел в сторону.

— Ну, они, — произнес он, сам удивляясь тому, что слышит от себя это объяснение, — это те самые, которые похитили настоящую Лайлак.

Джордж хмыкнул.

Оберон молчал, не зная, что еще сказать по этому поводу. Впервые в жизни он ясно понимал, почему те, за кем он шпионил, так упорно держали язык за зубами. Обращаться к ним за объяснениями было все равно, что вопрошать пустоту, а теперь он сам волей-неволей присоединился к этому заговору молчания. Ему думалось, что отныне он никому ничего не сможет объяснить, не прибегая к местоимению во множественном числе «они». «Им».

— Ну ладно, — сказал Оберон наконец. — С двумя ясно.

Джордж вопросительно поднял брови.

— С двумя Лайлак, — пояснил Оберон. Он стал считать: — Я думал, что их было три. Из них одна воображаемая, моя, и где она находится, я знаю. — Он чувствовал: она сидит глубоко у него в душе и знает, что он ее упомянул. — Другая была фальшивая. Та, которую ты взорвал.

— Но если она была настоящей, только как-то измененной... Да-а-а.

— Брось. Осталась одна, с которой неясно: настоящая. — Он взглянул в окно на сумерки, собиравшиеся над Ветхозаветной Фермой и над высокими городскими башнями. — Интересно.

— Интересно, — кивнул Джордж. — Дорого бы дал, чтобы узнать.

— Где. Где-где.

Грезя о пробуждении

Далеко-далеко, в дремоте; беспокойно ворочаясь во сне и грезя о пробуждении, хотя до него еще много лет; нос чешется, рот зевает. Она даже моргала, хотя сонные глаза не видели ничего, кроме снов; среди весны ей снилась осень: серая долина, где в день путешествия аист, несший ее и миссис Андерхилл, коснулся наконец лапами *terra firma*[317] или чего-то вроде этого. Как миссис Андерхилл со вздохом сошла вниз, а она, Лайлак, обхватив ее шею, сделала то же самое... Она зевала; обучившись этому искусству, она уже не могла остановиться и все раздумывала, нравится ли ей это ощущение.

— Совсем сонная, — произнесла миссис Андерхилл.

---

[317] Примечания: 317
Твердая почва (лат.).

— Где мы? — спросила Лайлак, с помощью миссис Андерхилл поднявшись на ноги.

— Так, в одном месте, — мягко отозвалась миссис Андерхилл. — Пойдем.

Перед ними находилась арка-руина с резьбой то ли грубой, то ли огрубевшей от непогоды. Стен по сторонам не было, арка высилась одна над усыпанной листьями тропой, обозначая единственный проход к сухому ноябрьскому лесу по ту сторону. Лайлак, полная предчувствий, но смирившаяся, вложила в большую сморщенную руку миссис Андерхилл свою нежную ладошку, и они, как обычные бабушка с внучкой, пошли к воротам по застывшему парку, откуда удалились лето и веселье. Приглаживая клювом взъерошенные перья, стояла в одиночестве на красной ноге аистиха.

Они прошли под аркой. Кессоны и впадины рельефа были заполнены мхом и старыми птичьими гнездами. Сюжет резьбы был непонятен: то ли сотворение мира, то ли возвращение в первобытный хаос. Лайлак на ходу провела по рельефу рукой — это не был камень. Стекло? — гадала Лайлак. Кость?

— Рог, — сказала миссис Андерхилл. Сняв один из своих многих плащей, она прикрыла наготу

Лайлак. Лайлак пинала ногами бурые листья долины, думая о том, как приятно, должно быть, лежать на них долгое время.

— Да, долгий день, — проговорила миссис Андерхилл, словно подслушав ее мысли.

— Он прошел слишком быстро.

Миссис Андерхилл обняла Лайлак за плечо. Лайлак брела рядом на заплетающихся ногах, которые словно бы отказывались ей повиноваться. Она опять зевнула.

— Ай-яй, — нежно проворковала миссис Андерхилл и подняла девочку одним быстрым движением своих сильных рук. Прижав Лайлак к груди, она поплотнее ее укутала. — Ну что, забавно было? — спросила она.

— Забавно, — отозвалась Лайлак.

Они остановились перед большим дубом, у подножия которого громоздилась кучей вся листва, одевавшая его летом. В дупле негромко ухала только что пробудившаяся сова. Миссис Андерхилл склонилась, чтобы положить свою ношу в шуршащую листву.

— Смотри об этом сны, — сказала она.

Лайлак пробормотала что-то неразборчивое об облаках и домах и замолкла, погрузившись в сон. Она заснула, не заметив, как это произошло,

и уже видела об этом сон, который ей предстояло смотреть вновь и вновь; сон о весне, во время которой ей будет грезиться осень, когда она заснула, и о зиме, когда она проснется. Сны усложнялись, громоздились один на другой; ей снилось даже, как она видит эти события во сне и как где-то в другом месте они происходят наяву. Бессознательно она подтянула колени к животу и прижала ладони к опущенному подбородку, приняв ту самую S-образную позу, в которой существовала внутри Софи. Лайлак спала.

Миссис Андерхилл еще раз тщательно подоткнула плащ, которым была накрыта девочка, и выпрямилась. Прижав руки к пояснице, она отклонилась назад, усталая как никогда. Нацелила палец в сову, чьи глаза неярко светились в дупле, и распорядилась:

— Ты. Заботься хорошенько, не спускай глаз.

Эти глаза могли справиться с поставленной задачей не хуже любых других. Миссис Андерхилл подняла взгляд. Сумерки, даже ноябрьские, затяжные, были на исходе, и все ее заботы оставались при ней: конец года еще не был похоронен, дожди, которые должны были похоронить его (а заодно и миллионы личинок, луковиц, семян), еще не пролились; предстояло еще вымести гряз-

ные тучи с настила небес и зажечь на нем зимние фонари. Братец Северный Ветер — она в этом не сомневалась — нетерпеливо грыз удила, стремясь вырваться на свободу. Какое чудо, думала она, что день следует за ночью, вообще, что земля вращается, ведь она в последнее время почти не обращала на них внимания. Она вздохнула, отвернулась и, сделавшись старше и обретя силы, каких Лайлак в ней не подозревала ни наяву, ни во сне, стала расти одновременно вверх и вширь, чтобы взяться за труды, на нее возложенные. На приемную внучку, спавшую среди листвы, она даже не оглянулась.

Книга шестая. Парламент фейри

Глава первая

Старый Король —
На верхушке холма:
Поседел, одряхлел —
Выжил он из ума.

***Аллингем. Фейри*[318]**

Первые годы после события, которое Рассел Айгенблик мысленно называл своим восшествием на престол, были самыми трудными из тех, какие выпадали на долю современников, — так они решат задним числом. Тем ноябрьским днем, когда он с подавляющим перевесом был избран президентом, внезапно налетела вьюга, которой не предвиделось конца. Конечно, зима не могла царить круглый год; в должное время она, наверное, сменялась летом, но людям помнились только зимы: длиннейшие, суровейшие; одна непрерывная зима. Все тяготы того времени — как поневоле налагавшиеся деспотическим правителем, так и умышленно вызванные оппозицией,

---

[318] Примечания: 318

Старый король — / На верхушке холма: / Поседел, одряхлел — / Выжил он из ума. — Эпиграф взят из стихотворения «Фейри» (1855) Уильяма Аллингема (1824–1889).

которая вела с ним борьбу, — усугублялись зимой, когда месяц за месяцем любая затея тонула в морозном месиве и слякоти. Зимой трудно было передвигаться грузовикам и прочему транспорту, войскам в бурой униформе; повсюду встречались толпы и очереди беженцев, закутанных в тряпье, застрявшие в снегу поезда, самолеты, которые без дела стояли на аэродромах, — эти картины надолго удерживались в памяти. На новоявленных границах вязли в талом снегу, извергая из выхлопных труб облака холодного дыма, ряды автомобилей в ожидании замотанных по самые брови караульных, которые проводили осмотр. Нехватка всего и вся, отчаянная борьба за существование, трудности, неуверенность — и ко всему этому добавлялся нескончаемый, затруднявший передвижение холод. Кровь мучеников и реакционеров, вмерзшая в грязный снег городских площадей.

Подвергся надругательству древнего, всепроникающего мороза и старый дом в Эджвуде. Целый этаж был закрыт, в пустых комнатах копилась пыль; перед мраморными каминами торчали мрачные черные печки; хуже того — в десятках окон появилась пленка, даже ясный день делавшая сумрачным. Однажды ночью Смоки услышал

шум в глубине огорода, вышел и спугнул своим фонариком какое-то отощавшее животное: большое, серое, с красными глазами и слюнявой мордой, безумное от холода и голода. Бродячая собака — сказали домашние, но видел его только Смоки, и он не знал, что и подумать.

Зимы

В старой музыкальной комнате на печке стояла сковородка с водой, чтобы штукатурка на потолке не трескалась от сухости. В большом деревянном ящике, который небрежно сколотил Смоки, хранились дрова для печки, но от всех этих приспособлений толку было немного: температура в этой нарядной гостиной была не выше, чем на Клондайке. Дрова пилил Руди Флад, который за этим занятием расстался с жизнью: упал лицом вниз, сжимая в руках цепную пилу, и умер прежде, чем коснулся земли (она в тот миг дрогнула, как рассказывал Робин, очень изменившийся после этого). Когда Софи вставала со своего места за круглым столом, чтобы кинуть в ненасытную утробу Молоха еще дров, у нее возникало неприятное или, по меньшей мере, странное ощущение, будто это не дрова, а куски старого Руди.

Пятьдесят две

Работа изнуряла людей. Во времена юности Софи такого не было. Не только Робин, но и Санни Нун и множество других, кто в прежние вольготные дни задумал отказаться от фермы, где работали родители, теперь возвращались, благодаря Бога за то, что имеют эти акры и эту работу. Руди, в конце концов, был исключением; опыт прежних поколений говорил о неограниченных возможностях, внезапных переменах к лучшему, перспективах свободы и благополучия. Молодые смотрели на мир иначе. Волей-неволей они выбрали себе старый девиз: используй вещи до конца, износи до дыр и так далее. Это касалось всех вокруг; Смоки, со своей стороны, решил, что арендную плату нужно уменьшить или отменить на неопределенный срок. Вот и дом: он тоже, казалось, изнашивался. Поплотнее натянув на плечи толстую шаль, Софи взглянула на потолок, где в рисунке трещин чудилась рука скелета, и вернулась к своим картам.

Все используется, изнашивается, а замены не будет. Так и произойдет? Софи взглянула на разложенные карты.

Нора Клауд оставила Софи не только свои кар-

ты, но и сознание того, что каждый их расклад Как-то связан со всеми другими, что они являются частями одной географической карты или одной истории. В зависимости от цели их можно читать и рассматривать по-разному, и оттого не замечается их связь. Софи, восприняв уроки Клауд, пошла дальше: если карты говорят одно и то же, тогда, задавая им постоянно один и тот же вопрос, получишь наконец полный ответ, сколь бы он ни был пространен и энциклопедичен; получишь в качестве ответа нечто целое. Если только она сможет достаточно сконцентрироваться, будет и дальше правильно формулировать вопрос, с нужными вариациями и определениями, если не клюнет на приманку туманных ответов на незаданные мелкие вопросы, — да, Смоки, подхвативший ангину, еще сильней разболеется, а у Лили родится мальчик — тогда она, возможно, достигнет цели.

Ее вопрос не вполне совпадал с тем, который интересовал Ариэль Хокскилл, хотя внезапное появление этой дамы и ее настойчивость подтолкнули Софи к тому, чтобы попытаться его задать. Хокскилл с легкостью нашла в картах крупные события, недавно происшедшие в мире, и их причины, а также свою собственную роль в

них; она отделяла их от банальностей и тупиков так же ловко, как хирург находит и вырезает опухоль. Софи такая задача давалась непросто; трудность, со времени поисков Лайлак, состояла в том, что при обращении к этим картам терялась разница между вопросами и ответами; все ответы казались ей всего лишь вопросами о вопросах, каждый вопрос — вариантом ответа на него же. Хокскуилл справлялась с этим затруднением благодаря длительной выучке, да и любая цыганская гадалка объяснила бы Софи, как его обойти. Но в таком случае Софи не билась бы над своим вопросом долгие годы, зиму за зимой, и не начала бы уже видеть в себе большой словарь, или энциклопедию, или справочник, целиком посвященный ответам на этот единственный вопрос (по-настоящему не из тех, какие можно задавать).

Изнашиваются постепенно, один за другим, а замены не будет; собственно, умирают, хотя они бессмертны, во всяком случае, так Софи всегда считала, сама не зная почему... Возможно ли такое? Или это просто зимние мысли в годину бедствий и лишений?

Клауд говорила: это только кажется, будто мир стареет и изнашивается с тобою вместе. Его век

слишком долог, чтобы ты, за свой краткий век, заметил его старение. С возрастом только начинаешь понимать, что мир стар и старость его началась не вчера.

Ну ладно. На самом деле Софи чувствовала старение не мира, а только его обитателей — если существовала такая штука, как мир, ими населенный, но от них отличный, чего Софи не могла вообразить. Так или иначе, предположим, он существовал, старый там или молодой — неважно. Софи точно знала одно: его пределы, густо населенные во времена доктора Брамбла или Парацельса, ныне, по большому счету, совсем опустели. Когда-нибудь — причем скоро! — всех его обитателей можно будет если не перечислить по именам, то сосчитать с точностью до одного, и общее число окажется невелико — вероятно, уложится в две цифры. И это означало (поскольку авторы, процитированные в «Архитектуре», наряду со всеми прочими, занимавшимися этим вопросом, полагали их количество неисчислимым — как минимум по одному на каждый колокольчик и на каждый куст терновника), что в последнее время они Как-то истаяли по одному, подобно запасу поленьев, которыми Софи питала печку, или истончились от старости и печали и

были унесены ветром[319].

А может, их истребила война. Война, которую Ариэль Хокскилл определила как отношения в действии, штука, сделавшая мир — или эту Повесть, если между тем и другим есть разница, — таким печальным, непонятным и непредсказуемым. Подобно всем войнам, нежеланная, но неизбежная, она влечет за собой гигантские потери, по крайней мере, с их стороны; Софи не представляла себе, какие потери могли причинить они сами и как... Война; возможно ли, что от них не осталось ничего, кроме последней слабой надежды, кучки смелых, ввязавшихся в отчаянный арьергардный бой и обреченных на гибель?

Нет! Слишком страшной была эта мысль: смерть. Вымирание. Софи знала (как никто другой), что они никогда не думали о ней с любовью, никогда не заботились о ней в человеческом смысле этого слова, даже не питали к ней симпатии. Они похитили у нее Лайлак — пусть не из намерения навредить, но и не из любви к самой

---

[319] Примечания: 319

...в последнее время они Как-то истаяли по одному... или истончились от старости и печали и были унесены ветром. — Образ эльфийских похорон довольно часто встречается в британском фольклоре, хотя вообще-то фейри почитаются бессмертными. Не менее часты упоминания о том, что волшебные существа покидают свои привычные места обитания, поскольку, как заявил в разговоре с У. Б. Йейтсом один крестьянин, «время их истекло, вишь».

Лайлак, а из собственных соображений. Нет, у Софи не было причин любить их, но мысль о том, что они исчезнут совсем, казалась невыносимой — как мысль о бесконечной зиме.

И все же она думала, что скоро их можно будет сосчитать по пальцам.

Софи собрала колоду и раскинула ее перед собой веером; потом одну за другой отобрала фигурные карты, которые должны были представлять тех, о ком она уже знала; разложила карты группами, где низшим отводилась роль придворных, детей, доверенных помощников — насколько она угадывала их наличие.

Одна для сна, четыре — для времен года; три — чтобы предсказывать судьбу, две — Принц и Принцесса; одна — для поручений, вернее две: одна идет туда, другая — обратно[320]... Нужно было разграничить функции, распределить их и наметить нужное количество карт. Одна — чтобы носить дары, три — уносить их. Дама Мечей, Король Мечей и Рыцарь Мечей; Дама Монет, Король Монет и десять мелких карт — их дети...

---

[320] Примечания: 320

...одна — для поручений, вернее две: одна идет туда, другая — обратно... — Белый Король объясняет Алисе, что ему служат два гонца: «один бежит туда, а другой — оттуда» («Алиса в Зазеркалье», гл. VII, пер. Н. Демуровой).

Пятьдесят две?[321]

Или дело просто в том, что этим количеством карт (только с Младшими козырями; сюжет, ими воплощаемый, не в счет) ограничивалась ее колода?

Сверху внезапно раздался металлический звон, и Софи пригнула голову; звук был такой, словно на чердак опрокинулся в полном составе тяжелый каминный прибор. Это Смоки, работает над моделью планетарной системы. Софи подняла взгляд. Трещина на потолке как будто удлинилась, но Софи не была в этом уверена.

Три для работы, две — исполнять музыку, одна — видеть сны...

Софи засунула ладони в рукава. В любом случае немного, не сонмы. По туго натянутой пленке в окне колотил, как по барабану, ветер. Казалось, — хотя утверждать было трудно, — что снова пошел снег. Софи перестала считать (слишком мало было данных; ни в коем случае не стоило в такой день заниматься рассуждениями, когда тебе известно так мало), собрала карты, сложила в мешочек и спрятала в отведенную для них

---

[321] Примечания: 321

Пятьдесят две? — Количество карт в стандартной английской игральной колоде и, соответственно, количество карт из волшебного сада в Стране Чудес (гл. VIII).

шкатулку.

Посидела, прислушиваясь к стуку молотка Смоки, сперва неуверенному, потом более настойчивому и наконец оглушительному, как удары гонга. Затем звуки замолкли, и день вернулся.

Несение факела[322]

— Лето — это миф, — сказала миссис Макрейнольдс, приподнимая голову с подушки.

Племянницы, племянники и дети вокруг нее переглянулись, то ли раздумывая, то ли сомневаясь.

— Когда на дворе зима, — продолжала умирающая старуха, — тогда лето — миф; молва, слухи, которым нельзя верить...

Домашние сгрудились вокруг нее, рассматривая тонкое лицо, дрожащие голубоватые веки. Голова лежала на подушке так легко, что из прически не выбился ни один седой подсиненный волосок, и все же миссис Макрейнольдс доживала последние мгновения. Ее контракт истек, и продлевать его никто не собирался.

— Никогда, — начала она и на долгое время

---

[322] Примечания: 322

Несение факела — «To carry a torch» означает быть влюбленным без взаимности.

забылась, пока Оберон гадал, что за этим последует. Никогда меня не забывайте? Никогда не обманывайте, никогда не отчаивайтесь, никогда, никогда, никогда? — Никогда не тоскуйте. Только ждите, ждите, наберитесь терпения. Тоска губительна. Ждите и дождетесь. — У домашних увлажнились веки, но они таились от умирающей, потому что она терпеть не могла слез. — Будьте счастливы, — проговорила она слабеющим голосом. — Ибо то... — Да. Ну вот. Прощайте, миссис Макрейнольдс. — То, что делает нас счастливыми, дети, делает нас мудрыми.

Последний взгляд. Сцепление взглядов с Фрэнки Макрейнольдсом, паршивой овцой. Он этого не забудет, в его жизни открылась новая глава. Музыка кончилась. Смерть. Оберон пропустил две строки, поставил три памятные звездочки и вытащил лист из машинки.

— Порядок, — сказал он.

— Порядок? — отозвался Фред Сэвидж. — Закончил?

— Закончил. — Оберон сложил двадцать с лишком страниц (руки в перчатках с обрезанными кончиками пальцев действовали неуклюже) и затолкал их в конверт. — Валяй.

Фред взял конверт, ловко сунул его под мышку

и, в шутку отсалютовав, шагнул к порогу Складной Спальни.

— Обождать, пока прочтут? — спросил он, коснувшись двери. — Или как?

— Не трудись. Уже слишком поздно. Им понадобится время.

— Ладно. Покедова.

Довольный собой, Оберон разжег огонь. Миссис Макрейнольдс была одним из последних персонажей, унаследованных им от создателей «Мира Где-то Еще». Три десятка лет назад молодая разведенная женщина, она упорно гнула свою линию через алкоголизм, повторный брак, переход в другую веру, горе, старость и болезнь. Но теперь с ней покончено. Контракт истек. Фрэнки тоже собирался в долгую поездку. Он вернется (его контракт будет действителен еще несколько лет, а кроме того, у него роман с продюсером), но вернется другим человеком.

Миссионером? Что ж, в некотором смысле. Почему бы и нет?

Действие шло бы веселее, сказала некогда Сильвия Фреду Сэвиджу; и с тех пор, как Оберон начал постепенно внедрять свои вкусы в «Мир Где-то Еще», с мыльной оперой произошли большие перемены. Вначале он просто не мог поверить,

что растянутый и невыразительный сюжет объяснялся всего лишь недостатком изобретательности у сценаристов. Оберон, по крайней мере вначале, не страдал этим недостатком, а кроме того, нужно было избавляться от всех этих скучных и несимпатичных персонажей, в чьих страстях и взаимной ревности Оберон с трудом разобрался. Поэтому смертность среди них на время резко повысилась; неумолчно визжали шины на мокром асфальте, слышался скрежет стали, ревели сирены. Одну молодую женщину, наркоманку и лесбиянку с ребенком-идиотом, по контракту нельзя было убрать, поэтому Оберон исхитрился сунуть на ее место давно потерявшуюся сестру-близнеца, с совершенно другим характером. На осуществление этой затеи потребовались две-три недели.

Наблюдая, с какой скоростью происходят эти драмы, продюсеры бледнели. Публика не приучена к таким бурным событиям, говорили они, ее вполне устраивает привычная скука. Но публика как будто придерживалась другого мнения, а если в ее составе и произошли некоторые перемены, количество поклонников сериала не уменьшилось или почти не уменьшилось, а преданность возросла. К тому же немного нахо-

дилось сценаристов, способных проворачивать такие объемы работы, как Оберон, за новое, существенно сниженное жалованье. Поэтому продюсеры, впервые за всю свою практику вынужденные резко ограничить бюджет и, считаясь с угрозой банкротства, далеко за полночь подсчитывать активы и пассивы, решили дать Оберону полную волю.

И вот актеры читали строчки, которые ежедневно носил им с Ветхозаветной Фермы Фред Сэвидж, и покорно старались вдохнуть некоторую достоверность и человекоподобие в странные надежды, многозначительные намеки и тайные упования (спокойные, печальные, нетерпеливые или твердые), приданные давно привычным персонажам. В отличие от прежних времен изобилия, актерам теперь приходилось хвататься за любой надежный кусок, и на каждую из порожденных фантазией Оберона ролей находились дюжины претендентов, согласных на смехотворные, по сравнению с ныне утраченным Золотым веком, гонорары. Они были благодарны за возможность воплощать эти странные биографии, приближать или отдалять какие-то грандиозные события, которые словно бы всегда готовились, но никогда не происходили, много

лет держа зрителей в напряженном ожидании.

Оберон смеялся, глядя в огонь и замысливая уже новые западни, провалы, недоразумения и прорывы. Ну и форма! Отчего до сих пор никому не давались ее секреты? Требовалась простая интрига, единственная затея, которая бы глубоко затрагивала всех действующих лиц и могла быть разрешена простым и благоприятным образом, но только до финала дело бы никогда не доходило. Близость финала питает надежды и делает горькими разочарования, медленное продвижение к цели накладывает отпечаток на все житейские события и любовные истории, но никогда цель не будет достигнута.

В старые добрые времена, когда опросы населения были так же распространены, как теперь повальные обыски, социологи спрашивали зрителей, чем им интересны причудливые страсти мыльных опер, что держит их у телевизора. Самый обычный ответ был такой: человек любит мыльную оперу, потому что в ней все как в жизни.

Как в жизни. Оберон думал, что в его руках «Мир Где-то Еще» делался похож на множество вещей: на правду, на сны, на детство (во всяком случае, его детство); на колоду карт или старый

альбом с фотографиями. Он не видел в сериале сходства с жизнью — по крайней мере, такой, как у него. В «Мире Где-то Еще», когда персонаж разочаровывался в своих надеждах или выполнял возложенную на него задачу, когда он, жертвуя собой, спасал своих детей или друзей, он был свободен умереть или, по меньшей мере, удалиться. Либо он полностью менялся, появлялся вновь с новыми целями, заботами и детьми. За исключением тех случаев, когда актер, представлявший данный персонаж, уходил в отпуск или отсутствовал по болезни, ни одно действующее лицо, завершив свою задачу, не покидало сериал совсем, а маячило где-то на периферии сюжета, не выпускало, так сказать, из своих рук сценарий.

А вот это как раз походило на реальную жизнь — на жизнь Оберона.

Не сюжет, но притча, история с «изюминкой» — и кульминационный момент в ней пройден. Фабулой была Сильвия, не загадочной, будоражащей интерес, но обильной и неисчерпаемой аллегорией или сказкой, которая сделалась основой его жизни. Иногда ему приходило в голову, что такой взгляд на вещи лишает Сильвию той яркой и неоспоримой реальности, какой она некогда обладала и, без сомнения, продолжала

обладать и сейчас, где-то в другом месте; при этой мысли Оберон ощущал внезапный стыд или испуг, словно кто-то другой, или он сам, изрек о Сильвии постыдную клевету, но такое случалось все реже, а история, или притча, совершенствовалась, обретала все новые сложные грани; она даже становилась короче, пригодней для изложения, уже не столько повествовала о реальных событиях, сколько обосновывала, критически исследовала, объясняла жизнь Оберона — пусть даже все больше отклонялась от событий, в действительности с ним случившихся.

Несение факела, — называл это Джордж Маус, и Оберон, никогда прежде не слышавший это старинное выражение, с ним согласился, так как его факелом было не покаяние и не преклонение — его факелом была Сильвия. Оберон нес факел: ее. Иногда она пылала ярко, иногда тускнела; в ее свете он видел мир, хотя и не было такой тропы, которую он старался бы разглядеть. Он жил в Складной Спальне, помогал на Ферме; годы тянулись, неотличимые один от другого. Как застарелый калека, он, не всегда осознанно, отказывался от радостей жизни, считая, что они не предназначены для подобных ему: он включил себя в разряд тех, с кем ничего не случается.

В расцвете лет он страдал от странных расстройств. Он не мог не просыпаться с рассветом, исключая разве что самые темные зимние дни. В очертаниях предметов в комнате ему начали чудиться лица или, вернее, он не мог от них избавиться: злобные, умные или дурацкие, они подмигивали; изукрашенные жуткими гримасами или ранами, они выражали — и навязывали Оберону — чувства, которых сами не испытывали; они были одушевленными, но не живыми, и это внушало легкое отвращение. Помимо воли Оберон жалел едва заметный рисунок на потолке, с пустыми глазами (головки винтов) и торчавшей из разинутого керамического рта лампочкой. На занавесках в цветочек наблюдалась толпа, собрание, вернее, целых два: цветочный народ и народ фоновый, который окружал цветы и проглядывал между ними. Когда лиц набилось до отказа, Оберон, тайком от всех, посетил психиатра. Тот сказал, что он страдает не столь уж редким синдромом «человека-на-луне»[323], и посоветовал

[323] Примечания: 323

...он страдает не столь уж редким синдромом «человека-на-луне»... — Доктор имеет в виду, что сознание Оберона складывает картины из несвязанных фрагментов. Согласно представлениям европейских народов, пятна на луне складываются в фигуру старика, который несет на спине вязанку хвороста. Иногда к этому добавляются детали: в руках у старика раздвоенная палка и фонарь, и его сопровождает собачка. Народы других континентов видят иные образы — но тоже видят.

чаще выходить на улицу. Правда, лечение, по его словам, должно было продлиться годы.

Годы.

Чаще выходить... Джордж, неизменный и разборчивый донжуан, с возрастом едва ли ставший менее удачливым, познакомил его со множеством женщин; в «Седьмом святом» нашлись и другие. Но к вопросу о призраках. Время от времени пара этих реальных женщин сворачивалась в одну (в тех случаях, когда их удавалось уговорить свернуться таким образом) и дарила ему грубое удовольствие — достаточно сильное, если ему удавалось сосредоточиться. Однако воображение — питаемое прочной, хотя и отчаянно тонкой, материей памяти — действовало с силой куда большей.

Он не хотел, чтобы так было; искренне верил, что не хочет. Оберон сознавал даже, в моменты большой ясности: происходящее с ним не происходило бы, не будь он таков, каков он есть; его беспомощность вызвана отнюдь не внешними событиями, а его порочной природой; вряд ли кто-то, кроме него, впал бы в ступор, после того как Сильвия легко коснулась его на ходу. Что же это за дурацкая устаревшая болезнь, ныне почти полностью изжитая, — Оберон времена-

ми злился, ощущая себя ее последней жертвой, изгнанной, из соображений гигиены, с общегородского пира, который не заканчивался, несмотря на упадок. Он желал, сильно желал быть способным последовать примеру Сильвии: сказать судьбе «пошла к черту» и сбежать. И он был на это способен, только мало старался; это тоже ему было известно, но что поделаешь: в нем засел изъян. Нисколько не утешала мысль, что именно благодаря своему изъяну, разладу с миром он находится в той Повести, принадлежность к которой уже не было смысла отрицать; что, возможно, Повесть и являлась тем самым изъяном, изъян и Повесть были едины; пребывание в Повести означало приспособленность к роли, которая тебе отведена, и неспособность ни к чему иному; вроде легкого косоглазия, из-за которого все время смотришь немного не в ту сторону, хотя окружающим (и частенько тебе самому) оно кажется не более чем внешним недостатком.

Оберон встал, недовольный тем, что его мысли пустились по старому кругу. Предстояла работа, достаточно работы; она имелась почти всегда, и Оберон был за это благодарен. Будь жив тот мягкий и любезный человек, которому Оберон принес свой первый сценарий (он умер от слу-

чайной передозировки), его поразило бы, сколько Оберон делает и как мало за это получает. Тогда жизнь была куда легче... Оберон плеснул себе чуть-чуть виски (джин был *verboten*[324], но от прежних приключений осталась неистребимая привычка — скорее слабость, чем зависимость) и обратился к почте, которую Фред принес из окраинной части города. Фред, старый советчик Оберона, сделался теперь его партнером, и в качестве такового Оберон представил его своим работодателям. Кроме того, Фред помогал на ферме и служил Оберону *memento mori*, или, по крайней мере, наглядным уроком. Он не мог уже обходиться без Фреда — во всяком случае, так ему казалось. Оберон надорвал конверт.

«Скажи Фрэнки, если он не образумится, то разорвет СЕРДЦЕ своей матери. Неужели он сам не видит; как он может быть так СЛЕП. Пусть бы завел себе хорошую женщину и успокоился». Оберон никак не мог привыкнуть к подвешенному состоянию из-за страха, что зрители ему не поверят, и оттого чувствовал себя виноватым. Иногда ему представлялось, что семейство Макрейнольдс — реальные люди, а вот зрители

---

[324] Примечания: 324
Запрещен (нем.).

— плод фантазии, бледная фикция, жаждущая полноценной жизни, которую создал Оберон. Он швырнул письмо в ящик для дров. Успокоиться, найти себе хорошую женщину. Куда там. Немало еще крови утечет, пока Фрэнки уймется.

Он приберег на конец письмо из Эджвуда, странствовавшее не одну неделю, — основательное, длинное письмо от матери — и взялся за него, как белка за крупный орех, надеясь найти там материал, который можно будет использовать в сериях следующего месяца.

Что бы такое слямзить

«Ты спрашивал, что случилось с мистером Клаудом, мужем двоюродной бабушки Клауд, — писала мать. — Да, это поистине печальная история. Произошла она задолго до моего рождения. Мамди, как будто, помнит ее. Звали его Харви Клауд. Отец его был Генри Клауд, изобретатель и астроном. Лето Генри обычно проводил здесь, в хорошеньком домике, где позднее поселились Джуниперы. Кормили его, наверное, патенты, которых у него было множество. Старик Джон вложил какие-то деньги в его изобретения — то ли машины, то ли астрономические приборы, не знаю. Одним из этих изобретений была старая

заводная модель планетарной системы, которая стоит под самой крышей, — ты ее знаешь. Ее изобрел Генри. Я говорю не о таких моделях вообще: их изобрел некий лорд Оррери, в честь которого они и называются «оррери»[325] (так сказал Смоки). Но Генри умер, не успев закончить работу (стоившую, как я думаю, кучу денег), и примерно в то же время Нора, бабушка Клауд, вышла замуж за Харви. Ее муж тоже работал над моделью. Сын своего отца. Я видела его фотографию, сделанную Обероном: без пиджака, рубашка с крахмальным воротничком, галстук (догадываюсь, что Харви не снимал его даже во время работы), вид увлеченный и задумчивый, рядом — механизм модели, еще не установленный на место. ГРОМАДНЫЙ, сложный, занимает почти всю фотографию. А во время установки (Джона уже давно не было в живых) произошел несчастный случай, бедный Харви упал с самой макушки дома и разбился насмерть. Предполагаю, что тогда все забыли о модели или не хотели о ней думать. Клауд, как я знаю, никогда о ней не упоминала. Помню, ты

---

[325] Примечания: 325

...их изобрел некий лорд Оррери, в честь которого они и называются «оррери»... — Смоки ошибается: движущиеся модели планетных систем изобрел ок. 1700 г. Джордж Грэхем (1673–1751), который презентовал одну из них Чарльзу Бойлу, графу Оррери (1676–1731). Название «оррери» отмечено уже в 1713 г.

часто там прятался. А теперь, знаешь ли, Смоки торчит там день за днем, хочет посмотреть, нельзя ли запустить модель, изучает книги по механике и часовому ремеслу — что и как, точно не знаю.

Итак, он просто жил здесь (я имею в виду Харви), с Норой, в ее комнатах, ходил наверх и работал с моделью, а потом упал с крыши. Вот то, что нам известно.

Софи просит написать, чтобы ты в марте берег горло, остерегался бронхита.

Ребенок, который родится у Люси, будет мальчик.

Зима, похоже, никогда не кончится!

Твоя любящая мама».

Ладно. Новые темные или, по меньшей мере, странные уголки семейной жизни, о которых он ничего не знал. Оберон вспомнил, как однажды сказал Сильвии, что в его семье никогда не происходило ничего страшного. Это было, конечно, задолго до того, как он узнал о настоящей и фальшивой Лайлак, а вот теперь этот бедняга Харви Клауд, молодой супруг, сверзившийся с крыши в самый миг своего величайшего триумфа.

Оберон мог это впихнуть. Он начал думать, что нет материала, который он не сумел бы впихнуть

в сценарий. У него был дар впихивать — подлинный дар. Все так говорили.

Но тем временем действие переместилось обратно в Город. Это была нетрудная часть, отдых от других, более сложных сцен; в Городе все было просто: хищничество, охота, бегство, торжество и поражение; слабаков побоку, выживает сильный. Пробежав глазами длинный ряд старых книг Дока, заменивших на полке безличные книжки Джорджа в бумажных обложках, Оберон выбрал из них одну. Он послал за ними в Эджвуд, когда сделался писателем, и они оправдали ожидания, оказавшись очень полезны. Он взял в руки одну из тех, что повествовали о приключениях Серого Волка, и, прихлебывая виски, начал ее листать в поисках материала, который можно было бы слямзить.

Регуляторы хода

Луна была из серебра. Солнце — из золота, как минимум из накладного. Меркурий — зеркальный шар; зеркало, конечно, ртутное (ртуть — это Меркурий). Сатурн был так тяжел, что явно состоял из свинца. Смоки помнил кое-что из «Архитектуры», где различные металлы сопоставлялись с планетами, но это были другие

планеты, фантастические объекты магии и астрологии. «Оррери» же, с медной отделкой, в дубовом корпусе, принадлежал к тем научным инструментам, изготовленным на рубеже веков, которые отличались сугубой вещественностью, инженерной рациональностью; патентованная Вселенная, составленная из стержней и шаров, зубчатых передач и пружин с гальваническим покрытием.

Тогда почему же Смоки не удавалось в ней разобраться?

Он снова всмотрелся в механизм, что-то вроде отсоединенного регулятора хода часов, который собирался разобрать на части. Если разобрать прежде, чем поймешь принцип действия, не исключено, что не сумеешь собрать снова. Внизу, в холле, на полу и столах стояло несколько таких механизмов, все были вычищены и окутаны промасленными тряпками и тайной; этот регулятор был последний. Не в первый раз у Смоки мелькнуло подозрение, что не стоило за это дело и браться. Он перевел взгляд на схематический чертеж в энциклопедии по механике, такой же пыльной и порыжевшей, как ржавая модель.

«Пусть E — четырехлопастное анкерное колесо, зубья которого, вращаясь, нажимают на

изогнутую собачку GFL в точке G. Слишком сильному отклонению собачки препятствует палец H. Очень чувствительная пружина K возвращает собачку на прежнее место». Бог мой, ну и холод. Очень чувствительная пружина — это она? Почему она здесь, как будто, присоединена наоборот? «Собачка B зацепляет рычаг FL, освобождая анкерное колесо, зуб которого, M...». О боже. Добравшись до второй половины алфавита, Смоки почувствовал себя беспомощным, словно запутался в сетях. Он взялся за плоскогубцы, но тут же положил их обратно.

Изобретательность инженеров устрашала. Смоки понял наконец основной принцип работы часов, от которого отталкивались все эти технические хитрости: двигатель — падающий груз или заведенная пружина — не отдает всю свою энергию разом, потому что ему препятствует регулятор хода, который высвобождает ее шаг за шагом, отчего стрелки часов или планеты в модели движутся равномерно, пока энергия не будет исчерпана. Тогда вы снова заводите часы. Все фолиоты, оси, собачки, балансы и ходовые цилиндры — это всего лишь приспособления для поддержания равномерного хода. Трудность, чертовская трудность с эджвудской моделью за-

ключалась в том, что Смоки никак не мог найти источник движущей силы, которая заставляла вращаться колеса. Вернее, он нашел источник — большой круглый корпус, темный и толстостенный, как старинный сейф, изучил его, но так и не понял, как он может привести что-нибудь в движение. Казалось, ему самому требовалась энергия извне.

Этому занятию не предвиделось конца. Смоки присел на корточки и обхватил колени. Его глаза находились теперь на уровне плоскости эклиптики; на Солнце он смотрел, как наблюдатель с Сатурна. Конца не предвидится. Эта мысль возбудила в нем одновременно и щекотку обиды, и глубокое чистое наслаждение, какого он прежде не испытывал, разве что слабое подобие в детстве, когда получил в подарок учебник латыни. Оценив бездонность этого языка, Смоки понял, что задача его изучения заполнит, возможно, всю его жизнь, все пустые уголки его безличности. Это воспринималось как посягательство, но одновременно внушало спокойную уверенность. Он бросил латынь на середине, слизав, как мороженое, ее волшебство, но теперь, в летах, он вновь столкнулся с той же задачей, и, как тогда, она заключалась в языке.

Винты, шары, стержни и пружины представляли собой не картину, а синтаксис. «Оррери» не являлся наглядной или пространственной моделью Солнечной системы: в противном случае красивую, в зеленой и голубой эмали, Землю пришлось бы сделать крошечной, а все устройство — увеличить как минимум в десять раз. Нет, здесь, как при помощи флексий и предикатов в языке, были смоделированы *взаимосвязи* ; при условных размерах связи были воспроизведены скрупулезно. Поскольку данный язык являлся числом, здесь он был сцеплен так же, как в небесах, в точности так же.

Не будучи большим математиком, а равно и механиком, Смоки разобрался в этом далеко не сразу, но теперь он овладел словарем и начатками грамматики.

Когда-нибудь — возможно, нескоро, — надеялся он, ему сделаются понятны эти гигантские, составленные из меди и стекла фразы, и, в отличие от высказываний Цезаря и Цицерона, по большей части глупых, пустых и нисколько не таинственных, их смысл окажется достойным столь головоломного шифра и ожидания Смоки, отчаянно нуждавшегося в чем-то подобном.

На лестнице послышались быстрые шаги, и в

комнату просунул голову Бад, внук Смоки.

— Дед, — произнес он, окидывая взглядом таинственное зрелище, — бабушка прислала тебе сэндвич.

— О, отлично, входи.

Бад медленно вошел с сэндвичем и кружкой чая, не отводя глаз от механизма, который дал бы сто очков вперед любой процессии Санта-Клауса в рождественской витрине.

— Починил? — спросил он.

— Нет. — Смоки жевал.

— А когда починишь? — Бад тронул пальцем одну из сфер и отдернул руку, когда она, под действием тяжелого противовеса, легко и плавно двинулась с места.

— К скончанию веков справлюсь.

Бад почтительно вскинул на него глаза, а потом рассмеялся:

— Да ну тебя.

— Ладно, не знаю. Мне пока непонятно, что заставляет ее вращаться.

— Вот эта штука. — Бад указал на черный корпус, похожий на сейф.

— Хорошо. — Смоки, с чашкой в руке, подошел к корпусу. — Вопрос в том, что заставляет вращаться эту штуку.

Поддев рычажок, который плотно прижимал снабженную прокладкой дверцу (защита от пыли? чего бы ради?), он открыл корпус. Внутри, чистое, смазанное и готовое к работе, если бы то было возможно (но то было невозможно), виднелось невообразимое сердце механизма Харви Клауда — невообразимое сердце самого Эджвуда, как иногда думалось Смоки.

— Колесо, — выдохнул Бад. — Кривое колесо. Ого.

— Мне кажется, оно должно вращаться от электричества. Под полом, если поднимешь эту дверцу, ты увидишь большой старинный электромотор. Но только...

— Что?

— Он работает наоборот. И это не по ошибке.

Бад, морща лоб, оглядел сооружение.

— Ну, может быть, это вращается от того, а вот то от этого, а от того вращается вот это.

— Недурственная теория, круг замкнулся. Все вращается от всего. Вроде как каждый стирает белье другого.

— А если эта машина крутилась очень быстро? Такая была гладкая.

Да, тяжеловесное устройство, рассчитанное на быстрый плавный ход. Смоки изучал его, путаясь

в парадоксах. Если эта деталь — как, очевидно, задумано — вращает вот ту, та, что вполне вероятно, обеспечивает ход вот этой, а от этих двух движение передается той и той... Смоки почти что видел работу связей и рычагов, видел фразы, читаемые как в ту, так и в другую сторону, и на мгновение поверил в вероятность этого — если бы мир не был таким, каков он есть, а совсем иным...

— А если ход замедлится, — продолжал Бад, — ты можешь подняться сюда и подтолкнуть.

Смоки рассмеялся.

— Что, если мы поручим это тебе? — спросил он.

— Нет уж, тебе.

Толчок, думал Смоки, постоянно повторяемый легкий толчок непонятно откуда, но, так или иначе, не от него. Такой силы у Смоки не было и в помине, ему пришлось бы Как-то просить всю вселенную на мгновение отвлечься от своих нескончаемых трудов и тронуть эти колеса и шестерни своим исполинским пальцем. А на подобную милость ни сам он, ни Харви Клауд, ни даже Эджвуд рассчитывать не могли.

— Ну ладно, — проговорил Смоки. — За работу. — Он легко подтолкнул свинцовую сферу Сатурна,

и она с тиктаканьем крутанулась на несколько градусов, а за ней ожили другие части механизма, колесики, шестерни, стержни, сферы.

Караваны

— Но, возможно, — говорила Ариэль Хокскилл, — никакой войны нет.

— Что вы имеете в виду? — спросил император Фридрих Барбаросса после растерянного молчания.

— Что мы считаем, будто идет война, а на самом деле это вовсе не война. Быть может, никакой войны все же нет и даже не было.

— Не говорите глупостей, — фыркнул Президент. — Конечно, война идет. И мы побеждаем.

Император утопал в широком кресле, уперев подбородок в грудь. Хокскилл сидела у рояля, занимавшего почти весь дальний конец комнаты. По ее заказу инструмент усовершенствовали, введя четверти тона, и теперь она любила исполнять на нем заунывные старинные гимны, гармонизированные по ее собственной системе. Переделанное фортепьяно вносило в них странный, не лишенный приятности диссонанс. Тирану от этих мелодий становилось грустно. За окном падал снег.

— Я не хочу сказать, что у вас нет врагов, — продолжала Хокскуилл. — Они, конечно, есть. Я говорила о другой, долгой войне: Великой войне. Возможно, это все же не война.

Члены «Клуба охотников и рыболовов с Шумного моста», даже и выставленные на всеобщее обозрение (ни один газетный номер не обходился без их перекошенных, хмурых физиономий и темных пальто), так просто не сдались, что Хокскуилл ничуть не удивило. Их ресурсы были велики; но все же (они не послушались предупреждений Хокскуилл) их роль в этой истории подошла к концу. Сопротивление только оттягивало неизбежный финал. Временами взрывались, как бомбы, деньги, завалявшиеся по углам, и судьба вдруг поворачивалась к членам Клуба лицом, но передышка бывала слишком кратковременной, чтобы собраться с силами. Петти, Смилодон и Рут, чудовищно разжившиеся на гонорарах, отказали Клубу в дальнейших услугах (при загадочных обстоятельствах и под градом упреков), и вскоре на свет выплыло множество бумаг, от которых не удалось откреститься. Любой телезритель мог видеть, как бывшие невозмутимые обладатели власти проливают слезы досады и отчаяния в руках судебных исполнителей и полицейских

в штатском, которые тянут их в кутузку. Финал этой истории не получил широкой огласки, так как наиболее сенсационные разоблачения пришлись на ту зиму, когда единая энергосеть, которая на протяжении семи с половиной десятков славных лет безотказно украшала всю страну огнями, как рождественскую елку, тут и там была грубо перерезана: где самим Айгенбликом, который не пожелал сдать ее врагу, где его врагами, не пожелавшими сдать ее Тирану.

Война — битва Народа со Зверем, захватившим власть[326] и растоптавшим демократию, битва императора-президента от имени народа с Корпорациями — происходила в действительности. Лилась реальная кровь. Трещины, пробежавшие по обществу в трудные времена, были очень глубоки. Но:

— Если, — говорила Хоксквилл, — если те, кто, как нам казалось, воюет с людьми, пришли в Новый Свет приблизительно в то же время, что и европейцы, то есть их приход совпал с первыми предсказаниями о вашей новой империи, если

[326] Примечания: 326

Война — битва Народа со Зверем, захватившим власть... — «Зверем, выходящим из бездны», в Апокалипсисе (11:7) назван Антихрист. Ср. также: «...кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» (13:4). Примечательно, что свои злодеяния Антихрист свершает «на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет...» (11:8).

стремились они к тем же свободе, простору и размаху, тогда они, подобно людям, должны были в конце концов разочароваться...

— Да, — кивнул Барбаросса.

— Девственные леса, их прибежище, постепенно вырубались, на берегах рек и озер вырастали города, в недра проникали горнодобытчики, а о принятом издревле у европейцев почтении к лесным и горным духам никто не вспоминал...

— Да.

— Если они действительно так дальновидны, как можно подумать, они должны были знать об этом заранее, давным-давно.

— Да.

— Еще до начала переселения. Собственно, еще при первом правлении вашего величества. Зная обо всем, они готовились: упросили того, кто хранит годы, погрузить вас в долгий сон; отточили оружие; они ждали...

— Да, да. А теперь наконец, значительно уменьшившись в числе, после векового терпеливого смирения, наносят удар! Покинули свои старые твердыни! Ограбленный дракон встрепенулся

и восстал ото сна![327] — Айгенблик вскочил на ноги, роняя с колен компьютерные распечатки, стратегические заметки, схемы, цифры.

— А с вами заключена сделка, — продолжала Хокскилл. — Помогите им в их начинаниях, отвлеките внимание народа, займите его мелкими стычками (как в вашей старой империи — они рассчитывают, что это вам по плечу), а когда возродятся потихоньку на прежних местах леса и болота, остановится транспорт, когда они решат, что их потери в достаточной мере скомпенсированы, тогда вы и ваша империя сможете обрести покой.

— Навеки, — взволнованно вставил Айгенблик. — Таково было обещание.

— Отлично. — Хокскилл задумалась. — Отлично. — Ее унизанные кольцами пальцы пробежались по клавишам, извлекая из них что-то вроде «Иерусалима»[328]. — Но только в этом нет ни слова правды.

---

[327] Примечания: 327

Ограбленный дракон встрепенулся и восстал ото сна! — Конкретный источник цитаты отыскать не удалось; вероятно, его и не существует, а имеется в виду целый комплекс текстов, от «Беовульфа» до «Хоббита».

[328] Примечания: 328

...пальцы пробежались по клавишам, извлекая из них что-то вроде «Иерусалима». — Видимо, имеется в виду патриотический духовный гимн, написанный в 1916 году британским композитором Чарльзом Перри (1848–1918) на слова Уильяма Блейка.

— Что?

— Ни слова правды; это ложь, вранье, не имеющее ничего общего с действительностью.

— Что...

— Во-первых, это слишком незатейливо. — Задев резко звучащую струну, Хокскvилл поморщилась и попробовала зайти с другого конца. — Нет, думаю, происходит нечто совершенно иное, какое-то движение, общий сдвиг, никем не вызванный, никем... — Ей вспомнился купол Вокзала, перевернутый Зодиак, и как она винила в этом императора, который стоял сейчас перед ней. Ну и глупость! И все же... — Что-то вроде перетасовывания двух колод вместе, — добавила она.

— Кстати о картах.

— Или одной урезанной колоды, — продолжала Хокскvилл, игнорируя собеседника. — Знаете, как иногда маленькие дети, пытаясь тасовать колоду, переворачивают часть карт наоборот? А потом тасуют все вместе, часть карт вверх рубашкой, часть — лицом.

— Мне нужны мои карты.

— У меня их нет.

— Вам известно, где они находятся.

— Да. И если бы вам следовало их иметь, они бы у вас были.

— Мне нужен их совет! Нужен!

— Обладатели этих карт подготовили почву для всего этого, для вашей победы, настоящей или будущей, и справились с этим не хуже, а то и лучше вас. Задолго до вашего появления они были для этой армии пятой колонной. — Она взяла кисло-сладкий, терпкий, как лимонад, аккорд. — Интересно, не досадуют ли они, не чувствуют ли себя предателями собственного рода и племени. Знают ли они вообще, что оказались на стороне, враждебной людям.

— Понять не могу, почему вы сначала утверждали, что войны нет, а потом говорите такие вещи.

— Идет не война, а *подобие* войны. Подобие бури, быть может; да, что-то вроде приближающегося атмосферного фронта, границы тепла и холода, туч и голубого неба, весны и зимы. Или столкновение: *mysterium coniunctionis*[329], но чего с чем? Или, — внезапно пришло на ум Хокскуилл, — два каравана, которые из двух разных отдаленных мест отправляются в другие отдаленные

---

[329] Примечания: 329

Mysterium coniunctionis — Таинство воссоединения (лат.). Мистический брак: алхимическое понятие, означающее не только соединение серы со ртутью, но и гармонию души. Впоследствии развито и переосмыслено К. Г. Юнгом (1875–1961) в книге «Mysterium coniunctionis» (1955–1956).

места, встретятся в одних воротах и, проталкиваясь через них, ненадолго сольются воедино, а затем, на дальнем конце, вновь разойдутся, обменявшись какими-нибудь мелочами: украденной седельной сумкой, случайным поцелуем...

— О чем это вы? — спросил Барбаросса.

Хокскvилл повернула стул, чтобы смотреть собеседнику в лицо.

— Вопрос в том, в какое вы вступили королевство.

— Мое собственное.

— Да. Китайцы, знаете ли, верят, что в каждом из нас, глубоко-глубоко, запрятан крохотный, размером с подушечку большого пальца, сад бессмертных, долина, где все мы вечные монархи.

Внезапно разозлившись, Барбаросса повернулся к ней:

— А теперь послушайте...

— Знаю, — Хокскvилл улыбнулась, — будет стыд-позор, если вы кончите правителем не обожающей вас Республики, а совершенно иного места.

— Нет.

— Совсем крохотного.

— Мне нужны эти карты.

— Они не мои, чтобы их дарить.

— Достаньте их для меня.

— Не собираюсь.

— А как вам понравится, если я *заставлю* вас выдать секрет? Вы ведь знаете, у меня есть власть. Власть.

— Вы мне угрожаете?

— Я... я могу распорядиться, чтобы вас убили. Тайно. Никто не узнает.

— Нет, — невозмутимо возразила Хокскивилл. — Убить меня вы не сможете. Не получится.

Тиран засмеялся, в глазах его мелькнул зловещий огонек.

— Вы так считаете? Не получится?

— Не считаю, а *знаю*. По странной причине, о которой вам не догадаться. Я спрятала свою душу.

— Что?

— Спрятала свою душу. Старая хитрость, которой владеет всякая деревенская ведьма. И очень полезная, ведь никогда не знаешь, не обратят ли на тебя свой гнев те, кому ты служишь.

— Спрятали? Где? Как?

— Спрятала. Где-то. В месте, о котором, конечно, не собираюсь вам рассказывать. Но пока вы не знаете, где она, посягать на мою жизнь бесполезно.

— Пытка. — Глаза тирана сузились. — Пытка.

— Да. — Хокскилл поднялась со стула. Довольно. — Да, пытка может сработать. Ну, я прощаюсь. У меня еще масса дел.

У дверей она обернулась и увидела, что он стоит в той же грозной позе, не сводя с нее невидящих глаз. Слышал ли он, понял ли, что она пыталась ему сказать? Хокскилл пришла на ум некая мысль, странная и пугающая, и несколько мгновений она мерила Айгенблика таким же взглядом, словно оба пытались припомнить, не сводила ли их судьба когда-либо прежде. Затем, встревоженная, она бросила: «Спокойной ночи, ваше величество» и удалилась.

Новообретенная земля

Позднее тем же вечером в Столице был показан по телевидению эпизод смерти миссис Макрейнольдс из «Мира Где-то Еще». Время показа в разных местах было неодинаковое; кое-где эту — прежде дневную — драму передвинули за полночь. Но она была передана: через эфир или по кабелю, а там, где это было невозможно, где вырезались реплики или запрещалась трансляция, сериал протаскивали на мелкие местные станции или копировали и везли через всю стра-

ну на подпольные передатчики, слабый сигнал которых достигал отдаленных заснеженных городков. Ночной прохожий, следовавший в этот час по единственной городской улице, наблюдал голубоватое свечение в окнах всех до единой гостиных. Заглядывая в них последовательно, он увидел бы в одном, как миссис Макрейнольдс несут в кровать, во втором — как собираются ее дети, в третьем — как она произносит прощальные слова, а в крайнем, на самой границе безмолвной прерии, как она умирает.

Император-президент в Столице тоже смотрел, нежно-карие глаза под орлиными бровями туманились. Никогда не тоскуйте, тоска губительна. Его стало окутывать облако — облако жалости к себе, и, как бывает с облаками, оно обрело форму: сделалось похожим на Ариэль Хокскилл, с ликом равнодушно-насмешливым и твердым.

«Почему я?» — думал он, поднимая руки, словно чтобы продемонстрировать кандалы. За что на его долю выпала такая чудовищная сделка? Он был человеком серьезным и работящим, написал пару язвительных писем Папе, удачно устроил семейную жизнь детей. Добавить почти нечего.

Почему не его внук Фридрих II[330], с его качествами предводителя? Ну почему не он? В конце концов, о нем тоже ходили рассказы, будто он не умер, а только заснул и когда-нибудь пробудится, дабы вести свой народ.

Но это была всего лишь легенда. Терпеть здесь муки — как иногда казалось, просто невыносимые — досталось ему, Фридриху Барбароссе.

Король в волшебной стране: судьба Артура. Возможно ли такое? Царство не больше подушечки пальца, а земное королевство — всего лишь ветер, дуновение, сопровождавшее переход отсюда туда, от сна к сну.

Нет! Айгенблик выпрямился. Если пока войны не было или она была ненастоящей, то теперь все переменится. Он будет сражаться, заставит их исполнить все, вплоть до малейшего, обещания, данные ему в незапамятные времена. Он спал восемь веков: воевал со снами, бывал ими осажден, отвоевывал Святую землю снов, носил короны снов. За восемь сотен лет он изголодался по реальности, миру, который ощущаешь, а не только

---

[330] Примечания: 330

Фридрих II (1194–1250) — германский король с 1212 г., император Священной Римской империи с 1220 г., король Сицилии с 1197 г. Боролся с папами и северо-итальянскими городами. Отличался огромным личным обаянием и многочисленными талантами, был покровителем искусств и наук.

угадываешь за расплывающимися царствами снов. Хокскивилл, возможно, права: они никогда не думали дать ему этот мир. Вполне вероятно (ну да, теперь у него открывались глаза), она с самого начала заодно с ними хотела не допустить его до реального мира. При мысли о том, что прежде он ей доверял, даже опирался на нее, Айгенблик рассмеялся жутким смехом. Все, с этим покончено. Теперь он будет сражаться. Он добудет у нее эти карты, чего бы это ни стоило, пусть она даже применит против него все свое страшное могущество. Одинокий и, возможно, бессильный, он будет сражаться за свою новообретенную землю, обширную, темную, засыпанную снегом.

«Только надейтесь, — говорила умирающая миссис Макрейнольдс, — надейтесь и наберитесь терпения». Одинокий пешеход (беженец? торговец? полицейский соглядатай?) миновал последний дом предместья и ступил на пустое шоссе. В оставшихся позади домах один за другим гасли голубые глазки экранов; начался информационный выпуск, но настоящих новостей больше не было. Жильцы отправились спать; ночь была долгой; им снилась чужая жизнь, которая могла бы наполнить их собственные жизни, семья где-то еще и дом, способный снова сделать темную

землю миром.

В Столице по-прежнему сыпал снег. Он подбеливал ночь, затуманивая отдаленные памятники, видные из окон президентского дома, скапливаясь у ног героев и заваливая входы в подземные гаражи. Где-то часто и беспомощно сигналила застрявшая в сугробе машина.

Барбаросса плакал.

Еще немного, и конец

— Что ты имеешь в виду, говоря «еще немного, и конец»? — спросил Смоки.

— По-моему, еще немного, и наступит конец, — отвечала Элис. — Пока что не конец, но еще немного — и будет.

Супруги рано отправились в постель — они часто так поступали, поскольку большая кровать с горой стеганых ватных одеял была теперь единственным по-настоящему теплым местом в доме. Смоки надевал ночной колпак: сквозняки есть сквозняки, а любоваться на его дурацкий вид некому. В эти долгие ночи удалось распутать немало старых узлов, относительно других же сделалось ясно, что распутать их невозможно, а это, по мнению Смоки, было почти то же самое.

— Почему ты так уверена? — Смоки перекатил-

ся поближе к Элис, отчего как бы большой волной подняло кошек, которые сидели в ногах кровати.

— Бог мой, это тянется уже очень долго, не так ли?

Смоки взглянул на бледное лицо и почти совсем белые волосы Элис, слабо выделявшиеся в темноте на фоне белой наволочки. Эти ее вечные замечания, полностью или почти полностью лишенные смысла, меж тем как произносились они, будто строго логичная, разрешающая все вопросы истина! Он не переставал ей удивляться.

— Я не то имел в виду. Я хотел спросить, почему ты так уверена относительно конца? В чем бы он ни заключался.

— Вовсе не уверена, — проговорила Элис после долгой паузы. — Знаю одно: это все же со мной происходит, хотя бы отчасти; и я как-то чувствую «конец», и...

— Только не говори этого. Даже в шутку.

— Нет, я не имела в виду смерть. А ты думал, я об этом говорю?

Да, так он и думал. Убедившись, что ничего не понял, Смоки откатился обратно.

— Ладно, ладно. Так или иначе, меня это никогда не касалось.

— Ну-ну. — Пододвинувшись к Смоки, Элис

обняла его за плечо. — Ну-ну, Смоки, не надо так. — Она подсунула свои колени под его, так что оба они теперь напоминали лежа двойную букву «S».

— Как это — «так»?

Элис долго молчала. Затем:

— Это Повесть, а все повести имеют начало, середину и конец. Мне неизвестно, когда она началась, но я знаю середину...

— И в чем она заключается?

— В ней был ты! В чем она заключается? В тебе!

Привычная рука плотнее обхватила плечо Смоки.

— А конец? — спросил он.

— Об этом я как раз и говорила. О конце.

Быстро, прежде чем его накрыла огромная тень, почудившаяся ему в словах Элис, Смоки проговорил:

— Нет-нет-нет. Таких концов не бывает, Элис. А также и начал. В жизни всегда имеешь дело с серединой. Как фотографии Оберона. Как история. Одна чертовщина следует за другой, вот и все.

— У повестей бывает конец.

— Да, так ты говоришь, но...

— И у дома.

— При чем тут дом?

— Он ведь тоже не вечен? Похоже, его конец уже близок; если...

— Нет. Он просто стареет.

— Или разваливается...

Смоки вспомнились стены в трещинах, пустые комнаты, течи в фундаменте; покоробленные доски, гниющая кладка, термиты.

— Ну ладно, он не виноват.

— Конечно.

— Ему по замыслу нужно электричество. Много электричества. Так он устроен. Насосы. Горячая вода в трубах, горячая вода в обогревателях. Освещение. Вентиляторы. Все замерзает и трескается, потому что нет тепла, нет электричества.

— Знаю.

— Но он не виноват. И мы тоже. Дела пошли наперекосяк. Рассел Айгенблик. Чего хорошего ждать, пока продолжается война? Его внутренняя политика. Безумие. И вот запасы на исходе, электричества нет, и так...

— А как ты думаешь, кто виновник Рассела Айгенблика? — спросила Элис.

На мгновение, одно короткое мгновение, Смоки позволил себе почувствовать, как Повесть смыкается вокруг него, вокруг их всех, вокруг

всего на свете. «О, да брось ты», — произнес он фразу-заклинание, чтобы прогнать эту идею, но она осталась. Повесть, а скорее чудовищная шутка: после бог знает скольких лет приготовлений воцаряется Тиран, среди кровопролития, раскола и невероятных мук, и вот старый дом оказывается без необходимых для его существования средств, и вот спровоцирован (а может, просто ускорен) конец запутанной истории, который совпал с концом дома; а он, Смоки, делается наследником этого дома (не для того ли его с самого начала заманила сюда любовь?) и наследует его с тем только, чтобы наблюдать распад здания, вызванный, быть может, его собственной неуклюжестью, неумением, которое готов был за собой признать, — хотя он не сдавался, никогда не выпускал из рук инструментов, но все без толку; а этот распад, в свою очередь, приводит к...

— ...Ну, так что же? — спросил он. — Что будет, если мы не сможем больше здесь жить?

Элис не отвечала, но нашла его ладонь и сжала в своей.

Диаспора, прочел он в ее пожатии.

Нет! Быть может, все остальные — Элис, Софи или девочки — могли представить себе такой исход (хотя с какой стати, если это был скорее их

дом, чем его?), вообразить столь немыслимое будущее, столь отдаленное место... Но он был на это неспособен. Ему вспомнилась давняя морозная ночь и обещание; ночь, которую они впервые провели в одной постели, он и Элис, натянув на себе покрывало, свернувшись двойным «S». Тогда он узнал: чтобы идти за ней, чтобы не отстать, нужно найти в себе детское желание верить, для него необычное и давно уже его не посещавшее. Теперь он чувствовал в себе не бóльшую готовность идти следом, чем прежде.

— Ты могла бы уехать? — спросил Смоки.

— Наверное.

— Когда?

— Когда узнаю, где находится то место, куда мне нужно отправиться. — Как бы прося прощения, Элис теснее прижалась к Смоки. — Когда бы это ни случилось. — Тишина. Смоки чувствовал затылком щекочущее дыхание. — Наверное, не скоро. — Она потерлась щекой о его плечо. — А может, уходить и не придется. То есть — уходить прочь. Может, не придется никогда.

Но он знал: это было сказано, только чтобы его успокоить. В конце концов, ему была отведена в этой истории всего лишь второстепенная роль, он всегда ждал, что его в некотором смысле за-

будут; но судьба семейства надолго замерла в ожидании, не приносила ему печалей, и поэтому он, ни на минуту не выбрасывая ее из мыслей полностью, все же предпочел о ней не думать. Иногда он даже позволял себе верить, будто он, проявляя доброту, смирение и верность, прогнал ее прочь. Но это было не так. История продолжалась, и со всей возможной мягкостью, но без экивоков, Элис говорила ему об этом.

— Ну ладно, ладно, — пробормотал Смоки. — Ладно. — В их беседах это условное слово означало: не понимаю, но я исчерпал свои силы в попытках понять; так или иначе, я доверяю тебе, и давай поговорим о чем-нибудь другом. Но...

— Ладно, — повторил Смоки, и на сей раз имел в виду совсем другое, ибо только-только понял, что для него остается всего лишь один путь борьбы с этим, — да, борьбы! — путь невозможный, неодолимый, но единственный, и этот путь ему Как-то придется отыскать.

Этот дом — черт возьми! — был его, и ему придется этот дом спасти — вот и все. Ибо если будет существовать дом, то и Повесть не кончится — так ведь? Если дом устоит, если найдется способ остановить или обратить вспять его разрушение, никому не нужно будет уезжать (а может, — кто

знает? — никто и не сумеет уехать?). Значит, он должен это сделать. Одних только сил на это недостанет — во всяком случае, его сил; понадобится и выдумка. Нужно будет додуматься до какой-нибудь грандиозной мысли (не зарождалась ли она уже в глубинах его ума, или это была пустая надежда?), понадобится дерзновение, пыл и отчаянное упорство. Но таков был путь; единственный путь.

Прилив энергии и решимости заставил Смоки завертеться в постели, размахивая кисточкой ночного колпака.

— Ладно, Элис, ладно, — повторил он и поцеловал ее яростно (она тоже была его!), а потом еще раз — крепко. Элис обняла его со смехом, не зная (так он думал) о его только что принятом решении всего себя принести в жертву, дабы отвратить ее планы, и подарила ему ответный поцелуй.

Как могло произойти, размышляла Дейли Элис, целуя его, что подобные слова, сказанные любимому мужу среди самой темной в году ночи, вызвали в ней не грусть, а радость — наполнили душу счастливым ожиданием? Конец: принять назначенный ей конец Повести, принять навечно, весь без изъятия. Разумеется, из него нельзя

исключить Смоки, при том, как глубоко он вплел себя в ткань этой истории. Будет хорошо, так хорошо получить его целиком на руки, как длинное-длинное покрывало, сшитое из лоскутков в надежде и вере, что за последним уколом иголки, за последним стежком, последней вытянутой ниткой внезапно откроется смысл всего этого — что за облегчение! Пока еще время не пришло, но теперь, этой зимой, Элис смогла наконец безоговорочно поверить, что оно близится, оно уже не за горами.

— А может, — сказала она Смоки, который на минуту приостановил свои ласки, — может, это только начало.

Смоки со стоном затряс головой, Элис, рассмеявшись, прижалась к нему.

Когда разговор в кровати смолк, девочка, некоторое время наблюдавшая за движениями покрывала и слушавшая слова, повернулась, чтобы уйти. Она вошла через дверь (которую оставили открытой для кошек) бесшумно, босиком, а потом стояла в тени и потихоньку усмехалась. Смоки и Элис не видели ее из-за горы одеял и покрывал, а нелюбопытные кошки вытаращились на нее, когда она вошла, но тут же вновь погрузились в прерывистую дремоту, лишь время от времени

взглядывая на девочку сквозь прищуренные веки. На миг она задержалась в дверях, так как с постели вновь послышались звуки, но разобрать ничего не удавалось, да это и не были слова, а так, шумы, и девочка выскользнула за дверь, в холл.

Света там не было, только слабый блеск снега проникал через створчатое окно в конце помещения, и девочка продвигалась мимо закрытых дверей медленно, как слепая, мелкими шажочками, вытянув вперед руки. Она оборачивалась ко всем встреченным темным прямоугольникам, но каждый раз трясла в раздумье своей светловолосой головой. И только за углом она набрела на арочный проем, улыбнулась, повернула круглую стеклянную ручку и толкнула дверь

Глава вторая

Нет смысла указывать, что замысел глуп, поведение нелепо, имена и манеры, свойственные разным историческим периодам, перепутаны и описанные события невозможны ни в какое время и ни при каких обстоятельствах: стоит ли расточать усилия критика на непобедимое слабоумие, недостатки чересчур очевидные и грубые, чтобы требовалось кому-либо открывать на них глаза.

***Джонсон о «Цимбелине»*[331]**

Софи тоже рано отправилась в постель, но заснула не сразу.

В старой ночной кофточке, стеганой, в узорах, и кардигане поверх нее, Софи устроилась под одеялами поближе к свече, стоявшей на ночном столике; наружу она выставила всего два пальца, в которых держала второй том старинного трехтомного романа.

Когда свеча начала оплывать, Софи вынула

---

[331] Примечания: 331

Нет смысла указывать, что замысел глуп... — Эпиграф взят из «Общих замечаний о пьесах Шекспира» (1768) Сэмюэла Джонсона.

из ящика стола другую, зажгла ее от первой, вставила в подсвечник и вздохнула, а затем перевернула страницу. До заключительной свадьбы оставалось еще очень-очень много страниц, а пока только было заперто в старинном шкафу-кабинете завещание и епископская дочь думала о бале. Дверь отворилась, и в комнату Софи вошел ребенок.

Вот так сюрприз

На девочке было только синее платье, без рукавов и пояса. Не выпуская из ладони ручку двери, она сделала шаг вперед. По лицу девочки блуждала улыбка ребенка, который владеет страшным секретом и не знает, как воспримут этот секрет взрослые. Она недвижно стояла в дверях, слабо освещенная свечой, опустив подбородок и не сводя глаз с Софи, которая как камень застыла в постели. Потом девочка произнесла:

— Привет, Софи.

Взгляд ее был таким, какой воображала себе Софи, а возраст соответствовал тому, на котором она остановилась, когда не смогла уже больше наблюдать мысленно за ростом дочери. Пламя свечи дрогнуло на сквозняке, потянувшем из открытой двери, и бросило на ребенка стран-

ную тень, отчего Софи на мгновение испугалась, как никогда в жизни, — но это не было привидение. Софи была уверена, что девочка, войдя, обернулась и закрыла за собой дверь. Ни одно привидение не стало бы этого делать.

Сцепив руки за спиной, девочка двинулась к кровати. На ее лице играла та же неуверенная улыбка.

— Угадай, как меня зовут.

Голос ее почему-то поразил Софи больше, чем само появление девочки, и она впервые в жизни поняла, что значит не поверить собственным ушам. Слух свидетельствовал, что ребенок заговорил, но Софи не поверила и даже не представляла себе, что можно ответить. Это было бы похоже на разговор с собой, с какой-то частью своего существа, которая внезапно, необъяснимым образом от нее отделилась, а теперь обращается с вопросом.

Девочка тихонько рассмеялась: происходящее ей нравилось.

— Не можешь. Дать подсказку?

Подсказку! Не призрак, не сон — Софи не спала; и, конечно, не ее дочь, ведь ту у нее украли более четверти века назад, а эта — ребенок. И все же Софи точно знала ее имя. Она поднесла руки к

лицу и, закрываясь ими, произнесла шепотом:

— Лайлак.

Судя по виду, девочка была несколько разочарована.

— Да, — кивнула она. — Как ты узнала?

Софи усмехнулась, или всхлипнула, или и то и другое вместе.

— Лайлак, — повторила она.

Лайлак засмеялась и попробовала вскарабкаться к матери на постель, и Софи помимо воли стала ей помогать. Она взяла Лайлак за руку, опасаясь, что, возможно, ощутит свое собственное прикосновение, а тогда... что тогда? Но Лайлак состояла из плоти, прохладной плоти, рука Софи сомкнулась на детском запястье. Чтобы притянуть к себе девочку, с ее ощутимым весом, потребовалась сила; когда колено девочки нажало на кровать, она дрогнула, и все органы чувств сказали Софи, что перед ней Лайлак.

— Ну, — произнесла Лайлак, быстрым движением откидывая со лба золотистую прядь, — ты не удивлена? — Она разглядывала потрясенное лицо Софи. — Почему не поздороваешься, не поцелуешь меня или что-нибудь еще?

— Лайлак, — смогла только повторить Софи, потому что много-много лет запрещала себе един-

ственную мысль, гнала из головы единственную, именно эту, — в результате неотрепетированную — сцену. Минута и ребенок были те, которые возникли бы в воображении Софи, если бы она позволила себе пустить его в ход, но она себе этого не позволяла и теперь оказалась неподготовлена.

— Ты должна сказать, — посоветовала Лайлак (запомнить все это было непросто, и излагать следовало правильно), — ты должна сказать: «Привет, Лайлак, вот так сюрприз», потому что ты меня не видела с моего детства, а я тогда скажу: «Я прошла долгий путь, чтобы сказать тебе то-то и то-то», а ты будешь слушать, но до этого тебе нужно сказать, как ты по мне скучала, с тех пор как меня украли, и мы обнимемся.

Она раскрыла объятия, на лице, подсказкой для Софи, выразилась деланая радость, и Софи ничего не оставалось, как тоже раскрыть объятия, пусть медленно и нерешительно (ею владел не страх, но полное замешательство, оттого что все это было так невероятно), и принять в них Лайлак.

— Ты должна сказать «вот так сюрприз», — напомнила Лайлак, шепча Софи в ухо.

Лайлак пахла снегом, собой и землей. «Вот так сюрприз», — начала было Софи, но не договорила:

слезы печали и удивления хлынули вслед за словами, неся с собой все, в чем Софи было отказано судьбой и в чем она сама отказывала себе все эти годы. Она рыдала, и Лайлак, тоже пораженная, едва не отпрянула, но Софи ее держала, и Лайлак в утешение легонько похлопала ее по спине.

— Да, я вернулась, — услышала Софи, — я вернулась; путь был долгим, очень-очень долгим.

Путь оттуда

Наверное, Лайлак и вправду прошла долгий-долгий путь, поскольку ясно помнила, что должна так сказать. Хотя длительное путешествие ей не вспоминалось: то ли большую его часть она совершила во сне, как лунатик, то ли на самом деле оно было совсем коротким.

— Ты ходила во сне? — спросила Софи.

— Я спала. Очень долго. Я не знала, что буду спать так долго. Даже дольше, чем медведи. О, я спала все время с того дня, как разбудила тебя. Помнишь?

— Нет.

— В тот день я украла твой сон. Я закричала: «Проснись» — и дернула тебя за волосы.

— Украла мой сон?

— Потому что он был мне нужен. Прости, — ве-

село проговорила Лайлак.

— В тот день, — протянула Софи, думая о том, как это странно: она такая старая и много повидавшая, и вот ее жизнь разворачивается в обратном направлении, словно жизнь ребенка... Тот день. Спала ли она когда-нибудь с тех пор?

— С тех пор. А потом я пришла сюда.

— Сюда. Откуда?

— Оттуда. Из сна. Так или иначе...

Так или иначе, она пробудилась после самого долгого на свете сна, забыв все или почти все приснившееся, и обнаружила, что шагает по темной вечерней дороге, по обе стороны тянутся тихие, занесенные снегом поля, над головой висит неподвижное небо в холодных голубых и розовых тонах, и ей предстоит выполнить задачу, к которой ее подготовили еще до того, как она заснула, — память об этом не изгладилась за время сна. Все было достаточно ясно и не вызывало у Лайлак удивления; пока она росла, ей часто случалось обнаруживать себя вдруг в странных обстоятельствах, попавшей из одного волшебства в другое, как ребенок, которого вынули спящего из постельки и принесли на праздник, и он пробуждается, удивленно мигает, но не пугается, потому что его держат знакомые руки. И Лайлак

продолжала переставлять ноги, понаблюдала за вороной, взобралась на холм и увидела, как гаснут последние отблески солнца, багровеет закат и синеет снег. Только по ту сторону холма она задумалась о том, где находится и сколько еще ей идти.

У подножия холма, в зарослях вечно зеленого кустарника, стоял коттедж, из окон которого струился в голубые сумерки желтый свет лампы. Достигнув его, Лайлак толкнула белую калиточку в изгороди из штакетника (при этом в доме звякнул колокольчик) и двинулась по тропе. Снежную лужайку обозревала — уже многие годы — голова гномика в высокой шляпе, дополненной шапкой снега.

— Джуниперы, — заметила Софи.

— Что?

— Это Джуниперы. Их домик.

Внутри обнаружилась старая-престарая женщина (за исключением миссис Андерхилл и ее дочерей, Лайлак в жизни не видела никого старше). Держа в руках лампу, она отворила дверь и спросила слабым старческим голосом: «Друг или недруг? О боже». Перед ней стояла на тропинке почти голая девочка, босая и с непокрытой головой.

Маргарет Джунипер не сделала никакой глупости: она только приоткрыла дверь, чтобы Лайлак смогла войти, если захочет, и та после минутного размышления решила воспользоваться этой возможностью, протиснулась в щелку и двинулась по коврику через небольшой холл, мимо полок с пыльными безделушками (Мардж давно там не убирала, поскольку боялась неверными старческими руками что-нибудь разбить, а кроме того, и не видела пыли). Арочная дверь привела ее в гостиную, где в печке горел огонь. Мардж следовала за ней с лампой, но в дверном проеме заколебалась. Она наблюдала, как девочка уселась в кленовое кресло с широкими подлокотниками (кресло Джеффа) и плотно прижала к ним руки, словно получая от этого удовольствие или забавляясь. Потом она подняла глаза на Мардж.

— Не скажете ли, — спросила девочка, — правильной ли дорогой я иду к Эджвуду?

— Да, — кивнула Мардж, Как-то не слишком удивившись вопросу.

— Я несу туда послание, — пояснила Лайлак. Она тянула руки и ноги к печке, но не выглядела замерзшей. Это тоже не вызвало у Мардж удивления. — Это далеко?

— Несколько часов пути.

— О, как много.

— Я никогда туда не ходила, — сказала Мардж.

— Ну ладно. Я хожу быстро. — Лайлак вскочила и наудачу указала пальцем, но Мардж мотнула головой, и Лайлак указала в противоположном направлении. Мардж кивнула. Она сделала шаг в сторону, чтобы пропустить девочку, и проводила ее к дверям.

— Спасибо, — поблагодарила Лайлак, держась за дверь. Мардж порылась в чаше у входа, где хранились долларовые бумажки и леденцы для расплаты с мальчишками, которые расчищали тропинки и кололи дрова, достала оттуда большую шоколадку и дала ее Лайлак. Та просияла, поднялась на цыпочки и чмокнула Мардж в сморщенную щеку. Спустилась по тропинке и, не оборачиваясь, свернула к Эджвуду.

Мардж, стоя в дверях, провожала девочку глазами. Ее переполняло странное чувство, будто она прожила всю свою долгую жизнь только ради этого мимолетного посещения, будто и этот домик при дороге, и лампа в ее руке, и вся предшествовавшая цепь событий были направлены на одну лишь цель. В ту же минуту и Лайлак, проворно шагавшей по дороге, припомнилось, что она непременно должна была посетить этот

дом и обратиться к старой женщине с этими самыми словами (напоминанием послужил вкус шоколада) и что к следующему вечеру, такому же тихому и синему, как нынешний, а может, еще тише, всем обитателям пентакля городов вокруг Эджвуда станет известно, что у Мардж Джунипер побывала посетительница.

— Не могла же ты с вечера столько пройти... — покачала головой Софи.

— Я хожу быстро, — отозвалась Лайлак, — и может, кое-где срезала путь.

Какой бы путь она ни избрала, он вел мимо замерзшего озера, где блестел в звездном свете остров, а на острове стоял маленький бельведер с колоннами — или, быть может, сугроб, похожий на бельведер. Путь вел через лес, где при ее появлении пробудились синички, и мимо строения в снегу, которое напоминало замок...

— Летний Домик, — пояснила Софи.

...Строения, которые она видела прежде, с высоты, очень давно и в другое время года. Туда она шла между клумб, окаймлявших лужайку, которая заросла сорняками, и теперь над снегом торчали только высохшие стебли штокрозы и коровяка. Во дворе стоял серый остов полотняного шезлонга. При виде их Лайлак задумалась,

не должна ли она принести сюда какое-нибудь послание или кого-нибудь утешить. Она немного постояла, рассматривая остатки шезлонга и приземистое здание; ни один след не вел по снегу к летней раздвижной двери, наполовину занесенной, и Лайлак впервые вздрогнула от холода, но все же так и не вспомнила, что за послание и кому она должна была доставить, если ей в самом деле это было поручено. Она пошла дальше.

— Оберон, — сказала Софи.

— Нет. Не тот Оберон[332].

Сама не зная об этом, Лайлак пересекла кладбище; участок земли, где первым был похоронен Джон Дринкуотер, а затем, рядом или поблизости, другие; некоторые были ему знакомы, некоторые нет. Лайлак удивили разбросанные там и сям большие камни с резными надписями, похожие на забытые гигантские игрушки. Она изучала их, переходя от одного к другому и смахивая снег, чтобы рассмотреть печальных ангелов, глубоко врезанные в камень буквы, гранитные шпили, а под ее ногами, под снегом, темными листьями и землей, расслабились скованные окоченением

[332] Примечания: 332

— Оберон, — сказала Софи. / — Нет. Не тот Оберон. — Лайлак выделяет голосом «французскую» гласную в имени *Au*beron, имея в виду, что настоящее его имя — *O*beron, король эльфов.

кости, и впалые груди, казалось, приготовились испустить вздох, вольнее сделались позы мертвецов, и в гробу выражавшие напряженное ожидание. Пока над усопшими прохаживалась Лайлак, с ними происходило то же, что происходит со спящим, когда его перестанет мучить кошмар или стихнут посторонние звуки (жалобы кошки или потерянного ребенка): они заснули наконец, сном подлинным и глубоким.

— Вайолет, — проговорила Софи, и из ее глаз полились слезы, обильно и на этот раз без боли, — и Джон, и Харви Клауд, и двоюродная бабушка Клауд. Папа. И отец Вайолет тоже, и Оберон. И Оберон.

Да: и Оберон, тот Оберон. Над покровом земли, ставшим его покровом, Лайлак начала яснее ощущать свою миссию, цель доверенного ей послания. Все вокруг виделось яснее, словно бы пробудившись, она продолжала стряхивать с себя сон. «О да, — сказала она себе, — о да...» Обернувшись, она увидела за темными елями громаду дома, под такой же шапкой снега, без единого огонька в окнах, но того самого, и вскоре обнаружила тропу, туда ведущую, а также дверь, ступеньки и стеклянные дверные ручки, среди которых нужно было выбрать одну.

— И тогда... и теперь, — Лайлак встала в кровати на колени перед Софи, — я должна тебе что-то сказать... Если ничего не забуду.

Парламент

— Значит, я была права, — кивнула Софи. Догорала третья свеча. В комнате воцарилась холодная непроглядная темень. — Осталось совсем мало.

— Пятьдесят два. Считая всех-всех.

— Так мало.

— Это война, — пояснила Лайлак. — Все пропали. А те, что остались, старые. Ты даже вообразить не можешь, какие старые.

— Но почему же? Если они знали, что будет так много жертв?

Лайлак пожала плечами, отводя взгляд. Ей вроде бы не полагалось объяснять, только передать известие и призыв. Она также не могла точно объяснить Софи, что с ней происходило со дня похищения, как она жила; на все вопросы она отвечала, как отвечают дети, поспешно упоминая лица и события, неизвестные собеседнику, в уверенности, что он все поймет, что взрослый человек знаком со всеми обстоятельствами; и, однако, Лайлак отличалась от прочих детей. «Ты

знаешь», — нетерпеливо отмахнулась она, когда Софи начала ее расспрашивать, и вернулась к новостям, которые должна была передать: что Война близится к концу, что предстоит мирная конференция, Парламент, куда должны явиться все, кто может, дабы разрешить конфликт и покончить с долгим печальным временем.

Парламент, где все пришедшие встретятся лицом к лицу. Лицом к лицу. Услышав это от Лайлак, Софи ощутила гул в голове и перебой в сердце, будто Лайлак объявила о ее смерти или о чем-то столь же окончательном и невообразимом.

— Ты должна прийти, — говорила Лайлак. — Обязана. Потому что их теперь так мало, Войну надо закончить. Нам нужно заключить Договор, для всех.

— Договор.

— Или все они пропадут. Зима может продолжаться без конца. Они могут это сделать,

последнее, что могут[333].

— О нет, — воскликнула Софи, — нет-нет.

— Все в твоих руках, — заявила Лайлак величественным, грозным тоном, а затем, покончив с торжественным посланием, широко раскинула руки. — Так ты согласна? — спросила она радостно. — Ты придешь? Вы все придете?

Софи притянула к своим губам холодные пальцы Лайлак. Лайлак в этой пыльной зимней комнате, веселая, живая, светящаяся; и эта новость. Софи ощущала себя пустым местом. Если здесь присутствовало привидение, то это была Софи, а не ее дочь.

Ее дочь!

— Но как? — спросила Софи. — Как нам туда добраться?

---

[333] Примечания: 333

Зима может продолжаться без конца. Они могут это сделать, последнее, что могут. — Согласно Шекспиру («Сон в летнюю ночь», д. II, сц. 1), ссоры короля и королевы эльфов вызывают природные катаклизмы и смешение времен года:

> *...благостная осень,*
> *Сердитая зима, весна и лето*
> *Сменились платьем; изумленный мир*
> *По их плодам не узнает их больше.*
> *И это племя бед произошло*
> *От наших неладов, от нашей ссоры;*
> *Мы — их родители, мы — их причина.*
>
> ***(Перевод М. Лозинского)***

Во взгляде Лайлак выразился испуг.

— Ты не знаешь?

— Когда-то знала. — К горлу Софи подступили слезы. — Когда-то мне казалось, что я могу найти это место, когда-то... О, зачем ты так долго медлила? — С внезапной острой болью она осознала, что в ней умерли возможности, о которых говорила Лайлак: они не могли не умереть, так как Софи отвергла всякую вероятность того, что Лайлак будет здесь сидеть и говорить о них. Она давно свыклась с жуткой мыслью, что Лайлак мертва или полностью переменилась, но не позволяла себе поверить в старинное предсказание Тейси и Лили — хотя считала годы и даже пыталась определить дату по картам. Усилия потребовались огромные, и заплаченная цена была велика; пытаясь изгнать из воображения этот миг, Софи утратила все свои детские истины, все то, что в общем представлении считалось сказками; потеряла походя даже живые воспоминания об этих повседневных сказках, о приятной безумной атмосфере чуда, которой была окружена. Таким образом она защищала себя; поэтому воображение не ранило ее, — и не убило, а могло бы! — и она, по крайней мере, сумела жить дальше, день за днем. Но сейчас миновало уже слишком

много пустых, затененных лет, слишком много. — Я не могу, — сказала Софи. — Не знаю. Не знаю дороги.

— Ты должна, — только и сказала Лайлак.

— Нет. — Софи помотала головой. — Нет, а если бы и была должна, все равно бы боялась. — Страх! Это было самое худшее: боязнь шагнуть за порог этого темного старого дома, боязнь, свойственная привидениям. — Уж очень долго ты медлила. — Софи отерла рукавом кардигана влажный нос. — Слишком долго.

— Но дом — это дверь! — вскричала Лайлак. — Это всем известно. Он отмечен на всех их картах.

— Правда?

— Да-да.

— И отсюда?

Лайлак ответила пустым взглядом.

— Ну да.

— Прости, Лайлак. Видишь ли, у меня была невеселая жизнь...

— А, знаю, — просияла Лайлак. — Карты! Где они?

— Вот. — Софи указала на инкрустированную шкатулку из Хрустального дворца, которая лежала на ночном столике. Лайлак открыла ее.

— А почему у тебя была невеселая жизнь? —

спросила она, вынимая карты.

— Почему? Отчасти оттого, что тебя похитили, по большей части...

— Ах, это. Это неважно.

— Неважно? — Софи рассмеялась сквозь слезы.

— Ну да, это было всего лишь начало. — Лайлак неловко тасовала своими детскими ручками большую колоду. — Разве ты не знала?

— Нет. Нет, я думала... Пожалуй, я приняла это за конец.

— Фу, глупости. Если бы меня не похитили, я не прошла бы Обучение, а без Обучения я не смогла бы принести сейчас новость, что это и вправду начинается. Так что все было в порядке, неужели не понимаешь?

Софи наблюдала, как Лайлак тасует карты, роняет некоторые и засовывает их обратно в колоду, словно пародируя бережные манипуляции с ними. Она пыталась вообразить, какую жизнь вела Лайлак, но не смогла.

— Ты когда-нибудь скучала по мне, Лайлак?

Та озабоченно дернула плечом.

— Готово. — Она протянула колоду Софи. — Следуй за ними. — Софи неспешно взяла карты, и тут Лайлак словно бы впервые ее увидела с момента своего прихода, то есть увидела по-настоящему.

— Софи. Не грусти. Все это куда громадней, чем ты думаешь. — Она накрыла своей рукой руку Софи. — О, там есть фонтан, — или водопад, я уже забыла — в нем можно умыться; такой прозрачный и холодный как лед, и... все это куда, куда громадней, чем ты думаешь!

Лайлак спустилась с кровати.

— Ты спи теперь. Мне нужно идти.

— Куда? Я не усну, Лайлак.

— Ты уснешь. Ты теперь можешь, потому что я проснулась.

Софи медленно откинулась на подушки, которые взбила для нее Лайлак.

— Я ведь украла твой сон, — повторила Лайлак с заговорщической улыбкой, — но теперь я проснулась, и ты можешь спать.

Софи, охваченная усталостью, сжала в руке карты.

— Куда ты собралась? Сейчас темно и холодно.

Лайлак вздрогнула, но сказала только: «Спи». Она встала на цыпочки возле высокой кровати, отвела от щеки Софи светлую прядь и легонько коснулась ее губами: «Спи».

Лайлак бесшумно пересекла комнату, на пороге бросила на мать прощальный взгляд и вышла в темный холодный холл. Дверь за ней закрылась.

Софи лежала, уставив взгляд в глухой прямоугольник двери. Третья свеча оплыла и с шипением и треском погасла. Софи глубже зарылась в одеяла и стеганые покрывала, думая, — а может, и не думая, вовсе не думая, но уж точно чувствуя, — что Лайлак в чем-то ее обманывала, по крайней мере, вводила в заблуждение, но только в чем?

Спать.

В чем состояла неправда? Мысль повторялась, как дыхание ума: в чем? Дыша этой мыслью, она поняла, что засыпает, и от порыва восторга едва не проснулась.

Это еще не все

Оберон, зевая, просматривал почту, которую принес накануне вечером из окраинной части города Фред Сэвидж.

«Дорогой Мир Где-то Еще, — писала желтовато-зелеными чернилами какая-то дама, — пишу вам, чтобы задать вопрос, который давно меня занимает. Если это возможно, мне хотелось бы знать, где находится дом, в котором живут Макрейнольдс и все остальные? Должна оговорить, что для меня это очень важно. Знать точное местоположение. Я бы не стала отрывать вас от

работы, если бы могла сама догадаться. Когда они жили в Шейди-Акрз (сто лет назад!), мне ничего не стоило угадать это место, но то, где они поселились в конце, никак не могу определить. Пожалуйста, дайте какую-нибудь подсказку. Я ни о чем другом не могу думать». Перед подписью стояло: «заранее Вам признательная», а в постскриптуме: «даю честное слово никого не беспокоить». Оберон глянул на почтовую марку (письмо пришло с запада) и кинул конверт в ящик для дров.

Кой черт, спросил Оберон себя, поднял его на ноги в такую рань? Не ради же почты он встал ни свет ни заря. Он взглянул на квадратный циферблат старых наручных часов Дока, которые лежали на каминной полке. Ах да: дойка. Всю неделю. Оберон кое-как поправил покрывало на кровати, подсунул под нее руку, произнес «ап» — и обратил кровать в старый зеркальный гардероб. Он всегда испытывал удовлетворение, когда слышал, как она щелкала, становясь на место.

Натягивая высокие сапоги и толстый свитер, он глядел на легкий снегопад за окном. Снова зевнув (будет ли у Джорджа кофе? Заранее Вам признательный), Оберон нахлобучил на голову шляпу и затопал к двери. Он запер дверь Складной Спаль-

ни и двинулся вниз по ступенькам, через окно на пожарную лестницу, в холл, через пролом в стене и на лестницу, которая вела к кухне Мауса.

В самом низу он набрел на Джорджа.

— Ты не поверишь, — проговорил тот.

Оберон остановился. Джордж ничего не добавил к своим словам. Он выглядел так, словно увидел привидение. Прежде Оберону не попадались люди, увидевшие привидение, но он сразу понял, что означает этот взгляд. Джордж и сам мог бы сойти за привидение, если на лице призрака может отражаться буря противоречивых чувств, а прежде всего ошарашенность.

— Что такое? — спросил Оберон.

— Ты ни за что. Ни в какую не поверишь.

На Джордже были древние-предревние носки и стеганый боксерский халат. Взяв Оберона за руку, он повел его через холл к кухонной двери.

— Что такое? — повторил Оберон.

На спине халата Джорджа стояло обозначение: «Йонкерс АК»[334]. У раскрытой нараспашку двери Джордж вновь повернулся к Оберону.

— Вот что, бога ради, — умоляюще зашептал он, — ни слова об этой истории... ну, ты знаешь.

---

[334] Примечания: 334

«Йонкерс АК» — Атлетический клуб города Йонкерс (штат Нью-Йорк).

Об истории, которую я тебе рассказывал, — он бросил взгляд на открытую дверь, — про Лайлак. — Это имя он не произнес, а скорее выразительно обозначил одними губами и испуганно, предостерегающе махнул рукой. Потом он еще шире распахнул дверь.

— Смотри, — сказал Джордж. — Смотри, смотри. — Как будто Оберон мог не смотреть. — Это мое дитя.

Девочка сидела на краю стола, качая босыми скрещенными ногами.

— Привет, Оберон, — сказала она. — Ты вырос большой.

Оберон, чувствуя, что глаза его души разбегаются в разные стороны, но не сводя взгляда с ребенка, прикоснулся к тому месту в своем сердце, где хранилась воображаемая Лайлак. Она была там.

Так это была...

— Лайлак, — произнес он.

— Мое дитя. Лайлак, — сказал Джордж.

— Но как?

— Меня не спрашивай, — отозвался Джордж.

— Это долгая история, — проговорила Лайлак. — Самая долгая из всех, что я знаю.

— Скоро будет это самое собрание, — сказал

Джордж.

— Парламент, — пояснила Лайлак. — Я пришла сказать вам.

— Она пришла сказать нам.

— Парламент, — повторил Оберон. — Что за черт.

— Послушай. Не спрашивай меня. Я спустился, чтобы сварить кофейку, и тут услышал стук в дверь...

— Но почему она такая маленькая?

— Ты меня спрашиваешь? Я выглянул — вижу, в снегу ребенок...

— Она должна быть намного старше.

— Она спала. Или черт знает что еще. Откуда мне знать? Я распахнул дверь...

— Поверить вроде как трудно.

Лайлак, сцепив руки на коленях, переводила взгляд с одного на другого; отцу она посылала улыбки, полные радости и любви, Оберону заговорщически подмигивала. Они замолчали, пристально ее рассматривая. Джордж подошел ближе. На лице у него было написано взволнованное, радостное удивление, как будто он только что сам высидел цыпленка.

— Молоко, — сказал он, прищелкнув пальцами. — Как насчет молока. Дети ведь любят молоко?

— Я не могу, — отозвалась Лайлак, посмеиваясь над его заботливостью. — Здесь не могу.

Но Джордж уже доставал банку с конфитюром и бидончик козьего молока из холодильника.

— Конечно, — сказал он. — Молоко.

— Лайлак, — спросил Оберон, — куда это ты нас зовешь?

— Туда, где будет собрание. Парламент.

— Но где это? С какой стати? И что...

— Ох, Оберон, — поспешно перебила его Лайлак, — они все тебе объяснят на месте. Нужно только пойти туда.

— Они?

Лайлак завела глаза вверх, изображая, что ее терпение подходит к концу.

— Ну, давай же. Все, что нужно, это поспешить, иначе опоздаешь...

— Никто сейчас никуда не пойдет, — отрезал Джордж, суя в руки Лайлак чашку с молоком. Она смерила чашку удивленным взглядом и поставила ее на стол. — Ты наконец вернулась, и это замечательно. Уж не знаю, как и откуда, но ты здесь, живехонька, и мы остаемся.

— Но вы должны идти. — Лайлак потянула Джорджа за рукав халата. — Обязательно. Иначе...

— Иначе?

— Конец будет неправильный, — мягко проговорила она. И добавила еще мягче: — У Повести.

— Ага. Ага, у Повести. — Джордж стоял, уперев руки в бока, и скептически кивал головой, не зная, правда, что ответить.

Наблюдая отца и дочь, Оберон думал: значит, это еще не все. Эта мысль возникла у него, как только он вошел в старую кухню, — то есть не мысль, а уверенность — уверенность, от которой волосы у него на затылке встали дыбом, а душу затопило странное чувство, будто глаза его смотрят в разные стороны, но видят яснее, чем прежде. Это еще не все. Он долго жил в маленьком помещении, Складной Спальне, где изучил каждый уголок, изучил, как собственные внутренности, и пришел к выводу: все нормально, подходит, вроде как жить можно; вот кресло у очага, вот кровать, чтобы спать в ней, вот окно, чтобы через него смотреть. Пусть здесь тесно — теснота искупается осмысленностью. А теперь он словно бы опустил стенку зеркального гардероба и увидел за ней не кровать с заплатанными простынями и старым стеганым одеялом, а портал, корабль под всеми парусами, поднимающий якорь, ветреный рассвет и аллею среди высоких деревьев, которая

теряется за горизонтом.

Испуганный, Оберон захлопнул стенку. Приключениями он сыт по горло. Он ступал уже по диковинным тропам и сошел с них не просто так. Он встал и протопал в резиновых сапогах к окну. Недоеные козы жалобно мекали у себя в квартире.

— Нет, — сказал Оберон, — нет, Лайлак, я не пойду.

— Но ты даже не выслушал, зачем это нужно.

— Мне все равно.

— Война! Мир! — вскричала Лайлак.

— Все равно.

Оберону не хотелось двигаться. Если бы весь мир прошествовал туда мимо него — что было бы вполне возможно, — он бы не огорчился. Или огорчился бы, но все равно предпочел бы остаться на месте, а не взять свою судьбу в свои руки и вновь ступить в море, звавшееся Желание, откуда он прежде выбрался на берег. Никогда.

— Оберон, — мягко проговорила Лайлак, — там будет Сильвия.

Никогда. Никогда никогда никогда.

— Сильвия? — удивился Джордж.

— Сильвия, — кивнула Лайлак.

Не дождавшись ни от кого реакции, она до-

бавила:

— Она велела сказать тебе...

— Ничего подобного! Ничего подобного, это ложь! Нет! Я не хочу знать, зачем тебе понадобилось нас дурачить, зачем ты вообще сюда явилась, но ни слова правды мы от тебя не услышим! Ты вроде них — правда тебя не интересует. Ты такая же злая, как они, я знаю, ты ничуть не лучше той, которую взорвал Джордж, той, фальшивой! Никакой разницы.

— Отлично, — пробормотал Джордж, возводя глаза к небу. — Лучше некуда.

— Взорвал? — Лайлак взглянула на Джорджа.

— Я был не виноват. — Джордж яростно покосился на Оберона.

— Так вот что с ним случилось, — задумчиво протянула Лайлак. И рассмеялась. — О, они просто бесились! Когда течением принесло золу. Это был последний экземпляр, служил не одну сотню лет. — Ее голубая юбочка задралась, когда она спускалась со стола. — Мне пора. — Лайлак двинулась к двери.

— Нет, подожди, — воскликнул Оберон.

— Пора? Нет уж. — Джордж взял ее за руки.

— У меня еще много дел. А здесь все улажено, так что... Ох, совсем забыла. Ваш путь большей

частью идет через лес, поэтому лучше будет взять проводника. Кого-нибудь, кто знает лес и поможет вам в дороге. Захватите монету для перевозчика и оденьтесь потеплее. Дверей множество, но некоторые более быстрые. Не задерживайтесь, а то пропустите пир![335] — Лайлак метнулась от двери обратно, в объятия Джорджа. Тонкими, золотистого цвета руками обхватила его шею, поцеловала худые щеки и спрыгнула на пол. — Веселья будет... — Она подмигнула, послала им довольную улыбку, в которой сквозило откровенное и незлое озорство, и скрылась. До Джорджа и Оберона донеслось шлепанье ее босых ног по старому линолеуму, но как открылась и захлопнулась дверь дома, они не услышали.

Джордж взял с вешалки для шляп комбинезон и куртку, натянул их, а потом и сапоги и направился было к выходу, но у двери, казалось, забыл, куда собрался и почему спешит. Он огляделся, не нашел ответа и сел к столу.

Оберон медленно уселся напротив, и они дол-

---

[335] Примечания: 335

Не задерживайтесь, а то пропустите пир! — Ср. в «Зазеркалье» (гл. II) слова Черной Королевы, обращенные к Алисе: «Ну, а на восьмой линии мы встретимся как равные — ты будешь Королевой, и мы устроим по этому случаю пир!» (пер. Н. Демуровой). Следует, однако, отметить, что Кэрролл и Краули используют разные существительные для обозначения праздника («feasting» и «banquet», соответственно).

го молчали. Иногда они настораживались, но ничего не видели: комната словно бы утратила некоторую значительность и вновь сделалась обыкновенной кухней, где варят овсянку, пьют козье молоко и где сидят за столом, соприкасаясь носками резиновых сапог, двое холостяков и готовятся взяться за дела по хозяйству.

Или отправиться в путь: такая возможность оставалась.

— Ладно, — заговорил Джордж. — Что? — Он поднял взгляд, но Оберон молчал.

— Нет, — проговорил наконец Оберон.

— Она сказала... — начал Джордж, но не сумел в точности повторить ее слова. Не мог забыть сказанное ею, но (как меканье коз, снег за окном, собственное сердце, то наполнявшееся, то пустевшее) не мог и вспомнить.

— Сильвия, — выдохнул Оберон.

— Проводник. — Джордж прищелкнул пальцами.

В холле послышались шаги.

— Проводник, — повторил Джордж. — Она сказала, нам понадобится проводник.

Оба обернулись к отворявшейся двери. Вошел Фред Сэвидж, тоже в резиновых сапогах, готовый сесть за завтрак.

— Проводник? — спросил он. — Кто-то куда-то намылился?

Дама с сумочкой из крокодиловой кожи[336]

— Это она? — спросила Софи. Отодвинув занавеску, она выглянула в окно.

— Должно быть, — отозвалась Элис.

Не так часто на каменные воротные столбы падал свет фар, чтобы долго гадать, чья машина к ним приближается. Скользя по фасаду яркими огнями, длинный и низкий, совершенно черный в сумерках автомобиль промчался по изрезанной колеями подъездной аллее и остановился. Фары потухли, но двигатель еще некоторое время нетерпеливо ворчал. Потом он затих.

— Джордж? — спросила Софи. — Оберон?

— Их я не вижу. Только ее.

— Боже.

— Все нормально. По крайней мере, она здесь. — Сестры отвернулись от окна. На лицах тех, кто

---

[336] Примечания: 336

Дама с сумочкой из крокодиловой кожи — героиня песенки, которая детям «хорошо знакома» (см. чуть ниже в этой же подглавке): Малютка Тим выпивает всю воду в ванне, ест мыло и пытается скушать саму ванну. Мисс Люси зовет доктора, доктор зовет няньку, нянька зовет даму с сумочкой из крокодиловой кожи, все вместе решают, что делать с ребенком, и, ничего не решив, уходят восвояси. В некоторых версиях этой песенки-нонсенса дама уносит Тима в сумочке.

собрался в двойной гостиной, было написано взволнованное ожидание. — Она приехала, — кивнула Элис. — Скоро отправляемся.

Заглушив мотор автомобиля, Ариэль Хокскивилл несколько мгновений сидела и прислушивалась к воцарившейся тишине. Потом выбралась наружу. С соседнего сиденья она взяла сумку на ремне из кожи аллигатора и замерла под моросившим дождиком. Глубоко вдохнув вечерний воздух, она подумала: весна.

Она направлялась на север, в Эджвуд, второй раз, и теперь ей пришлось одолевать рытвины и борозды изношенных дорог, а также контрольно-пропускные пункты, где проверяли паспорта и визы. Пять лет назад, при первом посещении, о таком невозможно было бы и подумать. Хокскивилл подозревала, что за ней следят, если не всю дорогу, то часть, но в путанице дождливых проселков, которая вела от шоссе к Эджвуду, хвост неминуемо должен был отстать. Она явилась одна. Письмо от Софи было странным, но настоятельным; во всяком случае, Хокскивилл надеялась, что оно оправдает риск (зная, что ее почту просматривают, она не велела родственникам писать ей в Столицу), путешествие и длительный отрыв от государственных дел в столь критическое время.

— Привет, Софи, — сказала она, когда две высокие сестры вышли ей навстречу на крыльцо. Оно было темным: фонарь не зажигали. — Привет, Элис.

— Привет, — отозвалась Элис. — А где Оберон? Где Джордж? Мы просили...

Хокскvилл поднялась по ступеням.

— Я сходила по указанному адресу и долго стучала в дверь. Похоже, дом стоит пустой...

— Он всегда так выглядит, — вставила Софи.

— ...Так что ответа не было. Мне почудился за дверью какой-то шум, и я позвала их по именам. Отозвался кто-то с акцентом: они, мол, ушли.

— Ушли? — удивилась Софи.

— Ушли. Я спросила, куда и на какое время, но никто не ответил. Задерживаться я не решилась.

— Не решились? — спросила Элис.

— Можно войти? Ночь чудесная, но немножко сырая.

Родственницы не имели понятия и, как предполагала Хокскvилл, даже не могли себе вообразить, насколько опасно им с нею встречаться. К этому дому устремлялись вожделения некоего лица, которое не знало о его существовании, но сжимало вокруг него кольцо. Хокскvилл надеялась, однако, что тревожить их нет необходимости.

В свете единственной тусклой свечи холл представлялся тенистым и огромным. Хокскивилл последовала за своими родственницами по невообразимым внутренним лабиринтам: вниз, вкруговую, вверх — и оказалась наконец в двух соединенных между собой больших комнатах, где пылал очаг, горел свет и где к ней обратилось множество любопытных, ожидавших ее прихода лиц.

— Это наша родственница, — пояснила Дейли Элис. — Давно потерявшаяся из виду. Зовут ее Ариэль. А это наша семья, — обратилась она к Ариэль, — вы с ними знакомы. И еще кое-кто. Похоже, собрались все. Все, кто мог. Схожу за Смоки.

Софи подошла к круглому столику, где горела медная лампа под зеленым стеклянным абажуром и лежали карты. При виде их у Ариэль Хокскивилл подпрыгнуло сердце. Дело было не в чужих судьбах, которые в них содержались или отсутствовали; Хокскивилл была уверена в тот миг, что ее судьба в них записана точно. Карты и были ее судьбой.

— Привет, — сказала она, коротко кивнув собравшимся. Она села на стул с прямой спинкой, между очень старой дамой с удивительно яркими

глазами и двумя близнецами, мальчиком и девочкой, которые пристроились в одном кресле.

— По какой линии у вас родство? — спросила Мардж Джунипер.

— Насколько мне известно, это в строгом смысле не родство. Отец Оберона, сына Вайолет Дринкуотер, был моим дедом. Я происхожу от его более позднего брака.

— Ага, — кивнула Мардж Джунипер, — эта ветвь семьи.

Хокскvилл почувствовала на себе взгляды и мимолетно улыбнулась двум детишкам в кресле, которые рассматривали ее с робким любопытством. Редко встречаются с посторонними, — предположила Хокскvилл, не зная, что Бад и Блоссом с удивлением и трепетом созерцали сейчас загадочную и немного пугающую даму с сумочкой из крокодиловой кожи, которая (как было сказано в хорошо знакомой им песне) должна явиться в самый главный день.

Пока не украдено

Элис карабкалась вверх, с ловкостью слепого одолевая в темноте ступени.

— Смоки? — крикнула она, добравшись до подножия узкой винтовой лестницы, которая вела

в помещение с «оррери». Ответа не последовало, но наверху горел свет. — Смоки?

Подыматься дальше ей не хотелось: низенькая лестница, арочная дверка и тесное холодное помещение под маленьким куполом, набитое механизмами, явно не были рассчитаны на таких высоких людей, как она. Ей всегда бывало там страшно.

— Все уже собрались, — сказала Элис. — Можно начинать.

Обхватив себя за бока, она стала ждать. На запущенном полу скопилась влага, на обоях виднелись бурые пятна.

— Хорошо, — отозвался Смоки, но Элис не услышала, чтобы он пошевелился.

— Джордж и Оберон не явились, — сказала она. — Куда-то ушли. — Она подождала еще и, не услышав ни единого звука, который бы свидетельствовал о том, что Смоки работает или готовится сойти вниз, вскарабкалась по лестнице и сунула голову в дверку.

Смоки сидел на стульчике, как проситель или кающийся перед своим идолом, и не сводил глаз с механизма, заключенного в черный стальной корпус. Увидев открытый корпус, Элис оробела, словно бы вторглась туда, где ее не ждали.

— Хорошо, — повторил Смоки и приподнялся, но только ради того, чтобы достать с полочки на задней стороне корпуса стальной шарик, размером с крокетный шар. Положил его в чашечку или захватное устройство на одном из рычагов, выступавших из колеса, которое содержалось в корпусе. Отпустил руку, и вес шарика потянул рычаг вниз. Когда он стронулся с места, остальные шарнирные рычаги задвигались тоже; один из них с клацаньем распрямился, чтобы принять следующий шар.

— Поняла, как оно работает? — грустно спросил Смоки.

— Нет.

— Неравновесное колесо. Вот эти рычаги на одной стороне вытянуты благодаря шарнирам, но когда они, совершая круг, попадают на другую сторону, шарниры складываются и рычаг повисает вдоль колеса. Так. Та сторона колеса, где рычаги торчат, будет всегда тяжелее другой, и всегда стремится вниз, то есть движется по кругу. Когда ты вкладываешь шар в чашечку, колесо поворачивается и вытягивается другой рычаг. Шар падает в чашечку на этом рычаге, тянет его вниз и по кругу, и так далее.

— Вот как.

Все это Смоки рассказывал ровным голосом, словно повторял старую-престарую историю или набивший оскомину урок грамматики. Элис вдруг вспомнила, что он не обедал.

— Таким образом, — продолжал он, — вес шаров, которые падают в чашечки на этой стороне, выносит рычаги достаточно высоко на другую сторону, чтобы они сложились; чашечка наклоняется, шар выкатывается. — Смоки крутанул колесо вручную, чтобы проиллюстрировать свой рассказ. — Он попадает обратно на полку, скользит вниз и падает в чашку рычага, который только что распрямился на этой стороне, подталкивает рычаг, он дальше движется по кругу, и так без конца. — Ослабнувший рычаг, в самом деле, отпускал шар, и тот попадал на другой, который, клац-клац-клац, высовывался наружу. Рычаг влекся вниз, в конечную точку цикла. Потом колесо остановилось.

— Замечательно, — мягко проговорила Элис.

Смоки, заложив руки за спину, хмуро созерцал неподвижное колесо.

— В жизни не видел такой идиотской штуки.

— Да?

— Этот Клауд — самый дурацкий изобретатель, какой когда-либо... — Не придумав, чем

завершить фразу, Смоки повесил голову. — Это устройство не работает, Элис, оно ничего не может вращать. Оно не будет работать.

Осторожно обойдя инструменты и промасленные детали, Элис приблизилась и взяла Смоки за руку.

— Смоки. Все собрались внизу. Приехала Ариэль Хоксквилл.

Он поднял глаза, и на лице его вырисовалась разочарованная улыбка человека, потерпевшего до нелепости сокрушительное поражение. Потом он состроил гримасу и приложил руку к грудной клетке.

— Тебе нужно поесть.

— Нет, лучше не стоит. Так мне кажется.

— Пойдем. Ты это выяснишь. Может, спросишь Ариэль. — Она с облегчением поцеловала мужа в лоб и первая двинулась через арочную дверцу на лестницу и вниз по ступеням.

— Элис, — спросил Смоки. — Это оно? Сегодня то есть. Оно?

— О чем ты?

— Да или нет?

Пока они шли через холл и вниз по лестнице на третий этаж, Элис молчала. Она держала руку Смоки, думая о его вопросе, но еще и о других

вещах, о которых могла бы сказать. Наконец, поскольку оба они знали слишком много, чтобы играть в загадки, она решилась и произнесла лишь одно:

— Наверное. Уже близко.

Смоки ощутил покалывание в руке, прижатой к телу чуть ниже грудной кости, и, охнув, остановился.

Они находились на верхней площадке лестницы. Внизу слабо различались огни в гостиной и голоса. Внезапно воцарилась гулкая тишина.

Близко. Если это уже близко, тогда он проиграл. Потому что он отстал, взялся за работу, в которой даже еще не разобрался, не говоря уже о том, чтобы начать. Он проиграл.

Громадная пустота открылась, казалось, в его груди, бóльшая, чем он сам. По ее краям сгущалась боль, и Смоки знал, что через мгновение, бесконечное мгновение, она хлынет внутрь, дабы заполнить пустоту. Но пока что не было ничего, только за место в его опустошенном сердце боролись два неясных предчувствия: одно сулило страх, другое — некое откровение. Первое было черным, второе белым. Он застыл, стараясь не поддаться панике, оттого что не может дышать. Внутри пустоты не оставалось воздуха,

чтобы вдохнуть, он ощущал только борьбу между Страхом и Откровением и слушал неумолчный громкий гул в ушах, который как будто говорил: теперь ты видишь; ты об этом не просил и уж точно не ожидал, что у тебя откроются глаза именно в этот миг, на лестнице, в темноте, но ты видишь; и тут же он пришел в себя. Сердце, выдавив из себя два медленных страшных толчка, подобных ударам, начало биться сильно и ровно, словно бы в ярости, и его наполнила привычная боль облегчения. Борьба закончилась. Он смог вдохнуть боль. Еще мгновение, и он сможет вдохнуть воздух.

— Ох, — услышал он голос Элис, — ох как прихватило. — Из сочувствия она тоже прижала руку к груди. Смоки чувствовал ее ладонь на своей левой руке.

— Ух ты, — произнес он, когда к нему вернулась речь. — О-хо-хо.

— Прошло?

— Почти. — Боль потекла вниз по левой руке, которую держала Элис, сжимаясь в нитку и устремляясь в безымянный палец. На нем не было кольца, но осталось ощущение, будто его срывали, тянули, — кольцо, за долгий срок так приросшее к пальцу, что его нельзя было отде-

лить, не разрубив нервы и сухожилия. — Хватит, хватит, — проговорил он, и боль отпустила, по крайней мере, отчасти.

— Все нормально, — заверил он. — Нормально.

— Ох, Смоки. Правда?

— Отпустило, — кивнул он.

Он направился вниз, где светились огни гостиной. Элис поддерживала его, но он не чувствовал слабости. Он даже не был болен. Старые медицинские книги доктора Фиша и доктора Дринкуотера сошлись бы в том, что пережитое им объяснялось не болезнью, а неким состоянием, вполне совместимым и с долгой жизнью, и с относительно хорошим состоянием здоровья.

Состояние, не опасное для жизни. Но почему же оно напоминало откровение, откровение, так и не пришедшее и не отложившееся в памяти? «Да, — говаривал старый Фиш, — предчувствие смерти случается при грудной жабе, волноваться тут не из-за чего». Но относилось ли оно к смерти? Когда это откровение придет, если оно придет, — будет ли это смерть?

— Больно, — предположила Элис.

— Ну да, — Смоки улыбнулся, отдуваясь. — Удовольствие, во всяком случае, то еще.

— Возможно, это в последний раз, — сказала

Элис. Она, видимо, сравнивала его приступ с чиханьем: чихнуть напоследок от души, и система прочистится.

— Ну уж нет, — мягко возразил Смоки. — Не дай бог. Нет.

Поддерживая друг друга, они спустились по лестнице и вошли в комнату, где ждали остальные.

— Это мы, — объявила Элис. — Вот он, Смоки.

— Всем привет, — проговорил он. Софи подняла взгляд от стола, а его дочери — от вязанья, и Смоки увидел, как в их глазах отразилась его мука. В пальце все еще пульсировала боль, но сам Смоки был цел. Давно носимое кольцо пока не было украдено.

Состояние: но похоже на откровение. А их откровения, впервые спросил он себя, причинили им такую же боль?

— Все в порядке, — констатировала Софи. — Мы начинаем.

Она скользнула взглядом по кругу смотревших на нее лиц. Дринкуотеры и Барнаблы, Берды, Флауэрзы, Стоуны и Уидзы, ее домашние, соседи и родственники. При ярком свете медной настольной лампы остальная часть комнаты представлялась ей погруженной в глубокую тьму,

словно бы она сидела в лесу у костра и в окружающей тьме выискивала взглядом животных, которых ей нужно было с помощью чар наделить разумом и целью.

— Так вот, — произнесла она. — У меня побывала гостья.

Глава третья

Но почему вы решили, что сможете мысленно пройтись по этой тропе в одиночестве, почему взялись измерять луну при помощи этой рыбы? Нет, соседи, не надейтесь, что эта тропа коротка; чтобы одолеть этот путь, вам понадобится львиное сердце; он совсем не близкий, а моря; которые вам встретятся, глубоки. Вы будете долго идти и удивляться, иногда смеясь, а иногда и плача.

Аттар. Парламент птиц[337]

Собрать этим вечером у себя родственников и соседей оказалось проще, чем думала Софи, хотя нелегко было решиться на то, чтобы устроить это собрание, а также нелегко подобрать слова. Ведь приходилось нарушить издавна принятое молчание, столь давнее, что в Эджвуде даже не помнили, когда была дана клятва его хранить, молчание, таившееся в сердцевине многих историй. Нарушить его было все равно, что взломать сундук, к которому потерян ключ. На обдумыва-

---

[337] Примечания: 337

Аттар. Парламент птиц — см. комментарии, раздел II.

ние ушли оставшиеся зимние месяцы, а потом понадобилось время, чтобы оповестить всех, кто жил на отрезанных бездорожьем фермах и в изолированных коттеджах, в Столице и в Городе, а также назначить удобную для всех дату.

А это далеко?

Тем не менее почти все они согласились прибыть, встретив эту новость удивительно спокойно, словно давно уже ожидали подобного приглашения. И они действительно его ожидали, сами того не сознавая.

Когда юная посетительница Маргарет Джунипер путешествовала по пентаклю из пяти городов (в свое время Джефф Джунипер, показывая Смоки Барнаблу путь в Эджвуд, соединил их на карте пятиконечной звездой), пробудилась ото сна не одна семья. Ощутив, как мимо проходит кто-то или что-то, они погрузились в своеобразное мирное ожидание, счастливое предчувствие; они не думали теперь, что жизнь их кончится раньше, чем Как-то исполнится давнее обещание или произойдет некое великое событие. Это всего лишь весна, говорили они себе утром, всего лишь наступающая весна. Мир такой, каков он есть, и не иной, и подобные сюрпризы в нем не предусмот-

рены. Но потом из дома в дом стала передаваться, обрастая по дороге деталями, история, рассказанная Мардж, пошли догадки, предположения, и когда вызов был получен, никто не удивился — удивились скорее тому, что не удивляются.

Ибо это касалось их всех, всех этих семей, которые знались с Августом, учились у Оберона, а потом у Смоки, у которых бывала Софи, совершавшая, как принято у старых дев, длительные поездки по окрестностям; они разделяли судьбу, предсказанную двоюродной бабушкой Норой Клауд для Дринкуотеров и Барнаблов. В конце концов, почти сто лет тому назад их предки обосновались здесь, потому что знали Повесть или ее рассказчиков; иные были учениками и даже последователями. Кое-кто, вроде Флауэрзов, были — или считали себя — посвященными в тайну; многие владели достаточным состоянием, чтобы предаваться праздности и размышлять над тайной среди лютиков и молочая на фермах, которые они купили, но хозяйством пренебрегали. Трудные времена не обошли стороной их потомков: многие сделались ремесленниками, жили случайными заработками, водили грузовики, перебивались с хлеба на воду на фермах, окончательно перемешались со всевозможными

молочниками и мастеровыми, кого их предки едва удостаивали слова, и все же в этих семьях передавались из уст в уста истории, каких не знал никто другой в мире. Да, им приходилось несладко, и, как они думали, мир сделался суров, стар и безнадежно обыкновенен, но они происходили от породы бардов и героев, человечество пережило некогда Золотой век, и земля вокруг них была живой и густо заселенной, хотя времена были слишком трудные, чтобы это замечать. Все они в детстве засыпали под старинные истории, позднее рассказывали их любимым, а потом собственным детям. Большой дом не сходил у них с языков. Его обитатели удивились бы тому, как много соседи знают о нем и его истории. За столом и у камелька они размышляли о том же, поскольку в эти темные дни иных занятий у них не было, и, так и сяк преобразуя историю дома в своих мыслях, все же ее не забывали. И когда пришло приглашение от Софи, они удивились только тому, что не испытали удивления, и, отложив в сторону инструменты, сняли передники, укутали детей, растормошили свои старые драндулеты и явились в Эджвуд, чтобы услышать о возвращении потерянного ребенка, об обращенной к ним просьбе и о предстоявшем путешествии.

— Итак, вот дверь, — сказала Софи, трогая лежавшую перед ней карту из колоды (козырь Множественность), — а вот и дом. А вот, — она тронула другую карту, — собака, стоящая перед дверью. — В двойной гостиной царила абсолютная тишина. — Дальше — река или что-то похожее...

— Говори громче, дорогая, — вмешалась Мамди, сидевшая совсем рядом. — А то никому не слышно.

— Вот река. — Софи почти кричала. Ее щеки окрасились румянцем. Когда она находилась у себя в темной спальне и рядом была Лайлак, все представлялось... не то чтобы проще, но, по крайней мере, яснее. Цель виделась отчетливо и теперь, но следовало подумать о средствах — они были далеко не столь ясны. — И мост, чтобы ее пересечь, или брод, или паром, или еще какое-то средство, а на том берегу мы найдем старика, который знает дорогу и поведет нас.

— Дорогу куда? — послышался несмелый голос, принадлежавший, как решила Софи, кому-то из Бердов.

— Туда, — отозвался кто-то другой. — Ты что, не слушал?

— Туда, где находятся они, — сказала Софи.

— Где соберется Парламент.

— Вот оно что, — произнес первый голос. — А я-то думал, Парламент здесь.

— Нет, — объяснила Софи, — он соберется в том месте.

— Ага.

Вновь наступила тишина, и Софи постаралась вспомнить, что ей еще известно.

— Софи, а это далеко? — спросила Мардж Джунипер. — Не всем по силам дальняя дорога.

— Не знаю. Не думаю, что очень далеко. Помнится, временами это казалось далеко, а временами близко. Наверное, не так далеко, чтобы было не добраться. Впрочем, не знаю.

Все ждали. Софи изучала карты и перекладывала их. Что, если дорога окажется слишком дальней?

Блоссом проговорила мягко:

— Правда, там здорово? Наверняка.

Бад рядом отозвался:

— Нет! Там опасно. И жутко. Придется сражаться! Ведь это война, да, тетя Софи?

Ариэль Хокскилл взглянула на детей, потом на Софи.

— Что вы думаете, Софи? Это война?

Софи подняла взгляд и протянула вперед пу-

стые ладони.

— Не знаю. Думаю, война, — так говорила Лайлак. Так и вы говорили. — В ее словах, обращенных к Ариэль, прозвучал чуть заметный упрек. — Не знаю, не знаю! — Софи встала и развернулась так, чтобы видеть всех собравшихся. — Я знаю только, что нам непременно нужно пойти и помочь им. Если мы откажемся, их не останется совсем. Они вымирают, я уверена! Или уходят, прячутся так далеко, что это почти равносильно смерти, и все из-за нас! Подумайте, что произойдет, если их не станет.

Все подумали об этом или попытались подумать и пришли к разным заключениям или представили себе разные картины, а кто-то и вовсе ничего не придумал.

— Понятия не имею, где находится это место, — продолжала Софи, — и как нам туда добираться, а также чем мы можем быть полезны и почему именно нам нужно идти, но в одном я уверена: мы просто обязаны попытаться! То есть дело даже не в том, хотим мы или не хотим. Разве вы не видите, что и здесь мы оказались только ради них — я в этом убеждена. Не пойти сейчас — это было бы все равно, что родиться, вырасти, вступить в брак, завести детей, а потом сказать:

я передумал, не надо мне всего этого. А между тем если бы мы всего этого не имели, то некому даже было бы сказать: мне, мол, ничего не надо. Понимаете? И сними то же самое. Мы не можем отказаться, потому что нам на роду написано пойти, потому что мы, по-настоящему, идем туда всю свою жизнь.

Она обвела взглядом всех собравшихся. Дринкуотеры и Барнаблы, Берды, Стоуны, Флауэрзы, Уиды и Вольфы; Чарлз Уэйн и Черри Лейк, Бад и Блоссом, Ариэль Хокскивилл и Мардж Джунипер, Сонни Мун, старый Фил Флауэрз и его дочери и сыновья, внуки, правнуки и праправнуки Августа. Софи очень не хватало ее тетки Клауд, которая могла бы изложить нужную мысль просто и непререкаемо. Дейли Элис, спрятав подбородок в пригоршне, смотрела на сестру с улыбкой; дочери Элис невозмутимо занимались шитьем, словно слова Софи были ясны как день, а ведь даже ей самой они, слетев с языка, показались невероятной чушью. Ее мать с умным видом кивала, но не было уверенности в том, что она все правильно расслышала; черты родственников выражали мудрость и глупость, веселость и мрачность, менялись или оставались неподвижными.

— Я сказала все, что могла, — беспомощно за-

ключила Софи. — Все, что услышала от Лайлак: их пятьдесят два, срок — день середины лета, летнего солнцестояния, и это дверь, как было и всегда; карточная колода — это географическая карта, и расклад карт, насколько я поняла, рассказывает о собаке, реке и так далее. Вот так. Осталось обдумать, что нам делать дальше.

И все присутствующие — хотя некоторые совсем не привыкли к этому занятию — принялись думать. Иные, поднеся ладонь ко лбу или соединив кончики пальцев, перебирали мысленно догадки и подозрения, обычные или фантастические, или погружались в воспоминания. Некоторые воздвигали воздушные замки и шарили по их уголкам, чувствовали свои болячки, застарелые или новые, и гадали, не предвещают ли последние совсем иное путешествие. Другие просто заново оценивали себя, перебирали старые страхи и полученные некогда советы, вспоминали о часах любви и отрады. А кое-кто не делал ни того, ни другого, ни третьего.

— Это может быть легко, — вырвалось у Софи. — Вполне вероятно. Всего лишь сделать шаг! А может потребовать большого труда. Не исключаю, что путей окажется несколько, для разных людей разные, но хотя бы один путь есть, должен

существовать. Вам всем нужно о нем подумать, вообразить его себе.

Они попытались, ерзая на стульях и меняя положение ног, закинутых одна на другую; думали о севере, юге, востоке, западе; думали о том, как их вообще сюда занесло, гадали, не получится ли так, что, увидев начало тропы туда, они само собой поймут, куда идти дальше. И вдруг в задумчивую тишину ворвался звук, какого они в этом году еще не слышали: на улице заквакали жабы.

— Ладно, — произнесла Софи и села. Она сложила карты, словно они сказали свое слово до конца. — Как бы то ни было, мы будем действовать шаг за шагом. Еще вся весна впереди. Потом встретимся и посмотрим. Больше ничего мне в голову не приходит.

— Послушай, Софи, — заговорила Тейси, отложив шитье, — если дом — это дверь...

— А мы, — подхватила Лили, тоже опустив на колени работу, — сидим внутри...

— Тогда, — продолжила Люси, — мы уже находимся в пути?

Софи смерила их взглядом. Сказанное прозвучало очень здраво и разумно.

— Не знаю, — ответила она.

— Софи, — заговорил Смоки от двери, где он

стоял молча с тех самых пор, когда явился и началось собрание. — Можно тебя спросить?

— Конечно.

— А как мы вернемся домой?

В ее молчании содержался тот самый ответ, которого ожидал Смоки; оно подтверждало всеобщие подозрения относительно того места, о котором говорила Софи. Она склонила голову среди воцарившейся тишины, которую никто не решался нарушить. Все собравшиеся слышали ее ответ и вывели из него вопрос, который на самом деле стоял перед ними и который не до конца высказала Софи.

Как бы то ни было, они одна семья, думала Софи, или, во всяком случае, кто пойдет, тот к ней относится, кто не пойдет — нет, вот и все. Она уже открыла рот, чтобы спросить «пойдете?», но ее смутили их лица, такие разные и такие знакомые.

— Ну что ж, — произнесла Софи, и лица расплылись, потому что ее глаза наполнились слезами, — это, как будто, все.

Блоссом вскочила с кресла.

— Я знаю, — вскричала она, — нам всем нужно собраться в кружок, взяться за руки для силы и сказать хором: «Мы хотим!» — Она оглядела

взрослых. — Правильно?

Кто-то засмеялся, кто-то отмахнулся. Мать притянула девочку к себе и сказала, что не все, возможно, захотят последовать ее совету, но Блоссом, взяв за руку брата, начала убеждать двоюродных сестер и братьев, теток и дядей подойти и тоже взяться за руки. Она не обратилась только к даме с сумочкой из крокодиловой кожи. Потом она решила, что кружок, возможно, сделается сильней, если участники скрестят руки и возьмут за руки тех, кто стоит напротив, для чего нужно сойтись еще теснее. Когда ей удавалось выстроить часть кружка, в другом месте он прорывался. «Никто не слушает», — жаловалась она Софи, которая только глядела на нее и тоже не слушала, а думала о том, что станется с нею, что станется со всеми храбрыми, и воображение не подсказывало ей ответа. Тут поднялась на неверные ноги Мамди, не слышавшая предложения Блоссом, и произнесла:

— Ну ладно, в кухне есть кофе, чай и кое-что еще, а также сэндвичи.

Кружок в результате совсем распался, послышался скрип стульев и шарканье ног; все двинулись в кухню, тихо переговариваясь по дороге.

— Кофе? Звучит соблазнительно, — заметила Хоксквилл своей престарелой соседке.

— Соблазнительно, это верно, — отозвалась Мардж Джунипер. — Но я не уверена, стоит ли он таких хлопот. Вы ведь понимаете.

— Что, если я принесу вам чашечку?

— Это было бы очень любезно с вашей стороны. — Мардж облегченно вздохнула. Доставить ее сюда было не так уж просто, и теперь она предпочитала не разлучаться с креслом, куда ее посадили.

— Отлично, — сказала Хоксквилл. Она последовала за остальными, но задержалась у стола, где Софи, подперев ладонями щеки, то ли с печалью, то ли с удивлением созерцала карты. — Софи, — позвала она.

— Что, если это слишком далеко? — В обращенном на Хоксквилл взгляде Софи появился страх. — Если я вообще ошибаюсь?

— Мне этого не кажется. Во всяком случае, если я правильно вас поняла. Ваши слова, конечно, прозвучали необычно, однако нет причин в них сомневаться. — Она тронула Софи за плечо. — Собственно, я сказала бы даже, что в них нет

ничего такого уж странного.

— А Лайлак?

— Это было странно. Да.

— Ариэль, не взглянете ли на них? Может, вы увидите что-нибудь полезное, первый шаг...

— Нет. — Хокскилл отпрянула. — Нет, мне нельзя их трогать. Нет. — В комбинации, которую выложила, а теперь нарушила Софи, не было Шута. — Слишком велико сейчас их значение.

— Не знаю. — Софи лениво выкладывала карты кру́гом. — Думаю, то есть мне кажется, я дойду скоро до их конца. До конца того, что они могут рассказать. Может, это относится только ко мне. Но я не вижу в них ничего нового. — Она встала и отошла от стола. — Лайлак сравнивала их с путеводителем. Но я не знаю. По мне, так она просто делала вид.

— Делала вид? — Хокскилл следила за Софи.

— Чтобы поддержать в нас интерес. Надежду.

Хокскилл перевела взгляд на карты. Подобно кружку, который пыталась выстроить Блоссом, карты, при всем их беспорядке, крепко держались за руки. Конец карт... Она беглым взглядом скользнула по комнате и подала ободряющий знак старой женщине, которая сидела по соседству, но та как будто этого не видела.

Мардж Джунипер в самом деле не видела Хоксквилл, но не из-за слабого зрения или рассеянности. Вняв призыву Софи, она глубоко задумалась о том, как добраться до места, что взять с собой (засушенный цветок, шаль, вышитую теми же самыми цветами, медальон с прядью черных волос, акростих на Валентинов день, в котором за буквами ее имени следовали чувства, от старости выцветшие до сепии и неискренности) и как сэкономить силы до дня отправления.

Ибо Мардж знала, о каком месте говорила Софи. В последнее время память у Мардж ослабела и сделалась неспособной хранить в себе прошлое. Ей не хватало сил, чтобы удерживать под замком мгновения, утра и вечера долгой жизни Мардж; печати были сорваны, и воспоминания выскальзывали, удалялись — из настоящего их уже невозможно было разглядеть. С возрастом память Мардж прохудилась, и она прекрасно понимала, куда лежит ее дорога. В то место, куда, восемьдесят с лишним лет назад или вчера, сбежал Август Дринкуотер; в то место, где осталась она, когда он ушел. Это было место, куда удаляются юные надежды, когда они устаревают или мы перестаем их чувствовать; место, куда уходят начала, когда являются концы, которые и сами

потом уходят.

«Летнее солнцестояние», — подумала она и принялась было считать оставшиеся дни и недели, но не смогла вспомнить, какое сейчас время года, и оставила эту затею.

Куда ее занесло?

В столовой Хоксквилл набрела на Смоки, который с потерянным видом маячил в углу, словно чувствовал себя неуютно в собственном доме.

— Как вы все это понимаете, мистер Барнабл? — спросила она.

— Что? — Смоки потребовалось время, чтобы сосредоточить внимание на собеседнице. — О, не знаю, что и думать. Никак не понимаю. — Он пожал плечами, не извиняясь, но словно это была позиция, к которой он склонялся, одна сторона вопроса, тогда как многое могло быть сказано и в пользу другой стороны. Смоки отвел взгляд.

— А как дела с моделью? — спросила Хоксквилл, видя, что прежнюю тему следует оставить. — Заработала она у вас?

Этот вопрос тоже, как будто, оказался неуместным. Смоки вздохнул.

— Не работает, — сказал он. — Готова полностью. Но только не работает.

— А в чем трудность?

Смоки сунул руки в карман.

— Трудность в том, — начал он, — что она закольцована...

— Ну да, таковы орбиты планет. Во всяком случае, близки к этому.

— Я не о том. Я имел в виду, что она замкнута сама на себя. Чтобы вращаться, она должна вращаться. Понимаете? Вечное движение. Верьте не верьте, но это вечный двигатель.

— Таковы планеты. Во всяком случае, близки к этому.

— Чего я не могу понять, — начал Смоки, сопровождая свои слова позвякиванием винтиков, шайб, монеток и прочих предметов, лежавших у него в карманах (чем дольше он размышлял, тем больше волновался), — это как человеку вроде Генри Клауда или Харви могла прийти в голову такая дурацкая идея. Вечное движение. Любому известно... — Он взглянул на Хокскивилл. — Кстати, а ваша «оррери»? Как в ней крутятся колесики?

Хокскивилл поставила на буфет две чашки кофе, которые были у нее в руках.

— Ну, наверное, как в вашей. Но моя изображает другие небеса. Во многом она проще...

— Да, но как она движется? Намекните хотя бы. — Он улыбнулся, и Хокскилл подумалось, что в последнее время ему нечасто приходилось это делать. Она задала себе вопрос, как он попал когда-то в эту семью.

— Я вам отвечу. Что бы ни вращало мою модель сегодня, я совершенно убеждена: согласно замыслу, она должна вращаться сама по себе.

— Сама по себе, — с сомнением повторил Смоки.

— Хотя ей бы не следовало. Наверное, потому, что это не те небеса. Моя модель изображает небесную сферу, где планеты всегда перемещались не сами собой, а по чьей-нибудь воле: ангелов или богов. А ваша небесная сфера новая, ньютоновская, самодвижущаяся, сама заводится и вечно тикает. Наверное, она как раз движется сама по себе.

Смоки вытаращил глаза.

— Там есть машина, которая, как будто, должна служить двигателем. Но ей самой необходима энергия. Нужен толчок.

Что ж, если она однажды правильно пущена в ход... Я имею в виду, если она движется так же, как звезды, они ведь не останавливаются, так ведь? Их движение вечно. — Странный огонек

забрезжил в глазах Смоки. Хокскуилл он показался схожим с болью. Нужно было закрывать тему. Полузнайство[338]. Если бы Хокскуилл не чувствовала, что Смоки не имеет ни малейшего отношения к плану, предложенному его родней (Хокскуилл не намеревалась содействовать его осуществлению), она бы не добавила: — Вы вполне можете поменять их местами, мистер Барнабл. Двигатель и деталь, которую он приводит в движение. У звезд имеются излишки энергии.

Она схватила чашки с кофе, сунула их под нос Смоки, когда он протянул руку, чтобы ее удержать, кивнула и скрылась. Ответить на его вероятный следующий вопрос значило бы нарушить давнюю клятву. Но она стремилась ему помочь. Ей почему-то хотелось завести здесь союзника. Блуждая по коридорам (она не туда свернула на выходе из столовой), Хокскуилл заметила Смоки, спешившего вверх по лестнице, и понадеялась, что не зря дала ему толчок.

Но куда же ее занесло? Хокскуилл осмотрелась, заглянула в один конец коридора, в другой. Кофе остывал в чашках. Где-то слышался гул голосов.

---

[338] Примечания: 338

Полузнайство — из второй песни дидактической поэмы Александра Поупа (1688–1744) «Опыт о критике» (1711): «И полузнайство ложь в себе таит...» (пер. А. Субботина).

Поворот, узел, откуда открывается вид одновременно на несколько путей, Перспектива. Ни в одном из ее домов памяти не было столько наложений, такого множества коридоров, пространств, объединявших в себе два разных пространства, не было путаницы, созданной с подобной точностью. Хокскилл чувствовала, как поднимаются вокруг нее стены этого дома — мечты Джона, замка Вайолет, высокого, многокомнатного. Он овладел ее умом, словно в самом деле был составлен из воспоминаний. Она видела (этот дом придал ее зрению устрашающую ясность), что, будь он домом ее памяти, все ее выводы были бы совсем иными, решительно и совершенно иными.

В эту ночь она сидела среди них с улыбкой и вежливо выслушивала их речи, как будто ее допустили по ошибке на чужую церковную службу. Она одновременно была смущена искренностью окружающих и держалась в стороне от эмоций, радуясь, что их не разделяет, хотя, вероятно, чувствовать себя исключенной было слегка обидно. Их простой взгляд на вещи забавлял ее. Но тем временем дом вокруг них стоял тот же, что сейчас вокруг нее, — огромный, мрачный, уверенный и нетерпеливый; дом говорил, что это не так,

совсем не так. Он говорил (а Хокскилл умела слушать голоса домов, это было главным ее умением и большим искусством, и она удивлялась лишь тому, почему так долго оставалась глухой к его гулкому голосу) — итак, он говорил, что не они, Дринкуотеры и Барнаблы и иже с ними, чересчур просто смотрят на вещи. Хокскилл думала, что большие карты, которыми они играли, попали к ним случайно, наподобие Грааля, помещенного, забавы ради, среди обычных чашек для питья, — историческая случайность. Но дом не верил в случайности, дом говорил, что Хокскилл ошиблась, вновь ошиблась, теперь уже в последний раз. Это было сравнимо с посещением скромной церкви, где, среди самых заурядных прихожан, распевавших банальные гимны, ее, сидевшую поодаль, переполняло вполне реальное, грозное ощущение чуда, благодати, и она трепетала от страха и протеста. Она не могла так ужасно ошибиться, разум отказывался в это верить. Реальность обернется сном, обрушится, и пробуждение наступит в некоем мире, некоем доме, таком странном и таком новом...

Хокскилл услышала, что ее зовет Дейли Элис. Голос доносился не оттуда, откуда она ожидала. На блюдцах, которые Хокскилл по-прежнему

держала в руках, тихонько зазвякали кофейные чашки. Овладев собой, она сумела вывернуться из путаницы воображаемой гостиной.

— Вы ведь останетесь на ночь, Ариэль? — спрашивала Элис. — Мы приготовили воображаемую спальню и...

— Нет, — ответила Хокскивилл. Застав Мардж в том же кресле, она отдала ей кофе. Та рассеянно взяла чашку, и Хокскивилл показалось, что она плачет или плакала, но, может, у нее просто слезились от старости глаза. — Нет, вы очень любезны, но мне нужно ехать. Я должна поспеть к поезду. Это к северу отсюда. Я бы сейчас уже сидела в вагоне, но сумела сперва вырваться к вам.

— Ну а если вы...

— Нет. Это президентский поезд. Знаете, состав, обслуживающий важных особ. Президент совершает очередную поездку. Не понимаю, зачем он это затеял. В него или стреляют, или не слушают. И все же.

Гости тянулись к выходу, надевали на себя тяжелые пальто и шапки с ушами. Многие останавливались потолковать с Софи, и Хокскивилл заметила, что один старик тоже плакал и Софи обняла его.

— Значит, они все пойдут? — спросила она

Элис.

— Наверное. Большинство. Поживем — увидим, так ведь?

Обнаружив в ее ясных карих глазах безмятежную уверенность в том, что они союзники, Хоксквилл отвела взгляд, опасаясь тоже забормотать сквозь слезы что-то невнятное.

— Сумочка, — сказала она. — Осталось разыскать сумочку, а потом мне нужно будет уйти. Нужно.

Двойная гостиная, где состоялась встреча, опустела, лишь в углу неясно маячила фигура старой женщины, которая, как заводная игрушка, крохотными глотками прихлебывала кофе. Хоксквилл взяла свою сумочку. Потом она увидела карты, все так же разбросанные под лампой.

Конец их истории. Но не ее. Во всяком случае, насколько это от нее зависит.

Хоксквилл быстро осмотрелась. От передней двери доносились голоса Элис и Софи, прощавшихся с гостями. Веки Мардж были опущены. Едва ли думая о том, что делает, Хоксквилл повернулась спиной к Мардж, раскрыла сумочку и смахнула туда карты. Когда она их коснулась, кончики пальцев обожгло как льдом. Хоксквилл захлопнула сумочку и направилась к выходу. У

двери гостиной стояла Элис и смотрела на нее.

— Ну, до свиданья, — поспешно кинула Хокксвилл. Ее оледеневшее сердце громко колотилось. Она чувствовала себя такой же беспомощной, как испорченный ребенок, который закатил истерику и даже в руках у взрослого не может остановиться.

— До свиданья. — Элис посторонилась, чтобы ее пропустить. — Удачи с президентом. Скоро увидимся.

Хокксвилл не подняла веки, так как знала, что увидит в глазах Элис свое преступление и нечто другое, еще более неприятное. Путь для бегства существовал, не мог не существовать. Если его не поможет отыскать разум, тогда поможет сила. А о чем-нибудь кроме бегства было уже поздно думать.

Это слишком просто

Дейли Элис и Софи, стоя у парадной двери, наблюдали, как Хокксвилл поспешно, словно за ней кто-то гнался, забралась в автомобиль и на полную мощность запустила мотор. Автомобиль рванулся, как жеребец, и полетел мимо каменных воротных столбов навстречу ночи и туману.

— На поезд опаздывает, — заметила Элис.

— Как ты думаешь, она все же пойдет?

— Пойдет. Непременно.

Повернувшись к ночи спиной, сестры закрыли дверь.

— Но Оберон, — сказала Софи. — Оберон и Джордж...

— Все в порядке, Софи.

— Но...

— Софи. Не посидишь ли со мной немного? Я не хочу спать.

Элис не казалась взволнованной, она улыбалась, но Софи расслышала в ее словах мольбу и даже страх. Она ответила:

— Конечно, Элис.

— Как насчет библиотеки? — спросила Элис. — Туда никто не придет.

— Ладно. — Софи последовала за Элис в большую темную комнату. Взятыми из кухни спичками Элис зажгла единственную лампу и прикрутила фитиль. В тумане за окном различались как будто тусклые огоньки, но больше ничего не было видно. — Элис?

Элис, казалось, пробудилась от мыслей и обернулась к сестре.

— Элис, ты знала заранее все, что я собиралась сказать?

— Да, большую часть, наверное.

— Правда? И как давно ты догадалась?

— Не знаю. В общем-то... — Элис неспешно села на кончик длинного кожаного дивана «честерфилд». — В общем-то, наверное, я всегда это знала, а со временем все только прояснялось. Кроме тех дней...

— Каких?

— Когда все запуталось. Когда... когда дела пошли не так, как ты предсказывала, а скорее наоборот. Когда мы, казалось, всего этого лишились.

Софи отвернулась, хотя в голосе сестры не прозвучало ни тени упрека, а только глубокая задумчивость. Она понимала, о каких днях говорит Элис, и огорчалась тому, что по ее вине сестра хотя бы на день, даже на один час, утратила уверенность. И это было так давно!

— Но зато потом, когда вещи вновь как будто обрели смысл, он оказался еще глубже, чем прежде. Было смешно вспоминать, как когда-то тебя одолевали сомнения и ты была такой дурочкой. Правда? Так все и происходило?

— Не знаю.

— Садись. С тобой разве было не так?

— Нет. — Софи села рядом с Элис, и та закутала

себя и сестру в пестрый шерстяной плед, который связала Тейси: в неотапливаемой комнате было зябко. — Я думаю, со времен моего детства эта тайна все больше теряла смысл. — После долгих лет молчания говорить об этом было нелегко. Когда-то, много лет назад, сестры болтали на эту тему без конца, не заботясь о смысле, смешивая то, что знали, со своими снами и играми. Они нисколько не сомневались в том, как ее понимать, потому что не проводили различия между нею и своими желаниями, ради удобства, ради приключений, ради чуда. Ни с того ни с сего Софи посетило воспоминание, живое и цельное, как реальность: она и Элис, обнаженные, вместе с дядей Обероном стоят на опушке леса. Все подобные воспоминания, собственно говоря, были вытеснены фотографиями, которые сделал Оберон, — изысканно бледными и статичными, и потому Софи задохнулась, вновь увидев картину во всей полноте: жара, ясность и чудо, глубоко реальное лето детства. — Если мы знали, то почему тогда не могли уйти? Ведь это было бы так просто?

Элис сжала под пледом ее ладонь.

— Мы могли. Могли в любую минуту. Когда мы ушли, о том идет речь в Повести. — Немного помолчав, она добавила: — Но это не будет просто.

— Ее слова встревожили Софи, и она крепче сжала руку сестры. — Софи, ты назвала день летнего солнцестояния.

— Да.

— Но... все нормально. Только мне нужно отправиться раньше.

Не выпуская руку сестры, Софи испуганно оторвала голову от дивана.

— Что? — спросила она.

— Мне нужно отправиться раньше, — повторила Элис. — Она взглянула на Софи и отвела глаза. Софи знала, что значит этот взгляд: Элис говорила о том, что ей было известно давно, но держалось в секрете.

— Когда? — едва выговорила Софи.

— Теперь.

— Нет.

— Ночью или этим утром. Потому я и попросила тебя посидеть со мной, ведь...

— Но почему?

— Не могу сказать, Софи.

— Нет, Элис, нет, все же...

— Все нормально, Соф. — Элис улыбнулась, глядя на расстроенное лицо сестры. — Мы пойдем туда все, все до одного, только я должна отправиться раньше. Только и всего.

Софи смотрела на сестру, и всем ее существом овладевала странная мысль, проникая в вытаращенные глаза, открытый рот, полость сердца. Мысль была настолько странная, что Софи, слышавшая ее от Лайлак, читавшая в картах и пересказывавшая ее родне, только сейчас до конца ей поверила.

— Так, значит, мы пойдем, — сказала она. Элис ответила чуть заметным кивком.

— Все это правда, — проговорила Софи. Сестра, спокойная (во всяком случае, не очень взволнованная) и ко всему готовая (по крайней мере, такой она казалась), росла и росла в глазах Софи. — Все правда.

— Да.

— Ох, Элис. — Столь выросшая Элис пугала ее. — Элис, прошу, не нужно. Подожди. Не уходи сейчас, не так рано...

— Я должна, — отвечала Элис.

— Но тогда я останусь... и все другие... — Софи откинула плед, встала и принялась просить стоя. — Нет, подожди, не уходи без меня.

— Я должна, Софи, потому что... Нет, не могу сказать: это слишком странно или слишком просто. Я должна пойти, потому что если я не пойду, идти будет некуда. И тебе, и всем другим.

— Не понимаю.

Элис чуть слышно рассмеялась. Ее смех можно было принять за рыдание.

— Я тоже пока не понимаю. Но. Скоро.

— Как же ты пойдешь, совсем одна?

Элис ничего не ответила, и Софи, раскаиваясь, прикусила себе губу. Мужество! Необъятная любовь, похожая на глубочайшую жалость, наполнила ее, и она снова взяла Элис за руку и села рядом. Где-то в доме часы пробили два или три, и каждый удар пронзил Софи как кинжалом.

— Ты боишься? — не смогла не спросить она.

— Посиди со мной чуть-чуть. До рассвета уже недалеко.

Где-то в верхнем этаже затопали тяжелые быстрые шаги. Сестры подняли взгляд. Кто-то прошел у них над головой, через холл, а потом начал проворно и шумно спускаться по лестнице. Элис стиснула ладонь сестры, и Софи поняла смысл ее жеста. Он потряс ее больше, чем любые сказанные Элис слова.

В дверях библиотеки показался Смоки. При виде двух женщин, сидевших на софе, он вздрогнул.

— Все еще не спите? — спросил Смоки. Он тяжело дышал. Софи была уверена, что он обратит

внимание на ее взволнованное лицо, но он как будто ничего не заметил. Смоки взял лампу и принялся обходить с нею библиотеку, рассматривая темную массу книг на полках.

— Не знаете случайно, где стоят эфемериды?

— Что-что? — спросила Элис.

— Эфемериды, — повторил Смоки, вытянул с полки какой-то том и задвинул его обратно. — Большая красная книга, где даны положения планет. На любой день. Вы знаете.

— Ты туда часто заглядывал, когда наблюдал за звездами?

— Да-да. — Смоки обернулся к сестрам. Он не совсем восстановил дыхание и казался ужасно взволнованным. — Никто не припоминает? — Он высоко поднял лампу. — Вы не поверите. Я и сам не верю. Но это единственное осмысленное решение. Достаточно безумное, чтобы иметь смысл.

Он ждал вопросов, и Элис наконец произнесла:

— Что?

— Модель. Она будет работать.

— О-о, — протянула Элис.

— И не только это, не только это. — Смоки удивлялся и ликовал. — Думаю, она в самом деле заработает. Для этого она и предназначена. Все так просто! Мне и в голову не приходило.

Представляете себе? Элис, дом будет в порядке! Если эта штука начнет вращаться, она потянет приводные ремни! Заработают генераторы! Освещение! Тепло!

Свет лампы падал на его лицо, преображенное и, казалось, приблизившееся к какому-то опасному пределу. Софи отпрянула. Ей пришло в голову, что Смоки едва видит их обеих. Она взглянула на Элис, которая по-прежнему сжимала ее руку, и подумала, что на ее глазах, наверно, выступят слезы, — но нет, это невозможно. Как-то это сделалось отныне невозможным.

— Замечательно, — сказала Элис.

— Замечательно, — кивнул Смоки, снова берясь за поиски. — Ты решишь, что я сумасшедший. Я тоже так думаю. Но я думаю также, что, возможно, Харви Клауд не был сумасшедшим. Возможно. — Он потянул с полки толстую книгу, соседние при этом с грохотом упали на пол. — Вот и она, вот и она, вот и она. — Не оглядываясь на сестер, он направился к двери.

— Лампа, Смоки, — напомнила Элис.

— Ах да. Прости. — Смоки по рассеянности прихватил с собой лампу. Он поставил ее на столик и послал сестрам такую довольную улыбку, что они не могли не улыбнуться в ответ. Комнату он

покинул почти бегом, неся под мышкой толстую книгу.

Другая страна

После ухода Смоки сестры сидели молча. Потом Софи спросила:

— Ему ты не скажешь?

— Нет, — мотнула головой Элис. Она начала еще фразу — возможно, объяснение, — но замолкла, а Софи не решилась ничего вставить. — Так или иначе, — вновь заговорила Элис, — я ведь уйду не совсем. То есть уйду, но все же останусь здесь. Навсегда. — Она в это верила. Думала, глядя на темный потолок, высокие окна и окружавшие ее стены, что призыв, обращенный к ней и шедший из самого сердца вещей, рождался не только здесь, но в любом другом месте, и чувство, которое она теперь испытывала, не было чувством потери, просто иногда она принимала его за таковое. — Софи. — Голос Элис внезапно охрип. — Софи, ты должна о нем позаботиться. Береги его.

— Как, Элис?

— Не знаю. Но... ты должна. Я искренне тебя прошу, Софи. Сделай это для меня.

— Хорошо. Но ты ведь знаешь, я не очень умею заботиться и беречь.

— Это ненадолго, — сказала Элис.

В этом тоже она была уверена или хотела быть уверенной. Она стала искать в своей душе эту уверенность, искать безмятежный восторг, благодарность, опьянение, какие испытала, когда начала понимать, к чему все идет; искать смесь испуга и ощущения собственного могущества, связанную с сознанием того, что она прожила всю жизнь как птенец в яйце, выросла и перестала в нем помещаться, начала пробивать себе путь наружу, а теперь готовится выйти в обширный, наполненный воздухом мир, о котором прежде не имела ни малейшего понятия, хотя хранила нетронутыми крылья, для него потребные. Элис не сомневалась, что все ей известное вскоре узнают и близкие, узнают и вещи еще более удивительные, намного удивительней; только в самые темные предрассветные часы, в холодной старой комнате оживить в себе это чувство было трудно. Она подумала о Смоки. Ее охватил испуг, такой испуг, словно...

— Софи, — спросила она мягко, — как ты думаешь, это смерть?

Софи дремала, прислонившись к плечу Элис.

— А? — спросила она.

— Не думаешь ли ты, что на самом деле это

смерть.

— Не знаю. — Софи заметила, что Элис дрожит. — Вряд ли. Но не знаю.

— Я тоже думаю, что вряд ли.

Софи молчала.

— Но если это и так, — продолжала Элис, — то это не то... о чем я думала.

— Ты имеешь в виду смерть? Или то место?

— И то и другое. — Элис плотнее закутала себя и сестру в вязаный плед. — Смоки как-то мне рассказывал об одном месте в Индии или Китае, где в старину существовал обычай: когда кого-то приговаривали к смерти, ему давали лекарство вроде снотворного, но на самом деле это был яд, только медленного действия. Вначале человек погружается в сон, глубокий-преглубокий, и видит очень яркие сны. Он спит долго-долго, забывает даже, что спит. Спит день за днем. Ему снится, будто он путешествует или что-нибудь вроде того. А потом, через некоторое время (яд такой мягкий и сон такой крепкий, что приговоренный сам не замечает когда), он умирает. Но не знает об этом. Может, сон меняется, но приговоренный не знает даже, что это сон. Он просто идет вперед. Думает, это другая страна.

— Просто мороз по коже, — отозвалась Софи.

— Судя по словам Смоки, ему эта история не кажется страшной.

— Не может быть.

— Он говорил, если яд убивал без промаха, то откуда тогда известно, как он действовал?

— А.

— Я подумала, что, может, этот случай похож на тот.

— Ох, Элис, как страшно. Нет.

Но Элис не имела в виду ничего страшного; сделать из смерти страну, если уж ты приговорен, представлялось ей не столь уж жутким исходом. В этом заключалось замеченное ею сходство, ибо она улавливала то, чего не видели остальные, а Софи видела смутно и запоздало: место, куда их пригласили, было вовсе не местом. По мере собственного роста вширь, она все яснее понимала, что не существует места, отличного от тех, кто в нем живет: чем их меньше, тем меньше их страна. И если в эту страну прибудут сейчас переселенцы, то каждый из них сам создаст то место, куда направляется, выстроит его из самого себя. Именно это ей, новоприбывшей, предстоит делать: из собственной смерти — или того, что сейчас казалось смертью, — сотворить землю, куда устремятся остальные. Ей придется принять

такие размеры, чтобы вместить в себя целый мир, или целый огромный мир должен будет ужать себя так, чтобы уместиться в ее груди.

Смоки, конечно же, в это тоже не поверит. Во всяком случае, ему будет трудно поверить. Элис подумалось, что ему всегда было нелегко иметь дело с этой тайной. Он набрался терпения, научился с ней уживаться, но ему всегда было и будет нелегко. Пойдет ли он? Больше всего ей хотелось быть в этом уверенной. Сможет ли он? Элис была уверена во многих вещах, но тут сомневалась. Уже давно она поняла, что та же черта, которая в свое время привлекла к ней Смоки, может его впоследствии оттолкнуть, а именно ее место в этой Повести. И такое положение оставалось в силе: Элис и сейчас чувствовала, что их связывает длинная непрочная веревочка, которая может оборваться, если за нее потянешь, или выскользнуть из ее пальцев или пальцев Смоки. И теперь она хотела расстаться не прощаясь, чтобы расставание не сделалось вечным.

Смоки, думала она; смерть. Долгое время она не думала ни о чем другом, только желала, не облекая свое желание в слова, чтобы исход был не такой, каким должен быть, не тот, какой единственно возможен и какой бывал всегда.

— Тебе придется за ним присматривать, Софи, — шептала Элис. — Сделай так, чтобы он пришел. Ты должна.

Но Софи опять уснула, натянув плед до самого подбородка. Элис огляделась, как после сна. В окнах заголубело. Ночь была на исходе. Как человек, очнувшийся от боли, Элис собирала вокруг себя мир, рассвет и свое будущее. Потом, осторожно отстранившись от спящей сестры, встала. Софи приснилось, что Элис встает, и она пробормотала сквозь сон: «Я готова. Иду», добавив к этому что-то неразборчивое. Софи вздохнула, и Элис подоткнула вокруг нее плед.

Сверху вновь раздались шаги, направлявшиеся вниз. Элис поцеловала сестру в лоб и задула тусклую лампу. Едва ее желтое пламя потухло, комната заполнилась рассветом. Час был более поздний, чем думала Элис. Она вышла в холл: на верхнюю лестничную площадку примчался сломя голову Смоки.

— Элис! — прокричал он.

— Тс-с! Ты всех перебудишь.

— Элис, она работает. — Смоки схватился за стойку перил, словно боялся упасть. — Она работает, поднимись и посмотри.

— Да что ты?

— Элис, Элис, посмотри сама. Я все починил. Модель в порядке, крутится вовсю. Послушай! — Он указал вверх. Еле различимое среди утреннего кваканья жаб и голосов первых птиц, издалека доносилось мерное металлическое клацанье, похожее на тиканье гигантских часов, заключавших в себе этот дом.

— Все в порядке? — спросила Элис.

— Все в порядке, нам не придется уезжать! — Он вновь умолк, восторженно прислушиваясь. — Дом не развалится на части. В нем будет свет и тепло. Нам не нужно искать себе пристанище!

Элис не поднималась, а смотрела вверх от подножия лестницы.

— Правда, здорово? — спросил Смоки.

— Здорово.

— Иди, посмотришь. — Смоки повернулся к лестнице.

— Ладно. Пойду. Погоди минутку.

— Быстрей. — Смоки припустил по лестнице.

— Смоки, не беги.

Элис прислушалась к его удалявшимся шагам. Подошла к зеркалу в холле, сняла с крючка свой тяжелый плащ и накинула на плечи. Мельком оглядела фигуру в зеркале, выглядевшую старой в утреннем свете, направилась к парадной двери

с овальным окошечком и открыла ее.

Перед ней распространялось во всех направлениях грандиозное утро, холодным ветром проникало за ее спиной в дом. Элис долго стояла в дверном проеме и думала: всего один шаг. Один шаг, который покажется шагом прочь отсюда, но таким не будет. Шаг в радугу, шаг, который она давно уже сделала и не могла переделать, и каждый новый шаг ведет только вперед. Она шагнула. Окруженная клочьями тумана, вышла на лужайку, где навстречу ей кинулась с восторженным лаем маленькая собачонка.

Глава четвертая

Itur in antiquar silvam, stabula
alta ferrarum.

***«Энеида», книга VI*[339]**

Пока Дейли Элис думала, а Софи сперва бодрствовала, а потом спала, пока Ариэль Хокскилл летела по туманным деревенским дорогам, чтобы встретить поезд на северной станции, Оберон и Джордж Маус, подсев вплотную к костерку, гадали, куда Фред Сэвидж их завел, и никак не могли припомнить, как они в это место попали.

Бури различий

Им вспоминалось, что отправились они в путь некоторое время назад; вначале, собирая экипировку, прошлись по старым сундукам и комодам Джорджа, хотя опасности и трудности пути

---

[339] Примечания: 339

Itur in antiquar silvam, stabula alta ferrarum — Тевкры торопятся в лес, приют зверей стародавний (лат.). — В эпиграфе из «Энеиды» речь идет о лесе, в котором спутники Энея рубят деревья для погребального алтаря в честь одного из троянцев, погибших в пути; сам же Эней должен найти в чащобе золотую ветвь, которая позволит ему сойти в царство мертвых и вернуться на землю. Вергилий. Энеида, книга VI, 179. Перевод С. Ошерова.

предвидеть было невозможно и отбирать вещи пришлось наугад. Джордж находил и вытряхивал наружу свитеры, обвисшие рюкзаки, вязаные шапки, галоши.

— А ну-ка, — говорил Фред, натягивая на свою буйную шевелюру шапочку. — Давненько я ничего такого не носил.

— На что это нам? — пожал плечами Оберон, который стоял поодаль, засунув руки в карманы.

— Нет, послушай, — возразил Джордж. — Береженого бог бережет. Кто предупрежден, тот вооружен.

— Вооружиться — это нужное дело, — заметил Фред, поднимая гигантское пончо, — оно куда как кстати.

— Глупости, — фыркнул Оберон. — Я хочу сказать...

— Ну ладно, ладно, — огрызнулся Джордж, размахивая большим револьвером, который только что нашел в сундуке, — ладно, решай сам, мистер Всезнайка. Но только не говори, что я тебя не предупреждал. — Он засунул было револьвер за пояс, но передумал и швырнул его обратно в сундук. — А как насчет вот этого? — Он говорил о большом складном ноже с двадцатью лезвиями на все случаи жизни. — Бог мой, он мне уже сто

лет не попадался на глаза.

— Красота, — восхитился Фред, извлекая желтым ногтем пробочник. — Просто красота. А ловкий какой.

Оберон, не вынимая рук из карманов, продолжал наблюдать, но замечаний больше не делал. Вскоре он перестал воспринимать происходящее. С того времени, как Ветхозаветную Ферму посетила Лайлак, ему было неимоверно трудно длительное время оставаться в этом мире; он как будто то входил, то выходил, застигая отдельные, не связанные между собой сцены, словно это были комнаты в доме, план которого он не мог себе вообразить или не пытался. Временами он предполагал, что сходит с ума, но, хотя эта мысль казалась достаточно разумным и вполне вероятным объяснением, она, как ни странно, оставляла его равнодушным. Несомненно, между прежней и нынешней природой вещей существовало гигантское различие, но в чем именно оно заключалось, Оберон не мог бы указать. То есть, выделяя отдельные вещи (улицу, яблоко, какую-нибудь мысль, воспоминание), он не обнаруживал в них перемен — они оставались такими же, как всегда, и все же разница существовала. «Разно-одинаковые», — любил повторять Джордж, когда речь

шла о двух более или менее сходных вещах, но Оберон начал обозначать этим словом состояния одной и той же вещи — вещи, которая Как-то делалась (не исключено, что навсегда) более или менее иной.

Разно-одинаковые.

Вероятно (Оберон не был уверен, но склонялся к этой мысли), это различие возникло не мгновенно, а просто он в один прекрасный миг его заметил, влез в него. Оно его озарило, вот и все; прояснилось, как при перемене погоды. Оберон предвидел время (и эта мысль вызывала у него лишь легкую боязливую дрожь), когда он перестанет замечать различие или помнить, что в вещах была разница (а вернее, ее прежде не было); и после этого — время, когда бури различий начнут бушевать где угодно и как угодно, а он будет к ним слеп и глух.

Оберон и сейчас обнаруживал, что забывает, как некое подобие фронта окклюзии[340] пронеслось над его воспоминаниями о Сильвии — воспоминаниями, которые он считал прочными и неизменными, как и всю свою собственность. Теперь же, пытаясь их коснуться, он обнаруживал

---

[340] Примечания: 340

...подобие фронта окклюзии... — Окклюзия — смыкание холодного и теплого фронтов в области циклона.

вместо них осенние листья — так золото фейри оборачивается комьями грязи, папоротником, раковинами улиток, копытцами фавнов.

— Что? — спросил он.

— Надень-ка. — Джордж сунул ему в руки кинжал в ножнах, на которых различалась потускневшая надпись, выполненная золотым тиснением: «Ущелье Осейбл», которая Оберону ничего не говорила[341]. Тем не менее он закрепил ножны на поясе, просто потому, что не нашел с ходу повода отказаться.

Безусловно, уходы и приходы в реальность, сходную с книгой, где заполненные страницы чередуются с пустыми, помогли ему справиться с мудреным делом, которое было на него возложено: подвести к финальной точке повествование, лежавшее в основе «Мира Где-то Еще» (он никогда не думал, что до этого дойдет). Но поди-ка поставь точку в истории, которая по самой своей природе не допускает никаких точек! И все же ему пришлось сесть за вконец изношенную (от

[341] Примечания: 341

Джордж сунул ему в руки кинжал в ножнах, на которых различалась потускневшая надпись, выполненная золотым тиснением: «Ущелье Осейбл», которая Оберону ничего не говорила. — Ущелье Осейбл расположено на севере штата Нью-Йорк. Речные пороги, водопады, причудливые скалы привлекают в него туристов, в том числе и Джорджа.

трудов праведных) пишущую машинку, чтобы извлечь оттуда заключительные главы так убедительно, ловко и непостижимо, как фокусник извлекает из своего пустого кулака бесконечную связку цветных шарфов. Каким образом может завершиться история, которая была не чем иным, как обещанием нескончаемости! Да так же, как различие является в мир, который во всех прочих отношениях остается тем же самым, так же, как хитрое изображение вазы распадается, когда в него всмотришься, на два обращенных друг к другу профиля.

Оберон выполнил обещание, что история не закончится; таков и был конец. Вот и все.

Потом он не мог припомнить, как именно это сделал, какие сцены натюкал двадцатью шестью алфавитными и несколькими вспомогательными клавишами, какие подыскал слова, кого из персонажей убил и кого родил. Это были сны человека, которому снится, что он видит сны; воображаемые плоды воображения, эфемерности, воздвигнутые в мире, тоже сделавшемся эфемерным. Возможно ли эти сцены снять, а если возможно, то какое впечатление они произведут Там, Снаружи, какие заклятья наложат и какие разрушат — о том Оберон не имел понятия. Он

просто отослал Фреда с последними (некогда немыслимыми) листами и вспомнил, смеясь, о хитрости из школьных лет, последней строчке, которой каждый школьник хоть раз да завершал немыслимую, не ведущую ни к какому логичному финалу выдумку: а потом он проснулся.

Потом он проснулся.

Фразы его фуги с окружающим миром соприкасались между собой. Они трое, — он, Джордж и Фред — обутые в сапоги и вооруженные, стояли перед зиявшей пастью подземки; холодный весенний день напоминал неопрятную постель, в которой все еще спало человечество.

— В сторону окраин? — спросил Джордж. — Или в центр?

Смотрите себе под ноги

Оберон предложил на выбор другие двери (проходы, которые, как он предполагал, могли бы служить дверью): павильон в закрытом парке, от которого у него имелся ключ, строение на окраине города, куда в последний раз направилась Сильвия из «Крылатого гонца», цилиндрический свод в глубинах Вокзала, схождение четырех коридоров. Но экспедицию вел не он, а Фред.

— Переправа, — сказал он. — Раз уж переправа,

значит, мы — кровь из носу — должны пересечь реку. Бронкс и Гарлем — побоку, Проливы и Спуйтен-Дуйвил — тоже (там океан, а не река), на север к Со-Милл не забираемся, Ист и Гудзон — тоже ну их (там есть мосты) — остается еще чертова уйма рек, только — в этом вся загвоздка — их теперь не видно, они текут под землей, под улицами, домами, где люди живут, балаганами и конторами, бегут по водопроводным трубам, ужаты в ручеек, в струйку; их перегораживают, они текут в глубину, пока не упрутся в скалу и не станут, как говорится, подземными водами, но опять же никуда не деваются, и раз уж нам назначено *сперва* найти реку, чтобы ее пересечь, а большая часть рек загнана под землю, то нам только и остается, что полезть под землю.

— Хорошо, — кивнул Джордж.

— Хорошо, — кивнул Оберон.

— Смотрите себе под ноги, — предупредил Фред.

Они стали спускаться, ступая осторожно, будто в незнакомом месте, хотя бывали здесь сотни раз. Это был всего лишь Поезд с его ходами и берлогами, с его безумными знаками, указывающими в разные стороны без всякой пользы для потерявшихся пассажиров, с его черной подземной водой

и отдаленным урчанием во внутренностях.

На полпути вниз Оберон остановился:

— Погодите чуток. Погодите.

— Что такое? — Джордж проворно оглянулся.

— Бред, — сказал Оберон. — Не может этого быть.

Фред, шагавший впереди, махнул им рукой из-за угла. Джордж находился между Фредом и Обероном, переводя взгляд то на одного, то на другого.

— Вперед, давай, — позвал Джордж.

Это будет трудно, очень трудно, думал Оберон, нехотя следуя за ним; приспособиться к этому будет труднее, чем к пропущенным страницам в книге или к прежним алкогольным неприятностям. И все же навыки, приобретенные в бесконечных попойках, — умение разнуздаться, отбросить стыд и устроить публичное представление, не задавать вопросы об обстоятельствах или, по крайней мере, не удивляться, если не найдешь ответов, — эти навыки были всем, что имел Оберон, всем полезным грузом, который он мог привнести в экспедицию. Даже и с этим оснащением он едва ли надеялся дойти до конца, с пустыми же руками, думалось Оберону, он даже не сумел бы выйти из дома.

— Слушайте, подождите, — сказал он, поворачивая вслед за остальными и спускаясь в глубины метрополитена. — Сбавьте ход.

Что, если ему не зря было ниспослано это ужасное время, этот тренировочный период; если целью было, чтобы теперь он, битый непогодой, мог выжить в этой буре различий, торить себе путь среди этого темного леса?

Нет. Это Сильвия направила его на нынешнюю тропу, а вернее — отсутствие Сильвии.

Отсутствие Сильвии. А что, если отсутствие Сильвии, а ранее того — присутствие Сильвии в его жизни и даже — бог мой! — сама ее любовь и красота были частью плана, направленного на то, чтобы сделать его пьяницей и дать те самые навыки, обучить мастерству следопыта, на годы заточить его на Ветхозаветной Ферме, где он, сам того не зная, ждал новостей, ждал, когда придет Лайлак с обещаниями, правдивыми или ложными, которые вновь раздуют пламя в золе его сердца, — и весь этот план они задумали исключительно в своих интересах, не принимая в учет ни его, ни даже Сильвии?

Ну ладно, если предположить, что это была не ложь, Парламент будет созван и там он Как-то сойдется с ними лицом к лицу, тогда он хотел бы

задать им вопрос-другой и получить ответы. Кстати, неплохо бы найти Сильвию; он припас для нее несколько неприятных вопросов относительно ее роли в этом деле — чертовски неприятных вопросов, вот только бы ее найти. Только бы, только бы ее найти.

Думая об этом, Оберон заметил, как с последней ступеньки рахитичного эскалатора спрыгнула светловолосая девушка в голубом платье, показавшаяся в полутьме ярким пятном.

Она обернулась и (убедившись, что они ее видят) обогнула столб с прикрепленным на нем плакатиком: «ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ШЛЯПЫ».

— Думаю, нам туда, — крикнул Джордж. Когда троица готовилась побежать вниз, в тоннеле загрохотал поезд и поднявшийся ветер едва не сорвал с них шляпы. Но их руки оказались проворней. — Верно? — удерживая рукой шляпу, крикнул Джордж поверх анфилады вагонов.

— Угу. — Фред тоже прижимал к голове шляпу. — Это самое я как раз и собирался сказать.

Троица двинулась вниз. Оберон следовал за Джорджем и Фредом. Правдивыми или обманными были обещания, все равно выбора у него не было, и им, конечно же, это было известно, ибо кто еще, кроме них, с самого начала наложил

на него это заклятие? С ужасающей ясностью Оберон представил себе, как все обстоятельства его жизни, включая и эту грязную подземку, и эту лесенку, выстраиваются в единую цепочку, и нет ни одного, остающегося вне ее. Они брались за руки, срывали с себя маски, хватали его за горло, трясли, трясли, трясли, пока он не пробудился.

Фред Сэвидж возвращался из леса с вязанкой хвороста для костра.

— Куча народу собралась, — удовлетворенно заметил он, подкладывая хворост в золу. — Куча народу.

— Правда? — спросил Джордж с некоторой тревогой. — Дикие звери?

— Может быть. — Белые зубы Фреда светились. В шапочке и пончо он выглядел совсем старым и бесформенным, похожим на мудрую древнюю жабу в лужице на пне. Джордж и Оберон наклонились чуть ближе к слабому огню, насторожили слух и начали вглядываться в кромешную тьму.

Семейное дело

От речного берега, куда привез их паром, они успели углубиться в лес совсем немного: спустилась тьма, и Фред Сэвидж предложил сделать привал. Еще когда серая от старости, скрипучая

лодка скользила вдоль канатов вниз по течению, они наблюдали, как красное солнце садилось за большими, пока безлистными деревьями, как подлесок сначала разорвал его в малиновые куски, а потом поглотил полностью. Зрелище было устрашающее и странное, однако Джордж сказал:

— Кажется, я тут уже был. Раньше.

— Да что ты? — удивился Оберон. Они сидели вместе на носу. Фред, скрестив ноги, расположился на корме и делал какие-то замечания древнему-предревнему паромщику, который в ответ не произносил ни слова.

— Не то чтобы я здесь побывал, — объяснил Джордж. — Но вроде того. — Чьи приключения здесь, в этой лодке, в этих лесах были ему знакомы и как он о них узнал? Боже, его память в последнее время напоминала высохшую губку. — Не знаю. — Он странно посмотрел на Оберона. — Не знаю. Но только... — Придерживая шляпу, чтобы ее не сорвало речным ветерком, он бросил взгляд на берег, откуда они отчалили, и на другой, куда направлялись. — Но только кажется... что, если мы заблудились?

— Не может быть, — ответил Оберон.

— Не может... — кивнул Джордж. И все же его

не оставляло чувство, что они путешествуют не вдаль, а туда-сюда. Он сравнивал его с потерей ориентации, когда вынырнешь из подземки в незнакомом месте и перепутаешь, где центр города, а где окраины; пытаешься мысленно повернуть остров как надо и не можешь; видишь названия улиц и где находится солнце, но и это не вразумляет; чувствуешь себя так, словно попал в зеркало[342]. — Ладно, — сказал он и пожал плечами.

Но тут Оберон начал что-то припоминать. Он тоже знал про этот паром — во всяком случае, слышал. Приближался берег, паромщик выпустил из рук длинный шест и вышел вперед, готовясь причалить лодку. Оберон оглядел сверху его лысую макушку и седую бороду, но паромщик не поднимал глаза.

— Не случалось ли вам... — Оберон не знал, какие подобрать слова. — Не было ли здесь девушки, смуглой девушки — она, наверное, работала на вас раньше?

Длинные сильные руки паромщика тянули канат. Во взгляде, обращенном к Оберону, отра-

---

[342] Примечания: 342

Он сравнивал его с потерей ориентации... чувствуешь себя так, словно попал в зеркало. — Ср. топографические мучения Алисы в зазеркальном саду (гл. II сказки).

жалась равнодушная синева небес.

— Ее звали Сильвия, — добавил Оберон.

— Сильвия? — переспросил паромщик.

Лодка заскрипела, соприкоснувшись с причалом, и остановилась. Паромщик протянул ладонь, и Джордж вложил в нее специально приготовленную блестящую монетку.

— Сильвия... — произнес Джордж у костра, обняв руками колени. — А не кажется ли тебе... Я хотел сказать, не приходило ли тебе в голову, что это вроде как семейное дело?

— Семейное дело?

— То есть все это, — сказал Джордж неопределенно. — Я думал, знаешь ли, это касается только нашей семьи и идет со времен Вайолет.

— Я тоже так думал. Но тогда Сильвия...

— Вот-вот. О том я и говорю.

— Но ведь, — продолжал Оберон, — вполне может оказаться, что все это враки — что говорилось о Сильвии. Они ведь и соврут — недорого возьмут.

Помолчав и посмотрев в огонь, Джордж произнес:

— М-да. Что ж, я должен признаться. Вроде как.

— О чем ты?

— Сильвия. Может, о семье речь и идет. —

Джордж помолчал. — То есть Сильвия может оказаться членом семьи. Я не уверен, но... Так вот, давным-давно, тому уже два с половиной десятка лет — нет, больше, — я знавал одну женщину. Пуэрториканку. Настоящую красотку. Мозги набекрень. Но на вид — загляденье. — Он усмехнулся. — Характер — порох, ведьма ведьмой. Жиличка. Снимала у меня комнату, еще когда не было Фермы. По правде, ту самую Складную Спальню.

Оберон присвистнул.

— Дружище, она была удивительная. Вхожу я как-то, она моет посуду, а на ногах туфли на высоких каблуках. Так на высоких красных каблуках и моет посуду. Не знаю, но что-то во мне дрогнуло.

Оберон хмыкнул.

— Ну ладно, — вздохнул Джордж. — У нее была где-то парочка детишек. Я скумекал, что если она забеременеет, то слетит с катушек. Поэтому берегся как мог. Но.

— Черт побери, Джордж!

— И она вроде как разозлилась. *Почему* — не знаю. То есть мне она не сказала. Просто ушла — отправилась обратно в свое Пуэрто-Рико. Я никогда больше ее не видел.

— Вот как?

— Вот так. — Джордж откашлялся. — Сильвия очень на нее похожа. И она нашла Ферму. То есть она вдруг появилась. А почему — так и не призналась.

— Ну и дела, — воскликнул Оберон, переварив слова Джорджа. — Неужели это правда?

Джордж воздел руку, как бы принося клятву.

— Но разве она...

— Нет. Не сказала ни слова. Фамилия была другая, но что с того? Ее мать уехала, сказала она, исчезла с концами. Больше, мол, я с ней не встречалась.

— Но разве ты не...

— Говоря начистоту, дружище, я не особо лез из кожи, чтобы выяснить правду.

Оберон, изумленный, некоторое время молчал. Выходит, заговор распространялся и на нее. Он касался их всех, а она была одной из них.

— Хотел бы я знать, что она... — проговорил Оберон. — То есть я хочу знать, о чем она думала.

— Угу. — Джордж кивнул. — Вопрос не в бровь, а в глаз. Чертовски хороший вопрос.

— Она часто говорила, что ты ей как...

— Я знаю, что она говорила.

— Боже, Джордж, тогда как же ты...

— Я не был *уверен*. Откуда бы взяться уверен-

ности? Они все на одно лицо — женщины этого типа.

— Ну, парень, ты даешь, — поразился Оберон, — вот уж...

— Да погоди ты. Я не был уверен. Думал: черт возьми, верно, это не так.

— Ну ладно, — вздохнул Оберон. Оба глядели в огонь. — Это многое объясняет. Если речь идет о семье...

— Так я и думаю.

— Угу, — кивнул Оберон.

— Угу? — спросил Фред Сэвидж. Джордж и Оберон, вздрогнув, подняли глаза. — Тогда какого черта здесь делаю я? — Скалясь, он переводил взгляд с одного собеседника на другого. Его тусклые, но живые глазки смеялись. — Ну как?

— Ладно, — сказал Джордж.

— Ладно, — сказал Оберон.

— Ну как? — повторил Фред. — Какого черта здесь делаю я?

Его желтые глаза закрылись и открылись, и позади, в лесу, закрылась и открылась еще не одна пара желтых глаз. Фред потряс головой как бы в недоумении, но на самом деле вовсе не был озадачен. Он никогда не спрашивал всерьез, что, мол, я делаю, куда это меня занесло, а просто за-

бавлялся, наблюдая, как собеседники испуганно задумываются. Собственно говоря, испуг и напряженные размышления представляли для него не более чем зрелище; что касается мест, смутить его было трудно, поскольку он давно уже перестал проводить различия между пространством за его закрытыми черными веками и пространством, открывавшимся, когда его веки были подняты. Данное же место Фреда Сэвиджа по-настоящему не удивляло; он не беспокоил себя мыслями о том, что жил когда-то в других краях.

— Шутка, — мягко и добродушно заверил он своих друзей. — Шутка.

Некоторое время он бодрствовал, или спал, или и то и другое вместе, — а может, не делал ни того, ни другого. Он видел тропу. Когда заголубел рассвет и запели птицы, Фред Сэвидж увидел между деревьями ту же самую, или другую, тропу. Он растолкал прижавшихся друг к другу во сне Джорджа и Оберона и коричневым, заскорузлым от грязи пальцем указал им путь.

Часы и трубка

Охваченный тревогой и любопытством, Джордж Маус огляделся. С самого первого шага, следуя по тропе, найденной Фредом, Джордж чув-

ствовал, что она должна бы быть более странной и незнакомой. А в этом месте (во всем остальном нисколько не примечательном: с таким же густым подлеском и высокими деревьями, как всюду) ощущение дежавю усилилось. Он ступал когда-то по этой земле. Собственно, он нечасто отсюда удалялся.

— Постойте, — окликнул он Фреда и Оберона, которые, то и дело спотыкаясь, искали продолжение тропы. — Погодите чуток.

Они остановились и обернулись.

Джордж поглядел вверх, вниз, влево, вправо. Справа. Он скорее чувствовал, чем видел: там находится расчищенный участок. За этим защитным рядом деревьев угадывается не сумрак лесной, а золото и голубизна.

Защитный ряд деревьев...

— А знаете, — проговорил Джордж, — сдается мне, мы, в конце концов, не так уж далеко ушли.

Но остальные его уже не слышали.

— Поторопись, Джордж, — окликнул его Оберон.

Джорджу стоило усилий сойти с места и последовать за Обероном и Фредом. Но через несколько шагов он почувствовал, что его тянет назад.

Черт. Джордж остановился.

Лес (кто бы мог ждать такого от скопления растительности?) — лес напоминал гигантскую анфиладу комнат, где, пройдя через дверь, попадаешь из одного помещения в совершенно иное. Джордж сделал всего каких-то пять шагов, но места, где он чувствовал себя так привычно, вокруг уже не было. Ему захотелось вернуться, очень захотелось.

— Слушайте, притормозите на минутку, — крикнул он своим спутникам, но они не повернули назад. Они успели удалиться куда-то еще. Голоса птиц как будто звучали громче, чем крик Джорджа. В растерянности помешкав, он сделал два шага вслед Оберону и Фреду, а затем (зов любопытства пересилил страх) вернулся на то место, где сквозь деревья проглядывала росчисть.

Видимо, она располагалась совсем рядом. И туда, как будто, даже вела тропинка.

Он начал спускаться по тропинке, и почти сразу кайма деревьев, а также замеченное им пятно солнечного света исчезли. Очень скоро исчезла и тропа. А еще через минуту-другую Джордж совершенно позабыл, с какой стати его сюда потянуло.

Увязая сапогами в мягкой земле, он сделал еще несколько шагов, и его куртка зацепилась за жестколистный болотный куст. Где? Зачем?

Джордж замер, но его ноги начало засасывать, и он с усилием двинулся вперед. Весь лес вокруг пел, заглушая мысли в его голове. Джордж забыл, кто он такой[343].

Он снова остановился. Краски вокруг были темные, но яркие, деревья мгновенно оделись нежно-зеленым маревом, пришла весна. Что привело его, испуганного, в эти места, где они, когда? Что с ним сделалось? Кто он? Джордж принялся шарить в карманах, сам не зная, что хочет отыскать, но надеясь, что находка подскажет ему, кто он такой и что делает.

Из одного кармана он извлек почерневшую трубку, от которой не было никакого проку, сколько он ни вертел ее в руках. В другом оказались старые карманные часы.

Часы: да. На их усатой, смущенно ухмылявшейся физиономии ничего нельзя было прочитать[344], но все же это была та самая, нужная находка. Часы в его руке. Да.

---

[343] Примечания: 343

Весь лес вокруг пел, заглушая мысли в его голове. Джордж забыл, кто он такой. — Джордж и Оберон попадают в «лес, где нет имен и названий» («Зазеркалье», гл. III).

[344] Примечания: 344

Часы: да. На их усатой, смущенно ухмылявшейся физиономии ничего нельзя было прочитать... — Часы, стоящие на каминной полке, ухмыляются Алисе, когда она проходит сквозь зеркало («Зазеркалье», гл. I).

Джордж уверенно решил (почти вспомнил), что принял пилюлю. Новый наркотик, с которым он экспериментировал, — удивительной, неслыханной силы. Глотая ее, он смотрел на часы, и вот что пилюля сделала: унесла его память — даже воспоминание о приеме наркотика — и ввергла его в полностью воображаемый пейзаж. Ничего себе пилюля! Выстроить в его голове целый лес с черникой и птичьим пением, чтобы там блуждал его гомункул! И все же кое-где в этот воображаемый лес проникала реальность: в руке он держал часы, по которым рассчитывал определить длительность действия нового наркотика. Он держал их в руке все время, и только теперь, когда действие пилюли начало ослабевать, вообразил, будто вынимает их из кармана. То есть представление о том, что он вынимает часы, возникло оттого, что он начал постепенно приходить в себя и реальные часы вторглись в нереальный лес. Еще немного, и ужасный, разукрашенный листвой лес померкнет и сквозь него проглянет комната, где он на самом деле сидит с часами в руке: библиотека на третьем этаже его городского особняка, и диван. Да! Где он просидел неизвестный срок, растянутый пилюлей до размеров целой жизни; просидел в окружении

друзей, которые наблюдают с ним вместе и ждут, что он изречет. Каких-нибудь несколько секунд, и их лица выплывут на поверхность, как прежде часы: Франц, и Смоки, и Элис собрались по привычке в старой пыльной библиотеке, на лицах написано тревожное и радостное ожидание — ну как, Джордж? На что это похоже? А он долгое время будет только мотать головой и мычать, неспособный говорить членораздельно, пока не утвердит себя реальность.

— Да, да, — проговорил Джордж, едва не прослезившись от облегчения, оттого что вспомнил, — помню, помню[345]. — Произнося это, он опустил часы обратно в карман и повернулся, чтобы обозреть зеленевший пейзаж. — Помню... — Он вытянул из болота один сапог, другой, и все забыл.

Кайма деревьев, и росчисть, куда падали солнечные лучи, и намек на культивированную землю. Ну, вперед. Вперед: только теперь он, спотыкаясь, пустился вниз по замшелым, черным от влаги скалам, направляясь к ущелью, вдоль которого мчался холодный поток. Джордж дышал водяными брызгами. Через реку был перекинут

[345] Примечания: 345

...помню, помню. — Возможно, аллюзия на стихотворение Томаса Гуда (1799–1845) «I Remember, I Remember...»

грубо сколоченный, наполовину обрушенный мост, внизу плавали груды веток и пенились водовороты. Вид его пугал, а далее виднелся крутой подъем. Когда Джордж, робея и тяжело дыша, осторожно ступил на мост, он забыл о том, куда тащится, при втором шаге (он наткнулся на незакрепленную поперечину и с трудом восстановил равновесие) уже не мог вспомнить, кто тащится и почему, а на следующем — в середине моста — понял, что все забыл.

Почему он обнаружил вдруг, что стоит и смотрит вниз, на воду? Что вообще происходило? Он сунул руки в карманы, надеясь, что там отыщется какая-нибудь подсказка. Ему попались старые часы, от которых не было никакого проку, и почерневшая трубка с маленькой чашечкой.

Он повертел трубку в руках. Трубка: да. «Помню», — произнес он неопределенно. Трубка, трубка. Да. Его подвал. В подвале одного из зданий, входивших в его собственный квартал, он обнаружил как-то старинный тайник — удивительная, радостная находка. Замечательная травка! Часть он выкурил, в этой самой трубке — не иначе, в этой самой трубке с почерневшей чашечкой. Внутри виднелись кусочки смолы, а все остальное содержимое трубки он вобрал в

себя, и вот — *вот!* — результат. Ничто и никогда так его не забирало! Его унесло прочь; он не стоял уже больше там, где поднес к трубке спичку, а именно на мосту, да, на каменном мосту в Парке, куда пришел, чтобы разделить трубку с Сильвией. Вместо этого вокруг него вырос какой-то мрачный лес, такой реальный, что можно было понюхать запахи. Унесло так далеко, что он, полностью забыв себя, пробирался по этому лесу часами, целую вечность, тогда как на самом деле (он помнил, помнил четко) лишь на мгновение вынул изо рта трубку — вот же она, все еще у него в руках, у него перед глазами. Да: это были самые первые признаки того, что он очухивался от, конечно, совсем недолгого, но совершенно офонарительного транса; вслед за тем перед ним появится лицо Сильвии (на ней должна быть старая черная шляпа из шелка). Джордж приготовился уже повернуться к ней (собранный с миру по нитке лес уже разрушался, и вокруг начал воздвигаться зимний Парк, замусоренный и бурый) и сказать: «Ха, смотри-ка, забористая травка, вот уж вправду ЗАБОРИСТАЯ»; а вслед за этим Сильвия, принимая у него трубку и посмеиваясь над отсутствующим выражением его лица, должна была сделать какое-нибудь замечание из

своих обычных.

— Я вижу, я помню, — произнес он, как заклинание, но с ужасом начал понимать, что вспомнил он это не в первый раз, — не в первый, куда там — однажды он все это уже вспоминал, причем совсем не так, как сейчас. Однажды? О нет, нет, быть может, уже много раз, о нет, нет. Его приковала к месту мысль о бесконечной последовательности воспоминаний, различных между собой, но их основой послужил краткий миг в лесу; бесконечный ряд повторов: о, я помню, помню; каждый эпизод вырастал в целую жизнь, но рождался он из краткого, кратчайшего мига (всего-навсего поворот головы или один шажок) в этом абсолютно необъяснимом лесу. Осознав это, Джордж ощутил, что его вдруг (но нет, не вдруг, а за долгий срок, с незапамятных времен) приговорили к аду.

— Помогите, — проговорил, а скорее выдохнул он, — помогите, о помогите.

Джордж сделал шаг по шаткому мосту, под которым пенилась лесная речка. На стене у него в кухне (хотя сейчас Джордж об этом забыл) висела картина в старинной позолоченной раме, не забранная под стекло. На ней был изображен точно такой же неустойчивый мост, по которому

шагали рука об руку двое детей, невинных и ничуть не испуганных, а может, не ведающих об опасности: белокурая девочка и темноволосый, молодцеватого вида мальчик, а сверху за ними наблюдал, готовясь протянуть руку помощи, если соскользнет поперечина или подвернется нога, ангел — белый ангел с золотой лентой на голове, с невыразительным лицом под прозрачной драпировкой, но сильный, достаточно сильный, чтобы их спасти. Как раз такую могущественную поддержку ощущал за собой Джордж (хотя оглянуться и убедиться в этом ему не хватало духу), когда, взяв за руку Лайлак или, быть может, Сильвию, храбро двинулся по скрипучим доскам к противоположному берегу.

После долгого — бесконечно долгого, поскольку он не сохранился в памяти — промежутка времени Джордж, с оцарапанными коленями и бессильно повисшими от усталости руками, выбрался на край ущелья. Справа и слева от него торчали, как коленки, две скалы, а вокруг простиралась небольшая поляна, усеянная цветами. Вблизи высился, как стража, ряд деревьев. За ними уже можно было различить плетеную изгородь и один-два дома, а также дымок из трубы.

— Ну вот, — отдуваясь, произнес Джордж, — ну

вот.

Недалеко на поляне стоял ягненок; это его жалобный голос слышался Джорджу, а не собственное потерянное сердце. Животное запуталось в зарослях дикого шиповника и, пытаясь освободиться, лишь сильнее себя ранило.

— Ну-ну, — сказал Джордж. — Ну-ну.

— Бя-я, бя-я, — откликнулся ягненок.

Джордж высвободил хрупкую черную ножку, ягненок неуклюже шагнул вперед, не переставая жалобно блеять. Он был новорожденный, непонятно как потерявший мать. Джордж приблизился, схватил ягненка за ноги и (как кто-то, кого он видел, но забыл где) взвалил себе на шею, удерживая за слабо брыкавшиеся копытца[346]. Вместе с животным (повернувшим свою глупую печальную мордочку, чтобы взглянуть ему в глаза), он направился туда, где за каймой деревьев виднелась в плетеной изгороди калитка. Она была открыта.

— Ну вот, — произнес Джордж перед калиткой. — Ну вот. Вижу, вижу.

---

[346] Примечания: 346

Джордж приблизился, схватил ягненка за ноги и (как кто-то, кого он видел, но забыл где) взвалил себе на шею, удерживая за слабо брыкавшиеся копытца. — Популярный в искусстве аллегорический сюжет «Добрый пастырь» (Христос), восходящий к евангельской притче (Лк. 15:3–7).

Ибо картина была вполне ясной: ветхий домишко с выступающими окнами, хлев, сарай для коз; огород, недавно засаженный овощами, в котором как раз копался какой-то смуглый коротышка (завидев Джорджа, он бросил инструмент и скрылся, что-то бормоча). Был здесь колодец, погреб для корнеплодов, поленница и чурбан с торчавшим из него топором. В загоне толкались голодные овцы, задиравшие морды в ожидании корма. И со всех сторон эту небольшую поляну созерцал сверху Дикий Лес, безразличный и темный.

О том, как он сюда добрался, Джордж знал не больше, чем о том, откуда вышел, но зато стало понятно, где он находится. Он находился дома.

Джордж опустил ягненка в загон, и тот поскакал туда, где его ждала ворчавшая мать. Джордж желал вспомнить хотя бы немногое, но, черт возьми, его жизнь была чередой колдовских видений или состояла из видений, вложенных одно в другое. Он уже слишком состарился, чтобы терзаться раздумьями, когда это переменилось. То, что он видел, было достаточно реально.

— Что за черт, — произнес Джордж. — Что за черт, это живое. — Он обернулся, чтобы закрыть калитку в заборе, задвинул засов и, как хороший

хозяин, для надежности подергал, дабы прочнее отгородиться от Дикого Леса и его обитателей, а потом, отряхнув руки, зашагал к своей двери.

На пустом месте

Небо, шевелилась мысль в самой глубине мозга Ариэль Хокскивилл, небо, размером не больше подушечки пальца. Сад на острове Бессмертных, долина, где все мы вечные монархи. Ритмичные покачивания и стук поезда заставляли мысль вновь и вновь двигаться по кругу.

Хокскивилл не принадлежала к тем, на кого движение поезда действует успокаивающе — напротив, оно ее ужасно раздражало. Хотя равнинный пейзаж за окном уже светлел в ожидании близкого рассвета, тусклого и дождливого, она еще не смыкала век. При посадке в поезд она объявила, что удаляется на покой, но с единственной целью — до поры до времени не встречаться с президентом. Пожилой любезный проводник пришел убрать ее постель, и Хокскивилл отослала его прочь, однако затем, окликнув, попросила принести бутылку бренди и позаботиться, чтобы никто ее не беспокоил.

— Стало быть, постель застилать не нужно, мисс?

— Нет. Это всё.

Где президентские приближенные откопали этих кротких и сгорбленных чернокожих? Такие древние и медлительные прислужники были редкостью даже во времена ее детства. А где, кстати, Президент находит такие большие старинные вагоны и колеи, по которым до сих пор можно ездить?

Хокскилл налила себе бренди, нервно скрипя зубами и чувствуя, что даже самые устойчивые дома ее памяти поколеблены этой тряской. Более чем когда-либо ей нужно было мыслить ясно, полно и никак не кругами. В багажной сетке вверху напротив лежала сумочка из крокодиловой кожи с картами.

Небеса глубоко внутри, сад на острове Бессмертных. Да, если это действительно так и существуют небеса или какое-нибудь подобное место, то с уверенностью о них можно сказать только одно: помимо прочих восхитительных свойств, они должны быть еще и просторней, чем обычный мир, который мы ради них покидаем.

Просторней: не столь ограниченное небо, не столь доступные горные вершины, более глубокие моря, где бесполезен лот.

Но Бессмертные тоже должны спать, размыш-

лять, совершать духовный моцион и искать внутри своих небес небеса еще меньше. И эти небеса, если они существуют, должны быть еще шире, безграничней, выше, глубже, чем те, первые. И так далее... «И безмернейшая точка, центр, бесконечность — Волшебное Царство, где гигантские герои одолевают в седле бескрайние пространства и переплывают безбрежные морские просторы, где нет предела возможностям, — эта окружность настолько мала, что вообще не имеет дверей».

Да, старик Брамбл был прав (разве что грешил упрощением или, наоборот, усложненностью) со своими внутренними иными мирами, к которым прилажены двери. Нет, не два мира: старой бритвой Оккама Хокскилл перерезала горло этой идее. Только один мир, но разные формы, да и что такое, в сущности, «мир»? Тот, который она видела по телевизору, «Мир Где-то Еще», мог без умножения сущностей уместиться в этот, он был не толще молекулы, однако цельный. Это была просто другая форма, художественный вымысел.

И схожей с вымыслом, с игрой «понарошку» была страна, куда родственники приглашали Хокскилл, а вернее, говорили, что она должна совершить туда путешествие. Да, путешествие,

ибо, если это была страна, попасть туда можно было только одолев дорогу.

Все это было достаточно ясно, но что толку.

Ибо китайские небеса и воображаемые страны сходствовали между собой в том, что, каким бы путем вы туда ни попали, выбирали этот путь вы сами. Собственно, почти во всех случаях такое путешествие требовало бесконечной подготовки и железной воли — по крайней мере, железной силы воображения. И какое это имело отношение к форме бытия, которая, вопреки воле этого мира или же без его ведома и согласия, оккупировала его часть за частью, захватывая фантазию архитектора, пентакль городов, трущобный квартал, плафон Вокзала — саму Столицу? Которая нападала на обитателей этой, обычной формы и уносила их прочь — или, накрывая их приливом своего собственного существования, насильственно их поглощала? Она называла эту форму Священной Римской империей, но была не права. Император Фридрих Барбаросса был всего лишь обломком, несомым этой волной по водам Времени; его сон был нарушен, как рушатся могилы под напором прилива, и как уносит наводнение мертвецов, так и его несло куда-то еще.

И унесет, если его не сумеет направить она,

Хокскилл, не желавшая очутиться в неведомом месте под властью неведомых правителей, которые могли быть очень недовольны ее попыткой взбунтоваться. Переманить его на свою сторону, как переманивают тайного агента те, за кем он шпионит. Ради этого она украла карты. С их помощью она сможет направлять императора или, по меньшей мере, урезонивать его.

И все же в этом хитром замысле имелся один немалый изъян.

Вот горе горькое. Хокскилл кинула взгляд на багажную сетку, где лежала ее сумочка. Ей подумалось, что ее попытки выстоять против этой бури так же смешны, как усилия путников, застигнутых равнодушным и неостановимым ненастьем, силу которого они себе не представляют. Айгенблик говорил об этом во всех своих речах, и он был прав, а она — слепа. Приветствовать эту стихию так же бесполезно, как отвергать ее; если ты ей понадобишься, она так или иначе тебя достанет. Хокскилл раскаивалась в своем самодовольстве, но все же она должна была спастись. Любой ценой.

Шаги. К непрерывному стуку колес примешались шаги, следовавшие по коридору к ее спальне.

Прятать карты некогда, да и в любом случае на виду они будут в большей сохранности. Все это надвигается слишком быстро, она ведь всего лишь старая женщина, не готовая к борьбе, совсем не готовая.

Только не смотреть на сумочку, внушала она себе.

Дверь распахнулась. На пороге стоял Рассел Айгенблик, из-за тряски обеими руками держась за косяк. Галстук мрачной расцветки сбился на сторону, на лбу блестели капли пота. Он уставился на Хокскилл.

— Я их носом чую, — заявил Айгенблик.

Да, вот он, изъян в хитроумном замысле. Впервые она заподозрила это обстоятельство снежной ночью в Овальном кабинете. Теперь окончательно убедилась. Император был безумен, по нему плакал сумасшедший дом.

— Что чуете, сэр? — кротко спросила она.

— Я их носом чую, — повторил он.

— Вы очень рано поднялись. Для этого еще не созрели? — Хокскилл указала на бутылку бренди.

— Где они? — Император, пошатываясь, шагнул в крохотное пространство. — Они у вас, где-то здесь.

Не смотреть на крокодиловую сумочку.

— Они?

— Карты. Карты, сука.

— Мне нужно с вами кое-что обсудить. — Она поднялась на ноги. — К сожалению, вчера я слишком поздно села на поезд, но...

Айгенблик стал ходить кругами по купе, глаза его бегали, ноздри раздувались.

— Где, — бормотал он. — Где.

— Сэр, сэр, вы должны меня послушать. — Хоксквилл старалась держаться, но в ней росло ощущение безнадежности.

— Карты.

— Вы встали не на ту сторону, — ляпнула она, не сумев умно сформулировать свою мысль. Ее ужасно тянуло посмотреть на сумочку, которую Айгенблик не замечал на багажной сетке. Он начал простукивать стены в поисках тайника. — Вы должны выслушать. Те, кто вам наобещал с три короба. Они не собираются выполнять свои обещания. Даже если бы могли. Но я...

— Вы. — Айгенблик обернулся. — Вы! — Он расхохотался. — Курам на смех!

— Я хочу вам помочь.

Он остановился. В обращенных на Хоксквилл карих глазах читались упрек и бесконечная

печаль.

— Помочь. Вы. Помочь. Мне.

Она неудачно выбрала слова. Айгенблик понимал (это было написано на его лице), что она никогда не стремилась ему помочь, не хотела этого и теперь. Может, он был сумасшедшим, но никак не глупцом. Враждебное выражение его лица заставило Хокскvилл отвести взгляд. Похоже было, что ей никак и ни в чем его не убедить. То, чего он хотел сейчас, без ее помощи окажется бесполезной игрушкой, но как ему это объяснить?

Хокскvилл обнаружила, что просвечивает взглядом сумочку в багажной сетке. Она почти чувствовала на себе ответный взгляд карточной колоды.

Она отвела взгляд от сумочки, но Тиран успел его перехватить. Отодвигая Хокскvилл в сторону, он потянулся к сетке.

— Стоп! — выкрикнула Ариэль, вкладывая в это слово все те силы, к которым поклялась в свое время обращаться только по крайней надобности и ради доброй цели. Император замер. Рука его все еще тянулась к сетке, могучие силы сопротивлялись команде Хокскvилл, но двигаться он не мог. Схватив крокодиловую сумочку, Хокскvилл

выбежала из купе.

В коридоре она едва не столкнулась со сгорбленным, еле передвигавшим ноги проводником.

— Будете спать, мисс? — вежливо осведомился он.

— Это ты будешь спать, — рявкнула Хокскуилл, протискиваясь мимо него.

С закрытыми глазами и открытым ртом проводник сполз по стенке, засыпая. До Хокскуилл, уже переходившей в другой вагон, донесся яростный вопль Айгенблика. Отодвинув тяжелый занавес, она очутилась в спальном вагоне, где от крика Айгенблика пробудились слуги и, бледные и встревоженные, начали раздвигать занавески у верхних и нижних коек и выглядывать наружу. Они заметили Хокскуилл, и она поспешила задернуть занавес и вернуться в свой вагон.

Прячась в стенной нише, она заметила шнур, на который часто обращала внимание, когда прогуливалась по поезду. Потянувшему за него из озорства или по злому умыслу грозил немалый штраф. Хокскуилл не очень-то верилось, что этот хилый шнур действительно способен остановить поезд, но, услышав шаги и шум в дальнем вагоне, она схватила его и дернула, а потом ринулась к двери и взялась за ручку.

Спустя несколько секунд поезд с оглушительным шумом дернулся и застыл. Удивляясь сама себе, Хокскивилл рванула дверь.

По ее голове застучали капли. Поезд остановился на пустом месте, среди темного, поливаемого дождем леса, где там и сям таяли последние сугробы. Холод пробирал до костей. Полумертвая от страха, Хокскивилл с криком спрыгнула на землю и, путаясь в юбке, стала карабкаться вверх по насыпи. Она торопилась, словно убегая от мысли о невозможности того, что делает.

Бледно-серый рассвет был, казалось, еще непрозрачней ночи. На вершине насыпи, в лесу, Хокскивилл, отдуваясь, обернулась, чтобы бросить взгляд на темную ленту остановившегося поезда. Внутри зажигались огни, из открытой двери выпрыгнул какой-то человек и сделал знак другим. Натыкаясь на скрытые под снегом кустики, она побежала в лес. Позади слышались крики. Погоня началась.

Хокскивилл обогнула большое дерево, прислонилась спиной к стволу и, с присвистом хватая ртом обжигающе холодный воздух, прислушалась. Трещали ветки: лесу доставалось за то, что дал ей прибежище. Оглядевшись, она заметила вдали слева туманную фигуру, державшую в ру-

ках какое-то короткое и толстое, темное орудие.

Тайный смертный приговор. Никто не узнает.

Трясущимися руками Хокскивилл открыла крокодиловую сумочку. Нащупала среди разрозненных карт сафьяновый футлярчик. Пар от дыхания мешал видеть, пальцы неудержимо дрожали. Открыв футляр, она стала искать там косточку, выбранную среди тысячи с лишком костей абсолютно черного кота. Куда же подевалась проклятая кость. Хокскивилл ее нащупала. Зажала двумя пальцами. Треск кустов поблизости напугал ее, она вскинула голову, и крохотный амулет выскользнул из ее руки. Она почти поймала его, прижав к юбке, но поторопилась схватить и упустила вновь. Косточка приземлилась на границе снега и черных листьев. Со стоном отчаяния Хокскивилл сделала невольный шаг и наступила на нее.

Выкрики преследователей, приблизившись, зазвучали мягче и уверенней. Хокскивилл побежала прочь из своего убежища. По дороге она заметила еще одного из вояк Айгенблика или того же самого. В любом случае, он был вооружен и тоже ее увидел.

Зная, что душа ее надежно спрятана, она никогда особенно не задумывалась о том, что

произойдет с ее бренным телом в том фатальном случае, если его пронзит пуля и прольется кровь. Она была уверена, что не может умереть. Но что тогда произойдет? Что? Обернувшись, она увидела, что преследователь целится. Прозвучал выстрел, и она, не зная, ранило ее или просто оглушило, повернулась, чтобы бежать дальше.

Ранило. К холодным струям дождя примешалась теплая струйка крови. Где болит? Она бежала дальше, беспомощно запинаясь, одна нога как будто не слушалась. Хокскилл шатнулась к высоким деревьям, в ушах звучали голоса преследователей, направлявших друг друга короткими окликами. Они были совсем близко.

Пути бегства существовали, она не сомневалась, что может найти какой-нибудь выход. Но в тот момент ей ничто не вспоминалось.

Ничто не вспоминалось! Она лишилась своего искусства. И это было справедливо: она осквернила его ложью, кражей, искала власти, упиваясь гордыней; ради эгоистических целей она прибегла к силам, от которых когда-то отреклась. Все совершенно справедливо. Загнанная в угол, она обернулась; темные очертания преследователей виднелись со всех сторон. Они, конечно, собирались для верности приблизиться. Грохнул

выстрел, второй. Но что же с нею станет? Она думала, что не доступна боли, но боль нарастала в ее теле, и это было ужасно. Бежать было бессмысленно; перед глазами сгустился черный туман. И все же Хокскуилл обернулась, чтобы опять пуститься в бегство.

Там была тропа.

Там была тропа, отчетливо видная сквозь сумрак. И там... но она могла туда попасть, ведь так? В тот маленький домик на прогалине. Ее резко встряхнуло выстрелом, но домик, словно бы попав под солнечный луч, вырисовался яснее: забавный домик — такого странного Хокскуилл ни разу не видела. Что он ей напоминал? Пряничный, многоцветный, дымовые трубы похожи на клоунские цилиндры, в глубоких окошках сияют веселые огоньки, дверь зеленая, круглая. Гостеприимная, приветливая зеленая дверца, как раз открывшаяся; дверца, из которой выглядывало, кивая Хокскуилл, широко улыбавшееся лицо.

Игра в пятьдесят две

Они выпустили в нее несколько пуль, потому что испытывали суеверную тревогу, и она выглядела не живее любого другого покойника, виденного ими прежде: та же небрежная, ку-

кольная расслабленность членов, то же пустое выражение лица. Она лежала неподвижно. Под носом не собирался пар от дыхания. Удостоверившись наконец, один из преследователей схватил крокодиловую сумочку, и все они вернулись в поезд.

Всхлипывая и хрипло хохоча, прижимая к груди беспорядочную кучу карт, одни вверх лицом, другие рубашкой, Рассел Айгенблик, президент, наконец, наконец-то потянул за шнур, который должен был вновь привести поезд в движение. Ослепленный страхом и радостью, он пустился вперед по вагонам, едва не потеряв равновесие, когда поезд рывком тронулся. Поезд пустился вперед по своему пути, извергая под дождем клубы пара. Между Сандаски и Саут-Бендом[347] дождь нехотя превратился в мокрый снег и перешел в буран; машинист тщетно пытался что-нибудь разглядеть. Внезапно перед ним открылась пасть темного туннеля, и он вскрикнул, поскольку никакого туннеля здесь никогда не было, но ничего предпринять не успел (да и что он мог сделать?), и поезд с грохотом погрузился в беспредельную

[347] Примечания: 347

Между Сандаски и Саут-Бендом... — Сандаски — город в штате Огайо; Саут-Бенд — город в штате Индиана; его название (South Bend) означает «южный поворот».

темноту, более шумную и мрачную, чем ликование Барбароссы.

Когда он, без единого пассажира, достиг следующей станции (городка с индейским названием, где уже многие годы не останавливались поезда), проводник, которого Ариэль Хокскилл в спешке отодвинула в сторону, пробудился.

Но что же это, черт возьми?

Проводник поднялся и медленно (как-никак, четыре десятка лет службы позади) поплелся по вагонам, не зная, чему больше удивляться: то ли самому себе, потому что заснул, то ли остановке вне расписания, то ли отсутствию пассажиров.

На середине странствия по пустым вагонам ему встретился бледный машинист, и они посовещались, но не смогли поведать друг другу ничего путного. Кроме них в поезде никого не было: кондуктор отсутствовал, потому что поезд был специальный и все пассажиры знали, куда направляются. Так проводник и сказал машинисту: «Они знали, куда направляются».

Машинист вернулся к себе в кабину, чтобы сообщить о случившемся по радио, хотя не решил еще, что будет говорить. Проводник продолжил осмотр вагонов. По коже у него бежали мурашки. В вагоне-баре ему попалась, среди пустых

стаканов и раздавленных сигарет, колода карт, старинных карт, разбросанная словно бы в ярости[348].

— Кто-то играл в пятьдесят две, — сказал он.

Фигуры на картах — валеты, короли и дамы, не похожие на тех, к каким он привык, — казалось, молили его собрать их, и проводник внял призыву. Последнюю карту (вероятно, джокера — человека с бородой, который падал с лошади в реку) он нашел застрявшей на краю окна. Джокер глядел наружу и словно бы собирался убежать. Когда проводник собрал и аккуратно сложил всю колоду, он застыл с картами в руках, чувствуя всем существом целый мир и свое в нем место — где-то в самом центре, а также значение, которое спустя века будет придано его нынешнему одинокому пребыванию в пустом поезде, на покинутой станции.

Ибо Тирану, Расселу Айгенблику, не было суждено забвение. Его народ ждали долгие трудные времена, горькие времена, когда враги Тирана, оставшись без него, ополчились друг на друга,

---

[348] Примечания: 348

В вагоне-баре ему попалась... колода карт, старинных карт, разбросанная словно бы в ярости. — Ср. финал «Алисы в Стране чудес»: «Вы ведь всего-навсего колода карт!» — кричит девочка Королю, Королеве и придворным (пер. Н. Демуровой).

и непрочная Республика не раз раскалывалась и принимала все новые формы. В ходе длительной борьбы новое поколение должно было забыть невзгоды и тяготы, перенесенные их родителями под властью Зверя; они станут с растущей ностальгией, с глубоким чувством потери оглядываться назад, на те годы, только-только скрывшиеся за горизонтом живой человеческой памяти, когда, как им будет казаться, солнце не сходило с небосвода. Труд Айгенблика, скажут они, остался незавершенным, Откровение — несбывшимся; уйдя, он покинул свой народ в неволе.

Но он не умер. Нет, он ушел, исчез, ускользнул как-то ночью перед рассветом, но нет, не умер. Где-то в Туманных или Скалистых горах, глубоко в кратерном озере или далеко под руинами самой Столицы лежит он, заснувший, в окружении своих верных помощников, а его рыжая борода отрастает все длиннее. Он ждет того дня (о котором говорят многочисленные предсказания), когда, ради спасения народа от величайшей опасности, ему предстоит пробудиться вновь.

Глава пятая

Вы есть или вас нет? Ощущаете вы свое существование или нет? Где вы: в стране или на границе? Смертные вы или бессмертные?

«Парламент птиц»

— Мне нужна чистая чашка, — прервал ее Шляпник. — Пусть каждый пересядет на соседний стул.

«Алиса в Стране чудес»

То, что предсказанная Софи собака, которая приветствовала Дейли Элис во дворе, оказалась Спарком, не слишком ее удивило, но могла ли она ожидать, что в старике на том берегу, назначенном ей в проводники, она узнает Джорджа Мауса.

— Я не считала тебя стариком, Джордж. Только не стариком.

— Слушай, я старше тебя, а ведь ты, детка, совсем не младенец.

— Как ты сюда попал?

— А куда я попал? — переспросил он.

Ее благословение

Они шли рядом через темный лес, беседуя о множестве вещей[349]. Дорога была долгой, весна расцвела еще больше, леса благословение сделались гуще. Элис не была уверена, что нуждается в проводнике, но общество Джорджа ее радовало. Леса были незнакомые и жуткие, а Джордж нес толстую палку и знал дорогу. «Чащоба», — сказала она и вспомнила при этом свое свадебное путешествие; вспомнила, как Смоки спросил про деревья у дома Руди Флада, не тот ли это лес, на краю которого расположен Эджвуд. Вспомнила ночь в мшистой пещере. Вспомнила, как они шли через лес к дому Эми и Криса. «Ну и чащоба», — сказал Смоки, и она отозвалась: «Зато защищены». Одно за другим в ней пробуждались и разворачивались как живые эти и многие другие воспоминания, но, едва успев расцвести, тут

[349] Примечания: 349

Они шли рядом через темный лес, беседуя о множестве вещей. — Краули соединяет в одной фразе несколько строк из баллады «Морж и Плотник» («Зазеркалье», гл. IV): заглавные герои также «шли под руку», пока не «пришло время поговорить о множестве вещей» (в пер. Д. Орловской: «Пришла пора / Подумать о делах...»). С другой стороны, Джордж доводит Дейли Элис до края леса точь-в-точь, как Белый Рыцарь провожает Алису («Зазеркалье», гл. VIII). С Белым Рыцарем, напомним, Джордж уже сравнивался.

же бледнели и опадали, и Элис понимала, что явились они к ней в последний раз, или, вернее, все вызванные памятью картины тут же переставали быть воспоминаниями и Как-то делались предчувствиями, то есть тем, чего не было в прошлом, но что Элис с глубокой радостью могла вообразить себе в будущем.

— Ну ладно, — произнес Джордж. — Я вроде бы дальше не пойду.

Они подошли к опушке леса. Вдали виднелись ярко освещенные прогалины, похожие на лужи, солнечные лучи падали на них прямоугольными пятнами сквозь кроны высоких деревьев. Далее лежал ослепительный солнечный мир, недоступный их привыкшим к тусклой окраске глазам.

— Тогда до свиданья. Ты придешь на пир?

— Конечно. А как же иначе?

Они немного постояли молча, а потом Джордж — смущенный, потому что никогда не делал этого прежде, — попросил у Элис благословения, и она охотно благословила и его, и его стада, и все плоды трудов его, и его старую голову. Она наклонилась, чтобы поцеловать его, опустившегося на колени, а потом пошла дальше.

Такой большой

Ряд похожих на лужи прогалин тянулся долго. Эта часть пути, подумала Элис, была пока самой лучшей: фиалки, свежий, омытый росой папоротник, камни в сером лишайнике, потоки благодетельного солнца. «Такой большой, — подумала она. — Такой большой». Мелкая живность отвлеклась от своих весенних занятий, чтобы посмотреть, как она проходит мимо; гул недавно народившихся насекомых напоминал непрерывное дыхание. «Папе бы тут понравилось», — мелькнуло в голове у Элис, и в ту же секунду ей стало ясно, каким образом он научился (или научится) понимать язык животных: она и сама их понимала, достаточно было просто слушать.

Молчаливые кролики и шумные сойки, большие рыгающие лягушки и барсуки с их остроумными замечаниями... но кто это там, на следующей прогалине, стоит на одной ноге, поднимая то левое, то правое крыло? Аист, ведь верно?

— Мы знакомы? — спросила Элис, подойдя. Птица испуганно отпрыгнула. Вид у нее был виноватый и смущенный.

— Не уверена, — ответила птица. Свесив длин-

ный красный клюв, она взглянула на Элис вначале одним глазом, потом обоими. Похоже было, что она, одновременно встревоженно и строго, рассматривает собеседницу через пенсне.
— Совсем не уверена. Говоря правду, я вообще ни в чем не уверена полностью.

— Мне кажется, да. Не случалось ли вам некогда выводить потомство на крыше Эджвуда?

— Может, и случалось. — Аистиха начала чистить клювом перья, но так неуклюже, словно не ожидала обнаружить на себе оперение. Элис расслышала, как она бормотала себе под нос: «Похоже, это будет очень тяжкое испытание».

Элис помогла ей высвободить маховое перо, повернутое не в ту сторону, и аистиха, с некоторым стеснением распушив перья, спросила:

— Не будете ли вы возражать, если я немного с вами пройдусь?

— Конечно, не буду. Если вы уверены, что хотите идти, а не лететь.

— Лететь? — встревожилась птица. — Лететь?

— Я, собственно, и не знаю, куда иду. Я только-только сюда попала.

— Неважно, — кивнула аистиха. — Я и сама, можно сказать, только-только сюда попала.

Они пошли вместе. Аистиха ступала так, как

обычно ходят аисты: длинными, осторожными шагами, словно опасаясь наступить на что-нибудь неприятное.

— И как же вы сюда попали? — спросила Элис, потому что ее спутница больше не произнесла ни слова.

— Да так, — буркнула она.

— Я расскажу вам мою историю, но только в обмен на вашу. — Элис видела, что птица хочет ей что-то поведать, но не решается.

— Зависит от того, — произнесла наконец аистиха, — чью историю вы хотите услышать. Ну ладно. Хватит обиняков.

— Когда-то, — продолжила она после длительной паузы, — я была настоящим аистом[350]. Или, вернее, я — или она — была настоящим аистом и ничем больше. Я очень плохо рассказываю, но, во всяком случае, я была также — или мы были также — молодой женщиной, очень гордой и честолюбивой, которая в другой стране научилась нескольким весьма сложным трюкам у мастеров, куда более опытных и мудрых, чем

[350] Примечания: 350

Когда-то... я была настоящим аистом. — Ср. рассказ Черепахи Квази (или, если вы предпочитаете перевод Б. Заходера, — Рыбного Деликатеса) из «Алисы в Стране чудес» (гл. IX): «Когда-то... я был настоящей Черепахой».

она сама. Не было ни малейшей, даже крошечной, нужды испытывать один из этих трюков на ни в чем не повинной птице, но женщина была очень молода, легкомысленна и ей представился удобный случай... Трюк — или манипуляция — удался очень хорошо, и женщина была заворожена своими новыми возможностями. Но каково пришлось аисту... боюсь, она — или я — об этом нисколько не думала, хотя я, то есть аистиха, не могла думать ни о чем другом... Мне, видите ли, было дано сознание. Я не знала, что оно не мое, а чужое, одолженное, а скорее данное, спрятанное во мне для надежности. Я, то есть аистиха, думала: это очень печально, однако я совсем не аист. Я считала себя женщиной, которую какой-то злодей или уж не знаю кто превратил в птицу или заключил в тело птицы. Памяти о том, как я была женщиной, у меня не сохранилось, потому что она, конечно, оставила у себя ту жизнь с воспоминаниями и продолжала жить как ни в чем не бывало. А мне пришлось разгадывать загадки... Я далеко летала и многому обучилась, проходила через двери, где не проходил до меня ни один аист. Я дала жизнь птенцам, вырастила их — да, как-то в Эджвуде, — выполняла и другие обязанности, о которых нет нужды упоминать; аисты,

знаете ли... Как бы то ни было, помимо прочего я узнала, — точнее, мне сказали — что предстоит возвращение или пробуждение великого Короля, а когда он освободится, наступит и мой черед, и тогда я по-настоящему сделаюсь человеком.

Аистиха замолкла и остановилась, пристально во что-то всматриваясь; Элис, не зная, умеют ли аисты плакать, разглядывала ее, и, хотя из красноватых глаз птицы не скатилась ни одна капля, решила, что это у аистов зовется плачем.

— И я им стала, — продолжила аистиха. — Теперь я женщина. Наконец. Но я по-прежнему — и навсегда — настоящий аист, каким была раньше, когда не была ничем другим. — Произнеся это печальное признание, птица повесила голову. — Элис, вы меня знаете. Я есть, или была, или мы были, или будем... в общем, я ваша родственница, Ариэль Хоксквилл[351].

Элис заморгала. Она давала себе слово ничему здесь не удивляться; и в самом деле, поизучав аистиху или Хоксквилл, она заподозрила, что слышала эту повесть прежде или знала о том, что

---

[351] Примечания: 351

Я есть, или была, или мы были, или будем... в общем, я ваша родственница, Ариэль Хоксквилл. — Ср. в финале «Меча в камне» Т. Х. Уайта монолог Мерлина, который рассказывает юному Артуру о его происхождении, путаясь в прошедшем и будущем временах.

подобное когда-нибудь случится или случалось в прошлом.

— Но где, — начала она, — то есть как, где...

— Она мертва, — отозвалась аистиха, — пришла в негодность. Убита. Мне в самом деле больше некуда пойти. — Она открыла красный клюв и с шумом захлопнула, обозначив этим вздох. — Ладно. Не важно. Просто нужно время, чтобы привыкнуть. Ее разочарование — я говорю об аисте. Мое новое... тело. — Она подняла крыло и смерила его взглядом. — Летать. Ну что ж. Быть может.

— Не сомневаюсь. — Элис положила руку на мягкое плечо аиста. — И думаю, вы уживетесь, то есть уживетесь с Ариэль, я хочу сказать, уживетесь с аистом. Приспособитесь. — Она улыбнулась; ей словно бы пришлось мирить двух детей.

Некоторое время аистиха шагала молча. Ощущая у себя на плече руку Элис, она как будто успокоилась, перестала раздраженно ерошить перья.

— Быть может, — сказала она наконец. — Только... ну ладно. Отныне и во веки веков. — У нее перехватило горло; Элис увидела, как по ее шее заходил кадык. — Страшно подумать.

— Знаю, — кивнула Элис. — Жизнь никогда не оправдывает твоих ожиданий, не оправдывает даже чужих прогнозов, как ты их понимаешь, хотя по-своему, наверное, оправдывает. Вы приспособитесь. Вот и все.

— Мне теперь очень жаль, — добавила Ариэль Хокскилл, — хотя, конечно, уже поздно раскаиваться, что я не приняла тем вечером ваше предложение идти вместе с вами. Нужно было согласиться.

— Да-да.

— Мне казалось, у меня своя судьба. Но я все время была частью Повести, правда? Со всеми остальными.

— Наверное. Наверное, вы правы, раз уж вы находитесь здесь. Но скажите, что сталось с картами?

— Боже, — Хокскилл стыдливо отвернула красный клюв, — мне вовек не отмыть свою совесть, верно?

— Неважно, — бросила Элис. Они прошли почти все прогалины; дальше лежала совсем иная местность. Элис остановилась. — Уверена, вам удастся. Я имею ввиду, очистить свою совесть. За то, что не пошли, и за прочее. — Она оглядела край, по которому ей предстояло идти дальше.

Большой, такой большой. — Думаю, вы окажете мне помощь. Надеюсь.

— Конечно, — убежденно заверила Хоксквилл. — Конечно.

— Потому что помощь мне понадобится. — Где-то вдалеке, за зелеными изгородями, среди волнистого зеленого моря, там, где серебрилась на солнце свежая трава, имелся, как помнила или предвидела Элис, холм, на нем — дуб, тесно сросшийся с терновником. Под ним тот, кто знает дорогу, обнаружит маленький домик с круглой дверцей, на дверце — медный молоток. Но стучать не придется, потому что дверца будет открыта, а дом — пуст. И там она должна будет взяться за вязанье и за другие обязанности, такие обширные и такие новые... — Мне нужна будет помощь, — повторила Элис. — Очень нужна.

— Я помогу, — заверила ее родственница. — Мне это под силу.

Где-то еще, за этими голубыми холмами, далеко ли? Открытая дверь и маленький домик, достаточно большой, чтобы вместить крутящийся земной шар, кресло, чтобы, качаясь, отбрасывать прочь годы, старая метла в углу, чтобы выметать зимы.

— Пойдем, — сказал аист. — Мы привыкнем.

Все будет хорошо.

— Да, — согласилась Элис. Помощь будет, иначе невозможно. Одной ей не справиться. Все будет хорошо. Но она еще не вышла из леса. Она долго стояла, ощущая лицом вопрошающий ветер, вспоминая и забывая множество вещей.

Больше, много больше

Смоки Барнабл, в теплом свете множества электрических лампочек, устроился в библиотеке, чтобы вновь просмотреть последнее издание «Архитектуры загородных домов». Окна были распахнуты, и, пока он читал, в комнату беспрепятственно проникала майская ночь, свежая и прохладная. Остатки зимы словно бы вымело новой метлой.

Далеко наверху, так же бесшумно, как изображаемые ею звезды, вращалась «оррери». Крохотные, но неудержимые движения через множество латунных шестеренок, смазанных маслом, передавали импульс маховому колесу с двадцатью четырьмя стрелками, которое было вновь заключено в черный корпус, но сообщало свою силу генераторам, питавшим весь дом светом и энергией. Смоки предполагал, что эти движения будут продолжаться годы и годы, пока

не износятся все подшипники на драгоценных камнях, все ремни из высококачественного нейлона и кожи, все острия из закаленной стали. Дом, его дом, словно хлебнув тонизирующего питья, встрепенулся, свежий и полный новых сил. Подвалы были осушены, чердаки проветрены; переполнявшую дом пыль втянул мощный старинный пылесос, вмонтированный в стены (Смоки смутно помнилось, что он существует, но никто бы не подумал, что он может снова заработать); начала затягиваться даже трещина в потолке музыкальной комнаты, хотя каким образом — это оставалось тайной. Были извлечены из закромов старинные запасы электрических лампочек, и дом Смоки, единственный на всю округу, постоянно сиял огнями, как маяк или вход в бальный зал. Это делалось не из гордости (хотя гордиться было чем), но потому, что Смоки было проще расходовать лишнюю энергию, чем ее накапливать (да и к чему?) или отключать машину.

Кроме того, освещенный дом проще найти, огни помогут сориентироваться тому, кто заблудится или будет возвращаться домой в новолуние.

Смоки перевернул тяжелую страницу.

Здесь содержалась жуткая идея какого-то мсти-

тельного спирита. Конечно, после смерти нас ждет не ад, а подъем с Уровня на Уровень. Вечных мук не будет, но продвижение может оказаться сложным, по крайней мере длительным. Перевоспитание для неподатливых или тупых душ. Это было великодушно, однако горе скептикам: по мысли автора, те, кто отказывается видеть свет в этой жизни, проявят такое же упрямство или окажутся слепы и в будущей; они обречены вечно и одиноко странствовать в холодной темноте[352], думая, что кроме нее ничего нет, в то время как вокруг, неведомо для них, будут веселиться сонмы святых, бить фонтаны, расцветать цветы, кружиться сферы, вершить свои труды души великих умерших.

Одиночество.

Было ясно, что он не сможет отправиться туда, куда призваны остальные, если его желание по силе не сравняется с верой. Но как желать иного мира, отличного от этого? Вновь и вновь он

---

[352] Примечания: 352

Здесь содержалась жуткая идея какого-то мстительного спирита. Конечно, после смерти нас ждет не ад, а подъем с Уровня на Уровень... однако горе скептикам... они обречены вечно и одиноко странствовать в холодной темноте... — Возможно, имеется в виду основатель спиритической доктрины Ален Кардек (1804–1869), автор таких трудов, как «Книга духов» (1857), «Книга медиумов», «Евангелие в толковании спиритизма» (1864) и др. Или же Эндрю Джексон Дэвис, или сам Сведенборг.

изучал описания в «Архитектуре», но не находил убедительных свидетельств того, что Там он найдет мир, подобный тому, в котором жил: такой же богатый, бесконечно странный и в то же время бесконечно знакомый.

Там всегда Весна, но ему хотелось еще и зимы, пасмурных дней и дождя. Он желал всего без изъятия: своего очага, долгих воспоминаний и тех событий, которые их породили, своих маленьких удовольствий и огорчений тоже. Он желал смерти, о которой в последнее время частенько размышлял, и места среди других, кого сам когда-то предал земле.

Смоки поднял взгляд. В оконном стекле, среди созвездия отраженных лампочек, поднялась луна. Это был не более чем месяц, хрупкий и белый. Когда луна сделается полной, в день середины лета, они отправляются.

Рай. Мир где-то еще.

На самом деле Смоки ничего не имел против того, что рассказывается некая длинная Повесть, примирился даже с тем, что в нее кто-то вплел его жизнь; ему хотелось только, чтобы Повесть продолжалась, не останавливалась, чтобы ее неведомые рассказчики бормотали без конца, усыпили его своими чуть слышными анекдо-

тами и сопровождали бы своим говором его могильный сон. Он не желал, чтобы его дергали, ошеломляли высшими выводами, печальными и страшными, к которым он был не готов. И еще он не желал, чтобы у него отнимали его жену.

Смоки не желал, чтобы его уводили в другой мир, недоступный его воображению; в некий маленький мир, который не может быть таким большим, как этот.

Может, шепнул пролетавший мимо ветерок.

Тот мир не может содержать в себе все времена года в их полноте, все радости, все печали. Не может содержать в себе историю его пяти чувств и все то, что они узнали.

Может, шепнул ветер.

Он не вместит и того, что составляло его мир, не говоря уже о большем.

Больше, шепнул Ветер, *больше, много больше*.

Смоки поднял глаза. Занавески на окне пошевелились.

— Элис? — спросил он.

Уронив тяжелую книгу на пол, Смоки встал. Подошел к высокому окну и выглянул наружу. Обнесенный стеной сад был темным вестибюлем, за открытой дверью в стене открывался залитый лунным светом дерн и туманный вечер.

Она далеко, она там, произнес Ветерок.

— Элис?

Она неподалеку, она под боком, произнес другой ветер; но Смоки не узнал тень, которая, как ему почудилось, устремилась ему навстречу через сад, заполненный ветром и темнотой. Он долго стоял, всматриваясь в ночь, как в лицо, словно ожидая услышать ее голос, который многое объяснит. Он надеялся на это, но не услышал ничего, кроме имени, произнесенного, быть может, им же самим.

Луна скрылась за крышей. Смоки медленно поднялся в свою спальню. Когда луна села и бледные рожки обозначили то место, где должно было вскоре встать сонливое солнце, Смоки пробудился, чувствуя, как бывает с теми, кто страдает бессонницей, что ни минуты не спал. Он надел на себя старый обтрепанный халат с тесьмой на манжетах и карманах, и вскарабкался в верхний этаж, по пути включив в холле бра, которое кто-то, не подумав, отключил.

Освещенная сиянием планет и утренней зарей, бессонная система казалась недвижной, вроде утренней звезды, которая виднелась снаружи, в круглом окне; и все же она двигалась. Наблюдая за ней, Смоки вспоминал ту ночь, когда он при

свете лампы определял по эфемеридам градусы, минуты и секунды восхождения планет и, установив последнюю луну Юпитера, уловил бесконечно малую дрожь ее ускорения. И услышал, как первый из стальных крокетных шаров без посторонней помощи падает в подставленную ладонь нелепого неравновесного колеса. Спасен. Он вспомнил это чувство.

Смоки положил руку на черный корпус, где находилось колесо, и ощутил тиканье более размеренное, чем биение собственного сердца, и более упорное, и вообще более устойчивое. Он рывком распахнул круглое окошко, впуская внутрь веселую волну птичьего пения, и устремил взгляд поверх черепичной крыши. Еще один хороший денек. Такие выдаются не часто. С этой высоты, отметил он, открывается далекий вид на юг; можно разглядеть и колокольню в Медоубруке, и крыши Плейнфилда. Между ними зеленые массивы лесов под пленкой тумана, за городами леса сгущаются, переходя в Дикий Лес, на краю которого стоит Эджвуд. Делаясь все глуше и глуше, она тянется на юг, далеко за горизонт.

Лишь смелому

Они дошли до сердца лесов, но это было покинутое королевство. Они не приблизились ни к какому Парламенту, не приблизились и к той, кого Оберон искал, но чье имя забыл.

— Как далеко можно зайти в лес? — спросил Фред.

Оберон знал ответ.

— Только до середины. Потом ты идешь уже из леса.

— Со здешним лесом не так, — проговорил Фред. Шаги его замедлились, на подошвы налипал мох и кишащая червями почва. Он крепче утверждался на земле.

— Куда? — спросил Оберон. Отсюда все пути сливались в один.

Он видел ее, видел не однажды: она мелькала вдали ярким пятном среди темных опасностей леса; судя по всему, она чувствовала себя здесь как дома. Как-то она стояла одна, задумавшись, в тигрово-полосатой тени (он почти готов был поклясться, что это она), в другой раз спешила прочь в сопровождении жавшихся к ее ногам маленьких существ; на Оберона она не оглянулась, но зато его заметил один из ее спутников, с остры-

ми ушками, желтыми глазами и бессмысленной улыбкой зверька. Она неизменно спешила куда-то еще, а он, пытаясь ее догнать, всякий раз упускал из виду.

Он бы позвал ее, если бы не забыл имя. Чтобы подстегнуть свою память, он называл буквы алфавита, но они оборачивались мокрым мхом, пышным папоротником, раковиной улитки, копытцем фавна; все звуки, казалось, взывали к ней, но не называли ее имени. И потому она исчезала, не заметив его, и он только углублялся и углублялся.

Теперь Оберон достиг центра, но и там не обнаружил ее — каково бы ни было ее имя.

Смуглые груди? Что-то смуглое[353]. Лавр или паутина, что-то вроде этого; фиалка или что-то, начинающееся с си: сирень или синица.

— Ну вот, — заявил Фред Сэвидж, — похоже, дальше я не пойду. — Его пончо сделалось заскорузлым и рваным, штанины превратились в лохмотья, из ветхих галош торчали пальцы. Он попробовал оторвать ногу от земли, но не смог. Голые пальцы зарылись в почву.

---

[353] Примечания: 353

Смуглые груди? Что-то смуглое. — Возможно, аллюзия на 130-й сонет Шекспира: «...her breasts are dun» (в пер. С. Степанова: «И не белее снега смуглость кожи»).

— Подожди, — сказал Оберон.

— Ничего не поделаешь. Дрозды в волосах моих свили гнездо[354]. Недурно. О'кей.

— Пойдем. Без тебя я не смогу.

— Иду-иду, — отозвался Фред, покрываясь побегами. — Всё иду, всё веду. Только с места не схожу. — Меж его больших, укоренившихся в земле пальцев выскочили внезапно полчища бурых грибов. Оберон перевел взгляд выше, еще выше. Суставы пальцев удваивались, утраивались, дробились на сотни отростков. — Эй, парень. День напролет глядеть на Господа Бога, понимаешь? Мне бы уловить луч-другой, ты уж на меня не серчай. — Его лицо запрокинулось назад, исчезая в стволе, тысячи зеленых пальцев потянулись к верхушкам деревьев. Оберон схватился за ствол.

— Нет, — взмолился он, — черт возьми, нет.

Он беспомощно сел у ног Фреда. Теперь он уж точно пропал. Какое же дурацкое, дурацкое безумство желаний привело его сюда, где ее нет, в это ничье княжество, где она никогда не была, где он забыл о ней все, кроме своей к ней тяги. Оберон в отчаянии спрятал голову в ладонях.

---

[354] Примечания: 354

Дрозды в волосах моих свили гнездо. — Слегка измененная строка из стихотворения «Деревья» (1914) американского поэта Джойса Килмера (1886–1918).

— Эй, — произнесло дерево деревянным голосом. — Эй, да будет тебе. Я дам совет. Послушай.

Оберон вскинул голову.

— Лишь смелому, — произнес Фред, — да, лишь смелому наградой красота[355].

Оберон стоял неподвижно. Слезы проделали две дорожки на его грязных щеках.

— Порядок, — сказал он.

Пригладил себе волосы, сбрасывая сухие листья. Оберон тоже одичал, как будто всю жизнь прожил в лесу; его манжеты покрылись плесенью, борода была испачкана соком ягод, в карманы заползли гусеницы. Запустел.

Придется начинать все сначала, только и всего. Храбрым Оберон не был, но имел в заначке хитрости. Чему-то ведь он учился? Нужно овладеть ситуацией, оседлать ее. Если это ничье княжество, то надо бы возвести себя на его престол. Придумать бы только как, и тогда все уладится. Как?

Положись на разум. Нужно *думать*. Требуется упорядочить окружающий беспорядок. Нужно

---

[355] Примечания: 355

...лишь смелому наградой красота. — Немного измененная строка из стихотворения Джона Драйдена (1631–1700) «Пиршество Александра, или Торжество гармонии» (1697). В переводе В. А. Жуковского: «Лишь смелому в боях наградой красота».

определить свое местоположение, составить список, все пронумеровать и расставить по ранжиру. Прежде всего, необходимо создать в глубине леса такое место, находясь в котором он знал, *где* находится и что к чему; затем ему, наверное, удалось бы вспомнить, *кто* он, пребывающий на престоле и в центре, а там уже стало бы ясно, что делать дальше. Ему предстоит Как-то повернуть назад и начать все сначала.

Он огляделся, пытаясь определить, какой из путей ведет обратно.

Может, все, а может, и ни один. Оберон устало всмотрелся в зеленые, пестревшие цветами аллеи. Он не сомневался в одном: та дорога, которая, судя по виду, уж точно ведет прочь отсюда, будет потихоньку поворачивать и поворачивать, пока не выйдет туда же, откуда началась. Лес выжидающе, иронически молчал, лишь в редких выкриках птиц слышались вопросы.

Оберон уселся вместо престола на упавший ствол. Впереди, в центре поляны, среди травы и фиалок, он воздвиг небольшой каменный сарай или павильон, стены которого глядели на север, юг, восток и запад. Каждый фасад Оберон связал с определенным временем года: зимой, летом, весной и осенью. От павильона расходились хитрые

кривые дорожки. Оберон замостил их гравием и выложил края камнями, окрашенными в белый цвет. Он соединил дорожками статуи, обелиск, птичий домик, арочный мостик, грядки с тюльпанами и краснодневом. Все это он заключил в большую четырехугольную ограду из чугуна, столбы ограды увенчал стрелками и приделал четверо запертых ворот для входа и выхода.

Ну вот. Отсюда был слышен, хотя и слабо, шум уличного движения. Оберон осторожно перевел взгляд: по ту сторону ограды находилось классическое здание суда со статуями законодателей по краю крыши. Вместе с весенним воздухом в ноздри Оберона проник какой-то едкий запах. Теперь нужно было только обойти созданное им пространство в строгом порядке, часть за частью, и у каждой потребовать оставленные там части Сильвии.

Чьи части?

Парк дрогнул, уходя в нереальность, но Оберон вернул его обратно. Только без спешки, без резких движений. Сначала первое место, за ним второе. Если не сделать все как полагается, никогда не узнаешь конец истории: нашел он ее и привел обратно (куда?), потерял навсегда или произошло (происходит, произойдет?) что-то еще. Оберон

начал опять: номер первый, за ним второй.

Нет, бесполезно. Как только ему пришла мысль держать ее в таком месте, словно принцессу в башне? Она убежала, у нее ведь есть собственные хитрости. Что можно было составить из этих собранных в мешок воспоминаний? Ее? Как бы не так. Со временем они еще больше измялись, полиняли и обтрепались. От них не было никакого проку. Оберон поднялся с парковой скамейки, нащупывая в кармане ключ, чтобы выйти за ворота. Маленькие девочки, игравшие в камешки на обочине тропинки, настороженно наблюдали, пока он выбирал выход.

Запоры. Сплошные запоры, думал он, вставляя ключ в скважину, весь этот проклятый город состоит из одних запоров. Ряды, пучки, букеты запоров, навешенные на двери, карманы, отягощенные ключами, как грехами, чтобы эти запоры открывать и вновь закрывать. Он отворил тяжелые ворота, распахнув их, как дверь темницы. К воротному столбу из рустованного красного камня была приделана табличка с надписью: Маус Дринкуотер Стоун 1900. От ворот вела улица: сперва квартал стандартных домиков, стена к стене, а далее, в направлении городских окраин, слабо различимые замки, каждый на своем

участке, старые и мощные, скребущие небо, среди дыма и шума.

Оберон пошел по улице. Мимо спешили прохожие, каждый знал, куда идет, Оберон же шагал бесцельно и медленно. Впереди, из боковой улочки, вывернула Сильвия с пакетом под мышкой и, быстро переступая обутыми в ботинки ногами, двинулась к окраине города.

Маленькая, одинокая, но уверенно себя чувствующая в своем королевстве, среди уличной суеты. И его королевстве тоже. Ее уход: она все еще торопилась прочь, а Оберон отставал. Но на сей раз он шел в нужном направлении. Оберон открыл рот, и оттуда вылетело ее имя. Оно вертелось у него на кончике языка.

— Сильвия, — позвал он.

Совсем рядом

Она услышала оклик и как будто узнала имя. Замедлив шаги, она мимолетно повернула голову, но не обернулась; имя было ей знакомо откуда-то, когда-то. Не выкрикнула ли его птица, призывая подружку? Вскинув голову, она осмотрела пронизанную солнцем листву. Или это бурундук зовет друзей или родню? Зверек пробежал по узловатым коленям дуба, замер, оглянулся

на нее. Маленькая, одинокая, но уверенная, она пошла дальше под высокими деревьями, босые ноги проворно ступали меж цветов.

Она шла далеко и быстро; крылья, которые она вырастила, не были крыльями, но несли ее вперед. Она не останавливалась и не отвлекалась, хотя по пути являлись соблазны и немало тварей призывало ее подождать. «Потом, потом», — говорила она и спешила дальше. Дорога развертывалась перед ней день за днем, ночь за ночью.

«Он идет, — думала она. — Знаю, он будет здесь, будет; может, он меня не вспомнит, но я напомню, он увидит». Предназначенный ему подарок, который она выбрала после долгих размышлений, она несла под мышкой, не доверив никому другому, хотя многие предлагали свои услуги.

А если он не придет?

Нет, он явится; что за пир без него, а пир был ей обещан; там будут все, и она, конечно, принадлежит к приглашенным. Лучшее место, самые лакомые кусочки; она будет класть ему в рот лучшие куски, только чтобы посмотреть ему в лицо. Как же он удивится! Он изменился? Да, но она его узнает. Она не сомневалась.

Ночь поторапливала ее. Луна поднималась в небе, прибывала и мигала ей: званый вечер.

Где она теперь? Остановившись, она прислушалась к голосу леса. Близко, близко. Место ей незнакомо, а это знак. Она не хотела идти дальше без твердых ориентиров и словесных указаний. Приглашение было недвусмысленным и дополнений не требовало, и все же. Она взобралась на верхушку высокого дерева и оглядела подлунное пространство.

Она находилась на опушке леса. Ночные ветерки бродили в кронах, раздвигая листья. Вдали, или вблизи, или вдали и вблизи одновременно, — во всяком случае, за городскими крышами и залитой лунным светом колокольней — она увидела дом: сиявший огнями, без единого темного окошка. Она была совсем рядом.

Той же ночью миссис Андерхилл в последний раз осмотрела свой темный опрятный домик и убедилась, что все в порядке. Она вышла на улицу и, потянув дверь, захлопнула ее; вгляделась в диск луны; извлекла из глубокого кармана железный ключ, заперла дом и сунула ключ под коврик.

Посторонись, посторонись

Посторонись, посторонись, думала миссис Андерхилл; посторонись. Все теперь принадлежало

им. Пир был сервирован по всем правилам, причем очень красиво. Она почти желала тоже на нем присутствовать. Но теперь явился наконец старый король; он усядется на свой высокий трон (где этот трон стоял, она могла только догадываться), и ей нечего будет больше делать.

Человек, известный как Рассел Айгенблик, задал ей, когда сошел, один-единственный вопрос:

— Почему?

— *Почему, почему*, — отозвалась миссис Андерхилл, — ну вот еще, почему. А почему существуют в мире три пола, когда один из них лишний? Почему снов бывает двадцать четыре вида, а не двадцать пять? Почему число божьих коровок на земле всегда четное — а нечетное чем хуже? А почему не быть четным числу видимых звезд, меж тем как оно нечетное? Необходимо было раскрыть двери, разломать треснувшие стены — понадобился клин, и ты стал клином. Приход весны нужно было предварить зимой, и ты стал зимой. Почему? А почему мир такой, какой есть, а не иной? Если бы ты знал ответы, то не был бы здесь и не задавал вопросов. А теперь успокойся. Мантия и корона при тебе? Все тебя устраивает, хотя бы в основных чертах? Правь разумно и справедливо; я знаю, ты будешь долго править.

Пожелай им всем от меня всего хорошего осенью, когда они явятся выразить тебе почтение, и пожалуйста, пожалуйста, не задавай сложных вопросов, за много лет они и так выслушали их достаточно.

И это все? Миссис Андерхилл осмотрелась. Имущество она успела упаковать, свои гигантские сундуки и корзины отправила вперед, с сильными и молодыми. Ключи оставила? Да, под ковриком, только что. Память никуда. Ну что ж, все?

Ага, подумала она, осталось еще одно дело.

Пойти или остаться

— Отправляемся, — сказала миссис Андерхилл на рассвете, стоя на краю скалы, полуостровом вдававшейся в лесное озерцо, куда с неумолчной песней низвергался водопад.

На поверхности озерца дробились пятна лунного света, плавали, крутясь в водоворотах, свежие листья и цветы. На зов миссис Андерхилл медленно выплыла большая белая форель, без пятнышка или полоски.

— Отправляемся? — переспросила рыба.

— Ты можешь пойти или остаться. Ты так долго пробыл по эту сторону истории, что теперь мо-

жешь сам решать.

Форель встревоженно молчала. В конце концов, миссис Андерхилл, устав созерцать ее печально выпученные глаза, рявкнула:

— Ну?

— Я остаюсь, — быстро проговорила рыба.

— Отлично, — кивнула миссис Андерхилл, которую очень удивил бы другой ответ. — Скоро сюда придет молодая девушка (правда, это сейчас старая-престарая дама, но неважно, ты знал ее девушкой) и посмотрит в озеро. Это как раз та, которую ты так долго ждал, и ее не обманет твой облик: она посмотрит в озеро и произнесет слова, которые тебя освободят.

— Правда? — спросил Дедушка Форель.

— Да.

— Почему?

— Ради любви, старый дурень. — Миссис Андерхилл с такой силой стукнула палкой по скале, что та треснула и на всколыхнувшуюся поверхность озерца пала гранитная пыль: — Потому что история закончилась.

— О, значит, конец?

— Да. Конец.

— А нельзя ли мне, — спросил Дедушка Форель, — остаться таким, как сейчас?

Миссис Андерхилл наклонилась, изучая туманную серебристую тень в озере.

— Как сейчас?

— Ну да. Я привык. А ту девушку я вовсе не помню.

— Нет, — поразмыслив, сказала миссис Андерхилл. — Нет, вряд ли это возможно. Не представляю себе. — Она выпрямилась. — Уговор дороже денег. Я тут ни причем. — Миссис Андерхилл отвернулась.

Дедушка Форель, унося в сердце страх, нырнул в увешанное водорослями укромное местечко. В памяти, против его воли, быстро проносились картины. Она; но которая из них? И как от нее спрятаться, когда она явится не с приказаниями, не с вопросами, а со словами, теми единственными словами (Дедушка Форель охотно бы зажмурился, если бы имел веки), которые тронут его холодное сердце? И все же он не мог уйти; наступило лето, а с ним явились мириады насекомых; весенние ливни отшумели, и озерцо снова сделалось прежним привычным домом. Он не уйдет. Он тревожно заплескал плавниками, почти чувствуя тонкой кожей волнения, без которых обходился уже не один десяток лет. Он глубже занырнул в норку, надеясь, что в ней его

никто не обнаружит, но не очень в это веря.

— Пора, — сказала миссис Андерхилл, со всех сторон объятая рассветом. — Пора.

— Пора, — повторили на разные голоса ее дети, рядом и вдали. Те, кто был поблизости, собрались и жались к ее юбкам; поднеся ладонь ко лбу, миссис Андерхилл стала высматривать остальных, уже отправившихся в путь: по долине, навстречу рассвету, тянулись караваны, конец вереницы, утончаясь, терялся вдали. К локтю миссис Андерхилл прикоснулся мистер Вудз.

— Дальний путь, — сказал он, — очень дальний путь.

Да, подумала она, путь будет дальним; более дальним, хотя не таким трудным, как путь тех, кто последовал за ней сюда, потому что она, по крайней мере, знала дорогу. Встретятся и источники, чтобы освежиться и ей, и всем остальным; встретятся и обширные земли, о которых она так часто мечтала.

Не сразу удалось взгромоздить старого Принца на страдавшего запалом скакуна, но, оказавшись наконец в седле, тот бессильно взмахнул рукой и в ответ грянул гром приветствий. Война была окончена, более того — забыта, и они победили. Опираясь на палку, миссис Андерхилл тронула

поводья. Все отправились в путь.

Не пойду

Как знала Софи, это был самый длинный день в году, но с какой стати он назывался днем середины лета, если лето еще только начиналось? Возможно, потому, что в этот день лето впервые представлялось бесконечным; казалось, будто у него не было начала и не будет конца; о других временах года невозможно было и помыслить. Даже щелчок пружины и стук двери холла, которую Софи, войдя, за собой закрыла, а также летний запах в вестибюле уже стали привычными и нисколько не удивляли.

А ведь это лето могло не наступить вовсе. Оно пришло благодаря Дейли Элис — Софи в этом не сомневалась. Это Дейли Элис спасла его своей храбростью — тем, что отправилась первой; она присмотрела, чтобы этот день был явлен на свет. Поэтому он казался таким хрупким и условным, но он был не менее реален, чем любой другой летний день, пережитый Софи. Наверное, это был единственный реальный летний день с самого ее детства; он оживил ее и тоже сделал храброй. Раньше она не находила в себе храбрости, но теперь чувствовала, что, подобно Элис, способна

быть храброй и должна. Поскольку сегодня они отправляются.

В этот день они отправлялись. Сердце у нее екнуло, и она крепче вцепилась в вязаную сумку — единственный багаж, который надумала взять с собой. После встречи в Эджвуде все ее дни были заполнены планами, размышлениями и надеждами, но она лишь изредка испытывала настоящую решимость — можно сказать, забыла о ней. Но теперь она чувствовала, что готова.

— Смоки! — позвала Софи. В высоком вестибюле пустого дома откликнулось эхо. Все собирались снаружи: в обнесенном стеной саду, на открытых верандах и за стеной, в Парке; собирались с самого утра. Каждый прихватил с собой то, что считал необходимым для путешествия, и был готов к любым приключениям, какие только мог себе вообразить. Уже миновал полдень, все ждали от Софи каких-нибудь слов, указаний, и она отправилась на поиски Смоки, который в подобных случаях, будь то пикник или любого рода экспедиция, имел привычку опаздывать.

Любого рода. Если представить себе, что это пикник или экспедиция, свадьба, похороны или прогулка, самая обычная вылазка, когда знаешь, как себя вести, — если просто делать все, что

полагается, словно в самой обычной обстановке, тогда... Тогда все, что от тебя зависит, думала Софи, будет сделано, а остальные пусть исполнят то, что зависит от них.

— Смоки! — вновь позвала Софи.

Она нашла его в библиотеке, хотя перед тем его там не заметила. Занавески были задернуты, Смоки сидел недвижно в большом кресле, сцепив руки, перед открытой большой книгой. Глядел он вниз, на пол.

— Смоки! — Софи нерешительно приблизилась. — Все готовы, Смоки. Ты здоров?

Он поднял глаза.

— Я не пойду, — отозвался он.

Она постояла немного, не веря своим ушам. Потом опустила на стол вязаную сумочку, где лежали старый альбом с фотографиями и треснувшая фарфоровая статуэтка — аист со старой женщиной и голой девочкой на спине (в сумочке, конечно, полагалось быть и картам, но они отсутствовали), и подошла к Смоки:

— Да ты что. Не может быть.

— Я не пойду, Софи, — повторил он вполне кротким голосом, словно ему просто было все равно. И посмотрел на свои сцепленные руки.

Софи потянулась к нему и открыла было рот,

чтобы начать уговоры, но передумала. Опустившись рядом с ним на колени, она спросила мягко:

— Что такое?

— А, ну да. — Смоки прятал взгляд. — Кто-то ведь должен остаться дома? Кто-то, чтобы присматривать за всем. Я хочу сказать, на тот случай... если вы решите вернуться, или просто на всякий случай. В конце концов, это мой дом, — добавил он.

— Смоки. — Софи накрыла ладонью его сцепленные руки. — Смоки, ты должен пойти, должен!

— Нет, Софи.

— Да! Ты не можешь не пойти, не можешь. Что мы будем делать без тебя!

Смоки поднял глаза, удивленный ее горячностью. Слов «что мы будем делать без тебя» он никоим образом ни от кого не ожидал и теперь растерялся, не зная, что ответить.

— Ну, я не могу.

— Почему?

Он тяжело вздохнул.

— Просто... — Он провел рукой по лбу. — Не знаю... просто...

Выслушивая эти экивоки, Софи вспомнила другие, столь же отрывочные, произнесенные много лет назад и предварявшие очень неприятную

новость. Она закусила губу и промолчала.

— Ладно, то, что ушла Элис, это горе... Послушай. — Он заерзал в кресле. — Послушай, Софи, ты ведь знаешь, я никогда в этом не участвовал; я не могу... Я хочу сказать, я был *так счастлив*, ей-богу. Мне даже в голову не приходило ни в детстве, ни когда я поселился в Городе, что мне выпадет такое счастье. Я не был для него создан. Но вы... вы с Элис... вы приняли меня к себе. Это было вроде как... вроде как на тебя неожиданно свалилось наследство в миллион долларов. Я этого не понимал... то есть нет, понимал, временами даже принимал как должное, но внутри себя чувствовал и был благодарен. Просто выразить не могу. — Он сжал ее руку. — Ну да, да. Но теперь... когда Элис ушла. Да, наверное, я всегда знал, что она к чему-то подобному готовится, знал, но не *ждал* этого. Понимаешь? Софи, я для этого не гожусь, не создан. Я хотел попытаться. Но ничего не мог придумать, кроме того, что потерять Элис — это настоящее горе. А сейчас мне предстоит потерять и всех остальных. И я не могу, Софи, просто не могу.

Софи увидела, как в глазах Смоки выступили слезы и, достигнув краев розовых морщинистых век, покатились по щекам. При ней он, кажется,

еще ни разу не плакал, и ей всем сердцем захотелось сказать, что он никого не потеряет, а уйдя от ничего, придет ко всему, а главное к Элис. Но Софи не решалась, ибо, хотя для нее это было истинной правдой, уверять в том Смоки она не могла. Если окажется, что для него это неправда (чего она не могла исключить), то она произнесет ложь самую жестокую и ужасную. Но в то же время она обещала Элис привести его любой ценой и не могла и помыслить о том, чтобы отправиться без него. Однако сказать ей было нечего.

— Как-нибудь, — произнес Смоки, утирая глаза ладонью, — как-нибудь.

Софи встала, растерянная, хмурая, неспособная думать.

— День такой хороший, — заметила она беспомощно, — просто замечательный денек...

Подойдя к окну, она отодвинула тяжелые занавески, из-за которых в комнате царил полумрак. Солнечный свет ослепил ее; она смутно различала толпы народу в саду, вокруг каменного стола под буком. Некоторые подняли глаза, кто-то из детей постучал в окно, просясь внутрь.

Софи открыла окно. Смоки следил за ней из своего кресла. Лайлак переступила через подоконник, подбоченившись бросила взгляд на

Смоки и проговорила:

— Ну, в чем дело?

— Слава тебе господи, — выдохнула Софи. От облегчения у нее задрожали колени. — Слава тебе господи.

— Кто это? — спросил Смоки, вставая.

Софи заколебалась, но лишь на одно мгновение. Не всякая ложь лжива.

— Твоя дочь, — сказала она. — Твоя дочь Лайлак.

Страна под названием Повесть

— Хорошо. — Смоки вскинул руки, как бы сдаваясь в плен. — Хорошо, хорошо.

— Отлично, — сказала Софи. — Ох, Смоки.

Отказаться не получилось — он должен был это предвидеть. Какие аргументы мог он им противопоставить, если они сумели послать к нему его давно потерянную дочь, чтобы она уговорила его, напомнила о давнем обещании. Смоки не очень верил, что Лайлак нуждается в нем как в отце. Он предполагал, что она вообще ни в ком и ни в чем не нуждается, но нельзя же было отрекаться от обещания быть ее отцом.

— Хорошо, — повторил Смоки, отводя взгляд от просиявшего лица Софи. Он обошел библиотеку,

включая всюду свет.

— Поспеши, — проговорила Софи. — Пока еще светло.

— Давай быстрей, — Лайлак потянула его за рукав.

— Секундочку. Мне нужно кое-что найти.

— Смоки, ну же! — Софи топнула ногой.

— Не гони лошадей.

Смоки вышел в холл, включая по пути лампы и бра. Софи следовала за ним по пятам. Наверху он обошел все спальни, включил всюду свет и под нетерпеливым взглядом Софи осмотрелся. Мимоходом посмотрел в окно, на собравшуюся внизу толпу. День начинал меркнуть. Лайлак махнула ему снизу.

— Ладно, ладно, — пробормотал он. — Хорошо.

Включив все огни в своей и Элис комнате, он немного постоял, злясь и отдуваясь. Что, черт возьми, прихватить с собой? В такое путешествие?

— Смоки, — протянула в дверях Софи.

— Проклятье, Софи, сейчас.

Смоки открыл комод. Чистая рубашка нужна точно, и смена белья. Пончо на случай дождя. Спички и нож. Карманный, с тонкой бумагой, томик Овидия на прикроватном столике. «Мета-

морфозы». Отлично.

Теперь во что это сложить? Смоки пришло в голову, что он многие годы не уезжал из этого дома и потому не имеет даже сумки или чемодана. Где-то на чердаке или в подвале лежала сумка, с которой Смоки прибыл в Эджвуд, но где именно? Он начал распахивать дверцы глубоких стенных шкафов с кедровой внутренней отделкой (которых в комнате было полдюжины, так что сколько они с Элис ни пихали туда одежды, места всегда оставалось в избытке). Тянул за шнуры, фосфоресцирующие концы которых походили на светлячки. Заметил свой пожелтевший, когда-то белый, свадебный костюм — костюм Трумэна. А ниже, в углу... да, может, это подойдет. Удивительно, как в углах стенных шкафов скапливаются старые вещи. Смоки и не знал, что эта штука здесь. Он вытянул ее наружу.

Это был саквояж. Старый, поеденный мышами саквояж с застежкой в виде скрещенных костей.

Смоки открыл его и, странным образом что-то предчувствуя или вспоминая, заглянул в его темное нутро. Там было пусто. Из саквояжа потянуло затхлостью, как от прелых листьев, или от кружев времен королевы Анны, или от земли, когда перевернут лежавший на ней камень.

— Сгодится, — сказал он. — Сгодится, наверное.

Он кинул туда немногие собранные вещи. Они словно бы исчезли в объемистом внутреннем пространстве.

Что бы еще прихватить?

Смоки размышлял, держа саквояж открытым: стебель ползучего растения или ожерелье, шляпа, тяжелая, как корона; мелок и ручка, дробовик, фляжка чая с ромом, снежинка. Книга о домах; книга о звездах; кольцо. Словно живая (и это глубоко ранило Смоки), ему представилась дорога между Медоубруком и Хайлендом, и Дейли Элис, какой она была в тот день — День, когда они вернулись из свадебного путешествия, когда он заблудился в лесу. Когда услышал от нее слово «защищены».

Смоки закрыл саквояж.

— Хорошо, — сказал он.

Потянув саквояж за кожаные ручки, Смоки убедился, что он тяжелый, но от этого почувствовал себя уверенней. Казалось, эта ноша сопровождала его всегда, без нее он потерял бы равновесие, не смог бы идти.

— Готов? — спросила Софи, стоявшая в дверях.

— Готов. Наверное.

Они вместе спустились по лестнице. В холле

Смоки помедлил, чтобы нажать костяные кнопки выключателей и осветить вестибюль, веранды, подвал. Потом они вышли на улицу.

— *А-а-а-а,* — загудели все собравшиеся.

Из Парка, из сада, с веранд и партеров они стянулись к Лайлак, к фасаду дома, к деревянному крыльцу, напротив которого поросшая травой подъездная аллея вела к каменным воротным столбам, увенчанным рябыми, как апельсины, каменными шарами.

— Привет-привет, — сказал Смоки.

Навстречу ему двинулись улыбавшиеся дочери — Тейси, Лили и Люси, — а за ними их дети. Все встали и начали переглядываться. Одна Мардж Джунипер все так же сидела на ступеньках крыльца: ей не хотелось переступать ногами без надобности, поскольку у нее в запасе оставалось слишком мало шагов. Софи спросила Лайлак:

— Ты поведешь нас?

— Часть пути. — Лайлак стояла в центре компании, довольная, но немного робевшая. Она сама не знала, кто из них продержится до конца, и для счета у нее не хватало пальцев. — Часть пути.

— Туда? — спросила Софи, указывая на каменные столбы. Все повернулись и посмотрели в ту сторону. Затрещал первый сверчок. Голубой, по-

степенно зеленевший воздух Эджвуда прорезали стрижи. Испарения остывавшей земли окутали дымкой дорогу по ту сторону столбов.

Не в тот ли самый миг, подумал Смоки, не в тот ли самый миг, когда он впервые миновал эти столбы, пали на него чары, с тех пор его не отпускавшие? В руке, державшей саквояж, закололо, словно били тревогу колокольчики, но Смоки их не слышал.

— А это далеко? — спросили державшиеся за руки Бад и Блоссом.

В тот день — день, когда он впервые шагнул в дверь Эджвуда, чтобы — в определенном смысле — никогда оттуда не выйти.

Возможно. Но не исключено, что это произошло раньше или позднее. Разве можно вычислить тот день, когда в его жизнь вторглось первое волшебство или когда он сам, ни о чем не подозревая, на него наткнулся. Ведь за первым вскоре последовало второе, потом третье; они сменяли одно другое по собственному закону, каждое определялось предыдущим, и ни одно нельзя было выбросить. Сама попытка их распутать повлекла бы за собой новые чары. Так или иначе, они представляли собой не цепочку причин и следствий, а последовательное удаление оболочек,

китайские шкатулки, вложенные одна в другую, причем чем дальше продвигаешься, тем больше они становятся. Напуганный перспективой бесконечных изменений, Смоки радовался тому, что некоторые вещи оставались прежними, и главной среди них была любовь Элис. Она и позвала его в путешествие, только она могла стронуть его с места, однако Смоки чувствовал, что она осталась позади. В то же время он нес ее с собой.

— Мы должны встретить собаку, — проговорила Софи, беря его за руку. — И пересечь реку.

Стоило Смоки сойти с крыльца, как в его сердце начало зарождаться нечто: то ли предчувствие, то ли намек на откровение.

Все взвалили на плечи сумки и прочее снаряжение и, вполголоса переговариваясь, двинулись по подъездной аллее. Но Смоки остановился, поскольку понял, что через эти ворота ему нет хода; он не может выйти тем же путем, которым вошел. Слишком много чар этому препятствовало. Ворота не были прежними воротами, и он тоже переменился.

— Долгий путь, — сказала Лайлак, увлекая мать за собой, — долгий-долгий путь.

С обеих сторон его опережали попутчики, нагруженные багажом, державшиеся за руки, но он

встал как вкопанный. Он все еще хотел, все еще стремился вперед, но только не передвигал ноги.

В день венчания они с Дейли Элис ходили меж гостями, сидевшими на траве. Многие дарили им подарки, и все без исключения говорили «спасибо». Спасибо, потому что Смоки хотел, хотел взять на себя этот труд во всей его полноте; прожить свою жизнь ради других, в кого он даже по-настоящему не верил; тратить себя, чтобы довести до конца Повесть, в которой ему не было отведено роли. И вот он сделал это, и все еще хотел, но благодарить его не было смысла ни теперь, ни раньше. Ибо — подозревали они об этом или нет — Смоки знал, что Элис стояла бы в тот день рядом с ним перед алтарем даже в том случае, если бы они не выбрали его ей в супруги; воспротивилась бы их воле, не отреклась бы от него. Он в этом не сомневался.

Он обманул их. Происходившее сейчас не имело значения. Достигнет ли он того места, куда все направлялись, или нет, отправится в путешествие или останется дома — у него есть своя повесть. Он держал ее в руках. Пускай она кончится, пускай — все равно ее никто не отнимет. Смоки не мог идти туда же, куда и все, но это было неважно, поскольку он все время там был.

Но где же оно все-таки, то место, куда все идут?

— А, вижу, — сказал он, хотя с его уст не слетело ни единого звука. Нечто, зародившееся в его сердце, выросло еще больше; оно впустило внутрь потоки вечернего воздуха, стаю стрижей, пчел в кусте штокрозы. Оно ранило без боли и не хотело исчезать. Оно принимало в себя Софи и его дочерей, и его сына Оберона, а также многих умерших. Смоки знал, чем заканчивалась Повесть и кто там будет.

— Лицом к лицу, — проговорила Мардж Джунипер, опережая Смоки. — Лицом к лицу.

Но Смоки был теперь глух ко всему, кроме ветра Откровения, гулявшего в его груди. На этот раз он не станет бежать. В голубой сердцевине входившего в него Откровения он увидел Лайлак, которая, обернувшись, с любопытством на него смотрела, и понял по ее лицу, что прав.

Повесть была позади их. Туда они и путешествовали. Им нужно было сделать всего один шаг; они уже были там.

«Назад», — попытался он сказать, не способный повернуть сам; назад, старался крикнуть он, назад, туда, где стоит дом, освещенный, ждущий, Парк, и веранды, и сад за стеной, и дорожки, ко-

торые ведут в неведомую даль, и дверь в лето[356]. Если он смог бы сейчас повернуть (а он не мог; это, правда, не имело значения, но не мог), то оказался бы перед летним домом, а там на балконе делала бы ему знаки Дейли Элис. Она спустила бы с плеч старый коричневый халат, показывая ему в тени листьев свою наготу. Дейли Элис, его невеста, Добрая Госпожа, богиня страны, расстилавшейся за ними. Они стояли на границе этой страны, страны под названием Повесть. Если бы Смоки мог добраться до каменных воротных столбов (но ему туда не добраться), оказалось бы, что он просто сворачивает с дороги, чтобы в них войти. День середины лета, пчелы в штокрозе, старая женщина на веранде перевертывает карты.

Поминки

Под полной луной, такой раздувшейся, что, казалось, вот-вот лопнет, Сильвия шла к дому, который как будто все больше отодвигался по мере ее приближения. Ей предстояло перебраться через каменную ограду и пройти буковую рощу, а в конце пересечь поток или громадную реку,

[356] Примечания: 356

Дверь в лето — название романа Роберта Э. Хайнлайна (1956, отд. изд. — 1957).

стремительные воды которой сверкали в лунном свете золотой пеной. После долгих раздумий на берегу Сильвия соорудила из коры лодку, вместо паруса использовав широкий лист, вместо линей — паутину, а черпаком ей послужила чашечка желудя. Ее едва не затянуло в темное озеро, где река уходила под землю, но она добралась до дальнего берега. Сверху на Сильвию сурово взирал огромный, как собор, дом, темный тис нацелил на нее свои ветки, веранды с каменными колонками гнали ее прочь. А Оберон всегда говорил, что это будет светлый и радостный дом!

Подумав о том, что подойти к самым стенам ей не удастся никогда, а если все-таки удастся, то такой крохотулечкой, что недолго будет и затеряться в трещинах мощеной дорожки, Сильвия остановилась и прислушалась. Сквозь гудение жуков и крики козодоев откуда-то пробивалась музыка, торжественная, но Как-то исполненная радости, и Сильвия пошла на ее зов. Музыка росла, становилась не громче, но полней; вокруг Сильвии, в бархатной темноте подлеска, показались огни процессии; во всяком случае, это могли быть светлячки и ночные цветы, выстроившиеся в процессию, которая включала в себя и Сильвию. Удивляясь и чувствуя, как музыка переполняет

ее сердце, она приблизилась к месту, куда направлялись огни, и прошла через порталы под взорами множества глаз, за ней наблюдавших. Она ступила на спящие цветы аллеи, которая вела к поляне, куда, в дополнение к многочисленным собравшимся, все прибывал и прибывал народ. Под цветущим деревом там стоял стол, накрытый белой скатертью; среди множества приготовленных стульев один из центральных предназначался ей. Но это был не пир, как она подумала, то есть не только пир, но и поминки.

Огорчаясь за тех, кто оплакивал смерть неизвестного ей человека, она долгое время робко стояла и прислушивалась к их тихим голосам. Подарок для Оберона она по-прежнему держала под мышкой. Один из сидевших в конце стола обернулся, наклонил свою черную шляпу, и его белые зубы приветственно сверкнули. Он поднял в честь Сильвии кубок и жестом пригласил ее подойти. Удивительно обрадованная тем, что видит его, она под многочисленными взглядами пробралась через толпу и обняла его, едва не плача.

— Привет, — сказала Сильвия. — При-ивет.

— Привет, — откликнулся Джордж. — Теперь все на месте.

Не разжимая объятий, Сильвия оглядела тес-

но обсаженный стол и десятки гостей, которые смеялись, плакали, осушали кубки. Некоторые из них были в коронах, иные в мехах и перьях; аист, или какая-то похожая птица, макал клюв в высокий кубок и неодобрительно глядел на свою соседку, ухмылявшуюся лису. Места Как-то хватало на всех.

— Что это за публика? — спросила Сильвия.

— Семья, — объяснил Джордж.

— Кто умер? — спросила Сильвия.

— Его отец. — Джордж указал на человека, который сидел, сгорбив спину, и закрывал лицо платком. В волосах его застрял зеленый лист. С глубоким вздохом человек обернулся. Три женщины, его соседки, подняли на Сильвию глаза, заулыбались ей, как своей знакомой, и стали его подталкивать, чтобы он тоже на нее посмотрел.

— Оберон, — произнесла Сильвия.

Все собравшиеся наблюдали за их встречей. Сильвия не могла произнести ни слова, а Оберон забыл все слова, которые мог бы произнести, поэтому они только взялись за руки. *Аааааа*, дружно выдохнули гости. Музыка сменилась; Сильвия улыбалась, и они громко приветствовали ее улыбку. Кто-то короновал пахучими белыми цветами Сильвию, а затем и Оберона,

сняв цветочную гирлянду с рожкового дерева, под сенью которого стоял пиршественный стол. Гости поднимали кубки, выкрикивали тосты; повсюду раздавался смех. Музыка сменилась перезвоном. Смуглой рукой с кольцом Сильвия отерла слезы со щек своего принца.

Луна плыла к утру; пир перешел из поминок в свадьбу, началось разгулье. Гости вставали, чтобы потанцевать, а потом вновь подсаживались к столу.

— Я знала, что ты тут будешь, — проговорила Сильвия, — знала.

Безусловный дар

Неведение Оберона о предстоящей встрече с Сильвией растворилось в уверенности в том, что она теперь здесь.

— Я тоже знал, — заверил он. — Но почему както раньше, — (он не имел представления о том, когда это было — часы или века назад), — я позвал тебя, а ты не остановилась, не обернулась?

— Разве? Ты меня звал?

— Да. Я тебя видел. Ты шла прочь. Я позвал: «Сильвия!»

— Сильвия? — Она окинула его веселым изумленным взглядом. — О! — произнесла она нако-

нец. — О Сильвия! Ну да, я забыла. Потому что это было так давно. Потому что здесь никто меня так не называл. Никогда.

— А как они тебя называют?

— Другим именем. Прозвищем, которое у меня было в детстве.

— Каким?

Она сказала.

Он удивленно присвистнул.

Глядя в его лицо, она рассмеялась. Налила в его кубок пенистый напиток и предложила ему. Он выпил.

— Послушай, — сказала она. — Я хочу узнать обо всех твоих приключениях. Всех-всех. А ты хочешь узнать о моих?

Всех-всех, думал Оберон, пока медовая жидкость, которую он проглотил, смывала всякие догадки о том, каковы могли быть эти приключения. Казалось, они еще предстоят и он будет в них участвовать. Принц и принцесса: Дикий Лес. Выходит, она все время пробыла здесь, в этом королевстве, их королевстве? А он? Так или иначе, какие он пережил приключения? Они исчезали, съеживаясь в жалкие обрывки, пока он о них думал, делались туманными и нереальными, как мрачное будущее, при том, что будущее раскры-

валось перед ним наподобие прошлого.

— Я должен был знать, — сказал он со смехом. — Должен был знать.

— Да, — кивнула она. — Это только начало. Увидишь.

Не одна история, нет, не одна история с одним концом, а тысяча историй, в которых концом и не пахнет, которые едва начались. Потом ее увлекли от него смеявшиеся танцоры, и он смотрел ей вслед. Много рук тянулось к ней, много созданий теснилось у ее проворных ног, и на всех она смотрела с открытой улыбкой. Он пил, воспламеняясь, ноги зудели от желания научиться шутовскому хороводу[357]. Рассматривая ее, он гадал, способна ли она по-прежнему причинять ему боль. Он тронул подарок, который она во время пира водрузила ему на лоб: пару красивых, широких, остроконечных, изысканно загнутых назад рогов, тяжелых и нарядных, как корона, и стал думать о них. Любовь не была доброй, не всегда была доброй; едкая по своей природе, она сжигала доброту так же, как сжигала горе. Они были младенцами у власти, он и она, но они бу-

[357] Примечания: 357

...шутовскому хороводу. — Выражение из трагедии Кристофера Марло (1564–1593) «Эдуард II» (1593), послужившее названием для романа Олдоса Хаксли (1894–1963) «Шутовской хоровод» («Antic Hay», 1923).

дут расти; их ссоры станут затемнять луну и, как осенние бури, рассеивать напуганную живность; так будет или так давно было — неважно.

Неважно, неважно. Ее тетка была колдуньей, но его сестры — царицами воздуха и тьмы; их дары помогли ему когда-то и помогут снова. Оберон унаследовал беспомощность отца, но мог набраться силы, коснувшись матери... Словно листая бесконечный сборник романтических повествований, давно уже прочитанных, он видел тысячи ее детей, поколения и поколения, и большинству он приходился отцом. Он терял с ними связь, при встрече не узнавал, любил их, спал с ними, вступал с ними в борьбу, забывал их. Да! Не один десяток летописцев затупит перья об их истории и производные от их историй: скучные, веселые или грустные; их пиры, балы, маскарады и ссоры, старинное проклятие, на него наложенное, и ее поцелуй, снявший чары, их долгие расставания, ее исчезновения и маскарады (старуха, замок, птица — он вспоминал многое, но не все), их новые встречи и слияния, нежные или похотливые. Это будет зрелище для всех, бесконечное «а потом». Он рассмеялся зычным смехом, когда увидел, как это будет, ибо, в конце концов, он имел к этому дар, безусловный дар.

— Видишь? — проговорило черное рожковое дерево, нависавшее над пиршественным столом (с него были взяты цветы, которые украсили рогатую голову Оберона). — Видишь? Да, лишь смелому наградой красота.

Она неподалеку, она под боком

Танец завихрялся вокруг принца с принцессой, рисуя широкий круг на росистой траве. Светляки, повинуясь персту Лайлак, выстроились к рассвету в большой круг, колесо, крутившееся в густой тьме. *А-а-а-а*, выдохнули гости.

— Это только начало, — сказала Лайлак матери. — Увидишь. В точности как я тебе рассказывала.

— Да, но, Лайлак, ты же знаешь, что лгала. Про мирный договор. Про то, чтобы встретиться с ними лицом к лицу.

Поставив локоть на замусоренный стол и опершись щекой о ладонь, Лайлак улыбнулась матери.

— Разве? — спросила она, словно ничего не помнила.

— Лицом к лицу, — повторила Софи, оглядывая широкий стол. Как много гостей здесь присутствовало? Она бы их сосчитала, но они перемещались, а некоторые уже исчезли в ис-

кристой тьме. Иные, как она думала, проникли сюда без приглашения: вот та лисица и, быть может, тот угрюмый аист, и определенно этот неуклюжий жук-олень, который шатался меж опрокинутых чаш, выставляя напоказ свои рога. Так или иначе, чтобы знать количество гостей, она не нуждалась в подсчете[358]. Вот только...

— А где же Элис? — спросила она вслух. — Элис должна быть здесь.

Она неподалеку, она под боком, пропели ее Малыши Бризы, блуждая среди гостей. Софи вздрогнула, подумав о горе Элис. Музыка вновь сменилась, на сборище сошли печаль и тишина.

— Сюда, крапивник и малиновка, — распорядилось рожковое дерево, роняя на пиршественный стол белые лепестки, похожие на слезы. — И Дюка прочь гоните, он людям враг[359].

---

[358] Примечания: 358

Как много гостей здесь присутствовало? Она бы их сосчитала, но они перемещались, а некоторые уже исчезли в искристой тьме... Так или иначе, чтобы знать количество гостей, она не нуждалась в подсчете. — Очевидно, что число гостей — пятьдесят два. Ср. эпизод пира в «Зазеркалье» (гл. IX): «Тут собрались звери, птицы и даже цветы — гостей было много, не менее пятидесяти персон» (перевод Н. Демуровой).

[359] Примечания: 359

Сюда, крапивник и малиновка. <...> И Дюка прочь гоните, он людям враг. — Фред цитирует строки погребального плача из пьесы Джона Уэбстера «Белый дьявол» (1612; д. V, сц. 4). В оригинальном тексте — «И волка прочь гоните», но Фред заменяет волка на Дюка, вспоминая героя пьесы Уэбстера «Герцогиня Мальфи» (см. прим. 162).

Бризы, сменившиеся утренним ветром, сдули музыку.

— Окончен праздник[360], — вздохнуло рожковое дерево.

Белая рука Элис, как облака, скрыла опечаленную луну, и небо сделалось голубым. Жук-олень свалился с края стола, божья коровка полетела домой, светляки опрокинули свои факелы. Чаши и тарелки лежали раскиданные, подобно листьям, на виду у рассвета.

Вернувшись с похорон (где они проходили, было известно только ей), Дейли Элис явилась среди них как рассветный луч, в слезах, подобных благоуханной росе. При виде ее гости изумились, сглотнули потихоньку слезу и начали прощаться, но ни один из них не говорил впоследствии, что на прощанье она не одарила их улыбкой и благословением. Они вздыхали, некоторые зевали, прощались за руку и по двое, по трое отправлялись туда, куда она их посылала: к скалам, полям, рекам и лесам, во все уголки земли — их нового королевства.

Затем Элис, волоча за собой по искрившимся

---

[360] Примечания: 360

Окончен праздник. — Слова чародея Просперо, завершающие волшебное торжество в шекспировской «Буре» (д. IV, сц. 1). Ср. также финальное празднество «Сна в летнюю ночь».

травам влажный подол, прогуливалась в одиночестве там, где на мокрой земле был виден темный круг, который оставили за собой танцоры[361]. Она думала о том, что было бы, если бы она могла отдать ему этот летний день, один-единственный. Но ему бы это не понравилось, да и в любом случае это было невозможно. Взамен она решила сделать то, что было в ее власти: превратить этот день в праздник, не знающий себе равных по блеску, с таким новым утром и такими нескончаемыми дневными часами, что весь мир навсегда его запомнит.

Давным-давно

Огни Эджвуда, которые зажег перед уходом Смоки, днем померкли, но следующей ночью

---

[361] Примечания: 361

...на мокрой земле был виден темный круг, который оставили за собой танцоры. — Ср. в «Буре» (д. V, сц. 1):

Вы, эльфы гор, ручьев, озер и леса!..
Вы, куролесный кукольный народец,
Что хороводы водит при луне,
Свивая травы жесткими кружками,
Которых не касается овца!

(Перевод О. Сороки)

А. Смирнов в комментарии к этим строкам пишет: «По народному поверью, кружки очень яркой и сочной травы, попадающиеся на равнинах Англии, являются местом, на котором ночью танцуют эльфы

и феи; скот будто бы не ест этой «завороженной» травы».

воссияли снова, и это повторялось затем каждую ночь. Дождь и ветер проникали внутрь через окна, которые забыли закрыть; летние бури пятнали занавески и ковры, оставляли брызги на обоях, прижимали дверцы стенных шкафов. Мошки и жуки находили дырки в защитных сетках и умирали счастливыми в единении с горящими лампочками или не умирали, а производили потомство в коврах и гобеленах. Пришла осень, хотя ее не ждали, считая мифом или недостоверным слухом; опавшие листья скапливались на верандах, ветром их задувало внутрь через дверь холла, которая, не запертая на задвижку, беспомощно хлопала, пока не сорвалась с петли, окончательно перестав служить преградой. В кухню забрались мыши; кошки, в поисках лучшего места, облюбовали себе кладовую, которую навещали также и белки — они проникли в дом позже и угнездились в затхлых кроватях. Но «орреры» все еще вращалась, бессмысленно и весело вертелась, и дом все так же светился огнями, как маяк или вход в бальный зал. Зимой он искрился, как ледяной дворец, комнаты заносило снегом, на холодных трубах громоздились сугробы. Лампочка над крыльцом погасла.

О том, что существует на свете такой дом: осве-

щенный, открытый и пустой, сочинялись в те дни сказки. Рассказывались и другие сказки. Люди все время перемещались и не желали слушать ничего, кроме сказок, верили только сказкам, потому что уж очень трудной была жизнь. Сказка об освещенном доме в четыре этажа, с семью трубами, тремястами шестьюдесятью пятью лестницами, пятьюдесятью двумя дверьми, пропутешествовала в дальние края. В те дни все были путешественниками. Она встретилась с другой сказкой, сказкой о мире где-то еще и о семействе, членов которого многие знали по именам. Оно обитало в большом доме, наполненном бедами и радостями, которые вначале казались бесконечными, но потом окончились, прекратились. Для тех, кто сроднился с этой семьей, как со своей собственной, две сказки сливались в одну. Дом можно было найти. Весной перегорели лампочки в подвале и одна в музыкальной комнате.

Народ перемещался; сказки начинались во сне, рассказывались неумными актерами для глупых слушателей, потом глохли. Сказки возвращались в сон, потом наполняли весь день, рассказывались и пересказывались. Люди знали, что существует дом, сделанный из времени, и многие отправлялись на его поиски.

Его можно было найти. Он существовал: в конце запущенной подъездной аллеи, под ласковым дождем; он никогда не оправдывал ожиданий и, после сколь угодно долгих поисков, возникал всегда неожиданно, пусть и в сиянии огней. Крыльцо с осевшими ступенями, чтобы подняться к двери, дверь, чтобы войти внутрь. Мелкая живность, считавшая дом своим, поскольку долгое время делила его только с ветром и непогодой. В библиотеке на полу, около одного из кресел, лицом вниз — открытая на определенной странице книга, тяжелая, переломанная в корешке, покоробленная сыростью. Множество других комнат, в их окнах — мокнувший под дождем сад, Парк, вековые деревья, ко всему равнодушные и только все больше старевшие. И — на выбор — изобилие дверей, перекрестье коридоров, каждый из которых вел прочь, каждый заканчивался дверью на улицу. Рано наступает вечер, а с ним забывается, какой ход ведет внутрь, а какой наружу[362].

Выбери дверь, сделай шаг. Из сырой почвы

---

[362] Примечания: 362

...забывается, какой ход ведет внутрь, а какой наружу. — Ср. в романе Джорджа Макдональда «Лилит» (гл. III): «...Все двери, которые ты видел до сих пор... вели внутрь, а сейчас пред тобою дверь, ведущая наружу. Это кажется тебе странным... что ж, неудивительно. Но чем больше на твоем пути попадется дверей, ведущих наружу, тем дальше ты углубишься внутрь» (перевод Н. Сосновской).

выросли грибы, заполонив собой огражденный стеною сад. У самой земли, в тени растений, тоже огни, дверь в стене открыта, серебряные нити дождя висят над Парком, через который сейчас беспрепятственно проникает взор. Чья это там гуляет собака?

Подобно продолжительным жизням, подошедшим к неизбежному концу, одна за другой перегорели лампы. Остался темный дом, когда-то состоявший из времени, а теперь из погоды, и все труднее его найти, вот уже совсем невозможно, и даже во сне увидеть не так легко, как в ту пору, когда он сиял огнями. Сказки живут дольше, но для этого они должны сделаться всего лишь сказками. Как бы то ни было, произошло это давным-давно; мир, как мы теперь знаем, — такой, каков он есть, и не иной; если и было прежде время ходов, дверей, открытых границ и множества пересечений, то теперь оно прошло. Мир состарился. Даже погода нынче не та, какая нам ясно вспоминается из прошлого; не будет уже ни прежних летних дней, ни таких же белых облаков, ни такой душистой травы, ни тени, такой глубокой и полной обещаний, — всего того, что рисует нам память, что было когда-то давным-давно.

Комментарии

«Я люблю хитрости, люблю обманывать читателей», — сказал Джон Краули в одном из интервью. Именно поэтому задача читателя — самому определить все ловушки, в которые его заманивает писатель, и самому из них выбраться. Это означает, помимо прочего, что при первом чтении нельзя забегать вперед и тем более заглядывать в конец книги! Да и с предлагаемым комментарием лучше знакомиться уже после прочтения романа: самостоятельно опознать явные и скрытые цитаты, многочисленные аллюзии, уловить намеки и связать воедино лейтмотивы — означает проникнуть в самую суть книги; такого удовольствия комментатор лишать не вправе.

Некоторые предуведомления, однако, необходимы.

I. Фейри и Повесть

Роман, написанный в 1969–1978 годах, увидел свет в сентябре 1981 года, по воле редакторов лишившись второй половины заглавия: «Маленький, большой, *или Парламент фейри*» (полностью двойное название приводилось на странице с оглавлением). Издательство «Бантам» позиционировало роман как «серьезную» литературу, а слово «фейри» для многих читателей — слишком явное указание на то, что перед ними фэнтези. Однако без фейри все же не обойтись, и следует напомнить читателю, кто они такие.

«Fairy» есть «общее наименование сверхъестественных существ... в фольклоре германских и кельтских народов, прежде всего — шотландцев, ирландцев и валлийцев»[363]. Термин этот восходит к французскому «faerie» (чары) и распространился в Англии в XIII веке.

Как мы узнаем уже из первой главы романа, все события, происходящие с героями, да и с миром, суть части некой Повести (Tale). Даже Смоки

---

[363] Примечания: 363

Энциклопедия сверхъестественных существ / Сост. К. Королев. М.: Локид; Миф, 1997. С. 446.

Барнабл, не верящий в фейри, понимает, что он вошел в волшебную сказку («fairy-tale» — буквально «повесть о фейри», «повесть фейри»).

Краули сделал с традиционными волшебными сказками примерно то же, что Толкин — с мифологией Северной Европы: он создал некий архетип сказки, прасказку, к которой восходят все прочие (это во-первых) и которая основана на древнейших мифологических образах (это во-вторых). Автор «Сильмариллиона» и «Властелина Колец» боролся с шекспировско-викторианской традицией изображения эльфов как маленьких существ с крылышками; Краули, вопреки Толкину, этой традиции следует, хотя и радикально ее преображает.

Традиционные сказочные (и мифологические) мотивы романа не оговариваются в комментариях, если Краули дает отсылку к «сказочности» как таковой, а не к конкретному тексту. Эльфийское золото, попав в наш мир, превращается в сухую листву; человек, лизнув рыбью кровь, начинает понимать язык зверей и птиц; Песочный человек насыпает детям в глаза песок, чтобы они быстрее заснули; фейри похищают ребенка, оставляя взамен его двойника; три мойры вершат судьбы людей; перевозчик на пароме отвозит души в

мир иной... Все это — базовые знания для любого носителя английского языка; полагаем, что и русскому читателю эти образы знакомы.

Со сказочным миром все мы знакомимся еще в детстве, не без помощи сборника детских стихов «Песни Матушки Гусыни». Не случайно Льюис Кэрролл так охотно прибегал к цитатам из этой книги: ее общеизвестность становится залогом *достоверности* всего, что в ней написано, по крайней мере для детей.

Краули «реконструирует» мир, который стоит за детскими стихами. Эпиграф к третьей главе книги первой — знаменитое четверостишие о старушке, которая жила под холмом. Больше ничего о ней мы не знаем — не знаем даже, жива она или нет. Здесь опять приходится вспомнить Толкина: Профессор создал сюжет «Хоббита», воскрешая *возможный* эпос, из которого до наших дней дошел только список карликов в «Старшей Эдде»; Краули, по сути, использует тот же метод. Иные западные читатели полагают, что миссис Андерхилл — та самая старушка из-под холма — и есть Матушка Гусыня, рассказчица великих Повестей (на обложках ее часто рисуют старушкой в кресле). Поскольку о легендарной Матушке знаем лишь то, что она летает верхом на гусаке

(миссис Андерхилл — на аисте), такое сопоставление кажется нам возможным, но не до конца убедительным.

Краули также обнажает «реальную» основу ряда классических английских и, в меньшей степени, американских сказок; все замеченные нами случаи откомментированы[364].

В становлении замысла романа не меньшую роль, чем сказки, сыграли классические иллюстрации к ним. Впоследствии писатель говорил, что вдохновлялся рисунками английского художника Артура Ракема (1867–1939), проиллюстрировавшего «Матушку Гусыню», «Питера Пэна», «Алису», «Сон в летнюю ночь», «Золото Рейна», «Смерть Артура», «Золушку» и множество других книг. «Смогу ли я сделать ракемовских фей убедительными, чудесными, странными — и обрисовать достаточно ярко, чтобы они не казались банальными?» — так Краули определил один из импульсов к созданию «Маленького, большого».

---

[364] Примечания: 364

Разбор одного из эпизодов романа с точки зрения сказочных традиций, отраженных в нем, см.: Alice K. Turner. Little, Big for Little Folk // Snake's Hands. The Fiction of John Crowley. — Cosmos Books, 2003. P. 205–213.

II. Шекспир и другие

Фейри в романе Краули — не только фольклорного, но и литературного происхождения. Их малый рост, способность (и желание) манипулировать судьбами людей, неуемная проказливость, за которой стоят вполне серьезные намерения, склонность к превращениям, похищениям и подменам — все эти черты восходят к шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь», мотивы которой пронизывают книгу от первой до последней страницы.

Два персонажа романа носят имя эльфийского короля — Оберон. Однако Краули использует французский, а не английский вариант: *Auberon* вместо *Oberon* (см. также прим. 332). Возлюбленную Оберона Барнабла в детстве прозвали Титанией; ее тезка — королева эльфов, жена Оберона. Эта царственная пара находится в центре событий шекспировской комедии.

Можно сказать, что роман Краули является продолжением или, если вспомнить о том, что для фейри прошлое и будущее меняются местами, — прологом «Сна в летнюю ночь». На день летнего солнцестояния назначена в книге первой

свадьба Смоки и Дейли Элис; в ночь на Иванов день действие романа заканчивается. Очевидно, что Шекспир опирался на древнейшую традицию. «В канун летнего солнцестояния, — пишет У. Б. Йейтс (о нем см. прим. 31), — когда на каждом крутогоре зажигают костры в честь св. Иоанна, у фейри бывает самое веселье, и порой они похищают себе в жены красивых человеческих дочерей» («Бродячие фейри», 1896; перевод Н. Бавиной).

Имя волшебницы Ариэль Хокскилл пришло из последней пьесы Шекспира — «Буря». Ариэлем зовут духа воздуха, который закабален сначала ведьмой Сикоракс, потом магом Просперо, а в финале получает вольную: сравните с судьбой его тезки, которая всю жизнь считала себя хозяйкой собственной судьбы.

Второй писатель, чье присутствие в романе столь же важно, — Льюис Кэрролл. Имя главной героини «Маленького, большого» — Дейли Элис — в буквальном переводе означает «Ежедневная Алиса». Оно пришло писателю в голову, когда он увидел альбом иллюстраций Сальвадора Дали к книге Кэрролла: «Dali's Alice». Конкретные отсылки к сказкам об Алисе отмечены в комментариях; здесь же обратим внимание читателей на то, что сюжеты обеих книг, «Страны Чудес» и «За-

зеркалья», обыграны в романе. Особенно важна вторая сказка, с ее темами перехода на другую сторону, продвижения Алисы из пешек в королевы, финального пира и т. д. Некоторые герои романа могут быть сопоставлены с персонажами Кэрролла, однако строгие отождествления вряд ли возможны. Алиса — это и Смоки, попавший в Страну чудес, и Дейли Элис, и Лайлак (в стихотворении-прологе Кэрролл называет Алису «dream-child» — «спящее дитя», «дитя сна»), и многие другие персонажи. Джордж Маус несколько раз сравнивается с Белым Рыцарем. Софи спит, как Соня (нетрудно заметить, что Краули соединяет кэрролловский образ с гностическим мифом о Софии, отпавшей от Бога). Число примеров можно умножить.

Сравнительно малоизвестен двухтомный роман Кэрролла, посвященный феям: «Сильвия и Бруно» (1889) и «Сильвия и Бруно. Окончание» (1893)[365]. Из него Краули заимствовал не только имена брата и сестры, название соответствующей главки (кн. 5, гл. 2) и ряд деталей, но и принципиально важную идею «диминуэндо»: существования множества народов, каждый из

[365] Примечания: 365

Впервые выпущен на русском в 2003 г. издательством «Водолей Publishers» (Томск-Москва) в переводе А. Голова.

которых меньше предыдущего, от нормального человеческого роста до одного дюйма (ср. рассуждения Теодора Брамбла о росте фейри).

Наконец, биография Чарльза Лютвиджа Доджсона — Льюиса Кэрролла — также обыгрывается в тексте[366].

В романе Краули упоминается друг Кэрролла, писатель Джордж Макдональд (1824–1905), автор множества сказок и фантастических повестей. Созданный его воображением дом — портал в иные миры из романа «Лилит» (1895) — стал прототипом Эджвуда. Путешествию в Волшебную Страну Макдональд посвятил «волшебный роман для мужчин и женщин» («a fairy romance for men and women») «Фантастес» (1858).

Краули цитирует поэтов-романтиков (зачастую «растворяя» стихотворные строки в прозаическом тексте) так часто, что простой любовью к творчеству Перси Биши Шелли (1792–1822) и Джона Китса (1795–1821) это не объяснить. Наиболее важна для романа «Ода соловью» (1819) Китса:

---

[366] Примечания: 366

Подробный, хотя и неполный обзор кэрролловских тем в романах Краули «Машинное лето» и «Маленький, большой» см.: William H. Ansley. Little, Big Girl: The Influence of the Alice Books and Other Works of Lewis Carroll on John Crowley's Novel Little, Big or, The Fairies Parliament // Snake's Hands. P. 165–203.

достаточно сказать, что в ней возникают «обманщик-эльф» и дома, чьи окна смотрят на «пену гибельных морей в забытой стране фейри» (к сожалению, во всех известных переводах «Оды» важные для Краули нюансы не сохранены). Читатель убедится в том, что целые эпизоды романа выстроены на явных или скрытых отсылках к «Оде» и «Кануну святой Агнесы» (1819).

В предисловии к роману Краули пишет, что в основе сюжета книги лежит «персидская притча “Парламент птиц”». Автором этой мистической поэмы (ок. 1175) был суфийский поэт Фарид-ад-дин Аттар (род. 1119, по др. источникам — 1141/1142; ум. ок. 1228–1230). Название поэмы обычно переводится на русский язык как «Беседа птиц» или «Собрание птиц». «Маленький, большой» и в самом деле настолько перекликается с нею, что мы не решаемся кратко пересказать ее сюжет; любопытствующие могут обратиться к «Книге вымышленных существ» Борхеса, раздел «Симург».

На вопрос журналиста «Какие писатели оказали на вас влияние?» Краули ответил: Набоков и, в еще большей степени, Гарсиа Маркес («особенно “Сто лет одиночества”»). Предлагаем читателям самим провести параллели между историями

Дринкуотеров и Буэндиа.

III. Имена

Обитатели Эджвуда и его окрестностей носят обычные английские и американские фамилии, значения которых совершенно очевидны для знающих язык. Большинство фамилий (и ряд имен) принадлежат к одной из трех смысловых групп:

1) ландшафт и явления природы: Андерхилл (под холмом; этой фамилией толкиновский Фродо назвался в трактире «Гарцующий Пони»), Дейл (дол), Клауд (облако), Лейк (озеро), Медоуз (луга), Мун (луна), Нун (полдень), Оушн (океан), Сильвия (от лат. silva — лес), Стоун (камень), Флад (наводнение), Хилл (холм);

2) растения: Бад (почка листа), Берри (ягода), Блоссом (цветение), Брамбл (ежевика), Буш (куст), Вайолет (фиалка), Вудз (леса), Джунипер (можжевельник), Лайлак (сирень), Торн (терн), Уидз (сорняк), Флауэрз (цветы), Черри (вишня);

3) звери и птицы: Бак (самец животного, чаще всего оленя или зайца), Берд (птица; Робин Берд — малиновка), Вулф (волк), Маус (мышь), Рейнар (лис из французского «Романа о Лисе»; с другой стороны, английская фамилия *Reynard* происходит от средне-древнегерманского ragin (решение

богов) + hart (твердый, смелый, сильный)), Фиш (рыба), Фокс (лис), Хокскилл (перо ястреба).

Выпадают из классификации: Айгенблик (нем. «свой взгляд»), Дринкуотер (глоток воды; см. прим. 9), Пинк (розовый), Севидж (дикарь; ср. «Forest Savage» — Дикий Лес рыцарских романов), Софи (мудрость — греч.), Таунз (города), Уорд (слово), а также прозвище «Смоки» (туманный, неясный).

Значимы также географические названия: Эджвуд (опушка леса), Медоубрук (луговой ручей), Плейнфилд (ровное поле), Хайленд («высокий край», горы).

Каков смысл игры с именами собственными и нарицательными, становится ясно в финале романа.

Предлагаемый комментарий ограничивается историческими и страноведческими справками, а также указаниями на источники цитат и аллюзий.

Михаил Назаренко